# КОНТИНЕНТ

128 2006
КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ

№ 128



Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ

Господи, услыши мя,
чтоб не вышло из меня
беспорядку.
Что захочешь — Сам подашь,
как подал мне карандаш
и тетрадку…

**ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:**

**Стихи** Германа Власова и Эльмиры Котляр

**Рассказы** Якова Гримберга, Марии Ходаковой и Сергея Чернова

**Статьи и очерки** Льва Айзермана, Галины Аккерман, Марты Антоничевой, Ирины Бродской, Романа Доброхотова, Евгения Ермолина, Юрия Каграманова, Сергея Лебедева, Станислава Рассадина, Марии Ремизовой, Андрея Рудалева, Ольги Седаковой, Бориса Соколова, Игоря Холодякова

**Материалы Шестых Максимовских чтений: НУЖНА ЛИ РОССИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ?**

А также наш постоянный раздел **БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»**

Некоторые тезисы Толстого вследствие своей парадоксальности выглядят сегодня вполне актуальными – гораздо более актуальными, чем вчера.

**Жорж НИВА**





**Тамара ЖИРМУНСКАЯ**

Повременим, притормозим.
Где нас подкараулит старость?
И сколько лет, и сколько зим
по жизни странствовать осталось?

**Александр ВЯЛЬЦЕВ**



Бог наш был странный.
Он вылупился из чтения фантастики и споров о трансцендентальном, о чудесах, летающих тарелках, экстрасенсорике, йоге, Блаватской и много чем еще.
Это было серьезно, как бывает у детей серьезна игра, а у ученых – научный спор.



# Поздравляем

*— замечательного человека и поэта, легендарную правозащитницу и деятельницу российского освободительного движения, одну из тех, кто в 1968 году отважно вышел на Красную площадь, протестуя против вторжения войск в Чехословакию, многолетнего сотрудника «Континента», внесшего огромный вклад в становление и развитие журнала, постоянного нашего автора*

**Наталью ГОРБАНЕВСКУЮ**

*с юбилеем*

*— прекрасного поэта, прозаика, переводчика, литературоведа, эссеиста, лауреата премии Союза писателей Москвы «Венец», нашего постоянного автора*

**Тамару ЖИРМУНСКУЮ**

*с юбилеем*

*— нашего постоянного автора* **Ольгу СЕДАКОВУ**, *ставшую лауреатом премии «Либурно» (в г. Дуррес (Эпидамне)) — «За оригинальный и гуманный дух, воплощенный в богатстве художественных техник с музыкальной элегантностью» и международной Премии албанского иконописца XVI века Онуфрия, вручаемой иностранным авторам, в чьих произведениях заключены ценности, «дорогие для всего человечества»*

Глубоко скорбим и выражаем соболезнование друзьям и близким скончавшегося на 77-м году жизни **Юлия КРЕЛИНА**, выдающегося российского писателя, общественного деятеля и хирурга, постоянного автора «Континента», обаятельнейшего человека, прекраснодушного бессребреника и подлинного человеколюбца

# КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический*
*и религиозный журнал*

*Выходит 4 раза в год*

**128**

**2006, № 2**
**апрель — июнь**

**ПАРИЖ · МОСКВА**

# КОНТИНЕНТ — CONTINENT

*Журнал основан в 1974 году в Париже*
*писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ*

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

**Учредитель — И.И. Виноградов**

**Издатель:**

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**
**«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»**

Адреса редакции: ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

**ВНИМАНИЕ!** Рукописи принимаются по адресу:
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(495) 248-62-35

Internet: www.magazines.russ.ru/continent/

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

**Материалы, присланные по электронной почте, не рассматриваются**

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

*Главный редактор*
**Игорь ВИНОГРАДОВ**

*Редакционная коллегия:*

**Марина АДАМОВИЧ**
**Василий АКСЕНОВ**
**Юрий АФАНАСЬЕВ**
**Александр БЛОК**
**Армандо ВАЛЬЯДАРЕС**
**Галина ВЕЛИКОВСКАЯ**
**Галина ВИШНЕВСКАЯ**
**Пауль ГОМА**
**Алла ДЕМИДОВА**
**Ион ДРУЦЭ**
**Евгений ЕРМОЛИН**
**Николай ЗЛОБИН**
**Андрей ЗУБОВ**
**Вячеслав ИВАНОВ**
**Фазиль ИСКАНДЕР**
**Оливье КЛЕМАН**
**Роберт КОНКВЕСТ**
**Наум КОРЖАВИН**
**Эдуард КУЗНЕЦОВ**
**Александр КЫРЛЕЖЕВ**
**Николаус ЛОБКОВИЦ**
**Эдуард ЛОЗАНСКИЙ**
**Адам МИХНИК**
**Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ**
**Жорж НИВА**
**Амос ОЗ**
**Мишель ОКУТЮРЬЕ**
**Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ**
**Валерий СОЙФЕР**
**Виктор СПАРРЕ**
**Юлиу ЭДЛИС**
**Сергей ЮРСКИЙ**

*Редакция:*

**Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА,**
**Евгений ЕРМОЛИН, Марина КОПЫЛОВА,**
**Александр КЫРЛЕЖЕВ, Сергей ЛЕБЕДЕВ,**
**Светлана ОПАРИНА**

# Представители «Континента»

**АВСТРИЯ**
Елена ВОРОНЦОВА
Buchengasse 133/2/32
1100, WIEN, OSTERREICH
☎/fax 0043-1-607-30-23

**БОЛГАРИЯ**
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

**ГЕРМАНИЯ**
Лев УКЕЛЬСОН
Wertachstraße 11,
86153 AUGSBURG, BRD
☎/fax (821) 41-77-08

**ИЗРАИЛЬ**
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

**КАНАДА**
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

**ПОЛЬША**
Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

**США**
Марина АДАМОВИЧ
315 Oak Street
Garwood NJ 07027
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

**ФРАНЦИЯ**
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
26 rue de la Paroisse
78000, VERSAILLES, FRANCE
☎/fax (1) 30-21-64-37

**ШВЕЙЦАРИЯ**
Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА
15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

**ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ**
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

## СОДЕРЖАНИЕ

### *ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КОНТИНЕНТА»*

**Тамара ЖИРМУНСКАЯ.** На Старом месте... *Стихи* . . . . . 9
**Александр ВЯЛЬЦЕВ.** Круг неподвижных звезд. *Роман* . . . . . 14
**Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ**
Кому, о ком, о чем, зачем, почем, куда?. *Стихи* . . . . . 125

***Дебюты***

**Три рассказа о любви**

**Сергей ЧЕРНОВ.** Девушка моей мечты . . . . . 129
**Мария ХОДАКОВА.** Кот . . . . . 132
**Яков ГРИМБЕРГ.** Псориаз . . . . . 136

**Эльмира КОТЛЯР.** Крик. *Стихи* . . . . . 143
**Герман ВЛАСОВ.** Осталось только повторить. *Стихи* . . . . . 147

### *РОССИЯ И МИР*

**Национальная идея: утопия или реальность, средство или цель?**
*Шестые Максимовские чтения* . . . . . 151
**Борис СОКОЛОВ**
Как подсчитать потери во Второй мировой войне . . . . . 241
**Мария РЕМИЗОВА**
Медвежьи песни о кислых яблочках . . . . . 258

***У книжной полки***

**Роман ДОБРОХОТОВ**
Вниз по вертикали . . . . . 264
**Виктор ШЕНДЕРОВИЧ**
Комментарий к событиям российской жизни
*/Январь — март 2006 г./* . . . . . 269

***Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»***

Проблемы российской истории и современности
*в русской периодике четвертого квартала 2005 г. — первого квартала 2006 г.* . . . . . 298

### *ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ*

**Галина АККЕРМАН**
Еще раз о диссидентах — об их роли
в падении советского режима . . . . . 309
**Игорь ХОЛОДЯКОВ**
Дневник учителя вечерней школы в колонии общего режима . . . 317

*РЕЛИГИЯ*

**Юрий КАГРАМАНОВ**
О Святом Духе в исламе, «слезах Агари» и других вещах ..... 330
**Ирина БРОДСКАЯ.** Хочу невозможного... (*Из дневников*) ..... 339
Основные события церковной жизни
в зеркале прессы (*Март — май 2006*) ..... 353

***Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»***

Религиозная мысль *в русской периодике четвертого квартала 2005 г. — первого квартала 2006 г.* ..... 359

*ГНОЗИС*

**Жорж НИВА.** Tabula rasa Паскаля и Толстого ..... 373

***У книжной полки***

**Ольга СЕДАКОВА.** Путь к «человеку сердца» ..... 377

***Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»***

Философская, социологическая и историософская
мысль России *в русской периодике четвертого квартала 2005 г. — первого квартала 2006 г.* ..... 382

*ПРОЧТЕНИЕ*

***У книжной полки***

**Лев АЙЗЕРМАН.** Интертекстуальные связи, или
Третий завет от Льва Толстого. *Письмо в редакцию* ..... 392

*ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ*

***Новый реализм: парабола смысла***

**Марта АНТОНИЧЕВА**
О тенденциозности в литературной критике ..... 399
**Андрей РУДАЛЕВ.** Новая критика распрямила плечи ..... 403
**Евгений ЕРМОЛИН.** Случай нового реализма ..... 409
**Станислав РАССАДИН.** Долог путь до Нюренберга ..... 411

***Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»***

Художественная литература (*Первый квартал 2006 г.*) ..... 433

*ИСКУССТВО*

**Сергей ЛЕБЕДЕВ.** Реальности реализма ..... 450

*РАЗНОЕ*

Из почты «Континента» ..... 476

Тамара ЖИРМУНСКАЯ

# НА СТАРОМ МЕСТЕ...

* * *

Нет, ты полюбишь иудея,
Исчезнешь в нем — и бог с тобой!
*О.Мандельштам*

Иисус, но не Христос, а Навин,
который к солнцу «Стой!» воззвал,
с ним, дерзким, Гавриил Державин
себя недаром рифмовал...
Не жены, чьей красе семитской
красы небесной отблеск дан,
омытые и древней миквой[1],
и погруженьем в Иордан,
а их праматери... Не тесно
в шатре, где лишь она и он,
разверсты нежные ложесна,
чтоб множить семя сих племен...
О иудеи! Вас не может
никто спокойно перенесть.
Вас будут гнать, корить, корежить,
петь дифирамбы в вашу честь.
Отец на два тысячелетья
отпустит вас, но у ворот
все будет ждать: «Я с вами, дети!»
и снова дома соберет.

[1] Место, где собирается вода.

**Тамара ЖИРМУНСКАЯ** — родилась в Москве. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Печаталась в «Новом мире», «Юности», «Литературной газете» и других литературных изданиях. Автор десяти книг стихов и прозы. Последние годы работает над книгой бесед «Библия и русская поэзия XX века», аналогичная книга о поэтах XVIII – XIX веков вышла несколько лет назад в Москве. Член редколлегии журнала «Истина и Жизнь». Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» (2002). Живет в Мюнхене.

Здесь Дух Святой... О нем радея,
опять ковчег воздвигнет Ной,
я полюбила иудея,
и гибну в нем — и Бог со мной.

### Чехия, 2004

П.С.

Давай пойдем на Карлов мост!
Шестивековый, величавый,
он вытянулся в полный рост
над видевшей так много Влтавой...
Да, West есть West, а Ost есть Ost.
Был марш пятиконечных звезд —
им вторили соборов своды.
Но швы от танковых борозд
остались на лице Свободы.
Нам всем спускали некий «Гост».
За отклонение от нормы
одних производили в гномы,
других пускали на компост...
Поднимем поминальный тост
за тех, уснувших на погосте —
за Яна Палаха и Костю[2] —
в небесном граде их погост.
Давай пойдем на Карлов мост.
Исцеловав подножье в лоск,
там льнут к святому Непомуку,
американец спросит Муху[3],
а немец спросит: «вас ист кост?»
Там Брунцвик[4] занял вечный пост.
Он связан дружбою старинной
с влюбленной беженкой Мариной.
Ах, верба-хлест, что бьешь до слез?..
Страсть — на любви слепой нарост.
Природа женщины — лианья:
прижать, принять, алкать слиянья,
чтоб руки и душа вразброс.
Давай пойдем на Карлов мост.

---

[2] Константин Бабицкий, участник демонстрации на Красной площади в 1968 году против вторжения советских войск в Чехословакию.

[3] Альфонс Муха, выдающийся чешский художник.

[4] Бронзовая скульптура, любимая Мариной Цветаевой.

Как *тех* нас примет Карлов мост,
и станет все предельно ясно.
Когда собаке рубят хвост,
не спрашивают: «ты согласна?»
Ответ на это был бы прост,
но дар членораздельной речи
не даст и выть по-человечьи...
Давай пойдем на Карлов мост!

## Староместская площадь в Праге

Настроим дух, ускорим шаг.
Зовут, вот-вот пробьют куранты.
На площади всегда аншлаг —
не убывают экскурсанты.

И каждый день, и каждый час,
собрав у башни всю округу,
чтоб коротко взглянуть на нас,
идут апостолы по кругу.

В окошках суженней бойниц
проходят поступью суровой
над сонмом современных лиц
процессией средневековой.

Что думают они, шепча
слова молитвы за пропащих?
Не от Петрова ли ключа
тот солнечный резвится зайчик?

Не безнадежны мы, мой друг, —
в бесчестье нас учили чести.
Иные контуры вокруг,
а мы с тобой на Старом месте.

Повременим, притормозим.
Где нас подкараулит старость?
И сколько лет, и сколько зим
по жизни странствовать осталось?

Тебя ли — я, меня ли — ты?..
Но есть у нас свои гаранты.
Рок выкрикнет: «Кранты! Кранты!»,
а нам послышится: «Куранты»...

Пусть те, чьи зрение и слух
открылись с новым веком вместе,
осуществят семейный круг
на Новом месте.

* * *

Эти мюнхенские эркеры —
рубки старых кораблей...
в край иной уплыли лекари,
векторы души моей.

Как матрос, на берег ссаженный,
лабиринтами брожу,
быт фестончатый, налаженный
скучно-пресным нахожу.

Все музеи перепробовала,
ламинатами скользя,
экспонаты перетрогала,
даже если и нельзя.

Хочешь за́ город — пожалуйста! —
По малину, по грибы.
Так что, мать, смотри не жалуйся,
не беги своей судьбы.

Потому что где — авария,
где — пожар, где — недород,
где — взрывчатка... А в Баварии
не прозрел еще народ.

Не прозрел, не озверел еще,
в целом добр, с набитым ртом.
Если много хлеба — зрелища
отложили на потом.

Так чего ж ты хочешь, беженка,
от совсем чужой страны?
Есть грибы такие — вешенка —
и съедобны, да страшны.

## Киви

Январское солнце не больно-то дарит теплом.
Нагие деревья застыли в напрасном порыве.
Под чахлым растеньем — табличка, где четким стилом
на ярко-серебряном смолью написано KIWI.

Так вот почему мне кислинка попала на зуб.
Больна? Одинока? Полна суетнёй? Догадайтесь!
Давно аксиома, что мир беспардонен и груб,
но все мы желаем еще и еще доказательств.

Я думала прежде, что здесь инвалидский приют —
так много калек и колясок в погожую пору.
Своих ли, чужих ли, но их все везут и везут
по зову души или — будничней — по договору.

Вон с тем стариком, ветераном Второй мировой,
я даже знакома. «Грюз Гот!»[5] — говорит мне при встрече.
Но где воевал, перед кем пресмыкался: «Яволь!»,
не знаю и знать не хочу — это время далече.

Накрашенной фрау, как раз из музея Тюссо,
Уже не проехать nach Russland на службу по сыну.
Бомбежки, блокада, инсульты — ей ведомо все,
ее рассекло, как Стеною, на две половины.

А этот уродец... О Господи, воля Твоя, —
глаза отведу, не подам, что убита, и вида,
но, Землю и Космос в порыве любви сотворя,
зачем не одернул любительниц талидомида[6]?..

Привет, Макаревич! Вы правы — здесь всё, как везде —
рожают, хоронят: затылком — о стену, лбом — об пол.
Тяжелая муть в их очищенной трижды воде,
в их буйную зелень вонзил свое жало Чернобыль.

Но я отвлеклась от вполне заурядной зимы,
с дождями, что льют весь январь и не видно конца им...
Да, это — не рай! Но такие ли ангелы мы,
что все, что не наше, утрируем и порицаем?

---

[5] Приветствие по-баварски.

[6] В начале 60-х годов западногерманские фирмы широко разрекламировали это средство, успокаивающее нервную систему беременных женщин. Трагическим результатом применения этого лекарства явилось рождение большого количества детей с недоразвитыми или отсутствующими конечностями: оказалось, талидомид отрицательно влияет на развитие плода.

# КРУГ НЕПОДВИЖНЫХ ЗВЕЗД

**Роман***

## Первый день войны

Проклятый Запад учил страну победившей утопии, как надо тонко радоваться жизни, и снабжал вещами и мелодиями. Он брал совок голыми руками, без всякого оружия, а дураки еще штамповали ракеты и тратили огромные деньги на оборону и идеологическую борьбу.

Двор, футбол, потное мокрое лицо, книжки про животных и войну, болезни, собирание коллекций, порнографические картинки и мелкие детские грехи, рок-музыка, смотрение фигурного катания с родителями. Бессмысленное смотрение телевизора.

Но иногда из всей этой бессмысленности я выуживал жемчужины. Вдруг телеведущий какой-то программы объявлял: «*Все планеты, небосвод, звезды и земля со всеми ее царствами не стоят малейшего из умов. Ибо он знает все это и самого себя, а планеты не знают ничего. Но все планеты, вместе взятые, и все умы, и все из них происходящее — не стоят одного порыва милосердия, ибо это явление бесконечно высшего порядка...*» Чего тогда не было на советском телевидении!

Так я открыл отправную точку. В первый раз я услышал слово «милосердие».

«Он такой же, как я, только маленький и примитивный» — это был фильм «Его звали Роберт», трагикомедия — с пронзительной сценой с куклой-клоуном на уровне Барро в «Детях райка». Я с тех пор в каком-то смысле был «Робертом». Это был мой эмоциональный и непобедимый («негативный») идеал, идеал без Бога, одинокий, ущербный, наивный и глубокий человек, ребенок и бессознательный герой одновременно. Я даже шаги считал.

Еще мне нравились некоторые формулы вроде «круг неподвижных звезд», пусть смысл ее был туманен и вроде бы противоречил всем выводам школьной науки.

Простая школьная программа по литературе могла вывихнуть неустойчивые мозги, если, конечно, взяться ее, литературу, читать. Первое произведение из школьной программы, которое мне понравилось, было

* Журнальный вариант.

**Александр ВЯЛЬЦЕВ** — родился в 1962 г. в Москве. Учился в Архитектурном институте. Как прозаик и критик печатался в «Знамени», «Дружбе народов», «Литературной газете» и других изданиях. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

«Горе от ума». Я узнал про бунтаря, которым был сам, даже еще не зная этого. Я вдруг открыл, что одиночка может бороться против общества и что общество не всегда и автоматически право, как меня учили.

«Господа Головлевы» обдали глухой темной вязкой водой слов, уносящей в непонятное место, что было когда-то Россией. А от «Преступления и наказания» я едва не сошел с ума. Роман с первых страниц произвел страшное впечатление: все эти засаленные жилеты, скомканные манишки, оборванные фраки, истрепанные кацавейки, жирные волосы, злобные глаза, вонючие пивные, комнаты, походившие на шкаф, пьянство, голод, ипохондрия и, наконец, мечты о диком, невозможном преступлении. Я сам ходил «проверять», сам боролся с соблазном убийства, переживал сон о лошади, которую секут по глазам и заставляют скакать, а потом шел и убивал. Я сам скрывался, боролся с коварным следователем и, в конце концов, сдавался, словно соглашался на мучительную операцию, которая почти равна смерти. Я не спал ночами, меня трясло от этого романа, много раз я хотел бросить и не мог, желая домучиться до конца, словно отвлекаясь от собственных реальных мучений. Роман проехал по мне многотонным самосвалом, заставив пережить весь ужас убийства и существования убийцы. Это была словно тяжелейшая прививка. Я правда не мог понять, как люди, прочитавшие этот роман, пропитанный злом, голодом и неблагополучием, самый жестокий роман на свете, показавший жизнь настолько безблагодатной, настолько жестокой, что уж, кажется, собственного зла и прибавить нельзя, — идут на какое-то новое зло? Или они просто какой-то иной породы?

Школьный садизм приучил меня «думать». Школьная библиотека приучила читать.

Информации приходилось избирать нетрадиционные пути, чтобы пробраться на девственное поле моего невежества. В общем объеме фантастики был прочитан роман Стругацких «Пикник на обочине», про Зону, сталкеров и исполнение желаний. Про волосатого парня, пронзившего циничное сердце сталкера своим странным желанием: «счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным»... Это был квазирелигиозный роман. Это был *правильный* роман. Зона была прочитана как Церковь, не конкретно православная, а *просто*, исполнение желаний как религиозное чудо и молитва, а сталкер — как жрец, медиум, посредник между тем и этим миром, мистический революционер, отшельник и монах в современном изводе. Это была книга про меня и для меня.

А школа, как лагерный срок, клонилась к закату, меняя вид на более нейтральный и пофигистский, но все еще держалась, как крючок в теле, не дающий уплыть. В восьмом появился странный друг Андрей, дылда с уродливым лицом, добрый, но нервный, измученный комплексами и мелкими безумиями. Он надоумил меня сделать из пластилина идола, чтобы молиться ему о счастье. И дал прочесть Сэлинджера.

У Сэлинджера я наткнулся на странное слово *пацифист*. Слово понравилось. Оно устраивало меня возможностью оставаться в пассивно-

сти, не отвечать ударом на удар, занять позицию, где трусость не отличается от человеколюбия. Пацифист, непротивленец — это хорошо сочеталось с нежеланием идти в армию. Я боялся разобраться, чего здесь больше: страха убивать или страха быть убитым, причем своими раньше, чем чужими. Готовности к убийству я в себе не находил. Жизнь убийцы виделась какой-то особенной. Знать, помнить, иногда вспоминать, что из-за тебя прервалось чье-то существование, единственное, что у него, убитого, было. И ведь у него, надо думать, тоже была мама. Это было самое ужасное: убитым и убийцам лучше быть сиротами.

Жизнь вокруг была обманом, страшной карикатурой. Но иногда мне казалось, что серый, прямоугольный, холодный город — это и есть жизнь, жизнь жизни, — не карикатура, а реальность, каждый день напоминавшая о себе назойливо и оскорбительно, подготавливая и заранее наказуя.

Но я верил, что есть иные места и люди, ведь я читал об этом. Я не думал ни о чем конкретном, но верил, что обязательно их найду. Может быть, этот мир был придуман, как и Бог, в духе «доказательства», что мы не смогли бы придумать ничего лучше себя, если бы этого не было в нас, если бы этого вообще не было...

И тогда я нашел Борю... Я подружился с ним в восьмом, отходив вместе год в секцию самбо. Что-то мешало нам подружиться раньше, больше того, я считал его таким же жизнерадостным хамом, как и все остальные в моем классе. Но это был какой-то непоследовательный хулиган.

Начали мы с того, что вместе записывали и слушали музыку. Заодно выяснилось, что он любит читать и принимать прочитанное за форму деятельности. Эти вещи были странно впору, в то время как жизнь не грозила ничем замечательным.

Мы сошлись вдруг и сразу, просто от отсутствия кого-либо другого вокруг на нас похожего. Мы ездили на Самотек за пластинками, с еще одним двоечником и умницей Костей растили хаер, писали на страшные бобинные ящики трудно доходящие альбомы, постепенно переходя к интеллектуальному року и джазу, записались в гитарный кружок и даже изучили ноты.

Только Боре я мог признаться, что живу не так, хочу не того. Например, не очень люблю родственников, не переношу их взгляды на жизнь, не думаю о профессии, не хочу идти в армию, о которой все всегда твердили как о какой-то инициации, испытании, новой и важнейшей ступени биографии, вроде потери невинности. Твердила со злости иногда даже бабка, потерявшая в войну мужа. А я хотел красивого, доброго мира, про который читал в фантастических романах, и любви с умной девочкой.

Боря постепенно изживал первичную и благоприобретенную грубость. Он любил и мог порассуждать, оказался по моим меркам начитан и был весьма верен как товарищ. Но он не строил иллюзий и к жизни относился без увлечения. Некоторые люди словно предназначены для снайперской стрельбы обстоятельств. Мы оба слышали это слово — *неудачник*, кто, ковыряя в носу, сломает палец. Слово пугало, словно проклятие. Кому охота!

Родители были настороже: ясно, что у чужих детей все будет в порядке. А у собственного?

Успехи в школе были минимальны — знания не укладывались во мне. Да и зачем они нужны — чтобы потом, как родители, каждый день вставать чуть свет, ходить на работу, есть, садиться у телевизора и рано ложиться спать?

Я завидовал человеку из дома напротив, который работал по ночам, а днем спал. То есть никогда не ходил на работу. Я узнал, как зовется этот человек — *художник*, и понял, кем я хочу быть.

Но до этого было далеко. Я казался себе глупым и легким. Теряющим очертания от валящихся на меня маминых пирогов. Слишком слабым, чтобы быть смелым, и слишком гордым, чтобы снести даже малейшее оскорбление. От этого я убегал по утрам в кроссовках и подтягивался на антресоли, чтобы охранять себя по-язычески буквально, еще не особенно доверяя словам про непротивление и любовь.

Тело было не врагом, но возможным союзником, только его надо было вымуштровать, как лошадь. Я хотел набраться тяжести, чтобы походить на взрослого. Но что для этого надо? Жить с проблемами, как все?

### Подойди ко мне!

Я терялся, глядя на коротышку-армянку из соседнего подъезда, которая и к двадцати годам была не выше десятилетнего ребенка. Притом что у нее была сестра-красавица с толстой черной косой, за которой слонялся весь двор. Единственным ее дефектом были маленькие усики. У коротышки же были настоящие мужские усы. Но хуже всего был калека из подъезда напротив, кособокий дылда с торчащей во все стороны бородой на детском лице. Я просто отводил глаза и вычеркивал этот факт из своей жизни. И все же каждый день смотрел на него из окна. Вот кому хуже всех. Но это не утешало.

Много лет подряд, каждый день, его приводили старые отец и мать, не достававшие ему до плеча, и оставляли на лавочке прямо перед моими окнами, и он сидел на ней весь день и кричал истошным голосом одну-единственную фразу: «Пахахи ха ийее!» И однажды я вдруг понял, что кричит калека: «Подойди ко мне!» Но никто и не думал к такому страшилищу подойти: ни взрослые, ни дети.

Я заметил, что с непонятной болью стал реагировать теперь на всякое уродство, несчастье, проклиная несправедливость и жестокость жизни, чему не мог найти объяснения и не мог никому простить. Даже Богу, в которого я не верил из любви к Нему. Потому что милосердный Бог не создал бы такого мира. В худшем случае Он не создал бы никакого.

Мы спорили об этом с Борей, упражняясь в теодицее, сами того не ведая.

Родители Бори были со слабым диссидентским уклоном и верили во все глупости своего круга: Блаватскую, тарелки, экстрасенсов, — бегали на лекции Зигеля, хранили дореволюционного Ренана, советского Ша-

ламова, ксерокопии Налимова и прочие чреватые книжки, несвоевременно и против воли приобщая к ним Борю. А Боря как откровениями делился со мной.

Не сговариваясь, не обозначая это в словах, мы решили получить *свое* образование. Мы, как одеждой, менялись мыслями, книгами, поощряя старания, роя туннель навстречу друг другу.

— Это единственное, что осталось хорошего в мире, — сказал он. — Музыка и несколько книг.

Ночами мы вели споры о христианской морали, допустимости насилия, возможности обойтись без него.

Одна жизнь — это источник многих жизней, и прекращение ее — это прерывание их всех, словно обрушение пирамиды. Не появятся новые глаза, смотрящие на мир. И мир будет пустыннее и холоднее без них.

Во всяком случае, есть одна несомненная истина: всякий живущий хочет продолжения своей жизни. И ему странно, что на него смотрят через прицел, предписывают умереть. Предписывают не те, кто его рожал, воспитывал и любил.

Я говорил об этом с родителями. И услышал, что отрицание войны обрекает родину на поражение. «А почему надо любить только эту родину? Почему нельзя любить весь мир?» — наивно спросил я. И в ответ услышал, что я рассуждаю, как *космополит*. Меня думали обидеть, а я обрадовался этому *космополиту*. Ведь это освобождало от чрезмерной преданности одному обществу, где я должен служить в армии, где должен быть не тем, кем неопределенно хотел быть, а, наоборот, кем-то другим, в форме или с галстуком, в отутюженных брюках, с газетой. Согласным на любые манипуляции с собой. На любые превращения, как гусеница.

Говоря о ценности чужой жизни, мы весьма низко оценивали ценность жизни самой по себе. Мы не понимали, что такое *счастливая жизнь*, что такое *обыкновенная жизнь*, и, как Антисфен, предпочли бы сойти с ума, чем наслаждаться. Получать любое наслаждение от тела или от жизни — это страшный оппортунизм и предательство. Жизнь — невозможна, существование — трагично, и цель жизни — побыстрее и поярче умереть. Особенно на смертельном исходе настаивал Боря.

Мы спорили о безумии, причастным к которому хотели быть, как к некоей избранности.

Почему *юность* так склонна к *безумию*? — добивались мы.

Ответ был прост: потому что она наиболее безоружна, потому что она выходит в мир, как в чужой. Есть два выхода — либо слиться, стереться с ним, либо отгородиться, противопоставить что-то свое, не менее значительное. Обычный человек, не испытавший искушения знанием, не страдающий от недосыпания, не алчущий всего, что мир может дать, чтобы победить и презирать его, столкнувшись и прилепившись к серой среде, которая — всюду, с ограниченными и на свой лад веселыми людьми, затерянный среди средних возможностей, довольный «мгновенным просветлением» в общем интересе неинтересования, простым и непритяза-

тельным вкладом в копилку жизни — такой человек никогда не почувствует позыва к безумию... Поплывший по великой реке, в то время как другие кладут свой разум, чтобы поперек нее переплыть.

### Отшельники

Институт сперва мне понравился: старый графский дом в центре Москвы (которую я почти не знал), обращение на «вы», так что начинаешь за что-то уважать самого себя и кажешься себе хрен знает каким взрослым. Студенты — не чета моим худым школьным идиотам, хотя тоже еще очень грубые и зеленые... Но потом навалили столько заданий, сколько на первых курсах лишь и бывает — только успевай запоминать да бегать по пяти этажам и что-то пытаться понять, что с непривычки трудно. А в спину рычат: отчислим, отчислим, у нас с первых курсов вылетают проще всего!..

День начинался с зеркала: я искал новые прыщи и ревизовал старые. Они были как красный светофор, на который, как я считал, все только и обращают внимание, не замечая больше ничего.

Тем не менее возникло много знакомых, едва не все — от музыки, эвфемизма свободы, прекрасного параллельного мира, новой религии с ее бесчисленными, бесстрашными, фанатичными пророками. Появилось много приятелей и один наибольший, на уровне друга, длинный черноволосый Герман, названный так в честь Германа Титова, в год полета которого родился, первейший (хоть и очень засекреченный) нонконформист группы: он проповедовал рок-музыку, свободную любовь и портвейн. Он, как положено, был длинноволос, как положено, ненавидел совок и даже читал «Чайку по имени Джонатан Ливингстон».

Я рисовал в тетради очередную прекрасную волосатую рожу, нечто среднее между Христом и рок-музыкантом. А преподаватель истории партии товарищ Каждан, маленький сухопарый черный человечек, долго распинался о прекрасном свободном строе, при котором нам посчастливилось жить, и о задачах партии, стремящейся сделать эту жизнь еще лучше. С места раздался довольно смелый вопрос: так есть у нас цензура или нет?

— Нет, — был ответ.

— Почему же у нас не печатают Солженицына?

— А зачем выносить сор из избы и радовать наших врагов? — резонно заметил товарищ Каждан.

— Так они и так все знают.

— Люди, сбежавшие на Запад, не вызывают доверия. Лично я не могу верить предателям. Надо жить здесь и что-то делать полезное для своей страны. А не огульно критиковать. Это проще всего.

Ничего себе проще!

Я убедился в этом довольно скоро. Стало мне вдруг западло сдавать комсомольские взносы. Я знал, чем это пахнет, но хотел проверить рамки свободы, о которых столько твердил товарищ Каждан.

На созванном в мою честь собрании группы все внезапно напали на меня, словно я предал что-то дорогое и ценное, обосрал гайдаровскую Военную Тайну. Это было совершенно неожиданно: я же знал, как они относятся к этой организации на самом деле. Но не мог же я сказать: а помнишь, что ты говорил мне тогда-то на улице?!

— В то время, как комсомольцы строят БАМ!.. — с пафосом клеймила меня комсорг группы.

— Зеки у нас строят БАМ, а не комсомольцы, — отбрил я ее позаимствованной у Бори формулой, чем навлек на себя окончательную обструкцию.

— Я бы с ним в разведку не пошел! — подвел черту татарин М., человек серый, неталантливый, отслуживший в армии и поэтому убежденный в каких-то своих иллюзиях на правду.

— Я бы сам с тобой не пошел! — вернул ему.

Герман с серьезным лицом смотрел в стол, но ничего не сказал. Ни за меня, ни против.

Товарищ Каждан, который был еще и парторгом института, почему возглавлял собрание, с одобрения комсомольцев группы поставил ультиматум: платить комсомольские взносы или выметаться из института. Принято единогласно, включая Германа.

Я сдался — не перед их численным превосходством, а перед нерадостной армейской перспективой.

Высокомерно и пренебрежительно бросил в следующий раз комсоргу деньги.

— Не надо показывать, как тебе все противно! Не хочешь платить, так бы и говорил на собрании. Никто тебя не заставлял обещать!

Это у них называлось — не заставлял!

Германа я простил. Мы довольно долго прощаем тех, кого любим. Да и не важно мне было все, что творилось в институте. Институт не был ни целью, ни смыслом, но просто отсрочкой.

Я жил в каком-то современном лесу и спасался тем, что читал книги. И вместе с Борей думал о жизни вообще, где нам, как казалось, не было места. Все, кроме плодов нашего воображения, задевало и ранило нас. Но, возможно, это тоже было воображением, и плоды его были горьки.

Нас не устраивал город, страна, государство, люди. Эти вещи были тупы и враждебны. Они отрицали мое право на свободу, они не признавали во мне личности, с интересами которой нужно считаться. В тайной лаборатории беспочвенной мысли вызревал страшный план: стать бродягами, *отступниками*, как герой моего любимого рассказа Джека Лондона. Можно ли сейчас так жить? Пока мы не видели никакого выхода. Только *кафкианская нора*, как *единственная* альтернатива. И выходом из нее был только Бог.

Бог этот был странный. Но хорошо подходил обоим. Бог этот вылупился из чтения фантастики и споров о трансцендентальном, о чудесах,

летающих тарелках, экстрасенсорике, йоге, Блаватской и много чем еще. Это было серьезно, как бывает у детей серьезна игра, а у ученых — научный спор. Мы говорили и не верили, но уже не могли этого признать, как заложники чести. Мы говорили о христианской морали, но никогда не говорили о вере в Христа как в Бога, признавая любую религию ограниченной. Оба были космополиты (в натуральном значении слова), и мне все более интересно было прочесть Библию.

Мы зарывались довольно глубоко, круша логические построения друг друга, и тогда же находили доводы и лазейки для контратаки, прибегая и не прибегая к авторитетам. Это было интересно и небесполезно. После споров я шел домой, как в тумане, легкий и словно неуязвимый.

А дома ждала очередная порция моющих голову средств. И я тут же бросался в бой, защищая новенькую, едва вылупившуюся истину, используя едва обретенный опыт, с привлечением авторитетов, с логическими контроверзами. Родителей это злило. Они тоже спорили, в конце концов каждый раз архаично ссылаясь на свой высочайший авторитет — интересы общества, в котором мне надлежит жить. И однажды я высокомерно ответил, что вовсе не собираюсь жить в обществе.

— А где ты собираешься жить? — иронично спросила мать.

— Буду бродягой. Буду жить, как жили отшельники.

Она не могла сдержаться и крикнула привычное:

— Ты идиот!

Я был оскорблен, но все-таки не хлопнул дверью, как сделал бы слабый, но с пеной у рта стал доказывать, что нет: *все* было продумано.

— Эти люди верили в Бога! — аргументировала мать. — Это было другое время. Они жили по другим законам.

— Я тоже верю в Бога.

— Что ты сказал?! Нет, повтори, что ты сказал!

— А что здесь дурного? Я верю в Бога, Евангелие — великая книга, там даны все ответы, плохо, что нам не дают ее читать...

— Ну так иди в церковь, молись там! — обиделся отец, спортсмен, мастер на все руки, с поплавком техвуза на лацкане старого пиджака. — Где ты этого набрался? Поповская чушь! Дурак и совсем с ума сошел!

Бога ради! Важна мне их оценка!

Но как это осуществить — веру? Какой я, к черту, христианин! Я даже не крещен. Впрочем, это формальности. Хуже было то, что я и Евангелие в руках не держал...

Я хотел обогнать и свои чувства и свою жизнь, проверяя порох и обозначая границу, отделяющую от убогого среднестатистического человека, выразить все свое презрение к этому образу жизни, где нечего защищать, кроме места в очереди на импортный унитаз. Нужно ли это было говорить, даже если и верил? Не терпелось своеволие показать? Действительно ли я верил? Более — хотел поразить. Не очень подготовленная, но преступно выношенная диверсия.

Наутро я с гордостью рассказал о приключившемся Боре. Но Боря, кажется, догадался о случайном и диверсионном характере подвига и

не придал этому значения... Зато сообщил, что Библию можно купить в храме.

Я любил эту грустную голубизну зимнего вечера, когда вещи и краски флюоресцируют, так что каждая вещь и весь пейзаж в тени и на свету одновременно. Желтые фонари светят сквозь туман, а предметы и места становятся неузнаваемы. Так что через пятнадцать лет я не смог бы вспомнить, где бродил и в какой храм зашел. Эта топография навсегда исчезла, как и жизнь, и этот город, и мои тогдашние мысли.

А в храме был желто-алый тусклый свет, свечи, строгие темные прихожане, страшный череп под ногами деревянного Христа. Запах старости, чистоты и торжественности, как на похоронах. Словно эти люди добровольно хоронили себя сейчас. Умирали в Боге. Что-то такое я понимал, но это было тяжело... И какой-то страшный бородатый старик, привратник что ли, сердито посмотрел на меня и сказал: «Не вертись! Стой лицом к алтарю». «Не вертись, стой ровно, слушай, что говорит старшая пионервожатая...» — пронеслось эхом в голове. Я смутился, обиделся — я ведь разглядывал фрески, — и поспешил спросить: можно ли купить Евангелие? «Нет, — ответил старик, — сейчас нет». Он не почувствовал ко мне никакой симпатии, не захотел ничем помочь, не поддержал в моем первом знакомстве с катакомбой. И поделом, наверное, я сам был нелеп. С краской на лице я тихонько устремился к выходу.

А на улице еще стемнело. Небо было низко, лилово и прозрачно, как перламутр. Наполнено ровным светом, чуть розовеющим со стороны заката, словно кровь под тонкой кожей. Стены домов в голубом тюле, тихо колеблющемся на ветру из лютого мороза. Все казалось близким, неправдоподобным, застывшим, словно безветрие было безвременьем. И грустно, и хорошо, словно немного пьян или сошел с ума.

Теперь я мог сказать: христианское коллективное, экзальтированно откровенное стремление к свету — через обращение к источнику добра, даже если сам объект обращения иллюзорен, — вот в чем красота религиозных гимнов, религиозных чувств. И пока отсутствие предмета их веры не доказано, есть всегда правда в утверждении, что добро хорошо и что *лучше с Христом*, чем с недоброй истиной.

Мне-то все было ясно, мировоззрение выстроено даже вопреки бородатому старику. Старик был искушением.

И уже ранней весной — теперь вдвоем с Борей — мы поехали в Троице-Сергиеву лавру. Я смело вошел в иконную лавку, где, естественно, не было ни Библии, ни Евангелия, и купил картонную икону Христа: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга»...

### Легкое дыхание

Я возненавидел свое тело — за то, что оно ест, испражняется, за то, что вообще есть и невозможно доказать, что ты и оно — две разные вещи. Я хотел сокрушить его аскезой и отказом, как отшельники из

книг о Вивекананде, как христианские мистики-исихасты (тексты я регулярно получал от Бори), — вывести его и себя на небывалый уровень духовности, когда в поверженную, усмиренную, истончившуюся плоть свободно, как лифт в шахту, входят континуальные поля сознания. Женщины в этом проекте, естественно, не предполагались. Хотя нравиться им все равно хотелось.

Было произнесено великое слово: *вегетарианство*. Оно вышло из чтения рассказа Чехова, а не, как можно подумать, из Толстого и всяких ведант и буддизмов. В этом начинании я снова огорошил мать, не готовую (из любви, конечно) к такому повороту событий. В отсутствие охоты с ее стороны пришлось почти отказаться от пищи вообще: не стоять же мне у плиты, как простому смертному, и по наитию готовить макароны!

Я исхудал до желанного предела и стал спиритуален, как мертвая бабочка.

Каждый день я возвращался домой все позднее, все более студентом, все с более тяжелой сумкой. Я не гордился колледжем, колледж был чепухой: я ломал себя — слабость должна быть наказана. Жизнь надо не облегчать, а усложнять. Только так можно выжечь всю накопившуюся дрянь, неизбытое детство, непереваренную взрослость. Чтобы не было ни одной мысли или поступка, который можно было предъявить тебе как улику. Поэтому до кучи не пользовался лифтом, лишь в исключительных случаях ездил на автобусе, почти отказался от еды. Я принял обет молчания, во всяком случае, полумолчания, исключив себя из бессмысленных разговоров в аудиториях. Я считал, что несу несусветную чушь, стоит лишь начать самовыражаться, то есть стать глупым и банальным — в угоду обществу (которое не очень-то и оценивало ту чушь, какую я мог сымпровизировать). Я вообще любил так делать: в четвертом классе поспорил с приятелем, что не буду ругаться матом — и сдержал обещание, что выдает, пожалуй, излишний педантизм. Теперь я решил стать совершенным, как герой одного знаменитого романа.

Нам хотелось альтруизма и подвига. Боря все больше склонялся, что с властью этой сраной надо бороться так же грубо и жестоко, как она сама все время делала. *Сегодня самый лучший день, Пусть реют флаги над полками, Сегодня самый лучший день, Сегодня битва с дураками* — провоцировал Боря, уверенный, что без пролития крови не обойтись.

### Конец детства

О смерти Джона Леннона я узнал перед лекцией по истории искусств. Чувак из группы показал мне крохотную заметку в советской газете. Прошлый раз он подсунул аналогичную писульку, где разоблачался Pink Floyd, якобы не заплативший детям, певшим в «Стене». Показано было не без торжества. Ясно, что в нормальных людей не стреляют. Да и в нормальной стране.

Не то чтобы я очень любил Леннона, и к Битлз совершенно охладел. Но это было еще одной каплей в моем взгляде на ход эпохи. 80-е я

воспринял безоговорочно трагически. Кончились великолепные 70-е, кончилась лучшая в мире музыка, кончилась безвозвратно. Жить дальше не стоит.

*Все, что тебе нужно, это любовь*

А тут еще дубиной по башке фильм Тарковского «Сталкер» на закрытом просмотре в МИДе, куда мать достала билеты. В нем ничего не было от романа, так вставившего меня несколько лет назад. Это был совсем другой сюжет, обостренно богоискательский... «*Ведь ничего не осталось у людей на земле больше. Ведь это единственное место, куда можно прийти, если надеяться больше не на что. Ведь вы же пришли! Зачем вы уничтожаете веру*?!» И вдруг это страшное, режущее по нервам: «*...и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь...*» — из еще нечитанного Апокалипсиса, который я тем не менее сразу узнал, и потом это удивительное, тогда еще неатрибутированное: «*Слабость велика, а сила ничтожна. Человек, когда рождается, он слаб и гибок, а когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево рождается, оно слабо и гибко, а когда умирает — оно сухо и твердо. Твердость и сила — спутники смерти. Хрупкость и слабость выражают юность бытия. Поэтому что отвердело, то не победит...*» Позже, благодаря Боре, я узнал, что это цитата из «Дао дэ цзин», искаженная или странно переведенная. Этот фильм был заучен наизусть, как клятва пионеров.

Благодаря такой практике я сделался мрачнее гробовой доски. И соответственно на порядок «духовнее»...

Я возвращался домой в глухих сумерках, мрачный, гордый, с поднятым носом, невыносимо чуждый, мимо своих бывших дружбанов, собиравшихся каждый вечер в подъезде, умеренно пьяных, умеренно агрессивных. Ни одного кивка, ни здрасть-пожалуйста, просто не видел их.

И вот однажды в конце октября бывшие дружбаны остановили меня у подъезда. Им хотелось узнать, что я вые..ваюсь? Я стоял с большой доской для черчения и не мог понять, чего они от меня хотят. Вдруг один из них объяснил, ударив ногой в зад. Я сказал, что это подло, и вошел в подъезд.

И кошмарный стыд пронзил меня. Я был тогда весь в любви (о ней — ниже) и решил, что после такого несмываемого оскорбления никак не смогу считать себя достойным рыцарем прекрасной дамы...

Я вошел в квартиру, поставил подрамник, сказал бабушке, что сейчас вернусь, и спустился во двор. Дружбаны все еще стояли у подъезда, точили лясы. Я, не говоря ни слова, кинулся на своего обидчика.

Паренек был слабее, но с амбициями — и с дикой яростью пытался от меня защититься. Но я тоже был в дикой ярости — и если бы нас не разняли, мы, наверное, загрызли бы друг друга. Ведь я дрался за любовь. Мы даже формально примирились, я доказал, что так со мной обращаться нельзя. Что легенда, что меня можно бить, — в прошлом.

Я поверил им — и напрасно. Темным осенним вечером мой обидчик и его приятель, самый старший и здоровый из них, подстерегли меня на

темной узкой лестнице, по которой я шел, как всегда игнорируя лифт. Я сразу кинулся на самого большого и опасного — в ближний бой, который хорошо знал, когда кулаки, которыми два козла хотели все решить, бесполезны. Второй дебил был практически нейтрализован: он скакал вокруг и наносил несильные удары в голову и спину, боясь попасть в приятеля, и пытался оторвать меня от него. Когда это наконец удалось, удары посыпались более сильные и прицельные. Я кинулся вновь, и все повторилось. Это происходило в гробовой тишине и могло продолжаться долго, если бы у изнуренного постами и болезнью тела было больше сил.

Физически победа была на их стороне, морально — ни на чьей. Я понимал, что мне, как в детстве, наладили в пятак. Но не мог понять, почему эта связь с детством продолжается, не прерываясь, как пуповина, оставляя меня на той же неустойчивой ступени, где происходят события, недостойные взрослого рефлектирующего ума? Рефлектирующий ум не мог это понять, как невозможно понять: зачем в мире, в котором существуют звезды, существуют и блохи?

А ответ прост: это мир блох, а звезды даны нам в утешение.

На следующий день я сорвал со стены и выбросил в мусоропровод много лет собиравшуюся коллекцию сигаретных пачек.

— Зачем? — спросили родители, никогда не разделявшие моего увлечения, но любившие показать коллекцию своим курящим гостям, благо она красиво занимала полстены, подмигивая всеми красками западного промышленного дизайна.

— Конец детства, — ответил я туманно...

### Хроника падающего Икара

Первое Евангелие я получил от профессионального журналиста, приятеля матери. Евангелие и том Пастернака. Евангелие понравилось, Пастернак — нет. Там было много про природу, тонкие, очень тонкие переживания, прихотливо выраженные элементарные вещи. Никаких попыток постичь мироздание, поговорить о Боге, о настоящих вещах (стихов доктора Живаго, там, естественно, не было).

Евангелие же я читал минута за минутой, и так два часа. Изредка я будто просыпался, и видел улицу, и слышал разговоры в квартире, и снова впадал в транс чтения. Мать трогательно и неуклонно приносила то яблоко, то кусок пирога, отрывая от чтения и напоминая о себе.

И наутро я в отчаянии сидел на кровати, с тяжелой больной башкой, обхватив лицо, и думал, думал, что все не так, не так!.. Я не знал, что я завоевал этой ночью, чего добился? Да и было ли что-нибудь? Мир не подходил под эту сложность... Но первой обидой, первой бессмысленной злобой, лживым или пустым звуком — воскрешал и обновлял желание ее.

Оставалось одно — выбрать это не так, доказать, что это так, чтобы не было этого постоянного противоречия, упрека, чувства невыполненного долга.

...Я опять зашел в храм, случайно, по дороге, — Пресвятой Богородицы у Яузских Ворот, XVII века — посмотреть архитектуру и фрески — и почувствовал, что вырвался.

Меня удивляло, что в церковь пускали всех, что она вообще почти всегда открыта, как бывает открыта и доступна природа — и, как природа, совершенно бесплатна. Поэтому разрушатся дома, сгинут без следа государства, и только церкви, обветшалые, укрепленные сердцами десятков поколений, создававших их, будут стоять, только они настоящий дом, открытые ворота для каждого, место для соприкосновения с самой сутью прекрасного и невозможного...

Какой-то странный, словно аптечный, запах и покой — даже более чем аптечный. Алчный, суетящийся, бессмысленный мир остался за стеной, в тысяче километров. А этот, внутри, где жизнь текла едва ли не задом наперед, прямиком в прошлое и снизу вверх, — еще не был моим миром, но, может быть, я был готов сделать его своим. Сейчас я был здесь как на экскурсии, язычником-туристом, самозванцем, в лучшем случае «оглашенным», невежественным и спесивым неофитом, не желающим признавать свое невежество и делать первый шаг. Всякая любовь в моей жизни проходила по этому маршруту.

Выходя из церкви, наткнулся на паперти на троих нищих: две старухи и старик. Они сидели на подоконнике, как на скамье. Старухи (леонид-андреевские, в коричневых салопах и серых платках, сморщенные пуговкой носы и морщинистые невинные лобики с нависшими надбровными дугами, под которыми прятались колючие глаза: они даже могли напомнить пикенесов, если бы не выглядели так враждебно) подняли глаза и хором запросили копеечку. Старик только протянул руку, но глаз не поднял. Я дал им по пятаку, а старику пятнадцать: другой монетки не нашлось. Когда я уже закрывал дверь, услышал, как старухи стали обсуждать улов, и увидел обращенную к старику злую мину: повезло!

На улице еще раз понял: нельзя полюбить этот мир, не исторгнув... Если бы человек был детерминирован (как *они* пишут), он бы не страдал. Или страдал, если бы общественная среда целенаправленно заставила бы его страдать.

А в автобусе на задней площадке подумал, почему мне неуютно в храме, нехорошо, чужаку, не знающему ритуала, не умеющему лицемерить и подчиняться. И что Бога нельзя защищать с потом на лице, скрупулезно и нудно. Что Он — это радость и очевидность. Иначе Его и не надо.

### Коллекционер дождей

...Он шел по стремительно темнеющей улице с сумкой с книгами через плечо. Ни одного учебника, ни одного конспекта. Все худлит или что-то заумно-философское, не имеющее никакого отношения к будущей профессии. Небо кидалось пудовыми снежинками. Сзади исчезал грандиозный оплот науки, на которую ему было наплевать.

Его интересовали Афины и Рим, Ренан и древние евреи, гениальные тираны и умирающие боги. Его не интересовал Маркс, не интересовали *победившие* идеи. Какая дрянь! Хуже, чем свинец в водопроводе.

Он оглядел себя в витрине с ног до головы: шпион. Шпион в зоне победивших идей.

Каждый день его начинался с института — с тощей сумочки через плечо, из которой торчал все один и тот же уже свернутый в трубочку замызганный ватманский лист. Он, однако, редко поднимался выше вестибюля и дворика, где проходило все веселье.

### Дочь луны

Весна пахнет. У нее есть особый неповторимый запах. У нее много солнца, земли, тепла — после столетней зимы, накопленной в складках города.

There I was on a July morning Looking for love... В весенний день бродя в своих «поисках наугад» в районе Речного вокзала хочется любить и хочется любви. А кто вон тот человек, что идет? Полюбит ли его кто-нибудь? Не поздно ли будет?

И сегодня, глядя, как закрываются двери метро, мне вдруг захотелось полюбить кого-нибудь. Я вглядывался в лица и все искал ее. И не было, а откуда-то как будто помнил, это отчаяние, эту страсть, это солнце. Откуда?

И я влюбился мучительно, губительно и насмерть. Нашел тоненькую, хрупенькую, чахоточную на вид, словно из романов Достоевского. С длинными волосами. Я, не знавший женщин, кинулся туда сломя голову, по-книжному, романтически — и нашел такой ад, которой только и мог родиться из придуманного рая.

Кто-то прислал мне на лекции «Канцелярскую книгу», такую огромную, что ей больше подошло бы название «амбарная», с пометкой: «Пиши в нее стихи для меня». Тетрадь была любовной наживкой, но чьей? Кто была эта романтическая незнакомка, посчитавшая меня поэтом? Кто смотрит на меня этими глазами? Кто так поймал меня?

И одним зимнем днем мне вдруг показалось, что я уловил этот взгляд. Она прошла мимо, и я удивился и обрадовался ей. Ее тонкому, узорной вязки прозрачному свитерку, через который белела кожа. Немного угловатая, почти без груди, почти девочка. Потом я увидел ее на улице. Были только ноги и волосы. И она ходила на этих тонких ногах, со спрятанным под волосами, как у святой Инессы, телом — чуть изогнувшись, плечи откинуты назад. Серьезные серые глаза без улыбки глядели на мир. Одних этих волос было достаточно, чтобы я поверил.

Не то чтобы я ее раньше не видел. Я тогда столько увидел, что вот хоть и увидел, а не заметил.

Первый раз что-то было, наверно, спустя полгода. В институте устроили просмотр только что вышедшего фильма «Полет» со Смоктунов-

ским — по роману Вежинова «Барьер», недавно мной прочитанному, — про летающую девушку. И теперь я подсуетился с билетами, разагитировав всех подряд, начиная, естественно, с Германа.

И с этими билетами стоял перед входом в зал, отказывая несчастным опоздавшим. А она подошла, и за нее, для нее попросили (ее подруга Лена). Да, даже попросила не она сама. Но как она тогда посмотрела! Мы стояли очень близко, и метра не было, не увернуться, и вся сила пришлась практически в упор. Я без колебания продал билеты. Тогда-то, собственно, я и увидел ее первый раз.

И, странное дело! — девушка из фильма — будто на нее похожа была. И очень многое там было, в том фильме, что ко мне и к ней относилось. Или мне это потом стало казаться? Она была из другой группы, я и имени ее не знал, но всегда радовался, когда встречал ее в коридоре.

Так прошло больше года, пока с первых теплых дней наш курс не стали вывозить на Крутицкое подворье на этюды...

Наша группа подошла запоздавшей гурьбой, и я увидел ее, всю белую, в белых штанах, с длинными белыми волосами на фоне коричневой монастырской стены. Она мельком взглянула на нас и отвернулась. Я долго выбирал место, чтобы встать так, чтобы видеть ее. Зачем? Не знаю. На этот раз она мне напомнила девушку из «В четверг и больше никогда», красивого, странного и любимого фильма.

Я в первый раз увидел, как она рисует. Она беззвучно поднимала и опускала голову, водила карандашом. Ее длинные золотистые волосы распадались, как рукава реки — и плечо было водоразделом. Иногда она небрежно и быстро откидывала за плечо прядь, мешающую рисовать. Я подумал: зачем прекрасной запечатлевать прекрасное? Зачем соловью разучивать каприсы Паганини? Прекрасное запечатлевают от недостатка собственной красоты, а не от его полноты. Но об этом не шла речь: даже в прививании правильной эстетики здесь была казарменная унификация, формальный подход, не знающий чуда, не допускающий исключений. Преподаватель ходил и правил.

Отворачиваясь, я мог забыть о ней. И в тот же миг процедура рисования теряла смысл. Чего ради было насиловать глаз и руку? Ни церковь, ни сама живопись не могли быть для меня самостоятельной целью. Я еще не мог оживить это сам, я хотел оживить это чьей-то чужой душой, чужим несомненным совершенством. Вот была форма, которую я хотел бы запечатлеть, а церковь была ее страшно искаженным отражением, некоей подменой или начальным наброском, штудией, в которой никто бы не узнал оригинал, хотя, может быть, что-то почувствовал, оценив любовь и тщательность.

До конца оставалось немного времени. А она была все так же далека, лишь иногда вставала со стульчика и подходила к приятелям. А для меня их как будто вообще не было. Я был один с ней, и я испугался этого чувства. И огорчился своему испугу.

Мне надо было пройти пятьдесят шагов. Всего пятьдесят шагов! Ведь я с ней даже не был знаком.

...Она ничуть не походила на загадочных прерафаэлитских женщин или утонченных женщин модерна, мучительных чаровниц и насмешниц, которых я боялся и которыми восхищался, она походила на скромных ангелоподобных полумонахинь с Гентского алтаря.

Любил я таких, беленьких, тоненьких, анемичных, не очень веселых, не совершенно красивых, одиноких, с какой-то своей жизнью и думой в лице. А тут еще существо молодое, полное жизни, расточающее опасные флюиды, как цветок весной.

В этом месте я пережил самые светлые часы и теперь по любому поводу возвращался сюда, как студент Ансельм под свой куст бузины. Чтобы с еще большей мукой вспоминать этот фантастический день и ощущать его невозвратимость, и что сегодняшний конец зимы не равен тому маю. Я ждал ее, ту, которая не знала, что я жду ее здесь, и у меня не было надежды.

Она поверит, думал я. Я же выбрал ее для себя. Я выбрал, что подходило мне, что близко мне. Значит, должно же так быть и наоборот?!

Чего я ждал? Без ее любви с этого дня я не мог уже вообразить себе ничего. Но где-то я ошибся. Я знал теперь! Сколько я думал об этом, еще бы не знать! Но откуда мне было знать тогда, что все имеет конец и есть минуты, на повторение которых нельзя рассчитывать. Я так и не прошел эти пятьдесят шагов.

Она была такая родная, что я считал ее давно своею. Я много мысленно говорил с ней, целовал ее и резвился в этой придуманной любви.

Однако и в этом придуманном я пугался за себя, не доверяя себе и сомневаясь. Я уже знал, что надо во всем сомневаться. Это была добродетель, одна из самых гнусных на свете.

Как человек сомневающийся, лишенный порыва и инстинкта, я хотел, чтобы ко мне подходили, брали и вели. Подойди ко мне! Я бы только пальчики на ногах целовал. Но где там — не слышит и не знает!

Разочаровавшись в своем подворье в качестве мистического места встречи и не найдя другого, я умирал на лекциях, сходил с ума дома, писал безумные, подернутые мистическим флером стихи, обращенные к ней или ею вдохновленные, — и заносил в «Канцелярскую книгу».

Любовь сразу сделалась мукой. Как вонзилась она в пресловутое это сердце! Вот эта девочка! Как? Что она сделала? Или я сам всему виной?

В такие дни я уже не боялся ее разлюбить — и потерять все, что у меня было, — а хотел. Я не выдерживал, я боялся за свой разум. Иногда, в дни, когда я ее не видел, я, казалось, остывал. Я даже наслаждался призрачным покоем, надеждой, что болезнь отступает.

Как я мог так думать, как я мог не хотеть видеть ее всегда, когда *так* любил? Видя людей, идущих под руку, я ловил себя, что не хотел бы так ходить с ней. Я не видел в этом никакого смысла. Да и говорить я не знал о чем. Я понял наконец, что не жизнь с ней мне нужна, а лишь чтобы она повернулась ко мне и сказала мне что-то обо мне самом. Я хотел не любви, не семьи, а какого-то кристалла, сказки двоих...

На лекции по благоустройству пришла записка: «Если вам нужен друг, скажите». И подпись одним не очень разборчивым инициалом «К». Вот, что было в письме.

Минут пять я не мог взять ручку. Потом дрожащей рукой, ужасаясь своему почерку, который мог выставить меня человеком малограмотным, написал: «Столь долго он Вам был не нужен...»

В этом месте бес чуть меня не попутал, и я не приписал: «Не пишите мне больше». Вот бы посмотреть на нее, когда бы она это прочла! Как мне хотелось отомстить!

Но я любил ее. Я выбрал ее из всех. Я любил ее.

«Я же учусь обходиться без друга. Но если он нужен Вам, то он Ваш, как и прежде, как и всегда». И отправил записку тем же путем назад.

Я задумался, зачем я это приписал. Все это было весьма глупо: я ее упрекал и снова становился перед ней на колени. Я ждал, какой будет ответ. Мир был такой странный.

Я ждал ответа. Но назад ничего не пришло. И не пришло никогда.

Прошла еще пара безответных недель. Неужели я ошибся в ответе, написал что-то не то? Обидел ее, испугал? Но теперь я знал, как надо действовать.

В моей записке, собственно, ничего не было. Или было очень много. Я просто приглашал после лекции — погулять. Всего-то. Но и это как смерть.

В полубреду я пошел вперед, приблизительно к ней. Она ждала в коридоре. Увидев меня, она опустила глаза. Она знала меня, хоть нас не знакомили и мы не связали вместе и двух фраз. Было не заметно, чтобы она смертельно удивилась. Это было хорошо. Может быть, это было нормально — проявлять свои чувства. Может быть, все, в том числе и она, давно о них догадывались, если так безошибочно опустила глаза в коридоре? Или нет? Впрочем, я не мог уже думать: совершаю я что-то дикое или нет? Я вообще уже не мог думать.

Мы шли, и я все дрожал, нервничал и не мог начать разговор. Слов было слишком много, тема так развилась и далеко ушла, что я забыл, что бывает в начале, самые простые слова. Я уже все с собой обсудил, все вопросы задал и сам же на них ответил, и очень боялся обнаружить теперь ошибку. «Спросить, что любит, какие у нее вкусы? Но что я — лошадь выбираю, параметры смотрю? Спросить, как учеба? Но это глупо! Сказать прямо, что люблю?! Но я ведь совсем ее не знаю. Я в ней уверен, но что она обо мне подумает: смешной такой дурак! Нет, я должен знать, что мы похожи. А как? Так что же она любит? Ах, опять про это!..» Не было темы, не было! Вот ведь как странно! Так шли и молчали. Попрощались у института. Я попросил ее телефон. Она дала. Вечером позвонил. Тема уже была: моя вина, моя глупость, застенчивость. Извинился, попробовал доказать обратное. Она молчала, я запутался. Договорились вновь увидеться. Ну, об этом можно было и не договариваться.

Она увидела меня утром в институте, внезапно засмущалась и прошла мимо. Я в отчаянии отсидел пару и побрел из института куда гла-

за глядят. Позвонил ей вечером. У нее были дела. И так почти каждый день что-то случалось. И почти каждый вечер я звонил...

Эти звонки были моим мучением: что можно сказать по телефону? Я звонил едва ли не по принуждению: поддерживать установленную мной самим связь.

А она не звонила никогда.

И при этом были еще какие-то оценки, сессия, курсовые, зачеты, споры с куратором, ссоры с преподавателем философии, просившим покинуть аудиторию вон. Они, кажется, хотели сделать из института продолжение школы. Вот уж фиг!

И мне слишком ясно было мое положение: порвать, на чем вишу, — просто. А ведь порву — так и ее потеряю!

Я третий раз провожал ее домой и поцеловал при прощании руку. О, как далеко я продвинулся, какой успех!

Впрочем, в этом направлении не то что планы, но даже фантазии дальше не шли. Мы вместе, год за годом, не разделенные ничем, кроме одежды. Я уже не считал, что женское естество желанно и гадко. Не боялся его, но и не мечтал. Я наделял особой реальностью (гипостазировал) понятие женственности, как таковое, — в соловьевско-блоковском духе и был совершенно доволен, как расставшийся со своим половым имуществом корибант. Собственно секса мой вариант любви не предполагал вовсе. Словно не существующего в природе.

Дни шли, и ничего не менялось. Мы иногда говорили по телефону, встречаясь, обменивались фразами в коридоре. Я не знал, чем могу ее заинтересовать, и все время терялся, путался. Она казалась легкой, всегда куда-то спешащей, неуловимой, непригодно легкой для такой любви — моей тяжелой любви (я гнал эту мысль), не настоящей любовью, а фантазией на ее тему. Мне тяжело было находить темы для разговора. Она никогда не помогала мне. Она любила Леонардо, но не до уровня серьезного разговора. Любила какую-то музыку, но и тут тема быстро исчерпывалась. Она не была эрудиткой, но это ее не портило.

Мы вместе гуляли по ночной Москве, вдруг огорошивая друг друга вопросами из учебника, путая жирандоли с Жилярди, а Жилярди с Тюриным. После этих прогулок не оставалось ничего, как в школе от посещения Политехнического музея. Я приглашал ее в гости. Она соглашалась, но не шла. Или шла, и отсиживала часы напряженно и молчаливо, словно на лекции. Иногда мы вместе делали задания.

Звонили друг другу редко.

Я ведь странный человек. В школе в третьем классе я взял и при всех на уроке поцеловал свою соседку. Она не была красивая. Зато она была добрая. И с детской неэкономной добротой подсказывала, подсовывала мне, лоботрясу, свою тетрадку с заданием. Я ей и благодарен был, и вообще не знаю, что на меня нашло. Но вот вспыхнуло что-то такое, чему сопротивляться был не в силах. А все смеялись. Дразнили потом. И я сам, дурак, много лет стыдился этого, может быть, единственного в своей жизни *поступка*.

Вот только сейчас и оценил тот порыв. Вот и теперь что-то такое со мной происходило, доброе что-то. Но при всех обнять и поцеловать ее, как хотелось, я уже не мог. Собственно, и повода не было, даже такого, как в третьем классе.

Мне казалось, ее создали из чего-то моего, такая родная, такая близкая. Сестра. Больше — дочь.

Мне нужен был друг. Мне казалось, я только-только спасся, доплыл до берега. Но у меня никого не было на этом светлом, счастливом берегу.

...Она сидела у меня дома. Я не мог успокоиться и все смотрел на нее исподтишка. А волосы у нее не были белокурыми, но все-таки очень светлыми. Она казалась еще тоньше, еще легче, чем когда я первый раз увидел ее. Волосы были необычайно длинными для такой слабой легкой фигурки. И вдруг меня захватило что-то теплое, нежное...

— Откуда ты такая? — начал я, голос сорвался.

Она посмотрела на меня. Так странно посмотрела, как первый раз в коридоре.

— О чем ты?

А у меня вдруг покатились из глаз слезы. Я судорожно отвернулся.

— Да что же такое! Что с тобой?!

— Прости. Но у тебя такие замечательные глаза. Очень... добрые.

— Ты сам... добрый, — она запнулась, — мне кажется.

— Нет-нет! Я только пытаюсь быть. Это очень сложно, ведь правда? Вчера я кончил читать одну книгу, там задается такой вопрос: можно ли стать святым без Бога? Я думаю — нет. Человек слишком слаб. Его опора — вера в абсолютный закон доброты. А это и есть Бог. Только так можно думать хоть о какой-нибудь целесообразности и надежде. Во что-нибудь светлое и истинное. Ты согласна?

— Ты веришь в Бога?

Я пытался понять всю важность ее вопроса: в восемнадцать лет вера в Бога — или экзотика и выпендреж или очевидная клиника. Первое она бы поняла и, может быть, даже одобрила, как что-то свежее и неожиданное. Но если бы я действительно верил, то есть клиника...

— Понимаешь... Я тебе сейчас объясню...

Я крепко сжал ее руку, как будто стараясь передать ей свою истину (я уже приобрел это право — сжимать руку). Сейчас докажу, что не клиника, не идиот.

— Вера — это единственное, что стоит... А вера в добро — это же хорошо, понимаешь? Она самая лучшая.

— Почему?

— Ну как тебе объяснить... Она дает силы. Я ни на что не надеюсь, мол, там мне зачтется. Не это. Здесь, здесь как?

Я стал гладить ее руку.

— Это вопрос. Не вини меня. — Это прозвучало жалобно, она как-то несчастно улыбнулась.

— Ведь жизнь — это невероятно! Это какое-то чудо, это что-то невозможное! Это что-то страдальческое. Это что-то такое большое и груст-

ное, как когда смотришь ночью на звезды. А мы не видим. Мы не задумываемся, что мы есть! Катя, ты понимаешь меня? (Мне нравилось произносить ее имя.)

— Говори, — негромко произнесла она. Будто вздохнула.

— Я просто признателен. Он к нам пришел, а теперь мы должны прийти к нему. *Ведь ничего не осталось у человека больше на земле...*

— Ну зачем ты так волнуешься! — Она попыталась улыбнуться, но улыбка получилась какая-то вымученная. Ей было непонятно. Она была женщина, она сама могла рождать, воскрешать и любить. Она сама была как бог. И мир был полон для нее и желанен. Она была сильная, а я слабый. Но она не могла все сделать сама, а я не мог ей помочь.

По ее лбу прошла складка. Такая веселая, она теперь была грустна.

— Разве Бог может быть человеком?

— Почему нет? В Индии это считалось обычной вещью, называлось аватарой. Бог в виде смертного спускался на землю ради спасения мира.

— Поэтому он и воскрес?

— Не важно, воскрес ли он буквально. Он в душе воскрес — это гораздо важнее. Он воскресает в каждой душе — разве это не чудо?

— Зачем?

— Он дает добро.

— А есть ли добрые люди? — спросила она.

— Есть. Мне кажется, ты добрая.

— Ты идеализируешь меня...

«Нет, нет!» — воскликнул я в душе. Это было кощунственно! Я знал ее лучше нее самой, несомненно. Она сама была несомненна, иначе все стало бы бессмысленно.

— Ты такой странный, — сказала она наконец. — Почему?

Я не мог ответить на этот вопрос. Я сам знал, что я странный и никому не нужен, кроме матери, но и ей — не как я сам, не как то, что считал в себе самым ценным. И я бы хотел уйти — к ней, с ней, уйти куда-то вместе, и тогда у меня хватило бы силы. Но она молчала.

— Извини, мне надо идти, — сказала она и встала.

Я проводил ее так, будто прощался навсегда. Самое лучшее в мире побывало у меня дома. И дом стал другим. И все же вышло не так, как я хотел.

На Новый год я подарил ей своего Леонардо. Она благодарила, но не жарко, легко смиряясь с щедростью.

Я был многое готов для нее сделать. Бескорыстно. Как глухой музыкант, который играет на лютне ради удовольствия своего принца и продолжает играть и тогда, когда принц, чтобы его испытать, покидает комнату. Находить радость в своем горе и приносить Богу даже свое одиночество как свидетельство самой большой любви. (Из Ромена Роллана: «Опыт исследования мистики и духовной жизни современной Индии. Вселенское Евангелие Вивекананды», 1928. Эту книгу дал мне Боря. Уж он-то у меня еще был, хоть нас разделили разные институты и все более разнящиеся догматы и символы веры, как у католиков и

схизматиков.) Вот как я хотел любить ее! Даже обязательной обратной любви не хотел.

Есть прелесть в любви, которая не может быть разделена, о чем влюбленный знает и сам. Как и о том, что жертвы и подвиги должны быть бесконечны, как бесконечно расстояние, отделяющее его от любимой — пусть будут они напрасны! Потому что, может быть, весь смысл этой любви — в подвигах, которые она заставляет совершить.

Нет, почему я от нее скрывал, почему не говорил, не хвалил, не обнимал?! У меня было одно оправдание — я боялся ее испортить. Поняла бы, кто она есть в моих глазах, подумала б так о себе, и тогда, как в сказке Андерсена, стала... Нет — все не так! Разве не я виноват?! Разве можно сомневаться в ангеле, разве не должно стоять перед ним на коленях и быть бесконечно счастливым, что она рядом и смотрит на тебя?..

— Человек должен от многого отказаться, чтобы и приобрести многое, — говорил я ей при следующей встрече. — Надо направить все на завоевание абсолютных прав. Это стремление восстановить в человеке образ Бога. Это стремление вырвать жизнь из жестокой и безличной системы... Не телевизор, а театр, не магазины, а искусство, не рестораны, а книги... — талдычил свое.

Это была в сжатом виде моя программа жизни. И еще я говорил ей... о мироборческих тенденциях экзистенциалистских писателей, выражающихся в борьбе с обветшалыми атрибутами человеческой культуры — в виде давно переваренных и безболезненно усвоенных понятий веры, добра и зла, Бога... — говорил, говорил я ей. Об убитых живых юнцах — неприкаянном помете белого живота беременной девушки, утонувшей в ручье. (Я недавно (случайно) узнал об экзистенциализме и теперь проповедовал всем, кому не лень было слушать.) Это было как пароль. Все воспринимал я теперь с точки зрения книг, где в центре стояла фигура абсурдного героя, действующего вопреки выгоде и ставящего себя в крайние ситуации — чтобы познать бытие и испытать существование. Я давно и сам напоминал этого абсурдного героя.

Вот о чем я говорил с ней, до пересыхания рта, до пота на сжатых ладонях, путаясь, начиная фразу с конца и комментируя еще не сказанное, не договаривая окончаний, хоть меня и без того было трудно понять. Все, что я знал, что прочувствовал — я все хотел передать, объяснить, повернуть ее на ту орбиту, по которой двигался сам, проверить истину на истине. Все же с того дня, когда я впервые услышал про милосердие, я проделал значительный путь. И ужасался: окажись проверка отрицательной, смогу ли, захочу ли вернуться назад?

И словно для иллюстрации я пригласил ее в театр (впрочем, это было модно). Она согласилась. Я ждал ее у входа, в лютый мороз, не замечая холода... Я сильно продвинулся с тех стародавних пор, когда ждал ее под стенами палат, не имея счастья сообщить ей об этом. Я действовал умно, как взрослый человек. Она придет. Она уже не может не прийти.

Но она не пришла. Я смотрел спектакль сквозь слезы и ничего не запомнил. Как бороться с роком? Величайшая радость стала величай-

шей обидой. Но и без того спектакль был вещью относительной. Все в этом мире было вещью относительной и приобретало значение только при добавлении ее.

На следующий день она извинилась. Все было так просто — болезнь. Все было так очевидно, но я не хотел видеть.

## Happy birthday to you

На зимних каникулах она уехала с подругой в Питер, ничего не сказав, я узнал случайно от мамы. И помчался за ней, ходил по музеям, надеясь встретить. Она явно избегала меня, она не нуждалась во мне.

Красота города и мое одиночество навсегда обворожили меня.

Дни сомнений были самыми страшными. Я пытался вызвать то трогательное и светлое, что было связано с Катей, и не мог. Знакомые картины, что недавно вызывали бурю чувства, были холодны. Я не мог вспомнить ее лица, не мог приблизить ее к себе. Она оставалась чужая, она уходила в ряды посторонних, которые были чем угодно, но только не мотыльками, летящими в огонь. Опять у меня ничего не было и ничего не могло быть.

Меня смущало, как быстро она преодолела стену, как-то по-школьному, ребячески первая заговорила «ты». И теперь, когда изредка подходила, говорила скороговоркой «привет» и сразу переходила к сути — просьбе, как правило просьбе, без тени улыбки, малейшей вибрации голоса. Меня это слегка коробило: где же смущение, сбивчивое дыхание, краска на щеках, опущенные ниц глаза? Может, эта видимость спокойствия — ложная, наигранная? Может, это тоже специфическая форма смущения? Или она попросту забыла, что она для меня значит? Или, наоборот, помнит, — и думает, что, поэтому, мне будет легко (и даже приятно) — оказать услугу. Или все же забыла, вычеркнула, хотя бы на данный момент, показав, что не придает этому значения, а важны вот такие-то ее проблемы, которые я могу решить как просто товарищ?

Да, это было именно спокойное, эгоистическое и товарищеское отношение. Когда между людьми ничего нет. «Она мне доверяет. Но не кокетничает — чтобы я не мог выставить счет. Это хорошо. Но, может быть, она не способна и переживать? Ведь кокетство и переживание у женщины всегда слиты. Женщина без любовной тактики — нема и глуха... Может быть, в ней еще не проснулась женщина, и она думает, что она еще в школе, в черном фартучке? Или она вообще ни во что меня не ставит?!»

Кто она? — спрашивал я себя. Я боялся ее, ее обаяния, ее корыстного использования. И глаза: холодные серые глаза, почти как у всех, — я наконец осмелился заглянуть в них. Такие глаза я видел у тысячи людей, в них не было ничего, главное, в них не было любви, ни капли.

Я уже был на грани, я хотел и не мог уже найти в себе большей любви. Я любил ее лишь за то, что она наделила меня образами и снами. Но дожил до страшного дня — усомнился. Может, она и была одинокой дочерью Луны, Феей Реки и т.д., но я не чувствовал этого больше!

Это тоже работало на сомнение: та ли эта женщина, на которой я должен закончиться? Женщина — это цель и, значит, конец пути. Я должен зарыться в нее, упасть, как в океан, — и кончиться как эгоистическая и яркая комета, как индивидуальность; добыть золото, но потерять небо и свежий воздух, воздух путешествующих. Это было мне ясно. И нельзя ошибиться с выбором конца. Смерть должна была быть достойна жизни. Ибо я, как человек средневековья, полагал, что можно жениться только раз.

Я боролся за нее. У меня ничего больше не было. Но здесь, но в том месте, куда я кладу сердце, мне нужна была только правда. Абсолютная, несомненная истина.

Я остался один. Нельзя было так жить. Любовь была моим основным занятием. Почти год я верил только этому. Я стал другим человеком. И вдруг исчезла земля, и я повис в пустоте.

Я больше ни о чем не думал и больше ничего не ждал. Я забросил все, что хоть немного еще увлекало. Теперь мне не нужно было ничего. Я ни на кого не сердился и ни от кого не защищался. Я равнодушно делал то же, что и все. Катя появлялась иногда в проеме коридора, в квадрате двора, но я не прикладывал усилий лишний раз ее увидеть. Я заперся и исчез. И уже совсем забыл ее лицо и под страхом смерти запрещал вызволять его из небытия.

Я поднял руку на большее! На то, что было символом моей веры, последним бастионом, обрывком флага, которым я махал над баррикадой, — на те картинки или сны, которые были центром моей души, моей сказкой, тайной, страной, которую населяли ангелы и феи, где мечтала под ивами дитя Луны. Мой внутренний рай, корону которого я надел на эту девочку. И которая исчезла вместе с ней. И я хотел добить весь оставшийся гарнизон и с тем умереть. Но пока он, гарнизон, был жив — это была мина возрождаемой боли.

Настал день, когда я воочию увидел, что у меня больше ничего нет. Теплый мартовский день. Я смотрю на них, проходящих мимо по институтскому дворику. Они спокойны, они тихи, они счастливы. Не нужно никаких слов и объяснений. Все было настолько очевидно, что даже я понял. Может быть, для того и делалось так откровенно, чтобы я понял. А скорее всего, им сейчас ни до кого не было дела. Им и в голову не приходило — думать о ком-нибудь, кроме друг друга. Способность на такой эгоизм и есть любовь, то есть страсть и беспамятство. У меня так никогда не получалось. А ведь это я первый ее увидел и полюбил!

Все законно: я ведь никогда не смог бы дать ей *это*!

Я же не хотел этого, я же хотел любить тебя как сестру!

Я посмел пойти на последний отчаянный штурм. Поймал ее в день рождения в институте и преподнес пластинку «Uriah Heep» (я знал, *что* она любит). Happy birthday to you. Купить такую можно было только на комке. Она удивилась, поблагодарила.

Я предложил зайти в кафе, поесть пирожков. Она согласилась. Я придирчиво это отметил: нежелание видеть меня не простиралось так

далеко? Вдали от утонченных разговоров и сильных чувств все было яснее и проще. Даже любовь не обязательна. Да, прежде всего! Пирожки, сигарета, женщина — женщина, как таковая, без преувеличений. Так жили все. Я тоже мог бы так жить. Встали в очередь и молча стояли. Она отводила глаза.

Я чувствовал, что мир развалился и из всех щелей веет холодом, словно на корабле, в котором отовсюду хлещет вода.

— Я встречался с твоей мамой...

Она позвонила сама. Мы встретились в метро. Оказывается, она хорошо ко мне относилась. А вот новый знакомый Кати ее пугал. Значит, уже был представлен дома, чего ни разу не удостоился я.

— Вы слишком благородны, — сказала Катина мама. — Я не могу понять, почему она вас не любит.

Лучше бы я этого не слышал.

— Да, мама мне рассказывала, — сказала Катя довольно равнодушно. — Она хорошо к тебе относится.

— А ты?

Она усмехнулась.

— Я совсем не такая, как ты. Я не очень-то верю людям, не очень верю в дружбу...

Она говорила, наматывая на себя проволоку самообвинений, будто желая шокировать и излечить от себя. Я не хотел ей верить.

Странный получился разговор. Я, оказывается, говорил о ней, как о своей собственности. То есть веду себя так. Но когда? Когда увидел первый раз, что она курит. А для нее главное — свобода. (Удивила!) При этом она ничего не любит и ни о чем не жалеет. Ей нужны новые впечатления. Она переменчивая и сама не знает, какая она. «Несерьезная» — по ее собственному определению. Но сама в себе уверена. И не ждет никакого счастья. Берет, когда хочет, и не берет, когда дают. Может многое дать, но самой почти ничего не нужно. Таково ее кредо.

И ее я считал «святой»?! Я ее *идеализировал*, — говорит она. Ей будто неприятно. Я — *тоже* — о ней ничего не знаю. У нее все периодами. Она такая, и хуже ей не будет. Ей пора идти. Но куда?

— Помнишь записку, полгода назад, на лекции... «Если вам нужен друг...»

— Которую ты мне написал? Помню, очень милая записка.

— Нет, которую ты мне написала.

— Я ничего тебе не писала, ты ошибаешься.

— ?

— Я была очень удивлена...

И покраснела. Она обманывала. По меньшей мере в том, что была удивлена.

— Плохо, что мы не видимся.

Она кивнула, без энтузиазма. Но я-то хотел сказать другое: плохо, что мы не любим друг друга.

Я уже злился, пытался ее в чем-то обвинять.

Вот интересно — куда исчезают люди из нашей жизни? Как хорошо, что мы не знаем их судеб. Это же сплошная трагедия и тоска от уродливого забвения их прежнего невинного облика!

И уже после этого она попросила помочь с курсовой. И я послушно пошел. Работал молча, не очень стараясь, не глядя на нее. Она тоже молчала, не спорила, не смотрела. Всю мою работу приняла с благодарностью и не глядя.

Зато свою курсовую, от которой многое зависело, я провалил. Многое, да хоть бы жизнь. Даже не начинал ее. По равнодушию, по гордости.

Я брел по улице к институту вместе со встреченным Германом и говорил с ним, а хотел свернуть куда-нибудь во двор, ткнуться в ледяную стену и заплакать.

Какая пустота! Огромный город, нам даже тесно. А вечером люди попрятались по домам, и город будто вымер. Но и в домах не чувствуется жизни. Люди развлекают себя телевизором, чтобы забыться, перестать думать. И их, кажется, нет совсем. Никого!

Моей единственной мечтой было — быть сбитым на ночной улице машиной, лучше грузовиком.

Потом был бар у ресторана «Узбекистан», где я пил с Германом.

— Ты не так все делаешь, — говорил Герман. У него уже была герла, с которой он заходил ко мне домой. Герман спрашивал взглядом: как она? Нравится? Он был горд ею, может быть, своей первой настоящей девушкой, высокой, красивой, хоть и немного распущенной, на мой монашеский вкус. — Сойтись с бабой ничего не стоит. Главное, чтоб мужик был не противный. Живой, веселый, ну, не лез сразу под юбку. Хотя некоторые и это любят, ха-ха-ха! Увлекался бы так, но на тормозах, без слишком крутых чувств. Так: привет — привет, немного симпатии, разговорчики веселые, в кафе сводить. Бабы боятся всего слишком, любви тоже. Они же, стервы, знают: где тонко, там и лопнет. Реалистки. Не сомневаются, что тебе хочется с ними трахаться, но требуют сказки о вечной и небесной любви. Чтобы ты был виноват, когда ее не будет. И надо сделать, как просят. А потом они на полсказки, на десять процентов будут согласны, факт. Они и этого не ожидали. Постель — это реальность, старик. А что такое идеальная любовь — х... знает? Потянешь ли ты, потянет ли она? Может, от такой любви и дети не родятся, ха-ха-ха!.. И зачем давать ей ощущать себя хозяйкой положения? Это тактика, старик.

Как Герман умен! Это самая умная речь, которую я от него слышал. Здесь все для пьяного меня было ново и правдоподобно.

«Как он может так относиться к женщинам? Почему они его любят? Потому, что он их знает?» Я не хотел такой «любви». Это было жуткой карикатурой на настоящие фантомы и гимны.

Любовь — вещь идеальная. Совокупление — реальное. Реальное всегда победит идеальное, как твердый предмет — газ или жидкость.

Но материя уже увлекла человека в пустыню, бросила корабль на скалы — зачем же длить мираж? Назовем вещи своими именами. Каки-

ми? И как назвать тогда жизнь? Может ли существовать жизнь вне магнитного поля чуда и веры? Ведь разлетится к чертовой матери!

Я пью, пытаясь навалить новый опыт, отрицающий нашу связь. Замазать черной краской, утопить в похмелье.

Я не плакал, я пел с Германом песни из репертуара «Воскресенья». Какие хорошие песни! От избытка чувств шел с Германом в обнимку. Потом было стыдно, но я убеждал себя, что мне не стыдно и не гадко. *Они* ведь поймут. Человека сподручнее любить, когда он плохонек и совсем понятен. Когда откровенно демонстрирует свое дрянцо.

Я думал, что все понял. Я хотел бросить выдумывать, но и потом много раз просил ее подумать, позвонить мне. Ответа не было.

Я видел много всякой хрени, но это была ни с чем не сравнимая катастрофа. Что мне осталось? Все снова? Нет, никому больше не поверю! Уж если после всего она оказалась неистинная, то не надо мне никого. Ее буду вспоминать, мою годовую ошибку. Кошмар, затмение! Никто лучше ее не был. Кто я такой?!

Сволочь ты! Безмозглый, тщеславный, претенциозный, бесталанный, завистливый, ущербный человечишко. С огромным комплексом неполноценности, с болезненным самолюбием. Ничтожество и урод. Тебе это ясно сказали. Ответа нет.

Я, кажется, понял. Не надо ждать ангела. Это иллюзия. Что-то очаровательное, обаятельное, трогательное — все это чушь! В одном человеке не воплощается и форма и душа, это перебор. Две ловушки, в которые должен попасть зверь по имени мужчина, когда довольно одной. Даже если не писаная красавица, но все же вызывающая затмение, тривиальное желание обладать, — знай, это не она, за внешним выражением не содержится нужного золота. Разные основы. Идеализируя, ты готовишь себе беду: я уважал, пока любил, но, усомнившись, теряю и всякое уважение. А усомниться в праве зваться «ангелом» — очень легко. Слишком высоко поднял, удержать трудно. Удержаться ей — невозможно...

Окаменелое выражение лица, на черном фоне маска мрачного спокойствия, презрительно направленная в мир — так получилось на автопортрете, который я написал в самые страшные дни. И назвал его «Late man», «опоздавший», чтобы выразить генеральную суть моего пребывания на этом свете.

Мать предложила взять академ. Я отказался. Как пловец, махнувший на все рукой, я отдалялся от берега, отдаваясь течению с покорством и безразличием таракана, попавшего в тот пресловутый стакан.

### Снег

За окном валил снег.

Я ушел проветриться в институтский двор. Там тоже валил снег. Снег валил по скверам и лесам. И в Париже тоже валил снег. Во всем мире валил снег. Снег валил по нехоженым улицам, которых я никогда не видел.

Стрейнджер с пятого курса перехватил меня на лестнице в библиотеку и предложил сходить на концерт.

Хиппующие, в потертых, заплатанных, расшитых бабочками джинсах с широченным клешем, с сумками на ремешках до колена — были достопримечательностью этого странного вуза. Беззаконные кометы в кругу расчисленном светил. Они выделялись даже на фоне выдающегося эстетического разнообразия колледжа, почти поголовно волосатого и прихиппованного по самой идее. Замечательно, что тогда студенческая жизнь почти автоматически порождала хиппи или нечто близкое к ним, как за век до этого — революционеров.

Я удивился, увидев их здесь, тех, кто вроде уже не должен существовать, кончился, отыграв свою короткую песню, растворившись и умерев в море попсы и мещанства. Я будто сел на машину времени и залетел на десять лет назад, да и вряд ли в Россию...

Они менялись со всем институтом книгами и пластинками, и их музыкальная продвинутость была общеизвестна. Я уважал их вкус, и мне было досадно, что Стрейнджер занялся пропагандой такой убогой материи, как русский рок. Стрейнджер настаивал, что это стоит того. И я, больше из уважения к старшему товарищу, согласился пойти. Герман, мой неизменный компаньон в подобных экспедициях, готовый ехать на какой-нибудь подпольный концерт «Машины» или «Автографа» на край света, на этот раз скривил рожу — он не уважал хиппарей *по идее*.

— Лучше пить, чем торчать. Мне эти люди противопоказаны. Я сам чуть таким не стал — после школы. Хотел послать институт на х...

— Ну и?

— Армии обосрался, — сказал он просто.

— Можно откосить.

— А потом куда? В слесаря? После трех лет в институте? Уж лучше водолазом без воздуха. Н-нет, я в теплые края, то есть на теплое место...

Я не стал его уговаривать.

Я узнал *о них* первый раз из журнала «Америка» 70-го года (отец покупал его в свое время), как бы рикошетом, ища что-нибудь про ковбоев, родео и Буффало Билла, потом встречал в книжках, видел фильм «Берегите детей и зверей». Потом стал находить их на улице. В институте была целая колония, отдельная и непонятно функционирующая группа. Настроение общества было плохое, а у них все было ништяк.

Жуткая окраинная даль вызвала прилив отчаяния. Лишь наличие Стрейнджера возводило хлипкую декорацию нормальности. Стрейнджер пришел с девушкой — Олей, красивой, веселой, учащейся в том же институте, хотя мне в общей массе придурков так и не довелось с ней познакомиться.

Вообще я увидел много людей, которых неоднократно замечал в институте у фонтана, но никогда не видел их такими веселыми, свободными, полными своей удивительной жизни. Которые могли быть в любой другой стране, но не в этой. Десятки новых людей, которые подходили, приветствовали, говорили. Сотни сумасшедших, перед которыми широ-

ко раскрыты двери всех дурдомов. Здесь, как в толпе, можно было затеряться, здесь было интересно и нестрашно быть кем угодно, даже собой.

Это была знаменитая московская Система конца семидесятых — начала восьмидесятых. Но я еще этого не знал. Я привык считать, что всюду опоздал. Я привык считать приятелей единицами. Здесь счет велся на десятки. И я не был готов довериться им, как никогда не доверялся никому опрометью. Но смотрел с интересом. Я был чужой здесь, но скорее поверхностно, чем по сути — по незнанию имен и специфики общения, цепляясь взглядом за проводника-Стрейнджера, не Вергилия, но другого, того, кто должен был показать поэту Рай.

На большой сцене кинотеатра одинокий парень под прикрытием хаера колдует над двугрифовой гитарой. Зовут его Мочалов. Раздаются протяжные звуки, повторяемые и искажаемые примочками. Что-то такое фриппертрониевское, заумь для понимающих.

Концерт начался — и скоро кончился из-за срыва самодельной навороченной аппаратуры. Музыкант попросил разойтись тихо, не вызывая недовольства администрации. И двести человек встали и разошлись без свиста, криков и прочего свинства. Я был поражен. Я не мог ожидать этого от патлатых, бородатых, страшно одетых людей. После выхода из зала не было портвейна, веселья, свирепого студенческого разгула, как принято после выступления «Машины» и прочих. Ни досады, ни желания с досады или радости что-нибудь разбить. Словно я был среди слушателей консерватории.

И еще поразило почти полное отсутствие нецензурной лексики, доставшей меня повсюду — в школе, в институте, на картошке, на обмерочных выездах в провинцию, отсутствие, компенсирующееся, впрочем, избыточным сленгом, словно они хотели создать свой язык, ничем не напоминающий общеизвестный (профанный): ни доступный нормативный, ни доступный блатной. Сильно выросшей компанией мы двинулись к метро. По обрывкам мыслей и слов, по манере общаться, я понял, что в путешествии по темному страшному лесу невзначай встретил попутчиков.

Вечером я рассказал Боре про концерт и что я узнал про этих людей. Похоже, мы не одиноки во вселенной. Боря усмехался моему энтузиазму. Такова в нашей паре была его роль: он был реалист и скептик, я — романтик и оптимист.

На следующий день Стрейнджер спросил: понравился ли концерт?

— Понравилось то, что было после концерта, — попытался объяснить я.

Подошла девушка, русская красавица с черной косой и в джинсах, с темными глазами на кругловатом лице, приветственный взгляд которых она метала во все стороны. С лица не сходила улыбка. Казалось, ей все нравится — солнце, снег, зима, жизнь. Эта была Оля, которую я видел на концерте.

— Куришь? Дай сигарету, — сказала она без околичностей, как старому знакомому. — А, не куришь. — Посмотрела на Стрейнджера.

Он развел руками и засмеялся. Она тут же остановила проходящего парня:

— Дай сигарету.

Закурила, осталась рядом с нами.

— Что ты такой мрачный? Не надо напрягаться. Хочешь, пойдем сегодня с нами погуляем?

— Точно, — поддержал Стрейнджер. — Чего ты тусуешься один? Пошли сегодня после колледжа.

С ними? Куда? Я думал, что есть только одна дорога, с одетыми в железобетон краями, исключительно по которой я должен двигаться, собирая все хорошее и дурное, что этот путь мне приготовил. И вдруг рядом оказался другой путь, веселый, многолюдный, который я как-то умудрился не заметить и на который было так соблазнительно ступить.

— Как-то тебя хочется развлечь, а то уж больно мрачен, — вновь сказала Оля, когда мы небольшой группой двинули прочь от многомудрых казенных стен, подслащенных классическим рустом.

— Это нешуточно, — сказал Стрейнджер. — Торчать одному во дворе... Все презирая, как — кто?..

— Гамлет, — подсказала Ольга.

— Упорно никого не замечая.

— Откуда ты знаешь, что упорно?

— Знаю...

### Коллекционер дождей

Новые кухни новых знакомых, заговорщический блеск в глазах, когда его брали в оборот и вели куда-нибудь, где сегодня делалась жизнь.

Деревянный дом на Кропоткинской, сохранившийся по какому-то недоразумению среди новых, каменных — вроде тех, из сказок Гауфа, которые появляются и исчезают, не имеют номеров и к которым может провести только специальный проводник, вроде Стрейнджера, затащившего их сюда, Дятла и Алика Олисевича, ортодоксального хиппи из Львова — в индейской куртке с бахромой и в джинсах, где заплат больше, чем штанов, в гости к некоей Лой, и даже не в сам дом, а в полуподвальный, попросту подземный этаж, и где он неожиданно нашел странных людей, обязанных обитать в этом странном месте. Одиночки здесь снимали комнаты за 16 рублей. Сопутствующая запутанная планировка, настоящая кафкианская нора. В этом едва ли не подземелье, с неработающей печью, с деревянными полами, старыми обоями по треснувшим стенам, окошком под потолком, огромным комодом, иконами, порванным диваном с помойки — он вдруг почувствовал себя спокойно и на месте, словно покой и складывается из таких составляющих!

Пока бывшая наркоманка Лой рассказывала, как ездила по монастырям, Дятел думал о том, как все же разнообразна жизнь: вот люди, почти его ровесники, но уже крещеные, верующие, сменившие несколько вер, бывшие богемой, революционерами и экспериментаторами, ставшие ортодоксами, но не прервавшие контактов с волосатыми, чего-то

все ищут — нового снадобья, новой дорогой реальности, агитируют за нее со страстью неофитов.

В Системе то и дело случались люди, которые так страстно и прямолинейно агитировали за любимые твои идеи, за Бога, пацифизм, диссидентство, что сразу, в пику им, из-за рефлекса противостоять любому навязчивому внушению хотелось стать или изображать из себя атеиста, воинственного агрессора и комсомольца 30-х.

За этим люди и шли в Систему: со страстью что-то делать, проповедовать, гореть, быть фанатиком среди таких же фанатиков, пусть и других идей, готовых хотя бы слушать тебя.

Эта среда завлекла, оглушила красками и возможностями, богатством характеров. Чем нелепее был вид, вздорней поведение и неразумнее мысль — тем было интереснее. Многовариантность, обсуждаемая, оспариваемая, защищающаяся — санкционировала поиски и извлечение непомерного корня. Мир удивительных судеб, игры и мудрствования, восторга, непосредственности, трагедии, опустошенности, ярости, израненности, эйфории, бреда, богоискательства, простоты, завернутости — мир любви и безумия.

«Все новое ходит на слабых ногах», — говорил Стрейнджер.

Их родители, «предки», «перенса», старшее поколение, «обыватели», утвердившиеся на своем месте и в своем времени, успокоившиеся и мудро покорившиеся обстоятельствам, единодушно и стихийно — видели опасность там, где их дети видели максимальную радость. Утопизм и инфантильность, паразитизм и легкомыслие, безответственность и равнодушие к своим родителям, к своей судьбе, к своему государству.

«Я служу, ты служишь, мы служим» — молитва и идеал ловкой, изворотливой, испуганной добродетели. Порядок — их стихия. Беспорядок — их порядок, так как кем-то утвержден.

Так говорил Стрейнджер, начитавшийся недоступного Ницше, волосатый и бородатый хичхайкер, самоученый философ и бунтарь по призванию, на время выбравший личину студента, поощрявший недоступные, как и Ницше, наркотики (абстрактно проклятые, и потому притягательные). Впрочем, больше теоретически.

— Приезжаем этим летом стопом во Львов. Встречаем волосатого. Он первым делом: «Колеса есть?» Мы ему: «Нет». — «Трава есть?» — «Нет». — «Кукер есть?» — «Нет». – «На чем же вы торчите?!»

Все смеются, хотя Дятел и не знает, что такое «кукер».

Стрейнджер считал Ницше продолжателем христианства, хоть он и написал «Антихристианина». «Любите самих себя» — это не призыв к эгоизму, это значит, что, если человек полюбит себя — он не даст собой манипулировать, он захочет свободы. Раб свободы не хочет, он не любит себя и не ценит своей жизни.

Это было что-то новое, с точки зрения борин-дятловых рассуждений. Дятел вскипал, Стрейнджер подтягивал орудия — и начиналось сражение. Стрейнджер любил и умел спорить, это была здесь обычная практика, как в Афинской академии.

Они бредут среди перепутанных перекопанных московских улочек. Темная, законсервированная гора былого шика, с дверьми для жильцов большого роста. Здесь во всем была для него какая-то таинственная избыточность.

— Смотрите, какая мания величия! — воскликнул Дятел. — Эти люди о себе много воображали!

— Я тоже о себе много воображаю, — спокойно отозвалась Оксана, скрытая аристократка по духу. Стрейнджер одобрительно засмеялся.

— Конфликт воображения и реальности, — сказал Петя.

— Гармония, — поправила Оксана.

Их сегодня пробивает на юмор. Их пятеро. Две пары — и он, сбоку припеку. Потом присоединяется шестой — Домбровский. Он учится не с ними, и здесь не для того, чтобы наслаждаться высотой дверей и окон или профилем крыши. Он любит Оксану, и все это прекрасно знают, но не гонят. Это не смертельно.

— Кайфуют небось, здесь живут, — сказал Стрейнджер.

Остальные молча согласились. Каждый день они совершали такие туристические прогулки, открывая этот город и увлекаясь им, столь прежде ненавидимым. Смиренно заходя в редкие действующие церкви, профессионально оглядывая недействующие. Однажды Стрейнджер сказал, что собирается в храм на службу.

— Я тоже хочу, — сказала Ольга. — Поехали в Елоховку.

У Дятла она ничего не спросила, словно это само собой разумелось. Не было ни службы, ни батюшки, но сам по себе храм *вставлял* (пользуясь местным выражением). Дятел вспомнил, как гулял здесь с Катей. И путешествие потеряло свою прелесть. Если бы она была здесь, вместе с ними, или если бы она была одна, а остальных вовсе не было? Если бы она попросила: постриги волосы, будь как все... — ей одной он, может быть, подчинился. Хорошо, что не попросила. Ушла, не нарушив его движения в неизвестную сторону. Куда же он теперь идет? Ему было все равно.

Значит, это и называется «тусоваться»? Лишь они знали, что это такое на самом деле.

Одним махом дошли до «Ногина».

Молодой мужик пролетарского вида кинул им в спину «пидорасов».

— Всю-то я вселенную проехал, нигде милой не нашел. Я в Россию возвратился — сердцу слышится привет, — откомментировал Стрейнджер.

— Как ты, кстати, относишься к гомосексуалистам? — спросил Стрейнджер. Он толкнул локтем Дятла.

Дятел пожал плечами.

— Я их не понимаю, — сказала Ольга.

— Поэт Кузмин был гомосексуалистом, — сообщил Стрейнджер.

— Кто-кто? Ты откуда знаешь?

— Да вот знаю.

— Хочешь сказать, что такой умный? — усмехнулась Ольга.

— Это мне не идет?..

Стрейнджер все время удивлял чем-то подобным. Ему все шло, хотя казалось странным. Все, что где-нибудь появлялось ценного в литературе или в кино, — было ему уже известно. Ему и его приятелям, словно работала какая-то засекреченная почта. Откуда они, черт побери, все это знают?..

— Здорово! — приветствовал он неизвестно откуда взявшегося волосатого. Так Дятел познакомился с Гошей, пришедшим на стрелку с сумкой вещей, свернутым матрацем и большим будильником. Гоша имел линялую до белесости джинсовую куртку и хаер до пояса, почему показался Дятлу очень красивым. И он вообразил, что правильная жена Гоши поставила ему ультиматум — и он взял свою постель и ушел, просто уехал навсегда из опостылевшего дома.

Гоша молчал, больше смеялся, как бескорыстно наслаждающийся хорошей погодой, хорошей компанией и своим будильником.

— Не раздевайся, пошли, — это было сказано Дятлу, по невежеству начавшему снимать кроссовки в прихожей Ольгиной квартиры. Конечно, никаких условностей. Кроме странного Олиного логова, скорее монашеской кельи, он, можно сказать, первый раз был на хипповом флэту.

Стрейнджер держался свободно, как завсегдатай. Махнул хаером вперед, приглашая и ободряя слегка оробевшего Дятла.

— А пряников нету? — спросил Стрейнджер с сожалением, словно они за этим и пришли. — Поспорили бы.

— Да уж ты поспорил бы, — ухмыльнулся Петя.

— С родителями? — переспросил сбитый Дятел.

— Только этим и живем. Его любимое занятие — просвещать. Но они его любят, — не поворачивая головы сообщила Ольга.

Внутри его ждало разочарование. Чудесный хипповый флэт оказался классической мещанской квартиркой, где-то в глубине которой и обреталась бунтующая Ольга, отделившаяся от остальной квартиры колючей проволокой высокомерия.

— Тут много привидений, не обращай внимания, — сообщила она.

— Настоящие?

— Еще какие! Настоящее нас с тобой. Мы просто хилые и нечеткие по сравнению. На большее пока не тянем...

Привидения он скоро увидел.

Теперь он мог лучше ее разглядеть. На ней были старые джинсы и длинный оранжевый свитер. Своей правильной подчеркнутой красотой она напоминала жену декабриста. Рядом села Оксана. Темноволосая, с каким-то кавказским загаром и темпераментом, горячая и дерзкая. Посмотрела на него, улыбнулась, потрепала по волосам («Просто хотелось пощупать, — пояснила она, — хорошие волосы»). Он сел подальше, как от сильного источника тепла. Первая женщина — так близко, так свободно, без формальностей и неуставных мешающих чувств. Он был уверен, что они не возникнут.

В комнату заглянула бабка, спросила, не хотят ли они есть. Есть, конечно, никто не хотел.

Комната была по виду довольно обычная, только в высоту чуть ли не больше, чем в ширину, и выходила окном во двор, где росли огромные тополя.

— Сталинский дом, — попробовала угадать его мысли Ольга. Он кивнул, он уже бывал в таких домах, подразумевавших старую семейственность и какие-то традиции.

Из старых вещей здесь ничего не было. Кровать, стол со швейной машинкой, полка с книгами (сразу отметил старинную золотую Библию), шкаф, картинки на стенах, иконы, битловские постеры, фотографии незнакомых длинноволосых людей. Бусы — деревянные и из бисера. И пацифики: большие, маленькие, настоящие, нарисованные на стене — всюду.

— Вот так мы и живем, — сказал Стрейнджер. — Я помню еще время, когда тут стоял Стейнвей, на котором она играла Шопена.

— Не ври. Стейнвея никогда не было, но кое-что стояло, Вайнбах. Теперь живет у родителей. Для мебели. Был и Шопен. Я была хорошая девочка.

— Шопен, это хорошо... А Шопенгауэра нету? — спросил Петя.

— Ты знаешь, что нету. Был бы, ты бы его давно прочел. Ты любишь книги? — спросила его Ольга.

— Да.

— Есть дореволюционный Блок, два тома. А музыку ты какую любишь?

— Баха.

— Да ну? У меня есть, хочешь принесу?

— Кого, Баха или Вайнбаха? — спросил Стрейнджер, не упускавший повода сделать людям смешно. — Она же генеральская дочка, ты что! — закончил Стрейнджер высокомерно.

Это не объясняло пристрастие генерала к Блоку и Баху.

Чай пили на полу на расстеленном ватманском листе. Она сидела, поджав ноги, натянув свитер по щиколотки (она гордилась, что у нее нет ни одной юбки). Ели варенье и слушали Doors. Ольга со Стрейнджером говорили о неизвестных Дятлу людях и смеялись. Он им не мешал.

— А эту музыку любишь?

— Эту тоже люблю.

— А другую? Какую?

— Кинг Кримсон, Ван Дер Грааф Генератор, Ес, Джентл Джайнт...

— Такой у меня нет. Хотя названия слышала.

Он рассматривал ее рот, редкие тонкие брови.

Вид и вправду немного монашеский, не московский, скорее питерский. Тонкий нос, чуть широкие скулы, подчеркивающие впалость щек, отличные волосы, как у цыганки. Она подняла на него глаза. Карие. Лицо бледное. Совсем еще девочка, но мудрая девочка.

— Дури покурить хочешь? — спросила она, раздавливая окурок в пепельнице.

— Хм, дурь — это что?

— Гашиш, — сказала она спокойно.

Стрейнджер держал уже забитый косяк.

— Ну, уж сразу гашиш! Марья Ивановна, Иван-да-Марья...

Он явно веселился. Ольга предусмотрительно накинула на дверь крючок. Дятла слегка тряхнуло. Он решил, что ему сейчас предстоит что-то серьезное. Наркотики были из разряда строжайше запрещенных вещей. Настолько запрещенных, что для них даже не было слов. На них словно лежало древнее проклятие, грозящее страшными карами приподнявшему занавес. Ужас переспать с женщиной по сравнению с этим казался пошлостью. В том случае, конечно, если они для шутки и правда не забили в сигарету цветок.

Странный, какой-то раздражающий, терпкий запах. Взял в рот и обжег горло, как кипятком. На глаза навернулись слезы. Он вдруг с удивлением ощутил, что все это уже было, и он отправился на теплое ознакомление с памятью. От этого стало очень смешно.

Он совал в рот редкие скромные затяжки и смотрел в пол, чтобы не расхохотаться.

— Не будь таким серьезным, — предложила она Дятлу. — Знаешь, Запад отходит от волос.

— Ну и что?

— Ничего. Жаль. Это красиво.

— Ты имеешь в виду хиппи?

— Ну, предположим что.

— Если ты мне докажешь, что в России появился хоть один хипп... — бросил Стрейнджер серьезно и все захохотали. — Это как с летающими тарелками: здесь они не летают.

Все уже лежали на полу.

— Ну, это не так трудно доказать... — поддержал его Петя. — Вот как раз недавно приезжал один из Казани...

Все снова упали под дружный хохот. Дятел смеялся со всеми, сам не зная над чем. Он был дурак дураком.

— А ты как относишься к хиппи?

— Вообще, ничего. Хотя я думал, их время прошло.

— Ты действительно так думаешь?

— Может быть, я ошибаюсь.

— Ты, наверное, западные статьи читал, — сказал Стрейнджер. — Там все время пишут, что контркультура умерла лет этак семьсот назад. Ну, как шестидесятые кончились. Я сам читал. А вообще, эта традиция более живучая, чем ты думаешь. Хиппи стали другими, и настроения сейчас другие. Сейчас нет праздника. Дети цветов... Сейчас они в большей степени меланхолики. Не ощущение праздника, а ощущение потери праздника. Люди чувствуют, что их выгнали из рая.

— Хмм, красиво говоришь, — усмехнулась Оксана.

Пошли рассказы про знакомых: про некоего Москалева, который сидел на стрелке и от нечего делать чирикал в записной книжке разные точечки и черточки. А сверху всей этот абракадабры написал: «план взятия Кремля». Тут его и свинтили. А когда в записной книжке нашли этот «план», тут уж потребовали адреса и явки. Москалев попадал в подобные истории регулярно — один раз это кончилось для него плохо: менты его постригли.

Рассказывали и про Радугина, начальника оперотряда по борьбе с хиппи, чье логово располагалось на улице Горького, недалеко от магазина «Березка», за что и сам отряд получил наименование «Береза». В шутку для волосатых даже было решили завести специальный самовар: «Вы же все равно здесь регулярно бываете». Волосатые идею одобрили.

...Он сидел в кресле, Оля лежала на диване. Окно было настежь — выветрить подозрительный дым... Он нес сознание на вытянутых руках от самого себя. Айсберги смыслов ударялись в него со всех сторон...

— Ну, я еще забил...

Потом опять пауза. Дятел пытался думать об этих людях. Веселые, уверенные, прямые. Он не видел между собой и ими никакой границы, не было вещи, которой он не мог бы им открыть, которой они бы не поняли, а поняв, не сделали бы попытки помочь. Он был в этом уверен. Сможет ли он когда-нибудь быть таким же?

Оля взяла листок и стала что-то рисовать. Странно, она явно была тоньше, умнее и ближе ему, чем Катя. Но в институте ему и в голову не приходило полюбить ее. И теперь не приходило, хотя бы потому, что она уже была девушкой Стрейнджера. Неужели априорное знание ничего не стоит? И мы всегда любим недостойного?

Воспоминание о Кате было неприятно. Яд умиравшей любви все еще бродил по крови, вызывая приступы, сродни дурноте или изжоге.

— Что с тобой? — спросила Оля.

— Ничего...

— Ты так морщишься, будто у тебя живот болит.

— Да нет... Ты заметила?

— Я тебя рисую.

— Да? Покажи...

Оля протянула листок. Он не нашел ничего общего, но сам рисунок был интересен.

— Ну как?

— Очень хорошая линия. Можно взять?

— Бери.

Стрейнджер уже читал книгу, иногда зачитывая что-то смешное. Было спокойно и как-то по-домашнему. Слишком хорошо для него. Всякая сказка должна иметь (хороший) конец.

— Ладно, — сказал Дятел, — я пошел.

— Чего ты сорвался? — спросила Ольга. — Может, еще чая?

— Да нет, надо... — соврал он, чтобы на этот раз самому прервать сказку. Уйти с легким чувством голода. К тому же раз начал — заупря-

мился, решил продолжать. Да, собственно, больше нечего было делать. Эти, умные, веселые, могли легко обойтись без него, они могли говорить или молчать часами — они уже обо всем переговорили и над всем посмеялись. Его роль превращалась в неясную и какую-то неприятно сопутствующую. Он еще не был их, словно ребенок, подражающий миру взрослых. Нет, он идет своим путем. У него много призрачных дел. Например, чтение книжек, что насовала ему Ольга. У него горели руки от желания их скорее прочесть.

Они вышли в коридор.

Простились. Дверь хлопнула за ним. Сумерки опускались во двор, словно ведро в колодец. То есть на самом деле это они поднимались снизу дворов, когда верхние этажи еще были в солнце. Обманчиво пахло весной. Прямо за углом мелочно бузил неизвестный Дятлу проспект... Он ничего не мог понять. Новый мир, новый маршрут? Может быть, новая любовь? Он ничего не мог сказать.

Новые слова. Новые места и в них новые люди.

### Волосы

Они играли на гитарах, стебались, прикалывали друг друга, без конца травили телеги, вспоминали, утрируя и преувеличивая, словно актеры, и я удивлялся, как можно быть такими веселыми, когда жизнь так грустна?

Они рассуждали о *добре*, бескорыстии, добровольных жертвах, вплотную и стихийно приблизившись к христианству (впрочем, как и к буддизму). Общение с ними давало много мыслей — с разных неожиданных сторон.

Они говорили о волосах, бывших их *флагом*, тестом, пробой, по которой отличают золото. «Снявши волосы, по голове не плачут», — говорили они (а когда хайрали менты: «Волосы не ноги — отрастут»). Они называли их антенной для соединения с космосом. И уверяли, что еще не сделаны ножницы, которые их состригут.

(А лепокудрые прекрасноглазые Далилы сидели рядом и преданно слушали...)

Но, кроме общих рассуждений, у них была и просто жизнь. И опытом этой жизни они всегда превосходили меня, как бы залихватски ни витала моя беспочвенная мысль.

У Стрейнджера было много женщин. Однажды, как у мусульманина, у него было сразу две, и он не скрывал это, принимая любовь от обеих. И даже устраивал совместные сессии свободной любви. Тогда он был моложе и веселее. С комичным стыдом на лице он признавался, что половая жизнь у него началась очень рано — из-за зуда любопытства, тяги к открытиям. Но и женщин, как таковых, он очень любил и не имел тормозов. Не мне хочется, говорил он, а мне интересно. Так интересно, что хуже, чем хочется. На кисти руки — старая татуировка, сделанная в восемнадцатилетнем возрасте: dope & sex.

Говоря это, он не был пошл и не преувеличивал поэтичности и могучести подвига, никогда не настаивая, что трах — важнейшее из дел человеческих. Секс стоял гораздо ниже дружбы и идеалов.

Он искал лучших. И был уверен, что на свете их страшно много. Этих хороших людей, которых он найдет, если будет искать. А искать, открывать — это была его карма.

Он любил читать, обладал отличной памятью и легким характером. Он был ровен, обязателен, невысокомерен, на него можно было положиться. Ты всегда знал, как он поступит и что примерно скажет. И он был уверен, что знает, как поступишь ты.

Оля. Любви между нами было так мало, что она легко просила об услугах. То есть с ее стороны не было любви. Но то, что было, было хорошо и приятно. Я уже встречал такое отношение к себе женщин и полагал, что таким оно будет всегда. И на том спасибо.

О любви придумано столько легенд. А она может быть ни романтической, ни благородной. И даже не сводить с ума.

Странное всегда привлекает. А что может быть страннее женщины? Страннее строения ее тела? Вроде все как у людей, — и в то же время — фиг... Познать женщину хотелось, как метафизическую тайну.

Но я не хотел роли Домбровского: вечно ходить следом, глядеть завистливыми глазами, чтобы перехватить приз при первой возможности, только сторож зазевается. Однажды, кажется, это ему удалось, и после этого он стал еще несчастнее.

— Зачем, зачем она обманула меня?! — добивался он у меня, когда мы стали дружнее.

У всех были проблемы. Общность проблем нас сблизила. На короткое время мы стали третьей парой к первым двум. Но зависть Домбровского была тяжелой в нем чертой. Поэтому я считал, что он впрямь не достоин Оксаны, умницы, девушки из театральной семьи, человека потрясающего своеобразия.

И тогда же все окончательно накрылось с Катей. Новые друзья были парашютом, смягчившим падение. Впрочем, они же были и мечом Гедеона. Но тут не принято было обижаться на успех товарища, даже если он увел твою герлу: мы же все братья, и насрать, что тебя не полюбила герла, главное, что тебя полюбила Система.

Ошибкой было думать, что я *один*. Это было высокомерие. И теперь, в этой новой ситуации, куда я влип, я считал, что не изменил себе. Я был готов рискнуть. Особенно накануне ужасного проигрыша. Я ошибся, греза рассеялась. Я не мог взглянуть на голую реальность, не сойдя, как мне казалось, с ума. Новые друзья предлагали новую грезу. Коллективную и потому более мощную. Мир вновь обретал смысл, потому что умел мечтать о лучшем, чем он сам. Потому что — это тоже были люди *пути*, без сомнения. Придуманный орден реальных Паломников в страну Востока. Какая разница, один ты тут или с ними? С точки зрения всего мира, ты все равно был один.

Они знали тайные слова, они знали имена предшественников, они знали точные ориентиры.

Прежде всего им тоже не хватало *любви*. И они отдавали свою душу и тело таким же одиноким и тоскующим, пытаясь заполнить этот вакуум — безлюбого детства, безлюбых семей, безлюбой страны.

Сон действительности рождает подполье.

— Я думаю, если смотреть на нас со стороны, делается жутко, — сказала Оксана. Она имела право сравнивать.

В этом заслуга, чистота выбора.

Прежде я избегал всего коллективного, боялся, как греха, ассоциировать себя с некими «мы». Мы — пионеры, мы — советский народ, мы — фронтовики... «Мы» было бранным словом. А мои новые друзья им жонглировали, и у них выходило легко и естественно: мы — волосатые, мы — Система. Это звучало не как: мы — антиправительственный фронт, а скорее — мы инопланетяне здесь.

Но эти инопланетяне не унывали от ужаса своего положения. Они попали в него в такой хорошей компании, как с усмешкой сказал Стрейнджер. Игра стоила свеч: человек получал как все шишки, так и всю любовь, весь опыт взаимоотношений. В этом безлюбом царстве, где само слово *любовь* от частого и лживого употребления обносилось, — тебя действительно любили. Может быть, не глубоко, может быть, не очень конкретно тебя — а лишь как одного из стаи, но все же любили и сразу и откровенно показывали. Мы противостоим *им* любовью, говорили они.

Миф — но прекрасный миф. Те, с другой стороны, в него ни капли не верили. Что не мешало волосатым воспринимать план бытия светло и творчески. Они определенно были красивее окружающего фона.

80-й год был рубежом. Одна жизнь кончилась, другая началась...

### Институт прогорал

Декан встретил меня сухо и продержал перед собой изрядное время, беседуя с другим студентом, потом тасовал свои бумаги.

— Я вызвал вас (sic! — не на «ты», здесь так не принято), чтобы предупредить. До скольких раз полагается прощать? До семижды семидесяти? — не отрываясь от бумажек спросил он. — Ваши дела плохи. — Он поднял свое большое решительное лицо. — Я не могу допустить вас до экзаменов, пока вы не урегулируете свои дела с военной кафедрой.

Кафедры, как таковой, не было. Это был самый свободный вуз в стране! Но были какие-то основы гражданской обороны, стрельба... Какие у меня с ними дела! Там обо мне знала каждая собака. Мне легче попасть на луну, чем урегулировать что-нибудь с этими зелеными задницами! «В случае войны мы должны не только успеть ответить Америке ответным ударом, но и сделать это капельку раньше», — растолковывал тактику упреждающего удара военрук. А вся вина: я просто их не слушал, ходил с отсутствующим видом, рисовал в тетради, читал книгу. Вот только стрелять стрелял. Даже с удовольствием.

— Когда-то вы были хорошим студентом...

Разве такое было?

Он в первый раз впрямую заговорил об исключении. Будто я не превысил уже всех разумных границ прогулов, несданных зачетов и несделанных в срок курсовых, чтобы меня еще уговаривать. Будто не лил литрами донорскую кровь, не ходил в ДНД, не колол лед во дворе, не убирал аудитории, — сокращая прогулы, отмазываясь от курсовых и зачетов?

— ...С третьего курса у нас вылетают легче всего, — кончил он.

...

— Ты не бросай, — без лишней убежденности сказал Стрейнджер. — Мы поможем. Мне на первом даже домой звонили: ваш сын прогульщик и лентяй. А мне просто насрать было на все. Слишком я легко поступил.

— Мне тоже звонят, вчера из деканата: ваш сын в числе *самых* неуспевающих. Для них это было как бомба. И ведь за учебу вроде не платят. Ну если не считать того, что на репетиторов ушло.

— Понятно, семейная традиция. Микеланджело ненавидел своего брата за то, что тот стал крестьянином. Это, мол, оскорбило их род. У нас и родов-то вроде нет, два поколения от сохи, а все туда же. Ты остаешься? Я после пары ухожу.

По дороге домой я думал о словах Стрейнджера. Нет, Стрейнджер отличный тип. Стрейнджер меня поддержал, но не так, как я надеялся. Вопреки хорошо известным взглядам, он не будет рисковать и никому не посоветует сознательно идти на разрыв, когда все станет сложно и на горизонте замаячит презираемая и тщательно избегаемая казарма. В лоб с такими вещами не шутят.

Казарма? Я был не настолько сумасшедшим, чтобы хотеть ее. Но сумасшедшим быть славно, «в этой стране это единственно свободные люди», — сколько раз повторял Стрейнджер. Я слышал много хипповых баек про людей, которые косили от армии. Стрейнджер мог бы легко это сыграть, а вот у меня таланта не хватит. Значит, я должен быть тем, кого играю.

Я понял, кого надо сыграть, чтобы все были довольны, хотя бы относительно. И чтобы двери армии были для меня навсегда — и наглухо — закрыты.

И эта компания тоже их закроет, но позже. Институтская хипня была компанией *бунтарей*. Но все же осмотрительных бунтарей. И они не думали покидать вуз, играть раньше времени в игры с дурдомом, государством, искать работу. Стрейнджера тоже угнетала необходимость мараться в совковом образовании, идти на компромиссы, платить комсомольские взносы («иудины деньги», как называл их Петя), отдавать дорогой полтинник в фонд помощи героическим вьетнамцам, стоять, как мальчишка, перед отчитывающим тебя куратором. Но Стрейнджер, впрочем, не стоял. Спасали нрав и чувство юмора. К ним, бородатым страшилищам, все хорошо относились. Но и мое положение было небезнадежно, я тоже мог не спешить, хоть и чувствовал, что отсчет пошел. И мне очень хотелось броситься головой вниз.

## Знакомство

Весной друзья увезли меня с моим мешком проблем во Львов через Киев.

Во Львове мы ночевали у хорошо знакомого Олисевича в его знаменитой халупке на краю города и у мрачного олдового Пензела, похожего на калифорнийского хеллз энджелз.

Квартира Джоника Белого помещалась среди лесенок и внутренних дворов фантастического дома в центре Львова. Город вообще был фантастичен, барочно-европейский, чужеродная столица несостоявшегося польско-русского католическо-униатского государства на краю карпатских гор, на краю империи, неразобранная декорация бессмысленного древнего изящества и причуды. Архитектурный узор вился и ветвился как живой побег под радиацией солнца и близкой Европы, каждый дом хотел перещеголять другой в изощренности декора. Казалось, он вырос сам по себе и сам для себя, без всякой иной роли в чьей-либо судьбе и истории. Только Питер мог бы с ним сравниться. Но с Питером все было ясно, факт Львова был необъясним.

В Киеве нас приютил безработный актер и писатель Кулайчук, целый день открывавший нам город. Мы были на Андреевской горке у знаменитого голубого растреллиевского собора и смотрели оттуда на дом Булгакова. И в огромном желтом Владимирском соборе с васнецовскими и врубелевскими росписями, более человечными и трогательными, чем все слащавое барокко. В нем я купил и надел свой первый крест.

Материя была плотна, насыщена, рушился каземат, в который я себя загнал. Наши разговоры были строги и академичны, словно мы чувствовали, что должны чем-то ответить на брошенный нам эстетический вызов. Мы бы легко могли стать историками и художниками, в нас было довольно любви и страсти, и даже каких-то знаний...

Чем ближе к Москве, тем могучей поднимался призрак маразма, собиравшегося здесь, как вокруг магнита. Хотелось, но невозможно было остановиться.

...Я не помню, чтобы видел ее прежде, например, во дворе моего колледжа, где резвилась нежная поросль волосатых, к которым на свидание являлась вся Москва и даже весь совок. Зато ее мэна, высокого, волосатого, красивого, я видел часто. Я тогда казался себе еще щенком. Потом я был увлечен своей любовью, так что мне было вовсе не до наблюдений. Через пару лет она со своим молодым и прекрасным рассталась. Тут мы и познакомились.

Я увидел ее в первый раз у Пуделя в большой компании. Тоненькая девушка в дешевом облегающем свитерке, веселая, легкая и ко всему готовая. Где-то по соседству у нее был ребенок, о котором она любила говорить, ничуть при этом не напоминая наседку, — тип, который я ненавидел. Сам я от идеи отцовства был бесконечно далек. Я ненавидел этот тысячелетний трюизм, это бессилие разума — быть станком, на

котором оттачивается болванка чужой жизни. Я хотел остаться свободным, цельным, возвышающимся над пошлым половым подбором. Владимир Соловьев был моим любимым авторитетом в этом вопросе.

Я в свои девятнадцать лет чувствовал себя старым и снисходительным. Она в свои двадцать два — нет. И обрадовалась, как радовалась каждому новому *брату*. При том, что мы не сказали друг с другом ни слова.

Очередная сессия кончилась. Тусовка решала, как проводить лето, а пока трепалась и слушала музон. В основном все молодые бурши, мы еще с аппетитом вкушали от Древа Познания, которое одновременно было для нас и древом жизни. Я не понимал, чем могу нравиться здесь кому-нибудь? Другие нравились мне гораздо больше. У них был тусовый опыт, автостоп и прочие клевые вещи, о которых они весело рассказывали, включая отсидки в «Березе». Я жил в другой вселенной. Я уже перерос детство. Но еще не дорос относиться к жизни просто, даже привыкнуть по-настоящему к ней не мог, к своему ссыльному Понту.

Мысль не успела развиться до ипохондрии: тусовка узнала про дачу, где уже несколько дней жила Матильда с маленьким сыном и подругой. И куда, заботясь о ее развлечении, неожиданно для нее самой, вписались они все.

Первый раз я ночевал у друзей, то есть антагонистично «вне дома». В компании взрослой женщины, у которой был даже ребенок. Впрочем, эта «взрослая» женщина на чей-то пуританский взгляд вела себя весьма «невзросло». Она вмазалась черной вместе с Ником Меркуловым, настоящим заслуженным торчком, — просто так, за компанию, — и ничего особенного не испытала. Ну, что-то вроде того, как в роддоме под промедолом — ее первый трип, отчего роды прошли на редкость безболезненно. Ей было так хорошо, что даже до ребенка не было дела.

«Мамаша, вам не интересно узнать, кто у вас?» — спрашивала сестра. А ей совсем не было интересно — рассказывала она с самоиронией. Все знали и видели, как она любит этого ребенка.

Пробовала она и кукнар, по предложению того же Ника — лечить головную боль, ее вечную спутницу. И помогло: а что, тот же опиум. Она вспоминала, как давали опиум ее умирающей от рака бабушке.

Я на кайф не подписывался. Я недоверчив. В отличие от Матильды. Матильда может себе это позволить — доверчивость. Ведь ее не проведешь — она знает жизнь. Я мог предположить всякое, даже совсем невероятное. Было удивительно, до какой степени я был не от мира сего. И при этом романтичен, словно курсистка, сильно идеализируя некоторых людей. Вот и Матильду тоже. Матильде я верил. Но моя вера была сурова, аскетична, не допускала компромисса, даже легкой шутки, шалости.

Мне было интересно, как она относится к своему бывшему мужу, который так мне когда-то нравился (впрочем, я его мало знал).

— А-а, я хочу его забыть! Он очень милый, очень умный эгоист. Считай, что это просто *мой* ребенок, мой и ничей больше. К тому же он никому больше и не нужен. Считай, что так было всегда.

Всегда. Ну да, я же не знал ее другой. В более выигрышном свете. Так было тяжелее — любить ее. Но она вызывала уважение, словно воспитание ребенка, стирка, готовка — ничего не стоили, не портили настроения, не отнимали сил, и ночью она со всеми травила телеги на веранде и курила траву.

Я не понимал, почему люди бросают друг друга, почему вдруг перестают друг друга любить.

Тем более когда люди такие веселые, открытые и милые, как она.

— Сегодня на детской площадке две бабы ковры выбивают... — дает она свой обычный моноспектакль. — Одна другой говорит: «У тебя ковер — что! — простой, а у меня ковер со смыслом». А у нее на ковре оленята в лесу.

С этих пор выражение «ковер со смыслом» стало крылатой фразой тусовки.

Я с радостью предоставлял себя в качестве сопровождающего на ее прогулках с ребенком. Выбегал с зонтиком, увидев, что начинается дождь, а они еще не вернулись.

Трудовые повинности в тусовке были добровольными, и каждый сам выискивал, чем помочь или, напротив, как расслабиться и предоставить все делать другим.

— Ты мне кажешься добрым, — решила она. — Наверное, ты любишь детей?

— Я... еще не знаю...

Я размышлял о том духовном опыте, который был у нее и которого не было у меня. В семье ей помогали от случая к случаю — и весь ребенок упал на нее, чего она гордо и добивалась. Все физические нагрузки, бессонницы, болезни она бодро тащила на себе, не считая это за что-нибудь особенное. Я понял это, проведя с ней и Малышом несколько дней на даче. Просто наблюдая и слушая ее рассказы. Глядя на ее смирение перед этим беспомощным, ни на что не способным существом, которое властвовало Матильдой как хотело, и Матильда с радостью или терпением отдавалась ему во власть. И еще узнал про домашнюю ее жизнь, громадные, непеределываемые дела — она же осталась на иждивении родителей, и делать ей нечего. Магазины, готовка, прачечная — все оказалось ее. Ведь мать так устает, вся семья столько работает, одна бездельница Матильда живет припеваючи...

От усталости у нее начались галлюцинации: ей стали являться умершие родственники, а однажды, проснувшись среди ночи, она услышала разговор двух бесов — они пристроились в углу под потолком, над дверью — и обсуждали ее, Матильду, зло и издевательски потешаясь над ее очарованностью собой, претензией на ум и какую-то жертвенность.

Таких рассказов у нее было много. Например, про старый и частый кошмарный сон, как она бежит от кого-то опасного, добегает до дома, запирает дверь. На секунду успокаивается и вдруг видит, как дверь открывается, а за ней — *нечто ужасное*, на что она не в силах взглянуть.

Она кидается, чтобы запереть эту дверь, но та все равно открывается снова и снова. Я вспомнил, что этот же сон видел умирающий князь Андрей в «Войне и мире», — я недавно читал. За дверью, как известно — *смерть*.

Полуторагодовалый Малыш, которому тоже не стригли волос, отчего он был очень мил, любого взрослого воспринимал как члена семьи. Матильда считала, что так и должно быть. Ведь все *мы* и есть семья! Ирэн с ним гуляла, Пудель возил на спине, каждый что-то делал для него в пространстве общего дома. Их было много, а он один. Я тоже приложил руку к воспитанию Малыша: тот поцарапал обои на стене, а потом страницу книжки, которую я читал.

— Да, это *идентично*, — сообщил я. Малыш удивленно на меня посмотрел, а Матильда захохотала.

Она смеялась надо мной, а потом рассказала еще один сон, ее первый желто-фиолетовый кошмарный сон в пять лет — о погибшей под троллейбусом девочке... И что родилась она слабая и недоношенная и врачи сомневались, что она выживет. И эти беседующие о ней бесы, и видения умерших... Смерть все время где-то близко от нее. Это, может быть, источник ее мудрости. Не отменяющей, впрочем, игривости и легкомыслия.

Она показалась мне существом божественным: веселая, мужественная, мудрая, нравственно максималистичная — и еще добрая, чистая, умная, красивая... Не идеальным, но божественным.

Это была девушка, о которой я всегда, мечтатель, мечтал. Сентиментальная, образованная и романтичная. Эмоциональная, с плещущими через край чувствами, не способная ничего носить в себе, раскрывающаяся в ту же минуту в гневе или радости.

Ночами на дачной веранде под слабые запасы из Битлз и Doors у нас происходили горячие беседы о музыке, литературе, философии, сексе (казавшемся на тот момент обоим скорее темной, чем светлой силой), хоть на многое мы смотрели прямо противоположно. И в какой-то момент, после травы, разговоров и смеха Матильда приблизилась настолько, что вдруг заработал механизм притяжения.

Стоять рядом с женщиной опасно, я чувствовал это даже в метро. Может проскочить искра. Еще не любовь, но ожог. Что доказывает, что разнополюсность существует и человеческая материя действительно стоит на этих магнитных силах любви.

И уже не мог забыть ощущения — этой близости, открытости, готовности быть обнятой, ласкаемой — когда лежал рядом с ней (ибо мест для сна больше не было, кроме этой относительно широкой тахты) по-монашески — в одежде. Непроизвольно ли это вышло, нарочно, и отойдя, разойдясь, она уже забыла об этом? Может быть. Но не я.

Я сам был ребенок — и отдавал себе отчет. Я не так ко всему относился, во всем натыкаясь на проблему. Много дней подряд я с нежностью думал о ней.

Я должен был иногда ездить в колледж: делать ремонт аудиторий — такова была повинность моего курса в том году.

Она взяла мой телефон и оставила свой и предложила звонить.

Властвовать собой... Я всегда хотел максимального. Воспоминание о Матильде было счастливейшим в теперешней жизни. Я хотел видеть ее — и снова и снова ездил на дачу. Это еще не была любовь. Просто душевная близость и потребность испытывать ее вновь и вновь. Половодье чувств я сдерживал сам. Все остальное, мысли, мечты, я предоставил судьбе — убить или взрастить, — которой лучше известно, что мне надо.

А через два дня звонок: на том конце провода та, о которой я так много думал. Она собирается приехать в гости. Ирэн отпустила ее проветриться — и она не нашла более достойного объекта.

Она хотела посмотреть, как я живу. Она считала жилье отражением человека, по которому можно много сказать о хозяине. Снова разговоры, теперь вдвоем, веселые, как у нее принято. У нее свой круг, свой, более богатый, опыт, иной срез жизни (профессорская семья, достойные предки, академические знакомства родственников), брошенный университет, полуветеранские тусовые погоны — это было интересно знать и само по себе, вне всякой связи с носителем информации. Но носитель прекрасно рассказывал. Первый человек, которого я мог сравнить со своей прежней любовью, лишь недавно завершившейся таким фиаско.

Я тоже устроил ей «экзамен», сообщил свое корневое, символ веры: «*Все планеты, небосвод, звезды и земля со всеми ее царствами не стоят малейшего из умов*» — и она признала величие образца.

Ей нравились оторванные от жизни и непризнанные таланты. Она преувеличивала как их ум, так и их благородство, то есть желание видеть кого-то, кроме себя.

Ночью я вспоминал Матильду. Она не выходила из головы. Ее легкость, отзывчивость, ум. Ее тонкие руки, мальчишеские бедра. Ее женскость...

...У нас в душе всегда есть вакансия влюбленности, безымянный и универсальный образ исключительной и тайной любви к самому себе, воплощающийся в некоего человека, способного создать «объективность» этого стихийного чувства, в некий *пол*, род существ, способных отдаться этому чувству, способных отдать этому чувству себя всего, ничего не оставляя миру и тем самым выделяя тебя из мира, выделяя тебя над собой. Быть *миром*, не являясь им, — величайшая радость для человека.

Это все было *воображение*. Я любил *так* воображать, вне опыта, вне конкретики своей жизни, не на фактах, а на догадке, *a priori*. Интересно было бы потом сравнить результат. Я хотел все прочувствовать, даже не испытав. Любовь, жизнь с любимым, разлуку с любимым, измену любимого, трагедию и боль, как герой или автор «Назову себя Гантенбайн».

Неужели это навсегда потеряно для меня?

Как святой Антоний, я создавал и уничтожал своих бесов. Но это не был подвиг веры. Я никогда не думал, что *женщина* может быть так желанна. Любая женщина. Тихое, лирическое, женское... Мне было трудно справиться с лихорадкой, природу которой я связывал с недомоганием. И с трудом удавалось вспоминать, что реальное всегда победит идеальное, а я не любил реальное, и поэтому хотел находиться в одиночестве.

Теперь в Москве я узнал или вспомнил, что значит томиться неуверенностью, будто я делаю что-то дурное или запретное, словно собираюсь выпрыгнуть из быстро идущего поезда, и наконец взял трубку и позвонил. Матильда предложила приехать прямо сейчас. Сомнения сразу рассеялись, все стало просто и ясно.

Она жила в дальнем углу роскошной академической квартиры, среди родственников, книг и хлама длинного хаотического существования ее семьи. Ее мать, наперекор Матильдиному крику: «это ко мне», вышла на звонок, и, увидев меня, намеренно ждала, пока я поздороваюсь первый, а потом резко повернулась спиной и ушла. И затем каждый раз очень нервно относилась к моему появлению. Прочие родственники обходили меня стороной, не замечая или опасливо косясь.

Но самое сильное впечатление были — книги. Они вытеснили даже Матильду. Я ходил по квартире, как по музею, читая корешки: такое я прежде видел только в букинистическом магазине, да и там не видел. Ее квартира и была огромная книжная лавка: стеллажи, стеллажи... — тут можно было заблудиться и пропасть. Я бы с удовольствием остался тут навсегда — среди любимых книг. Вообще, мои очертания рая смахивали на библиотеку — еще со школы.

Я подумал, как убога должна была показать ей моя любовно, с муками выстраданная по букинистам и из-под полы библиотека на двух полках. Которую она, однако, великодушно похвалила.

Я тоже был не с пустыми руками: явился с пластинкой «Yes», которой хотел просветить музыкально непродвинутую Матильду, для которой Битлз, Роллинги и Doors остались последней истиной — музыкой в ее жизни, как и в жизни большинства хипповых герлов, заведовали их мэны: уж на это-то они годились. Сама она ничего не собирала и не писала. Зато откуда-то у нее была пластинка «Hair», гениальная рок-опера о прелести волосатой жизни, пластинка «Help», кем-то подаренный «Pink Floyd» и «Greatest Hits» Боба Дилана, принадлежащий ее матери.

Пока мы сидели и болтали, ребенок дотянулся до проигрывателя и остановил пластинку. Игла стала скакать по ней, как козлик. Никогда это высокородная пластинка не испытывала такого обращения! Это болезненно кольнуло, но я сделал вид, что мне все равно. К тому же Матильда отругала Малыша. А Малыш был премиленький. Взамен она предложила все свои пластинки. Но я не взял, конечно. Я уже знал, что любовь приучает к жертве самыми дорогими вещами. А самая дорогая вещь — это ты сам.

— Моя идея, — говорил я, — это с немногими людьми или друзьями против всего мира. Понимаешь? — завел старую песню.

— Contra mundum, — сказала она. И улыбнулась, скорее над самой собой. Это не был выпендреж: в универе она учила латынь.

Она рассказывала, как в универ приходили из ВЛКСМ, из ГБ, стращали, соблазняли: вступить в комсомол, сотрудничать с органами. Многие от таких предложений не могли отказаться, но не *они*! «Что вы можете с нами сделать? Вы же просто колода карт!» Слабые, ничего не

имевшие, за что уцепиться, — ломались. А у них были замечательные друзья, книги, вся культура. Выгоните из своего университета? Да пожалуйста! В тюрьму посадите? Нет оснований. А мыслить не одинаково со всеми — ну, это даже здесь не могут запретить. Упечете в дурку? Отлично: спасете от своей же армии и от дальнейших приставаний: почему не такой, почему не со всеми...

Ничего не боялись...

За стенкой постоянным фоном детский голос, переходивший в крик.

— Что? Ах, да... — Она уходит, приходит...

Смотрит на мои джинсы.

— Ты сам пришиваешь заплаты?

— Да. Как умею.

— Лена великая мастерица. Видел, какие заплаты она ставит Васе? Бабочки, цветочки. Мне ужасно завидно. А еще говорят: заплаты — некрасиво. «Если мой сюртук и брюки, и башмаки еще годны, чтобы молиться в них Богу, — значит, их еще можно носить, не правда ли?»

— Кто это сказал?

— Торо. Мой любимый философ.

Я поднял глаза, словно проверяя: действительно ли эта мысль сорвалась с уст женщины?

Она спокойно и радостно отметила эффект — как хорошо и вовремя это было сказано, тем более что сама не так давно узнала о Торо, с которым носился по Москве Москалев — один из идеологов Системы. Он так красиво рассказывал о нем! Наш человек! Он отказался сдавать деньги на войну с Мексикой. Эмерсон, когда увидел его за решеткой, спросил: Генри, почему вы здесь? — Уолдо, почему вы не здесь? — ответил Торо.

— Вот, — сказала она с праведным гневом, вернувшись домой от Москалева, — насобирали тысячи книг, а не имеете ни одной стоящей!

— Ты о чем говоришь? — спросила маман, специалист и переводчик.

— О Торо! Уолден! Не слышала?!

Каково же было ее изумление, когда маман указала на книгу, которая уже давно стояла у них дома на полке!

— Вместо того, чтобы шляться — чаще бы заглядывала на книжные полки. И не воображала, что все вокруг такие невежды, — гордо сказала маман и удалилась. Матильда была повержена. И весело потом это рассказывала. Зато книга пошла по рукам.

— А кто он? — спросил я.

— Он из трансценденталистов. Не слышал про них?

— Все мы трансценденталисты. Нет, не слышал. Разве такие есть?

— Были в Америке в прошлом веке.

Я скептически пожал плечами: я считал, что знаю все про трансцендентное.

— «Если человек шагает не в ногу с остальными, может быть, это оттого, что ему слышны звуки иного марша»? — вновь процитировала Матильда.

Как это было верно!

Это была книга оптимистического бунта, наполненная радостью жизни и приятия бытия. Этот борец не ненавидел мир, не боялся его, не презирал людей, не боролся с Богом или правительством — он ни от кого не зависел, и потому у него не было врагов. Он боролся с заблуждениями человеческого ума, их привычками, их глупостью. Но считал, что все можно объяснить. И жить правильно — и сам осуществил образец этой жизни — на берегу озера Уолден.

— Дай почитать, — попросил я.

Это была первая книга из тысячи книг, которые я получил от нее. И был потрясен. После нее я не заплатил ни одного комсомольского взноса.

Прав был Москалев: нужные книги появляются вовремя. Вообще, все в моей жизни появилось вовремя. Может, как и у всех людей. А, может, так было назначено. Некоторым.

Прощаясь, я увидел, как за дверью в большую комнату блеснула голая детская попка, оседлавшая резервуар для писанья. Маленький Матильдин сын. Он сильно перегнулся вперед, рискуя упасть на пол.

### Бог на партизанской

Вместо того чтобы праздновать спасение и ехать домой, благо работа в институте кончалась днем, я стал каждый вечер приезжать к ней на дачу. Она всегда была рада — была ли она после очередных гостей, болел ли ребенок, ссорилась ли она с Мадам, матерью бывшего мужа и хозяйкой дачи, на которой Матильда так нагло утвердилась. Она всем и всегда была рада, для всех находя какие-то слова. Была мастерица рассказывать сюжеты длинными дачными ночами на веранде: хоть из бесконечных английских романов, хоть из «Роман-газеты», несколько годовых подписок которых проглотила однажды дождливым летом, обнаружив их на снимаемой в Тарусе даче.

Жарким летним вечером она предложила пойти купаться — но пошел только я, уже выбравший роль паладина, пока ни к чему не обязывающую. Она сняла майку и джинсы, и оказалась тощая, как щепка. Она сама предложила купаться голяком (была почти ночь).

А потом предложила креститься — в нашей компании мы единственные остались некрещеные, будто еще духовно неполноценные и преданные совку.

Все началось со споров о необходимости обрядов, свободе в выборе религии и ее форм. Христианство я уважал за фигуру его учителя, за моральный дух, лучше которого человечество не изобрело, в чем я не сомневался ни секунды. Но конкретной церкви я не любил, не верил ей. В крещении не видел никакого смысла, считая это пустым обрядом, вроде приема в пионеры, предпочитая исповедовать христианство свободно. С мистической точки зрения, мне была ближе веданта и какие-нибудь формы йоги. И тут начались «комсомольские» разговоры: пока не крестишься — не поймешь, только с крещением человек приобре-

тает мудрость, вообще начинает отличать черное от белого. Пока законно не наденешь крест (а я носил его «незаконно», купленный во Владимирском соборе в Киеве). И так это мне надоело, что я решил попробовать. А вдруг и правда увижу мистический свет — и еще таким простым путем?

И тут выяснилось, что Матильда тоже хочет креститься — и как можно скорее.

Ирэн отпустила нас на целый день, и мы поехали в далекий храм на станции Партизанской к отцу Владимиру — на разведку. Всю дорогу туда и обратно я читал Торо, как запойный пьяница пьет свою водку. Я открыл Евангелие свободы. Я знал теперь, что буду делать в каждой ситуации, перед которой жизнь меня поставит, положит и даст по голове. Все было так просто и, главное, Торо не сказал мне ничего нового. Он лишь доказал, что так жить *можно*. А что *нужно* — я и так знал. Просто не хватало духа.

Я ничего не сказал Матильде. Зачем — очень скоро будет тысяча возможностей, когда можно будет понять, насколько твои понты, в том числе и перед этой девушкой, соответствуют заслугам.

Час мы брели от станции в дальнее село, где еще сохранился действующий храм. А через неделю опять: совершить заранее подготовленную и обговоренную диверсию. На этот раз время поездки на электричке я коротал, читая ее рассказ про некоего хиппи по кличке «Джаггер». Я нашел его очень наивным и романтичным, даже на мой романтичный вкус. Но идейно правильным. И, главное, она еще никому его не показывала. Я понял, что могу поделиться с ней тоской своего одинокого стихотворчества, скрываемого даже от Бори.

Отец Владимир крестил без формальностей. У нас не было даже крестного отца. Операция протекала полуподпольно, скорее как акция, вызов, чем как что-то душевно переламывающее. Впрочем, наслушавшись рассказов про чудеса и мистические ощущения, происходящие с другими, мы втайне ждали чего-то сверхъестественного. Но, при всем желании, не почувствовали ничего, в отличие от некоторых крещеных, у которых просто сияли лица. Зато теперь я «законно» носил свой старый крест, а после таинства батюшка очень проникновенно с нами говорил, подтвердив, что ничего сверхъестественного с нами сразу и не произойдет, хотя многие испытывают душевный подъем и небывалый энтузиазм, что едва ли не ангелов начинают видеть. Зато потом, уверил он, мы почувствуем несомненный результат.

Еще при первой встрече он в двух словах объяснил нам суть православия: все за новшества, реформы в церкви, вот и католики — у них не служба, а почти рок-концерт. А мы на том и стоим, что ничего не меняем. Если нам дана истина — зачем менять? В угоду человеческой слабости? А современный человек, конечно, слаб, и многое ему чуждо и непонятно. Ну да, какие-то послабления и мы делаем. Но сущность православия — традиционализм. Православие основано на предании, то есть мистично. И менять здесь ничего нельзя, как ингредиенты в химической реакции.

Теперь после службы он пригласил нас, единственных из новообращенных, в свой домик при храме, где присутствовали самые верные его прихожане и поклонники.

Он был знаменит, свободолюбив и хорошо образован, чуть ли не выпускник университета. За свою популярность и активность был выслан из Москвы в дальний подмосковный приход, куда потянулась страждущая паства. Он не был педантом, мрачным догматиком, он говорил нормальным языком и после службы носил джинсы, так что на улице его можно было принять за хиппаря. Он был центром разговора, красив, молод, страстен, и все, в том числе люди много старше, нерушимо слушали его, словно великого Первоучителя христианства, так что собрание напоминало вольный извод Тайной вечери. Проповеди его были полны человеколюбия и большого чувства. За обеденным столом в крошечной комнатке он свободно и неортодоксально говорил на теологические темы, объясняя религию именно как свободу и радость. Подобное я встретил позже только у Александра Меня. Хоть мы виделись всего два раза, понравился он чрезвычайно.

Зато после «вечери» некоторые прихожане проявили себя крайне настроенными экстремистами: с одним из них, мрачным пожилым мужчиной, мы брели до станции. Всю дорогу он ругал официальные церковные власти, а патриарха Пимена обозвал агентом ГБ. В его словах была только желчь, ненависть и обида.

На прощание отец Владимир подарил нам по подпольно присланному из-за границы Евангелию (распространяемому ненавистными протестантами) и большую фотографию Богородицы, которую можно было наклеить на дерево, сделав самодельную икону. Одну на двоих, как бы объединив нас в одну плоть.

Наш совместный опыт был столь кричащ, чтобы так от него отмахнуться — и чтобы его утвердить, все проверить или все разрушить, мы поехали стопом на юг.

Я сильно изменился за это лето, которому хорошо подошли любовь, аресты, путешествия. Я был дерзок и независим. Я впервые почувствовал себя *свободным*, то есть ничего не боящимся. Лишь институт держал меня за штаны и тянул в прошлое, на чугунный горшок. Я бы и бросил его, подобно Матильде, если бы за ним не маячила армия. А после института я служить тем более не хотел. И уже знал, что делать.

### You fool no one

Он покорно дает матери звонить. Времени нет, он не чувствует его. Отвечает невпопад.

Мать что-то говорит по телефону про институт, военкомат. И дурдом открылся для него легко, будто всегда ждал.

Усталый, чуть раздраженный врач. Ему наплевать на Дятла, а Дятлу уже наплевать на повестку, наплевать на то, что его очевидно ждало.

Темный спящий дурдом, мытье в мертвецки-кафельной кабинке, переодевание, препирательство из-за волос, креста.

— Если вы острижете мне волосы, я наложу на себя руки.

Спорить не стали. Взамен пустой, мокрый коридор. Два появившиеся откуда-то санитара. Он сам добивался муки и наказания. Волевым усилием выключил сознание, чтобы действовать дальше чистым автоматом. Так, наверное, идут на убийство. Он знал, что действует правильно, и тревожные и мучительные частности не имели значения. Горизонт реальности сузился до точки и вот-вот был готов исчезнуть совсем.

Потом провал и последнее бредовое воспоминание: кушетка, свое удивленное тело на белой простыне — зачем ты обрек меня еще и на это?.. Он отлично сыграл эту роль.

Игла жалит в тонкую бледную кожу. Просто снотворное, успокаивает врач.

...

Он писал Матильде из больницы, где ему было все хуже. Откровенное любовное письмо. Полное литературных сравнений и сантиментов. В ответ через родителей Матильда прислала ему записку:

«Я прочла твои стихи. Можешь мне не верить, но они мне показались замечательными. Такими хорошими, что даже не важны отдельные недостатки. Говорят, ты не хочешь никого видеть. Ну, может, выдашь мне разрешение навестить тебя? Мне бы очень этого хотелось. От друзей привет. Матильда».

Он с нетерпением ждал среды. Он окончательно потерял покой и способность пребывать в неподвижности. Каждую ночь его мучила бессонница, и каждый день был как две капли воды похож на другой день, так что любое избавление казалось слаще этого плена. Но его-то, избавления, и не предвиделось. Таково было действие лекарств, каковыми его «лечили». В этом был смысл: любая реальность после больницы была предпочтительней — была изумительна! Он видел ее за зарешеченным окном, куда его не выпускали.

С этого началась дурдомовская лирика. Потом его стала посещать черно-белая дурдомовская живопись.

Маясь, он ходил взад-вперед по коридору. Мимо прошли санитарки.

— ...Прихожу в палаты, женщины в домино играют, а мужчины пиво пьют. А уже одиннадцать часов!..

Привычные, замызганные, бесчувственные ко всему существа. Те, что пили пиво, тоже, собственно, были бесчувственны.

Наутро он опять разговаривал с врачом, встречая его в каждый обход с надеждой, абсолютно иллюзорной и все же крепкой.

— Мне дают что-то не то, — жаловался он. — Мне становится все хуже.

— Угнетенное состояние?

— Да. Ужасно.

Врач посмотрел в его карту.

— Я добавлю вам кое-что, чтобы смягчить действие остальных таблеток. Вы почувствуете себя лучше.

Перед сном ему принесли две маленькие белые таблетки. Он выпил их и лег. Потушили свет, и во мраке ему *все стало ясно.*

Он передумал все мысли, он дошел до конца всех вопросов, начавших бродить и бредить в нем до галлюцинаций, превращаясь в видение Абсолютной Истины, очертания которой немедленно терялись, едва он пробовал описать ее словами. В эту ночь он *все понял.* Но непомерность этого знания не укладывалась в голове и утром растворилась как сон, оставив, однако, четкий след.

Утром, после почти бессонной и прекрасной ночи, полной воспоминаний о вдруг обретенной, почти космической ясности, он прочел на обороте упаковки: «циклодол».

Потом он узнал, что галоперидол, относящийся к чудовищным, разрушающим волю нейролептикам, всегда чем-нибудь «смягчают». Но *они* почему-то забыли прописать ему это или нарочно не прописали.

Он мог теперь думать, он *имел* спокойствие.

Кто-то проявляет мудрость — с самого начала, а потом и во всю свою жизнь избегая проблем. Кто-то проявляет мудрость, отыскивая и создавая себе проблемы, утверждая таким образом свою свободу. Свобода есть неидентичность. Неидентичность порождает проблемы.

Он утешал себя, что лишь по названию дурдом находится здесь. Он повсюду, и лишь для спокойствия и обмана большинства кого-то запирают в отдельное место, утверждая разницу, которой на самом деле не существует. Наш великий род жил в нашем великом доме...

Он знал, что он вечный отпускник, и перед ним лежали стопки книг, километры дорог, годы жизни, которые он должен пройти, понять, восхвалить. Должен для себя, без высшей идеи, не дожидаясь сурового приговора общественного кумира, возведенного где-то в неведомой ему вышине.

Но обо всем этом он тогда не хотел думать, откладывая до времени, когда железная дверь откроется для него. Глаза его уперлись в небо, где бодрящее взгляд облако из лошади превращалось в медведя.

Он вплотную подошел к окну и долго смотрел прикрытыми глазами в сад, на желтые кучи собранных и разносимых ветром листьев, отчего он сам становился желтым и золотым, а потом все дальше и дальше, к теряющемуся за домами и деревьями горизонту.

Он не ждал из-за него ракет, не ждал грозной депеши с требованием подвига во славу отечества. Он видел дорогу, и горы, и берег моря. Он знал, что когда-нибудь будет там, он теперь знал, как легко быть счастливым. У человека есть все — он просто не умеет этим распорядиться! И все же это не понравилось надсмотрщику.

— Эй, отойди от окна! — крикнул он.

Ей опять позвонили его родители. Он хочет ее видеть. Незадолго до своего попадания в крезу, он дал ей стихи, которые никогда никому не показывал, даже Кате — в знак невероятного с его стороны доверия, —

правда, тщательно вымарав все посвящения, там, где они были. Теперь она пришла, улыбающаяся и спокойная, в комнату для свиданий, и говорила, и утешала, как очень взрослая, отлично понимающая, что ему нужно, нежная и уверенная в конечной победе (гораздо более уверенная, чем он сам и чем была уверена на самом деле), в голос ругая врачей, пребывая целиком и безоговорочно на его стороне, на все для него готовая. И даже для воодушевления напоминая опыт философов, конечно, греческих, но не высокомерно и дидактично, как какой-нибудь профессор, а с искренней надеждой, что это может помочь. Это была великая душа, великий порыв и великий номер одновременно, как у санитарки на передовой.

Он говорил, что ему открылось в ту ночь под циклодолом, важнейшее и непередаваемое, об устройстве мира и жизни — с какой-то последней простотой и убедительностью. Как он мог этого не понимать! И утром проснулся радостный и переполненный воспоминанием об этой мудрости, но без нее самой. И повторные приемы циклодола только улучшали состояние и настроение, но не воскрешали истину. Она сочувствовала ему и кивала.

— Я приду. В среду. И перестань пить лекарства, если тебе так плохо, — сказала она ему. — Мне *велели* передать тебе это.

Он и сам уже догадался. Он хотел вывести из себя эту дрянь, мешающую смотреть и мыслить. Но каждое утро сестра совала в рот палец, проверяя, проглотил ли он таблетки.

— Принеси книги. Хоть я не могу читать. Они начинили меня этой дрянью, как взрывчаткой. Ты увидишь, я уже полуинвалид. Но все равно принеси что-нибудь, какой-нибудь романец, чтоб даже психам понятно было. Ладно, меня уже гонят.

— Хорошо. Не скандаль там, до свидания.

— Я очень буду ждать тебя. Скорее приезжай и спасай. Иначе ты меня в живых не застанешь.

Но она уходила, и он вновь застревал во времени, чуть свет ставя еще один мыслительный крестик впрок — за еще не прожитый день, который надо было переплыть на худой лодке его нервов. Он физически хворал — без свободы и без нее.

— Здравствуй, — радостно сказала она.

Матильда явилась, как и обещала, но не заместо родителей, а вместе с ними, уговорив взять ее с собой. Дятел бесцеремонно по отношению к родителям отвел ее подальше в угол и схватил за руку.

Он был действительно рад ей, как вряд ли кому-нибудь другому в мире. Она была лучше всех, добрее всех, она все понимала, она готова была помочь, как бы ни мешали обстоятельства. Но он слишком сосредоточился на своем положении, своей проблеме, когда свидания лишь подчеркивали неутешительный факт. И ничего не мог сделать — эта беспомощность выводила его из себя. Он был целиком зависим от других. Разве она может понять, как это?!

— Я тоже лежала в больницах.

Господи, разве это одно и то же?!

— Ты не понимаешь, — едва успел сказать он и чуть не заплакал от бессилия, и быстро поцеловал ее в губы. — Да, у меня что-то с голосом. Какое-то расстройство речи, смешно, правда?

— Я ничего не чувствую. Что они с тобой делают? Я знаю только то, что говорят родители. Они считают, что лечение идет тебе на пользу.

— И ты им веришь?

— Не очень. Но я же ничего не знаю. Они со мной не очень говорят. Они не понимают, что я такое. Так трудно до тебя добраться. Тут есть телефон?

— В том-то и суть, что нет. Ведь псих у нас навроде зека, лишен всех прав. Даже не псих, а лишь подозреваемый в совершении акта умалишения...

Она усмехнулась.

— Ты еще можешь шутить. Это хорошо.

— Ничего не хорошо. Ты должна вдолбить им, чтобы они меня отсюда вытащили.

— Как?

— Как угодно. Посмотри на меня. Еще неделя, и я свалюсь с копыт. Я не выдержу, серьезно! А они мне грозят гораздо большим сроком. Кажется, они убеждены, что у меня очень серьезный случай.

— Зато от армии откосишь.

— Мне уже наплевать на армию! Они могут разделять их идиотскую точку зрения, но не теперь. Я бы не хотел, чтобы мной так рисковали. Если не хотят получить полного олигофрена в конце.

— Ладно, я скажу. Не знаю, послушают ли они меня.

— Говори убежденно. И приходи как можно чаще. Хоть я понимаю, что тебе тяжело.

— Твои родители и так не хотели меня брать. Очень подозрительно спрашивали, зачем я хочу идти и не станет ли тебе от этого хуже?

— Хуже! Куда уж хуже! Обязательно приходи. Я ведь не прошу у тебя ни пилку, ни бритву. Это так просто.

— Да, и еще...

Она протянула открытку, которую сунул ей вчера на улице какой-то волосатый. На открытке были просто цветочки. А на обороте ручкой было написано:

«*Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду...*»
Иеремия, 29.11.

На глаза ему навернулись слезы. К нему вернулся бодрый вид. Он пытался хорохориться. Для нее. Даже шутил и перестал просить маму жать на врачей. Та, уходя, решила, что дело, против прежнего, пошло на лад.

Матильда осталась до самого конца.

На прощание Дятел попросил передать, чтобы друзья не приходили. О побеге с их помощью он больше не думал. Он до сортира-то доходил

с трудом. Да и не такие здесь нравы, чтобы кто-то с легкостью отсюда убегал.

Еще пару часов он пребывал в спокойном настроении. Но ближе к вечеру действие таблеток кончилось, и когда заглянул врач, Дятел напоминал полумертвую развалину, которая только невероятным усилием воли могла слушать, и отвечать, и сдерживать слезы.

День был солнечный и очень подходил для хороших новостей. Уже несколько дней он жил в новой палате, где уже не было постоянно приглядывающего санитара, где на стенах висели грустные календари с крестиками проведенных дней. Ибо из этой палаты *выписывали на волю*.

Прошло две недели, а врачи все не обозначали срок выписки. Ему нужен был хоть какой-то намек на берег вдали, чтобы иметь силы плыть. Даже если это только мираж. И продолжались капельницы и таблетки, которые, несмотря на все формы борьбы с ними, оглушали два раза в день. Особую разницу он замечал утром, когда вставал довольно бодрым, с ясной головой и некоей волей к жизни, но через час — после того, как во рту проелозил чужой палец, — он уже не узнавал себя. Это был другой человек, жалкий, разбитый, безвольный, как ребенок. Готовый на все, чтобы прекратить эту канитель.

И однажды, когда он был именно в таком состоянии, пришла мать и сказала, что говорила с врачом, который категорически отказывается его выписывать: «Такой сложный, тяжелый случай, надо разобраться. Вы хотите загубить своего сына? Вы мать или кто?..»

— Так что потерпи, милый... — Так она писала в ответ на его жалобные письма из пионерлагеря: «Потерпи, милый, скоро мы с папой приедем...»

— Ах, так, значит... — сказал Дятел. Лучше бы он не устанавливал себе этих двух недель, лучше бы ему не обещали, не дразнили!.. Он встал и куда-то неопределенно пошел. Он ничего не видел. Не дойдя двух метров до окна, он, может быть, бессознательно подчинившись некоему литературному образцу, вдруг рванулся к нему и кинулся в стекло...

Нет, он не разбился: эти стекла не бились (так же, как в образце). Наверное, он потерял сознание. Потому что был какой-то пропуск в действительности, до того, как он понял, что его кладут на носилки и куда-то везут. Очнулся он уже в палате, в той своей прежней, наблюдательной, увидел занесенный, как ятаган, шприц и опять выключился из действительности. Боли он не почувствовал, как и беспокойства. Ему было совершенно все равно. И сознание снова уплыло куда-то, подчиняясь скорее нежеланию ничего знать, чем действию лекарства.

Последующих дней он не помнил. Они прошли в полном бреду. Лед был сломан, время не стояло, а текло, мчалось, летело, наползая и сшибаясь глыбами. Через несколько дней его выписали под расписку.

На улице его ждала Матильда. Она доехала с ним до дома, осталась пить чай и ушла, обещав звонить и навещать.

Она невероятно легко отдавалась в мою волю, согласная, чтобы ее брали за руку и вели. Это было трогательно. Красивая, высокая, стройная девушка, с улыбкой на лице, с умными словами. Было из-за чего распустить хвост...

Я провожал ее до дома. В подъезде мы поцеловались. Долго, как целуются влюбленные. Потом подошли к лифту.

— Не надо, — сказал я.

— Что ты хочешь делать? — спросила она испуганно.

Я подхватил ее на руки.

— Отпусти, не смей! Надорвешься!

Но я уже нес ее на руках на седьмой этаж, где она жила. И донес лишь до второго, хиляк, недавно сам едва таскавший ноги.

Через два дня, еще более очнувшийся от лекарств, я поехал к ней сам. Мама остановила меня перед самой дверью.

— Ты куда едешь, к ней?

— Какая тебе разница?

— Ты боишься мне сказать?

— Да, к ней, и что?

— Ничего. Ты думаешь, она тебя любит?

— Я не собираюсь с тобой это обсуждать.

— Один раз ты уже был влюблен.

— Это совсем другое.

— Все так думают. Поверь мне как женщине. Она тебя использует. Она не может тебя любить. Она взрослая женщина, у нее ребенок. Кто ты для нее? Ты просто неопытен и наивен, ты не знаешь женщин...

Я повернулся и вышел. И поклялся себе, что больше никогда не вернусь домой. И не буду иметь с родителями ничего общего. Как Моррисон, я решил стать сиротой.

— Что случилось? — спросила Матильда.

— С мамой поссорился.

— Из-за меня?

— Нет, — соврал я.

И, вероятно, в награду за преданность остался ночевать. Верная Ирэн, ставшая уже почти членом ее семьи, была изгнана — ради этого мрачного косноязыкого красавца.

Я лег первым и видел, как она раздевается в темноте. О, эти бесконечно прекрасные движения раздевающейся еще почти незнакомой женщины, тонкий алебастр рук и спины, скромно полуукрытых темнотой.

И вот она в постели, у стены, а под окном рычит ночное такси, и ослепительный белый ромб скользит по темному прямоугольнику потолка.

— Спокойной ночи, — сказала она.

— Спокойной ночи, — отозвался я, будто верил, что ночь будет спокойная.

Она лежала очень тихо, не шевелясь, словно кошка.

— Тебе удобно?

Я приподнялся на локте.

— Да, более-менее.

Наступила томительная тишина, во время которой я столько раз пытался взять себя в руки, что даже забыл, чего я, собственно, хочу.

Она молчала.

— Иди сюда, — вдруг сказала она. И повернулась лицом.

Я обнял ее. Она вывернулась под моими руками, словно пытаясь ускользнуть, вся прижавшись к стене. Я обнял ее поперек груди, уткнулся лицом в волосы. У нее был пронзительный запах женщины, который путал мои мысли. Запах табака, молока, стирального порошка и записанных пеленок. Этот запах был чарующ. И все же это было как-то не так, как я воображал. Может быть, не должно было быть ребенка за спинкой кровати, мирно сопящего и ничего не знающего, и родителей в соседней комнате. Все знающих и вряд ли довольных.

Она повернула голову. Я осторожно поцеловал ее в лоб.

— Ты замечательная девочка. Я безумно тебя люблю.

— Ну а дальше? — засмеялась она.

— Каллипига.

— Это что такое?

— Голубая девочка с глазами-звездами...

— Сразу видно поэта!.. — продолжала она смеяться.

Я нашел ее губы и поцеловал. Она чуть заметно ответила... Полуобняла меня, прижавшись грудью, прекрасными холмами, куда садится солнце, за которыми плещется море. Непонятной разящей вещью, сеющей панику. Я задрожал до кончиков ног, теряя разум. Она коснулась языком моих губ, я не сопротивлялся, все теснее и чувственнее прижимаясь к ней. Всякий раз, как я ласкал ее, она вздрагивала, словно от боли. Раздевая, я в эту минуту боготворил ее, и это было гораздо важнее всего того, что должно было произойти потом.

Я снял с нее рубашку. Она закрыла глаза, ноздри ее широко раздувались, как у лошади на скаку... Я погружался в черные моря женщины, я шел к этому морю по шуршащей гальке, распадаясь на ходу...

— Ты любишь меня?.. Только честно.

— Да.

Я слепо тыкался, не находя пути.

— Тебе помочь? — спросила она.

— Да.

Она чуть-чуть коснулась, и вот я был уже внутри... Внутри нее, внутри любимой женщины, о чем тайно всегда мечтал, тайно же и явно борясь с этой мечтой. Какое это был удивительное, ни на что не похожее ощущение! Словно ядро было подхвачено гладким, смазанным ложем, жерлом, желобом пушки — и выстрелено в темную бесконечность, в теплое, мягкое ничто. Словно я кончил длинное странствие и тихо и чудесно умер под звуки скрипящей мелодично кровати и мог более ни о чем не думать, ни о чем не беспокоиться. Жизнь была ясна, сладка, удивительна, почти как после горсти циклодола. Итак, значит, вот она, близость, пре-

красно и странно... Я соединился с родом, был взят в круговорот. Назад пути не было. Мне открылась божественная радость и мистическая задача. И лишь утром я мог думать об этом иначе.

Впрочем, и ночью отрешение наступило не совсем, и мысли пушкинского Фауста стояли серыми тенями у изголовья скрипящей постели.

Если, прижавшись к ее груди, я испытал небывалое в своей жизни счастье, то теперь ощутил такое же неимоверное отчаяние. Вынырнув из этого моря, на локтях доползя до берега, я узнал, что с чем-то навсегда расстался, что-то навсегда похищено у меня. И еще я подумал: чем ярче вещь снаружи, тем темнее внутри. Поэтому женщины пользуются такими яркими красками.

Секс был ловушкой, секс был черной ямой, в которой гибли все мечты, все иллюзии, все, что составляло солнечную часть мира. Лишь с Матильдой, с одной Матильдой это имело какое-то оправдание, ибо я действовал по законам *семьи* и оправдывался этими законами. Но семьи-то я не хотел.

Малыш спокойно спал по соседству. Утром он забрался на загородку детской кроватки и прыгнул оттуда на нас, выведя из короткого сна.

— Я бы могла уступить тебе гораздо раньше, — сказала она утром, вскоре после нашего первого пробуждения вдвоем. — Это бы ничего не значило. Но ты все как-то не решался, не был, что ли, уверен. И тогда я тоже перестала быть уверена. Ты убедил меня иначе. Я поняла, что ты другой человек. С тобой нельзя, как с другими. Я тебе нужна для другого, и ты мне тоже. Я рада, что встретила тебя. Хотя с тобой не просто.

Я смотрел на нее, ни одна женщина еще не позволяла мне так на себя смотреть. Тут мне пришло в голову определение оригинальности (шарма) — именно в некотором внешнем «недостатке», нерациональности: волосы на глазах при мытье посуды, пальцы, отвернутые от стакана, вьетнамки, кавардак, равнодушие к этому, тщательность в том. Такая нежная кожа, такие тонкие пальцы...

Она была незаконно обаятельна. Да и вообще: почему мужчине нравится женщина? Он готов принять природу другого как некую основу, чарующую доброй волей, близостью скрытого, но уже с надорванной кожурой плода, — в покрое платья, жесте, обнаженной шее, закинутой ноге, сигарете, в словах интимного разговора. Эта близкая загадка, эта соблазнительная слабость, эта нарядная доступность, обещающая обнажить все приемы своего мастерства — быть загадочной и прекрасной. Может быть, все это и есть причина того почти единодушного негодования к любому смешению отличительных черт, любому травести, что я отлично знал. Как художник и бунтарь мира сего я носил волосы и крал атрибут очарования, одинаково необходимый всем.

В этом Матильда имела преимущество перед Катей: как стихийной анархистке ей это нравилось. Матильда была хиппова до кончиков ногтей. За идею она могла пойти на костер. Катя же скорее мирилась и слушалась — в обществе ее теперешнего мужа. И все же мне самому еще далеко не все было ясно.

С грустью человек ищет сближения не с самим собой; и как «идеальное», «душа» и прочее в чистом виде бессильны быть для плоти важными в ее запросах, так и грустной душе кажется, что только плоть есть достаточное узилище, в котором заглохнут все неудовлетворенные позывы. Она бросается на плоть как на великое «да», как каннибал она хочет поглотить ее, чтобы приобщиться ее мудрости и силе, а находит лишь вопрос: «Ведь я беременна тобой, что мне делать?» Это ли тот великий ответ?

Вместо метафизической битвы с неким неперсонифицированным злом, битвы, которую я в основном вел стихами, чтением и пропаданием в звуке — мне предлагали *реальность*. Вместо романтической бестелесной агамитской любви мне предлагали любовь настоящую, земную. Вместо Марселя Пруста мне предлагали Хемингуэя. Мне предлагали жизнь, которая дает опыт и силу. Вошь я дрожащая или право имею — жить в реальности?

Можно, конечно, было попытаться остаться с метафизикой и в браке. Допускает ли брак метафизику? Это предстояло выяснить. Мне предлагали борьбу с установленным мной для себя каноном ради героического путешествия вдвоем в неизвестном направлении.

Странно, что люди так легко соглашаются на этот путь, словно не зная, как он тернист, какими отречениями и жертвами грозит. А я знал, что, как бы ни был слаб, — я сформирован, крепок и неспособен на отречение. У меня были железные идеалы, созданные и выстраданные в одиночестве. Мне бы подошел какой-нибудь монастырь — если бы для *моей* веры существовал монастырь. А чем не монастырь была Система?

Может, я и не вступил бы на этот путь, если бы соблазн не был беспримерен, если бы прежний период не казался бы мне катастрофой...

Но искатель не должен смущать себя грозящей опасностью, иначе не будет сил на дерзость. И я огромными глотками, рискуя поперхнуться, пил наше общее вино этой теплой осени нашей близости, и ее улыбка стреляла без промаха, повергая в прах тему за темой, врага за другом, разрушая и создавая мир — по тому плану, по которому ей было угодно. Она обладала на это бесспорным правом своей чеширской магии, и я думал, что был первым, кто понял это с такой силой...

И тем же утром Матильдина мама дождалась меня в коридоре и учинила допрос: что я здесь делаю, сколько собираюсь находиться и какие у меня отношения с Матильдой? Матильда велела ей замолчать, та повысила голос, я стал объяснять, но меня никто не слушал. В конце концов мы ушли, почти сбежали, воспользовавшись тем, что ребенок был готов и приучен к любым перемещениям в пространстве.

Вечером мы переехали ко мне домой. Мать, вообразившая, что я вообще больше не вернусь, все стерпела, даже благородно предложила помощь в уходе за Малышом, умилялась, вероятно, не очень искренне, гремела погремушками. Малыш смотрел ошарашенно, как уже подуставший путешественник.

Матильда в два дня наладила отношения с моей мамой. Все быстро признали, что она не белоручка и даже может оказать на меня положи-

тельное влияние. Мама попыталась, со свойственной ей непосредственностью, сделать Матильду сообщницей в борьбе со мной: подсыпать мне в еду лекарства, прописанные в дурдоме, которые я отказался пить.

— Я вижу, ты не любишь его, — говорила она Матильде, укрепляясь в своем предположении. Граница была установлена: Матильда мой друг, а не их. Но если меня прощали — как сына, то Матильду никто прощать не собирался.

Матильда, показывавшая образцы хозяйственного и воспитательного героизма, не была сильной. Я был потрясен, когда она в моем присутствии первый раз налупила Малыша по попе. В отличие от Ирэн, которая всегда находила способы отвлечь или успокоить ребенка, когда он капризничал, Матильда могла просто сорваться. Я считал, что физическое насилие вещь абсолютно анафемская. А месяц спустя я уже сам лупил младенца, словно воспользовавшись каким-то образцом и индульгенцией, а Матильда объясняла, что то, что позволено ей, любящей, не позволено мне.

Я сам ненавидел себя в эти минуты, считая исчадием ада, предателем всех идей, недостойным жить рядом с нормальными людьми. Я даже хотел уйти — но уже не мог. Еще гулял по крови яд непереваренной юности, лишая стойкости и воли.

Осенью я быстро заболел незалеченными легкими — и Матильда трогательно, как не могла даже мама, заботилась обо мне. Нежно, как не умели врачи, колола пенициллин. Она все умела и ничего не боялась. И лишь только мне становилось легче — я, полный любви, манил ее к себе на грудь, а она спрашивала: а как же болезнь? Ты же вчера умирал? — и со смехом пересказывала средневековое фаблио, где муж излечил жену именно таким способом.

А на ночных кухнях, где я темно и косноязычно излагал задачи борьбы и суть «доктрины» новым волосатым друзьям, музыканту и поэту Поэту и его другу-резчику Лису, она переводила мои монологи на человеческий язык. Она одна хорошо понимала меня, толковала, вставляла пропущенные места, которые казались мне очевидными, приучая к ясности мышления и стройности выражения. Я путал и забывал слова, имена и названия — она служила секретарем. У нее была удивительная быстрота реакции, интеллектуального ответа.

И вот уже мой отец очередной раз вырастает на пороге в десять вечера и разгоняет всех, кто своими разговорами мешает ему смотреть телевизор. Мы собираем уже заснувшего Малыша и уходим вместе — из квартиры, которую я ошибочно считал своей. Просто к приятелям, ночуя на полу, потому что места у них тоже нет. Веселые и неунывающие. Меня еще не выгнали из института, она только что восстановилась... ...Потусовавшись неделю-другую, мы — через три месяца — возвратились к ее родителям на Сокол.

Так я был надолго выброшен на Кривокривейную, как я ее назвал, на золотой берег Матильдиной жизни, на вынесенную за линию оцепления жилплощадь, находящуюся в другом оцеплении, которое она дерзко решила преодолеть.

Я вынужден был познакомиться с ее матерью, строгой церемонной женщиной из «старых интеллигенток», с очень светской манерой одеваться и говорить. Мы друг другу немедленно не понравились, утвердив в качестве принципа отношений произошедшую недавно сцену, хотя «старая интеллигентка» не унизилась до открытого проявления антипатии. Но она всякий раз указывала мне, как в этом доме принято мыть посуду, вешать полотенце, ставить обувь в прихожей. Везде был ритуал, особенно в вечерних чаепитиях, непременно совместных, за общим столом, утомительных и искусственных, сохранившихся со времен, когда здесь проживало большое, может быть, дружное, но уж точно — уверенное в своем жизненном месте — семейство. За столом говорила в основном Матильдина мама, по неофициальному прозвищу «маман», которую строжайше запрещалось перебивать («ты перебила меня, моя милая»); она же руководила распределением и употреблением пищи, разлитием чая. Для меня это чаепитие было мучительно, как ничто в этом доме, и я скоро стал его игнорировать, что не прибавило ко мне любви. Для меня это было — поменять шило на мыло.

Впрочем, я и не думал ничего менять. Все получилось спонтанно, вдруг, как перелом, так что голова кружилась от всех этих странностей, изменений и превращений. И правда — гусеница, куколка, как Алиса.

Мне хотелось отдернуть штору, чтобы убедиться, что за окном все та же действительность, в то время как я, вчерашний мальчик — возлюбленный, «муж». Или почти что муж, что даже лучше, потому что без фальши и долгих сборов.

И за много месяцев мне впервые ничего не было нужно. Take it easy, — говорила она, когда я из-за чего-нибудь напрягался. И мне становилось спокойно и свободно.

Я много рисовал ее, соскучившись по живой натуре, — ее и Малыша. Рисовал какие-то вазочки, стоящие в квартире, цветы и все, что попадалось под руку. Даже попытался разок нарисовать маман, более по памяти, чем с натуры.

Мне нравилась их странная квартира, беспорядок, старые книги, старые вещи на старой мебели. Даже нравилась их старая кухня, столь отличная от стерильной кухни моих родителей. И темный подтек на старом чайнике. Вещи тут не менялись десятилетиями, не исчезая даже со смертью владельцев. Это была живая антикварная лавка с навсегда законсервированными взглядами, привычками и обычаями. Это и называлось настоящей семьей. К которой Матильда не желала прилепляться.

Она не испытывала никакого пиетета перед стеллажами книг своих родителей, перед которыми я так смирялся, не уважала их многознание, их ученый педантизм, их трусость, банальность и ограниченность мысли.

Они были не господами культуры, а рабами ее. «Они не господа субботы, — импровизировали мы на ночной кухне, куда уходили, уложив Малыша спать. — А так же остальных дней недели».

Я как-то прочел статью приятеля маман. И еще раз убедился: все они лгуны с языком. ...А мы — правдолюбцы без языка. Мы не можем

так гладко сказать, и нам не дали сказать никак. В моей честности единственное мое оправдание. И мы, как два бойца, спина к спине, ввязывались в перепалки, провоцировали их, защищая свободу слова, ругая цензуру (да что там «ругая» — сперва требовалось *доказать*, что она вообще есть!). Не было ни чисток, ни расстрелов, ни политических репрессий, ни политзаключенных, ни нищеты, ни дефицита. За Западом не числилось ни одного достоинства, за совком — ни одного недостатка. Странно, что еще признавалось наличие плохой погоды. О, как мы злились и стебались над всем этим!

— Дед мне часто говорил, — рассказывала Матильда, — чем ты занимаешься, что ты знаешь? Ты не читала даже Платона, не знаешь, в каком году умер Ломоносов, и считаешь себя после этого человеком! С тобой не о чем говорить, тебе нечего никому дать! Ты живешь как эгоистка, как животное! А я ему: а что тебе дали твои знания, твой Платон? Ты стал от этого лучше? Он даже не понимает, что, стараясь доказать, что другой человек глупее его, — он расписывается в своей духовной пошлости. Он просто нищий, потому и лезет ко всем за и так понятными вещами. А я богата. Каждое дело для меня — это должно быть мое дело. Погляди, кто более счастлив — ты или я? Он мне: ты все отбросила, от всего ушла, ты как корова! А я: ну и ты отбрось. Когда-нибудь ты поймешь, что жить, как я, — это тоже работа, и офигительно вредная. Разве не так?

— Конечно, — вторил я, — у нас тоже есть работа: научиться жить, не ощущая трения, не чувствуя себя нищим только потому, что у нас ничего нет. Вот они — нищие. Они не могут жить и относиться ко всему со стебом. Они не живут, а все время от чего-то мучатся и что-то преодолевают. Я живу, а они все изошлись желчью, пока изучали всякую муру. Что лучше: если ты придешь на выставку, посмотришь на прекрасную иллюзию — и потом опять выйдешь на тухлую улицу, вернешься в гнилое настоящее, — или если ты придешь в коммуну, где друг предложит тебе чашку риса и умную беседу...

— И косяк плана, — подсказала Матильда.

— Само собой. В общем, саму жизнь. Не мгновенную красивую фикцию, а постоянное красивое существование, без обломов, без войны с окружающими. Из всего человечества они выбрали одиночную камеру и одного-двух спутников, называемых семьей, и свели общение до случайных неинтересных встреч, где все темы известны заранее. Ненужная работа, неблизкие, чужие люди — это ощущение с детства, каждодневное жизненное упражнение. Поэтому они спешат замкнуться, ото всех спрятаться, поэтому им надо много зарабатывать, лезть из кожи, выискивать ходы, блаты, гнилые кайфы, чтобы смаковать их в одиночестве. Надо научиться играть с людьми в игры, смеяться и постоянно творить. А постоянно творить можно только свое настроение и свое воображение.

— Я, кстати, читала Платона, в универе заставляли, — пробормотала Матильда.

— Я тоже прочел недавно. Клево.

— И стал от этого счастливее? — Я лишь хмыкнул. — А как ты понимаешь индийское изречение, что ступица колеса вращается вокруг пустоты?..

— Ты своего деда спроси.

Вообще с ней было гораздо легче. Ее любимая поговорка, ее жизненный принцип, заимствованный у Шолом-Алейхема: *если нельзя, но очень хочется, то можно.* Поэтому можно не перебирать гречку или рис, из-за перспективы которой (переборки) я предпочел бы вовсе не есть, зато в кастрюлю можно положить больше масла (то есть маргарина), отчего гречка получалась гораздо вкуснее, чем у родителей, у которых она была суше песка. И вообще странные вещи, которые никто никогда у меня дома не готовил: овощное рагу, домашняя икра. Оказалось, еда — вещь гораздо более разнообразная и вкусная, чем я привык думать. При том что она стала вегетарианствовать из солидарности.

Можно было стирать не дочиста, не заморачиваться на шмотках, еде или воспитании ребенка. Вообще у нее в духе доктора Спока не существовало догм и мрачного следования заветам родителей — из-за чего шли беспрерывные ссоры с матерью.

Она учила меня необязательности и свободе — даже на бытовом уровне, наиболее трудно поддающемся реформе. И — что быт, дом, семья могут быть веселы. Насыщены — ибо беспрерывно вызывала на разговор, обмен мнениями, и сама рассказывала — про детство, семью до четвертого колена, двоюродную сестру, Тарусу, Коктебель, школьных друзей, университет. Выпукло, художественно, даже с каким-то излишним блеском и массой деталей. Кого-нибудь цитировала, припечатывала поговорками. Была мастерица занять общество — даже на фоне общей хипповой лексической талантливости. Она писала, читала, хрен как много чего знала. Такого богатого человека, казалось мне, я еще не встречал. Чем я мог ей нравиться?

— Душой, — говорила она, обняв мою голову, лежащую у нее на коленях, как на ложе гильотины, доверчиво вверенную в ее руки, — я на полу у ее ног, она на диване — в девятиметровой комнате на Пролетарской, где мы теперь жили, нашем первом «собственном» жилье.

Я не мог это понять. Моя душа казалась мне гноящейся раной, где стыд, амбиции, добро, романтика и страх резали и мучили себя и меня с бесчеловечным упорством и силой.

Это были наши лучшие дни.

Зато я почти потерял Борю, утратившего свое исключительное место после моей «женитьбы». Я почти не испытал горечи, хотя много лет мы были замкнуты друг на друге, как Робинзон с Пятницей. Без Бори я не стал бы тем, чем стал — я всегда это помнил. Но наши пути вдруг и сразу разошлись, как у двух адептов разных религий. Боря все больше тянулся к Рериху, Блаватской, буддизму, домашней экстрасенсорике и закрытым кружкам по медитации и самосовершенствованию, повторяя, а не отрицая своих родителей. Он все больше замыкался на себе и все больше отдалялся от людей, далеких от идеала и несовершенных. Он не

хотел терять время на ложное, как не хотел есть гнилой пищи. Он даже бросил на год институт, но не для того, чтобы уйти в лес под дерево бодхи, а чтобы поехать в Сибирь со стройотрядом. А после института устроиться в учреждение по распределению.

### У ментов (make love)

Диверсант призвал всех выйти на Ленинские горы в день рождения Леннона, второй раз после его внезапной смерти. Акция приобрела неожиданно массовые масштабы.

Людей ловили на подступах, перехватывали на остановках и в метро. Выход на Ленинские горы был закрыт. Но люди все равно шли, пробирались, просачивались, убегали, неся самодельные плакаты: «Леннон жив!» «Я б английский бы выучил только за то, что на нем разговаривал Леннон...» — острили волосатые. Я не очень любил музыку кумира, предпочитая его лозунги, вышитые на всех волосатых флагах: all you need is love; give peace a chance (make love not war — анонимный, но в момент, переживаемый страной, очень актуальный), и с симпатией прислушивался к предложениям переименовать горы в «Ленноновские».

На старых Ленинских горах перебегали от кустов к кустам и петляли между деревьями университетского сада, медленно просачиваясь и понемногу теряясь. Мы с Матильдой влились в чужую большую группу, которая прорвалась, не без потерь, до самой площадки.

Здесь, окруженная милицией, митинговала довольно значительная толпа. Я узнал даже каких-то знакомых (их с каждым днем становилось больше): Диверсанта, Сашу-художника... Незнакомая девушка попросила меня помочь ей подняться на балюстраду, чтобы посмотреть, что делает милиция (милиция винтила крайние ряды). И я, придерживая ее за бедра, проникся нежностью к чужому щупленькому телу.

Были удивительно красивые девушки и юноши, которых больше я никогда не видел. Кто-то снимал, может быть, иностранные корреспонденты. Толпе предложили разойтись, и она с десятого раза стала медленно расходиться, стараясь не терять массовости, не разбиваться на мелкие группы, чтобы трудней было переловить. Раздавались призывы провести первое массовое шествие по улицам города.

Нас окружили в маленьком скверике, обложили словно волков. Предложили сдаваться. Мы весело сдались, и нас покидали в автобус.

— За билеты платить надо? — не унимался пипл. — А почему не «икарус»?

Здесь я почти никого не знал. Не знал я и куда нас везут. Оказалось — в отделение, расположенное прямо в главном здании университета. Университет, совершенно в согласии со своим названием, словно город, обладал всем — даже собственным отделением.

Здесь я нашел Стрейнджера и многих друзей. Их пока не остриженные головы мелькали в коридоре в очередной группе задержанных, ведомой для дачи показаний.

— Ага, господа конспираторы, попались! — загудел Стрейнджер с радостью, подобающей моменту, входя в переполненную комнату. — А ведь говорили вам вожди, что будет винт и надо скрытно, перебежками...

— Куда уж скрытнее! — скривился Петя.

— А вы перли, как танки... Чего пишете?

— Объяснялово: зачем собрались.

— Пишите, пишите! Да попроще, а то не поймут.

— А чего писать-то? — спросила Оксана.

— Правду, — ответил Петя сурово.

— Что ты, молчи! Не надо об этом им говорить! — испугался Саша-художник, один из «вождей» и зачинщиков. — Говори: с собакой гулял. — Все засмеялись. — Я так и напишу, — сказал он серьезно, — а там пусть разбираются.

— Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои... — пробормотала Матильда.

— А то придет великий хам... — продолжил Петя.

— И сунет в рожу свой наган, — закончил какой-то парень.

— И будет рожа пополам, — предложил еще кто-то.

Утрированно громко посмеялись: мол, нам нипочем! Все это было скорее весело, чем страшно. Я даже жалел тех, кого здесь не было. Ну что нам могли сделать? Не банк же мы ограбили! Как здесь говорил всем вечно серьезный Саша-художник, мы ничем не погрешили против Конституции и Декларации прав человека 48-го года, подписанной и нашей удивительной страной. Несанкционированный митинг без политической цели. Максимум — штраф. Но и не будь закона, что нас теперь — расстреляют? Об этом издевательски и спрашивали ментов, сплошь деревенских парней, таких недавно боевых и серьезных, а теперь все более растерянных и жалких, не знавших, что делать с этой оравой, шумной и мало испуганной, и в поисках закона и вины, в чем они разбирались еще хуже задержанных, менты чесали репы и тянули время.

С каждым занимались отдельно в маленькой комнате. Читали бумагу, потом отпускали.

— Издеваешься! — орал мент на Сашу-художника. — Ну ты поиздеваешься у меня! Сейчас оформлю задержание.

— Не больше, чем на три часа, — хмуро и без тени иронии отвечал художник.

— Из них полтора уже прошли, — подсказал Стрейнджер.

— Умный очень? В институт мы тебе сообщим, не беспокойся.

— Ну, теперь я совсем спокоен, спасибо.

— И тебе тоже, — сказал мент художнику.

— Я не учусь.

— Ну, на работу.

После ментов поехали отмечать освобождение к Пете на флэт. Зацепили еще кучу народа. Так у нас было принято.

## Вылет

Пасмурная осень, деревья — черные скелеты в сером небе отчаяния, покровы сброшены, саван предусмотрен. В этот депрессивный день мы с Матильдой поехали к памятнику Достоевскому — к дому, где он родился, отметить его день рождения возложением цветов. И не могли ничего понять: на улицах нет движения, всюду менты, вся Москва в черных флагах. Потом догадались: умер Брежнев. С окраин несутся хрипы заводских гудков, звуки траура по уходящей эпохе. Мастодонты прежней веры еще не знают, что приходит конец всего, что им дорого, наступает последнее десятилетие империи.

Закрыты даже церкви: услужливые попы отпевают атеиста Брежнева, поэтому нам не удается окрестить Малыша. (Мы это сделаем через несколько дней — в большом храме за Птичьим рынком. Без крестных отцов-матерей, вдвоем, как все мы теперь делаем, на скорую руку, будто в катакомбе, обманывая свирепых язычников.)

Не с третьего, но с четвертого курса я все-таки вылетел (что, в общем, случается редко): не за прогулы, не за неуспеваемость, не за чтение на занятиях и фронду с идеологическими дисциплинами. Собственно, одной последней хватало сполна. Но за это уже не выгоняли. Просто история со взносами имела последствия.

— Если ты не платишь взносов, ты не комсомолец, — сообщила мне комсорг после моего очередного отказа.

— Да, я не комсомолец.

(Собственно, глядя на мой вид, странно было в этом сомневаться.)

— Ну, так выходи из комсомола.

Сказано — сделано: в тот же день я явился в комитет комсомола и заявил, что хочу из него выйти.

— Почему? — спросил изумленный комсорг института, молодой парень примерной наружности и исключительной аккуратности, в пиджачке и галстуке, с комсомольским значком на лацкане. Для всех в стране это давно уже было простой формальностью. Никто в институте не носил значков, не являлся на собрания, да и собраний почти не было. Убежденных комсомольцев было неизмеримо меньше, чем убежденных верующих, впрочем, не афиширующих своей веры. И это всех устраивало. Сиди тихо и верь во что хочешь, хоть в черта! Чего кричать-то?!

Комсорг попытался образумить, как умел, совершенно не приученный к такого рода разговорам. Без подмостков и официоза. Без штампов, отскакивающих от зубов. Но я был непреклонен.

— Пишите заявление... И напишите там причины, — сказал уставший комсорг. Он уже предвидел неприятности: плохо проводится работа, формальное отношение к обязанностям...

А я воодушевленно писал заявление, словно отречение от всей лжи своей жизни: я выхожу из комсомола по идейным соображениям — я не разделяю идей о построении коммунизма и вообще не верю в смысл этой организации, считая ее совершенно бесполезной.

Друзья были изумлены почти столько же, сколько комсорг. Они советовали забрать заявление, не связываться, не портить себе жизнь. Но в этом вопросе — последовательности исповедания идей, я был упрямо-прямолинеен, как юный народоволец. Ни шагу назад! Ни одной подачки мракобесам! Позади Москва!..

Уговорами занимался и куратор группы, даже сам декан пытался меня остановить. Вдруг выяснилось, что он хорошо ко мне относится и жалеет меня. Куда там! Жалко, не было костра, на который я бы восторженно взошел.

Через неделю я как пушинка вылетел из института. Впрочем, в последний момент декан уговорил меня написать заявление по собственному желанию: чтобы не портить биографию записью об исключении, тем более что они бы никогда не написали, за что реально меня выгоняют (когда-нибудь потом такая запись могла бы *украсить* биографию. Но кто же об этом знал!).

На прощание я подвергся душещипательному напутствию.

— Вы имеете талант к учебе, если бы не ваше легкомыслие и темперамент... — говорил декан, даже встав по такому торжественному поводу: не каждый день с четвертого выгоняют студентов не за пьянку, не за бытовуху. — Ваша последняя из сданных курсовых оригинальна и небезынтересна. Хотел бы, чтобы вам в жизни повезло больше, чем в этих стенах. Со своей стороны мы желаем вам всего хорошего и дадим какую угодно рекомендацию на место любого вами выбранного поприща. Наши воспитанники всегда могут рассчитывать на наше участие в их судьбе и что они не будут выброшены на произвол, справившись или не справившись с курсом...

Я смущенно кивал, растерянный, что ситуация так неожиданно определилась. Под конец декан нашел нужным даже пожать руку и сменить резонерство на участие: предложил одолжиться деньгами. Я вышел слегка ошарашенный. Предстояло объяснение с родителями, с которыми я, слава Богу, уже не жил.

В общем, я ничуть не расстроился. Я вылетал не в никуда: у меня были прекрасные друзья, у меня была Матильда. Армии я тоже не боялся. Не надо теперь объяснять почему.

И даже не комсомол был причиной. Собственно, я мог бы уйти и без этого славного демарша. Вообще-то причина была в другом: я уже давно оказался по ту сторону, а институт со всей своей хренотой по эту.

«*Таков был план, с которым я выступил в поход, покинув без сожаления своего покровителя, своего наставника, свое учение, свои надежды и почти верный расчет на карьеру, для того, чтобы начать жизнь настоящего бродяги*». Жан-Жак Руссо, «Исповедь».

### За городом

Это была моя первая работа, занесенная в трудовую книжку, — грузчик в булочной. Тяжелая, малооплачиваемая. Неудобная для чтения. Но я как-

то ухитрялся: разгружать машину, подавать и резать хлеб, — и читать «Махабхарату». Если бы я пил, местные воспринимали бы это спокойнее.

Моим компаньоном был недавно выпущенный на свободу пациент ЛТП. Я видел его пару раз. Потом он исчез. Все остальное время я ворочал эти контейнеры один, постепенно приноравливаясь и даже приобретая силу. В перерывах я читал «Дхаммападу».

За все эти мучения мне не простили двенадцатикопеечной булочки, которую я бесплатно съедал во время обеда. Ах, я должен был ее оплачивать — это говорят они, проводившие бесчисленные махинации и закрывающие магазин по причине пьянства непоправимо большого числа сотрудников! С тех пор я знаю, что значит табличка «Магазин закрыт по техническим причинам».

Но с наступлением июля и этому пришел конец.

Еще когда я работал в булочной, мы с Матильдой думали о своем жилье. Пока мы втроем жили у родителей Матильды, жили с большими проблемами. Мата училась в университете, я торчал там с ней. На первую зарплату я купил в букинисте том Кафки. Она едва не расплакалась, когда узнала. Мы опять оказались без денег. Брали на общие нужды у Матильдиной мамы.

У этой женщины существовала странная привычка оставлять в разных местах мигрирующую труппу игрушек, очень симпатичных, привезенных из разных стран, которыми она «играла», меняя местами, ставя далеко и близко друг от друга, на книги, раскрытые рукописи, недописанные листы работ. Этим она отделывалась от необходимости их убирать. Это был театр, а одновременно и ее домашняя гвардия, охранявшая комнату в часы отсутствия хозяйки...

А потом появляется дочь, и мать обрушивает ей на голову весь накопившийся сгусток принципов: «Твои принципы неправильные, неправильные, неправильные, а мои правильные, правильные, правильные, а твои принципы неправильные» и т.д. И дубасит, дубасит, как будто разбивает соперника, пока не доведет этой бесконечной, оскорбительной болтовней до слез. И ведь просто так, не со зла. Обе стороны выйдут вымотанными и озлобленными. Мать никогда не согласится с собственной, отчаянно не такой дочерью, а дочери все равно скучно и безмерно неинтересно повторять ее путь, ее принципы, ее искусные непроницаемые заслоны, мучившие ее всю жизнь.

Мои родители были сложны и нервны по-своему. Однако инстинкт заботы о потомстве был у них еще силен. Поэтому они переживали о моем будущем, но могли смотреть на Малыша не как на непосильную обузу и никогда не сердились из-за его криков, но только из-за наших громких разговоров и моей музыки. Другой помехой были мои друзья, наркоманы и тунеядцы, по их мнению, что, в общем, было верно. Больше недели мы не задерживались ни у тех, ни у других.

Еще в мае до меня стали, наконец, доходить повестки. Дражайшие родственники нервничали. Я давно знал, что перед авторитетом государ-

ства захлопывается сердце, пресекается любовь... То есть, любовь есть, но нет смелости и фантазии. А я-то надеялся, что меня не скоро достанут!..

Я шел в военкомат с вызовом в глазах, но в невеселом настроении, как, наверное, идут на битву, из которой часто увозят на кладбище.

Около кинотеатра «Звездный» подстригали траву, и весь газон, через который я проходил, был усеян свежесрезанными головками одуванчиков, напоминавших павших на поле боя. И по всему газону торчали бессмысленные обезглавленные ножки. Настроение и повод провели ассоциацию от одуванчиков к новобранцам, от новобранцев ко мне. И я сочинил «Песнь военкомату», не настолько хорошую, чтобы ее здесь приводить. А кончалась она следующим: в отличие от новобранцев, ожидающих гибели лишь в потенции, я готов умереть сейчас, приняв смерть от своих раньше, чем от чужих.

На медосмотре я прошел по всем показателям, лениво и раздраженно преодолевая рутину: к чему все это, я же все равно не пойду! Раздеться, присесть, ноги на ширину плеч, коснуться носа с закрытыми глазами (коснулся — годен умереть хоть завтра)... Хотелось вразумить: вы бы лучше начали с психиатра, не потребовалось бы возиться.

Психиатр между делом задает вопросы. Я отвечаю резко и откровенно: в армию не хочу, почетной обязанности не признаю.

— Вы не состоите на учете? — спрашивает он меня напоследок.

— Состою, — говорю я злорадно: надо было с этого начинать!

Я знаю, как надо косить. Говорить все, что думаешь. Но можно получить другую статью. Лучше — распространяться про мрачное состояние и угнетенность, но и здесь не надо перебарщивать. Есть и другой способ, экзотический: один волосатый пришел в военкомат и заявил, что «...с детства выбрал верный путь...», то есть очень хочет служить в армии, спит и видит. У него попросили паспорт, он полез в карман, и оттуда посыпались детские танчики, оловянные солдатики... Ему предложили прийти в другой раз, а пока посетить врача...

Я думаю, что кошу. Врач думает: он думает, что косит. А он такой и есть. Можно было бы сразу комиссовать. Но это не входит в его компетенцию...

Через неделю меня ждали в большом кабинете, где заседала призывная комиссия, приговаривавшая свободных людей к роду войск и месту службы. Я стоял гордо и подчеркнуто неуставно, не сомневаясь в благоприятном исходе, какое бы эти зеленые макаки ни вынесли теперь решение. Я отлежал в Пятнашке, чтобы теперь стоять так независимо. Состою ли я реально на учете? Не важно. Все, кто хоть раз «лечился» в больнице, имеет карту, а следовательно, *состоит*. И все же я был подсудимым на непонятном суде, и это меня злило. Как хорошо было бы не пользоваться жалкими отмазками, а смело засмеяться им в глаза и сказать: да как вы смеете решать, что со мной делать! Вы же просто люди, такие же, как я! Изумление Пьера Безухова.

И меня приговорили: признали годным к службе в нестроевых войсках, и то — в военное время. Надеюсь, такое не наступит.

На обратном пути я не ощущал победы. Я ушел из-под удара, а не победил. А на остановке стояли *три женщины*. У одной сына, окончившего институт, забрали в армию. Долго не писал, и вдруг письмо из Афганистана: «Днем жарко, а ночью очень холодно...»

— Мне приятельница позвонила. В «Красной звезде» писали, что из семей с одним ребенком в Афганистан не берут. Я возьму у нее вырезку и пойду к министру обороны. Но сейчас надо все кончить с военкоматом, чтобы не сказали: «Вы что, не знаете правил?»

У другой, пожилой, внука из института тоже забрали в Афганистан. И он вернулся с открытым туберкулезом. На работу не берут, от пенсии он отказался: 48 рублей! Он говорит: «Мне только 21 год!»

— Ну а что делать, коли он работать не может? — спросила соседка.

— Предлагали операцию, он отказался. Ну что, отрежут пол-легкого, все равно, так или иначе, один конец.

— Вот именно, пять лет обучали, деньги тратили, и все коту под хвост. И мы сколько мучились! — говорит первая женщина. — Выполняем свой интернациональный долг! — со злой издевкой сказала она и отвернулась.

— Из жилищной комиссии позвонили: приходите, дадим ему комнату. С матерью ему жить нельзя. А она говорит: на кой черт мне эта комната? У меня у самой однокомнатная квартира. И кто за ним ходить будет, вы?! А у него отец умер, он только с матерью живет. Тоже в войну воевал — с немцами!

— Вот-вот, а говорят — из семей с одним ребенком не забирают.

— А у меня пришел с этой... с саркомой, — сказала третья, тоже видимо бабушка. — Мы к военкому пошли, а он говорит: он в боях не участвовал, значит, никаких льгот!..

Эти парки-вельвы уже никак не пророчествовали о моей судьбе. Они не обращали на меня внимания, как на постороннего, легко посвящая в особенности работы. Теперь я знал, чего избежал, везунчик. А какие-то, все детство благополучные люди, попали вдруг в ад.

Почему вокруг человека скапливается столько мусора, будто вся его жизнедеятельность — это производство грязи, которую он же или иной, широкий человек должен убирать, заботясь о том, чтобы ты не потонул в этом спонтанно произведенном злокачественном материале?

Всего моего христианского смирения не хватило, чтобы пойти выбивать ковер. Ограничился веником. Средство очень слабое. Но какое средство сильно против такого ковра? Начни его выбивать, он отравит весь мир.

Я думал о свободе, в том числе и от этого ковра. От обременительного быта, от ложной, заведенной материи.

Я думал о хиппизме как о великом отказе.

Мне тоже хотелось простого человеческого счастья. Но если ты выбрал этот путь, надо забыть о простом человеческом счастье. Надо рассчитаться даже с этим и стать иным и новым, новым и иным, как сказал бы поэт Тряпкин.

Матильда смотрела на это прямо противоположно. Для нее хиппизм был радостью жизни, где можно было свободно предаваться любви, рожать, не думая о последствиях, детей, плевать на условности и страхи. Семья тоже не была для нее догмой. Не так ли и отцы наши заповедали?

Хиппизм не монастырь, а прямо наоборот. Хоть и со своим уставом и кодексом поведения. Но, действуя безотчетно, ты рано или поздно все равно попадаешь в обыденность и, значит, зависимость. Где же теперь радость и легкость?

Скрипеть над головой Малыша было противно. Да и в непосредственной близости от маман. И не только скрипеть. Все было сложно: количество чужих людей в нашей жизни, взаимоотношения их между собой, денежные вещи, невещественные вещи. И то, что я не попадал в прежнее мироощущение, тщательно взлелеянное, хрустально чистое и мистически прекрасное. Взрослая жизнь, жизнь с женщиной, была шире, серьезнее и горше, чем я думал.

— В магазин нельзя зайти: шаром покати — и все равно народ хвостом вьется по всему залу. Я спрашиваю ближайшую женщину: «Что случилось?!» «Да сушки ждут, господи», — говорит она. Сушек еще не было, ими гремели за стеной. Но очередь терпеливо стояла в кассу, и кассирша терпеливо сидела перед ничего не платящими покупателями. Слава Богу, хлеб продавали без очереди...

— И они еще говорят о благосостоянии!

— Ты рассуждаешь, как мещанка! — возмутился дед. — Наша страна осуществляет великую идею. Почему ваше поколение не понимает этого?!

— Да не интересна мне ваша великая идея! Я с детства ненавидела все эти отряды, собрания, союзы, жертвы за знамя, коллективную самоотверженность. Мне не нравится, что то, что ты и многие другие называете добром, приходит в виде судьи и авторитета и, не давая сделать никакого выбора, подавляет своей силой. В моем представлении добро должно быть милосердно, а у вас в основе всего стоят пушки.

— Глобальные изменения невозможны без глобальных переворотов. Не настолько же ты глупа, чтобы не знать это?!

— У человека с человеком нет противоречий, а вы не хотите этого признать. Вы раздуваете конфликт по всем правилам театрального действия. Только кровь у вас настоящая. Но потом люди вспомнят о более важном — о том, что человечество внутри себя едино и каждый колокол звонит и по тебе.

— Это мысль не твоя.

— Значит, тем более должна внушать уважение.

— Не вали все в одну кучу. Ты пытаешься все запутать. Ты не умеешь научно мыслить. Вас с детства воспитывали, а вы так и не научились ничего понимать.

— Может, не надо было так тупо воспитывать?

— Вас воспитывали не тупо. Это вы тупые.

— Отчего же это мы тупые?

— Потому что живете очень хорошо. С детства разбаловали вас!...

Матильда надеялась, что ей удастся уговорить или достать своих родителей настолько, что они согласятся разменять барскую квартиру на Соколе. Родители не хотели об этом слышать и решили стоически выдержать все: Матильду, ребенка, меня, наших друзей... Они и не так еще жили — вдесятером в одной комнате, полжизни в коммуналках, с соседями цыганами. Эту квартиру они любили.

— Чем тебе здесь плохо? У тебя есть своя комната, где ты принимаешь, кого хочешь (подумаешь, старенькая прабабушка за ширмой!). — И дальше шла идиллическая картина совместной жизни в семейном гнезде. Матильда готова была с ними судиться. У нее не было пиетета перед семейными гнездами. Она не считала себя членом их семьи.

Я отказывался судиться наотрез. Это мало соответствовало канонам.

За стеной дед-историк в ответ на произнесенную Зе-Пе, тетушкой из Смоленска, цитату из Библии, неатрибутированную им, объявляет в оправдание:

— Библия — чушь собачья. Я пробовал было читать, да бросил. — Оригинальное невежество, тем более вызывающее у сына священника. И весело продолжал: — А как будет «Продовольственная программа» по-японски?

— Не знаю, откуда же мне знать? — ответила Зе-Пе.

Страшным голосом он объявил что-то вроде «Щёку пуругурама», и все поразились познаниям.

— Человек произошел от обезьяны благодаря английскому ученому Чарльзу Дарвину, — любит он цитировать одного своего студента.

— Собственность — это воровство, — говорит он собравшимся на его день рождения гостям знаменитую прудоновскую формулу, чтобы похвастаться остроумием. Нет, он не пожертвовал имуществом и не призывает жертвовать других: он знает истину, поэтому и свободен, в том числе и от слишком буквального исповедания ее. Ездил в университет демократично — на такси, а не на своей машине.

На кухне за вечерним чаем они вступали в поединок: молодой инсургент негодовал на разрушение церквей, ценность которых он понял из курса преподаваемой ему науки; старый ученый, занимавший важный пост в «Обществе охраны памятников» (то есть всяких ленинских мест), это разрушение оправдывал:

— Я изучил все церкви, которые были снесены. Они не представляли исторической ценности.

— И Зарядье не представляло ценности, и храм Христа Спасителя, на который вся Россия деньги собирала?

— Я видел его в молодости. Ужасный храм!

В другой раз он начинал оправдывать эксцессы французской (ни в коем случае не нашей — у нее не было эксцессов!) революции.

— А вы сами могли бы отрубить голову Людовику Шестнадцатому? — искушающе спросил я.

— Нет, — сказал дед подумав. — Отрубить бы не мог. А из нагана — застрелил бы.

Тут я и руками развел.

И все же множество людей подтверждало, что дед был лучшим и самым свободомыслящим преподавателем на кафедре. При нем не было ни одной чистки, ни одного увольнения за идеологию или по пятому пункту.

Догадался ли он, что государство, даже такое, как это, не равно социализму, сколько бы лет его под него ни выравнивали? Возможно, даже он, такой преданный и бескомпромиссный, не признающий блата, не берущий взяток, почувствовал безнадежность дела, которому отдал столько сил, неспасительность идеалов, никем по большому счету больше не разделяемых, и взял на себя роль охранителя и утвердителя социализма на площади принадлежащей ему квартиры, на которой неведомо как окопалась самая махровая контрреволюция.

На его счастье, до окончательной гибели идеи он не дожил.

Почти год мы прожили за городом, на станции Томилино, соседями Фули и Солджера. Это была почетная и добровольная ссылка, воспринимаемая как нужное приключение, как тогда почти все воспринималось.

Я пробовал давать уроки рисунка детям, и они приносили щедрые шестнадцать рублей в месяц (у меня не хватало духу брать больше двух рублей за часовой урок), зато отнимали бездну сил.

Жизнь напоминала стремительно летящий куда-то поезд. Рельсы были. Была ли земля под рельсами?...

...Иногда в ней просыпалась кокетливая женщина. Или она вдруг начинала расстраиваться по поводу своей плоской груди. Это нельзя проигнорировать. Портящееся настроение надо перехватить, пока оно не разрослось. Ибо потом результат непредсказуем.

— Я люблю плоскогрудых, — говорил я, вовсе не для того, чтобы ее утешить.

— Да? Почему?

— Они не соблазняют.

— Ты боишься быть соблазненным? Значит, тебя легко соблазнить?

— Нет, не в этом дело.

— Поняла, ты предпочитаешь уродок...

— Это вопрос вкуса, кого считать уродом и красавцем.

— Но если соблазняют, значит, это красиво. Или тебя больше соблазняет плоская грудь?

— Есть много форм красоты. Эта — не самая важная. Но, может быть, самая опасная. Ты же спрашиваешь, что я люблю. Любовь — это предпочтение, то есть вещь осознанная.

— Ты и в любви хочешь рассуждать? Любить умом? Это еще никому не удавалось. Ты говоришь нелепые вещи.

— Но в любви, о которой ты говоришь, нет свободы выбора. Только бессознательное влечение, зов рода. И форма груди — просто его инст-

румент. Тогда мы были бы просто автоматами, не владеющими своими чувствами.

— Так и есть. Но есть еще культура, нравственность. Можно любить пышногрудых, а всю жизнь прожить с доской. Это — духовный конфликт. А ты хотел бы жить без конфликтов?

— У меня их и без того... А любовь — да, это мощнейшая из бессознательных вещей. Поэтому она должна быть максимально просветлена сознанием. Сильно, как только можно.

— Фу! Ты иногда удивительно скучен. И это обидно, то, что ты сказал — «не соблазняет». Зачем же это вообще нужно, если оно не соблазняет? Либо ты лицемеришь, либо ты вообще не человек.

— Мерси.

Такой разговор мог кончиться настоящей ссорой. Любой, слишком близко затрагивающий какие-то вещи разговор — когда у нас не было согласия. А его у нас часто не было. Недавно она изодрала только что написанный роман, когда я неосторожно признался, что он кое в чем меня не удовлетворил.

— Ты обиделся? Ладно, я не так сказала. Ты упрям и максималистичен. В твоей позиции нет жизни. Как у немецких философов. Не думала, что придется жить с немецким философом.

— Ты предпочитаешь французских кавалеров?

— Да, представь себе.

— Один у тебя уже был. Тебе показалось мало?

— А вот этого я тебе никогда не прощу!

Она хватает чайник и с размаху бьет его об стол. Чайники мы меняли ежемесячно.

Люди, пребывающие совместно, должны по необходимости обладать стоицизмом. В присутствии другого они не могут иметь плохого настроения, обидного для него. Плохое настроение — это привилегия одиночества. У людей, которые всегда на глазах друг у друга, отсутствует возможность продолжительного малодушия. Если ты «приобретаешь» другого человека ради его души, а сам не делишься с ним собственной, оставляешь его самого выходить из трудного положения, претерпевать самому и разобщенность и одиночество, ты тем самым обманываешь его, доказывая, что связался с ним по ошибке. Уже несколько волосатых союзов распалось на наших глазах именно по этой причине. И наш собственный по идее, по эгоизму, по темпераменту не должен был быть исключением. Мы уже не сомневались, что скоро разойдемся. Хотя жили все еще прекрасно, пусть уже не так гармонично. Зимняя деревенская тяжесть и прелесть. Частые визиты друзей. Но и это пришлось оставить.

### Солнцепоклонник

Я смотрел на пышногрудых девиц, и они мне нравились. Может быть, Матильда права и это хорошо и правильно? И измена хороша и правильна. И реальна (в чем я сомневался). Как и бессознательная жизнь.

Двигаясь бессознательно, находишь больше всего. Я решил наблюдать, а не думать.

Может быть, я меняю средневековье в душе на ренессанс?

Но условие, поставленное Матильдой, было строго: Малыш — наш *общий* ребенок. «Любишь меня — люби мою собаку...» — сказала она с улыбкой. Только так.

Вместе мы читали уйму книг — и тех, бессчетных, что находились прямо под рукой, в доме Матильды, и, конечно, тех, что не издавались вовсе, публично не существовали. Но и эти книги кончались — и надо было еще и еще, как попавшему в запой алкоголику, знаний, информации, чтобы, укрепившись, броситься в настоящую борьбу! Какую? — все равно, любая была хороша.

Счастья перечитывания я не знал. А многое ли можно заметить и запомнить с первого раза? Алчный дух требовал пищи, обещая, что вот-вот — и тайна будет разгадана, картина сложится. Хрена!

Работал я тогда ночным сторожем, а дни проводил в здании 1-го ГУМа, где вновь, в третий раз, училась Матильда: ходил на лекции Кудрявцева. Он учил нас философии на основе Достоевского, Кьеркегора, Камю и Бердяева. Тонко и убийственно критиковал совок:

— Если где-нибудь у нас произойдет землетрясение, то из нашей прессы мы в лучшем случае узнаем, что оно не только ничего не разрушило, но как будто еще и построило...

Свободных мест не было, люди сидели на ступеньках в проходах и аплодировали профессору, как эстрадному артисту, а после лекций восторженные студентки дарили ему цветы.

После универа, если до моей работы еще оставалось время, а у Матильды кончились занятия, мы вместе ехали домой.

— У вас что, ключа нет? — встретила в дверях маман.

— А что случилось? — спросила с досадой Матильда.

— А то, что у людей дела и им некогда бегать! — бросила маман и с тем покинула нас в прихожей.

Мы разделись. Был час обеда. Маман тигрицей металась по кухне. Все четыре конфорки были включены.

— Сейчас я чего-нибудь приготовлю, — сказала Матильда, вопросительно глядя на миграции матери.

— Чего ты еще собралась готовить? Ты не видишь: все готовится!

— Нам надо очень быстро. Саше надо на работу.

— А все уже готово. Суп сейчас закипит, и будем есть. И не толкайся, пожалуйста, на кухне. Это не зал для приемов.

— Я хотела чем-нибудь помочь, — извиняющимся голосом сказала Матильда.

— Можешь сходить в прачечную. Давно надо получить белье.

Я вопросительно посмотрел на Матильду.

— Сейчас? — спросила Матильда.

— В четыре часа она закроется.

Нерешительной походкой я направился к дверям. У нас так повелось: маман никогда не давала заданий лично мне. Я сам должен был выбрать из общего списка. Собственно, список предназначался Матильде, а дальше уж как ей заблагорассудится: могла сделать сама, могла спустить по инстанциям.

— Я с тобой, — сказала Матильда и стала одеваться.

— Зачем?

— Так мне хочется, ладно?

— Ну, что за выдумки? Я, кажется, не слабосильный.

— Все равно.

Без всякого недоумения маман протянула нам квитанции.

— Не потеряй, — напоследок сказала она Матильде.

Вернувшись, мы застали стол еще не накрытым, но разобранным от бумаг, а маман еще более раздраженную.

— Зачем вы все свалили в прихожей? — закричала она с кухни.

— Я хотела потом убрать.

— Надо убирать сразу, иначе скоро в этой квартире прохода не будет!

— Дай хотя бы раздеться.

Маман сердито скрылась.

— Воздержись от курения, — воскликнула она, услышав, что Матильда достала сигареты.

— Но обед еще не готов.

— Он уже готов. Через пять минут сядем за стол.

— Я успею покурить.

— А я говорю тебе — не кури! Вы что, потерпеть не можете?

Как всегда маман обращалась исключительно к своей дочери.

— Ладно, мы потерпим, — покорно сказал некурящий я, усаживаясь на сундук в коридоре и приглашая сесть Матильду, нервно теребившую чей-то брошенный свитер.

— Хлеба вы, конечно, не купили? — продолжала маман из кухни.

— А ты разве говорила? — огрызнулась Матильда.

— А вам все надо говорить? У вас есть глаза и руки, взяли бы да посмотрели.

— А напомнить ты не могла?

— Ты что, не видишь, как я мечусь? Я тут как белка в колесе! А ты вся в своего отца, тот тоже за всю жизнь палец о палец не ударил. Это с детства твоя черта: воспринимать кухню как скатерть-самобранку, а мать как кухарку.

С каменным лицом я слушал все эти тирады. Посмотрел на часы.

— Скоро там эти огурцы и помидоры вскипят? — крикнула Матильда.

— А они не на деревьях растут. Это на деревьях — приходи и срывай.

— Ты говорила: пять минут.

— А я не Господь Бог. Из-за двух лишних минут, я думаю, никого не зарежут.

— Ну, конечно, только у тебя в институте кого-нибудь зарежут из-за двух минут.

— А я этого и не говорю.

— Однако... — начала Матильда, многозначительно закидывая ногу на ногу.

— Перестань! — оборвали ее из кухни. Маман появилась в дверях. — Ты все время дерзишь. Ты умеешь только ругать и требовать. Если у нас только и было, что плечи, которые мы надрывали, чтобы сделать свою и вашу жизнь сносной, то вы, видимо, думаете, что мы какие-то Атланты, которым все нипочем, и что нервы у нас такие же крепкие, как у вас.

— Все ясно, — сказала Матильда отрешенно.

— Мне, пожалуй, пора, — негромко сообщил я.

— Можешь накрывать на стол, — сказала маман. — Но сперва вымой руки. Двадцать четыре года твоя память слаба это запомнить.

— Возможно, но последние полдюжины лет она все же помнит.

— Что-то не заметила.

— А ты замечаешь только то, что достойно критики. У тебя профессиональное критическое чутье.

— Не примешивай сюда мою работу! Это то святое, что у меня есть!

— Вот именно. Вашим детям нелегко конкурировать с вашими святынями. Им остаются только крошки от пирога.

— Ты, видимо, решила сегодня вывести меня из себя? — спросила маман, выжидательно встав в дверях.

— Нет. Лексический избыток.

— Другой бы сказал спасибо.

— У кого мама знала бы это слово.

— Ты хамка, ты просто хамка! — закричала маман, с размаху хлопнув полотенцем по столу.

— Ну-ну, зачем же принимать так близко к сердцу? — сказала Матильда и примирительно скрылась в ванную.

Маман не откликнулась. Она стояла красная, с поджатыми губами.

Стол, наконец, был накрыт, и Матильда позвала деда.

Дед пришел шаркающей походкой в своих шлепанцах, в криво завязанном халате, церемонно поздоровался и сел.

— А что, это и весь хлеб? — Маман молчаливо стояла над кастрюлей. — А почему бы тебе не купить? — обратился он к Матильде.

— Потому что мы не располагаем временем, — сказала Матильда нервно.

Я негромко постукивал ложкой по тарелке.

— Ну, было время раньше принести. Все болтаешься без толку где-то.

— Ну ладно, — сказала Матильда, намеренно глядя в окно.

— Напрасно ты игнорируешь мои слова. Я без хлеба есть не могу.

— Ну и ешь, это разве не хлеб?

— Это не хлеб, это крошки. Нас тут сколько человек?

— Мы можем все предоставить вам. Кстати, суп может остыть.

— Конечно, особенно если вспомнить, что я тебя давно просила, — отчеканила маман. — Но тебе хотелось отдыхать.

— Так, значит, можно начинать сразу со второго.

— Ну-ну, — сказал дед. — А ты пока сходи за хлебом.

— Но у нас... — начал было я нетерпеливо.

— Тут близко, не опоздаешь (дед тоже обращался исключительно к Матильде). Только плестись как черепаха не нужно.

Я встал из-за стола.

— Я не имел в виду вас, — остановил меня дед.

— Мне надо идти, — ответил я и пошел в прихожую.

Матильда выскочила следом.

— Прекрати! Ты что, хочешь меня с ними совсем поссорить?

— Я не могу, я опаздываю. Поем в кафе.

— В каком кафе! Сейчас поедим. Это их обычная процедура.

Вслед за ней в прихожую вышла маман.

— Перестаньте, Саша, что за ребячество. Это вас никак не касается. Из-за того, что тут есть невоспитанные люди, вы не должны голодать.

— Я не голодаю. Просто я опаздываю.

— Садитесь, пожалуйста, все уже готово, — подчеркнуто миролюбиво говорит она. — Не опоздаете, я сама спешу в театр.

— Останься, — Матильда взяла меня за руку, — ты успеешь.

— А хлеб?

— За хлебом я могу сходить и сама, — принесла себя в жертву маман.

— Не надо, — ответил я, — мне действительно надо идти.

— Это не будет быстрее, — настаивала маман.

— Вот именно, — в коридоре появился дед. — Она может сходить и одна. Вы, молодежь, слишком невыдержанны. Поэтому вы ничего не умеете добиться. Вы привыкли получать все сразу, без малейшего напряжения. А надо быть терпеливыми и скромными.

— Спасибо, — сказал я.

— При чем тут скромность?! — воскликнула Матильда.

— Не ори, научись себя вести! — осадила маман.

— Я так не могу, — заявил дед. — Это просто ни в какие ворота!..

— Тебе-то говорить бесполезно, — пояснила маман Матильде.

У них началась перебранка, во время которой я выскользнул из квартиры и, не дожидаясь лифта, побежал вниз. Больше всего я боялся быть остановленным и возвращенным.

В пельменную, где я наскоро поел, зашел высокий плотный человек, взял три стакана компота, в одно мгновение выпил — и ушел, оставив на столе памятники своей необычайной жажды. С опозданием я прибыл на работу. Впрочем, как и в прочие разы, это никем не было замечено.

Через полчаса позвонила Матильда. Она извинилась за произошедшую сцену.

— Это они нарочно, это такой театр. Они сделали это специально для тебя, я уверена. Хотели меня унизить, показать, какая я девчонка и

дура. Что мне впору только в куклы играть, а не... ну, ты понимаешь. Ты напрасно ушел, они ужасно разозлились. Мама не любит поражений. Она должна унизить, потом ты утрешься и еще должен показать благодарность. Ее, конечно, надо ставить на место, но тебе, боюсь, она этого не простит... В былое время после таких сцен я уходила из дома.

— А теперь?

— Теперь? А теперь я толерантна с предками. Стараюсь быть. Они, однако, не очень это ценят.

— Ну, так тебе придется выбирать между мной и твоими предками.

— Эта мысль тебя посетила давно?

— Какая бы она ни была по возрасту, я здесь больше жить не буду.

— Милое известие. Ты подумал о вытекающих отсюда последствиях? Впрочем, для тебя это не довод.

— Не довод.

— Значит, я должна что-то решить?

— Да, и желательно быстро.

— И что ты намериваешься делать теперь?

— Поеду к матери.

— О'кей. В общем, другого я и не ожидала.

— Что ты хочешь сказать?

— Я вижу, что ты хочешь не решать, а просто ездить туда-сюда. Так экономней и быстрей, я понимаю.

— Ну и? Я жду приговора.

— Вот и все, судя по всему. Ты не хочешь, чтобы я за тобой последовала, не так ли?

— Ты утверждаешь или спрашиваешь?

— Можешь не отвечать. Ты прекрасно знаешь: у чьей матери жить — разницы не имеет. Я думаю, ты ждешь чего-то другого или хочешь дать мне что-то понять.

— Не знаю, я ничего не жду. Сказать честно, мне все надоело. Какие-то вещи мне стали слишком нестерпимы.

— Не думаю, что сейчас кто-нибудь из нас сможет предложить приемлемое решение.

— Я тоже так думаю.

— Поэтому, может быть, блудный сын вернется?

— Я вижу, ты не хочешь меня понять. Мне это очень обидно. Сегодня, как хочешь, я буду ночевать у матери. А дальше — будет видно.

Она молчит.

— Ну что ж. Решай — тебе жить, как говорит Вася.

И в этот самый момент ведомство моего отца, стремное и богатое, вдруг вспомнило о своих сотрудниках, десять лет героически трудящихся без улучшения жилья, и решило как-нибудь его да улучшить. На руках хорошие карты: я — официальная креза, у меня «жена и ребенок», все в одной 14-метровой комнате. А ведь у ведомства, как хорошо мне было известно, имелось нехилое личное дело на меня. Оно даже не озаботи-

лось проверить, действительно ли мы состоим в браке. И на горизонте начала миражиться комната. При иных условиях я бы никогда не опустился принимать что-нибудь из рук сатрапов. Но, во-первых, сатрапы не требовали никакого компромисса, а, во-вторых, нам и правда надоело мотаться, как древним людям, покидая истощенные поля терпения.

Комнатка была на Автозаводской, в сталинском доме на втором этаже. Перед окнами завод, шоссе и сквер с трамваем. В пределах досягаемости было два винных магазина: один у Велозаводского рынка, второй — в соседнем дворе, в мрачной коробке, похожей на общежитие: маленький, обшарпанный, заплеванный и убогий. Окрестности его монополизировали десятки бомжей и дринчеров в последней степени разложения и вырождения в нескольких поколениях.

В конце лета мы переехали. Нас уже ждал огромный диван, шкаф и ковер на стене, все купленное и любовно повешенное-поставленное родителями, пока мы катались по Прибалтике.

Первым делом я снял ковер, вторым — открутил у дивана ножки, просто чтобы как-то приспособить этот кошмарный предмет к идее. У шкафа снял дверцы. Подпилил ножки у стола и покрасил в белый цвет. На помойке нашли стул и прочие недостающие детали интерьера. Обои украсили надписями и картинками. Гнездо было готово. Вполне приличный хипповый флэт, куда не стыдно позвать друзей.

### Profession de foi

У Васи с Леной никогда не было свадьбы, что не мешало им жить вместе. Так жили в нашем кругу многие, едва ли не все. Так же жили и мы с Матильдой. Не было официального штампа, не было, естественно, и церемоний. Теперь Вася и Лена позвали всех на венчание.

Молодые выглядели странно. Вася в пиджаке, с заплетенным в косичку заправленным хаером, Лена, не признававшая ничего, кроме заплатанных джинс, в роскошном белом платье. Ничьих родителей, зато друзья, которые обильно крестились и били поклоны, все как надо, и все равно пугали стайки старушек — сумками, кителями, рваными штанами, волосами до пояса.

Из церкви, как положено, за стол. На этот раз было много вина и водки. Значительная часть гостей перепилась и раскрылась с новой стороны. Сперва это было интересно и смешно — как волосатые ругали сами себя, называя себя беснующимися, вскрывая бесовщину друг друга, пересказывали истории из святоотеческой жизни, спорили о тонкостях патристики. Они, оказывается, нашли для себя новый смысл жизни и новую литературу, а я и не заметил.

Женя-фотограф рассказывал про какого-то батюшку, проповедовавшего волосатым под Печерским монастырем.

Батюшка для него, словно древний колдун или маг, не только обладал истиной, но и полным набором чудесных свойств, как Дон Хуан с Доном Хинаро.

— Бесы так и роились! — объявил Женя видение батюшки.

— А ты этих бесов видел? — спросил я.

— А что их видеть: это и так понятно. А ты не веришь?

— А ты веришь?

— Конечно.

— Что хиппи одержимы?..

— Что ты на него напал? — вмешалась Матильда. Это была ее черта — следить за мной.

— Может, и ты согласна?

— Отчасти. Кто такие хиппи... беснующиеся во имя Господне, — она засмеялась.

— Ересь! — возмутился Женя. — Мне и говорить с вами не хочется.

Это было очень серьезно, даже легкая ирония тут не допускалась. С точки зрения храма, хиппи были ничуть не лучше остальных людей — даже хуже, потому что от большего себя освободили. Более того, выбрав «духовное», изучив кучу религий, начитавшись всевозможных философов, мистиков и моралистов, хиппи не приблизились к истине, а удалились от нее, впали в язычество и многобожие, попросту — поддались сатане.

А сатана для новых христиан был совершенный материальный факт.

Я все не мог понять, как можно доверять священнику больше, чем себе, и это после self-reliance, проповеданного отцами!

Ответ был: мы доверяем не священнику, а Церкви, доктрине в целом, философии жизни, которой является православие.

Начинался духовный путь, как водится, с *послушания*. Им же, как казалось мне, он и кончится, только послушанием лицемерным.

Мне стало скучно, словно я попал на комсомольское собрание, где все заодно, послушные и самодовольные. Если кто-то говорил про одно чудо, то тут же выяснялось, что чудес — как грязи, если кто-то рассказывал про одного хорошего священника, то тут же утверждалось, что все они хороши, да и как может быть иначе! Если кто-то приводил мнение, читанное или слышанное, про бесов ли, ангелов, про грех или смысл какого-нибудь ритуала, слегка расходящееся с общепринятым, все строго накидывались, объясняя бедному его заблуждение, и инсургент сразу брал свои слова назад.

— Слушая их, я становлюсь атеистом, — сказал я Матильде.

— Это просто неумно. Но при чем здесь вера?

— Если верить — это обкромсать свой мозг, оплевать самое дорогое... Что им сделали хиппи? Не создали надежного фундамента? Не примирили с самими собой?

— Ну так уйди от них.

Я лишь досадливо поморщился: куда уходить? К кому?

Очень близкие мне люди — экспериментаторы на самих себе, только в исправлении себя находящие оправдание, все время собою озабоченные, бдительно за собой следящие, недовольные собой, с обостренным индивидуализмом, самокопанием — все это очень непрочные и сумрачные люди. От них в любой момент можно ожидать сбоя, ступора,

бездн слезливого отчаяния, метаний в противоположные стороны через самоотрицание и отрицание поэтому всех прежних убеждений, коли недостаток сил не позволил осуществить все им полагавшееся в чистоте. Резкий практицизм и рассудочность после громогласного идеализма. Повзросление через самоумаление, усекновение тех качеств, которые требовались для реализации невыполнимых программ в невыносимых условиях.

И революционеры массово стриглись: лепокудрые Далилы принесли им недавно изготовленные ножницы.

В довершение те, кто не избрал «естественное» православие — кинулись в Джизус Пипл, буддизм, кришнаизм и бог знает что еще — и все на пределе горения, бескомпромиссно. Друзья довольно четко поделились на тех, кто ничего не кончал, не имел правильного места для жизни, работы, денег, религией которых был торч, хайк, музыкальные и торчковые эксперименты, тусование по флэтам, экспедиции на маковые поля за десять или за три тысячи километров, рейды по аптекам (и, наконец, ранняя смерть), и тех, кто нормально закончил вуз, защитил диплом, пошел работать по распределению, — религией которых стала религия, то есть стремление к некоей *норме*, превращение себя в членов нового сообщества, тоже как бы не от мира сего, но с пропиской в мире сем, вроде как с официальной справкой из дурдома.

Они считали это эволюцией, вроде усовершенствования пути, с вершин которого «Мастер и Маргарита» Булгакова был ересью, достойной костра. Так учил их батюшка. Туда бы этот роман и попал, если б я не забрал его себе. Так у меня появился собственный нексерный «Мастер».

Я знал, что абсурдный мир можно подчинить, только встав на позицию абсурда, то есть веры в Бога. Это индивидуальное, глубоко трагическое усилие, о котором писал Кьеркегор, было мне понятно.

Потому что выбрать религию, как я считал, — значит смириться с невозможным, примирять то, что никогда не признает «естественный» разум, и поэтому постоянно находиться в конфликте, двоемыслии. Если человек говорит, что «верит в чудо» — он должен жить каким-то особым образом, как юродивый, может быть, но не так, как жили мои друзья и, вероятно, остальные *верующие*. «Верить в чудо», «в тот свет», «воскресение» и пр. — и ходить на работу, зарабатывать деньги (а после института друзья снизошли до этого), жить в благоустроенной квартире, мириться с родителями, городом, совком, несвободой — вообще жизнью, как таковой, такой далекой от «истинной»...

Да, говорили друзья, ты прав, но каждому дается свой крест, мы еще не можем отказаться от всего, это не по нашим силам, когда-нибудь потом, это и батюшки наши говорят, но мы не отказываемся от этой перспективы, у нас хоть есть надежда, а вот у тебя ничего нет, кроме гордыни и суемыслия... К тому же они не считали веру в Бога — абсурдистским актом, но, напротив, глубоко и единственно естественным. Абсурдным же было, по их мнению, именно *не верить*. И это декларирование «про-

стоты», «естественности» такой невозможной вещи, как вера, злило меня больше всего, заставляя обвинять друзей в лицемерии или бессознательном самообмане.

— Это так же «естественно», как каждый день наблюдать воскресение мертвых.

— А мы и так каждый день наблюдаем «воскресение мертвых», ты не знаешь? Ибо все мы мертвы, и живы только по Божьей милости. Он как бы каждый день заводит часы. А может и не завести. Встал утром, увидел, что мир цел, — считай, что чудо...

— Может быть, но с таким мировоззрением можно в дурдом попасть. Вы как бы каждый день ждете Апокалипсиса.

— Так и есть. Так и надо.

— Но по вам как-то не видно...

— А как это должно быть видно?

— А так-то!.. — И дискуссия начиналась по новому кругу.

Сергей Т. был книжник и фарисей. Книжник, потому что собирал книги — в масштабах, превосходящих разумение и возможность прочтения. Фарисей — потому, что с православными он был православным, с меломанами и звездолетчиками — меломаном и звездолетчиком.

У него была достойнейшая жена по имени Таня, гостеприимная, уравновешенная и исключительно справедливая, и не по годам развитая дочь. И, главное, у него был свой флэт почти в центре, из магнитного поля которого не могли вырваться московские психопаты и инсургенты. Они сидели круглосуточно вокруг низкого посадочного столика, ели рис из пиал, пили китайский чай, слушали Заппу, листали редкие книги и говорили о высоком. Флэт был образцовым. Здесь же был устроен полигон мощных химических просветлений.

Сергей Т. был доктор психоделии, открыватель калипсола, первопроходец мескалина. На его диване многие люди в первый раз испытали свой *полуночный приход* и отправились в полет. У него можно было взять самодельные переводы Тома Вулфа, Грофа, Лилли, Лири, Кастанеды и пр. У него устраивались застолья на индийский манер, полные карри и церемоний.

У него можно было схлестнуться не на жизнь, а на смерть, выясняя, како веруеши, с неофитами православия.

Это был период непрекращающихся споров, с большим численным преимуществом противника, их слаженного хора, и Матильда теперь была не на моей стороне.

— Я не хочу терять друзей. Что тебе до этого?

Наверное, в этом и правда был какой-то мазохизм — нападать, злить, проверяя новых христиан на смирение, что им плохо удавалось. Ведь им положено было заниматься прозелитизмом и отстаивать истину.

— Наивные благочестивые редакторы земной жизни Иисуса думали, что несколькими жалкими чудесами они смогут доказать его божественность! Что они позволили ему сделать: наловить рыб, приготовить

вино, воскресить никому не известного мертвого, исцелить нескольких прокаженных и бесноватых. Какая скромность! Бог и Сын Бога явился на землю — и она не потряслась, реки не вышли из берегов, горы не сошли со своих мест, не пали звезды. Он не разрушил ни одного города и ни одного не построил. Даже крушение Иерусалимского храма осталось, скорее, полемическим преувеличением, не доказанным на деле. И менял он изгонял собственноручно, плетью, как погонщик ослов. Мир не хотел переворачиваться под его стопой, а ведь шел-то сам Бог, для которого земля была ничтожной пылинкой в Мироздании. Как у вас все это сообразуется? Мне, наверное, не хватает веры.

— У Исаии сказано, что Он трости надломленной не переломит и не будет слышно Его голоса на улице. Нет в Нем ни вида, ни величия, и что к злодеям будем причтен. Все так и случилось...

— Но у Исаии он назван Рабом Моим, Праведником, насколько я помню, а не Сыном.

— В конце концов, Он сам называет себя в Евангелие Сыном. И говорит про Бога — Отец Мой. Нет оснований не верить Ему.

— Есть основание не верить тем, кто записывал.

— Кто дал тебе право толковать Священное Писание?

— А кто мне запретил?

Таня вставала на мою защиту: действительно, никто не может мне запретить и надо искать другие аргументы...

— Почему тогда ты веришь одним словам и не веришь другим? Или ты ничему не веришь в Евангелии?

— Верю, многому верю, то есть не верю, а согласен с тем, что там говорится. Но вот когда меня призывают верить... Так же и гадалки делают.

— Если ты признаешь одно, почему не признаешь другое? Ты считаешь, что лучше, чем Господь, можешь отличить правду от лжи?

— Господь или его интерпретаторы? В конце концов слова о сыновстве можно понимать аллегорически. Все мы дети Бога.

— Но ты же не получаешь знамений от Господа!

— Куча людей уверяла, что получает их и знает волю Его, которую и выполняет. Вот и Магомет тоже говорил.

— Какая разница, кто там что говорит! Он и Своей жизнью, и пророками подтвердил, что говорит правду, и вся история подтвердила.

— Скорее, она подтвердила обратное!..

Для меня как для пуританина-атеиста религия была — как красная тряпка. Я считал, что в хиппизме не должно быть никаких богов, никаких поклонений и преклонений. Ну, там перед Джимом Моррисоном разве. Хиппи — это дети, которые первые встали с колен. Я ненавидел увлечение такими ветхими формами мышления, как религия. Те, кто сюда пришел, не создают ничего нового, они не освободились. Нашли себе хозяина и околоток. По понятиям которого ты должен лишь умереть — и должен постоянно думать об этом. А ведь ты еще обречен жить — и это гораздо важнее. Мне были противны сокровища после смерти. Нет

ничего противней смерти, и живущие от смерти, позволяющие себе командовать тобой после смерти — вроде глистов, копошащихся в дерьме! Но главное, что они — самозванцы, заигрывающие со смертью, ничего в ней не понимая.

Потому что это не имеет ничего общего с их баснями. Это страшно и величественно. Это новое видение всего. Это новая форма свободы, просто ужасной свободы. Церковь — это ненависть к жизни, ненависть к свободе, к возможности спастись самостоятельно, без чьего-то имени на устах, без собачьей преданности во взоре. Все хорошее, что было в Евангелии, погибло под пятой церкви. Для чего нравственность на земле, если все сводится к потустороннему наказанию?!

Хиппи — свободен, у него нет богов. Маленьких перед Богом в хиппи не принимают.

— Моя душа закрыта для веры в чудеса, я готов поверить во что угодно, только не в это. Ну и не верю я в рай, как они его изображают. Очень интересно все время возлежать с праведниками и носить белые одежды! Я предпочел бы рай в виде зеленой лужайки, где Хендрикс бы нам играл, Моррисон пел, а мы, старые френды, пыхали бы косяками и тащились.

Матильда пока не думала венчаться, вообще повторять все за всеми. Но она чувствительно относилась к тому, что наш свободный союз считают теперь за грех. Для начала мы не были даже расписаны, и я отвергал все планы на этот счет. Я ненавидел даже слово *жена*, не считал, что теперь у меня есть какие-то обязанности, к которым меня можно принудить, что я должен придерживаться каких-то форм. «Я считаю тебя не женой, а соратницей по борьбе!» — говорил я как бы в шутку, но на самом деле так и думал. Я, как последний кретин, думал, что оказываю ей тем самым какую-то великую честь. И не замечал, как темнеет ее лицо.

Друзья были прозорливее. Они с привычной иронией, которая была их вторым «я», говорили: Система дала тебе все — друзей, книги, герлу... Теперь предлагала веру. У них теперь был то пост, то праздник. И я както не попадал ни в то, ни в другое.

Меня обвиняли в тайном, богопротивном толстовстве. Толстой, Ганди, весь мир неканонических идей был заклеймен и высмеян. Они вдруг сделались очень серьезными и строгими в определении истины, отказались, само собой, от наркотиков, вернувшись к душеспасительной водке, завязали с неканоническим вегетарианством и стояли за какую-нибудь запятую вероучения насмерть. Все или ничего! Или я во *все* поверю и тогда *все* пойму, даже самое нелепое и странное, то есть *воцерковлюсь*, или я скоро во всем разуверюсь, даже в самом прекрасном, в том числе и в Евангелии.

Теперь не редкостью стали споры о допустимости слушания Фрэнка Заппы в пост, чтения любой литературы, кроме святоотеческой, о наличии и серьезных последствиях жидомасонского заговора. Наконец объявлялось, что не только все искусство, наука и прочее, но и сама жизнь ничтожна, ибо преходяща. Я вспоминал старшего брата старца Зосимы: «Жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если

бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай». Но Достоевский был православный, напоминали мне, и образцом Зосимы послужил оптинский старец Амвросий. Но что в этой фразе такого православного? И не есть ли православие специфическая форма стремления к личной праведности в данной стране? Как в Индии это стремление реализовывалось бы в форме буддизма или индуизма, в Китае — даосизма или чаня?

К чести друзей — нас так и не отлучили от стаи, в отличие от разных кришнаитов и джизус. Скорее, мы отлучили стаю от себя.

Я не мог понять, что происходит с друзьями. Почему они меняются? Откуда эта старческая религиозность — у людей, ничем не обремененных и способных радоваться? Или эта необремененность не принимается сердцем — и оно само себя боится? Они идут в храм не то исповедаться в этом грехе, не то искупить его. Церковь — ведь тоже власть, и она вольна отпустить грех или стращать им. Если перед церковью ты чист, то ты чист вообще, и проблем больше нет. Только надо все время подкармливать себя мыслью о смерти и том свете, чтобы вся конструкция не развалилась от первого солнечного утра...

Боже правый, как они отяжелели, насколько стали серьезны, буквальны, ответственны и суеверны! Дух банальности и обыденности проник в них. Они ревниво защищали догмы, ненавидели любое исследование священных предметов, открывающее в них иной смысл. Священное это такое явление, которое не терпит доказательств и проверки своего существования (кроме доказательств, сходных с ним самим и доказывающих через одно суеверие истинность другого). Они совершенно не могли стерпеть ни одного критического замечания, так как по недоразумению считалось, что священное не может порождать ошибки и не имеет никакой недостаточности. Они атаковали догматами, пытались разрешить все жизненные трудности через заклятие Христом, одурманивание Христом и трепетом перед буквой закона. Жуткое зрелище.

Они спасали душу *для Бога* — и от Бога, хищного, охотящегося за их душами, стремящегося отправить на мучения и вечный ад каждого случайно согрешившего за свою короткую глупую жизнь, придуманную самим Богом. Неужели Бог так мелок, чтобы интересоваться каждой случайной мыслью о нем у существа земного, темного, к тому же не способного своей волей вырастить даже волос на своей голове?.. Религия сама путается в своих противоречиях. Ее внутренняя жизнь — это жизнь в отживших идеях о Боге, требующих для существования закона и наказания. Бог был надежной уздой для корыстной нравственности, не умеющей оправдаться самой собой и желающей компенсации за соблюдение тягот закона. Требовалась фанатичная вера, которая сцепит народ в некое единство. Это может быть идея о Яхве или идея о торжестве марксизма-ленинизма. Без этого нация рассыплется, власть над ней будет потеряна. С такой верой действительно можно идти на костер, но вера ли это свободного человека?

В этом пути я не последовал за ними, более того — отверг, как Ницше своих учителей.

Боря влек меня в другую сторону. Буддизм очевидно был свободнее и сподручнее для моей космополитской анархической души. Но он так же презирал земную жизнь, апеллируя к тому, что она полна страданий. Причина которых: любовь и привязанности души, страх и прочие чувства, что, собственно, отличают человека от дерева.

— Видимо, я никогда не обрету ту «свободу», о которой говорит Будда, мистики, Раджнеш, суфии и прочие, — говорил я Боре. — Я никогда не смогу отказаться от своего «я», никогда не признаю, что его не существует. Оно не величественно, не значительно, это маленькое «я», но оно *существует*. Знаешь, у меня сложилось впечатление, что это все вызвано страхом перед своим «я», боязнью своего «я». «Я», которое всегда в конфликте как с человеком, так и с общепринятым. *Они* окрестили его «эго» и выдают за темное начало, мешающее как ему самому (человеку) достичь света, так и другим, страдающим по его вине... У меня совсем другие отношения с моим «я». Я верю ему. Это моя квинтэссенция, суть моего характера, это тот ответчик за симпатии и антипатии, которые вели меня всю жизнь и о которых я лишь теперь, из-за увеличившейся ответственности перед жизнью, стал что-то прозревать. Оно сформировало мою личность, со всеми хорошими и плохими, смешными и прочими неудобными чертами. Оно спасает меня от легкости, аморфности, релятивизма поступков и моральных оценок. Оно защищает меня от естественного детерминизма и всяческих соблазнов, грозящих утратой самого себя. Благодаря ему я не автомат, я не могу совершать внезапных поступков, сколько бы радости ни обещали они на поверхности или, напротив, чем бы ни грозили в случае ослушания. Благодаря ему я не гибок, как не гибка нравственность, как не могут быть пересмотрены определенные вещи и взгляды, так как они — не выработанные, не конфессиональные, а необходимые, как условие освобождения человека от страха.

Я хотел остаться последним верным бойцом среди руин разгромленной баррикады Второй Системы, искал свое место в поредевшем Автобусе. Я пытался понять, что за роль мне предназначена? Что я могу сказать нового городу и миру, Системе и человечеству? У Системы были свои поэты вроде Шамиля, писатели вроде Гуру, художники и музыканты. И все же требовались люди, которые должны были объяснять малолеткам идеологию, посвящать в историю и предания, растолковывать основы.

Я не сидел сложа руки, я искал *свою* религию (революцию). Много лет я пытался искать истину исключительно логически, соединить рассыпанную мозаику. Теперь я решил познать ее изнутри, экстатически.

Первый раз мы вмазались калипсолом у Сергея Т., открывшего с приятелями это богоданное средство, куда более мощное, чем знаменитое LSD, как я позже убедился. Потом неоднократно проводил музыкально-калипсольные сессии у себя дома.

Я вдруг опять увидел «истину», как в дурдоме под циклодолом. Но теперь я мог сказать о ней гораздо больше. Это тоже была *потеря*. Столкновение с Вечностью, с налимовскими «континуальными полями сознания», о которых проповедовал Боря. И эта потеря была тяжела, тяжелее всего на свете. Зато я вдруг понял, *что* есть смерть, «испытал» ее *несколько раз* по диагонали, из угла в угол, как будто чужую квартиру обошел, и стал о многом судить с точки зрения этого опыта.

Мы отредактировали поговорку: «Не верь никому, кто не прошел Эйсид Тест». Я поделился с Борей лучшим, что у меня было, — отправив его со своего дивана в открытый космос. Скептический Боря, который читал Кастанеду, но больше верил Плотину, признал, что это сильно цепляет. Хотя и не медитация.

С Матильдой мы рассуждали о том, что надо заставить всех хоть раз испытать *трип*, вроде как Кизи хотел влить LSD в нью-йоркский водопровод, и тогда все если не всё, то многое поймут, — о войне, свободе, насилии, жизни вообще, испытают настоящий религиозный опыт — и хоть частично откажутся от той майи, в которой живут.

Это была наша вера.

### Снова здорово

Летом 85-го как-то ни с того ни с сего в кошмаре наметились проблески. Для начала произошел фестиваль молодежи, второй после 57-го. Ничего мы с Матильдой от него не ждали. Ну, опять совок закрутит все гайки, как в Олимпиаду, выселит, выметет сор, нагонит ментов — устроит показуху.

Еще не существовало слова «перестройка» и ни о каких реформах никто не слышал. Новый правитель не внушал ни одной симпатии. Косноязыкий лицемерный болтун. Ну мало ли их было — и один хуже другого...

И вдруг город окунулся в какую-то небывалую свободу: все ходили по улицам толпами, даже ночью, тусовались, где хотели, пели песни прямо под кремлевской стеной, у Свердлова («у Яшки»). Ночью посреди улицы Горького недалеко от «Этажерки» мы наткнулись на тусняк молодых волосатых, заведшихся непонятно как и от каких корней — помимо нас, веселых, восторженных и талантливых, готовых на любые авантюры, на которые наши ровесники уже были слабы. Эти неизвестные хиппи тоже про нас, прежних, почти ничего не знали, слышали неясные легенды, хотя, конечно, не завелись бы сами по себе — значит, были учителя. И обрадовались нам как живым свидетелям. И мы им: словно первые, вымирающие христиане встретили неизвестно откуда взявшихся единоверцев.

Перестройка, наверное, и началась в те дни, повеяло чем-то новым, вроде хрущевской «оттепели», вроде счастья для всех даром. Запыленная пластинка с арией про эру Водолея была извлечена на свет Божий и вновь поставлена на проигрыватель.

Нас сразу признали за олдовых, за гуру, учителей, требовали руководства. Одержимый идеей человек по прозвищу Принц рыдал у нас дома от огорчения, что я не веду их немедленно на баррикады, не предлагаю какого-нибудь безумного действия. И мы стали придумывать действия.

Нам стало веселее.

Неожиданно в гости заглянул Принц и прямо от двери, по своему обыкновению, заполонил весь объем бурным потоком непосредственности, что-то рассказывая, о чем-то споря, что-то придумывая. Под конец он вдруг предложил идти на концерт, который будет давать его приятель в подвале буквально в соседнем дворе.

— Это такой человек! Не, не буду рассказывать, сами увидите. Только — надеюсь, вас не смущает? — он «джизус пипл», но такой светлый человек, и мне лично дает очень много. Что бы я у него ни спросил, он на все дает ответ. Ведь главное — любовь.

Я сделал скептическую морду.

— Я вижу, вы мне не верите. Честное слово, будет интересно. Да вы, наверное, слышали о нем, его многие в Москве знают. Гена Саблин. Он раньше тоже был волосатым. Он и сейчас вполне волосат — в душе. Говорит, в обычном клоузе и без хаера — легче все делать... А у него главное, чтобы публике рассказать что-нибудь. Поэтому и хаер постриг.

— Зря постриг, — довольно догматично сказала Матильда.

— Что значит «зря»? — огрызнулся я. — Кому хаер нужен — носит и все. Это же так просто. Тогда ему было надо. Потом стало не надо. Захочет — опять отрастит. Это не оскопление. Волосы — вещь демократичная.

— Он же чтобы играть остриг, он мне сам говорил, — добавил Принц.

— Мало ли что он говорил, — опять брякнул я. — Волосы в жертву идее. Это еще вопрос, что важнее. Они сами идея. Даже больше идеи. Волосы — это состояние свободы. Только свободный человек может носить длинные волосы. Свобода не только в волосах, но волосами не жертвуют, как не жертвуют языком. Волосы — это язык, только его еще надо научиться понимать. Никогда настоящий волосатый не пожалуется на неудобство волос, как настоящий вегетарианец — на неудобство вегетарианства. Для него это естественно, он не испытывает никакого соблазна.

— Но он это сделал как бы не ради себя... — опять начал Принц.

— Конечно, бывают такие случаи. При осаде Карфагена женщины остригали волосы для всяких там метательных машин. Можно волосы продать, чтобы спасти кого-нибудь, как в «Отверженных» у Гюго. Но я как-то не подозревал у современного человека такого пафоса. Твой друг должен учить публику оставаться самими собою. Терять-то мы все умеем...

Волосатый должен жить так, чтобы жизнь ему ничего не стоила. Плата за жизнь — это начало рабства. Он должен жить за чей-нибудь счет. Не за счет общества, а за счет самой жизни, как мы дышим воздухом — безвозмездно и бесплатно. Он должен брать, но только то, что никому

не обременительно давать. Он должен жить за счет щедрости и излишков. Каждое развитое общество создает миллион таких возможностей, утечек, которые оно просто не может контролировать. Волосатый должен быть легким и независимым и использовать окружающее бытие, как природу, для которой никто не является обузой. Он не должен превращаться в нищего и бомжа, который постоянно думает о куске хлеба или где бы нажраться. Он не должен ничего делать во вред лучшим чувствам людей. Волосатый — это не человек с длинными волосами, это психология и образ жизни. Он никому не в тягость, и никто не в тягость ему. Он никому не предъявляет требований. Он живет, как ему приятно, если это не будет никому во вред. Если это будет кому-то во вред или просто неприятно, он не откажется от своей платформы, он просто перейдет в другое место. Он мастер выбирать свободные места, центр циклона, где всегда спокойно и просто и можно заниматься своим делом.

### История плохой квартиры

Коммуна на Автозаводской появилась так: осенью 85-го на платформе питерского (то бишь Ленинградского) вокзала мы встретили волосатых, Макса и Джуди, которых видели первый раз в жизни. Люди сообщили, что им негде найтать, нету ли у нас вписки на пару дней?

Я отдал ключи от Автозаводской, где пустовала комната бывших соседей, объяснил, как доехать, — и мы отбыли в Питер.

Вернувшись, я нашел Макса и Джуди — с комфортом разместившихся в нашей комнате. Но самое интересное, что в комнате бывших соседей уже жили Шуруп с Алисой, приятели Макса, которым тоже негде было найтать. Люди извинились: в пустой комнате не на чем спать, поэтому они перебрались на наш диван. Ну не выгонять же! К тому же в это время мы в основном жили на Соколе: Мата отдала Малыша в детский сад, куда устроилась и сама, параллельно таскаясь в универ. Я по-прежнему ходил к себе на работу на Зорге, мне было близко.

Заехав еще через неделю, я нашел Макса и Джуди по-прежнему в нашей комнате, причем одетыми в наши вещи, найденные в шкафу. Макс невозмутимо поигрывал на бас-гитаре, Джуди пялилась в миниатюрный телевизор — хрень, которой у нас отродясь не было.

Здесь все было тихо. Зато в соседней комнате жило уже человек десять, весь пол был завален драными матрацами с помойки, орал маг, Поня играл на гитаре, пипл подпевал и подыгрывал, каждый на своем, в перманентном концерте. Я только почесал репу: они были так счастливы, да и идти им, конечно, было некуда.

Стиль жизни обязывал их обходиться без гастрономии — они вообще не готовили, ели урывками, что придется: у друзей, в гостях, в кафе, бутерброды, пирожки и булочки, если уломают себя дойти до магазина. Обеды — лишь очень редко, по случаю чьего-нибудь приезда, чуть ли не его силами (один раз отварили макароны, рассказала Алиса, и то засну-

ли, утром было страшно смотреть). По всему было видно: вся жизнь — непрерывный бунт и неусыпная революция.

Макс и Джуди уже и сами не рады были тому, что учинили. Они, как «хозяева» флэта, пытались навести какой-то порядок и жаловались мне по телефону. Пипл в свою очередь жаловался на Макса с Джуди, живущих, словно в коммунальной квартире, как гнилые обыватели и пытающихся командовать народом. В нравоучительных беседах с пиплом Макс то и дело ссылался на меня, что, мол, если они и дальше будут так себя вести, я их выгоню. Он добровольно взял на себя функции моего представителя и старшего по порядку. Макс серьезно переживал, как я, наверное, обламываюсь, что все так вышло, — и виню их с Джуди. Меня же это мало трогало: пипл был молодой и веселый, хоть и засрал всю квартиру. Ведь мы были френдами. У них все было как надо: правила, речь, тусовка, вегетарианство, грязь и проблемы. Блеск и нищета коммунарской жизни. Блайтдейл с местной спецификой. Прекрасные люди, не лишенные разнообразных талантов, весело спичащие вечером за чаем под музыку... И немытые тарелки, пустой холодильник, грязный пол, засоренная раковина, побитая посуда, взятая без спроса и заношенная одежда, спокойное, хотя и скромное житье за чужой счет.

За порядком в этой части квартиры следили авторитетные люди вроде Шурупа, дрейфовавшего к доморощенному православию и изгонявшего излишнюю вольность и всераспущенность. Он даже анаши не курил и запрещал курить другим. При том, что на флэт ходило пол-Москвы, у меня не было конфликтов ни с соседями, ни с участковым — единственное, чего я боялся.

Бессрочное аннексирование моей комнаты бесило меня гораздо больше. На все предложения съехать Макс и Джуди отвечали, что им негде жить.

— А нам есть где?

— Ну вы же живете у пряников. Поживите еще немного...

Несколько раз вместе и по отдельности мы ночевали здесь. Спали в своей комнате, но на полу, как и любой коммунар, уважая права постоянных жильцов спать на привычном месте. Поспать, впрочем, удавалось немного: коммуна веселилась всю ночь, так что мне, в конце концов, как мажору, пришлось встать и предложить тусовке заткнуться хоть ненадолго.

В декабре 85-го тусовке пришла светлая мысль устроить выставку хипповых клоузов. Собственно, это была выставка всего хиппового искусства: картинок, фенек, самодельной одежды и прочих нужных для жизни вещей.

Я отдал как экспонат собственноручно сшитую рубаху. Сольми принес расписанный им стул, Федор Щелковский притащил кучу музейного тряпья, вроде джинс с невообразимым количеством вспомогательного материала, превышающим в несколько раз сами штаны, что могли появиться только в ранние семидесятые, период особой редкости всех этих Левисов и Райфулов.

В день открытия у нас была вся хипповая Москва. Такое количество пипла можно было увидеть разве что в Царицыно 1 июня. Решив передохнуть, мы с Матой налили на кухне чаю и зашли к себе в комнату. Тут тоже было полно народа, но меньше, чем в соседней. Суровые волосатые, тайком курившие траву, объяснили, что эта комната только для хозяев, а чай пьют на кухне.

— Я и есть хозяйка, и если вы будете так со мной разговаривать, я сейчас же выгоню всех вон! — рявкнула Мата.

Ночью в опустевшей квартире коммунары и хозяева сели на пол и пустили по кругу косяк. Поня как-то сам собой стал наигрывать на гитаре, у кого-то нашлась флейта, кто-то выгреб из угла барабанчики и бубен, остальные сделали инструменты из подручных средств и постепенно подключались к стихийному концерту. Скоро уже вся комната стучала и пела — покачиваясь в такт бесконечной медитативной композиции, вставлявшей как мантра...

### Революция

Я всегда чувствовал себя опоздавшим, поздно вставшим, чьим-то последователем, эпигоном, удержателем падающего знамени, ловителем улетающего дыма. Вдруг я ощутил, что нахожусь в первом вагоне событий и живу на линии огня.

Мы не породили ни нового Хейта, ни нового Лета Любви. Все, что нам удалось, — поучаствовать в дне непослушания. Но и этого оказалось достаточно, чтобы кокнулась великая империя.

Мы пытались выжать из Времени все. Мы тянули и растягивали до предела, до последней степени наше «неотносительное» время и наполняли бесконечным, безостановочным движением межвременье, мертвую зону времени своих перемещений. Время должно было отдать нам все, сокращаясь и вытягиваясь точно в соответствии с нашими потребностями, и мы надеялись, что и это неизбежное опоздание будет не очень заметно, будет компенсировано из резерва. Мы просто срежем угол, нагоним на сне. Все, кто хоть чуть-чуть задержался, друзья и родственники, немедленно отстали и исчезли из виду.

Развитая скорость была такая, что, когда подходили и спрашивали о чем-нибудь на улице, я лишь удивлялся, что мы говорим на одном языке. Впрочем, спрашивали все больше старую ерунду: почему такой внешний вид, чем вы занимаетесь и почему вы не любите Советский Союз?

Для уравновешения прекрасного настроения кем-то умным была придумана неплохая пруруха — в виде появившихся откуда-то бритоголовых «люберов» — «качков» из подмосковного города Люберцы, совершавших налеты на точки сборов хиппарей и разнообразных неформалов, что обещало больший и скорейший успех, чем неповоротливые действия приснопамятной «Березы». Стало разбиваться много голов, особенно когда любера натыкались на тяжеловооруженных металлистов, агрессивных обдолбанных панков, моторизованных рокеров — и самых безбашенных из всех, «индейцев».

На улице рулады приобщившегося вечности пролетария. Ему не спится. Не спугнет его транспортный дискант, не поразят диссонансы бессонного производства с неизменным учетом. Только лай собак на периферии урбанизации.

Он думал о безвыходном положении, в котором очутился.

Проблему, поставленную Камю: можно ли быть святым без Бога? — он несколько переосмыслял в плане: можно ли быть святым, будучи женатым? Это проблема Льва Толстого, Эмерсона, Ганди. Во всех этих случаях она была решена отрицательно: первый в конце концов сбежал, второй заперся в кабинете, третий принял брахмачарью (с пятого раза). Говорят, так жил со своей женой Иоанн Кронштадтский, но мало ли какие рассказывают про него чудеса. Определенно выразился Христос и увел Петра и Иакова. Покинул семью только что ставший отцом Будда и навсегда ушел в лес. Но мы в подобном положении считаем себя обремененными долгом. Нельзя бросить того, кого приручил, говорил Лис у Экзюпери. Что же делать?

Дело было не только в усталости и проказах ребенка. Дятел не мог мириться с самим собой, которого так лелеял и пестовал в юности, гордо проча на роль идеального, совершенного человека. Но разве совершенный человек может злиться, орать на ребенка, даже бить его?! Он пробовал бороться с собой, но рано или поздно все равно срывался, нанося травму не столько Малышу, которому все было как с гуся вода, а Матильде. Он должен был уйти, чтобы не продолжать этого бреда, не мучить людей нелюбовью и раздражением, причины которого были непонятны ни Матильде, ни друзьям, смотревшим на этот эксперимент со стороны.

Да, это был именно эксперимент, для него в первую очередь: жизни с другим человеком, жизни семьей, жизни с ребенком — и эксперимент не очень удался. Может быть, именно потому, что *эксперимент*. Ведь жизнь — не эксперимент, не проба, не опыт, который можно прервать в любой момент, посчитав его законченным с тем или другим результатом.

Он не хотел ничем себя связывать, чтобы в любой момент взять вещи и уйти в свой индивидуальный путь, который был кем-то ему предназначен или который он предназначил сам себе. Поняв, что дело не заладилось, он давно должен был уйти. Но не уходил. Не знал куда. Не знал к кому. Не понимал, чем прекрасный индивидуальный путь выше вот этих двух людей, пусть один из них так сильно его порой раздражает.

Он не мог уйти именно от нее! От любой другой женщины он бы давно ушел и стал свободным. Но, если признать, что он обречен на самое страшное, на *не свой путь*, может быть, он мог бы быть счастлив и с ней?

Дятел стал замечать, как много вещей стало его раздражать. Он жил все время на взводе, готовый сорваться или впасть в меланхолию. Ни одной секунды он не мог бы сказать, что испытывает покой. Как когда-то в больнице.

Он ждал, что Матильда сама не выдержит и снимет с него проблему невыносимого выбора. И боялся этого момента.

А Матильда то ругалась с ним, а то была нежна, так что казалось — ничего не было: я ничего не замечаю. У них и теперь были еще хорошие минуты.

Они стоял перед крестом облупленной двери с ручкой со словом «крутить» вместо звонка.

— Здравствуй, Таня.

Она посмотрела на него с удивлением и улыбнулась.

— Привет.

— У вас гости?

— Н-да. Всякие старые друзья.

— У меня вино, — пробормотал, борясь за место на вешалке для их одежды.

— Сейчас проверим. Есть вино! — крикнула она внимательно слушавшему коридору.

— Неси сюда! — донеслось в ответ.

Весьма потрепанный юноша за тридцать с умным и неестественно веселым лицом вышел к ним в прихожую. Это С.

— У него есть вино, но у него холодные руки! — оглянулась на него Таня, принимая бутылку.

— Но горячее сердце, — докончила Мата и, попав щекой в губы С., пошла в комнату.

— Ну проходи, — сказал С., ощупывая бутылку.

Плотно прокуренная комната была полна послебаховской музыки.

— Вина, господин?.. — какой-то молодой неизвестный человек. Его бутылка уже стояла открытой. Он взял бокал, жадно выпил, куда-то поставил. Кто-то доедал какую-то еду. Все уже давно и беспорядочно трепались.

— Гоголь всю жизнь мечтал сделаться чиновником и приносить пользу. Поэтому все поучал и просвещал Россию, как Павел галатов. И даже любовь у него должна была передаваться по начальству.

— Не гони муть.

— Ну и что, а Лосев доказывал Бога при помощи Эйнштейна...

Он сел в углу дивана.

...Они трутся об ветер и алчно, алчно выгребают из себя лавину слов, соскальзывающих с подоконников и превращающихся в черный пепел, и падает на город пепел, и вот уже выше крыш, выше мостов, до самых черных звезд.

Дятел побрел в коридор.

— Присоединяетесь, барон? — услышал он.

В маленькой комнате он увидел часть общества. Марта лежала, полузакрытыми глазами глядя в пустоту. Зрачки созерцали истину, которую никто из них не видел. Ее уже нет. Она — в открытой вселенной.

Он едва узнавал это бледное утопическое лицо. У живых людей таких лиц не бывает. С. вынимал из заначки маленькие пузырьки.

— И как это было?

— Да, круто... Я сейчас не могу... Поговорим потом?..

Она еще не вышла из милого беспамятства.

С. долго, любовно вонзался («медленно, как расстаются влюбленные») в розовую обнаженную гряду, уверяя, что зацепит быстро. Он растянулся во весь рост на полу. Стал раскачиваться в такт еле долетавшей музыке. Поежившись, понял, что этого и не требуется.

— Сигарета еще не потухла, — сказал С.

— Это была моя самая длинная в жизни сигарета... — вдруг сказала она.

— Жизнь — это длинная сигарета, — предложил кто-то.

Он слышал только музыку, бесконечную, с необычайной объемностью и полнотой. И это *неговорение* было сродни творческому акту, молчаливому наслаждению наслаждением.

В состоянии полусна-полугрезы он около часа всем организмом *переживал* каденции Заппы, ширящиеся, распадающиеся на рукава и воронки, ветвящиеся и пугающие. Ты летел по ним в неизвестность, как по туннелю метро — прямо в звездный хаос...

Мир возвращался удивительно нечувственно. Вползал по-пластунски в сознание, занимал привычные места. Дятел вернулся в странном настроении и чудовищно уставшим. Будто боролся с безумием и выстоял. И если бы он не победил это безумие, он бы просто умер.

Понемногу народ растекался из квартиры. В прихожей исход из Египта. По мере сил ищут одежду и сапоги. Они с Матой одни в комнате. Как нарочно, все ушли и никто не пришел на смену.

Он протянул ей руку. Она была красива, но нервно-бледна. Она тоже только что познала истину. Через километровые забрала страха, самообмана и постыдной привычки к «реальности».

## Креза

В отсутствие где-то затерявшихся соседей мы с Матильдой решили завладеть квартирой на Автозаводской. В диспансере мне сказали:

— Да вы что! У меня девять человек живет в однокомнатной квартире вместе с шизофреником, который на людей с топором кидается, и я ничего не могу сделать.

— Я тоже скоро буду кидаться! — заявила Матильда. — Проклятый совок!

Теперь единственный вариант был — расписаться на радость гнилой буржуазии, чтобы потом прописать сюда Матильду и Малыша.

— Ты готов на такую жертву? — иронизировала Матильда. — Ты же не любишь слова «жена». Не боишься?

— Чего? Что потеряю свободу? Я и так давно ее потерял.

— И все не можешь смириться?

— Не надо об этом.

— Ты, главное, не бойся. Мы всегда можем развестись.

На регистрации нашего брака было только двое друзей. Они же были свидетелями. Они же принесли кольца. Не было ни законного коврика, ни тетки с красной лентой через плечо — советского священника. Регистрация проходила в коридоре загса без всяких церемоний, едва не на бегу. Я и она были в своей обычной одежде, в джинсах, куртках, публично целоваться, обмениваться кольцами нас никто не просил. В загсе молодоженам выдали справку, по которой в районной сберкассе мы получили двести рублей за якобы купленные кольца (это была обычная практика, некоторые так и женились — ради этих двухсот рублей). И вечером не было никакого застолья, поздравлений, подарков, пошлых криков «горько!», вообще ничего не было. Я поехал на работу, она к Малышу на Сокол. Зато теперь я мог прописать Матильду в своей комнате, чтобы участковый, взявший моду посещать нас по вечерам, не задавал вопросы: что делает здесь эта девушка после одиннадцати?

В ЖЭКе, оказывается, ни сном ни духом не ведали, что в свободной комнате никто не живет. Так начался конец плохой квартиры.

Весной жестким прессингом нам все-таки удалось выдавить Макса и Джуди. Начались веселые дни коммунальной жизни. Такие достойные люди, как Принц, Шуруп и особенно Макс Столповский, ставший среди всех животных особенно равным, взялись за дополнительное нонконформистское воспитание ребенка. Бестолковский и сам был ребенок и этим гордился, очень расположив Малыша, с которым с удовольствием играл в военные игры, у нас в доме тщательно запрещенные. Для самого себя он придумал некий законспирированный магический орден, наследовавший гностической эзотерике, древним арийским мифам, с колдунами, магами, мухоморами, культовыми наркотиками, оборотнями-ликантропами, скандинавскими богами и фашистскими контрразведчиками, путешествиями сознания в другие миры и прочей симпатичной фигней, в общем, всем тем, что легко найти в сочинениях одного ныне знаменитого писателя, тоже входившего в тусовку творителей этой пародийно-интеллектуальной игры в солдатики для взрослых, продолжавшейся несколько лет совершенно параллельно действительности.

Я вернулся с работы и нашел Матильду, рыдающую в голос у холодильника: дед отказался поставить подпись ответственного квартиросъемщика, что не имеет к выписывающейся внучке претензий. Мать уехала за границу, и на деда некому было повлиять. И ждать у нас не было времени.

Я был не в духе по своим причинам — и мы поссорились.

Я ненавидел истерики, которыми женщины вынуждают обратить на себя внимание, я не собирался принимать все это серьезно...

И той же ночью она наглоталась таблеток.

Я и тут долго не хотел признать факт опасности. А потом сидел рядом с ней всю ночь.

— Зачем?

— Хотела умереть, — сказала она спокойно.

Днем она пошла к невропатологу — брать справку для универа, чтобы отмазаться от сессии. Состояние вроде подходящее.

До кучи Матильда рассказала врачу, что недавно попыталась сделать. До учебы ли ей, посудите сами!

— А это не ко мне, это вам надо в психоневрологический диспансер, — запричитала невропатолог. — Поезжайте-поезжайте, прямо теперь...

— А там мне дадут справку?

— Дадут-дадут, конечно дадут, поезжайте!

Соседка в очереди в коридоре диспансера поинтересовалась, чего она здесь сидит.

— Невропатолог направил...

— Бегите скорей отсюда! Вас же сейчас закатают в дурку!

Матильда не поверила. А в кабинете о ней почему-то уже знали и сразу предложили пройти в другую комнату. Только она вошла, за ней заперли дверь. Она осталась одна в компании странного человека, который прыгал на корточках по полу и бросался на нее с растопыренными руками, словно собирался задушить. Тут она действительно едва не сошла с ума со страха. Но дверь опять открылась и вошли санитары.

Для пять минут назад свободного человека не понадобилось даже суда и вины, чтобы лишить его всех прав и достоинств, будто они вправе вынести вердикт о чьей-нибудь несостоятельности и взять на себя неограниченную власть над свободой того, для кого она превыше всего и только и имеет значение.

Она прямо на коленях умоляла сообщить родственникам о ее судьбе, иначе никто не заберет ребенка из сада. Ей разрешили сделать лишь один звонок.

— Где ты?

— Я в Кащенко...

...Из туннеля пахнуло гробовым холодом, который нес с собой поезд, тем более жутким в жару, когда наверху шпарит и обжигает весеннее солнце, а мы с Максом в одних маечках ждали перед разверзнутым склепом, пробираемые до костей первым ледяным порывом...

Наружную дверь охраняла санитарка, которая впускала (и выпускала) по звонку — по одному, максимум по два посетителя. Коридор от холла охраняла толстая мымра с тупым заплывшим лицом, страшнее смерти, ибо на лице «реальной» старухи с косой должна была, вероятно, отражаться глубокая фольклорная мудрость — достоинство мастера, которым наделил ее опыт. Но на этом лице не было ничего, ни одной мысли, кроме мрачной подозрительности, единственно и придающей этому лицу легкий налет разумности. Она была, видимо, в полном доверии у медсестры. При разных сестрах этот палаточный цербер неизменно сидел на стуле перед дверью, выкрикивая в сторону палат имена счастливцев и потроша их сумки с передачами, доводя содержимое до необходимого минимума.

Матильда таяла на глазах. Один раз я приехал к ней с Малышом, но больше не делал этого, чтобы не травмировать обоих.

Она была самой слабой в палате. Не шла в сравнение с мощными женщинами, некоторыми действительно безумными, вроде той, что прятала самые ценные вещи у себе во влагалище, в том числе такие крупноформатные, как яблоко. Еще одна приехала из провинции, чтобы встретиться с Горбачевым. И спросила первого милиционера на улице: где я могу встретиться с Горбачевым? — и вот уже второй месяц дожидается его здесь. Положение ее было самым незавидным: к ней никто не приходил. Как и ко многим другим. Положение Матильды было блестящим: к ней являлись дважды в неделю и приносили книги и сигареты. Приносили много, чтобы этими сигаретами она могла купить несколько минут покоя в курилке, попросив всех выйти вон, а веселую сильную девицу, что прятала яблоки и любила танцевать рок-н-ролл, поставить сторожить на входе, избегать мытья коридора и уборки палаты — и прочая и прочая. И все же она чувствовала себя все хуже: отказывала память, ослабли ноги, вообще так ослабла, что однажды упала в обморок в коридоре. Я прекрасно знал эти вещи.

Врачи убедили маман достать какое-то дефицитное английское средство — стилазин, и теперь сажали им Матильду дважды в сутки. Брать ее отсюда маман не собиралась: она слушала врачей. Она, специалист в своей области, слушала всех, кто утверждал, что он специалист в своей, верила всем руководствам и педантично придерживалась инструкций и рекомендаций, написанных на оборотах коробок. Меня она не слушала. Меня за мужа здесь не считали. Главврач больницы прямо объявила мне: «Вы не родственник». Даже свеженький штамп в паспорте не произвел впечатления.

Я скрыл от нее, естественно, что и сам лежал когда-то и прекрасно знаю, что они ни от чего не могут вылечить. Врач утверждала обратное. Она и так не согласилась бы выдать «сумасшедшую» на руки такому странному мужу. Да, наверное, и любому мужу вообще. А зачем? У нас ей лучше. Мы следим. Мы лечим. Мы вообще не выпускаем тех, кто хоть раз к нам попал. Да она же не хотела, ее же обманом! Вы думаете?! А попытка самоубийства — это, по-вашему, пустяки? Как вам доверить, когда вы уже один раз не уберегли?

Как же не уберег, когда ничего не случилось? Она же к вам не обращалась. Она же просто справку для университета у участкового врача... И плохо, что не обращалась, если бы раньше, вот мать понимает, она подтверждает, что у нее очень тяжелый характер, что она сама иногда не знает, что та сделает, что она, мама, за нее постоянно боится и что для нее, оказывается, неудивительно, что она попала сюда, теперь она понимает — все ее истерики, взрывы, их ссоры — она просто была не в себе! Теперь она надеется на помощь врачей.

— Я знаю, что вы делаете! — сорвался я. — Вы подавляете в человеке личность. Делаете его растением, у которого не может быть неврозов!

Меня попросили оставить кабинет, пригрозили больше не пускать к больной. В конце концов, в соседнем корпусе могло найтись место и для меня.

Ее выписали через полтора месяца, в конце мая — когда даже маман испугалась результатов «лечения». Но, может быть, она и дальше бы экспериментировала, если бы на нее не надавили родственники, друзья — все подряд.

После больницы мы сразу укатили на юг. Потом она вернулась на ненавистный Сокол, откуда недавно отправилась в дурку, ибо мы с Максом затеяли на Автозаводской подпольную мастерскую: клеили из лидерина обложки для самиздатских книг, в основном богословских. Это было настоящее коммерческое дело, приносившее неплохие деньги.

Остальных коммунаров предупредили, что намечается вселение новых соседей — у которых уже есть смотровой ордер — и чтобы они понемногу выметались тоже. Ибо из-за дурки мы потеряли время — и все призрачные шансы завладеть квартирой.

Да и достали: когда полубольная, неотошедшая от дурки Мата приехала на Автозаводскую, она нашла совершенно засранный пол, засоренную мойку, полную к тому же грязной посуды, и отсутствие какой-либо хавки в доме, включая сахар и хлеб. Я ушел в магазин, Мата стала мыть пол. Вымыла посуду, прочистила вантузом засор, который якобы прочистить было невозможно. Приготовила кастрюлю каши.

На запахи в кухню стали стекаться заспанные волосатые. Первой появилась Алиса и предложила расставлять тарелки.

— А это миленькую тарелочку я возьму себе, — сказала она и уселась, как девочка в саду за свой столик.

Остальные затратили еще меньше энергии, хоть и похвалили трудолюбие хозяйки.

Мата была обижена до глубины души, а в таком состоянии она ничего не держит в себе. Наконец она взорвалась из-за грязного полотенца, в очередной раз спокойно повешенного Алисой на старое место.

Она восприняла это как гибель идеала.

— Надоело! У всех свой вруб. Религия, догмы, привычки — не чистить зубы, не стирать, не работать, тусоваться с флэта на флэт и ждать, что везде тебе будут рады. Но все это до тех пор, пока кому-то не придется жертвовать ради них чем-то слишком дорогим!

Возникнув на свободной ничейной земле под знаком альтруизма и братства, почти за год своего существования коммуна, произведя несколько отсевов, превратилась в некое закрытое общество и такую как бы семью, в которую уже не пускали чужих, в том числе, других волосатых. Шуруп достаточно жестко отписывал людей, которые им не подходили, чем-то их или его лично достали, блюдя оптимальную численность и внутреннюю совместимость, как люди в лодке, спасающиеся с тонущего корабля. В ней был свой режим, распорядок, обязанности. Люди

должны были чем-то заслужить право жить здесь. На освободившееся место шел жесткий отбор кандидатов. Шурупу как старожилу принадлежало решающее слово. Люди делились на тех, кто жил здесь всегда, и гостей, которым в известный час намекали, что пора сваливать. Уговоры мало помогали: флэт не резиновый, хавки мало, так что, друг, до другого раза. За это многие пиплы сильно обиделись на Шурупа, применяющего, как они считали, авторитарные методы.

Шуруп, милый пофигист, беззаботный тусовщик и бесподобный рассказчик, раскрылся с новой стороны. Вызванный тусовкой на Автозаводскую, я стал улаживать конфликт и позвал Шурупа на разъяснительную беседу: я же вас пустил просто так, почему вы занимаетесь отбором и выбором? Может быть, скоро введете плату за проживание? Шуруп объяснял, что иначе невозможно. Без дисциплины все погибнет. Пипл перегрызется, поэтому те, кто не умеет себя нормально вести, должны уйти. Пускать же всех — нереально. Они пробовали сперва, но из этого получился полный дурдом.

...Последними жильцами квартиры были все те же Алиса с Шурупом — они держались до конца и, в общем, никого не раздражали — если бы в квартиру однажды не пожаловала санитарка-лимитчица Нина из Русского брода. Ее не испугала ни проломленная дверь в предполагаемую для нее комнату, ни сами волосатые, преспокойно валяющиеся и курящие на полу, что сдувало ветром всех прочих кандидатов на улучшение жилплощади. Видимо, ей уж совсем некуда было деваться.

С появлением Нины и ее маленькой дочки в квартире наступил покой. История плохой квартиру завершилась. Мы с Матильдой теперь жили в ней неотлучно, время от времени вписывая людей из разных частей совка. Одно время пожил здесь и знаменитый Красноштан.

### Любера

Пришел Принц и принес статью в «ЛГ» о роке, где реабилитировали рок-группы вообще и советский рок в частности, семнадцать лет существовавший исключительно подпольно и вне закона, — и нашумевшую статью «Дети Деточкина» — о «дружинах порядка», неофициальных объединениях ветеранов Афгана для самочинных расправ с правонарушителями. Статья воспевала борьбу со злом с позиции зла и силы, а не с позиции слабости, как в незабвенном фильме. Это не дети Деточкина, было решено на кухне, это дети Мао Цзэдуна, гитлерюгенда и Павлика Морозова. Ведь с позиций «закона» — и хиппи вне его, и «тунеядцы», наркоманы, бродячие поэты и художники. Кто-то, вроде люберов, уже себя показал — избили до потери памяти на «Яшке» Диогена, дали в «Туристе» по мозгам Володе-музыканту, который и мухи не обидит: на днях он явился к нам из больницы с перебинтованной головой. Другие просят научить их самбо, потому что хотят помогать родной стране и милиции бороться со злом. Они не просят научить их истине, культуре, добру, им предоставь повод дать в глаз, дай жертву.

Потенциальные преступники и насильники становятся защитниками и устроителями порядка. В статье это выдается за ценную инициативу снизу, инициативу тех, кто уже послужил «на благо родины», исполнив «интернациональный долг».

Недавно в городе Жуковском по дороге на вокзал после концерта «Веселых картинок» меня остановил один «ветеран», в дупель пьяный капитан и «герой Смоленской области», успешно воевавший в Афгане и расправившийся в Ташкенте прямо на улице с зеленоволосым панком — как поведал он мне. То же он хотел сделать и со мной — обезьяной, сволочью, пидорасом и т.д., двадцать определений из сплошного мата.

Герой, обладатель нескольких орденов, ветеран и инвалид последней войны, он представлял «русского человека», всю русскую страну, и от имени ее, ее порядка и достоинства, ее славы, партии, традиций — он ненавидел меня, был готов уничтожить всех таких, как я. Эта пьяная мразь была солью земли! В таком случае я отказываюсь считать себя русским, носить фамилию народа, опозорившего себя в почти уже вековом рабстве! Торжествующая посредственность, которой дали шанс и которая, наконец, дорвалась до власти. Власти уничтожать всех, кто не такой, как она.

В этом Жуковском нас едва не побили любера, съехавшиеся, кажется, со всего Подмосковья, человек сто, не меньше. Любера были пьяны и агрессивны.

Контркультура перестала быть фантомом, и с ней перестали бороться силами невежественных общественников и служебно неистовствующей милиции. Раньше с идеологами боролись неидеологи, нынче с ними борются идеологи противоположной идеологии, совместившие в себе и суд и расправу и тем добившиеся ощутимого результата. Раньше совдеп не знал такого «идеологического» бандитизма: борьбу с «несознательными» идеалистами силами «сознательной» урлы. Это были знаки прогресса, то бишь упадка и слабости.

### Коллекционер дождей

На этот раз она не бросила универ, из универа ее отчислили — «за неприступление к сессии» (не за преступление, а так просто). Справка из Кащенко лишь убедила администрацию в правильности решения. Начался новый этап их жизни, не принесший ничего нового. Истерики стали обычным блюдом, как в некоторых семьях борщ. Если на уровне сознания он постоянно отрицал, что он безумен, и настаивал, что попал в дурдом по ошибке, то Матильда словно стремилась доказать: да, я сумасшедшая, это вы меня довели — теперь пожинайте! Она считала, что *они* не дают ей отдыха, что она изможднена работой, ребенком, что он добьется того, к чему стремится, — убить ее и окончательно свести с ума!

Он решил, что женщине нельзя быть умной, природа не выдерживает этого. Что с женскими нервами и слабостью несовместимы мужские амбиции, осуществление себя в мире по мужской модели. Мужчина —

завоеватель, борец, вечно неудовлетворенный одинокий охотник. Женщина же прежде всего хочет счастья — и не удовлетворена лишь тем, что ее близкие не поставляют его в ощутимых количествах. Весь их ум — и это в самых умных, не позволяет им разоблачить иллюзию. Мужчина живет в иллюзии, что мир плох — и поэтому его надо переделать и личные заслуги, упорство — надежные для этого инструменты. Женщина — что мир хорош, и все может быть хорошо, если мужчина постарается. Она не отделяет себя от мужчины — и при этом всегда недовольна им. Мужчина легко отделяет себя от женщины — и при этом всегда стремится к ней, ибо лишь женщина на короткое время способна воспринять его как героя или что-то подобное.

Их прощание:

— Ты не взяла платье.

— Я его не возьму.

— Почему?

— Это твое платье.

— Мое? Я купил его для тебя.

— Нет, я не могу его взять. Оставь себе, на память.

— Что ты говоришь, ты хочешь разорвать мне сердце? Тут не должно остаться ни единой твоей вещи. Каждая из них будет мучить меня. Я никогда не успокоюсь и не забуду. Нет, возьми, пожалуйста. Мне будет вдвойне тяжелее...

— Ну, подаришь его какой-нибудь новой знакомой. Не думаю, что после меня ты заживешь монахом.

— Ты думаешь, ты оставляешь силы жить?

— Ну-ну, не надо такого отчаяния. Все пройдет. Мне тоже грустно. Что же делать, коли все так получилось?

— Ну зачем, зачем ты уходишь? Давай еще раз подумаем... Мы же оба будем мучиться. Неужели нельзя начать все сначала?

— Нет, и ты прекрасно это знаешь. Ты останешься таким же человеком, и я такой же.

— Ну, может быть, мы это как-то поправим.

— Что поправим? Ничего мы не поправим. Это непоправимо. Ты не хочешь того, что для меня является необходимым, ты хочешь свободы, тебе не нужна семья.

— Прости... Но я же не могу без каких-то своих занятий.

— Вот и оставайся со своими занятиями, я тебя с ними оставляю. Любуйтесь, ласкайте друг друга. А я совсем другой человек, мне нужно обычное человеческое. Эмпиреев духа мне слишком мало.

— Эмпиреев духа... Ты убиваешь все надежды. Для чего мне стараться, если я не в состоянии жить? Я просто задохнусь один. Ты мой великий вдохновитель.

— Ну что ж, вдохновляйся чем-нибудь другим. Ты не хочешь вдохновляться человеческим, тебе нужно неземное. Желающие неземного жили одни, в пустыне. Ты по характеру анахорет, ну и живи соответственно. Эта святость пуста и не нужна мне. Каждый идет своей дорогой.

— Но мы не сможем жить порознь!

— Мы не можем жить вместе! Мы слишком разные, разного хотим. Я не могу отдать себя в жертву твоим принципам, этой жалкой каморке, которую ты не хочешь сменить. И я тебя понимаю. Для тебя главное — твои занятия, твоя собственная жизнь. Для меня тоже есть что-то главное. Я долго мирилась, долго терпела, иногда мне это даже нравилось, но я человек, обычный человек, вот и все.

— Ты не обычный человек!

— Нет, именно обычный. Самый обычный. Я признаю возвышенность такой жизни, но она мне не подходит, не вдохновляет. Вот видишь, у нас разное вдохновение. Поэтому мы и не можем жить вместе.

— Я обещаю, я что-нибудь придумаю.

— Не надо этих жертв. Живи, как хочешь. Мы все равно никогда не удовлетворимся компромиссами и будем обвинять друг друга в испорченной жизни. Зачем я буду насиловать тебя?

— Ты меня не насилуешь, ты мне помогаешь.

— Но ты же ничего не хочешь сделать!

— Я сделаю.

— Не надо, вот тогда это будет принуждение с моей стороны. Я этого не хочу. Мне лучше жить одной, чем все время видеть ложность этого положения...

— Это глупости. Мы еще можем...

— Не уговаривай меня! Нам надо расстаться, я так решила. Это будет лучше для нас обоих. Рано или поздно все пройдет, и мы оба поймем, что это вправду было самое лучшее.

— Я тебя никогда не забуду.

— Спасибо. Но, надеюсь, забудешь. Поверь, это самое лучшее.

Она все-таки взяла платье.

## Шляпа в руке

Run, baby, run! — Он от всего бежал. Он так разбежался, что не попал с Матильдой в такт. Он забыл, что значит быть одному, спать одному, находиться одному в комнате, думать, не отрываясь на чей-либо приход, детский крик, необходимость что-то срочно делать. Она это видела. И ночи порознь считала тоже изменой.

Сперва — ему стало легче. День, два он пребывал в этом счастливом состоянии. Он снова пытался избавиться от наркотика, которым являются люди, пытался убить привязанность, и сперва, как всегда, казалось, что это будет легко. На третий день стало тяжело.

Он бессмысленно ездил в метро, долго сидел на станциях, с глупой мечтой вдруг обнаружить кого-то нужного в толпе. Что-то, с чего начнется сюжет. У него было предовольно времени изучать все что угодно, чтобы не изучать себя. Этим страдают все одинокие люди.

Матильда жила у матери, он жил в постылой комнате. Завод перед окнами, чахлая аллейка, копоть на когда-то белом подоконнике, алкого-

лики-соседи. Первый раз за много лет совсем один. Герой? Но где же его подвиг? Грусть и маета вечерней жизни.

Желание мира в душе — и вынужденная конфронтация с глупой принудительной реальностью. Факел в руке для сжигания мостов — и много-много беспросветного дыма.

Матильда делала его сильнее, но он сражался и с ней. С любой формой зависимости, с любой тенью господства.

В этом он был похож на Стаса, единственного близкого теперь друга. Стас жил один в собственной квартире, рисовал картины, курил траву, слушал музыку, почти никуда не ходил, принимал любовь приходящей возлюбленной, словно труд приходящей домработницы, принимал гостей — в специальной эстетизированной среде, не контролируемой всем тем, что было за окном.

После «революции» самое дорогое для Дятла было — чистое творчество. Он понял, что талант, мастерство, знания — утешения тех, кому жизнь дается с трудом, чтобы успехом возместить отсутствующее веселье.

Он хотел соединить хиппизм и утонченную культуру. Хиппари естественны, анархичны, наивны, веселы. Но и ленивы, темны, им влом изучать даже то, что относится к «их» культуре: восточные учения, книги о предшественниках и отцах-основателях, как правило, на английском, которого не выучили даже в объеме, чтобы переводить слова любимых песен. Третья Система училась мало, чтобы не портить себе карму и нервы, и люди сразу ушли в тусовку, лишь получив паспорта. Место и идея были для них уже готовы. Вторая Система была куда как более образованна, но после недолгого экстремального экспериментирования в полевых условиях — те, кто остались живы, скоро переоделись в художников или христиан.

Но что он точно утратил — это спокойное отношение к другому полу. Его прежнее романтическое отношение было абсолютно асексуально, и Фрейд не смог бы убедить его в обратном. Напротив, он Фрейдом мог бы доказать что угодно, ибо воспринимал возлюбленных как сестер, следовательно, любовь с ними — как инцест. Хотел ли он этого или нет — он-таки стал мужчиной, в самом пошлом смысле слова.

А что приобрел? Болезненное отношение к *красоте*. Проклятая или, наоборот, спасительная боязнь, что она тебя поработит. «Я желаю красоту в мире и трепещу при ее появлении, хочу, чтобы осталась, и чтобы ушла, чтоб не быть ею соблазненным», — думал он.

С Матильдой он виделся лишь однажды. Она позвонила ему на работу и сообщила, что сломала ногу. Вместе на такси они поехали в травмпункт, а потом Дятел забирал Малыша из детсада.

Его отдали туда, потому что некому было больше сидеть. Чтобы устроить туда ребенка, Матильде пришлось устроиться самой на работу в сад. Ее, человека с незаконченным университетским образованием, все же не взяли работать воспитательницей, но лишь ночной нянечкой. В воспитатели же взяли татарку Розу, только что приехавшую откуда-то

с Урала и плохо говорившую по-русски. Впрочем, директором детсада тоже была татарка. Татарами же были укомплектованы и все местные ЖЭКи, так что Розочка еще оперативно получила и прописку.

— Почему ты ушла от мужа (Дятла)? — спрашивала Розочка. — Он бил тебя?

— Нет, конечно.

— Изменял тебе?

— Нет.

— Он много пил?

— Нет, совсем не пил.

— Может, мало денег зарабатывал?

— Ну, не очень много. Но не в этом дело.

— Тогда я не понимаю. Чем же ты была недовольна?

Вернувшись первый раз из детсада, Малыш сказал, что его там назвали «лохматым песом» — он, как и родители, носил волосы, носил крест, что приводило дремучих воспитательниц и заведующую в звериный ужас.

Он пришел забирать Малыша немного раньше и стал свидетелем музыкального занятия. Детишки сидели как-то очень смирно на маленьких стульчиках вокруг пианино и доверчиво смотрели в рот музыкантше.

— А теперь споем песню про вождя, — объявила та, и в пространство понеслись банальные аккорды музыкальной интерпретации хорошо известного мифа, в которой единственный вечный, живее всех живых, гальванизировал себя через души еще одного поколения, воцаряясь в голове, как мозговой паразит.

Дома Дятел шутил, как обычный гость, который зашел развлечь хозяйку. Слава Богу, свободный уйти, никому ничего не должный.

Он поцеловал Матильду в головку, посочувствовал — и ушел, хоть и получил недвусмысленные сигналы, что кое-кто не будет против, если он останется. Его обиды были еще свежи, опыт общения со Стасом, их общие проекты еще завораживали его. Он не хотел потерять с таким трудом обретенную свободу. К тому же она сказала, что отказалась от вегетарианства, которое в свое время приняла ради него, как другие герлы начинали торчать за компанию. Он расценил ее отказ почти так же, как если бы она завела с кем-нибудь роман — в пику Дятлу или ради утверждения, что прежняя жизнь — закончена. Начинается новая — и без него.

И слава Богу! Он хотел быть суровым, невозмутимым и свободным.

Дома было тяжело. Друзья были тяжелы, потому что им надо было или объяснять все с самого начала (и в этом случае он не был уверен в их понимании), или играть в человека, ничем не выражающего горя, как мать у Акутагавы Рюноскэ, потерявшая ребенка, рвущая под столом платок. Горя? А, может, радости?

Собственно, он и собирался это выяснить.

Новая любовь? Он мог даже вообразить ее, в несколько неясных чертах. Например, в образе Матильды или той золотоволосой девушки с лицом леонардовского ангела с последнего тусняка (он даже не знал ее имени).

Столкновение с молоденькой красивой девчонкой наводило его на печальную мысль, что он уже очень стар — ему давно за двадцать. Он чувствовал готовность безоглядно увлечься молоденькой красивой девчонкой и одновременно чувствовал загадочный ступор и готовность остаться верным. Кажется, он сыграл свою короткую партию. И влюбляться в красивых девчонок хоть естественно, но глупо... Хотя — хоть глупо, но, черт побери! — естественно! И упрекая себя в духовной импотенции, он упрекал себя в излишней нравственности или излишней трусости.

Он вспомнил, какое удовольствие доставило ему держать Чапину сестричку на коленях на концерте внезапно приехавшего Uriah Heep'a, первых из его когдатошних кумиров, обхватив ее руками и чувствуя выпуклости под свитером. Он ощутил, как свойственна мужчине полигамия. Но какой-то «высший» принцип своей дурацкой рассудочностью замораживал возможность даже единственный раз соскочить в суперменство. Кто для него, в конце концов, Чапина сестричка — кукла, игрушка, возможность обновления сексуального опыта? Стоит ли стараться? Но жизнь — где жало твое и где победа твоя? Революция — где твоя *свободная любовь*?

Им овладела странная нерешительность. Он хотел испытать состояние свободы и надежды до конца, прежде чем что-то окончательно определится со знаком плюс или минус.

Это было пустое и безрадостное состояние. Он не мог найти в нем никакой прежней прелести. Как каждого одержимого, его гнал неясный зуд, но не прямо к цели, а как-то по кругу, воображая сложности и мучаясь от предчувствия их неразрешимости. Это, собственно, и было его горе.

Новая ситуация выбросила на свет Божий новых молодых прекрасных, восторженных, сексуально свободных, широко раскрытыми глазами смотревших ему в рот, ловивших его телеги, рассказы о стопе, ментах, роке и культовых наркотиках.

Он мог брать их голыми руками, на него смотрели так же, как несколько лет назад он сам смотрел на олдовых, на Шамиля например. Он мог бы испытывать триумф — но не испытывал ничего.

У него не хватало энтузиазма быть как они, таскаться по городу до полных люберов на хвосте, тусоваться с флэта на флэт, пополнять бюджет исключительно аском и вообще не иметь своего места, где можно спокойно почитать и побыть с самим собой.

Стас всегда удивлял его прозрением тенденции. Поэтому стригся все короче, одевался все понтовее. И носил не заплатанные джинсы, как требовала догма, а сшитые на заказ в мастерской. Стас как бы предчув-

ствовал, что будет потом, и подчеркивал, что больше не хочет, как раньше, против всех и непонятно за что, а хочет просто и ясно стать модным художником.

Дятел вспомнил чьи-то слова про Наполеона: он мог стать великим математиком, а стал великим полководцем — какое падение!

Он изучал время и свое пребывание в нем, не имея других занятий, свободный, злой, полный слов и значений, обреченный не иметь с миром ничего общего.

Вечером дурное настроение стало обволакивать. Оно откуда-то наплывало, просачивалось из микроскопической прорехи в герметическом акваланге его сознания и наваливалось на него с медвежьей неуклюжестью. Оно придавило собой, когда он, возвращаясь домой, поднимался вверх по лестнице, в их недавно общую комнату. Он, не раздеваясь, лег на постель, заложив руки за голову.

Он не обманывал себя. Он видел эту роковую прореху, мешающую жить. Ему нужен был кто-нибудь... — на этот вечер или на эту жизнь — чтобы унять печаль.

Слова пустой грудой копошились в голове, не в силах принести облегчение. По комнате ходил их с Матильдой призрак-андрогин, за ним ехала на привязи игрушечная машина и как-то пронзительно скрипела, переваливаясь с одного колеса на другое.

### Вечер поэзии

А мир вокруг как будто хотел исправиться, хотя лично ему освобождать его было не для кого, потому что люди и были своими самыми большими врагами, с которыми ему было так тяжело, но все более и более интересно иметь дело.

И в этот момент в стране еще что-то подвинулось, и вот уже звонил Макс и приглашал читать стихи в только что созданном клубе поэтов.

У метро его ждали Макс и Матильда, которую тот тоже пригласил, без всякой корысти, просто боготворя ее. Он нежно поцеловал Матильде щеку. Нежная холодная щека, волосы, задевшие его по носу, очень приятные знакомые духи. Он почувствовал старое возбуждение и опасность. Опасность, которую чувствует азартный игрок, прежде чем выиграть огромную сумму. Во всяком случае, в своих мечтах.

Это была такая темная длинная улица Кибальчича недалеко от метро «Щербаковская», длину которой им помогало сократить размышление о профессии человека, давшего улице свое имя. Его эрудиция была посрамлена: он мог вспомнить лишь что-то про самолеты и, почему-то, революцию.

В клубе они все время просидели вместе, мало кого зная и поэтому робко жмясь друг к другу, созерцая мэтров и столпов андеграунда, потертых, шумных, целующих друг друга при приветствии, словно на именинах. Собственно, это и были их именины, рождение их права официально существовать. И как ни удивительно было все происходящее, Дятел

ни на минуту не выпускал ее из поля зрения. К тому же их общий активный и настырный друг все время представлял их парой. Парой, которой они и были несколько лет, пока неожиданно для многих не прервали свои отношения.

Матильда была, по существу, его единственной за всю жизнь возлюбленной. Открывшей ему радость и муку близости. До Матильды он знал муку любви, но с Матильдой — муку любовных побед, которые так походили на поражения.

Он увлекался, он мог существовать с человеком — пока этот человек не достиг своего потолка, пока Дятел не достигал отдаленных пределов его непознанности. С разгаданным, раскрытым человеком жизнь становилась пережевыванием одного и того же, мякиной, а значит, тюрьмой. Именно тем, что он так ненавидел. Поэтому и сходятся противоположности, думал он, потому что в своем партнере они предчувствуют наибольшую глубину инкогнито, широкое пространство своим духовно-познавательным устремлениям: ведь человеку так страшно взять в осаду своего двойника или вовсе пустое место — и не добиться даже минимальной дани. Потому что там или ничего нет, или данные методы осады не могут принести никакого успеха. Он мог многое простить или стерпеть от человека, до которого еще не дотянулся: он квитается с ним за себя, берет плату, все время поднимая Дятла выше, потому что каждый человек — это страна, великая или убогая, и тут тоже нужны виза и время, чтобы ее осмотреть, чтобы стать обладателем еще более обширного самого себя. Цель ведь всегда ты, а не то, что пишет про любовь Соловьев.

Он понял, что рано посчитал Матильду освоенной страной. В ней было еще довольно загадок и возможностей, что он сейчас с очевидностью осознал, слушая ее едкие комментарии, ее экспромты с места, ее планы, ее стихи, очень грустные женские, где всегда про любовь, даже когда на языке только Бог и ангелы в небе. Но у Матильды это выходило тонко.

Они вышли из клуба, когда на улице уже была ночь. Еще стояла та ранняя осень, которая сохраняет все краски лета, лишенная лишь его умиротворения.

В их жизни случилось что-то странное. Весь этот вечер они читали стихи, иосифов язык, как они их понимали, давно превратившийся в эзопов. Только теперь они догадались, как мужественно, как неправомерно они это терпели, звери, наконец обретшие свою нору, свое убежище, Город Защиты для тех, кто сподобился нечеловеческой дерзости писать, у кого не опустились руки перед горой написанного, перед бесчисленными торцами читанных и нечитанных гениев. Кто почувствовал право на свою мысль в империи мыслей, в храме сказанного, в омуте придуманного. И вот эти несчастные, эти отверженные встретились здесь, чтобы праздновать победу тех, кто грешил словоблудием, праздновать обретение надежного (как им тогда казалось) дома, триумф геройского шествования слова, закончившегося под триумфальной аркой их

поэтического клуба, вероятно, первого в Москве и уж одним этим обязанного войти в историю под № 1 (и они вместе с ним). Целый вечер они законно предавались оргии самообожания. Еще не было интриг, борьбы за место в президиуме, злой критики и скуки плохих стихов, которые должны были неизбежно обрушиться.

И он подумал, что эти годы все-таки не прошли зря, что он, по существу, *готов*, готов для всего, что должно и вот-вот случится. Не избалован славой, не отравлен водкой, но полон сил и идей. Готов прийти на смену, наполнить свежим вином. И Матильда может ему помочь.

Они вышли вдвоем, радостные, возбужденные, чуточку испуганные тем доверием, которое было заочно оказано их скромному дарованию. С деревьев свисала плотная грива, подсвеченная золотым фонарем, словно в продолжение лета. Слабо налетал ветер, а небо было напичкано звездами.

Всю дорогу до метро они проговорили о будущем, вымышляя то, что надо сделать для успеха тут же придуманного Матильдой журнала. Они хотели очень немногого, но даже это немногое превышало их возможности, поэтому разговор блистал той легкостью и безответственностью, которыми приятен любой праздный разговор.

Они доехали до станции, где их пути расходились. Он знал, что она поедет в ту же квартиру, откуда когда-то они мужественно сбежали, в ту же комнату с уже спящим ребенком, будет одна пить чай на кухне, зажигать для самой себя свет и, наверное, придумывать дела, чтобы скоротать время до сна. Он не думал почему-то, что ему придется делать то же самое, но он знал, что может сделать эту ночь безумным праздником тел, где они исторгнут друг для друга, словно из скал, фонтаны нежности.

Время их молчаливого диалога отмеривалось уходящими поездами. Они ждали, когда закон будет преступлен, суровый бог предан и отступать уже будет некуда.

— Тебе, наверное, скучно ехать домой? — спросил он.

Она пожала плечами.

— Особой радости нет.

— Я представляю, как тоскливо одной в квартире.

— Не одной. Я никогда не бываю одна. Это невозможно.

— Тоже тоскливо.

— Не тоскливо — нормально. И чего же, собственно, делать?

— Давай поедем ко мне. До меня даже ближе.

— К тебе?

— Да, а завтра вернешься домой. У тебя дел ведь нет?

— Опять? Все начать сначала? Ты не боишься?

— Попьем чайку, поболтаем, а там видно будет.

— Не знаю, — сказала она. — Стоит ли? Ничего из этого не получится.

Что она имеет в виду: что он опять испугается или что у него опять не получится, как уже не раз не получалось, или что не получится вообще, на всю жизнь, до конца?

Ужасное слово, он не мог об этом думать. И в то же время он хотел истязать ее своей нежностью, распять на одинокой постели внезапной незаконной любви.

Он еще сказал что-то, не имеющее значения, нужное лишь затем, чтобы выманить и прикрыть ее лишние и бессильные сомнений, за которыми последует неизбежное согласие.

Он взял ее за локоть и ввел в поезд, движением глубоко преступным и потому более нежным.

До дома они добрались, подменив автобусом его обычные прогулки. Потом пили чай, снова рассказывали, найдя тысячи причин говорить и говорить о неизвестном, о всей той злокачественной жизни, которая выросла со дня их последней встречи и превратилась в монстра, для своего уничтожения требующего любви, любви и любви.

И у них была эта любовь, нагая, необузданная, искусная, некрасивая. Их тела, словно на белом операционном столе, сплелись в океане осязания...

Это было быстро выдыхающееся вино. Он почти сразу понял или вспомнил, как мало дает одно прикосновение, один поцелуй, одно слово. Он увеличил площадь касания, любовной абсорбции, улавливающей флюиды любви, как тысячи демонов, вырывающихся из клеточки кожи. Но чем больше он прилагал усилий своей чувственности, тем дальше от него убегала тень удовлетворения, и вот достигла вершины, когда их тела закусили друг друга в последнем жутком усилии страсти, столкнувшись и устремившись друг в друга с безумными судорожными рывками... и вдруг сразу обрыв, дно, отчаяние... Это мерзкое чувство отчаяния, губящее всю радость, страшная трезвость, наполнявшая его холодной неприкосновенной злостью.

— Что с тобой? — спросила она.

Молчание, потом отворот лица, чтобы не видеть ее глаз.

— Я так и знала, — сказала она и отвернулась тоже. Он знал, что она плачет. Утром Матильда уехала, кажется, навсегда.

А он поехал следом и из автомата долго-долго говорил с ней по телефону, а ее дед рвал трубку: ему надо было звонить, и последняя реплика Матильды была:

— Я не могу больше говорить, меня тут душат...

Разве мог он оставить ее одну в этом ужасном мире?

### Картина

Она позвонила из больницы, куда попала с подозрением на рак груди.

Я сорвался чуть свет, однако у дверей «Трикотажа» в соседнем доме уже стояла заблаговременная очередь. Одетая в болонью женщина-кентавр, неразделимо слитая с хозяйственной сумкой, сжимала в свободной руке, словно жезл или тирс, обернутую в целлофан сардельку булочек...

Я вошел к ней в палату. Я молчал. Заготовленные слова вязли в реальности.

— Ну что хочешь сказать? Ничего?

— Я тебя люблю... — Я смутился, словно недопустимо раскрылся или соврал.

— Ты шутишь? А что еще хочешь сказать?

— Ну, наверное, не покидай меня.

— Слющай, сам нэ хочу!.. — И улыбнулась. — А еще что? Совсем ничего?

— Они положили сырой порох.

— Вот это правильно!.. Если я умру — ты будешь заботиться о Малыше?

— Нет. Брошу на улице. Так что не умирай.

— На тебя, значит, нельзя положиться?

— Абсолютно. Ты же знаешь. Придется тебе жить.

— Наверное. Ну а если без шуток?

— Врачи говорят, что опухоль доброкачественная.

— Это уже второй раз на том же месте... Я буду такая некрасивая, исполосованная.

— Пустяки.

— Это тебе пустяки. Как ты живешь?

— Нормально. А ты?

— Ты видишь. Знаешь, как мне грустно. Иногда плакать хочется. И такая беспросветность кругом. Даже выздоравливать не хочется... — Она отвернулась, потому что из глаз и правда что-то закапало. — И ты ничего не можешь мне сказать утешительного.

Я молчал.

— Помнишь, ты пришла ко мне в больницу и принесла открытку, которую тебе дал на улице какой-то волосатый: «*Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду...*»

Она поморщилась:

— Да, кажется, была такая открытка. И что?

— Она очень помогла мне тогда.

— Ты, оказываешься, помнишь... Хорошо, что у нас в жизни было не одно только плохое.

— Я никогда не говорил этого...

На следующий день я был у нее снова.

Слабая после операции, она лежала с одеялом до горла, не хотела смотреть на себя.

— Не рисуй меня. Лучше нарисуй что-нибудь другое.

— Что?

— Окно в доме, небольшой балкон, дверь, открытую на балкон, а за ней просто темная комната. И там лежу я, не такая, как сейчас, и смотрю через открытую дверь на улицу. Это и буду я.

— Какое окно изобразить, арочное?

— Можно арочное.

— Улица, понятно, тихая... В каком-нибудь небольшом городе?

— Да. Или в Питере. Вот какие требования!

— Такой руст по стене? — Я изобразил пальцем.

— Пожалуй. Закат солнца.

— Закат принят.

— Не расстраивайся, — сказала она. — Смотри, что я прочла в «Дон Кихоте».

Она показала глазами на раскрытую книгу на тумбочке.

Помечено ногтем:

«*Я живу умирая... удаляюсь и остаюсь*».

— Так и ты?

— Так и я. Так мы все.

# КОМУ, О КОМ, О ЧЕМ, ЗАЧЕМ, ПОЧЕМ, КУДА?

* * *

Губы льются и поются,
обе гулом отобьются
от обрушившихся стен,
обе — бэби в колыбели
гонобобелью без цели,
без эстрад и прочих сцен,

обе — ягода-малина,
от изломанного тына
отдаваясь эхом эх,
обе — клюква, обе — кряква,
обе — пенная Арагва,
раздувающийся мех

целокупного органа,
хроматическая гамма
от ларька недалеко,
не модель и не программа,
но штандарт и орифламма...
Значит, дышится легко

этим грязным мыльным губкам,
этим гулким медным трубкам,
сочлененным между до —
до концерта-представленья
и до светопреставленья,
до-ре-ми и ми-ре-до.

---

**Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ** — родилась в 1936 г. в Москве, окончила ЛГУ. Автор четырнадцати поэтических сборников, последний — «Последние стихи того века» (Тверь, 2001) и «Русско-русский разговор. Избранные стихотворения. 1956–2000. — Поэма без поэмы. Новая книга стихов. 2001» (М., ОГИ, 2003). В настоящее время в издательстве ОГИ готовится сборник «Русско-русский разговор. Избранные стихотворения. — Поэма без поэмы. Новая книга стихов». С 1967 г. активная участница правозащитного движения, одна из основателей «Хроники текущих событий». В 1986–1992 гг. — зам. главного редактора «Континента». Живет в Париже.

* * *

Кочерыжка водокачки,
точно витязь у распутья,
а за пазухой в заначке
пирожок и в нем капуста,

чтобы съесть на поле битвы,
чтобы схавать умилённо
без воды и без поллитры
овощное теста лоно,

чтобы лук не перепрягся,
чтоб копье не затупилось,
чтоб ворона, точно клякса,
с водокачки не спустилась

доклевать сухие крошки,
выклевать пустые очи
и на все на три дорожки
каркать, каркать что есть мочи.

* * *

Кто видел англичан,
ушедших по-английски?
Кто знал и различал
закуски и загрызки?

Кто на своем веку
во сне не змружил века?
Кому на всем скаку
бил колокол-калека?

Кому, о ком, о чем
застольный и застойный,
в толпе к плечу плечом
молчит мой город стольный?

* * *

Глубóкоуважаемый
вагоноуважа...
катаючись трамваями,
не сесть бы на ежа,

не скушать бы ужа,
с угрём нечайно спутав,
пока углём беспутным
не греется душа,

пока она трамваями,
одевшись плотью, ездит,
пока в бесснежном мареве
глядит себя без лести

и, да, без снисхожденья,
претензий и обид
себя она глядит,
и этот скорбный вид
в парах самосожженья

заслуживает нашего
молчания, да-да,
и ты ее не спрашивай:
зачем? почем? куда?

* * *

Выхожу с Восточного вокзала
и с восточным распростясь морозом.
Заумь — безумь, я уже сказала,
но она же, если хочет, розумь,

но она же мотыльком по розам,
утюжком по грёзам поизмятым,
вопреки угару и угрозам,
вопреки таблеткам сердцемятным,

вопреки самой себе... О заумь,
Котаумь с зелеными глазаумь,
так дерзайся, только не слезайся
с поезда, где едешь в виде зайца.

* * *

Что это
зашептало
на ветке через окно,
не посмело, не щебетало,
тем более не свистало,
что это — или кто?

Это весна, равноденствие,
это зима, зиме, зимы кончается срок,
и она выходит на волю, на дальний,
самый дальний восток,
и чем дальнéй, тем печальней.
А весна сбивается с ног,

смывает остатки сугробов,
вымывает останки гробов,
ибо час Воскресения пробил
в выходные отверстия белых лбов,

ибо Бог — это вправду любовь,
но себя ко всему приготовь.

* * *

Господи, услыши мя,
я тебе не лишняя.
— Слышу, доню.
Не прошу переменить
эту дерганую нить,
мою долю.

Что захочешь — Сам подашь,
как подал мне карандаш
и тетрадку.
Господи, услыши мя,
чтоб не вышло из меня
беспорядку.

* * *

Распаянный бульвар
лудильщик не поправит,
сухое солнце плавит
бессильный Вавилон.
Жую, как в детстве, вар,
пока в зубах настрянет,
пока в ушах стреляет
неслышный перезвон.

Забравшись на Парнас,
как нимфа, загораю,
загубленному раю
вчерашняя сестра.
«Помилуй бедных нас»
шепчу — и оступаюсь,
и тут же просыпаюсь
(такой вот сон с утра)*.

---

* Примечание для непарижан (а парижане легко догадаются): действие сна происходит где-то близ перекрестка бульваров Распай и Монпарнас.

## ТРИ РАССКАЗА О ЛЮБВИ

**Сергей ЧЕРНОВ**

# ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ

Я приглядывался к ней давно, и почему-то мне казалось, что я ее знаю. Трудно ли представить девушку своей мечты? Она была девушкой моей мечты, а он сказал, что она не в его вкусе. О вкусах не спорят — у него нет вкуса, с этим не поспоришь. Он очень хороший друг, я ему всегда доверял, но она девушка моей мечты, а он просто друг.

Сейчас она там, она тут, она где я. Я на нее смотрю, хотя мог бы и не смотреть, ведь я ее не люблю, она просто девушка моей мечты. Мне кажется, я ее знаю, хотя я ее не знаю, даже имени, ну совсем нисколечко. Мы просто работаем рядом, и я часто ее вижу. Когда часто встречаешь человека, может показаться, что ты его уже совсем знаешь, хотя это не так.

Она заметила, что я на нее смотрю, — я оказался совсем рядом. Честно говоря, я не ожидал встретить ее тут, иначе бы оделся опрятнее. Но она тут. Тут — это на восьмом этаже в корпусе, где я работаю. Мы на вечеринке, и все, кто на этой вечеринке, все работают вместе. Если и не совсем в одном месте, то по крайней мере над одной проблемой. Некоторые танцуют, некоторые в масках, потому что новогодняя вечеринка.

Все танцуют, танцуют, танцуют, и я только что танцевал, а на улице, наверно, идет снег. Мне жарко, а на улице наверняка снег. Интересно, зачем я здесь? Интересно, здесь хоть кому-то интересно? Ведь на улице снег, а здесь душно и скучно. Хотя все улыбаются, по крайней мере половина — значит, кому-то действительно весело и хорошо. И я улыбаюсь, хотя мне не весело и не хорошо. Кажется, сегодня четверг — завтра последний рабочий день и праздники. А я тут стою, на улице по крайней мере снег.

Когда она заговорила со мной, на меня как из окна дунуло. Как хорошо! Она заметила, как мне вдруг хорошо? Наверно, не заметила. Было приятно среди жары и неясных лиц встретить знакомую. Тем более от нее веяло холодом — как снег. А ведь она не холодна.

---

**Сергей ЧЕРНОВ** — родился в 1982 г. в Москве. Закончил Московский авиационный институт по специальности «Системы автоматизированного проектирования (САПР)». Работает инженером в Государственном научно-исследовательском институте авиационных систем. Живет в Москве. Публикуется впервые.

Она сказала, как ее зовут, потом сказала, что работает в первом отделе, потом сказала, что учится на четвертом курсе, а потом я забыл, как ее зовут. О чем же говорить, когда не знаешь, как ее зовут? С ней, оказывается, кто-то танцует, может, он тоже сказал, как его зовут, а я забыл.

Он уронил свой стаканчик и пошел за новым. Вернется? Наверно, специально уронил, но, наверно, вернется. Как-то неудобно получилось. Но о чем же говорить с ней, если она девушка моей мечты? Она спросила меня, чем я здесь занимаюсь, а я ответил, что сочиняю музыку. Хотя, конечно, никакой музыки я здесь не сочинял никогда, все тут строят самолеты — и я строю. Я вообще музыку сочинять не умею, даже нот не знаю. Зачем соврал? Зато я стихи сочиняю. Интересно, я ей соврал, что пишу стихи, или сказал правду, или утаил и правду и неправду? Вряд ли у меня вид человека, который говорит правду, хотя я всегда говорю правду — впервые соврал. Случайно получилось.

К нам подошел мой друг. Он должен был быть на этой вечеринке и был на ней. Я представил его ей, сказал, что он мой друг. А она представилась сама, сказала, что ее зовут Ира. На этот раз надо запомнить. Раз мне повезло и я теперь знаю ее имя, надо обязательно запомнить. А мой друг уже уходит. Жаль, конечно, что он уходит, но рядом девушка моей мечты. Он ее, наверно, тоже узнал, потому что ушел быстро.

Теперь я знаю ее имя. Я ей сказал, что мы уже не раз встречались, а мы вправду встречались, но она не запомнила. А мне кажется, она подумала, что я врун. Интересно, она сочиняет музыку? Оказалось, что не сочиняет. Она сказала, что любит Drum'n'Bass. А я ей сказал, что не люблю Drum'n'Bass, а люблю Jazz. Зачем я так сказал? Я конечно люблю Jazz, но я люблю не только Jazz, а зачем-то сказал, что я люблю именно Jazz. А она любит Drum'n'Bass. Может ли девушка мечты любить Drum'n'Bass? Пожалуй, может, какая разница, что она любит, она же девушка мечты. Но Drum'n'Bass я действительно ненавижу.

Может, с ней потанцевать? Ведь все танцуют, а мы стоим. А она сказала, что не любит такую музыку. Я спросил: «Ты про Jazz? Jazz это очень красиво». А она ответила: «Про то, что сейчас играет, а Jazz — да, наверно, очень красиво». Наверно, поняла, что я хочу ее пригласить. А может, просто не вяжется. Скоро должен подойти ее друг, если это ее друг. Надо как-то отойти, неудобно все получилось и жарко опять стало. Наверно, потому, что она сказала, что любит Drum'n'Bass, а может, из-за парня, который вот-вот отыщет стаканчик.

Она отошла сама, я не стал провожать ее взглядом — обрадовался, что она отошла, и пошел в другую сторону. Она девушка моей мечты, но она любит Drum'n'Bass.

Впервые я увидел ее в нашей столовой. Я и мой друг доедали. Она подошла неожиданно и спросила, свободен ли столик. Мой друг сказал, что столик свободный, и освободили, а она села на наше место. Я сразу узнал в ней девушку своей мечты. Она была высокой и легкой — как ветер. Я люблю высоких девушек, а еще люблю ветер, а она была высо-

кой и как ветер. Я сказал своему другу, что это, наверно, девушка моей мечты. А он сказал, что не заметил, какая она.

А на следующий день я уже забыл, что встретил девушку своей мечты. Работа вообще мешает мечтать. Хотя я и не люблю работать, а люблю мечтать, работать приходится, иначе не на что будет мечтать. На следующий день мы поели, собрались уходить, а она опять села за наш столик. Дежавю. Или совпадение. Мы отошли, и я сказал другу: «Посмотри, это и есть девушка моей мечты». Вот тогда он и сказал, что она не в его вкусе. Может, он знал, что она любит Drum'n'Bass, но он тоже не любит Jazz, а мы вместе уже много лет.

В следующий раз я хотел ее увидеть, хотел, чтобы она пришла и снова села за наш столик, но в следующий раз она пришла с парнем. Жаль, но, может, он только ее друг? Бывает же, что девушка дружит с молодым человеком? Бывает же? Может, бывает, но редко. И все следующие разы она приходила с парнем.

Я уже забыл, что нашел девушку своей мечты, а тут этот новогодний вечер. Музыка уже несколько раз сменилась. Может, попробовать пригласить ее еще раз? Наверно, стоит. Вряд ли для нее это будет такой неожиданностью, как для меня самого. Наплевать, что она любит Drum'n'Bass, раз она девушка моей мечты.

Я ее нашел в толпе, но она уже с кем-то танцует. Интересно, это тот самый парень или другой? Если тот же самый, то я не в теме. А если другой, то я обязательно приглашу ее на следующий танец.

Неожиданно включили свет. Будут проводить конкурс. Раздали фломастеры, разделили на две команды — я тоже в команде, только не понял, в первой или второй. Мой фломастер был желтым. Я его выбрал потому, что такого цвета любовь, а мне вдруг захотелось полюбить кого-то, что-то — всех. Вообще я не понял, что надо делать, но надо было нарисовать собаку. Прозвучал сигнал. Все начали рисовать собаку. Каждый должен был быть у листа не больше пяти секунд. За это время я нарисовал голову. Правда она была не заметна на общем фоне, потому что мой фломастер был желтым. Все рисуют собаку.

Все толкаются, а я отошел — мне надоело толкаться, — подумал, нарисуют без меня. Все толкались и кричали, а я сел поодаль. Рядом со мной села снегурочка, и в этот момент мне вдруг стало ее жалко — все вокруг галдят и суетятся, а она должна на это смотреть и оставаться снегурочкой. Она была красива, как снежинка, у нее даже глаза, как снежинки, блестели. А потом она встала и ушла. Она, наверно, плакала, я понял, что она плакала.

Встал за ней — хотел ее успокоить. Пошел за ней — ведь так же, как и все, был виноват в том, что она расплакалась, потому что тоже был на этой вечеринке. Я ее не догнал, а когда вернулся, свет еще горел. Один парень говорил про снегурочку гадости. Мне захотелось ударить его, но вокруг все смеялись. Он сказал, что, несмотря на то что он ненавидит снегурочку, он хочет, чтобы остальные дали ей возможность провести конкурс до конца. Какое дурацкое слово «ненавидеть». Какое

страшное слово «ненавидеть». Как он может такое говорить, так нельзя, а вокруг все смеются.

Хорошо, что выключили свет. Мне стало так мерзко от того, что происходило вокруг, что я был рад, что выключили свет. Включили музыку. Я снова нашел девушку своей мечты, она все еще была с тем парнем. Ну с кем-то ей надо было быть. Может, он ничего, нормальный парень, может, даже не смеялся, когда про снегурочку говорили гадости. Может, даже хотел ударить того парня, который говорил гадости громче всех, но струсил. И я струсил, он, может, и не струсил; он, может, ничего не слышал, а я, наверно, струсил. А теперь выключили свет — никто не заметил, что я струсил, но все равно мне мерзко.

Она положила голову на плечо тому парню. Да, наверно, это тот самый парень. Пусть ей с ним будет хорошо, а я пойду. Ведь на улице снег. Там не так душно, как здесь. На улице холодно и снег.

Я вышел на улицу — уже было темно. А я все думал, как она — девушка моей мечты — может слушать Drum'n'Bass. На лицо упали капли, а должен быть снег. Мне тоже захотелось плакать — было так мерзко. Но во рту было сухо и глаза не плакали. Я хотел плакать, а они не плакали. Может быть, если я поймаю каплю, она превратится в снежинку. Должно же за вечер случиться что-то хорошее и, может, волшебное. Я раскрыл ладонь, и на нее упала снежинка, она была мокрая, совсем мокрая, но все-таки снежинка. Наверно, я встретил девушку своей мечты, несмотря на этого парня и на то, что она любит Drum'n'Bass.

**Мария ХОДАКОВА**

## КОТ

У Майи Николаевны пропала кошка. Вернее, кот. Не роскошный перс или изящный сиамец, — нет, обыкновенный подзаборный, серо-черной пятнисто-полосатой диковатой окраски, худой, ловкий, умный, желтозеленоглазый бастард по имени Лео (то ли от мультяшного Леопольда, то ли намек на родство с царем зверей) — сокровище и царь одинокой женской жизни.

У него и раньше была пагубная привычка погуливать, не показываясь на глаза два-три, а то и четыре дня. Затем он появлялся — виноватый, слегка потрепанный, порой с рваным ухом или царапиной на носу, с соринками мусора чужих подвалов в лоснящейся шерсти. Майя Нико-

---

**Мария ХОДАКОВА** — родилась в Москве. Окончила Литературный институт имени М. Горького. Поэт, переводчик. Живет в Москве. Художественная проза публикуется впервые.

лаевна брезгливо, не прижимая к себе, брала его обеими руками, несла в ванную и мыла в эмалированном тазу, щедро поливая собственным шампунем, отчего он сразу же из гордого красавца превращался в дрожащую осклизлую тварь с выпученными глазами, цепляющуюся растопыренными когтями за край посудины.

Но сейчас Лео находился в отсутствии уже неделю. Майя Николаевна обе́гала все близлежащие дворы, заглядывая в подъезды и подвалы с криками «Лео! Лео!», расспросила дворовых ребятишек, не видели ли они серого полосатого кота (как впоследствии сообразила Майя Николаевна, «без особых примет»). Конечно, видели — и не раз. Даже не одного, а нескольких. «Хотите, мы вам поймаем?»

Ночами Майя Николаевна лежала без сна, ворочаясь с боку на бок, отчего на ее подушке образовывались два симметричных мокрых пятна, а веки к утру распухали, становясь похожими на несвежие подушки. Перед ее мысленным взором проплывали грязные лохматые бомжи, жарящие на костре красную ободранную кошачью тушку с остатками серо-полосатой шерсти на лапках. Затем ей являлся самодеятельный скорняк с замашками садиста-маньяка, о котором она читала в газете (память не могла подсказать, были ли там реально существующая фотография бородатого мужика в треухе, со зверским видом подъявшего в руках — в каждой воздетой руке — по серо-черной полосатой с леопардовыми пятнышками шкурке). Потом следовали мальчишки с камнями и палками; страшные лохматые псы с красными огнедышащими пастями; взбесившиеся автомобили с подвыпившими водителями, которым наплевать на переходящего улицу невзрачного полосатого гуляку... Если он жив (может, соседи, обалдевшие от ночных концертов, завезли куда на машине и бросили), как он там? Кто его накормит? Ведь просить он не умеет, как уличные коты — профессиональные нищие, околачивающиеся у магазинов и подъездов... Он умрет с голоду, бедный, бедный...

Взгляд Майи Николаевны устремлялся в черный прогал между шторами — туда, где кляклая зима медленно перетекала в весну. Одна надежда, что возьмет его какая-нибудь пенсионерка и будет любить не меньше, чем она сама. На такой вариант Майя Николаевна еще была согласна. Только кому, кроме нее, охота из года в год делить свой и без того мизерный рацион пополам с приблудным иждивенцем: ему — рыбку и «Китекэт», себе — кашу, хлеб и картошку, а за неделю до пенсии голодать на пару, чтоб не скучно было?!

Да, сколько лет бок о бок прожили... Сколько же лет прошло с тех пор, как на холодной лестничной клетке она нашла его — взъерошенного, надрывно орущего подкидыша; невесомый когтисто-бархатный комочек, чей истошный ор превратился в столь же неукротимое мурлыканье, едва она взяла его на руки... Сколько же прошло лет?

Он был на редкость спокойным ребенком (Майя Николаевна всхлипнула), спал целый день в кресле у батареи, не требуя к себе никакого внимания; просыпался два раза в день, утром и вечером, чтобы поесть.

Подростком он радовал ее всеми свойствами изящного кошачьего племени: шелковистой текучестью, акробатической гибкостью тела, милыми ужимками, всплесками грации, приступами самозабвенной ласковости: о, этот игривый боковой наклон шеи, в экстазе растопыренные пальчики в белых «перчатках», горящие сине-зеленым огнем зрачки, округлившиеся из узких вертикальных полосок и оттеснившие на периферию янтарную радужку! О, боковой же наскок на длинных негнущихся лапах, с дыбом вставшей на спине шерстью, и следующее за этим улепетыванье с преувеличенным ужасом под шкаф, только полосатый с белым кончиком хвост оставался торчать по рассеянности... О, раскатистое мурчание с всхрапами и стонами, когда хозяйкина рука чесала его за ухом или он сам ввинчивался в ее ладонь мокрым прохладным носом (когда он с силой проводил по ребру ладони краем рта и бело-пушистой щечкой с точечками вибриссов, под влажной верхней губой явственно ощущался острый верхний клык)... Когда Майе Николаевне бывало особенно тошно от творящегося в стране безобразия и не хотелось глядеть ни на страницы газет, ни на экран телевизора, она смотрела в безмятежно-спокойные прищуренные глаза Лео, словно говорящие: и это пройдет, как проходит все на земле, только любовь остается. А если прихватывало сердце и она решала прилечь днем, Лео ложился на больное плечо и бок, уткнувшись носом в мочку хозяйкиного уха, и тогда негромкое мурлыканье казалось ей ревущим морским прибоем с равномерно-монотонными приливами и отливами. Под влажно-громогласные всхрапы она задремывала...

И вот теперь его не было. Никто не будил ее ранним утром криками «Майя! Майя!». Она влезала в мятый байковый халат и безутешно слонялась по квартире; ее седые волосы, не подобранные в привычный аккуратный пучок, уныло свисали вдоль лица. Каждый миг ее взгляд натыкался на пустоты — на зияющее отсутствие полосатого, свернувшегося калачиком (носом в хвост), или распростертого на боку (виднеются светлые брюшко и подбородок) тельца. Пошатываясь, она шла на кухню — никто не путался под ногами, чередуя прикосновения холодного носа и теплого мехового бока. Открывала холодильник. Оттуда, с початой пачки рыбного «Китекэта», на нее таращилась рекламная кошачья морда, похожая на морду Лео и вместе с тем таящая неуловимое несходство в выражении лица (именно лица — иначе сказать не могла). Она отличила бы своего кота от тысячи других, как мать — свое единственное обожаемое чадо.

Она жевала, не чувствуя вкуса еды, и из-под ее распухших век на тарелку непрерывно капали слезинки; с усильем проглотив последний кусок хлеба с маргарином, она вяло мыла тарелку, вздохнув, наклонялась за поилкой Лео, наливала свежую воду и ставила на место. Где-нибудь в углу находила комочек свалявшегося кошачьего пуха, кряхтя поднимала и прятала в спичечный коробок. Устав от самой себя, ложилась на софу и лежала до темноты, не удосужившись приготовить обед.

Вечером, как и в завтрак, она обходилась бутербродом с чаем, споласкивала тарелку, меняла воду в кошачьей мисочке и шла спать.

Майе Николаевне снились коты. Большой черный кот с белым «галстуком», стоя на задних лапах, галантно брал передними в белых «перчатках» ее руку и с чувством целовал. Майя Николаевна ощущала на тыльной стороне кисти холодновато-влажный кошачий нос и молодо смущалась.

За ночь она несколько раз просыпалась от кошачьих воплей под окном. Босиком, в длинной ночной рубашке шлепала к окну, с трудом влезала на ледяной пластик табурета и звала в приоткрытую форточку. Никто не бежал на зов: среди ошалевших от первой предвесенней оттепели дворовых котов Лео не было.

Утром восьмого дня похолодало. Асфальт запорошило снежком, на котором отчетливо виднелись кошачьи следы — множество похожих на цветы нежных пятипалых следов. Выйдя наконец в булочную за хлебом, Майя Николаевна наклонялась, присматривалась сквозь очки. Эти следы вполне могли бы принадлежать Лео. Но нет, он не появлялся. К полудню девятого дня снег растаял вместе с остатками последней надежды. Она достала из альбома фотографию Лео, сделанную пять лет назад; долго вглядывалась, пока не набежали слезы; поставила на стол, прислонив к стаканчику с карандашами. Зачем она отпускала его? Зачем не думала о полной опасностей городской неизвестности? Почему в свое время на совет соседки охолостить молодого красавца легкомысленно отшутилась: мне нужен целый кот, а не часть — пусть бóльшая? Теперь она расплачивается за свою беспечность. (Впрочем, ее оправдывало отсутствие тогда, как и во все последующие годы, денег на операцию.)

Майю Николаевну знобило, покалывало левый бок и руку. Лежа на софе, она смотрела на привычные предметы, словно видела их впервые. Вот порыжевший от времени светлый платяной шкаф с зеркалом, в котором отражается софа с пестро сваленной грудой грузного тела и растрепанной головой Майи Николаевны на подушке-думочке. Сервант с праздно стоящей, давно ни для кого не вынимавшейся посудой. Книжный шкаф пятидесятых годов с застекленными дверцами и любимыми когда-то книгами на прогнувшихся полках. Слепой глаз выключенного черно-белого телевизора, как мутное бельмо.

Она задремала, словно на минуту, потом открыла глаза и опять увидела привычную панораму комнаты — однако в более веселом, по-видимому, утреннем свете. Как быстро пролетела ночь, удивленно подумала Майя Николаевна, а я даже не раздевалась. Ее взгляд упал на измятый халат, скользнул вдоль неразобранной постели. Что-то изменилось вокруг, что-то изменилось в ней самой; внутри ее немолодого тела родилась какая-то тайная радость, ищущая выхода, стремящаяся пробиться наружу, словно она вдруг снова обрела утраченный когда-то смысл своей неудавшейся, незаладившейся жизни. Она зажмурилась от избытка счастья, и все мускулы ее ликующе напряглись, в ушах зазвенело. Глубоко вздохнув, она испытала чувство почти космической невесомости.

С легкой, как воздушный шарик, кружащейся головой Майя Николаевна полусидела на софе, наблюдая, как возле ее ног, рядом с полой

халата, копошились четыре слепых полосато-серых котенка с милыми тупоносыми мордочками, только начинающих обсыхать, отчего кое-где их шерстка смешно торчала. Какие чудесные у меня дети, подумала Майя Николаевна и принялась их облизывать, одного за другим, с особым усердием массируя языком толстые, более светлые пузички и ниже, под толстенькими треугольными хвостиками... Ей захотелось что-нибудь сказать им; она негромко мяукнула, вложив в это всю свою любовь и нежность, и услышала ответное мяуканье, приглушенное, словно доносящееся издалека, странно знакомое... Веря и не веря себе, Майя Николаевна рванулась из цепких объятий сна, но они все держали ее, не давая спустить ноги па пол и ринуться к двери. Преодолевая чугунную тяжесть, она рванулась еще раз, больно ударившись лодыжкой об угол телевизионной тумбы, и очутилась в полной темноте. Нашарив одновременно тапки и выключатель лампы, залившей ярким светом пустое смятое покрывало, она, качнувшись влево и описав по комнате полукруг, уже спешила в прихожую — открывать дверь, за которой требовательно подвывал ее ненаглядный, единственный, самый прекрасный в мире, неповторимый Лео.

**Яков ГРИМБЕРГ**

## ПСОРИАЗ

Единственный нормальный человек в этой семье — это Бетти, их дочка. Ей шесть лет, она добрая, разговорчивая и любознательная. Еще не заматерела, не знает, что богатая. Я ее иногда подвожу к подругам. Мы с ней болтаем, она мне рассказывает в подробностях, как ей там было интересно. Остальные живут не как люди, а как господа. Презирают всех. Я это кожей чувствую, хотя миссис Килти фальшиво улыбается и благодарит за каждую ерунду обязательно. Хозяин мой — это особый разговор, он вообще никого не переносит, лишнее слово сказать ему трудно. Странный человек, озабоченный какой-то, нервный, живет, как в норе, все время что-то обдумывает.

Хочу объяснить сразу, чтоб понятно было: ихней любви мне не требуется, я здесь работаю за деньги. Я их шофер, вернее, персональный шофер мистера Килти, а его жену Натали и маленькую Бетти вожу от случая к

---

**Яков ГРИМБЕРГ** — родился в Москве в 1946 г. Закончил МИХМ, работал программистом в различных НИИ. Прозу пишет с 2000 г. С 1990 г. живет в Израиле. В профессиональном литературно-художественном издании публикуется впервые.

случаю. Мистер Килти выходит из дома утром, ровно в восемь, по нему можно часы сверять, беззвучно кивает на мое «Доброе утро, мистер Килти» и садится на заднее сиденье, хотя я вижу, что хочется ему сидеть впереди, но у богатых принцип: «в машине всегда сзади, в самолете всегда впереди». Почему так у них принято, не ясно, но все так поступают. Так вот, я закрываю за ним дверцу машины, тихонечко, без шума, потом обхожу машину сзади, и в строгой, похоронной тишине мы едем в его офис. Музыка, сигареты, вопросы и разговоры исключаются. В обед отвожу его в ресторан и вечером домой, если нет других, особых поручений.

Нашел я эту работу случайно — после армии искал что-нибудь, и их садовник, дядя одной моей знакомой девицы, меня им порекомендовал. Он человек серьезный, работает у них давно. В общем, подействовало, не сразу, но взяли. Наверняка наводили справки, нет ли за мной чего-нибудь. Понять можно — богатые люди, опасаются. Я думаю, сыграло не последнюю роль, что я в армии в спецназе служил. Это такие особые войска, там учат стрельбе, рукопашному бою всерьез, без дураков. Дело в том, что иногда мне приходится выполнять специальные поручения. Деньги, например, большие он перевозит с места на место, потому желателен не только шофер, но и телохранитель. Я, грешным делом, вначале даже подумал, что к мафиози попал, но потом понял: это он так свой бизнес вел — укрывался от налогов, химичил с деньгами. И, видимо, попался.

Что-то случилось. Мне, естественно, никто не докладывал, но и без того было ясно: то в полицию, то в налоговое управление, то в адвокатскую контору стали ездить. Да и по нему было видно: человек в беде. Если раньше был как железо, то стал как лед. Ночью, видимо, не спал, бледный стал, аж с синевой, от него, казалось, холод могильный исходил. Но отбился, вылез из этой заварухи чистым в смысле закона, но что-то с внешностью его случилось. Шелушиться стал, язвы на руках и на лице у него образовались. Мне даже как-то не по себе стало — а вдруг болезнь его заразная, проказа или что-нибудь в этом роде. Это ж неприятно — человек рядом с тобой превращается в чешуйчатое. И чесалось, видимо, это все невыносимо. Поговорил с женой его, Натали, ну не прямо, конечно, я тоже в хороших манерах разбираюсь, намеками: мол, что это с мужем твоим случилось, не заразно ли это? Она сама была в ужасе. Но объяснила подробно, что в медицине эта болезнь называется псориаз — кожное заболевание. Отчего человек этой болезнью заболевает, никто не знает, но считается, что от нервов, и она незаразная. Успокоила, в общем, чтоб не сбежал, но не полностью. Кожные болезни — они же всегда рядом с венерическими, а я этого боюсь как огня, поэтому не поленился, позвонил одной подруге, она медсестрой в госпитале работает. Подтвердила: незаразная. Но все равно — возить такого как-то не по себе.

Начали мы с ним гонять по клиникам разным, госпиталям и частным больницам. Денег, понятно, он на это не жалел. У всех светил побывал, но улучшения не было, даже в перчатках тонких начал ходить, а на улице жара — не продохнуть. Жалко человека, в сущности, он мужик не-

плохой, сдержанный только очень и на контакт не идет. Хотелось мне ему что-нибудь сказать, посочувствовать. Куда там! Замкнут на себе, никого вокруг не видит.

Длилась вся эта канитель примерно полгода, и вот как-то раз поехали мы в новое место, видать, нашел какого-то особого специалиста. Там и вывеска была красивая: «Клиника альтернативной медицины». Я, честно говоря, вообще не знал, что такая медицина существует. Видимо, от полнейшей безысходности он ее откопал. Сидел, ждал его долго, может, часа два. Поговорил с одним, он тоже своего привез на лечение. Он мне все разъяснил. Странное услышал, вначале даже не поверил. Вкратце так. Альтернативная — это только название непонятное, а на самом деле это старинная китайская медицина, и лечат там не лекарствами, а травой, и еще иголки в человека загоняют, в самые разные места, и вроде это помогает. Видимо, мой хозяин совсем до ручки дошел, если на такую процедуру согласился. Как представлю себе, в дрожь бросает. Ну, скажем так, траву я любую сожрать могу, но иголки — это, извините, пытка какая-то. Помню, у нас как-то джип перевернулся, и я метров тридцать по насыпи кувыркался, изодрался, конечно, страшно, так потом в госпитале мне уколы против столбняка делали. Это, я вам доложу, удовольствие то еще, а тут, тот шофер сказал, иголок много ставят и держат их в теле минут двадцать. Это уже настоящий садизм.

Не знаю, что там в него вкололи и в какие места, но вышел мой хозяин оттуда другим человеком. Не в смысле внешности, там все было без изменений, в смысле поведения. Судя по всему, перекрутили ему там мозги. Серьезно: зашел в клинику один человек, а вышел другой. Посудите сами, я, как полагается, выскочил заднюю дверь в машине открывать, а он сам открывает переднюю и садится рядом со мной. Разговор, говорит, есть. Ну, я в отпаде, в шоке настоящем: такое себе представить невозможно, если, конечно, хозяина моего знать. А дальше — больше. Ты, спрашивает, людей любишь? Ты, говорит, не бойся, отвечай, как думаешь, мне это важно знать. Я еще тогда на него внимательно посмотрел: может, не в себе человек, если такие вопросы задает. Вроде ничего, с виду нормальный, однако деталь одна мне запомнилась: спрашивает, а сам волнуется страшно, глаза неспокойные и бегают. Ну, для младших школьников, может, вопрос такой уместен, но лично я из нежного возраста уже благополучно вышел. Про такие вещи с буддистами хорошо, это у них специальность такая — о любви к ближнему говорить, хлебом не корми, дай пофилософствовать. Помню, поймал меня раз на улице буддист, здоровый парень, побрит наголо, босой, в белом балахоне и со всякими цацками на шее, на руках и на ногах, и давай чесать про любовь к ближнему, высшее спокойствие и прочую муть. Я смотрю на него и думаю: послать бы тебя в спецназ недельки на две, там бы наш старшина мигом бы из тебя эту чушь вытряхнул, забыл бы, как слова такие произносятся.

— Понимаете, мистер Килти, — говорю ему, — нормально я к людям отношусь. Может, без любви особой, но нормально. Они же все разные.

Он аж головой замотал. Не то, говорит, а что то́, видно, сам не знает.

— Давай, — говорит, — по-другому спрошу: ты жизнь любишь? Ну, нравится тебе такая жизнь, что ты баранку целый день крутишь, а денег мало получаешь? Правда, ведь ты так думаешь? Видишь, я откровенно спрашиваю, так ты и отвечай честно.

Тут я окончательно понял: не в себе человек, нужно его домой быстро везти. До чего иголки довели! Сломался человек, не выдержал пыток, сломался на корню. Даже жалко мне его стало. Что ж за звери там сидят, если с человеком такое происходит! Вспомнил я, как старшина нас учил быть к боли нечувствительным. Стоим в строю, а он подходит и каждого по морде — со всей силы, и не смей отвернуться. Слезы у всех текут, но стоим, смотрим вперед как истуканы. Там тоже были такие, что ломались. Это не все могут выдержать.

Смотрит он пристально, ответа ждет. К жизни, говорю ему, отношусь хорошо, после моей армии — это не жизнь, а сахар. Работа не тяжелая, не пыльная, кайф, а не работа, а то, что денег мало зарабатываю, так вам, мистер Килти, ведь тоже, видать, не на все хватает. Хотел между делом ввернуть, что неплохо было б зарплату мне прибавить, раз уж об этом разговор зашел, но сдержался. Хоть университетов не кончал, но у меня тоже понимание есть, что и когда говорить.

Обрадовал его мой ответ. Ты, говорит, философ настоящий, а я и не знал. Интересно, как он мог хоть что-нибудь про меня узнать, если мы с ним не разговариваем. А в телепатию я не верю.

— Поедем домой, — говорит, — нужно мне с тобой капитально обсудить один вопрос. Разговор этот строго между нами, я на тебя полагаюсь.

Ну, я, естественно, киваю солидно: мол, все ясно, могила. После этого едем мы домой, он меня в кабинет свой приглашает, всякую еду заказывает, напитки.

— Садись, — говорит, — я тебе рассказать хочу, что сегодня со мной случилось.

И рассказывает про визит к китайскому врачу. Много я историй в жизни слышал: в армии такое заливают, есть умельцы — но такого не слышал никогда. Чудеса сказочные, да и только. Я сначала в то, что он говорил, поверить не мог, ну не укладывалось это в моей голове, хоть тресни. Спорил, вопросы задавал, а потом перестал, понял, в чем там суть, сердцевину уловил. Ну, скажу я вам, попал мой хозяин в переплет, не позавидуешь.

В общем, так. Болезнь эта, псориаз, — фантастическая, возникает от того, что не подходит человеку его среда, окружение, а кожа это чувствует. Это в старинных книгах написано; кто их писал, того уже нет, поэтому спорить не с кем. Представить себе это можно так. Скажем, если окунуть кого-нибудь в прорубь с ледяной водой, то будет «гусиная кожа», пупырышки такие, а если в кипяток — то волдыри. Я с этим согласен, это понятно, а вот дальше алхимия начинается. Среда эта, ну, отчего он страдает, не настоящая, а придуманная. До меня поначалу этот

факт никак не доходил, ведь если плохая среда так на организм влияет, то по тюрьмам, да что греха таить, и в армии тоже половина должна быть с псориазом. Пять отсидел, а впереди еще десять, и без просвета, или ползком весь день по болоту, а потом всю ночь дрожишь где-нибудь в поле без огня, а старшина на тебя орет, чуть свет поднимает и — бегом с полной выкладкой. Вот это я понимал как вредная, плохая среда — и, оказывается, неправильно понимал. Настоящая вредная среда — это сидит человек в своем доме, все у него есть, живи не хочу, ан нет, не любит он себя, жизнь свою, людей вокруг, поедом себя ест, и то ему не это, и это ему не то, и страдает он от этого невыносимо.

Ну как это понять нормальному человеку? Особый тип людей. Грызуны-самоеды — их хлебом не корми, дай попереживать. Обычные люди живут и радуются, а им все не так, все не слава богу, везде заковырку ищут, без этого жить не могут. Был у нас один такой в роте, плохо кончил. Так вот, китайский врач объяснил моему хозяину, что до тех пор, пока он характер свой не перевернет, болезнь не отступит. Вся ненависть его на нем самом будет отражаться — такая болезнь особенная, ничего с этим не поделаешь. Я когда это услыхал, возмутился страшно. Это же, образно говоря, форменное издевательство над человеком получается. Дал кому-нибудь в лоб, а у тебя новая язва на теле; разозлился, поругался — струпья появились. Вся твоя злость на тебе самом отпечатывается.

От этого факта, когда он до меня окончательно дошел, я просто обалдел. Как же за себя постоять, если кто полезет? Тебе дали по щеке, а ты — извините, тебе по другой, а ты — простите? Ни щеки, никакие другие части своего тела я никому подставлять не собираюсь, не такой у меня характер, но с такой арифметикой, чтоб после каждого своего удара самому же страдать, язвы плодить, струпья, фурункулы, тоже не согласен. Получается тупик, а в тупике этом хозяин мой стоит, не знает, что делать, смотрит на меня просящими глазами, помощи ждет и чешется все время нервно, сам не замечает. Испугал его этот китаец смертельно.

Я тогда ему честно сказал, что не знаю, как из этой непонятки вылезти, но подумаю. Время мне нужно, чтоб все, что он мне рассказал, отстоялось в моих мозгах, встало на свое место. Новое это все для меня, неожиданное; надо все спокойно обмозговать, а выход найдем, нет на свете безвыходных ситуаций. На том и разошлись, он даже руку мне пожал со значением, не снимая перчатку, конечно.

Два дня думал, утрясал это в себе, посоветоваться ведь не с кем, никто такого не поймет, так что пришлось в одиночку мозги крутить, и вот на третий день после того разговора, когда хозяин выходит, здоровается и в машину садится, говорю я ему:

— Майкл, — без посторонних я его теперь так зову, — вы футбол любите?

Он отвечает уклончиво, что по телевизору иногда смотрит, а что?

— Покричать вам нужно, громко, от души и со всеми.

Он этого не понимает, по глазам видно, даже не отвечает вовсе на мое предложение, характер такой, но, когда вечером садится в машину,

протягивает мне два билета на футбол. Тяжелый человек. Едем на стадион, там, как всегда, шумно, азартно и весело. Садимся. Морда у него кислая, озабоченная. Начинается игра, все орут, а он зажатый сидит, стесняется. Я сам стараюсь погромче кричать и ему подмигиваю, мол, поддай жару, тут все свои. И раскричался он в конце концов, вначале робко так покрикивал, потом больше; видит, что никто на это внимания не обращает, и давай на полную катушку. Довольный сидит, радостный, забыл про болезнь свою, а это самое главное.

После стадиона, по дороге домой, объявляю ему следующий номер программы: в пивной бар пойдем пиво пить — не шикарный, а такой, где народ крутится всякий и много его там, — я такой знаю. Он плечами пожимает, но кивает: мол, согласен, доверяет мне. В баре накладка одна получилась. Сидим мы за угловым столиком, спокойно пиво пьем, и вдруг подкатывает к нам амбал с подбитым глазом, и к хозяину моему, мол, чего ты с такой неаппетитной физиономией тут делаешь, настроение людям портишь. Я встаю, хозяина загораживаю и говорю тому мордовороту культурно, чтоб отвалил сейчас же, а в противном случае я ему башку в два счета отверну. А он не понял, видать, и в драку. Для меня любой, если он специально не тренировался, — булка с маслом. Блок, ногой по корпусу и ребром ладони по шее с разворота, на автомате. Понятно, грохнулся он на пол и отключился мгновенно. Отпихнул его ногой от нашего столика и посмотрел вокруг. Желающих выяснять отношения больше не было. Отметелил я его, а сам подумал: это ж какое везение, что я псориазом не страдаю, а то неизвестно, что в таком случае и делать, если после каждого моего удара у меня же новая язва бы появлялась. Наверное, просто встал бы и ушел из бара от греха подальше.

Хозяину моя победа жутко понравилась, сошла с него хмурь, смелым стал рядом со мной, виски начал заказывать одно за другим. Мне, понятно, нельзя, я за рулем, а он разошелся. Подождал я еще немного и, когда он в кондицию вошел, говорю ему напрямик:

— Последний номер в программе — это девицу вам найти нужно, молодую, веселую, не интеллигентку, конечно, а нормальную. Товарного вида у вас нет, но деньги, — говорю, — в нашем мире творят чудеса. Миссис Килти тут ни при чем, это для здоровья вашего делается, — это я на всякий случай добавил, для его спокойствия. — Хотите, тут и подберем? Какая вам нравится?

Он хоть и выпил крепко, но все равно обалдел от моего предложения. Как, говорит, прямо сейчас? А что, отвечаю, резину тянуть?

В общем, закончили мы программу успешно, все пункты прошли. И что вы думаете? Пошел мистер Килти на поправку, подсыхать стали язвы его, затягиваться, да и в клинике китайской подтвердили: замечательный прогресс. Кстати, он мне потом одну иголку оттуда приволок. Вот смеху было, они ж тоненькие, как волос, а я переживал.

Но самое удивительное впереди. Месяца через два предложил мне один друг компаньоном стать, выгодное дело, мой начальный взнос —

пятьдесят тысяч долларов. Ну, я туда-сюда, в банке гаранта с залогом требуют, и подумал я с хозяином поговорить — сумма, конечно, солидная, но и я ему тоже не чужой, может, за меня в банке поручится. Перед разговором волновался страшно, а он подумал чуток и говорит:

— Все документы по этому бизнесу мне принеси, тогда и решу.

Серьезный человек. Отдал я ему все, что положено, и тишина. День молчит, другой, я уже про себя решил — гиблое дело, а на третий день привез его домой, а он говорит:

— Пошли ко мне в кабинет. Дело стоящее, я все проверил. Жалко мне тебя терять, да делать нечего, — и протягивает мне чек на пятьдесят тысяч долларов. — Когда сможешь, отдашь. Зачем тебе у банка в должниках ходить да проценты за деньги переплачивать.

Я чуть не упал от удивления. Это мой-то сухарь такое вытворяет! А он улыбнулся, подошел и руку пожал — он тогда уже без перчаток ходил.

— Желаю тебе успеха от всей души, — на прощанье сказал.

Прошло с того времени уже лет десять. Деньги я давно вернул, женился. Кстати, Майкл со своей Натали у меня на свадьбе были. Бетти уже барышня. Своего бывшего хозяина я иногда навещаю, мы теперь вроде как друзья. Хороший человек, капитальный. С ним то лучше, то хуже — болезнь эта оказалась неизлечимой. Кто бизнесом занимается, понимает, что без ненависти там не обойтись, так что, можно сказать, выбора у него нет. Но разговор, в сущности, не о нем; у меня сейчас другая проблема, с собой. Скучно мне стало жить, муторно. Сам боюсь этим псориазом заболеть. Тогда мне конец. Я теперь часто про того буддиста думаю, которого на улице встретил, все хочу вспомнить, что он мне тогда говорил.

## КРИК

Господи!
Можно расскажу:
места себе не нахожу!
Знаешь, как было дело?
За сердцем недоглядела!

Не знала,
что сердце о сердце стукнется,
душа с душой аукнется.

Думала, земной любви не хочу,
ее уже и не надо.
Бедное неразумное чадо!

Боже,
я так хотела любить Тебя одного.
Кто мне подбросил
воробушка милого моего?

Адам и Ева!
Он дал мне яблоко,
и я ела!

Вроде бы никаких чудес
не предвидится,
а хожу именинница!

На воздýхе стою.
В раю.

Разве не чудо,
что в мои-то годы
сердце еще живо
и любит нерасчетливо-счастливо?..

---

**Эльмира КОТЛЯР** — родилась в Казани. Окончила Педагогический институт имени В.И. Ленина. Автор поэтических сборников «Ветка» (1958), «Свет-город» (1966), «Акварели» (1973), «Избранное» (1989), «В руки твои» (1999) и др. Лауреат премии журнала «Новый мир» за 1997 год. Живет в Москве.

Благодарю Тебя
за эту мучительную ночь.
Сквозь нее продирались слова любви,
едва закрепленные на бумаге спросонок.
В потоке любви, Боже,
таращу глаза на свет —
новорожденный ребенок!

Как торжественно утро!
Книгу Бытия
открываю я.

Боже, конечно, Ты —
любовь моя единственная.
Но среди людей живет
душа моя неистовая.
Почему — не знаю,
так нужна привязанность земная?

Господи!
Я уже думала об уходе.
А Ты послал мне милого человека.
Пляшу от радости
на одном костыле, калека!

Совершенно обессиленная
бессонницей и болью
на своем стариковском одиноком ложе,
благодарю Тебя за свет любви, Боже!

Бывает ли счастье
больше моего?
В телефонной трубке —
дыханье его!

Я нанизываю бусы,
будто бы слова любви,
нежно пальцами моими
я нанизываю имя.
Как надену ожерелье,
в нем надежда и веселье.

Одарил Ты меня, Боже,
любовью цацкою,
не по плечу
шубой царскою.

Ты видишь,
душа моя не слушается,
не повинуется мне ни капельки.
Дай передохнуть
от любви-каторги!

Ты знаешь, Господи,
любовь моя никуда не денется.
Он ушел, забыл,
выкинул из сердца, из головы.
Экая безделица!
Но только бы голос услышать!
Не ангельский голос с Небес!
Нужен! Ты знаешь, Господи,
позарез!

Не звонит!
Ну что ж — тру-ля-ля!
буду любить издаля.

Мой телефон — молчальник.
Свистит на конфорке чайник.

Господи!
Я так устала
от любви неразделенной.
Думала, вот он
радости куст зеленый!

Умею любить,
не умею любимой быть.

Вот смех —
гуляю по саду,
собираю прошлогодний снег.

Господи!
Почему счастья —
крупица,
а слез —
криница?
Почему у меня
такая скорбная душа?
Каждый выдох и вдох
под дых, под вздох!

В мире скорби и пустоты,
Боже, где Ты?

Больше не к кому вопиять.
Больше негде любви искать.
Дай, Господи, сколько есть,
во взгляде Твоем прочесть!

Господи Иисусе!
Мой крест
по сравненью с Твоим
легок и мал.
Но он мне хребет сломал.

Как душа состарилась
сразу, вдруг.
И часы разбились.
Остановились.

Как жить, Господи,
как жить?
Люди, может быть, кому-нибудь
нужно мое сердце?
Может, кому пригодится
в нем приютиться?

Сыпанул Ты, Господи, мне,
как воробью на дорожку,
любви черствую крошку.

За молитвой весь день гоняюсь,
как за Жар-птицей.
В руки не дается,
на плечо не садится.

Тоже мне Сафо,
бросающаяся в отчаянии
в бездну.
А я вот выпью чаю.
Очень даже полезно.
Ничего. Плюнь и разотри.
Бездна все равно внутри.

Боже!
Уведи мою любовь, такую ненужную!
Ей нет на земле пристанища!
Все прейдет —
Ты останешься!

# ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПОВТОРИТЬ

* * *

А может, вдохновенье ни при чем:
былые вещи, выпуклость комода,
вчерашний чай и комната с ключом,
где нипочем печаль и непогода...
Особенно в такой осенний день,
когда все окна поголовно плачут,
былые вещи — хлам и дребедень, —
воспоминанья что-нибудь да значат.
Ведь здесь не нужно теплого плеча,
и радостно от тишины короткой.
Теперь всего уместнее молчать
и сон чужой на желтых оборотках
записывать, и придавать ему
глухую твердость с привкусом металла,
ту давнюю родную глубину
из времени, которого не стало...

* * *

А Ты изобретаешь все сначала:
ладони, хворостину, колесо
и глину, и безгубое лицо,
и речь, чтобы мужчину отличала.
Ты сущей назовешь любую тварь
и всякий плод, что в жгучий полдень лаком.
Твой каждый куст, дождем земным оплакан,
в велеречивый занесен словарь.
И мне осталось только повторить...

Но не канат, а шелковую нить,
как рыбы, проглочу, приняв за тину.
И буду поднят с илистых глубин,
на свет и твердь, где зов и звук един, —
к Твоим ногам и хищный рот разину.

---

**Герман ВЛАСОВ** — родился в 1966 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ, работает переводчиком, автор трех поэтических сборников, стихи также публиковались в коллективных сборниках и периодической печати. Живет в Москве.

* * *

Я, наверно, стал неряшлив,
забываю впопыхах.
Утро новое обрящут
в перегное и духах,
в почках липы, сухостое,
неприветливой весне.
Утро выдалось простое
в тихой этой новизне,
в этом свете без помарок
и посланниц кучевых,
без широких радуг арок,
чашки кофе на двоих.
Без примет досужих буден:
шум дождя, валокордин.
Без луча, который будит
сквозь потертости гардин.
Потому что забываешь,
если сослепу бежишь,
и со временем теряешь
то, чем ты не дорожишь.

* * *

*Анюте*

И рыжеватых слов горошин
не жалко в августе, когда
с желаньем глупым и хорошим
ночная падает звезда.
Гори, космическая спичка,
вмиг освещая суету.
Мы — только имя, ветер, кличка,
орел и решка в область ту.
Наутро яблоки упали
на лиственный лоскутный плед,
на земляном ли одеяле
и мы проспали столько лет.
А надо было только ахнуть,
смутиться, чуду подмигнуть,
чтоб не растаять, не иссякнуть,
не раскатиться, словно ртуть.
Прохладно. Пахнет теплым хлебом.
Оврагом черным и нагим.
Я никогда смиренным не был.
Я изумленным был. Другим.

* * *

Мама мажет ранку йодом. —
Потерпи, сейчас пройдет.
За рассохшимся комодом
обнаруживаю йод.

Желтые обои в клетку,
ворох с ленточкой газет.
Новости про пятилетку,
прочий давний милый бред.

Не войной и не Гулагом
пахнет груз былых вещей,
но коломенским оврагом
где зимою бьет ручей.

Чистым снегом, белым полем,
медной цифрой — 35,
и, наверно, женской долей
все перетерпеть опять.

* * *

Воздух сделался влажным
как первый весенний побег
человеку не важно
пойдет ли обещанный снег
незаметно стемнело
набухло вечерней слезой
может с веткой омелы
а может быть с лунной лозой
фиолетовый Рама
в колодец заглянет опричь
золотого барана
привязывать станет и стричь
или горний хлопчатник
рассадит на серой земле
чтобы мелкой крупчаткой
на улице и на столе
чтобы альпы в ладонях
с минуту молчали пока
утечет ли утонет
болтливое время река
не зима замиранье
в кроватную тишь с головой
пахнет детством и ранью
герани узор угловой

белый свет перекресток
сегодня действительно бел
здравствуй утро подросток
косая линейка и мел

* * *

Теплый хлеб с горчинкой сажи
пахнет домом и бедой.
Осень в огненном плюмаже
приходила за тобой.
Не дождалась, положила
на щербатое трюмо
алый лист в зеленых жилах.
Запоздалое письмо
положила, как перчатку,
у нахмуренных зеркал,
чтобы ты по отпечатку
гостью эту разыскал.
Отыскал, как ищут море
или, скажем, шарят ключ.
Столбик пыли в коридоре,
с кухни длинный, узкий луч.

# НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: УТОПИЯ или РЕАЛЬНОСТЬ, СРЕДСТВО или ЦЕЛЬ?

## Шестые Максимовские чтения

17–18 ноября 2005 года в солженицынском Фонде «Русское Зарубежье» состоялись очередные, шестые по счету, Максимовские чтения, посвященные памяти первого редактора «Континента» Владимира Максимова, в связи с 30-летием с момента создания им в Париже нашего журнала. Тема Чтений была сформулирована следующим образом: **«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ — ФАНТОМ, РЕАЛЬНОСТЬ, УТОПИЯ, ЗАДАЧА, СРЕДСТВО, САМОЦЕЛЬ?.. АКТУАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ ИЛИ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА, ОТВЛЕКАЮЩАЯ ОТ ЕЕ РЕАЛЬНЫХ ЗАДАЧ?»**

Предварительно редакция журнала разослала участникам Чтений следующее послание:

***Замысел Чтений*** *— попытаться осуществить своего рода совместный интеллектуальный штурм прежде всего самого понятия* ***национальная идея****, разобраться в методологии самого подхода к определению этого понятия.*

*Естественно, при этом не только возможна, но и желательна актуальная проекция проблемы на сегодняшнюю ситуацию в России. Собственно, важность акцентировки именно общеметодологической стороны проблемы как раз и вытекает ведь из того, что разговоров о необходимости для современной России общенациональной идеи сегодня хоть пруд пруди — от заказов-призывов начальства, до многочисленных «спецпредложений» на этот заказ со стороны разного рода политиков и обслуживающих государство «экспертов».*

*Что это: просто ширма и отвлекающий пиар-ход со стороны властей предержащих для очередного манипулирования людьми или отражение какого-то реального запроса сегодняшней истории России? Если да — то какого? И насколько ему соответствует сама парадигма* ***национальной идеи****?*

*Для этого, понятно, нужно разобраться прежде всего в самой этой парадигме (или выработать ее). А для этого, в свою очередь, очень важно было бы оценить — с точки зрения соответствия сегодняшним реалиям — то, что было заявлено на эту тему мировой и, может быть, в особенности русской мыслью XIX–XX веков — славянофилами, Чаадаевым, Пушкиным, Достоевским, Соловьевым, Бердяевым, Ильиным и т.д.*

*Как выглядят в свете сегодняшнего дня их модели? Как оценить в аспекте поставленной проблемы идею нации как соборной личности, высказанную, в частности, в известной статье В. Борисова в сборнике «Из-под глыб»? И шире — как в этом контексте может быть (и может ли быть вообще) реализована сегодня идея «христианской политики» Владимира Соловьева? Как могут быть оценены идеи, высказанные А. Солженицыным («"Русский вопрос" к концу XX века» и «Как нам обустроить Россию»)?.. Применимо ли (и в каких случаях) понятие национальной идеи к каким-либо конкретно-практическим (социальным, экономическим, культурным) задачам развития нации на том или ином этапе ее исторического существования?..*

*Разумеется, это только самый приблизительный набросок какой-то части возможных подходов к поставленной проблеме — каждому из выступающих предоставляется полная свобода в выборе интересного ему аспекта. Но при этом очень хотелось бы, чтобы два момента в каждом выступлении все-таки присутствовали:*

*1. Общий методологический подход автора к определению категории «национальной идеи» (хотя бы тезисно)*

*— и*

*2. Видение автором современной России и ее исторических задач.*

*Если же при этом автору будет интересно разобраться еще и с кем-то из героев этого сюжета в истории мировой и русской мысли, — это было бы вообще превосходно.*

*Хочется надеяться, что Чтения станут каким-то реальным шагом в движении современной мысли — собственно, только ради этого журнал их и затевает, а 30-летие — лишь повод.*

В Чтениях приняли участие московские и петербургские философы, писатели, интеллектуалы: Андрей Зубов, Валентин Непомнящий, Григорий Померанц, Юрий Левада, Лев Аннинский, Ольга Седакова, игумен Вениамин (Новик), Рената Гальцева, Ирина Роднянская, Георгий Гачев, Александр Архангельский, Светлана Семенова, Александр Кырлежев, а также Жорж Нива (Франция), редактор «Нового журнала» Марина Адамович (США), Николай Злобин (США), Наум Коржавин (США) и др. Прозвучали самые разные мнения.

Читателям предлагается сокращенная стенограмма Чтений в предположении, что поставленные их участниками вопросы и данные на них ответы имеют немалое значение для нашей мысли и нашей жизни.

**А. КЫРЛЕЖЕВ**

Мне представляется, что прежде всего нужно попытаться понять, что стоит за этим выражением — *национальная идея*. Важно понять смысл употребляемых слов и ответить на вопросы: что такое *нация* и что в данном случае имеется в виду под *идеей*?

Я бы выделил три значения слова «нация».

Первое значение — это *нация как народ*. Народ здесь — это родовое понятие (как говорит сама этимология слова), это представление о некоей органической общности людей, которые связаны кровными узами и живут вместе на какой-то своей, «домашней» территории, в каком-то определенном ландшафте. Предполагается, что, вопреки индивидуалистическому пониманию человека, согласно которому он — прежде всего отдельный субъект, а затем уже вступает в какие-то отношения с другими субъектами, человек может и должен рассматриваться как часть или «орган» некоего народного целого. Нация понимается как личность высшего порядка, у которой есть своя «душа». Отсюда возникает представление о «национальной личности» или «соборной личности». Народ — это как бы собранный, совокупный человек. И здесь без религии не обойтись, поскольку речь идет не просто о племени, хотя и племя живет и осознает себя как общность потому, что у него есть какая-то «национальная идея», которая, конечно, от Бога или богов. Когда говорят об «ангелах народов», то имеется в виду этот органичный народ, у которого есть призвание свыше, от Бога. И разные народы живут на земле как личности и должны выполнять свои призва-

ния, как и каждый человек: призвание к самореализации в соответствии с Божьим замыслом.

Это самый очевидный смысл слова «нация» и самый проблематичный, поскольку он является архаичным. Насколько сегодня мы можем *так* говорить о русском народе, а тем более о каком-то «российском» народе?

Второе значение — это *нация как политическая общность*. Оно связано с новоевропейским феноменом национального государства. В результате объединения и унификации разных народностей и этносов, живущих в пределах государства, складываются политические нации. Теперь уже не Бог, а народ есть суверен, который обладает правами, и он делегирует свои права государству, легитимирует власть государства, которое является его инструментом. Отсюда французское понимание *национальности* как принадлежности не к этнической, а к политической общности, что тождественно понятию гражданства.

С этим пониманием нации тоже сегодня проблемы. Все больше говорят о кризисе национального государства, о возможности его исчезновения в условиях глобализации. Что касается России, то она никогда не была национальным государством, а была империей, и в досоветский, и в советский периоды. И сейчас непонятно: Российская Федерация — это Россия или только ее часть? У государства сейчас задача — формирование общероссийской идентичности. На основании патриархального понимания народа нельзя формировать такую идентичность, потому что в нынешней России много народов, религиозных общностей. И создание национального государства в эпоху глобализации еще более проблематично.

И еще одно представление о нации, скорее российское: *нация как культура*. Есть такая «субстанция», которая называется культурой; есть язык, который объединяет людей (или разные языки, не только язык словесный). Русская культура больше русского этноса, и все люди, которые причастны к этому культурному комплексу по имени «русская культура», составляют некую общность. Татарин может сказать: «Я — татарин, но в то же время я — русский», — русский именно в смысле причастности к большой «национальной» культуре.

Но сейчас возникают проблемы религиозной идентификации. Возникает вопрос: этот татарин — он мусульманин или православный, хотя бы «культурно»? Возникают и проблемы этнической однородности. Так, известный религиозный деятель муфтий Равиль Гайнутдин недавно публично выразил обеспокоенность относительно смешанных браков татар и русских.

Если говорить о второй части обсуждаемого выражения — об *идее*, то и здесь возникают проблемы. Возможны ли сейчас такие *идеи* в старом смысле, которые будут объединять в масштабе «большого общества»? Возможны ли *идеи*, которые будут действовать неким «платоническим» образом, когда идея, в чистом виде пребывающая в трансцендентном пространстве, властно управляет в несовершенном земном мире? Создается впечатление, что время веры в *идеи* в этом смысле уже прошло. Сейчас сознание общества обращается к другим регуляторам, властным и сильным.

Если мы возьмем американскую ситуацию полиэтнической и поликонфессиональной нации, то там действует т.н. гражданская религия: набор символов, которые объединяют политическую нацию. Там даже есть некий общий Бог. Но, несмотря на присутствующие в этой гражданской религии идеализм и пафос, все-таки основным является ее функциональность. Здесь трудно усмотреть по-

добие с *национальной идеей*, представление о которой возникает в русском контексте. И хотя в последнее время высказывается мнение, что в роли гражданской религии в России может выступить т.н. *политическое православие*, некий набор религиозно-патриотических символов, приемлемых для большинства населения, это также весьма проблематично, тем более если учитывать нарастание межконфессионального напряжения в нашей стране.

Сегодня в качестве общественного интегратора выступает нечто иное. Это прежде всего *товар*, в том числе и *информация*, которая тоже является товаром: она делает экономику и объединяет людей прагматически. Именно информация, которую производят и продают как продукт, которой обмениваются, функционирует сейчас как интегратор не только в экономике, но и в ментальном и медийном пространстве. Но в данном случае уместно говорить уже не об *идее* в старом смысле, а о неких информационных квантах, которые реально работают в обществе.

Обсуждая тему *национальной идеи*, следует учитывать все изменения, которые произошли и происходят на наших глазах. И если у нас после этого сохраняется какая-то смутная интуиция и чувство необходимости действительно *национальной идеи*, нужно, наверное, постараться понять, что же остается — вопреки современному прагматизму, смерти идей и неопределенности понятия нации.

**Р. ГАЛЬЦЕВА**

Что такое *национальная идея*? Это идея, которая способна воодушевить и объединить нацию. Плодотворную *национальную идею* нельзя изобрести, ее можно постичь, исходя из национального склада, самосознания и историко-географической данности.

Чтобы уяснить предмет, надо обратиться к его истории, т.е. к размышлявшим над ним выразителям национального духа. Само понятие «русской идеи» было введено Достоевским в 1860 году в «Объявлении о подписке на журнал "Время"» (хотя предшественником его можно считать Константина Аксакова, которому принадлежит выражение «русское воззрение»). В этом «Объявлении» содержатся не только все зачатки знаменитой речи на пушкинском празднике 1880 года, но и особый акцент на достоинствах и заслугах европейского мира: русская идея, «может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством и с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях... Недаром же мы понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых».

В 1877 году на волне освободительной Балканской войны и славянской солидарности, когда, как писал позже Соловьев, принимавший участие в кампании, «все слои русского общества пришли в живое общение», Достоевский в январском номере «Дневника писателя» (главки «Три идеи» и другие) и Соловьев в «Трех силах» и «Философских началах цельного знания» вдохновлялись национальной «русской идеей» как «идеей всемирного общечеловеческого единения» в духе истинной любви. Правда, в «Трех идеях» под впечатлением нашумевшей книги Данилевского «Россия и Европа» уже не предполагается единого, преемственного исторического процесса и третья, всеразрешающая «русская идея» не сулит «синтеза» идей. Согласно «Трем силам» Соловьева, Россия, еще не истратившая своих духовных сил и не поддавшаяся искушениям секуляризма, способна «дать средоточие и целость разрозненному и омертвелому человечеству через соединение его с божественным началом». Так или

иначе, оба рассматривают миссию России всего лишь как «посредническую», не несущую никакой «специальной» задачи. В торжественной речи 1880 года Достоевский развивает эту идею, обращаясь к творчеству выразителя национального гения Пушкину, в своей всечеловеческой отзывчивости и способности к перевоплощению оставившему нам неопровержимые свидетельства национального призвания. Достоевский также апеллирует к событиям прошлого — нашествию Батыя и Смутному времени, к роковым временам, когда русский народ демонстрировал поразительную силу духа и сплоченность. Как видим, и для Достоевского, и для Соловьева Россия — единственная надежда европейского человечества вернуться на христианский путь братского единства.

К началу 80-х произошли крутые перемены во внутреннем состоянии России: атмосфера единодушия российского общества сменилась поляризацией общественно-политических сил — вследствие усиления радикальных элементов: выхода на сцену «Народной воли», выстрела Веры Засулич и невероятного, казалось бы, ее оправдания.

Несостоявшиеся надежды на ход вещей вынуждают Соловьева, неотступного христианского просветителя, но и — пророческого реформатора, к поискам иных путей осуществления национального призвания, а также к фундаментальным обоснованиям самого понятия национальной «русской идеи», чему он посвящает одноименный доклад 1888 года.

Идея нации — это вопрос «о смысле существования» ее «во всемирной истории». Поэтому «бесполезный» в глазах одних (т е. в глазах позитивистов), этот вопрос «слишком смелый» — как «самый важный» — в глазах других, тех, кто признает смысл мироустройства, а следовательно, и мировой истории. «Ибо идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, а то, что Бог думает о ней в вечности». Но что Он «думает», раскрывается или приоткрывается в событиях истории. «Когда видишь, как эта огромная Империя с большим или меньшим блеском в течение двух веков выступала на мировой сцене, когда она по многим второстепенным вопросам приняла европейскую цивилизацию, упорно отбрасывая ее по другим, более важным, сохраняя, таким образом, оригинальность... когда видишь этот великий исторический факт, то спрашиваешь себя: какова же та мысль, которую он скрывает за собою или открывает нам; каков идеальный принцип, одушевляющей это огромное тело, какое новое слово этот новый народ скажет человечеству; что желает он сделать в истории мира?» Ведь в истории народа, если не считать ее абсурдной, «есть таинственные события, но нет событий бессмысленных». События, стоявшие у начала нашей истории и сопровождавшие ее далее, Соловьев рассматривает как залог великого предназначения России и в них видит подтверждение ранее высказанной мысли о призвании России: «Сколь велико и прекрасно должно быть в своем конечном осуществлении национальное дело, имевшее таких предшественников (как Св. Равноапостольный Владимир и Петр Великий. — *Р.Г.*) и как высоко должна, если она не хочет упасть, ставить свою цель страна, имевшая во времена своего варварства своими предшественниками» этих деятелей. Для чего «стоило России страдать и бороться тысячу лет, становиться христианской со Св. Владимиром и европейской с Петром Великим», как не для исполнения великой христианской миссии — послужить единству человеческого рода во Христе?! Соловьев не изменяет прежнему смыслу «русской идеи», но теперь она конкретизируется в рамках грандиозной утопии, где все-

мирно правит «социальная троица» — первосвященник, царь и пророк — и где России с ее имперской мощью отводится роль гаранта «целостности вселенского тела христианских народов». Вскоре, не дождавшись поддержки своему проекту ни с чьей стороны, фантастические надежды на светлое теократическое будущее угасли, сменившись предчувствием апокалиптических времен, когда уже не страны с их национальными идеями, а конфессиональные церкви будут разыгрывать последний акт мировой истории.

Как известно, еще до Соловьева, и до Достоевского, который прибегал к творчеству Пушкина как к доказательству всечеловеческого призвания России, сам поэт дал ответ на тот же вопрос, раздумывая над ним в тех же понятиях христианской историософии, но не ставя себе профетических сверхзадач и не разрабатывая проектов мирового спасения, а часто откликаясь на мысли своих современников, например Чаадаева. (См. дельную статью Ирины Сурат «Пушкин о назначении России» в 6-м номере «Нового мира» за 2005 г.) Пушкин так же, как впоследствии Соловьев, обращается к тем же историко-географическим факторам, но угадывает тут иной, страдательный жребий России. В особом положении России по отношению к Европе, в ее движении своим, отличным от других европейских стран, трагическим путем он видит высокий провиденциальный смысл ее существования. «Мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее (Европу. — *Р.Г.*) потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех». И в другом месте: «Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией». Таким образом, по Пушкину, изоляция и отсталость России, необходимые для ее жертвенного подвига, не были знаком ее богооставленности, как представлял себе Чаадаев, а, напротив, знаком того, что «провидение не оставило нас», предназначив быть спасительницей европейского человечества, т.е. христианской ойкумены. (Этот тип мученического избранничества предуказан в типе русских святых Бориса и Глеба.) Тот же подвиг совершает Россия и в наполеоновских войнах, избавляя не только себя, но и Европу от «наглой воли» («И нашей кровью искупили / Европы вольность, честь и мир»). Здесь Россия спасает Европу от угрозы, идущей уже с ее же стороны.

Что ж, в это, пушкинское, представление о предназначении России во всемирной истории вполне вписываются дальнейшие события, уже послепушкинского времени. Во второй Отечественной войне она сыграла ту же роль, что и в первой. Правда, в данном случае она, увы, несла не только освобождение, но и угнетение. Но не забудем о генезисе тоталитарно-утопического режима — откуда есть-пошла его зажигательная идея, нашедшая питательную почву в христианском архетипе русского соборного сознания, соблазняя его грядущим «братством всех народов». Соблазн, однако, есть измена, и за нее приходится платить. Объяснение этой псевдоморфозы мы можем найти опять же у Соловьева: «Моральное существо», каковым является нация, «не может освободиться от власти божественной идеи, являющейся смыслом ее бытия, но от него самого зависит, носить ли

ее в сердце своем и в судьбах своих как благословение или как проклятие». Между тем, учитывая, что Россия под водительством радикальной интеллигенции поддалась на невиданный социальный эксперимент западного происхождения, придется признать и приобщенность к этому делу Запада, участвовавшего в разделении — умственного и физического — труда с Россией. Ведь трудно не согласиться, что этот исторический срыв не был продиктован потребностями социально-экономического развития, что он не явился, скажем по-гегелевски, действием ее субстанциальных сил, а оказался следствием надстроечного фактора. Но, пережив в процессе эксперимента переворот во всех своих естественно-исторических основаниях, страна — и тут уже по закону Пушкина — сумела принести благо Европе, послужив профилактическим средством от марксистской бациллы.

Что же дальше? Россия вышла из-под глыб коммунистического строя. Однако снова провидение нашло осмысленный повод для семидесятипятилетнего пребывания России в изоляции от прогрессивного Запада, ибо в нем самом созрел новый вызов европейской цивилизации, и теперь Россия в силу своей «отсталости» снова может послужить и Европе и себе. Вызов этот — новейший духовный мейнстрим. Дело в том, что за вторую половину XX века цивилизованный мир вполз в новую эпоху: на смену тотальным идеологиям интернационал- и национал-социализма явилась не менее тотальная, но не афиширующая себя в качестве таковой идеология неолиберализма, или безграничных «прав и свобод человека», которая под лозунгом деидеологизации превращается во всепожирающий идеологический диктат, подрывающий основы европейской цивилизации. (Эта тема многократно рассматривалась мной в периодической печати; последний раз в журнале «Главная тема», № 8, 2005.) Не так давно, осенью 2005 года, мы были свидетелями чудовищных погромов и поджогов, происходивших в столице секулярного мира, Париже, и вообще в Европе, которая пасовала перед наглой силой городской герильи, потому что она оказалась парализованной, загипнотизированной одним из основных принципов нового мировоззрении — политкорректностью.

Россия стоит на пороге новой индоктринации, даже переступила его, но, быть может, еще есть шанс остановиться и опять же в силу своей «непродвинутой ментальности» послужить отрезвляющим заслоном на пути радикального вызова европейскому этосу, образу человека и человеческому общежитию. А если не заслоном, то, по крайней мере, резервом Европы, сохраняющим для нее христианское наследство. Насколько еще взволнованней сегодня прозвучал бы голос Владимира Вейдле о взаимосвязи «России и Запада» — одноименная статья середины 50-х, если тогда он писал: «Сама Европа, чем дальше, тем больше, перестает быть тем, чем она была: отныне, врастая в нее, Россия врастает и в ее распад». И задача России теперь — помочь Европе вернуться к самой себе. Впервые за двухтысячелетнюю историю (за малыми исключениями) распространяется мировоззрение, не признающее высшего начала и иерархии ценностей и порождающее в мысли и жизни «уравнительное смешение», т.е. хаос.

Но в этой ситуации и в этой надежде на Россию не сходится ли правота Пушкина, видящего в отсталости России спасительный якорь для Европы, с прозрениями позднего Соловьева в «Повести об антихристе». Там он предсказывает наступление эпохи нового, закамуфлированного гуманизма, «когда будут говориться громкие и высокие слова» и будет наброшен «блестящий покров добра и правды на тайну крайнего беззакония в пору ее конечного про-

явления». Автор считал своим «высшим замыслом показать заранее обманчивую личину, под которой скрывается злая бездна». Он описывает общество антихриста, который готов признать все, кроме Христа. Но не таково ли и сознание сегодняшнего безосновного плюралиста, или мировоззренческого релятивиста: он готов признать все самые экзотические вещи, но только не истину, — что в конечном итоге означает то же самое.

Кто же поднимет резистанс против губительного поветрия, кто ввяжется в отважное противоборство с духом века сего? Это — задача для гражданской инициативы интеллектуального сообщества и для церкви, на чью новую «идейную проповедь» так рассчитывал Бердяев. В отражении новейшего нашествия, в борьбе со смутой в умах и чувствах новые Минины и Пожарские будут — пока еще! — в единстве с народом, со среднестатистическим россиянином, изнывающим последние полтора десятка лет под диктатурой леволиберального пресса, среди плодов его морального «рассвобождения». Однако народ, будучи опорой для такой инициативы, не может быть в этом случае активным субъектом деятельности.

Меж тем есть неотложная задача, сподручная всем живущим на российской земле. Это — сама земля, взывающая к нам. Огромная данная нам территория, превращенная в израненного калеку и мусорную свалку. Привести ее в порядок — вот первый шаг к возрождению и спасению России. (А то, может случиться, что как Бог дал нам эту землю, так и возьмет ее назад.) Такая идея найдет отзвук в русской душе, в которой еще теплится имперское чувство (несколько подпорченное советскими амбициями); в которой еще сохранилась любовь к своим просторам. Однако дело это, чтобы стать таковым, должно быть объявлено национально-государственной программой с целенаправленной пропагандой, законодательной поддержкой и вложением средств.

Но чтобы на местах по всей России население подхватило призыв власти, оно должно обрести веру в основательность ее намерений, которые до сих пор оставались только декларациями о них, а это требует перестройки всего управленческого механизма.

Наконец тут нельзя не упомянуть об идее, высказанной Ириной Роднянской, особенно в свете наличествующих в нашей стране грозных центробежных тенденций. Речь идет о программе «русофонии» (по аналогии с послевоенной «франкофонией»), т.е. о неукоснительной языковой, а вместе с тем и культурной, русификации всех населяющих российское пространство народов, включая вновь прибывающих. Приобщение к русской культурной — между прочим, традиционно христианской — ойкумене свяжет, наподобие единой кровеносной системы, в целостный организм население самых удаленных и разреженных уголков страны, в которой каждый человек будет чувствовать себя россиянином и гордиться этим, — что не должно мешать ему оставаться представителем любого другого этноса и участвовать в развитии своей культурной автономии. Это дело, как гарант от распада страны, достойно того, чтобы стать ведущей внутриполитической стратегией Российского государства; и оно же найдет самый горячий отклик снизу.

Как видим, русская *национальная идея* сохранила свою закваску, ибо она остается живой только в формах памяти о православной империи.

Вот впечатление художественной души, недавнего гостя с Запада, режиссера и актера Робера Осейна, ощутившего в России «нерастворимый кристалл призва-

ния»: «В России есть нечто необъяснимое, заставляющее восхищаться и плакать, это — вечная страна, проникнутая инстинктивной, прирожденной миссией».

Однако в соответствии с современным положением России и духовным состоянием мира бывшая идея-maximum разделяется на несколько, в том числе более скромных, но от этого не менее общенациональных идей и, повторим, в конечном итоге родственных изначальному призванию России — т.е. культурно-христианскому служению.

Если же пространство России съежится или она вовсе исчезнет с лица земли, то это будет означать, что она не выполнила своего непреложного назначения. Согласно глубокой историософской логике Соловьева, *национальная идея*, призвание народа «проявляется как закон жизни, когда долг выполнен, и как закон смерти, когда это не имело места».

## В. НЕПОМНЯЩИЙ

Начну с русской сказки. Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба. И снесла она им яичко не простое, а золотое. Дед бил-бил — не разбил. Баба била-била — не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет: «Не плачь дед, не плачь баба, я снесу вам другое яичко, не золотое, а простое». Я вчера лекцию в школе читал о сказках и ребят спросил, как они думают: про что эта сказка? Один мальчик сказал, что это про то, что с мышами надо бороться. Я сказал: холодно. Одна девочка сказала, что это про то, что в жизни очень многое зависит от случая. Я сказал: теплее. Еще одна девочка сказала, что это, наверное, о нашем отношении к золоту, к богатству. Вот это уже горячо. Но сказка этим не ограничивается. Там воронка какая-то вглубь, и там вещи, которые просто так словами не назовешь, но в конечном счете, если две самые главные вещи сформулировать на дурацком теоретическом понятийном языке, то это получится: били-били, со всей силы били — ничего не получилось, а тут мышка хвостиком случайно махнула... Не все подвластно человеку, не все создано для мыслимого им потребления. В мире есть то, что делается не по воле человека, а на каких-то других основаниях. Это первое.

Второе — да, деду и бабе золотое яйцо не нужно. Яйцо для другого предназначено. Оно не может быть золотым. Его можно съесть, или цыпленок из него вылупится. А тут золотое, оно совершенно им не нужно. Им и в голову не пришло, что его можно продать и купить очень много простых яиц. Вот здесь уже есть две вещи, очень важные для нас в этой древней сказке. Для русской ментальности очень характерно иерархическое мышление, т.е. понимание того, где верх и где низ, где воля твоя, а где воля Божья. Самое главное — где верх, где низ, вот эта вертикаль.

Когда-то в журнале «Континент» я напечатал статью про русский мат, в которой пытался доказать, что наш страшный матерный язык — это оборотная сторона, как бы отражение религиозности, потому что никогда ни один русский поэт от Баркова и раньше до Пушкина и позже, написав матерные стихи, не претендовал на то, чтобы это напечатать. Он понимал, что это не печатаемо, это в другом этаже находится, это в подполье, там и должно находиться. В этом была иерархия, и не только языка, но и всей культуры. Культура есть здание, в котором есть верх, низ, этажи, главные, не главные, служебные и т.п. И путать это нельзя.

Сейчас этот дом рушится, разваливается.

А отношение наше к золоту, к золотому яйцу... Отношение наше к палатам каменным... Вот говорят о зависти к богатым людям. Это вранье. Зависть, или ненависть, или неприязнь только к тем людям, как правило (я не говорю об исключениях, их навалом), про которых все знают (а в деревне всегда все всё знают) — это богатство они неправедно нажили. У нашей семьи есть большой друг Лидия Алексеевна Головкова, главный редактор издания «Бутовский полигон», вот эти расстрельные списки все, дела и т.д., и там есть целый ряд дел, в которых говорится, что крестьяне укрывали своих бар богатых от большевиков, потому что они к ним хорошо относились и считали их порядочными людьми. Так что это вранье, что русский народ завистлив.

А как не ненавидеть тех людей, которые нахапали? Один из наших очень крупных деятелей финансовых и отчасти политических западно-европейского происхождения, услышав обвинение в том, что «вы в приватизацию нахапали», он сказал просто: а что же вы не хапали? Ну как не возненавидеть бедному человеку этого богатого? И не за богатство, а за то, что он свинья, за то, что он не уважает людей.

У меня есть любимая мысль. Россия — это единственное место на земном шаре, где запад плавно переходит в восток, а восток плавно переходит в запад. И на протяжении столетий это сосуществование запада и востока, совершенно разных сущностей, разных так же, как разные две половинки человеческого мозга, оно строилось очень мирно, никто никого не жег огнем, не истреблял мечом, не навязывал свою веру, а все шло по-человечески, хотя в советское время Россия называлась тюрьмой народов. Но это было много веков. И мне кажется, что Россия — это на земле то место, которое похоже на пространство между двумя половинами ядерного заряда, оно их разделяет. Вот когда это пространство исчезает, они соединяются и происходит атомный взрыв. Подобную роль, помимо всех прочих, играет в геополитическом, экологическом и эсхатологическом смысле Россия. И если это пространство, а оно должно быть большим, должно быть империей, если оно исчезает, уменьшается до какого-то предела, то может произойти взрыв. Если бы Россия не выпала из мирового политического процесса в последние полтора десятилетия, то кто его знает, были бы эти ужасы, которые сейчас происходят в мире между западом и востоком. Мы выпали.

Здесь Александр Кырлежев говорил, что понятие народа архаично, что народа сейчас уже нет. Это умирает, это тоже архаично, и т.д. и т.д. Это такой фатализм, который сейчас у нас принят. Рынок все сам решит. Вот все идет как идет, не надо ничего, все само сделается. Как оно есть, так и есть. Никакого противостояния тому, что понятие *народ* превращается в архаическое понятие, не наблюдается среди тех, кто по своему положению призваны сохранять понятие *народ* как некоторую духовную общность людей, объединенных общей непрагматической системой ценностей.

Для нас самое актуальное сейчас в национальной идее — это то, что называется нашей исторически сложившейся идентичностью. Нам надо, по выражению Мераба Мамардашвили, «осмелиться быть». Быть тем, что мы есть, быть Россией, такой, какая она есть, со всеми ее нелепостями, со всеми ее глупостями и ошибками, которые есть у всех, просто они у нас свои, а не чужие.

Сменились все точки отсчета ценностей. Они не сменились, их сменяют те, кому это выгодно. Я стою на этой точке зрения. Не какие-то злые люди, которые хотят погубить, а заговор определенных интересов, определенных выгод. Они

складываются так, что Россия есть такое место, которое не удобно для дальнейшего развития прогресса на американский, скажем, манер. Вот ее как бы сбрить надо, чтобы осталось пространство, которое можно или использовать, или через него пройти без препятствий. Вот какое-то такое есть в мире ощущение России, что она ни к селу, ни к городу.

Вот другая черта. Я расскажу из своей жизни историю. Я однажды, уже много лет назад, попал в больницу. Меня моя жена Таня отвезла в эту больницу. И пока мы там ждали, а ждали довольно долго в приемном покое, привезли на «воронке» четверо или трое милиционеров пьяного мужика лет тридцати, совершенно смертельно пьяного. Они перед этим вкололи ему что-то по дороге, они его втроем с трудом вытащили оттуда, с гигантским трудом втащили в приемный покой и привязали его к каталке веревками и уехали, а санитары еще не пришли. В те пять минут, которые он там находился, эта каталка, как в гоголевском «Вие» гроб по церкви летал туда-сюда, так и эта каталка каталась по всему приемному покою, чуть не сшибая людей с ног. И он развязался почти, но тут прибежали санитары, вкололи ему еще раза три и утащили его, не знаю, что дальше там было. И моя жена сказала: «А в других обстоятельствах это был бы Герой Советского Союза». И это святая правда, поскольку в нашей душе, в нашем сознании существует вертикаль, но вертикаль — штука хитрая. Горизонталь может вправо-влево, вперед и назад, а вертикаль может вверх или вниз. Вот это тот случай, когда вертикаль направлена вниз. Та же самая сила, которая могла бы быть направлена вверх, направляется вниз.

И еще одна черта. Мне кажется, что русский человек то ли в силу пространств, об этом много Дмитрий Сергеевич Лихачев покойный писал, то ли в силу еще каких-то причин, но это самый свободный внутренне человек на свете, до безбрежности, до безудержу. И он боится этой своей свободы. И поскольку у него есть иерархическое чувство, он понимает, что у слова «воля» есть два значения: воля как целеустремленная воля и воля как вот это размахнись-раззудись плечо. Он это чувствует, и он боится вот этой своей свободы. И вот откуда у нас потребность в сильной власти, потому что совладать с этой своей свободой очень трудно. Поэтому мы сами хотим, чтобы нас держали. Как говорят: «Держите меня, а то я его убью!» И в этом ничего плохого нет. Но нас записывают в рабы, что у народа рабское сознание. Хотя это сознание свободного человека, который просто сам не умеет ограничить свою свободу.

Ну а об отношении к богатству что уж там говорить. Я все время привожу два кредо, две идеи национальные, как хотите. Одно выражено в знаменитом фильме «Унесенные ветром», когда обаятельная, прелестная героиня говорит: «Я пойду на все, но никогда не буду голодать». Это есть американская мечта, и в известном смысле американская идея национальная. Сытая, благополучная жизнь, и ради нее можно пойти на все. Конечно, это может быть обеспечено только при главенстве закона, просветительского идеала. Это держава, это цивилизация, для которой главное — закон, это самая молодая из цивилизаций крупных на Земле, она на своей совести имеет по крайней мере пять преступлений против человечества, за эти двести с небольшим лет: индейцы, негры, Хиросима, напалм во Вьетнаме, Косово, ну а дальше Ирак и все прочее. Именно потому, что этот закон, который превыше всего, она хочет распространить на весь мир. В каком-то смысле США — это Советский Союз сегодня, но только несравненно более оснащенный и более агрессивный.

Когда к Серапиону Мордарьевичу Градобоеву приходят купцы и он спрашивает у них: «Ну как, мужички, судить мне вас, по закону али по душе?» — те дружно отвечают: «По душе!» В нашей системе ценностей милосердие выше закона. И с этим ничего не поделаешь. Это не плохо и не хорошо. Пускай это будет плохо. Но это так! Для того чтобы это уничтожить, надо уничтожить нацию, как таковую, надо ее переделать как-то, что сейчас и происходит.

Вот это русская ментальность. От нее могут быть самые разные последствия — и в ту, и в другую сторону. Вся беда в том, что люди, которые замышляли реформы, совершенно не интересовались тем, в какой стране они живут и что в этой стране можно и полезно, а что в ней вредно и отвратительно. Несомненно, с этим связан упрек в том, что у нас слишком много населения для успеха реформ. Многие студенты Высшей школы экономики это и выразили в интервью журналисту Александру Минкину. Слишком много населения. И как-то так занятно получается, что рядом с этим утверждением у нас демографическая катастрофа. Как-то так очень сходится.

Я уж не говорю о том, что слово «успех» никогда не было в русском народе ни идеей, ни идеалом. И слово «бизнес»... У нас же одно из приличных ругательств на улице, в троллейбусе: «У, деловой». Это же было ругательство. Но плохо это или хорошо — не в этом дело. Это так.

Надо знать, в какой стране мы живем. Надо постигать и понимать, что такое национальные идеалы, наверное. *Национальный идеал.* Это не так запутано, как национальная идея, в которой надо разбираться, тот ли смысл, платоновский, или еще какой-то...

И последнее. Я живу в деревне почти по полгода. Люди сейчас в основном живут лучше материально при всем том, что часть населения, как известно, находится за чертой бедности, но все-таки более-менее. И они недовольны. И не потому, что они не слишком хорошо живут. Они раздражены. Они не любят эту власть и этот строй, этот режим. Я много раз слышал, когда они смотрят телевизор: «Они нас не уважают! За кого они нас принимают?» Народ оскорблен, и оскорблен не только тем, что есть люди, которые имеют миллиарды, а тем, что его не уважают и почитают за быдло. И эти люди, которые живут в деревне, те, кто могут, смотрят больше всего по телевидению канал «Культура», это простые люди, у которых нет особенных таких запросов. Они смотрят единственный канал, который имеет человеческий облик.

Я говорю простые вещи, которые всем известны. Та же русская литература дает нам представление о том, что является идеалами для русского народа, чтобы он остался самим собой. Может быть, тогда что-нибудь получится. Может быть, тогда и это мы пережуем, и переварим все, что с нами происходит.

**Вопрос из зала.** Вы высказали сильный тезис. Пятнадцать лет на карте нет СССР, и начались какие-то неприятности, гадости и т.д. А как совместить эту мысль с тем обстоятельством, что одна из главных бед Центральной Азии, которая началась за 12 лет до распада СССР и привела к гибели миллионов афганцев, инициирована тремя людьми в Кремле?

**В. Н.** Это как раз к тому, что я сказал про этого пьяного «Героя Советского Союза». Если цель этой силы мистифицирована и извращена, то сила, которая может творить добро, творит зло. Чем выше ты стоишь, тем ниже ты падаешь. Очень многие наши бандиты, преступники могли бы быть замечательными людьми. Пушкин весь построен на том, что в человеке есть образ Божий, и Борис Году-

нов — это удивительный человек, предназначенный для очень больших, важных и прекрасных дел, и когда он говорит, умирая, свой монолог царевичу Федору, если этот монолог будет произносить хороший актер, зал будет мокрый от слез, потому что им будет жалко, что уходит человек такого гигантского ума и мудрости. Он просто образ Божий позабыл в себе. То же самое случилось с Россией в советскую эпоху, и мы причастны к тому, что произошло потом, безусловно причастны. Мы здесь вписались в общий мировой контекст, и, может быть, отчасти благодаря этому мы, в конце концов, и выпали из мирового процесса.

**Вопрос из зала.** Вы перечислили преступления Америки. Как вы думаете, мы бы сильно вышли за регламент нашей тематики, если бы мы перечислили за тот же период преступления России?

**В. Н.** На это я могу ответить почти то же самое. Дело в том, что при всей мерзости Советского Союза он никого особенно не завоевывал. Ну послали танки в Будапешт, ну послали в Прагу, да. Да, это было ужасно, но мы не истребили... Только недавно кто-то говорил, что албанцев 30 тысяч покинуло свои территории, а сейчас сербов 300 тысяч покинуло свои территории. Но дело не в этом. Дело в том, что поскольку наша энергия и наш вектор был извращен, то это все отзывалось и на нас тоже. Мы совершили против себя преступление прежде всего. Если перед Россией, перед русским человеком поставить высокую цель, он совершит чудеса. Когда ему дают низкие цели, он становится бандитом.

**И. РОДНЯНСКАЯ**

Не удержусь и скажу, что русские сказки имеют, помимо своих бездн, философских и мистических, еще большой оттенок юмора. Что касается золотого яичка, хочу напомнить, что золото — вовсе не обязательно богатство. Золото — это солнце, это небесный и даже занебесный свет, вспомним фон наших икон. И может быть, национальная идея заключается в том, чтобы как раз лелеять золотое яичко, а иначе Бог пошлет мышку и оно будет отнято.

Здесь промелькнули соображения, что, во-первых, *национальную идею* спускают вниз власти предержащие, а во-вторых — что все это глубокая архаика. Скажу: ни то и ни другое. Сейчас власть как раз ничего не может придумать, кроме чего-то вроде удвоения ВВП! И ни о чем она больше интеллигенцию не спрашивает. А что касается архаики, так я просматривала прессу, когда готовилась к нашему собранию, и убедилась, что все просто как с цепи сорвались: о том, куда мы идем и что такое идея нашего сообщества, государства и народа, пишут сплошь и рядом.

Думаю, очень точно уловлено устроителями нашей конференции то, что назрел невероятный кризис идентичности. С одной стороны, это хорошо, так как свидетельствует о том, что, как правильно сказал В.С. Непомнящий, люди почти везде все-таки обжились, несмотря на то что у нас есть жутко депрессивные районы, депрессивная деревня. Кризис идентичности наступает тогда, когда сиюминутное выживание уже остается позади. И вот тогда люди начинают спрашивать: куда мы идем и ради чего мы живем? С такой силой спрашивать и с таким недоумением, что это уже угроза национальной безопасности не меньшая, чем депопуляция, да и значительная часть психологических мотивов депопуляции кроется в этом непонимании.

Насколько я могла понять из прессы, нынче противопоставляются две России, два проекта. Один из них — благополучная страна, а другой — великая

страна. Можно сколько угодно говорить, что одно не противоречит другому, но в сознании пишущей братии — противоречит.

Я только что прочитала в «Неве» (2005, № 7) статью Геннадия Сунягина «Обреченность на величие». Идея здесь такова, что никакой целеполагающей идеи и не надо, кроме той, что была у СПС, — «жить, как в Европе», а для этого надо избавиться от нашего пространства, от наших просторов. Когда-то русские действительно были цивилизационно-устроительной нацией. Но это бремя, эти цивилизационно-геополитические обязательства, уже надо с себя сбросить, стать средней страной, потому что жизненные интересы народа и интересы империи несовместимы. В пример Сунягин приводит Турцию. Была Оттоманская империя, она распалась, как все империи, а вот Турция ничего себе страна, даже в Евросоюз, наверное, примут. И вот очень показательная фраза: «Нет смысла размазывать русскую культуру по необозримым просторам Евразии». «Размазывать» — особенно выразительное слово. Такому проекту, о чем говорил Кырлежев, соответствует понятие политической нации. Политическая нация — это то, что учреждается общественным договором, с нуля. Так учреждена была и наша Конституция 93-го года, списанная отчасти с американской, отчасти с французской. Мне при встрече в этих стенах профессор Жорж Нива успел сказать, что наше впечатление от «французского бунта» сильно преувеличено; тем не менее идея политической нации начинает со всей очевидностью терпеть если не крах, то начало краха уже в самой Европе.

Второй проект — великая Россия. Великая Россия — это, конечно, имперская Россия, потому что такие просторы могут существовать в границах одной страны только под имперской эгидой. Я прочитала в журнале «Главная тема» (июль–август 2005 года) статью Анатолия Уткина, где он с уверенностью, может быть, с такой же уверенностью, с какой судит о свойствах русского народа Валентин Непомнящий, пишет, что наш самый главный ресурс — это невероятно оскорбленное национальное чувство, готовность снова претерпеть многое, чтобы создать нечто общественно значимое, и что надо полагаться на жертвенный фатализм населения, потому что совет стать средней державой, еще одной Бразилией, неосуществим по чисто психологической причине. Полтораста миллионов жителей России органически не согласны с участью стать еще одной Бразилией.

Я не знаю, верить этому или нет. С «людьми из народа» я общаюсь на любые темы, но на эту тему — не было случая. Не знаю, готовы ли они на новый порыв жертвенного фатализма ради величия. И не знаю, откуда берется уверенность в этом у профессора Уткина. И совершенно непонятно, во имя чего же быть России великой, потому что само величие никак не может быть целью. Величию как цели всегда будет противостоять лермонтовская странная любовь, равнодушная к гордому величию и покою и любящая в своей стране нечто другое.

Если верить тому, что великая Россия возможна, значит, у нее должна быть миссия. У величия должна быть миссия, которая превращает величие в средство и обязательство. Здесь прозвучало очень выразительное сравнение с двумя половинами атомной бомбы, между которыми лежит русско-евразийский простор и которые поэтому не смыкаются и не дают ядерного взрыва. Но это то же самое, что щит между монголами и Европой, об этом значении России для соседей и Пушкин, и Блок писали. Это несколько утилитарный взгляд, взгляд на Россию извне. Хотя, может быть, Западу нужна Россия именно как щит, не позволяющий сомкнуться двум половинам бомбы. Но для самой России что это значит?

Я не так давно уже приводила одно место, очень таинственное, из Послания апостола Павла фессалоникийцам — о тайне беззакония, которая выйдет наружу тогда, когда будет из среды отнят «удерживающий». Никогда, кстати, не думала, что эти слова станут, к добру или к худу, расхожей цитатой у консервативных публицистов.

Богословское толкование этого места не определено в церковном сознании единственным образом. Одни считают, что «удерживающий» — это Дух Святой, который будет отнят за наши грехи и тогда тайна антихристова беззакония выйдет наружу, может, уже выходит. А другие, их меньшее число, полагают, что «удерживающий» — это государство, специфически римское или вообще государство как институция (поскольку оно, как говорил Владимир Соловьев, не строя рая на земле, не дает ей превратиться в ад). И в данном случае — Российское государство.

Эта идея «удерживающего» есть и в последней книге Максима Соколова, любимого мною автора, который пишет, что русское государство (нарочно пишет не «российское», а «русское») будет противостоять апостасии Запада, отступничеству Запада, и варварству Востока как единственное христианское государство и таким образом сохранит фактически для мира христианство. И та же идея перешла к таким правым радикалам, как Егор Холмогоров, который пропагандирует «политическое православие» в виде симметричного ответа исламу — действительно политической религии, по крайней мере в потенции, не противоречащей его, ислама, основам. С моей точки зрения, это прежде всего церковная ересь, а в практическом отношении — это православие без христианства: «православная среда» и православное государство, где, видимо, остальным придется лицемерить или же подчиняться грубому насилию над совестью, потому что никаких других способов осуществления этой политической утопии в реальной России придумать невозможно.

Говорить о миссии России как «удерживающего» я бы поостереглась, несмотря на свою конфессиональную заинтересованность, потому что в этом есть гордыня. Мы ничего не знаем о том, кому суждено донести Христову истину до последних поколений в последние времена. Не в качестве предположения и, упаси Бог, пророчества, просто для примера хочу заметить, что сила Божия в немощи совершается, и маленькая Сербия, столько претерпевшая и развившая на сегодняшний день потрясающие богословие и церковную проповедь, сравнимые с нашими обретениями первых двух третей прошлого века, — может быть, именно она будет тем самым если не «удерживающим», то последним пристанищем Истины, а не великая Россия. Мы ничего не знаем, это дело Промысла.

Но что можно сказать положительного на тему сегодняшних размышлений? Наши предшественники, я осмелюсь великих русских философов таковыми назвать, никогда не говорили о *национальной идее*, потому что понятие политической нации для России того времени не существовало. Была Российская империя, и была *русская идея*. И для того чтобы каким-то образом предложить нечто мобилизующее тем, кто живет в нынешней России, нужно вернуться к русской идее. Наконец надо признать — и я, не будучи русской по крови, хочу это признать и мечтаю, чтобы это было признано, — что наша империя не является территориальным лоскутным образованием, что русский народ в ней — если и не государствообразующий (некоторые до сих пор боятся или стесняются этого слова), то, во всяком случае, это он создал русскую цивилизацию и распро-

странил русский язык и русскую культуру, «размазал» их по всему огромному простору. И если Россия хочет выжить, она должна остаться империей.

Неплохая идея Анатолия Чубайса, которая была осмеяна совершенно непонимающими его людьми, — идея «либеральной империи». Он имел в виду экономическую экспансию нашего бизнеса на постсоветском пространстве. Такая экспансия должна бы принести с собой сопутствующие культурные институты и ценности. Идея была бы хороша, если бы российский бизнес оказался достаточно силен и просвещен для ее реализации. (Стоит добавить, что империи вообще гораздо либеральнее, чем моноцентричные и мононациональные государства.) Но я говорю сейчас не об этом чубайсовском предложении. Задача у нас — сохранить русскую культуру не как мертвую культуру, а как живую тысячелетнюю русскую культуру, небесно-земной плод русского христианства.

Что значит: *как живую*? В той самой «благополучной стране среднего калибра» она может сохраняться только как мертвая. Много лет назад мой друг поэт Олег Чухонцев говорил мне (и это, помню, меня тогда поразило), что мы можем стать как нынешние греки. Страна как страна, торгуют себе со всем миром, что-то не худо производят, иногда даже гордятся тем, что у них есть греческая трагедия и Гомер, но к ним и то и другое уже не имеет никакого отношения. Вот и в нашей стране, где будут де-юре или де-факто отсечены все огромные цивилизуемые и цивилизовавшиеся русским народом пространства, как раз великая культура будет мертвая культура. А живая культура отличается способностью к экспансии вширь, не говоря о самосохранении.

Лингвисты отлично знают о т. н. гипотезе Сепира — Уорфа: что язык — это окошко, через которое его носитель смотрит на мир, что от языка зависит миросозерцание человека. И мне кажется, едва ли не главная сейчас задача — это задача *русофонии* в широком смысле слова, задача экспансии русской культуры, которая побудит другие народы, населяющие то, что осталось от России (некоторые недоброжелатели справа и слева даже зовут эту страну Эрэфией, это больно слышать, но иногда думаешь, что в этом что-то есть), вернее, побудит как можно больше людей, не обязательно целые народы, смотреть на мир сквозь сияние этого золотого яичка, русского культурного богатства. И слух их должен быть наполнен хорошим русским языком. Да, на это нужны, помимо многого прочего, очень немалые деньги. Но на это тратить — сам Бог велел.

Тут не гордыня, потому что это культура христианская в своей основе и это свободное приятие теми, кто вместит, христианских, восточно-христианских православных ценностей в их иерархии и в их преломлении...

...Такой вот лингвистически-культурный империализм, который хотелось бы на первый случай предъявить. Границы России проблематичны. Те границы, которые провели сейчас, отторгнув в особенности Украину, современные дипломаты и современные политики, нельзя считать вечными. Эти границы относительные, более чем условные, они вообще проведены чьей-то не уполномоченной на то рукой, история их не проводила. И экспансия русской культуры поможет проблематизировать, постепенно позволяя пересмотреть, что очень желательно в будущем, те границы, в которых должна существовать Россия.

**Вопрос из зала.** По-вашему, как украинцы отнесутся к такой перспективе пересмотра границ?

**И. Р.** Сегодня — не спорю, может, и плохо, ну а завтра, если там будет допущен и возможен Гоголь на русском языке, а не специально переводимый на

украинский (по-моему, это хороший украинский анекдот — «Вечера на хуторе близ Диканьки», переводимые на украинский язык), если там опамятуются... Да и сейчас, если вы поедете в Донбасс, не знаю, как там ответят на этот вопрос; может быть, не так, как вы хотели бы... Связей очень много. У меня на Украине родственники, я спросила у своей двоюродной сестры, будет ли теперь им лучше, она ответила: «Ты с ума сошла!» Она харьковчанка, я и сама харьковчанка родом (раньше я говорила по-украински почти так же свободно, как по-русски, окончив среднюю школу в Черновцах) и переживаю отторжение Украины от России как рану, которая проходит по моему собственному телу.

**Вопрос из зала.** Не содержится ли в вашей мысли утверждение, что величие России — это выживание России, ее идентичность.

**И. Р.** Я совершенно согласна с этим. Россия может быть только империей и культурно-исторической нацией, а не только политической, вокруг ядра — русского народа. Это и есть великая Россия, она не выживет как средняя, небольшая страна.

Первый, у кого я прочитала, что России не нужно иметь столько территории, был не либерал Сунягин, а Александр Исаевич Солженицын. Я была потрясена. Получается, что все — покорение Кавказа, присоединение Грузии, добровольное, кстати, — все это было напрасно и нас лишь обременяло, не говоря уж о Средней Азии. Хочу напомнить прагматическую вещь: что без бакинской нефти мы могли бы не выиграть Вторую мировую войну. И это тоже не стоит забывать тем, кто говорит о напрасности всех прежних геополитических усилий России.

**Л. ГОЗМАН**

Для меня большая честь выступать здесь, поскольку я, как и многие люди моего поколения, считаю себя обязанным журналу «Континент», его авторам, — и обязан прежде всего за то, что пятнадцать с небольшим лет назад изменилась карта мира и что вместо Советского Союза со всеми его прелестями, и «Старыми песнями о главном», и ностальгией по молодым годам и т.д., все-таки появилась сегодняшняя Россия. Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы было в истории иначе, и за это благодарен журналу «Континент» и его авторам.

Нужна ли *национальная идея* простому человеку, людям? Людям удобнее жить, когда она есть, потому что человеку легче жить, когда он принадлежит к какой-то целостности, когда есть что-то мощное, к чему он принадлежит, и это мощное движется к какой-то цели. Тогда могут быть оправданы лишения.

Почему мы так плохо живем? Потому, что мы завоевываем гроб Господень, и пока мы его не завоевали, разговор о потреблении мяса на душу населения просто бестактен, об этом просто нельзя говорить. Исчезает, преодолевается экзистенциальный вакуум, человеку понятно, ради чего жить, ради чего вообще живут люди с ним вместе. Миссия.

Выдающийся психотерапевт Виктор Франкл сказал однажды замечательную фразу о том, что человек, знающий *во имя чего*, может преодолеть, пережить любое *как*. Национальная идея — не текст, написанный в Волынском, а то, что захватило умы людей. Она помогает людям жить.

Важно вот что: когда у меня есть цель и я во имя этой цели что-то преодолеваю, — это нормальная последовательность. А бывает наоборот — вначале я преодолеваю, а потом думаю: зачем я все это делаю? А наверное, у меня вот такая цель. Вот это уже патология. В индивидуальном случае это иногда снимается

психотерапией, а иногда нет. На уровне национальных проблем это ничем не снимается или снимается очень долго в результате работы многих поколений.

Еще больше национальная идея нужна власти. Вот власти она нужна позарез, потому что как только власть получает национальную идею, как только ее распространяет, как только ее получает народ, который эту идею разделяет, как только власти достался вот такой народ, то жизнь у власти становится совершенно замечательной.

Выступает персонификатор власти, и что-то объясняет, и отчитывается о степени приближения к мечте. И вот если власть эту самую мечту, какую-то, не важно какую, объявляет целью нации, государства, народа, то тогда она всегда успешна. Например, если цель — распространение наших идей по всей планете, то пойди проверь, распространил ты их или нет.

Клинтон в одной из программ сказал, что его цель, если он станет президентом, чтобы каждый ребенок какого-то там возраста мог иметь выход в Интернет. Прошло четыре года, и каждый человек может спросить с него: а где выход в Интернет? А вот если бы он сказал, что наша цель — свобода на Марсе, пойди проверь. Никита Сергеевич Хрущев в свое время сделал трагическую для себя ошибку, когда объявил коммунизм на 80-й год. Нельзя было так объявлять, надо было приближаться к нему, приближаться...

Тут Валентин Семенович Непомнящий ссылался на президента Путина, не назвав его, насчет сербов — это Путин говорил. А я сошлюсь открыто. Когда произошла трагедия «Норд-Оста», после того, как все было кончено, президент, естественно, выступил с обращением к народу, там много чего было сказано, но, в частности, прозвучала фраза: «Нас не поставишь на колени». И поэтому как бы все происшедшее — успешно, потому что цель — не дать себя поставить на колени.

Вот если национальная идея — не дать себя поставить на колени, тогда сколько эта национальная идея стоит — не имеет никакого значения. Сто человек, миллион человек — какая разница? Это неважно.

Какие были идеи, что могло в истории человечества, в истории России претендовать на статус вот этого понятия — *национальная идея*. Их в мире было много, большинство из них не слишком симпатичны, как это ни печально. Были абсолютно зверские, такие, как идея, которая сильно помогла Третьему рейху — превосходство арийской расы, весь этот человеконенавистнический бред. Бывают красивые, мессианские идеи. Но они на самом деле тоже кровавые, хотя бывают фантастически красивы. Например: «несите бремя белых». Или у нас: «я хату оставил, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать», «но мы еще дойдем до Ганга, и мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя». Кто нас звал в Гренаду, кто нас звал на Ганг? Это фантастически красиво написано, но вообще это страшная вещь.

Я хочу обратить внимание на некий феномен, который мне не понятен, но может быть понятен профессионалам в области слова, в области искусства. Почему никто не воспел того британского генерал-губернатора, который спускал британский флаг во время распада, прекращения существования Британской империи, почему никто не воспел его подвиг, его мудрость, его мужество? Он спустил британский флаг и ушел с последним отрядом гвардии, и ушел так, что вслед не стреляли, ушел так, что там до сих пор говорят по-английски, ушел так, что до сих пор уважают королеву. Вот это подвиг куда больший, чем захва-

тить этот остров, то, что было сделано за двести лет до него, когда дикарей с дубинками захватывали броненосцы. Вот этот подвиг не воспет, а подвиг захватчиков воспет. Я бы написал, но я не умею, к сожалению.

Что происходит сейчас у нас в России? Есть две сходящиеся тенденции. В этическом плане неправильно говорить: снизу и сверху, а с точки зрения политической структуры — правильно. Снизу — от людей, от населения: разочарование, духовный вакуум, все омерзительно, все неправильно. Да, живем лучше, но не так, и показывают не то и так далее. Это фантастически распространенное настроение. Демократия в сознании очень многих людей — это ужасно, приватизация — преступление, Чубайс во всем виноват и так далее. Кстати говоря, я прекрасно понимаю, что Чубайса, СПС, нашу команду обвиняют во всех бедах, но все-таки есть отдельные глупости, в которых мы не виноваты. Мы никогда не говорили, что большое количество населения мешает реформам, у нас всегда была прямо противоположная точка зрения. Мы никогда не считали, что для того, чтобы Россия нормально развивалась, она должна отказаться от части территории.

А что идет от начальства, сверху, и хорошо воспринимается публикой? Мы окружены, кругом враги. Вот есть такая большая страна Латвия, огромная — судя по нашим газетам, которая враждебна России. Помните эти скандалы с Латвией, сколько внимания этому уделялось!

Вводится термин «суверенная демократия». Это уж точно непонятно что по определению. Демократия — это власть народа. Если власть — значит, суверенная. Но проводится идея, что что-то угрожает нашему суверенитету, кто-то нас захватит, кто-то нас колонизует, военным путем, духовным или еще каким-нибудь.

Вот это ощущение, что мы окружены, что вокруг враги, ощущение, что есть мировой заговор с целью уничтожения России — это ощущение, которое захватывает сегодня общество на всех уровнях — и, что самое печальное, оно захватывает общество на уровне интеллигенции, на уровне образованных людей, на уровне хранителей огня.

Тезис о том, что американцы хотят нас уничтожить, этот тезис не оспаривается. Вопрос: а зачем им нас уничтожать, что им будет хорошего от этого? Никто на него ответить не может. Понятно, что для них это будет тоже катастрофа. Но этот вопрос как-то и задавать неприлично.

К этому добавляется то, о чем говорил В.С. Непомнящий, что русский народ якобы ленивый, завистливый и т.п. Ни у кого нет доказательств этого, есть доказательства прямо противоположные. Как только власть разжимает кулак, русские люди начинают жить активно, благополучно, работать как звери, выигрывать в конкурентной борьбе. Доказательств того, что русские люди неленивы, что русские люди готовы и хотят жить по нормальным конкурентным законам, очень много, но это не слышится. Доказательств того, что русские люди ленивы, апатичны, нуждаются в твердой руке и т.д., — этих доказательств нет, но эта точка зрения распространена значительно шире. Почему? Потому что если верить во все это, тогда возникает задача или национальная идея: спастись. Нам угрожает опасность, мы вымираем, мы окружены врагами.

Вот если задача спастись, тогда в качестве национальной идеи выступает «особый путь России». Хватит заигрывать с мировыми универсалистскими тенденциями, мы особые, мы должны жить своей жизнью, мы вам не немцы какие-нибудь и не французы, у нас все свое, все особенное.

Вот мы с вами все разные, но передвигаемся все по правой стороне дороги и даже останавливаемся на красный свет. И хотя мы все разные, но оказалось, что правила дорожного движения для всех приемлемы, с ними можно жить. Почему из особости русской культуры, из Достоевского и т.п. надо выводить, что у нас должна быть другая политическая система, что всем нужна демократия, а нам соборность, у всех должен быть нормальный рынок, а у нас черт знает что, я не понимаю, как это выводится, но это выводится по факту, откройте любую газету. И люди верят в это, и чем дальше, тем больше, и это катастрофа!

Причем это возникает не потому, что это какая-то незнакомая болезнь, это возникает потому, что это выгодно многим людям, потому что это объясняет их жизненную неудачу, это объясняет их неспособность приспособиться и нежелание приспособиться. Ведь старое китайское проклятие «чтоб ты жил в эпоху перемен» — оно правильное. Перемены — тяжелейшее время. И дело не только в жестокости и несправедливости. Большинство присутствующих помнит, что когда-то совсем недавно замечательный советский автомобиль «жигули» был одним из признаков материального успеха. И люди за эту машину, за эту консервную банку гробились по-страшному, отказывали себе во всем, ехали на Север, где жили, как в тюрьме, и т.д. А сегодня студент на такое заработает за два месяца подхалтуры где-нибудь и смотреть на это не хочет на самом деле. Это же обесценивает ценности, это обесценивает жизнь очень многих людей, это объективно очень тяжелое время.

Кто-то понимает, что это очень тяжелое время, и преодолевает его. Я сейчас не про несправедливость, олигархов и т.п., это само собой. Я про объективную сложность жизни в условиях перемен. А кто-то хватается за то, что мы окружены, что кругом враги. Посмотрите, вот эти убогие люди, собирающиеся на митинги «Трудовой России» или еще каких-то организаций, очищающих от жидов Россию, они же убогие, жалкие, но при этом у них глаза горят, у них идея есть, они борются за что-то, у них смысл жизни есть — уродливый, но уж какой есть.

Но больше всего это выгодно власти, это же понятно. Если Россия пойдет не особым, непонятно каким путем, а интегрируется в мир и станет, при всем своем величии, членом мировых структур (конечно, они должны будут переделаться в этом случае, мы не можем войти в ЕС в его нынешнем составе, мы не можем войти в НАТО в его нынешнем составе, но если мы туда входим, оставаясь великой державой), то ведь это означает, что по поводу Юганскнефтегаза надо будет объясняться в Страсбурге, а это сложно. Это означает, что надо будет много чего приводить в соответствие и нельзя будет пользоваться всем, чем пользуешься, так спокойно и хорошо, как сейчас. И выборы надо будет проводить другие.

А вот возможна ли в России некая цель, возможна ли в России *национальная идея*? Я думаю, что да. Кстати, без нее плохо. Задача догнать Португалию — задача необходимая, вот если не догоним, то все остальное не имеет никакого значения. Пустопорожние разговоры, если мы не решим некоторое количество совершенно конкретных проблем: дороги, ВВП и т.п. Если нормальная жизнь здесь не наладится, то все наши размышления не нужны. Это задача необходимая — догнать Португалию и другие страны, но эта задача недостаточная для того, чтобы страна нормально жила. Действительно, должна быть цель, должна быть миссия, особенно с учетом истории нашей страны.

Но вот эта миссия, как экзистенциальный смысл жизни одного человека, не может быть направлена внутрь себя. Если человек говорит, что смысл его

жизни — его собственное благополучие, то это депрессия. Если смысл его жизни собственное здоровье, то это ипохондрия и он начинает мерить температуру восемь раз на день. Ощущение смысла придает только работа вовне, для кого-то еще, только работа на цель, которая выходит за пределы моей собственной жизни. Иначе смысла нет, внутри себя смысл найти нельзя. То же самое для страны. Если национальная идея — это выживание, то мы идем к полной катастрофе, которая в конце концов приведет нас в союз с братскими народами Ирака, Северной Кореи, и мы будем бороться с американским империализмом, как боролись все двадцатое столетие.

А вот есть ли внешняя идея? Я благодарен Ирине Бенционовне Роднянской за добрые слова о либеральной империи, в основном по этому поводу мы слышим только насмешки, хотя идея абсолютно правильная. Кстати говоря, у нас достаточно сил для экономической экспансии. Я говорю как член правления РАО ЕЭС России. На ближнем зарубежье мы самая сильная компания. Более того, мы более конкурентоспособны, чем американцы. Помните, были разговоры, что в Тбилиси нет тепла, отключают электричество, тогда там американская компания управляла, так мы их оттуда вытеснили, и мы все это купили, это теперь принадлежит Российскому государству. И вот уже два года в Тбилиси и свет, и тепло, о чем только что говорил президент Саакашвили. У нас достаточно сил, у нас много сил.

Но миссия наша, по-моему, не в том, чтобы захватывать куски в других странах, и не в том, чтобы стоять щитом между двумя враждебными расами. Мне кажется, наша миссия в том (простите за высокий слог), чтобы спасти человечество. Дело в том, что тот вызов, с которым сейчас столкнулась западная цивилизация или христианская цивилизация (кому как нравится), — это вызов со стороны людей, которым нравится другое.

Когда президенты разных стран говорят о международном терроризме, то я не очень понимаю, о чем они говорят, потому что террористический акт — не более чем инструмент. Вот эти отморозки убивают не просто потому, что им хочется убивать (может быть, им и хочется, но те, кто их посылают, не этого хотят), они убивают для того, чтобы установить некий порядок. Что это за порядок, на самом деле видно. Видно по тем территориям, которые они контролируют. Видно по тому, что было в Афганистане, когда они его контролировали. Видно по тем негосударственным образованиям, которые они создают, по их тренировочным лагерям. Это классический тоталитарный режим. У них вызывает ненависть, как мне кажется, не христианство, не Америка или Россия, как таковые, у них вызывает ненависть свобода человека, они против этого борются.

И оказалось, что свободные люди уязвимы, потому что у нас ценностей много. Почему не было терактов в Советском Союзе? Почему никто не захватывал школу и говорил: дай нам столько-то, а то я их всех убью? А потому, что Политбюро сказало бы: ну и убивай. Кого бы вообще волновало, что происходит? А вот сейчас так уже не скажешь, уже тяжелее; у свободных людей очень много ценностей, на которые можно покуситься. И они покушаются на эти ценности.

Можно их победить или нет — я на самом деле не знаю. Я не знаю, чем кончится это противостояние. Может быть, оно кончится гибелью цивилизации? Но я точно понимаю, что у человечества нет шансов выиграть, если Россия не будет на стороне человечества. Если мы окажемся опять против мира со своим «особым путем», «великой страной», «нежеланием стоять на коленях», тогда эти ребята, которые взрывают людей, взрывают здания и хотят просто все

уничтожить, тогда они выиграют. Наша миссия как страны, как народа — встать в строй вместе с другими и выиграть эту войну. А что будет потом с человечеством, я не знаю.

**Вопрос из зала.** Ответьте коротко на два вопроса. Первое: сегодня экономика нашей страны превосходит экономику Советского Союза, она ушла вперед? Второе: в Советском Союзе (никто его не идеализирует) тоже была половина населения за чертой бедности?

**Л. Г.** На второй вопрос: безусловно, да. Уровень жизни сегодня вырос в сравнении с Советским Союзом, это объективный факт. Что касается первого вопроса, не могу на него точно ответить, т.к. не экономист. Знаю, что экономика России на сегодняшний день стала значительно более здоровой, чем она была в Советском Союзе. Дело в том, что для увеличения ВВП самое хорошее — начать рыть канал от Камчатки до Калининграда, желательно через Литву. Если рыть такой канал лопатами, то ВВП резко возрастет. Сегодняшняя экономика значительно более разумна: она не производит или меньше производит бессмысленных вещей, а больше производит того, что нужно людям, — товаров народного потребления, машин и т.п.

Некоторые точки роста нашей экономики я вижу. Среди моих обязанностей в компании есть одна исключительно приятная — я отвечаю за организацию церемонии пуска новых станций и езжу на них регулярно. Вот такого праздника человеческого я в других местах не вижу, когда люди, нормальные люди, нормальные работяги, они обнимаются, друг друга поздравляют с праздником и говорят, что памятник себе при жизни уже сейчас поставили. Это станции абсолютно мирового уровня, и это точки роста, поэтому я убежден, не будучи экономистом, что в экономике все будет в порядке, если, конечно, в нее не влезать столь элегантными действиями, как влезли в дело ЮКОСа. Но наша экономика настолько здоровая, что она даже это пережила.

**Р. Гальцева**. Получилось так, что вы начали за упокой, а кончили за здравие. Я этому очень рада, но по ходу дела вы высказали столько странных вещей, гиперболизирующих каждое явление. Пример: что мы в осаде, мы окружены. Но это же пропаганда коммунистических партий, либерального крыла это не касается. Или вы говорите о бремени белых, но ведь оно и оставило английский язык и всю правовую систему для Индии.

**Л. Г.** Я не хотел говорить ни за здравие, ни за упокой, я хотел говорить, как, мне кажется, есть на самом деле. Я основываюсь на данных института Левады, вот эти ощущения осады, осажденной крепости — они очень сильно захлестнули либеральную часть общества, к сожалению. Меня это очень огорчает.

**Вопрос из зала.** Почему Джордж Буш после 11 сентября мог сказать американскому народу, что его никто не поставит на колени, и почему Путин не имел право это сказать после «Норд-Оста»? Я не вижу разницы.

**Л. Г.** Я вижу разницу. Президент Буш имел право это говорить, потому что на Соединенные Штаты напали, была совершена агрессия, были убиты граждане страны, и президент Буш говорил «мы не сдадимся, мы дадим адекватный ответ», что включало «мы вас защитим». Хочу обратить внимание, что после 11 сентября на территории США не произошло ни одного террористического акта. Больше эта шпана туда прийти не осмелилась или не смогла. Мне кажется, что слова нашего президента были не совсем удачными, потому что, если Буш и был виноват в гибели жертв, то очень опосредованно, а у нас были еще не похоро-

нены люди, которые погибли в ходе штурма нашим спецназом. Я далек от того, чтобы осуждать наш спецназ, это профессиональная работа, и легче всего об этом судить, сидя на диване и не служив никогда в армии. Я не исключаю того, что несмотря на страшные потери, которые там были, это было самым эффективным из всего, что было возможно. Но мне кажется, что в тот момент говорить об успехе операции было не совсем правильно. Я не разделял тех чувств, которые высказал президент нашей страны после «Норд-Оста». У меня были чувства другие в этот момент. А поскольку он президент, он выражает мнение народа, а я вот оказался как-то в стороне. Мне это не понравилось. Вот и все.

**О. Александр (Борисов)**. Когда вы говорили о мировом терроризме, что надо стать на сторону тех, кого эти террористы преследуют, это, конечно, хорошо. Но не кажется ли вам, что сам материал, почва для терроризма — это все-таки имущественное неравенство богатых и бедных стран. И путь помощи бедным странам, эффективной помощи, не менее правильный, чем просто арестовывать и т.д. Надо устранять не симптом, а причину.

**Л. Г**. Я думаю, что имущественное неравенство между регионами планеты является одним из факторов, я бы не считал его ни единственным, ни главным. Разумеется, я согласен с вами, что действия по спасению цивилизации, конечно, не могут сводиться к действиям в военной сфере, они не могут сводиться к полицейским операциям, к подавлению деятельности этих бандитов, а, разумеется, должны включать в себя и экономические, и культурные, и собственно гуманитарный компоненты. Абсолютно очевидно, что без этого ничего не получится.

**О. ВАСИЛЬЕВА**

Если говорить о современной ситуации в России и попытке, в частности, исторической науки оценить, что произошло и есть ли историческая преемственность между тем, что было, и тем, что стало, то я бы сказала, что мы не смогли, Россия не смогла найти согласия практически ни по одному вопросу из прошлого, настоящего и, соответственно, будущего. И надо сказать, что весь мир внимательно наблюдает за этой невозможностью найти согласие между прошлым и будущим и, наверное, все-таки делает определенные выводы. Я могу привести только один пример. Это данные за год. Были сделаны оценки пятисот серьезных статей серьезных зарубежных изданий о России. Из пятисот публикаций 2004 года только пять были позитивными. Значит, 495 публикаций были негативного характера. И то, мне сказали специалисты, которые занимались непосредственно этой обработкой, из этих пяти несколько было заказных.

Внутри страны мы тоже далеки от того, чтобы оценивать как прошлое, так и настоящее в позитивных красках. Я приведу пример, который меня потряс. Когда страна готовилась к 300-летию Петербурга, были проведены определенные мероприятия, были вложены определенные деньги и можно было показать, наверное, что-то очень хорошее об истории русской культуры, так в этот момент по каналу НТВ параллельно с торжествами шел сериал под названием «Бандитский Петербург — 6»...

Продолжу словами послания апостола Павла: «...преклоняю колена пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Об истории отечества, той которая была, и той, которую мы сейчас пытаемся найти, я и хочу сказать.

Как известно, до 1918 года никто из стран-соседей не ставил под вопрос легитимность российских границ. Такого не было. Восемнадцатый год — это окончание Первой мировой войны, подготовка Версальского мирного договора, а у каждого мирного договора есть обязательно секретный протокол. Формально, если вы прочитаете его 14 пунктов, там страны-победители оставляли за Россией единство. Но был и секретный протокол, шестой пункт этого секретного протокола был полностью посвящен российской тематике, и я позволю себе зачитать его: «Россия слишком велика и однородна, ее надо свести к Среднерусской возвышенности. Перед нами будет чистый лист бумаги, на котором мы начертаем судьбу российских народов». Там же де-факто предлагалось оставить правительство большевиков. Я подчеркиваю, что страны Антанты правительство большевиков тогда устраивало. И обязательным пунктом стояла следующая рекомендация: вывести из самопровозглашаемых республик все иностранные войска, включая Белую и Красную армии.

Можно по-разному расценивать протокол и, в частности, шестой пункт, но я его, как историк расцениваю все-таки как завуалированный, а потом и закрепленный курс на расчленение той самой территории, которая до недавнего времени была единой и российской.

После победы России во Второй мировой войне мир вошел в систему новых международных отношений, которые носили название ялтинско-потсдамской системы. Казалось бы, ничто не предвещало новых вопросов о территориальном делении России или каких-то изменений. Но, оказывается, это не так. Несколько лет назад широко обсуждался в прессе новый учебник, который был благословлен латвийским президентом и назывался «История Латвии». Я скажу, о чем этот учебник повествует. Это демонизация коммунизма в СССР, виртуальность будущего Нюрнберга и некий заход на оценку ялтинско-потсдамской системы как итога борьбы отвратительных тоталитарных систем: тогдашнего СССР и Германии. Когда президент Латвии выступала при вступлении страны в НАТО, там прозвучали такие слова: «Мы знали, что произвольные страницы, начертанные диктаторами, будут стерты и эти границы исчезнут. Больше не будет Мюнхена, больше не будет Ялты». И после этого, если вы вспомните, начинают вновь муссировать разговоры о Калининградской области, бывшей территории Восточной Пруссии.

Передо мной оратор говорил, что у нас создается образ врага. Он у нас не создается. Я уже сказала, что пятьсот статей, и везде негатив сплошной. Образ врага — это мы. Мадлен Олбрайт, а позже Кондолиза Райс несколько раз акцентировали внимание на том, что в новом мире, глобальном мире, изменяющемся мире такая кладовая, которой являются Сибирь и Дальний Восток, — это слишком хорошо для России, слишком шикарно для России. Она не сможет это освоить, и вообще зачем это все? Это должна быть кладовая мира.

Начала потихонечку развенчиваться победа СССР во Второй мировой войне, а стала внедряться и внедряется успешно другая идея, которую Буш и озвучил. Какая идея? Что боролись два монстра, боролись два тоталитарных режима, Нюрнбергский процесс уже произошел, давайте виртуальный процесс... Нюрнбергский, какой хотите, над тем, что называется теперь «Россия».

У страны должны быть национальные интересы, у любой страны они должны быть, — интересы, которые прежде всего преломляются в мотивированные и конкретизированные цели внешней и внутренней политики любого го-

сударства, вытекающие из национальной государственной идеи. Национальные интересы объективны. Почему? Поскольку связаны с неизменной человеческой природой, природой, географическими условиями, социокультурными, историческими традициями народа. Они имеют всегда две составляющие: одну постоянную — это императив выживания, непреложный закон природы, другую переменную, являющуюся конкретной формой, которую интересы принимают во все времена. Определение этой формы принадлежит государству, обладающему монополией на связь с внешним миром. Основа национального интереса остается постоянной. Поэтому внутренние факторы жизни страны, в частности политический режим, общественное мнение и прочее, которые могут меняться и меняются в зависимости от различных обстоятельств, не рассматриваются как способ повлиять на природу национального интереса. В частности, национальный интерес не связан с характером политического режима. Это я процитировала слова Моргентау, одного из выдающихся политологов, я с ним полностью согласна. Исходя из национальных интересов, которые, к сожалению, я не очень сейчас могу как историк выявить, из национальных интересов и вытекает *национальная идея*.

Как бы я ее очень коротко сформулировала? *Национальная идея* — это прежде всего система ценностных выборов, вектор направленности и цивилизованных ориентиров государства, отвечающих менталитету народа, который живет в этой стране.

**Вопрос из зала.** Вы допускаете ситуацию, когда интересы народа и интересы представителей государства не совпадают? Как тогда быть?

**О. В.** Я не просто допускаю. Я знаю, что это чаще всего не совпадает.

**О. Вениамин (Новик).** Бывает интерес частный, бывает индивидуальный, бывает групповой. Соответственно, бывает эгоизм на частном уровне и эгоизм на групповом и на национальном уровне. И отсюда возникает такой вопрос, что национальный интерес сам по себе ничего не может или значит нечто, что тоже подлежит оценке. Он может быть эгоистическим, а может быть, наверное, в высшем смысле — служением высшей цели, человечеству, Богу, в конце концов. Я понимаю, этот вопрос может быть не столько к вам как к историку, это вопрос, скорее, историософский, но я все-таки хочу узнать ваше мнение.

**О. В.** Могут ли быть в национальном интересе высокие и, скажем так, невысокие мотивы? Да, могут быть совсем невысокие мотивы. Я начала с территориальной целостности России. Вы, наверное, со мной согласитесь, что территориальная целостность любого государства — это все-таки интерес. Да? Он позитивен практически для всех живущих в этой стране? Нам безразлична наша территориальная целостность или нет? Думаю, что не безразлична. Если говорить о самом простом и самом видимом. Я не стою на позициях питерского историка, который предлагает, что не нужна нам Сибирь, не нужно нам Урал осваивать. Я не стою на таких позициях по очень простой причине. Не нам с вами раздавать и разбазаривать то, что не мы с вами собирали. На второй вопрос: могут ли национальные интересы устраивать в духовном плане всех? — я думаю, что нет. Здесь разница между идеалом и интересом.

**Вопрос из зала.** Как вы относитесь ко мнению, высказанному Георгием Петровичем Федотовым еще в 1947 году, что за Центральной Россией останется, вероятно, Белоруссия и Сибирь надолго?

**О. В.** Я отношусь к этому мнению очень хорошо.

**Вопрос из зала.** Считаете ли вы, что наша страна, новая Россия, сделала ошибку, объявив себя правопреемницей, хотя это выгодно в некоторых отношениях, Советского Союза, а не правопреемницей Российской империи, не отрекшись от этого государства как навязанного воле народа? Мне кажется, что тогда бы вопрос о, скажем, прибалтийских и других странах стоял бы по-другому.

**О. В.** Есть вещи, которые касаются обязательств по долгам, обязательств по каким-то еще экономическим вещам, которые нужно было выплачивать, и мы взяли на себя правопреемство экономическое. В идеологическом плане — да. Это другое дело, другой вопрос.

**Н. Горбаневская.** Вы как историк можете мне сказать, что произошло 17 сентября 1939 года? Я имею в виду то событие, о котором через год я читала как об освободительном походе Красной армии в Западную Украину и Западную Белоруссию. Назовите, что произошло.

**О. В.** Я оцениваю это событие так же, как и вы. Это был захват той территории, о которой мы с вами говорим, что потом у нас называлось присоединением.

**Н. Горбаневская.** Это было нападение на Польшу, которая сражалась с Гитлером, в союзе с Гитлером? Это было вступлением Советского Союза во Вторую мировую войну на стороне Гитлера или не было?

**О. В.** Это было вступлением в войну.

**Н. Горбаневская.** Я тоже не согласна с гипотезой, что Вторая мировая война была только схваткой двух тоталитаризмов. Этому предшествовал почти двухлетний союз двух тоталитаризмов, в том числе военный...

**А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ**

В стране отсутствует общенациональная повестка дня. Сегодня страна расползается по факту. Она расползается потому, что у каждого региона своя жизнь, у каждого сословия своя жизнь, у каждого отдельного человека своя жизнь. А что же нас всех объединяет? Ответа на этот вопрос нет.

В поздние советские годы, когда внутреннее осмысленное единство Советского Союза уже было под вопросом, — что смотрели советские люди по телевизору во всех точках необъятной родины? Две передачи. Одна передача называлась «Кабачок 13 стульев», другая — программа «Время», но там все ждали, когда будет про погоду. И вся мощная пропаганда, которая была брошена на то, чтобы содержательно объединять страну, работала вхолостую, поскольку ежедневная практика людей абсолютно разошлась с тем, что проповедовалось с экрана. Все верили в то, что они коллективисты, чуть ли не коммунисты, все послушно ходили на партсобрания, смотрели телевизор, в телевизоре говорили о том, как мы все работаем на общее благо, как мы боремся за производительность труда. В реальности все были вовлечены в теневую экономику, все! Нет ни одного слоя, который не был бы в 70-е годы вовлечен в теневую экономику. Репетиторство для интеллигенции, мастерские по ремонту машин и так далее, и так далее. Кто не воровал, тот подрабатывал. Но налоги не платили — соответственно, это теневая экономика. Говорили об интернационализме, но в 70-е годы начинает рождаться национальное чувство в республиках: первые демонстрации в Грузии в момент принятия Конституции 1977 года, когда возникла угроза грузинскому языку. Тогда же появляется великорусское чувство, в смутных полусоветских формах.

А какое информационное поле объединяло страну? Развлечения («Кабачок 13 стульев») и погода. Никаких больше тем, которые советский народ объединя-

ли бы поверх разделений, уже не было. Очень простой фон — невероятный рост цен на нефть. Кто-нибудь помнит, сколько стоила нефть до кризиса начала 70-х годов? Два доллара за баррель. Потом среднегодовая цена — пятнадцать. После иранской революции она начинает в течение трех лет резко расти до 82-го года включительно до 70 долларов, если пересчитать на сегодняшний доллар. Пустыми немереными деньгами закачивается пустота отсутствующего содержания. Страна объединяется немереными деньгами, больше ничем.

Что происходит дальше, мы знаем. В середине горбачевского правления — 9 долларов за баррель. В 91-м году страна исчезает. Она не имела внутреннего единства, и никакие вооруженные отряды партии в виде КГБ — ни армия, ни парткомы и профкомы, связавшие страну воедино, никакие вертикали советской власти ничего не удержали, потому что содержательное единство было утрачено. А содержательное единство — это общенациональная повестка дня, то, что объединяет всех поверх территорий, поверх имущества, поверх национальных и религиозных различий.

То, что мы видим сегодня, информационная повестка дня в России... Вот возьмем телевидение. Какая первая политическая программа вновь вернула к себе интерес советского еще зрителя? Программа «Взгляд». Почему? Там обсуждались вопросы, которые людей в тот момент волновали. Я не говорю, что там давались правильные вопросы, но было понятно, что люди обсуждают, какова будет моя судьба, судьба моих детей, и эти вопросы волновали людей поверх разницы имуществ, поверх разницы вер и наций.

Потом следующий период: какие программы, общественные и политические, смотрятся, обсуждаются? «Итоги» и «Зеркало». Это уже более узкие программы, там уже не политика как часть общества, а политика, как таковая, политическая интрига, которая тем не менее затрагивает мое будущее, будущее моих детей, и поэтому это смотрится и обсуждается.

Следующий момент, когда исчезают и эти программы, — «Намедни». Это глянец, глянцевый журнал, это гламур, гламурная политика, политика целлофанированная, потому что, чтобы продать политику, ее нужно уже упаковать, сама по себе она уже не продается, она не затрагивает сознание людей. Там должно быть одновременно про теракт в московском метро или взрывы самолетов, тут же про бомжей, которые живут в Москве, тут же про олигархов, которые ездят в Куршевель.

Дальше. Какая общественно-политическая программа на сегодняшний день самая обсуждаемая? Это программа Владимира Соловьева по НТВ. Опять же не обсуждаю, хорошая она или плохая. Мне важно, что такое она по жанру. Это пародия, это хохма. Пародия на все виды политической журналистики, на все виды дискуссий, на все виды содержательных разговоров.

Мы вернулись в точку, из которой ушли. Общенациональной повесткой дня стало развлечение. «Аншлаг» — для бедных, Владимир Соловьев — для богатых и успешных. Это подмена содержательного разговора хохмой. И фон тот же самый — немереные нефтяные деньги, которыми закачивается смысловая пустота.

При этом потребность в общенациональной повестке дня есть. Я разговариваю с людьми по всей стране: пока еще есть. Пока еще растет и движется в политику и в экономику поколение, которое готово эти вопросы ставить. Следующее привыкнет к тому, что такой повестки дня нет вообще. И никакая вертикаль власти не удержит эту территорию в отсутствие смыслового единства.

Попытки предложить новые идеологические праздники натыкаются на то, что никто не дает себе ответа на простой вопрос: а с каким современным содержанием эти исторические праздники связаны? 4 ноября... Я в регионах спрашивал молодых продвинутых людей: что в этот день произошло? Никто не может ответить. Я уже не говорю о том, что 4 ноября вообще ничего не произошло, там путаница с пересчетом 22 октября.

**Реплика из зала.** День Казанской иконы Божьей Матери.

**А. А.** Да, мы празднуем Казанскую икону Божией Матери, тогда скажите, пожалуйста, мусульманам, что общенациональным праздником России является день Казанской Божией Матери! Предложите нации путь религиозный, путь создания теократического государства, предложите, убедите людей. Сумеете убедить — вопросов нет. Но это не вводится обманным путем. Если мы говорим, что это день общенационального единства, объясните мне, в чем это общенациональное единство. Как события 1612 года связаны с событиями сегодняшними? Есть вещи опасные, нельзя вводить тему Смуты, нельзя обыгрывать тему Смуты в общенациональных праздниках. Тем более что из Смуты в 1612 году мы еще не вышли. Мы накликаем на себя беду. Этот праздник не врастет, не войдет в плоть и кровь, в сознание россиян. Он не будет общенациональным праздником.

На Советский Союз мне, честно говоря, было наплевать, он был мне чужим, я был ему внутренним эмигрантом. Здесь это моя страна, развалиться ей я позволить не могу. А с другой стороны, как ей не развалиться, если она удерживается на сегодняшний день только немереными деньгами и больше, я вас уверяю, ничем.

У нас на карте возникают готовые государства. Красноярский край при благополучном стечении обстоятельств — отличная управляемая территория, при неблагополучном — это готовое государство. Там добыча с переработкой на одной территории, внутри одних элит, выходы на внешние границы есть, что вам нужно еще? Если возникает тяжелейший кризис и политическая нестабильность, они уходят. Алтайский край — уходит. Тюмень с ее немереными богатствами — уходит.

Если мы не предложим смыслового единства, то никакая вертикаль власти сама по себе ничего не заменит, потому что границы государства проводятся по нескольким очень понятным параметрам. Границы государства заканчиваются там, где: а) заканчивается ощущение единой исторической нации; б) там, где заканчивается экономическая целесообразность; в) там, где заканчивается возможность наведения порядка полицейскими средствами без применения армии. Всё.

На сегодняшний день у нас есть не Чечня уже, а Северный Кавказ, который гораздо опаснее, который находится на грани серьезного взрыва, и там, вполне вероятно, придется применять армию, а не полицию. У нас Дальний Восток не попадает в зону экономической целесообразности, его нужно удерживать другими мотивациями. И смыслового единства нет, общенациональной повестки дня нет, а мы разговариваем о высоком, не говоря о практическом. У нас нет ничего, кроме, извините, телевизионного сигнала, да и тот бессмысленный.

**Вопрос из зала.** Мне кажется, что Александр Николаевич все-таки упустил один момент в эпоху 60–70-х годов, когда уже все как бы разваливалось, который объединял страну. Некая конвенция, скажем так, некий общественный договор, пусть не осознанный, а где-то и осознанный, он существовал. Память войны, известная поговорка «ничего, что все пропало, лишь бы не было вой-

ны»? То, почему массой народа, теми, кому было 45 в то время, кто прошел войну, были одобрены танки в Праге. То, что кончилось Афганистаном.

**А. А.** Я говорил об информационном поле, а в информационном поле ни танков не было, ни конвенции не было, это было неформально. Не власть навязала обществу эту конвенцию, оно само заключило эту конвенцию. На сегодняшний день я не вижу общества, желающего заключать конвенцию. И не вижу власти, желающей способствовать порождению смысла.

**Вопрос из зала.** Меня смущает жесткость тезиса относительно того, что только нефтедоллары держат страну. Вот я представляю, что живу не в Москве, а во Владивостоке. Мне говорят: если мы отделимся — с Японией торгуем, уровень жизни в три раза вырастет, ты готов? Я знаю, что есть Питер, есть Москва, есть этот огромный фантом культуры, его не выкинешь, — и так запросто проголосовать? Поэтому вопрос: повторите ли вы сейчас этот жесткий тезис так, как вы его произнесли: только нефтедоллары?

**А. А.** Разумеется, не только. Но опасность серьезная... Вы давно были во Владивостоке? А я недавно. И на Камчатке недавно, и в Бурятии недавно. Пока нет мощных сепаратистских настроений, пока нет. Но уже растет поколение, которое не бывало в Москве, для которого Петербург дальше, чем Токио, для которого ближайшие интересы — другие. И голосовать ведь никто не будет. Невозможно представить ситуацию, что какой-нибудь сумасшедший сейчас вынесет вопрос на референдум: давайте отделяться от России. Но первый серьезный кризис в обозримом будущем — и может быть все, что угодно. Если мы не ответим на вопрос новому поколению владивостокцев: что означает быть русским? что означает быть россиянином? что означает быть гражданином России? почему они граждане России, такие же, как люди, живущие в европейской части?

**Е. Ермолин.** Почему первостепенна и первична ценность сохранения государственной целостности, целостности страны? Чем плох распад страны для культуры и для духовного опыта человека?

**А. А.** В истории бывает по-всякому, я не исключаю, что страна может распасться, но я сначала думаю не о культуре и о культурном обмене, а о реальных судьбах реальных людей. Одно поколение будет потеряно. Одно поколение будет брошено в топку. Оно сгорит. Дальше приспособятся. Следующие поколения будут жить нормально. Но стоит или не стоит? С моей точки зрения, не стоит. Это первое соображение. Второе соображение. Вы знаете, это субъективное ощущение, это никакой не научный анализ, но, по моему ощущению, все яркое, энергичное и мощное в России сосредоточено: а) в Москве, б) на Урале, в) в Сибири и в Поволжье отчасти. Если страна обкалывается по Уральский хребет, здесь будет очень неинтересно.

**Вопрос из зала.** Что удерживает вместе такие страны, как Франция, предположим?

**А. А.** Вот здесь присутствует месье Нива, насчет Франции ему виднее. С моей точки зрения, во-первых, внутренние французские границы проведены иначе. Там регионы делятся по производственному принципу. Во-вторых, любой француз знает, что такое принадлежать французской традиции.

**Вопрос из зала.** Если любой француз чувствует себя принадлежащим к какой-то традиции, то не говорит ли это о примате культуры? Тут вы противоречите самому себе. Значит, для француза примат французской культуры важнее других вещей?

**А. А.** Я не очень понимаю, в чем я себе противоречу.

**Вопрос из зала.** Вы сказали, что культурный обмен дело второстепенное, а жизненно важно — как проведены политические границы.

**А. А.** Я отвечал на конкретный вопрос: почему я боюсь распада России, если это приведет к культурному взаимодействию, к росту культуры. Я сказал, что прежде, чем это приведет к росту культуры, это приведет к поломанным судьбам конкретных людей. Только в этом смысле я об этом говорил. А о том, что нацию, гражданскую нацию прежде всего удерживает в смысловом единстве культура, — а кто же с этим спорит?

**Б. ТАРАСОВ**

В конечном итоге именно духовное начало играет в истории первостепенную роль, предопределяя направление, содержание и характер творческой деятельности, цели и задачи использования тех или иных «внешних» достижений. Следовательно, «восходящее» или «нисходящее» развитие истории зависит не столько от изобретаемых общечеловеческих ценностей (при уже существующих христианских!) или изменяющихся социальных учреждений, научных открытий или промышленных революций, сколько от «внутренних» установок сознания, своеобразия нравственных принципов и мотивов поведения, влияющих по ходу жизни на рост высших свойств личности или, напротив, на их угасание и, соответственно, на их проекцию вовне и обустройство окружающего мира.

«Внутреннее, сокровенное, духовное, — подчеркивал И.А. Ильин, — решает вопрос о достоинстве внешнего, явного, вещественного». Обращая внимание на невидимую сращенность «идей» и «людей», на зависимость «внешнего» от «внутреннего», русские писатели и мыслители как бы приглашают и нас повернуть голову в эту сторону. Но мы все продолжаем на свой лад воспроизводить разоблаченную еще Достоевским (кстати, в перестроечное время почти один к одному повторена модель его «Бесов» уже со своей нерасторжимой взаимосвязью «чистых» западников и «нечистых» нигилистов, «прогрессивных» губернаторов и примостившихся к ним уголовников, со своими литературными и кинематографическими «кадрилями» и т.п.) схему зависимости человека от среды, уповаем на «внешние» достижения биологических или информационных революций, меняем местами главное и второстепенное, принимаем материальные средства человеческого существования за его высшую цель, заслоняясь от «внутреннего» рассмотрения конкретного душевного содержания и реального состояния сознания современных индивидуумов разговорами о формальных преимуществах тех или иных общественных учреждений и механизмов или абстрактными причитаниями о гуманизме, прогрессе, демократии, новом мышлении, рыночных отношениях, правовом государстве и т. д. и т. п. (здесь вспоминаются строки покойного поэта В. Соколова: *и зачем мне права человека, если я уже не человек*).

Нынешние властители дум почти с религиозным трепетом твердят о так называемом *цивилизованном* мире, не замечая его не только оборотные, но и даже очевидно противоречивые стороны, отказываясь от качественного анализа душевно-духовного самочувствия личности, не задумываясь о неизбежных и естественных последствиях общего хода жизни, имеющего в своей основе не дружбу, любовь и согласие, а конкуренцию, соперничество и вражду, не пресекающего, а распаляющего и утончающего действия восьми «главных страстей», или «духов зла» (гордости, тщеславия, сребролюбия, чревоугодия, блуда, уныния, печали, гнева).

В пылу неофитского первооткрывательства и наивно-пристрастной идеализации ценностных координат современной цивилизации за бортом сознания оказываются те процессы, которые по-своему формируют и обрабатывают духовно-душевный мир человека, укореняют его волю в низших этажах существования, упрочивают и разветвляют своекорыстие как темную основу нашей природы в рамках денежного абсолютизма, воинствующего экономизма, юридического фетишизма и мировоззренческого сциентизма. Так называемые *эмпирики* и *прагматики* (архитекторы и прорабы как «социалистического», так и «капиталистического» Вавилона), общественно-экономические идеологи всякого времени и любой ориентации, уповающие на разум или науку, здравый смысл или хваткую хитрость, «шведскую» или «американскую» модель рынка, склонны игнорировать стратегическую зависимость не только общего хода жизни, но и их собственных тактических расчетов, от непосредственного содержания и «невидимого» влияния изначальных свойств человеческой природы, от всегдашнего развития страстей, от порядка (или беспорядка) в душе, от действия (или бездействия) нравственной пружины. «Под шумным вращением общественных колес, — заключал И.В. Киреевский, — таится неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит все».

Размышляя над творчеством Достоевского, Вл. Соловьев приходил к следующему фундаментальному и вечно актуальному выводу: «Пока темная основа нашей природы, злая в своем исключительном эгоизме и безумная в своем стремлении осуществить этот эгоизм, все отнести к себе и все определить собою, — пока эта темная основа у нас налицо — не обращена — и этот первородный грех не сокрушен, до тех пор невозможно для нас никакое *настоящее дело* и вопрос *что делать* не имеет разумного смысла. Представьте себе толпу людей слепых, глухих, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет исцеления... Истинное дело возможно, только если в человеке и в природе есть положительные силы добра и света; но без Бога ни человек, ни природа таких сил не имеет».

Тютчев в еще более резкой и альтернативной форме (или — или) ставит коренной историко-антропологический вопрос о внутренней антагонистичности и жесткой противопоставленности как бы двух сценариев («с Богом» и «без Бога») развития жизни и мысли, человека и человечества. По его убеждению, между самовластием человеческой воли и законом Христа немыслима никакая сделка. «Человеческая природа, — подчеркивал он, — вне известных верований, преданная на добычу внешней действительности, может быть только одним: судорогою бешенства, которой роковой исход — только разрушение. Это последнее слово Иуды, который, предавши Христа, основательно рассудил, что ему остается лишь одно: удавиться. Вот кризис, чрез который общество должно пройти, прежде чем доберется до кризиса возрождения...» О том, насколько владела сознанием поэта и варьировалась мысль о судорогах существования и иудиной участи отрекшегося от Бога и полагающегося на собственные силы человека, можно судить по его словам в передаче А.В. Плетневой: «Между Христом и бешенством нет середины». Он раскрывает в истории фатальный процесс дехристианизации личности и общества, парадоксальные закономерности самовозвышения эмансипированного человека, все более теряющего в своей

«разумности» и «цивилизованности» душу и дух, обоготворяющего плоть и становящегося рабом низших свойств собственной природы.

Типологически сходная логика заключена и в размышлениях Н.А. Бердяева. В работе «Новое средневековье» он вслед за Достоевским, К.Н. Леонтьевым, В.В. Розановым настаивает на том, что индивидуалистическая цивилизация XIX–XX веков с ее демократией, материализмом, техникой, с ее общественным мнением, прессой, биржей и парламентом способствовала снижению психического строя личности, всеобщему смешению разных культур и однородной примитивизации бытия. В результате создаются химеры и фантазмы, направляющие человеческую жизнь к фикциям, которые производят впечатление непреложных сущностей. И единственный выход из разложения «серединно-нейтрального, секулярного гуманистического царства», когда маммонизм и панэкономизм стали определяющими силами современности, а вся духовная жизнь человечества кажется иллюзией и обманом, Бердяев видит опять-таки в преображении «темной основы нашей природы» с помощью «положительных сил добра и света». «Если нет Бога, — приходит он к выводу, — то нет и человека», а «религии Христа противоположна лишь религия антихриста».

В том же русле находится и мысль евразийца П.Н. Савицкого, заключающего, что научно-технический прогресс Нового времени куплен ценой религиозного оскудения, обожествления материальной сферы существования как чего-то самодовлеющего, окончательного и исчерпывающего цели жизни. Однако, замечает он, культ меркантильных интересов и «всяческой животной первоначальности» не может являться основой длительного и благополучного общежития, ибо тогда разрушительный потенциал в душе человека подспудно усиливается и усложняется и в конечном итоге (дело лишь в сроках) одолеет силы созидания. Общество же, заботящееся исключительно о земных благах, рано или поздно лишится и их. И этот мыслитель подчеркивает, что здоровое социальное устройство обретается лишь на путях синэргийного соработничества человека с Богом и, соответственно, наполнения «пустой» свободы высшим смыслом и святынями «иного мира».

Удивительно, но в общем-то закономерно, что какая-то внутренняя цензура или атрофия соответствующего восприятия не позволяют сегодняшним интеллектуалам хоть как-то обсудить идеи крупнейшего западного социолога П.А. Сорокина, который также видит единственно спасительный выход из тупиков натурализма и антропоцентризма в теоцентрическом жизнепонимании. Книга Сорокина «Человек, цивилизация, общество» (М., 1992) осталась невостребованной. Автор акцентирует внимание на том, что противостояние демократии и тоталитаризма, свободы и деспотизма, капитализма и коммунизма, интернационализма и национализма не составляет центральной проблемы нашего времени. Текущие популярные темы, постоянно освещаемые государственными деятелями и политиками, профессорами и министрами, предпринимателями и журналистами, — всего лишь производные и побочные ответвления главного вопроса: чувственная форма жизни и культуры против идеациональной.

Сорокин выделяет один из основных принципов «чувственного общества», освобожденного от Бога и релятивизирующего все высокие ценности, абсолютные истины и нравственные императивы: «Истинно все, что полезно; допустимо все, что выгодно». Соответственно утилитаризм и гедонизм, формирующие атмосферу «цивилизованного мира», оказываются в нем самыми важны-

ми критериями. В такой атмосфере, например, «чувственное искусство» в литературе, живописи, музыке, театре становится все более вульгарным и поверхностным, избегающим высокого и благородного начал в человеке. Оно сосредоточивается нередко на патологическом, демонстрируя склонность к иронии и карикатуре, попадая в тиски культа новизны и технической изощренности. Искусство превращается в товар для развлечений, все чаще контролируется влияниями моды и коммерческими интересами. Постепенно и постоянно сужающийся прагматизм, отделенный от высших религиозных, нравственных и эстетических критериев, трагически ограничивает мир социально-культурных значений личности в потоке прозаических интересов и эгоистических желаний. Параллельно в таком контексте распространяются «презирающие» человека «рабские» концепции, где он предстает животным организмом и поведенческим агрегатом стимулов и реакций, условных и безусловных рефлексов (без разума, совести, воли), физиологических стремлений, пищеварительных или экономических потребностей. Ученый показывает и доказывает, что все духовное, идеалистическое, бескорыстное, святое, благородное незаметно сводится к заблуждению, невежеству, идиотизму, лицемерию, скрывающим «низкое происхождение» основных поведенческих мотивов. Истинные нравственные понятия воспринимаются в лучшем случае как «идеологии», «рационализации», «красивые речевые реакции», маскирующие ведущие корыстные интересы людей. По убеждению Сорокина, вырваться из губительного коловращения в плену чувственных и эгоистических форм искусства, науки, этики, политики и жизни в целом можно лишь при решительном повороте к идеациональной культуре, основанной на «принципе сверхчувственности и сверхразумности Бога как единственной реальности и ценности».

В противном случае общество со всеми своими прогрессивными конституциями и учреждениями, ставящее во главу угла исключительно материальное процветание и благополучие, незаметно для самого себя морально деградирует и выстраивает не узреваемый до поры до времени «забор» для своей деятельности. Об этом «заборе» во «всяком чисто человеческом прогрессе» размышлял П.Я. Чаадаев, писавший о самопленении умов в тюрьме языческого материализма, «в определенном тесном кругу, вне которого они неизбежно впадали в пустую беспорядочность»: «Дело в том, что прогресс человеческой природы вовсе не безграничен, как это обыкновенно воображают; для него существует предел, за который он никогда не переходит. Вот почему цивилизации древнего мира не всегда шли вперед... Дело в том, что, как только материальный интерес удовлетворен, человек больше не прогрессирует: хорошо еще, если он не идет назад!»

Внутренняя логика в общем-то случайно взятых отечественных мыслителей и писателей отчетливо и выпукло показывает, что языческий выбор в любом («демократическом» или «тоталитарном», благообразном или неприглядном) варианте выдвигает на авансцену «недоделанных» и «недосиженных» людей, господство которых оживляет «темную основу нашей природы» и еще более пригнетает душу «ветхого Адама» греховными страстями и корыстными интересами. Без духовного максимализма и вышесмысловой наполненности любые гуманистические начинания и идеи (а «минимальные», «презирающие» человека и предлагающие ему дьявольский выбор между большим и меньшим злом, — тем более) расползаются, как тесто, теряют подлинную разумность, готовы к предательскому перерождению и вымиранию. Без освобождения из политико-

экономического плена и обретения истинно человеческого и непоколебимого благородства, благообразия и бескорыстия нравственная пружина демократии, права, науки, культуры слабеет и перестает работать. В таких условиях немыслим плодотворный поиск так называемого третьего спасительного пути между Сциллой кровавого тоталитаризма и Харибдой потребительской деспотии, которые, несмотря на видимую и утверждаемую противоположность, в ситуации духовного, нравственного, психологического, экологического, демографического кризиса все очевиднее представляются одинаково тупиковыми и внутренне взаимозависимыми вариантами натуралистически и антропоцентрически понимаемой истории.

И здесь в понимании по-настоящему глобальных и решающих проблем русские мыслители и писатели находят общую почву с такими, например, христианскими философами Запада, как К. Ясперс. Когда он говорит о «последнем походе против благородства» в современной цивилизации и противопоставляет ему *«обладающих самобытием людей»* (людей совести и чести, милосердия и справедливости, долга и ответственности), он вызывает в памяти образы «простых» и «незаметных» героев «Капитанской дочки». (Кстати, от того, какой тип личности — Петра Гринева или Швабрина — возобладает в разных слоях общества и во властной вертикали, от качества его «нравственной пружины», зависит во многом и судьба России.)

И другой «внутренний» вывод о «трезвой» и «реалистической» необходимости духовного максимализма вытекает из «внешнего» диалога разных персонажей истории и культуры. Еще Гоголь писал о «высшей битве» — не за временную свободу, права и привилегии, а за человеческую душу, отсутствие света и добра в которой не заменят никакие конституции и инвестиции и которой для ее исцеления нужно вернуть забытые святыни. Следует круто направлять лодку вверх, не то река жизни снесет ее вниз по течению, предупреждал Л.Н. Толстой. В том же русле и совет епископа Игнатия Брянчанинова: чтобы попасть в избранную цель на земле, следует метиться в небо.

**О. СЕДАКОВА**

Я не только против идеи «национальной идеи» в любом ее виде, но и против идеи «идеи» вообще. В пространстве политики, во всяком случае. Я имею в виду совсем не платоновские идеи — и не гегелевские, хотя, кажется, именно у Гегеля и происходит переворот значения «идеи» от платоновских, по существу неприкосновенных для человека реальностей к чему-то по существу ухватываемому и орудийному. Это у Гегеля, познав «идею» чего-то (не «сущность», а «идею»), мы приобретаем возможность оперировать самой вещью через эту ее «идею». Но, во всяком случае, извлекаются эти «идеи» еще из вещей. В дальнейшем «идеи» могут и вообще отодвинуть вещи. Не «идейная», не «идеологическая» действительность практически лишается всякого смысла и ценности. Ценность и реальность остаются за «идеями», ради которых идут на смерть, за «идеями», которые «воплощают в жизнь», за «идеями», которые «движут массами». Умственные вещи, обладающие сверхценностью и якобы особой энергетикой, магическое целеполагание — вот чего ищут, как правило, когда говорят — в политике, подчеркну — о поисках «идеи».

Однажды, читая лекции по русской поэзии в одном американском университете, мне пришлось попытаться определить то особенное значение «идеи»,

которое, как мне казалось, свойственно только нашей традиции. Попробую пересказать это мое описание.

Прежде всего, «идея» — это не только не *мысль*, но она противоположна *мысли*. Потому что *мысль* — это живое, динамическое состояние. Если мысль сталкивается с сопротивлением предмета, который она мыслит, она меняется. Иначе это уже грязное мышление, wishful thinking. «Идея» же меняться не должна ни при каких обстоятельствах. «Идея» в принципе отменяет мысль как собеседование с предметом, как вопрос к нему и к себе. Далее. «Идею» часто путают также с *верой*. «Идейный человек» и «верующий человек» — это у нас слишком часто понималось как синонимы. Но «идея» в той же степени, что *мысли*, противоположна и *вере*. Ведь вера — тоже род общения со своим «предметом» (условно говоря) и, кроме того, род реального слушания того, во что она верит. Оттуда могут исходить такие пожелания, что они заставляют менять и решения, и идеи, и поведение, и все прочее. «Идея» же не говорит ни с чем и требует преданности себе именно в этой своей законченности и неподвижности, в своей императивности. «Идеи», как я говорила, требуется «воплощать в жизнь», на самом же деле — отменять ими жизнь, если в ней эта дурость воплотиться не может. Отменять себя самого в качестве мыслящего и чувствующего существа уж во всяком случае «идейный человек» обязан. В этом находят его героизм и не-обывательскую высоту. Но «идея» этого рода, у которой такое страшное историческое прошлое в нашей стране, — это, на мой взгляд, не что иное как название страшной болезни, в которую входят добровольное самоослепление и насильственное ослепление других. «Идея» — это идол, требующий человеческих жертвоприношений. То, что «идеология» — не слишком хорошая вещь, все разумные люди вроде уже как-то договорились. Но что сама «идея» в этом ее характерном употреблении — опасная и болезненная вещь, никуда кроме как в «идеологию» не ведущая, — вот это почему-то остается не установленным.

Я помню одно из немногих счастливых политических впечатлений, которые выпали на мою жизнь, — время ухода «идей», время, когда знакомые люди, попутчики в электричках, коллеги и т.п. как будто расколдовывались, с лиц спадали идеологические маски и можно было вдруг увидеть на месте закованного в идейную броню человека живое лицо, живые глаза, живые реакции, живые вопросы о реальности. Это было для меня счастливейшее время, обнаружение живого на месте того, что почиталось безнадежно мертвым. Я боюсь, что то, к чему сейчас с самых разных сторон, и сверху, и снизу, тянутся люди в нашей стране — это новая идейная кабала, новая маска, новое омертвение, которое называют «порядком». Поиски нового умственного призрака, требующего «беззаветной преданности» себе (помните «беззаветную преданность идеям партии»?), желание скрыться под новой маской и вновь потерять человеческое лицо, вновь потерять право на мысль и непосредственное чувство происходящего.

Мне, как свидетелю и участнику позднесоветской истории, хотелось бы возразить одной важной, высказанной на сегодняшнем заседании вещи: советское общество времен застоя, было сказано, связывали только развлекательные телепрограммы и прогнозы погоды; никакой общей идеологии давно не существовало. Да, к официозной идеологии, выраженной в нескольких формулах, которые раз по пять каждый гражданин изучал начиная с первых классов школы, это общество относилось глубоко цинично. Но при этом оно было внутренне крайне связанным — тем же цинизмом, между прочим. Эту сплоченность обще-

ства с особой ясностью чувствовал человек, который был из него изгнан. Вот оттуда, со стороны, было видно, насколько солидарно и внутренне сплочено это общество, насколько люди готовы всегда и вместе выступить против того, кто на «нас» не похож («Народ-пограничник», как написал кто-то из тогдашних непубликуемых поэтов). Но на чем же основывалось это единство? Конечно, не на коммунистической идеологии: на некоем непрописанном «идейном чувстве» «нас» и «нашего». Описать конкретно, что входило в это «наше», — задача аналитического историка. Но что бы в него ни входило, оно рухнуло и оставило рассыпанное, атомизированное население. «Антиидеей» к былой «идее» «нас» стала «идея» крайнего, хулиганского индивидуализма. Ничего *общего* как будто совсем не осталось. «Свое» человека совпало по существу с границами его кожи. Так не только страна, но и отдельный человек не может жить. Это противоречит даже его биологии, его природе zoon politikon. На месте этого зияния, разбегания и сужения существования до самых невзрачных занятий, вроде как урвать свою долю — и бежать с ней побыстрей и подальше, пока не отняли, — на этом месте, где мы теперь оказались, и вырастает идея найти какое-то новое консолидирующее начало. И поскольку о естественных основаниях общежития здесь давно забыли, а «идейность» осталась в крови, в ментальности в нашей стране, все поиски опять приводят к «идее». Говорят ли о здешней самобытности и о Западе (неважно, неозападники или неославянофилы) — это опять не конкретный Запад, сложный и многообразный, а «идея» Запада (Запада потребительского, бездуховного и т.п.). Не конкретная страна Россия в ее сегодняшнем состоянии, а ее старая «идея». Это опять то, в чем нечего обсуждать, о чем не может быть диалога — ведь в мире «идей» пространства для разговоров нет. В этом отношении для меня «западная идея» и «русская идея» не сильно различаются. И то, и другое — два пространства бездумья и болтливой бессловесности.

Я вполне сознаю всю обоснованность поисков чего-то такого, что способно объединить людей, а отдельному существованию придать какое-то измерение, превышающее голую «приватность». Чего-то такого, что научило бы нас солидарности (редкому у нас навыку, противоположному и былой опостылевшей «сплоченности», и новейшему «сверхиндивидуализму», — навыку, соединяющему в себе самостоятельность, *самостояние* отдельного человека, и взаимосвязь, взаимную ответственность людей друг за друга. Нужда в этом действительно крайне велика, и единственное, чего я могу пожелать — потому что сделать тут вряд ли кто из нас что может, но желание тоже кое-чего стоит, — чтобы это искомое было меньше всего похоже на новую «идею» прежнего типа, чтобы с самими собой и с ближними нас соединяло что-то другое, чем «идея». Процитирую старинную поварскую книгу, процитированную В.В. Бибихиным: «Для хорошего ведения хозяйства нужно много разнообразных вещей, но самое главное это желание чтобы все было хорошо». «Такого простого желания, — продолжает Бибихин (в 1993 году), — сейчас делается все меньше».

«Чтобы все было хорошо» — это что-то другое, чем привычное противостояние «другим» или позирование перед взглядом другого. Об этом уже давно проницательно заметил Александр Исаевич Солженицын («Как нам обустроить Россию»). Он выразил одно из важнейших осознаний многовекового опыта, когда написал, что стране нужно жить *для себя*, что многие беды Российского государства происходили именно из-за того, что оно постоянно делало что-то, *имея в виду других*, практикуя, психологическим языком, демонстративное

поведение: «Мы вам (или: им всем) покажем!» Вся «русская идея» была построена таким образом, по контрасту с «другими», вся ее центральная и сверхценная идея «самобытности». Что касается самобытности, то обсуждать здесь просто нечего — кроме неточно употребленного слова «самобытный». «Самобытный» — значит имеющий источник собственного существования в себе самом. Даль приводит пример: «Самобытен только Бог». Здесь же имеется в виду не более чем своеобразие, своеобычность. Своеобразие безусловно существует. Хочет человек или не хочет, хочет народ или не хочет, он им обладает, и это ни хорошо, ни плохо, и разумнее обдумывать что-нибудь другое. Как со всем этим своеобразием желать того, чтобы все было хорошо, как устроить достойную человека жизнь.

Так вот, повторюсь, «идея», которая близка к рационально построенному мифу или идолу, — это самое страшное и гибельное, к чему можно сейчас прийти, но к чему, увы, слишком многие готовы, потому что это сразу и надолго избавит от вечного вопроса «Что делать?» и освободит руки и властям, и «народу», позволив вновь ни за что лично не отвечать.

Программа Солженицына, который решительно выступает против «идей», как сам он говорит, — подхват старой шуваловской программы: «сбережение народа». Вероятно, лучше программы *для власти* не придумаешь. Хорошо, если власть будет беречь народ, чего она здесь делать отнюдь не привыкла. Но заметим все же: на каком языке мы говорим? Слова о сбережении народа были произнесены в эпоху крепостного права, когда народ действительно был абсолютно политически беспомощен и ничего лучше с ним нельзя было делать, как беречь, не мучить, не тратить. Но современный народ России разве тот же? Разве он не избирает свою власть, в отличие от времен графа Шувалова? И если он все же не вечное дитя при суровом или же снисходительном отце, то какова же тогда программа *для народа*? Для нас, иначе говоря? Если продолжить мысль Солженицына самым простым образом: властям вменяется сбережение народа, народу — сбережение друг друга, в том числе и от власти. Солидарность, без которой невозможно не только выживание, но и жизнь. Излечение от недоверия друг другу, которым всегда пользуется «чужая власть». От недоверия к миру, в котором ничего хорошего как будто и быть не может.

**О. Вениамин (Новик)**. Мне хотелось бы выступить немножко в защиту идеи, как бы нм тут вместе с водой не выплеснуть и младенца. Да, в мышлении есть динамика и статика, эта статика называется идеей. Но совсем без идей тоже нельзя. Есть качество идей. Не стоит бояться идей как идей. Идеи тоже бывают разные. Например, у Бердяева есть работа «Об отношении русских к идее». Он там говорит, что русские вообще не воспринимают почти никаких идей. Получается какой-то парадокс. С одной стороны, мы все страшно идеологизированы, а с другой стороны, мы как бы вообще идей не воспринимаем. Как это совместить?

**О. С.** Я думаю, что у Бердяева в этом, как и во многих других вещах, простой последовательности нет. Я думаю, он имеет в виду приблизительно то, о чем не раз писал Пушкин: о лени и нелюбопытстве, о неуважении к тому, что с утилитарной точки зрения представляется «отвлеченным» и «бесполезным». О недоверии к бескорыстной, самоценной умственной работе, об определенной умственной инертности и косности, которая для России, увы, очень характерна. Помните цветаевское — о Пушкине, кстати: «Преодоленье / Косности русской». С этим нежеланием предаваться умственному движению (ибо где еще могут

обругать «слишком умным»? и в любом таком «слишком умном» сразу же заподозрить «несвоего», «нерусского»?) готовность к «идеям» и «идеологизму» связана самым прямым образом. Недаром у народов, которые традиционно признаются здесь «умными», у англичан скажем, опасность идеологизма минимальна.

**Вопрос из зала.** Макс Планк предложил идею квантов. Гелл-Манн предложил идею кварков. Обе идеи прекрасно работают в физике и до следующей революции в этой науке будут работать. Вопрос мой вот в чем. Правильно ли я вас понял, что когда нынешняя власть говорит: «Дайте нам идею», на самом деле за этими словами скрывается другая просьба: «Помогите нам выстроить миф, с помощью которого мы будем улавливать души других людей, править ими так, как мы, временщики, хотим еще десять, двадцать лет, сколько на наш век хватит». Так?

**О. С.** Да, на самом деле у слова «идея» множество смыслов. Есть не только такой, как вы привели, — научная гипотеза, теоретическая посылка, догадка, но и бытовой: «У меня идея поехать за город». То есть некоторый план, желание, предложение. Об этих значениях я не говорю. О них не говорят и те, кто ищет «национальную идею». Те, кто обсуждает «национальную идею», имеют в виду, конечно, нечто вроде конструирования мифа, мобилизующего, приводящего все население в состояние военной мобилизации. Это рецепт, необсуждаемый приказ и миф вместе — то, что называется здесь «идеей».

**Д. Гасак.** Скажите, пожалуйста, современное российское общество обладает тем качеством «мы», о котором вы говорили относительно общества позднесоветского и чем это «мы» можно охарактеризовать.

**О. С.** Очевидно, это «мы» сильно раскололось за прошедшие годы. Часть населения (как ни странно, не только старшая часть) осталась с тем же самочувствием «мы», оно не может порвать с прошлым. И как раз ему в угоду, принимая его, вероятно, за основную силу страны, пытаются построить новую общую непротиворечивую историю, в которой беспроблемно уживаются монархизм, сталинизм, православие и т.п. Все это теперь «наша общая история». Вот попытка — новый праздник 4 ноября. Но демонстрации, где рядом несут хоругви, портреты Ленина, Гитлера и так далее — все-таки это слишком безумно.... Да, старому «мы» нужна мифогенная реальность. Но другая часть общества уже совсем не такая, молодежь по большей части не такая, образованные слои совсем не такие. Но по-настоящему актуальное состояние населения может описать нам практикующий социолог.

Еще одно замечание по поводу темы, не раз возникавшей и на нашей конференции, да и повсюду теперь возникающей: темы какого-то небывалого морального падения в новые либеральные времена. Мне эти панические рассуждения о всеобщем падении нравов кажутся непристойно преувеличенными. С какой высотой все это сравнивается? как будто б до этого, в советские времена, мы жили в институте благородных девиц. Тот род аморальности, который практиковался в советское время, мне лично представляется куда более гнусным, и к новому он относится приблизительно как душевная проституция к телесной (не говоря о том, что и телесной тогда хватало). Но об этом не говорят. Давно не говорят о том, что всему этому прошлому (коммунистическому прошлому) должно быть вынесено окончательное определение. «Об этом хватит!» — так думают и говорят почти все. И сам Солженицын, говоривший — как о первой необходимости для движения вперед — о необходимости исторического покаяния, давно перестал об этом вспоминать. Но без этого реши-

тельного подведения итогов ближайшей истории, без очищения «желание чтобы все было хорошо» не возникнет.

**Р. Гальцева.** Ольга Александровна, вы понимаете, что вы производите философскую революцию, что вы законное, давнее, основополагающее понятие идеи ликвидируете? Вы *понимаете, что вы тем самым ставите человека в положение чисто сенсорного вещества?*

**О. С.** Нет. Не понимаю.

**Вопрос из зала.** Вы представили идею как какую-то мифологему, которая мобилизует общество сверху. Скажите. Что идея не нужна, означает, что общество не должно быть мобилизовано в принципе. Это первое. И второе. Не думаете ли вы, что возможен иной тип идей, если все-таки общество должно быть мобилизовано, то идеей может быть. Например, согласие относительно каких-то общих ценностей, как это, например, в протестантизме было. Тогда общество соединяется внутренней идеей, изнутри.

**О. С.** Да, вот об этом я и хотела бы сказать, но ограничилась только отрицательной стороной: предостережением, чтобы это необходимое основание для объединения людей, для настоящей солидарности современников и соотечественников не подменили очередной «идеей» из тех, что спускаются в массы сверху, по марксистскому учению, и «движут ими».

**Вопрос из зала.** Если я правильно поняла, общество должно беречь себя, а власть — заниматься бережением общества. Но какой мотив может побудить власть беречь общество, беречь народ?

**О. С.** Вообще-то, я думаю, сама природа вещей. Если власть не просто инородна своему населению, но ведет с ним необъявленную войну, как это было у нас, тогда ей нужны какие-то мотивации для того, чтобы не всех угробить. Если же это **своя** власть, ее не надо этому учить. В противном случае она просто не удержится.

**Вопрос из зала.** Как вы относитесь к формуле, выкованной Александром Мелиховым, что национальная история, национальная идеология — это набор вдохновляющего вранья.

**О. С.** Я не знаю, к сожалению, этого автора и потому к его формуле никак относиться не могу. Пожалуй, я кончу тем, с чего начала. После того как я старательно пыталась объяснить моим американским слушателям специфику наших «идей», они мне ответили: «Да что вы, нам это прекрасно известно. Мы сами идейные люди. Просто "идеи" у нас другие: например, борьба с холестерином, с курением. Тот, кто решит, что эти кампании практичны или прагматичны, не понимает Америки: борьба с холестерином — это большая идея, почти религия. Как все "идеи", и эта имеет целью окончательную победу над мировым злом».

## Г. ПОМЕРАНЦ

Меня когда-то очень захватывали слова анонимного апологета II столетия: «для христианина всякое отечество — чужбина, и всякая чужбина — отечество». Так и жили ранние христиане, и какое-то время мне казалось, что так и должны жить люди, в том числе и в наше время. Сейчас я сказал бы иначе: в любое время нельзя забывать этих слов, но невозможно руководствоваться одним принципом, отбрасывая все другие. Над страстной односторонностью витает бесстрастие духа.

В раннем христианстве космополитизм увлекал меня как противовес племенной и национальной захваченности. Но ни на одном принципе нельзя уси-

деть. Истина — ковер, который ткется из многих принципов, и красная нить в нем — Божий след, пересекающий все принципы. Так говорил о Божием следе Антоний Сурожский. Это было напечатано в «Континенте» № 89 в 1996 году.

Ранние христиане ожидали второго пришествия, и не так, как современные евреи ритуально ждут Мессию, не когда-нибудь, а совсем скоро. У них не было исторического опыта. Потом опыт пришел. Надо было вжиться в историю, свыкнуться с обычаями народов, надевших крестики на свои языческие шеи. Надо было окрестить привычные праздники, назвать солнцеворот Рождеством Христовым и тому подобное. И в этом нельзя видеть одно сползание к язычеству. Обряд можно взять с любой стороны, лишь бы не изменять духу любви.

Нация — не племя, а хранитель общих святынь и ценностей цивилизации, понятых на свой национальный лад. Я пересказываю в этих словах определение цивилизации, данное Эмилем Дюркгеймом: «группа стран, объединенных общим духом, который каждая страна по-своему выражает».

Нация — участник общих достояний цивилизации, ее святых книг, языка святых книг и шрифта святых книг, одного шрифта на всю цивилизацию. Вот внешние, зримые приметы, отличающие одну цивилизацию от другой и связывающие вместе местные, национальные языки. Цивилизация не сводится к трем приметам, но это, если можно так сказать, ее паспорт.

Цивилизации возникли из более рыхлых национальных единств, вокруг первых очагов национальной культуры. Для изучения шумерского языка уже в третьем тысячелетии, если память мне не изменяет, была создана грамматика. Но общих святынь довольно долго не было. Почему-то в один период сложились все так называемые мировые религии, примерно с VI века до Р.Х. по VII век после. Четыре Святые Писания поделили между собой мир, легли в основу четырех субглобальных цивилизаций.

Восточно-славянские племена развивались на перекрестке трех субглобальных цивилизаций из четырех возможных. Только Индия не участвовала в формировании России. Сами по себе восточные славяне обладали повышенной гибкостью и восприимчивостью. Больше ничего о них не скажешь. «Троица» Рублева и роман «Преступление и наказание» возникли тогда, когда к славянскому дичку были привиты ветви из византийских и западных садов. Это не порок. Таким же образом развивались германцы, галлы, корейцы, японцы. Разница в том, что галлы и германцы втягивали в одну римскую цивилизацию, корейцы в одну китайскую цивилизацию, а Россия каждые двести-триста лет поворачивалась от одного мирового центра к другому, и один пласт ложился на другой, часто ломая своего предшественника.

Некоторые прививки чужого были добрыми и давали добрые плоды, другие оставляли злой след. К этому злому следу от налоговой системы, принесенной из Китая монголами, мы еще вернемся. Но и добрые ветви засыхали. История шла так, что иконы старого письма в XVII веке разучились писать, да и понимать их красоту перестали, кроме староверов. Привилась и развивалась западная, секуляризированная культура Нового времени, и только в ее формах великие писатели России пытались прорваться сквозь ее ограничения, сквозь потерю традиций мистики.

Очень поздно, в начале XX века, Трубецкой и Флоренский заново открыли «умозрение в красках», и возник вопрос: как строить национальную культуру на таких разных столпах? Возникли две национальные задачи, до сих пор не

выполненные. Первое — это дать образованному человеку доступ к мудрости иконы, сравнимый с доступом, который давался в школах к романам Льва Толстого или Достоевского. И второе — как-то привести в гармоническое единство открытость к Богу, полученную от неожиданной встречи или от глубокого созерцания иконы, и открытость к миру и человеку, наследию Ренессанса, наследию гуманизма, которую дает культура Европы от Шекспира и Сервантеса до Чехова. Если заострить мысль до парадокса, — как соединить веру без гуманизма нового времени и гуманизм, неуклонно теряющий веру.

Эти задачи навязаны нам историей, и мы вынуждены решать их, решать, не забывая порыв ранних христиан, живших поверх истории, т.е. не теряя измерения вечности в смертном.

При этом мы сталкиваемся и будем сталкиваться с проблемой, которая в России всегда вызывала трудности, — с проблемой формы. Трудность эту хорошо понимал Достоевский и ярко описал в «Игроке» устами Алексея Ивановича. Я часто это цитировал, поэтому ограничусь несколькими словами другого писателя, Синявского, из его «Голоса из хора»:

*Религия Святого Духа как-то отвечает нашим национальным физиономическим чертам, природной бесформенности, которую со стороны ошибочно принимают за дикость или за молодость нации, текучести, аморфности, готовности войти в любую форму, «придите и владейте нами», нашим порокам или талантам мыслить и жить артистически при неумении налаживать повседневную жизнь как что-то вполне серьезное. В этом смысле Россия самая благоприятная почва для опыта и фантазии художника, хотя его жизненная судьба бывает подчас ужасна. От духа мы чутки ко всяким идейным влияниям настолько, что в какой-то момент теряем язык и лицо и становимся немцами, французами, евреями, и, опомнившись, из духовного плена бросаемся в противоположную крайность, закостеневаем в подозрительности и низколобой вражде ко всему иноземному. Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Слово для нас настолько весомо, что заключает материальную силу, требуя охраны, цензуры. Мы консерваторы, потому что мы нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другое в истории. Но все это оттого, что дух веет, где хочет, и, чтобы нас не сдуло, мы, едва отлетит он, застываем коростой обряда, льдом формализма, буквой указа, стандарта. Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы. Пожалуй, это единственное, чего нам не хватает. У нас не было и не может быть иерархии или структуры, для этого мы слишком духовны. Мы свободно циркулируем из нигилизма в консерватизм и обратно.*

Я думаю, что Синявский имел в виду недостаток внутренней, духовной структуры, из этого он и выводит избыток внешней регламентации. Слово «форма», которым Синявский кончает свою характеристику, Достоевский в «Игроке» вспоминает шесть (!) раз в одном абзаце. Видимо, это действительно камень преткновения для русской культуры. Легко вливаясь в любую форму, она редко умеет создать новую форму и с трудом подгоняет по фигуре готовую форму. Недаром романы Достоевского и Толстого шероховаты сравнительно с гладкими романами Тургенева и Гончарова или рассказами Лескова. Кажется, Рудин и соборяне живут в разных странах. Собранные вместе, они создают антикрасноречие Достоевского и Толстого. В безупречно изящную форму Россия не влезает, и это как бы художественный образ нашей недостаточно слаженной нехудожественной жизни.

Но есть еще одна проблема, которую я отложил и к которой теперь возвращаюсь. Не все влияния приносили плоды добрые. Были и такие, которые разрушали духовную культуру, приносили ее в жертву государству. Таким злым даром была налоговая система, созданная самой жестокой и антикультурной из китайских династий, система подушной подати и круговой поруки, заставлявшая соседей платить за тех, кто бежал от тягла или просто умер. Монгольская система сбора дани стала мощным рычагом в руках князей Москвы, самого отатаренного из русских княжеств (по характеристике Федотова). Система, по которой община платила подать и за тех, кого нет, заставляла посадских людей самих просить о запрещении менять место жительства, люди сами просили закрепостить себя вместе с соседями, чтобы соседи, убежав, не перекладывали на них свое тягло. И рост русского государства связан был с ростом и ужесточением рабства. Об этом писал Федотов, писал и подвергался поношению Гроссмана.

А удальцы, не мирившиеся с рабством, уходили через открытые границы на юг до Терека и на восток до Чукотки, Аляски и даже до Сан-Франциско, или восставали, не умели создать новой власти и возвращались под ярмо, продолжая свой бунт в форме кражи, если плохо лежало барское или казенное добро, как и сегодня это длится.

Наша жизнь — вяло текущая смута. Так сложилась русская система непримиримых противоречий, сдавленная самодержавием, но периодически грозившая распадом и смутой.

Казачья воля, поддержанная примером соседних народов, живших догосударственным бытом, сотрясала рабство. Византийский чин не мирился с европейскими правами. И как только ослабевал гнет власти, начинались хаос, анархия, смута. А усталость от хаоса заставляла петь песни об Иване Грозном, а сегодня идеализировать Сталина. Сперва сотни тысяч выходили на демонстрации против коммунистов, а теперь те же сотни тысяч благословляют Сталина, хотят нового Сталина и создают высокий рейтинг кандидатам в диктаторы.

Можно ли вывести народ из этого порочного круга? На политическом уровне это значит: возможна ли христианская демократия, уравновешенная социал-демократией на левом фланге? Возможно ли равновесие открытости Богу, направленной иконой и культом, и открытости миру и человеку в стиле классического Запада.

В начале перестройки были попытки молодежи создавать и конституционную демократию, и христианскую демократию, но патриархия и демократия оказались двумя вещами несовместными. Теоретически русская христианская демократия возможна и богословски обоснована в книге игумена Вениамина (Новика) «Православие. Христианство. Демократия», но это книга бывшего инспектора Санкт-Петербургской академии. А энтузиазм молодежи быстро иссяк.

Энтузиазм сегодня не в чести. Несколько волн энтузиазма прокатились по XX веку, оставив позади горы трупов. Что бы ни захватывало массы, дело кончалось массовыми убийствами. Взрывы энергии, не давшие ничего хорошего, оставили за собой усталость и отупение. На Западе продолжается форма экономической общественной жизни, к которой люди привыкли, а нам нечего продолжать и нет сил творить новое.

Впрочем, завести семью и воспитать двух-трех детей — и повсюду не хватает воли. На всем огромном пространстве от Америки до России рождаемость ниже смертности и христианская цивилизация физически вымирает.

И вот третья национальная задача — своими силами вырваться из инерции рабства и бунта, постепенно уступающей место инерции вымирания, своими силами зажечь сердца для новой жизни, свободной и от буйства, и от апатии, и от хаоса, и от коррупции.

Даже если образованные верхи объединятся и вместе потянут воз, трудно сдвинуть его с места. Колеса завязли по оси.

Оглянитесь вокруг! Всюду следы выродившихся, измельчавших бунтарских порывов. Кучи мусора на опушке леса, изрезанные, разрушенные скамейки в парках — продолжение того же бунта, бессмысленного и беспощадного, о котором еще Пушкин писал. Сдавленность избытком государства, ограниченность сферы общественной жизни рождали и рождают бунт. Дурак, бросивший банку от пива под куст, чувствует себя Стенькой Разиным, потопившим княжну. Пусть дурацкая, но своя воля!

Такой же мертвый след, как от круговой поруки по тяглу, — мелкая зависть к соседу, высунувшемуся на полголовы выше среднего уровня. Жгучая зависть к олигарху, сумевшему разбогатеть в годы, когда тысячи неудавшихся стяжателей давились в дверях «Чары», «Властелины», «МММ», охваченные жаждой вдруг, не работая, получить кучу долларов. Почему умный предприниматель больше достоин презрения, чем клиенты «МММ», оказавшиеся в дураках? Почему достоин уважения мужик, продавший свой ваучер за поллитра? Завтра он продаст собственную квартиру и останется бомжем.

Когда началась перестройка, я писал, что школа для нас важнее экономики, потому что экономика первична только на грани голодной смерти. А чуть мы от этой грани отошли, не хлебом единым сыт человек. Я повторил эту мысль вслух на совещании в мэрии — меня чуть не линчевали. Бог с ними, с прагматиками. Я все же убежден, что важнее всего бездоходное дело просвещения, хотя бы камень, втащенный наверх, тут же валился вниз. Хотя очень трудно втиснуть в современные головы мысль владыки Антония о созерцании, в котором рождается чувство Божьего следа. Еще раз повторяю, это было опубликовано в «Континенте», но этот поразительный текст заметили немногие.

Я надеюсь на одиночек, из которых сложится творческое меньшинство. Если у нас хватит терпения на несколько десятков лет просвещения, на несколько десятков лет развития права, то мы вылезем из смуты и Россия возродится, но пока надо смириться и десятки лет трудиться в школах, в университетах, в постуниверситетском развитии, создавать то творческое меньшинство, за которым придет и масса. Георгий Петрович Федотов считает, что Петр был прав, начав ликвидировать неграмотность в стране с Академии наук, и неправы были большевики, которые начали с народных школ, в которых полуграмотные учителя распространяли свою полуграмотность. А конкретные вопросы, которые придется решать, подскажет сама история. Она же даст и лозунги, вдохновляющие народ. Составлять заранее эти лозунги мне кажется бессмысленным занятием.

**А. ЗУБОВ**

Русскую идею ищут, но ищут в основном как идеологию. Между идеей и идеологией между тем огромное зияние. Идея это эйдос, это тот образ, та божественная мысль, которая присутствует у каждой вещи. И когда писали Бердяев, Владимир Соловьев о русской идее, они имели в виду только это. Они не фантазировали насчет того, что это какая-то политическая конфигурация, что это

сохранение народа, они были выученики классической философской школы, они ясно понимали, что, когда мы говорим об идее, мы говорим вот об этом абсолютном божественном замысле о России. О каждом народе есть такой замысел. Не случайно, скажем, в 95-м псалме мы читаем, что Бог судит народы в правоте, т.е. коль судит, значит, есть некоторая категориальность, которая может судиться, значит, есть народ как идея, значит, есть о нем некий замысел.

И в этом смысле прекрасно и навсегда, для меня по крайней мере, значимы слова Владимира Соловьева, что совсем не важно, что народ думает о себе, а важно, что Бог думает о народе. И вот это-то и есть идея народа в Боге.

Что же касается идеологии, то, как любили в нашей юности говорить в шутку, это из другой картины. Да, мишка в лесу пришел из другой картины. Идеология для политолога — это элемент системного анализа политики. Любая система, в том числе и общество, для того, чтобы лучше жить, создает подсистему управления. А эта подсистема управления из-за несовершенной природы человека старается не служить системе, а сделать систему служебным организмом для собственного блага. Но никакая система, поскольку она большая, не будет служить подсистеме по своей воле, разве что при жестоком насилии. Не всегда это насилие возможно, и тогда возникает идеология, некая обманная система принципов, которая внедряет в мысль большой системы идею о том, что подсистема управления ей служит. Партия работает на вас. А самом деле, разумеется, мы работаем на партию. Вот это и есть идеология. Идеология — это всегда обман.

Что же касается идеи, русской идеи, то вся беда заключается в том, что по законам гносеологическим мы не можем познавать то, что более, чем мы. И поэтому мы не можем познать замысел Бога о нас, мы можем только фантазировать на этот счет. Мы можем догадываться. Как Карамзин писал, помните, в «Записке о древней и новой России», что, коли Бог позволил России распространиться от Берингова пролива до Вислы, то, значит, Бог имеет какой-то особый замысел о России. Это такие вот фантазии, подкрепленные некоторыми фактами и сильно сплавленные с больной для нас, с очень нам вредной (правда, не нам первым) имперской идеей. Кратно этой идее сломалась Византия, когда император Юстиниан решил восстанавливать Римскую империю и в итоге подорвал силы Византии.

Для примера представим себе, что мы живем в древнем Израиле где-нибудь в эпоху царя Соломона и обсуждаем проблему идеи богоизбранного народа, к которому мы, предположим, принадлежим. И что мы можем сказать? Да, народ избран. Да, с Авраамом заключен завет. А для чего? Мы не знаем. Нам очень приятно, что мы избранный народ, мы знаем наши обязанности — соблюдать закон, но мы не знаем цели. Только когда цель осуществилась (по крайней мере, с точки зрения христиан), только когда пришел Мессия, еврейский народ в той части, которая стала христианской, понял, для чего было избрание. Избрание было для того, чтобы были сказаны слова: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему».

А та часть еврейского народа, которая это не признала, продолжает ждать Мессию и не вполне понимает, почему произошло избрание. И если вы возьмете современные учебники для еврейской школы, то вы увидите большой разнобой в объяснении, для чего произошла эта избранность.

Только когда некая задача исполняется, идея реализуется, она может быть нами познана. Поэтому мы, твердо зная, что есть русская идея, можем сказать

только одно: в системе координат той культуры и той человеческой системы понятий, в которой мы живем, эта идея нами исполняется крайне плохо.

Мы не знаем этой идеи, но знаем, что она исполняется крайне плохо.

Почему такое парадоксальное суждение? Опять же из истории Израиля мы знаем, что когда народ не исполняет идею, замысел о нем Бога, а ведет себя по своему желанию (сколько раз говорят пророки: «вы народ жестоковыйный, следующий велениям сердца своего»), тогда с народом начинают происходить разные неприятности, от меньшего до большего. И казни всем известные, нашествие, распад государства — классическое наказание после Соломона, потом раздоры, гражданская война, вспомните Давида и Авессалома, еще и война в собственном доме, наконец, завоевание одной половины страны, Северного царства, ассирийцами, и потом завоевание Новым Вавилонским царством южной половины страны, уничтожение значительной части народа, рассеяние другой и т.д. и т.д. При осаде разные ужасы, поедание матерями собственных детей от голода, обрушение собственных жилищ, предательство близкими родственниками друг друга и т.д. и т.д. И мы понимаем, когда и священники, и храм ограблены, на месте храма руина, и все пожжено, и большинство детей царя казнены на его глазах и т.д., — мы понимаем, что вот это есть наказание. Это тысячу раз говорят пророки, и Исайя, и Иеремия. Иезекииль это уже констатирует как факт, это произошло.

Если мы посмотрим на нашу историю XX века, то нет таких казней израильских, которые бы не перенес наш народ. Ели собственных детей в голод 21-го года, в голод 30–32-го года. Храмы разорены, священники убиты, народ в большой своей части погиб, его лучшая часть или уничтожена, или изгнана из страны. Единственная разница, пожалуй, в том, что нас не увели в плен, нам плен устроили прямо здесь. Как говорят, наше вавилонское пленение — не отходя от кассы.

И еще одна, более ужасная вещь, чего не было с евреями. Евреи могли бы сказать: мы были очень хорошим, совершенным, прогрессивным богоизбранным народом, но мы были маленький народ. Пришло огромное вавилонское хамское царство, нас завоевало, а мы великие, мы славные, но они просто воспользовались тем, что нас мало и погубили нас.

Мы знаем через слова пророков, что говорили иначе: по грехам нашим пришли и погубили нас. Люди сознавали свою вину. По крайней мере те, кто с Зоровавелем и с Эздрой вернулись обратно в Иерусалим, на стогна разрушенного града, прекрасно сознавали, что по грехам нашим, отцов наших, священников наших, и царей наших, и князей наших, и народа нашего мы получили плен, разорение, меч, смерть, голод.

Нам не на кого валить. Легко латышам или полякам: это все русские сделали. Как в известном анекдоте: «Яцек, ты зеркало разбил в школе, скажи, что ты русский». А на кого нам валить? Находятся умники, которые говорят, что во всем виноваты жиды, во всем виноваты латышские стрелки, масоны или кто-нибудь еще. Но даже они, положа руку на сердце, знают, что это не так, потому что, даже если какие-то замыслы кайзера Вильгельма помогли краху старой России, то совершенно очевидно, что, если бы народ был бы другой, он бы не позволил... Или народ дурак, или он подлец. Если он дурак, его могли обмануть, это очень обидно для национального самосознания, а если народ подлец, что тоже очень обидно, — тогда он сделал это сам.

И вот перед нами встает странная задача. Кажется, начинается возвращение. По крайней мере, храмы восстанавливаются, и культура воссоединяется, и то, что было запрещено и за семью печатями, возвращается. И теперь, пожалуй, возникло самое главное. Как мы осознаем то, что с нами произошло?

Что касается русской идеи — ничего не могу сказать, а вот то, что русскому человеку надо сделать сейчас, — ясно совершенно и просто, как дважды два. У нас есть, по сути, три пути.

Первый путь — сказать, что никакой это был не плен. Советский период — это лучший период в истории нашей страны, потому что мы были самой большой империей, мы были самыми сильными, нас все боялись, и при этом население стало вдруг грамотным, и спутник запускали, и балет танцевали, и, в общем, все было прекрасно. Совершенно забыв о том, что, если вы сейчас откроете церковный календарь, то вы увидите, что каждый день новомученики и каждый день исповедники. А то, что было позже, мы все помним на собственной шкуре. Наше поколение помнит все это — всю ложь, всю неправду, все осквернение человека. Но — может быть такой ответ. И вы знаете, что значительная часть нашего общества дает этот ответ. Ну что ж? Это та часть общества, которая, можно сказать, и растворилась в плену, для нее плен стал жизнью. Печально, но факт.

Вторая часть общества говорит: да, советский период ужасен, это мрачнейший период в истории нашей страны, да, по тем или иным причинам, уж неважно по каким, враги обманули или сами сглупили и не тот выбор сделали, но в ноябре 19-го года Деникин, к сожалению, проиграл между Орлом и Ливнами, Юденич, к сожалению, только стоял на Пулковских высотах, вот-вот — и нет, один из его генералов не смог перерезать линию Николаевской железной дороги, вот из-за этого-то не победили.

А я иногда представляю, что было бы, если бы победили. Если бы все, что было в старой России, тихонько перетекло бы в новую Россию. Наверное, было бы значительно лучше, чем сейчас, но вряд ли было бы очень хорошо. И вот тем не менее произошло то, что произошло. Мы не фантазируем в области истории, произошло то, что произошло, не победили, проиграли, были изгнаны или погибли, и воцарился великий хам.

Соответственно, есть часть людей, которая считает, что старая Россия была чем-то очень прекрасным, чем-то замечательным, и вот по какой-то ошибке последних лет или перед революцией, по вине, может быть, последнего царя, или по какой-то ошибке в эпоху революции, или по вине Милюкова и Гучкова произошла эта катастрофа. Они просто не понимают, что за такую мелочь, как вина Милюкова и Гучкова, *такой* казни быть не могло. Казнь, случившаяся в России, по своим масштабам, по своей катастрофичности говорит только о том, что преступление, за которое мы наказаны, соизмеримо с преступлениями народа Божьего, а уж какие были преступления у народа Божьего, ушедшего в плен, это легко прочесть тому, кто любит читать книги Ветхого Завета.

Самое главное — это было, конечно, богоотступничество, это поклонение идолам вместо Бога. Это первое преступление. И это богоотступничество было уже в старой России. Вы можете сказать: как так? Мы же знаем, что Россия была православной страной с православным монархом. Но приведу лишь два совершенно характерных, для христианина понятных примера.

Страна, считающая себя христианской, — и в ней причастие Святых Таин происходит один раз в год! Для любого, считающего себя православным христи-

анином, это объявлено нормой, и пять раз в год для монахов. И когда в Оптиной подходит монах в неурочное время, вне поста и вне именин, удивленные монахи спрашивают друг друга, а почему отец такой-то причащается, и говорят, что ему явился враг рода человеческого в зримом образе, и поэтому он причащается, это значит — большая беда. По канонам же Православной церкви, если человек в течение трех недель не был у причастия, то он отлучается от Церкви.

Второй пример — это чтение Священного Писания. Слово Божие — это пища, а как можно жить без пищи духовной? Очевидно, что никак. Между тем не читали не только неграмотные, неграмотность искусственно была усилена в XVIII веке от Петра до Екатерины. Да, совершенно верно говорил Г.С. Померанц, как хорошо, что Петр начал с высших учебных заведений, но он при этом уничтожил низшую школу, которая была при приходах. Сравните хотя бы грамотность старообрядцев с грамотностью новообрядцев в XIX веке! Старообрядцы хранили старую, простую начетническую систему образования, по Псалтири учились грамоте, читали и знали славянскую Библию. А новообрядцы ничего не читали, вообще ничего не знали. Интеллигенция, узкий круг верующих интеллектуалов, читала на иностранных языках. Император Александр I читал французский перевод. А подавляющее большинство людей вообще ничего не читали, ничего не знали.

Как вы помните, Неверову говорит прп. Серафим: «Ну ты Евангелие читаешь?». И тот отвечает: «Да что вы, батюшка, Евангелие дьячок в церкви читает. Зачем мне Евангелие читать?» И это было общее, распространено везде. Вспомните «Анну Каренину». Левин перед тем, как заключить брак с Кити, должен исповедоваться и причаститься. Для того чтобы исповедоваться, надо прочесть молитвы к причастию. Помните, кто читает молитвы к причастию? Дьякон. За рупь. И Левин, как подробно пишет Толстой, смотрит в потную спину подрясника дьякона. Вот это форма духовной жизни.

Почему это произошло? Это произошло случайно? Это так вышло? Мне сказал один известный протоиерей: «Ну, так получилось». Нет, так не получается. Такие вещи получаются потому, что происходят какие-то очень глубокие и серьезные сбои. И пунктирно можно эти сбои назвать.

Первый сбой — раскол. Я сейчас не говорю о том, что было до Смутного времени. Но та Россия как бы закончилась в Смуте, и в 1612 году вышла новая Россия, другая Россия. Кстати, поэтому праздник 4 ноября имеет смысл, я здесь не соглашусь с Александром Архангельским. Мы в этом празднике празднуем выход, победу над Смутой и единение народа, а совсем не победу над поляками, которой, кстати, тогда и не было. И мы сейчас пытаемся победить новую смуту, возникшую в 17-м году, и в этом смысле праздник символичен. Вот когда победим, восстановим Россию, вот тогда, наверное, этот праздник уйдет и мы будем праздновать восстановление России. Но пока не восстановили, празднуем историческую аналогию, так мне кажется.

Второе — это крепостное рабство. Беда в том, что после раскола церковь обессилена и не может восстать против крепостного рабства, сил у нее нет. Те, кто действительно имели смелость сказать «нет» царю, уже ушли в раскол и поэтому или погибли, или для власти уже ноль, враги. А те, кто не смог сказать царю «нет», уже раболепны. И ни один иерарх церкви не сказал в XVIII веке Петру I по поводу его закона 1711–1719 годов, Петру III по поводу закона «О вольностях дворянства», Екатерине не сказал «нет», ты не можешь порабощать

90 процентов населения ради блага полутора процентов. Своих же православных русских людей ты не можешь превращать в неграмотных рабов, ты не имеешь на это права — этого не сказал никто. И когда Екатерина созвала представителей всех сословий для написания Уложения, буквально один-два человека из дворян выступили против крепостного права. И купцы, и священники, и Синод, он был представлен, и все другие сословия были только за одно — чтобы им разрешили иметь крепостных. Когда читаешь эти документы, волосы на голове встают дыбом.

Народ крепостной перестал верить церкви, потому что народ-то хотел свободы. В XIX веке — тотальная потеря уважения к священникам. Вспомните ваших дедов. Моего прадеда я помню, он был церковным старостой в Витебске в Петропавловском храме. Его сын, мой дед, мне пересказывал, что он всегда говорил: «Я в Бога верю, в попов не верю». А простой народ, который такой тонкой дефиниции провести не мог, он просто отходил от веры, он терял веру, по крайней мере веру православную.

А высшие сословия жили в этой лжи, не может человек нормально эксплуатировать себе подобных, таких же русских людей. Американцам было проще, там хоть негры были, была расовая дистанция. Тоже ужасно, они тоже до сих пор с этим справиться до конца не могут. Но здесь-то просто такой же Ваня. Вот в результате этого высшие сословия отходили от веры, потому что тяжело с верой было жить в этой ситуации.

И, наконец, русский абсолютизм, порождение общей тенденции абсолютизма, которая сложилась в Европе, в России принял совершенно фантастические формы. Мария-Терезия, Фридрих Великий — абсолютные монархи Запада, они говорили: делать благо народу, но без народа. И делали: в XVIII веке и в Австрии, и в Германии было введено всеобщее образование. Ничего подобного в России. Екатерина, наоборот, говорила генерал-губернатору Москвы, что ни в коем случае нельзя в училища принимать крестьян: тогда скоро ни тебя, ни меня в этой стране не останется.

Представим себе на минутку только, что в Германии нацизм не был побежден союзниками, а произошел какой-то договор в 44-м году, Германия осталась такой полунацистской, Гитлер помер или убит, и в итоге в Германии не произошла денацификация. Какая была бы Германия сейчас, если бы статуи Гитлера, убившего шесть миллионов евреев, продолжали бы стоять на немецких площадях? Как бы с немцами весь остальной мир себя соотносил? Как было бы, если бы надо было ехать к президенту новой Германии, даже демократической, по Адольф-Гитлерштрассе? Как было бы, если бы немцы говорили: «Да, конечно... Ну, нападение на Польшу — там не все так, но такие были условия тогдашнего мира». А ведь так говорил наш президент только что в Голландии, говоря о договоре 39-го года. У нас не прошла наша денацификация. И наша задача, во-первых, осознать, что нам держаться за советское — это даже не то же самое, что немцам держаться за Гитлера; это — как евреям держаться за Гитлера, потому что мы пострадали от советского так, как пострадал еврейский народ от холокоста. Это наш холокост. И если бы в Иерусалиме стоял памятник Гитлеру, это было бы то же самое, что в Москве стоит памятник Ленину. Но ведь нет же в Иерусалиме, как я помню, памятника Гитлеру.

Так вот, первая наша задача — объяснить, что это тяжкое наказание и что это наши палачи, которые Богом попущены, конечно, за наши грехи. И поэтому

избавиться от этого, сохраняя память, что мы пострадали по нашим грехам. Это наше первое нравственное национальное дело. Это намного более важно, чем сохранение народа. Сделаем это — и народ начнет возрождаться. Пока этого не сделаем — не будет возрождаться народ.

И вторая наша задача, более сложная, более мучительная для всех нас, любящих Россию, просто, я бы сказал, нравственно изнурительная — это увидеть грехи любимой нами старой России и понять, что за них мы были казнимы.

И мы тогда скажем: что же нам осталось? Та Россия плохая, советская плохая, куда нам деваться? И вот здесь мы последний раз должны вспомнить историю еврейского народа, для меня и для каждого христианина, наверное, очень значимую. Разве, говоря, что евреи преступили все мыслимые законы Божии и за это изгнаны в Вавилонию, разве при этом хоть один пророк сказал, что поэтому не нужен народ? Нет! Говорили о том, что должны быть возрождены те основания, на которых и был создан когда-то этот народ и был вызван из небытия в лице Авраама из Ура Халдейского. Все лучшее в этом народе, что было связано с теми, кто Бога боялся, кто шел к Богу отцов еврейского народа, — все это должно было стать фундаментом возрождения еврейского народа и создания второго храма.

Наша задача — сделать то же самое для русского народа. Наша задача — вернуться на наши внутренние стогна поруганного Иерусалима, восстанавливая не ложный и осужденный за грехи наших дедов и прадедов град, а выбирая все то бесценное и совершенное, что и есть идея России в уме Божием, и строя все это на Сергии Радонежском, на Серафиме Саровском, на легенде или истине, как я думаю, о Федоре Кузьмиче — императоре Александре, на тех славных основаниях, которые есть в каждом народе и которыми может равно гордиться каждый народ, и иных путей для реализации идеи в русском народе, я думаю, нет.

**Вопрос из зала.** Вы сказали о том, что нужно нам отказаться, или как-то покаяться, и как-то выйти из советского. Но советское не так просто, не так однозначно. Как вы оцените такую ситуацию: ведь советское и революция, они делались под лозунгом возвращения к принципу равенства. А ведь это основополагающий христианский принцип.

**А. З.** Все было бы очень хорошо, если бы это было так. Но советское совсем не строилось на принципе равенства. Советское строилось на ином принципе, на принципе *грабь награбленное*, на принципе конфискации у одних и передаче другим. Эти вещи были проделаны в первые же дни Октябрьской революции. Надо отобрать и поделить. Значит, предлагалось совершить насилие, лишить одних и взять другим: вы похозяйничали, повладели, теперь мы начнем. Это само по себе в высшей степени нехристианский принцип, конечно же, потому что вы помните десятую заповедь: не смотри на жену ближнего своего, ни на осла его, ни на вола его, ни на какое имущество его, т.е. не завидуй, а уж тем более не укради. Тем паче что открывались все юридические легальные возможности... В этом-то вся и беда, в этом и разрушительность революции, что если до столыпинской реформы по земле действительно были проблемы, то теперь же никаких проблем не было, просто надо было иметь немного терпения и политической воли, и все бы встало на свои места, как во всем мире. Но нет! Классическая формула гражданской войны — не только все отобрать, но и помещика и всю его семью уничтожить. Уничтожить, чтобы не нашлось наследников. Это масса примеров.

До сих пор идея реституции собственности, возвращения собственнических прав, во всей Европе прошедшая, у нас не прививается. Никто ничего возвращать не хочет никому. Нахватали — и теперь лучше пусть олигархи владеют. Это первое.

Второе — что во время революции было восстание на Бога. Мы залезем на небо и за бороду, как писал Есенин, Бога с неба сдернем, и до Египта раскинем ноги, и так далее, всякие гадости. Так вот, если бы люди были богобоязненные, они бы, конечно, поняли, что режим сатанинский. Помните слова, что если бы враг рода человеческого являлся всегда в виде льва рыкающего, то он привлек бы внимание только африканского охотника. Конечно, сатана прикидывается, что он дает правду, а на самом деле это была ложь. Это было восстание на две величайшие святыни: на Бога и на человека как на образ Божий. И вот то, что народ наш, действительно страдалец в старой России, не сказал: нет, на это я не пойду, это против совести и Бога, именно из-за этого-то и получилось у нас страшное дело.

Судьбы России окончательно решились не в семнадцатом году, а решились они на полях сражений девятнадцатого года в Гражданской войне. Народ не пошел за белыми, которые, уж понятно, не пытались восстановить помещичье землевладение, а пошел за красными, хотя прекрасно знал, что красные богоборцы: к тому времени была уже масса убитых священников и епископов и разоренных монастырей.

И красные действительно пытались создать конфликт между классами, не дать всем поровну, а разорить одних и якобы дать другим. В итоге и другие не получили ни шиша, как вы знаете, получили только раскулачивание и Колыму. Так вот это-то все и объясняет, почему советский период — наш плен. Это плен за наши грехи. Это отнюдь не неудачное вхождение в Эдем, как пытаются говорить коммунисты, это с самого начала, с первых слов, это была богоборческая ложь. В этом-то и ее ужасная беда.

**Вопрос из зала.** Что вы думаете о судьбах отечественного сталинизма в послеперестроечные времена, он существует или кончился?

**А. З.** Нет-нет, не кончился. Как же он кончился? Куда ж он делся? Мы юридически наследники советского государства, мы же не наследники старой России. У нас есть второе переходное положение Конституции, по которому говорится, что все законы, которые действовали на территории Российской Федерации, продолжают свое действие, если не отменены новым законом. Но при этом ни один закон старой России у нас не действует, а все советские законы начиная с восемнадцатого года действуют. Кстати, из-за этого-то нет и реституции: то, что большевики конфисковали, все это законно, а то, что до этого законы защищали частную собственность, — это никто не вспоминает. Юридически мы наследники советского государства.

Если мы посмотрим на состав элит, мы видим, что у нас советская элита. Ни одна восточно-европейская страна не потерпела бы, чтобы полковник советских спецслужб, политической полиции, управлял государством. Это было бы позором. А у нас это — отлично! У нас сейчас секретари комсомола или генералы КГБ занимают все высшие посты в государстве.

То есть мы — наследники советского. Сталин взял и налепил в 43-м году золотые погоны и ввел полугимназический курс, вот Сергей Сергеевич Аверинцев имел счастье учиться в советской гимназии. Но ведь это же не было перерож-

дение режима, это был тот же гнусный советский режим, о котором мы читаем в «Круге первом», но уже с золотыми погонами. То же самое произошло и теперь.

От постсоветской России — к свободной христианской России. Вот наш лозунг. Это наша задача.

**Вопрос из зала.** Все-таки советская система была на дьявольском равенстве. Все-таки на равенстве. Это было воплощение системы Петра Верховенского — «все рабы и в рабстве равны». Это было обманное равенство в обезбоженном государстве. Не так ли?

**А. З.** Конечно.

**О. Седакова**. И об этом Бродский писал: «Равенство исключает братство». Такая ли уж ценность это равенство?

**Вопрос из зала.** Я хочу спросить о том, что меня безумно интересует и всерьез. Поскольку я читаю лучших публицистов и историков, на которых я ориентируюсь, я читаю и слышу сейчас о свободной христианской России. Само сочетание слов ласкает мой слух. Но хотелось бы узнать, что это такое?

**А. З**. Я абсолютно серьезно отвечу вам в нескольких фразах. Это означает очень простую вещь, что это страна, где главной ценностью является человек. Не человек для государства, как, кстати, было и в царской России, а государство для человека. И поэтому человек свободен. Это значит, что эта свобода — не чисто политическая свобода, но свобода, осознанная как достоинство образа Божьего в человеке, т.е. христианская свобода. Если кого-то заинтересует, как же там мусульмане, иудеи, буддисты или сторонники Кришны, то я могу сказать очень просто: поскольку страна свободна, то это свобода для всех. Но поскольку все-таки это страна христианская в течение тысячи лет худо-бедно, то принципы в ней... я сам христианин, я верю в то, что более высоких принципов нет... и поэтому на них должна быть основана наша Россия с принятием всего лучшего, что было в нашей истории.

В советский период все лучшее было только в сопротивлении режиму. Ничего не было хорошего в потакании режиму. Только тот, кто сопротивлялся режиму, морально ли, физически, он творил. Тот, кто шел на службу режиму, отравлялся этим режимом, потому что этот режим замешан на море крови, и эта кровь никуда не делась. Этот скелет стоит в шкафу, пока его никто не вынес. А вот в старой России были великие, достойные дела и не в сопротивлении режиму, например история Карамзина или реформы Сперанского, мы можем эти вещи спокойно брать.

**Ж. НИВА**

Задумываясь над вопросами, которые были нам заданы для этого события Игорем Виноградовым, я подумал, что, так как я не русский, а француз, я должен как-то начать с себя, т.е. с нашей французской нации. Когда вспыхнули последние весьма досадные события под Парижем и в некоторых других городах французских, я не был очень удивлен, поскольку и до этого были признаки социального беспокойства. Я тем не менее внутренне разозлился, мне было уже стыдно, что такое происходит у меня, в моей стране. Это длилось пять-шесть дней. И я подумал о том вопросе, которому мы должны были посвятить тридцатилетие «Континента»: что такое нация, что такое *национальная идея*, нужна ли она.

Наверное, нет *национальной идеи*, если нет нации, — она будет искусственная, она будет мертвая идея, как говорит Ольга Седакова. А нация — это нечто

общее, которое разделяешь с определенным количеством людей. Вот идея, что ты разделяешь что-то, абсолютно нужна для наличия нации. Я француз не столько потому, что мои отец и мать были французами, мои дед и прадед были французами, а, наверное, по другим причинам. Потому что язык и очень много навыков как-то меня связывают с людьми, которые меня окружают. Некоторый тип юмора, например, который немедленно ощущается, когда встречаюсь с французом в Нью-Йорке или Бухаресте. Может быть, какая-то галльская спесь, которая иногда меня очень раздражает.

Я профессор в Женеве, т.е. швейцарский профессор, топографически я живу через границу французской территории и переезжаю эту границу иногда четыре раза в день, и есть разница между одной страной и другой. Она чисто психологическая, но она и юридическая тоже. Что такое швейцарец? Это человек, который получил свое гражданство по праву крови, потому что он сын или она дочь швейцарских родителей. Что такое француз, с юридической точки зрения? Это человек, который родился на территории Французской Республики. Правда, недавно, лет пять тому назад, была внесена маленькая поправка, что записывают его в французы, когда ему исполняется 18 лет. Это человек, скажем, алжирец или балкарец, который родился во Франции потому, что его отец приехал зарабатывать во Францию. Это большая разница — между правом по крови и правом по почве, по территории. Эта разница отделяет деревню, в которой я живу, в Верхней Савойе от первой деревни в Женевском кантоне.

Я часто себя чувствую диссидентом в отношении некоей французской не идеи, но риторики. Насчет швейцарской идеи я думаю, что даже такое слово не употребляется. Вы пользуетесь словом «русский бог», но я никогда не слышал выражения «швейцарский бог», это просто немыслимо. А швейцарская идея — она есть, она существует, хотя она так не названа. Это идея договора между примитивными, первичными кантонами, которые дали клятву на известном лугу помочь друг другу, если вдруг появятся войска Габсбурга, чтобы брать налог. Вот в кантоне Швитц родилась эта клятва, потом присоединились к этой клятве разные другие кантоны, которые не говорят по-немецки, которые говорят по-французски или по-итальянски, но они стали швейцарцами, потому что они присоединились к этой клятве. Швейцарец это человек, который получил свое гражданство кровью.

Какое-то время была идея, что для того, чтобы быть французом, надо служить во французской армии. Эта идея применялась, естественно, к молодым людям, не к девушкам. Я, например, воевал в Алжире два года. От этого я не чувствую себя более французом, чем тот, кто не воевал. Но иногда, конечно, меня раздражают рассуждения нового француза, который появился после того, как отменили призыв в армию, потому что армия в моих глазах была хорошим способом не давать единство, а давать почувствовать некоторое единство людям, очень разным по социальному происхождению. Я думаю, что без школы и без армии Третьей республики не было бы Французской Республики, как она есть сегодня. Другое дело, что если бы тогда, когда был призыв и когда мы воевали в Алжире, я бы себя чувствовал менее французом, если бы не воевал. Я не осуждаю дезертиров. Один мой друг был дезертиром, оказался в Канаде, т.е. для него были довольно большие житейские последствия этого решения. Но очень много моих товарищей не хотели воевать, искали себе штаб, штаб флота, любой штаб.

Там, где нация очевидна, идея не очень нужна. Возьмите Великобританию, *национальная идея* там почти не существует как мифологема. Да, были какие-то

певцы национальной имперской идеи, но в общем-то национальной романтической идеологии в Англии очень мало, она сведена к минимуму. Можно сказать так, что если идешь с запада Европы к востоку, ты встречаешься с нарастающим процентом национальной идеологизации. В Англии ее почти нет, во Франции чуть больше все-таки, Германия — это очаг *национальной идеи*, все идет от Фихте и от немецких романтиков. Она очень нужна была итальянцам, чтобы возродилась или даже родилась Италия, без идеологии не было бы Италии. Ну и дальше, в Польше сегодня очень сильный миссионизм польский, который возрождается сегодня.

А в России *национальная идея* очень нужна, может быть из-за бесформенности. Так как я постоянный наблюдатель того, что происходит, пишется в России, иногда, я не скрою от вас, меня раздражают эти гималаи речей по национальной идее, потому что здесь я не могу быть сутки и не слышать двести раз слово «Родина» — по радио, телевидению или читая в газеты. Во Франции слова «Patry» я ни одного раза не услышу и читать не буду за те же сутки. Хорошо ли это — я не знаю. Во всяком случае до недавнего времени это было не очень нужно.

Хотя была такая проблема: Франция входит в Европу, Европа это, наверное, самый политический объект, который появился с давних пор, т.е. это не империя, потому что империи даны завоеванием. Европейский Союз — это добровольный союз типа клятвы на лугу в Швейцарии. Но клятва на лугу была возможна между пятью примитивными кантонами-основателями, а двадцать пять наций — это более проблематично. Когда мы почувствуем свое европейское гражданство, — я не знаю. Я чувствую европейское гражданство какое-то, но это потому, что я могу говорить по-польски, читать по-польски, потому, что я был в Болгарии, был в Румынии, в Венгрии, я читаю по-немецки, по-итальянски, так что в Европе я могу себя чувствовать дома более-менее. Я видел недавно табор цыган, как у Пушкина, — будто ничего не изменилось. Но рядовой гражданин Франции, ему трудней ощущать себя европейцем, потому что, в конце концов, это требует многих знаний. Если мы не знаем друг друга, мы не можем ощутить нечто общее.

У меня нет ни малейшего сомнения, что Франция есть, но определить ее проблематично после того, как мы стали европейцами и с недавних пор, когда обнаружился бунт некоторой молодежи на окраинах Парижа и больших городов... Там есть сейчас иностранцы, там есть часть нелегальных иммигрантов. Но они тоже французы, по паспорту они французы, т.е. мои соотечественники. Почему такой бунт? По-видимому, потому, что у нас не хватает чего-то общего.

Я противник французской риторики, руссоистской риторики, люблю Руссо, но до определенной черты; и идея, что на общественном договоре мы можем построить свою нацию, не совсем удовлетворительна и не отвечает на острейший вопрос, который задан нам сегодня этим бунтом. Я признаю, как француз, что все, кто живет на этой территории, которую мы называем *Французская республика*, включая моих соотечественников из Мартиники или Маори, имеют права, равные моим правам, потому что не могу этого не признавать. Если я этого не признаю, тогда я себя не чувствую французом. Также я не могу не признавать некоторых основных прав любого африканца или маори, потому что я христианин и вижу в нем достоинства человека, созданного Богом, будь он христианин или нет.

Территориальность демократии — это острая проблема. Демократия родилась в Афинах. Все граждане могли собираться на общей площади, как сейчас в Швейцарии в некоторых кантонах все граждане собираются все еще для

обсуждения бюджета кантона. Александр Исаевич Солженицын, когда он жил в Цюрихе, присутствовал на одном таком *ландсгемайнде* и был очень удивлен и оставил нам рассказ о своих впечатлениях в двух частях. Первая часть — все должны там переизбрать начальника, и все «за», и он думает — это советские выборы. Потом переходят к бюджету, к налогам, хочет этот человек ввести новые налоги — никто не «за». И он понимает — нет, *ландсгемайнде* все-таки что-то другое. Вот призадумаемся об этом слове — «общее дело», т.е. «республика», то общее, что есть у граждан, и без этого общего они не граждане и они не могут себя чувствовать соотечественниками.

Теперь в каких рамках может работать это общее? Это другая составная часть этого слова «ландс», т.е. внутри ланда, земли, одной территории. Это можно назвать тоже *нация* или *patria*. Лучше всего это коммуна, малая страна, кантон Женевы. Но это может быть Франция, т.е. довольно большая страна, это может быть и это должна быть Россия. Любой россиянин должен почувствовать то общее, что у него есть, от Санкт-Петербурга до Камчатки, если мы хотим, чтобы у него была общая patria. Я лично предпочитаю слово «республика», т.е. общее дело, слову нация или слову демократия.

Первое, что есть общее, — это язык. Но язык французский я разделяю с нефранцузами, с бельгийцами, со швейцарцами, с канадцами, и это приятное ощущение. Я не могу сказать, что язык этот исключительно мой. К тому же некоторые великие французские писатели — черные писатели, как бывший президент Сенегала Леопольд Сенгор.

Наша история? Да, конечно. Я привык к этой идее, что француз разделял историю с некоторыми своими соотечественниками. Были мифологемы, «наши отцы — галлы», например, и повторяли эти мифологемы школьники в Алжире, для которых это была явная ложь. История — да, но с условием, что наши школьные учебники найдут эквилибриум между национальной мифологией и правдой. Если была резня в 1945 году в городе Константин в Алжире, то скрывать это мы не должны. Эти учебники должны учесть другой политический объект, который называется Европа и который становится мало-помалу общей нацией, чем-то общим. Сейчас французские учебники и немецкие учебники созданы в совместной работе. Вы не можете взять немецкий учебник, получить одну правду — и взять французский и получить противоположную. Одна преграда на этом пути — это написать слишком слащавую пресную историю, где господствуют только прекрасные чувства.

Что еще общего есть? Спорт играет большую роль. Я не очень увлекаюсь футболом, но я помню день, когда Франция выиграла Кубок мира, потому что на улицах маленького городка, где одна треть мусульманского населения, общее было ликование всех — белых, черных и прочих. И это было очень хорошо, приятно, и чувствовалось, что что-то рождается.

Существуют давние национальные идеи и недавние. Недавние нуждаются в идеологии больше, чем давние. Не забудьте, Соловьев говорил, что малые нации простим за то, что у них есть национализм, но большим нациям не простим. Это самозащита малой нации. Поэтому Латвия имеет, наверное, какое-то право на какие-то ошибки в своих учебниках, которые есть. А великая Россия не имеет. Она должна быстрей дойти до правды.

Я хотел говорить сначала о примере нерусских национальных идей. Потеря империи — это проблема для тех наций, которые были во главе империи. Это

проблема для России приблизительно такая же, как это была потеря для Оттоманской империи, для английской или французской. Владимир Вейдле в своей книге «Задачи России» поразил меня, когда я впервые читал эту книгу: «История России не удалась». И вот я думал, как это странно. Ни у одного француза я не смогу найти такую фразу, что наша история не удалась. Были неудачи, да, но чтобы вообще... И самобичевание — это тоже часть русской идеи, как мне кажется.

В коллективной книге Ахиезера, Клямкина и Яковенко «История России: конец или новое начало», которая вышла недавно, я увидел это самобичевание, которое было доведено до крайности несколько раз в истории России, хотя бы у Чаадаева. Киевская Русь — первая государственность, первая катастрофа. Русь Московская — вторая власть, вторая катастрофа. Империя Романовых — третья катастрофа. Советская власть — четвертая катастрофа. Ну и нынешнее время — сами можете судить. Если так рассуждать, национальная жизнь становится историей одной болезни. Я не думаю, чтобы история России была историей одной болезни. Я этого не вижу. Ведь первая катастрофа дала русское православие, хотя не должна ни в коем случае Россия свестись к православию. Я думаю, вы не можете давать определение русской идее на основе исключительно православия, потому что есть не православные люди, не христиане и т.д. Но тем не менее первая катастрофа дала рамки духовности русской. Вторая дала общие черты русского городского пейзажа, в котором живет русский человек. Третья дала цвет русской культуры и русской науки. Даже четвертая катастрофа дала кое-что. Советское кино или советское диссидентство. Или хотя бы поэта Пастернака. А пятая, нынешняя, она все-таки, не забудем, дала свободу веры и некоторую политическую свободу, надо только ею пользоваться.

Желание жить вместе — это другое общее и очень важное. Желают ли люди жить вместе? Об этом говорил Александр Архангельский. Конечно, нужна *национальная идея*, но не в виде готового имиджа. Русские дипломаты на Западе очень озабочены образом России. Я всегда им отвечаю: самый лучший имидж России — это давать образ разнообразия сегодняшней России, потому что есть такое представление о ней, будто бы это монолит. Это был монолит при Сталине. Сейчас это не монолит, сейчас это разнообразие, сейчас там есть споры и очень разные культурные явления. Вот покажите это.

Задача, по-моему, сводится в основном к следующим пунктам: написать правдивую историю для школьников, потому что все начинается со школы, чтобы школьник узнал не мифологию, а правдивую историю России. Во-вторых определение того общего в республиках, чего хотят жители территории Российской Федерации. И в-третьих, в росте правового государства, т.е. в сближении с другими европейскими странами, куда Россия вошла в 1993 году, потому что, напоминаю вам, Конституция объявляет в основном, тот фундамент, который объявляют европейские договора, и то общее, что есть у всех наших конституций. С юридической точки зрения Россия уже вошла в Европу.

Готового ответа у нас нет. Мы должны искать так же, как и вы.

**Вопрос из зала.** Есть такая французская песня «Марсельеза»... Как это согласуется с вашими словами, что слова «patria» не слышно во Франции? Исполняют же там эту песню...

**Ж. Н.** Я лично не горжусь словами этого гимна. «Чтобы нечистая кровь пропитала наши борозды...» Моя жена в свое время написала президенту

Миттерану, предложила ему изменить слова гимна. Мы попросим господина Михалкова написать для нас новый текст. Это почти единственный случай, когда слышишь слово «patria», и некоторая часть наших футболистов не поют, когда они находятся под прожекторами и телевидение на них смотрит, и мы видим каждое лицо. И поверьте мне, не все лица поющие — и не только потому, что они не умеют петь.

**Вопрос из зала.** У вас нет планов отменить празднование Великой французской революции?

**Ж. Н.** Я могу вам сказать, что 14 июля мы празднуем праздник всеобщего братства, т.е. мы празднуем не взятие Бастилии, нет, а следующий год, когда был основан этот праздник как праздник братства.

**Вопрос из зала.** В своих мемуарах Роман Гуль, который жил во Франции до оккупации Парижа, вспоминает этот период. Он описывает там своего соседа-крестьянина, который рыдает, т.к. его мобилизуют в армию бороться с фашистами. Дальше ситуация с генералом Петеном, и он дает такую интерпретацию, что Франции не хватает *национальной идеи*, она абсолютно не готова к сопротивлению, она губит себя, и единственный человек, который нашел в себе мужество взять этот грех и спасти Францию, — это генерал Петен, который подписал мирный договор, согласие на капитуляцию, и тем самым спас народ. Далее Гуль описывает ситуацию, как наказала его Франция за это, выслав, изолировав, лишив права свиданий, и в этой ситуации Петен и скончался. Вопрос: насколько это соответствует реальности, насколько это русская интерпретация французской ситуации и была ли такая *национальная идея* у генерала де Голля?

**Ж. Н.** По-моему, это не русское представление, это представление Романа Гуля. Возьмите книгу, написанную по-французски Владимиром Лосским, который отправился пешком через всю Францию, чтобы найти пункт, где его примут как французского солдата, — и вы увидите другое представление русского эмигранта, который, между порочим, остался во Франции, и его дети французы. Де Голль не сменил Петена, де Голль взбунтовался. Уехал в Лондон и основал Свободную Францию. Это был бунт, он был приговорен к смерти Петеном. Петена мы не можем принимать, потому что во времена его правления были приняты законы против евреев, которые противоречат всей идее республики.

**Вопрос из зала.** Меня интересует, сыграло ли свою роль отсутствие *национальной идеи* в той ситуации?

**Ж. Н.** Безусловно, у маршала Петена была национальная идеология, он был победитель и люди поверили ему. С другой стороны, стоит прочесть мемуары де Голля, чтобы увидеть, что у него совершенно другая национальная идея, хотя вначале он был националистом типа Морреса. В молодости он увлекался Моррессом, а потом забыл об этом. Это просто некоторый мистицизм, который очень близок французскому мистицизму Владимира Лосского. Когда я читал книгу Владимира Лосского, я был поражен. Его дети долго колебались, нужно ли им издавать эту книгу или нет, наконец они приняли правильное решение: раз их отец написал эту книгу, то надо давать читателю эту книгу. Он каждый год совершал паломничество в Нотр Дам де Лоретт, хотя он оставался православным, он совершал паломничества в Орлеан, в Сент Жан д'Арк, т.е. это случай человека, который принял некоторую *национальную идею* даже в мистическом ее значении.

**О. Вениамин (Новик).** Правда ли — я слышал такое мнение, — что одной из причин современного кризиса во Франции, я имею в виду погромы, явля-

ется пресловутая политкорректность, которая запрещала французам обсуждать приближающуюся проблему?

**Ж. Н.** Мне очень трудно определить, что это такое — политкорректность. В этом есть доля правды, да. Это то, что я называю злоупотреблением нашей риторикой, скажем руссоистской, т.е. человек становится французом без всякого... экзамена или проверки, которые есть в Швейцарии. Он может издеваться над этой новой своей родиной, и тем не менее он автоматически становится французом. Я думаю, что так не надо и что это даже контрпродуктивно. Когда ты получаешь что-то даром, ты не обращаешь на это внимания. Если есть хоть какая-то маленькая цена, тогда это становится тебе дороже. Это неудача нашей школы, т.к. все знают, что школы в этих местах — это очень трудные места для наших преподавателей.

**Вопрос из зала.** У меня два коротких вопроса. Первый: не связываете ли вы последние события во Франции с многолетним в последние годы отпадением от католической веры, закрытием церквей во Франции и секуляризацией всего общества? И второй: как по-вашему ощущению — эти события были первой волной или все уже произошло?

**Ж. Н.** Ваш вопрос меня удивляет. Не закрывают никаких храмов, закрыли во время Французской революции, да, это другое дело, но сейчас открывают новые храмы, нет никаких гонений на религию. Я сам протестант, я противник официальной религии, я считаю, что ни в коем случае христианство не должно стать официальной религией, что от этого уходит настоящее христианство.

Насчет второго вопроса — я думаю, на какое-то время все утихнет, уже утихло, но остаются проблемы новой национальной идеи, т.е. что мы предлагаем этим молодым людям. Мы даже мыслить не можем выгнать их с нашей территории. Можно жалеть, можно сказать, что не надо было пускать, но уже поздно. Мы не думаем ни о какой резне, о Варфоломеевской ночи...

**Вопрос из зала.** Перед вами выступал профессор Зубов, и я сравниваю ваши два выступления. Скажите, вот вы француз — у вас нет какого-то чувства стыда за восстание французов против Бога в период Французской революции, за тот антигуманизм, который вызвала Французская революция? Вы не считаете, что Франция должна как-то покаяться за это? И не была ли она наказана Богом за то же самое, за что Россия была так наказана?

**Ж. Н.** Никак нет. Такая речь мне абсолютно чуждая полностью, как человеку и как христианину.

**Вопрос из зала.** Когда переносили прах Дюма в Пантеон, то шел разговор о том, что нужно изучать историю Франции по его романам. Это шутка или это серьезно? История должна быть написана в том числе и для тех, кто сегодня там бастует, настолько увлекательно, чтобы они ее поняли и приняли как свою.

**Ж. Н.** Не надо заставлять молодых людей читать Дюма, потому что они сами его читают, так что тут никакой официальной программы чтения Дюма не нужно, все равно «Трех мушкетеров» они будут знать. Но именно «Три мушкетера» — это не учебник истории, я это могу вам сказать как протестант. Там есть большая доля неправды. И история вообще — это умение сравнивать разные документы. Наш школьник на каком-то начальном уровне должен понять, что не написана нигде История с большой буквы, т.е. окончательная правда о любых событиях, а нужно сравнить несколько документов. Надо им давать читать несколько документов, по которым они научатся мыслить как историки.

**Ю. ЛЕВАДА**

Время от времени мы в нашей эмпирической работе с общественным мнением спрашиваем людей, как они думают, какая идея могла бы объединить наше общество. Мы даже спрашивали тогда, когда это общество называлось советским, сейчас употребляем слово «российское», это не очень меняет ситуацию. Или в более узком смысле предлагаем выбор — что более предпочтительно.

Например, два дня назад мы получили последние ответы на такой вопрос: что лучше для страны — быть великой державой или быть благополучной страной, где удобно жить? Интересного не так много. Ничего любопытного люди не говорят, потому что у них нет такого ответа. Стандартный набор предпочтений за все предыдущие 12–15 лет: наиболее популярной, т.е. собирающей наибольший процент поддержки, является идея стабильности и порядка, ну и благополучия. И то, и другое, и третье понимается, как правило, по-разному. Почему это оказывается на верху предпочтений, понятно: потому что говорят о том, что болит. Болит то, что ощущают как нехватку, острую и болезненную. Но содержательного ответа на вопрос, какой, собственно, нужен порядок, мы не получим. Порядок бывает такой, какой получается из комбинации наличных действующих сил. Какой он получается на сегодняшний день — это более-менее известно, как выглядит в нашей реальной жизни. Я имею в виду метафорическое кладбище, что гораздо серьезнее и важнее, чем прочие его варианты.

Также и благополучие может трактоваться по-разному. Тот уровень относительного благополучия, который существует сегодня в стране и который трудно сравнивать с европейскими и другими образцами (но в то же время трудновато сравнивать и с нашими образцами прошлого), — он доброй половине населения кажется вполне достаточным. Остальным он кажется более-менее сносным, что создает базу для довольно спокойных настроений сегодняшнего дня. Опять-таки их можно оценивать по-разному. Это спокойствие отчасти может быть приятнее, отчасти может быть тревожнее, чем беспокойство лет десять тому назад, например, потому что люди готовы смиряться, в том числе и с тем, с чем не очень надо бы и смиряться.

Если взять последний из упомянутых мной моментов, что же выбирают люди: великую державу или благополучие. Выбирают благополучие 60 процентов: отвечают, что важнее спокойно и благополучно жить. Но если сопоставить это с другим рядом тоже эмпирических данных о том, что болит, и представить себе место, которое в числе таких больших болей великая держава занимает... Может быть, даже первое. Просто эти боли имеют разный порядок. Когда сегодня нет обеда — это серьезное беспокойство, это конкретное, близкое. Но оно не очень возникает все-таки. Проблема фантомной боли утраченной позиции великой державы или, может быть, мифа о великой державе, потому что, если смотреть трезво, — то, что когда-то этим словом называлось, и то, что на самом деле было... В чем тут состояло величие, сказать трудно. Одно время казалось, что у СССР была способность наводить страх и трепет на остальные части нашего бедного шарика, и многие видели в этом величие. Некоторые и сейчас видят.

Эта боль существует, она просто на другой плоскости коллективной души записана и там существует. Она не движет конкретно людьми, а движет политиканскими страстями и одной из самых шумных фракций нашего политического подиума, движет вплоть до конкретных призывов к тому, чтобы наводнить все океаны атомными ракетоносцам на страх врагам (которых еще надо выду-

мать немножко). Это кажется очень значительным, и какая-то часть нашей политической элиты у нас очень любит этим заниматься. И это на людей действует. Но хочу повторить, что это действие немного другого порядка, чем действие актуальных болезненных нужд, которые существуют.

Если вспомнить историческое прошлое, то в нашем историческом прошлом, как известно, была такая знаменитая дилемма между севрюжкой с хреном и конституцией. Как вы понимаете, наш народ во главе с его политическими и духовными элитами, предпочитает, естественно, севрюжку. Под ней имеется в виду колбаса по два двадцать, под хреном имеется в виду что-то другое, о чем говорить неинтересно сейчас, а что касается конституции, то уж что с ней можно сделать — это нам настолько хорошо известно, что поминать эти слова почти непристойно. А посему я хочу немножко по-другому подойти к этому вопросу.

Спор о *национальной идее*, или, скорее, видимость спора, существует достаточно давно и занимает определенное место в багаже нашей, скажем так, национальной мифологии. Это такое же серьезное образование, как «сильная рука», «российское своеобразие», «особенный путь», «жестокий царь, но такой, как надо» (к нему, конечно, прилагаются обязательно зловредные бояре, они же его ограждают от всяких сомнений, чтобы он всегда казался таким, каким надо: добрым не в смысле доброты, а в смысле соответствия идеалам). Все это есть. В числе этого набора атрибутов существует и атрибут русской идеи. Обычно она толкуется как некоторая разновидность того татаро-монгольского «ура!», которое считается давно русским и которое якобы может поднять наш полусонный и полутрезвый народ на очередные подвиги, если он будет знать если не во имя чего, то хотя бы под каким криком можно...

Разные люди об этом говорят по-разному. Если выражаться более строгими терминами, то это допущение, что есть способ из относительно вяло-спокойного состояния перевести нашу массу народную или население наше в состояние мобилизованного возбуждения. И тогда, проснувшись, как известный былинный персонаж после долгой тридцатитрехлетней спячки, он возьмет в руки дубину (сейчас дубина может называться «Тополь М» с какими-то еще добавками, кажется) и начнет такое крушить, не очень ясно что.

На днях я читал, как и многие другие, последний политический манифест Михаила Борисовича Ходорковского, вызывающего внимание благодаря тому положению, которое ему создано, но и благодаря энергетике собственной тоже. Там есть такое предположение, что можно бросить некоторую идею, создать некоторые изменения, способные мобилизовать, превратить инертную массу в мобилизованную. Эта мысль интересная, но мне она кажется спорной и не очень ясной. Идея национальной мобилизации существовала в России и в некоторых сопредельных странах в первой половине минувшего века, иногда с эффектом, иногда без него, чаще эффект был ужасным и воспроизводить его если и можно, то лучше бы не надо.

Я думаю, что в наборе элементов нашей мифологии это очень заметное место занимает и будет занимать. Это своя проблема, и, на мой немножко отстраненно-социологический взгляд, она представляет большой интерес для анализа, — сама конструкция того мифологизированного сознания, каковым мы живем.

Еще одно замечание по существу дела. Какой выбор все-таки реально есть у нас? В любом случае, какой-то есть, в хорошем, плохом, не очень ясном положении и т.д., на разных уровнях он тоже есть. Но вот в разговорах об особом пути,

об особой идее и т.д. некоторый выбор подразумевается. На мой взгляд, это не выбор между Востоком и Западом, или между Россией или Европой, или между характером сознания или души, отечественной или еще сопредельной, по-моему речь идет об универсальном и маргинальном вариантах развития, думания. Причем я полагаю, что акцентирование этой идеи как чего-то подлежащего воплощению в реальности — это выбор в пользу маргинальности. Говорить об этом стоит не только потому, что это предмет дискуссии. Это предмет реальной практики — общественной, государственной, политической — какой хотите. И реальность маргинализации — это стена, которую мы строим, пожалуй, сами.

Если вы помните, верный Руслан в замечательном произведении Владимова делал когда-то такое замечание о людях, что они прежде всего вокруг себя забор строят, проволоку натягивают. Вот этим занимается у нас бóльшая часть нашей мыслительной и политической элиты — строят или оправдывают строительство забора, повыше, покрепче, чтобы мы твердо знали: то, что за забором, то не наше, опасное, чужое и враждебное. А нам жить на пятачке внутри забора в некотором самим себе построенном псевдогетто или псевдомонастыре.

Можно, конечно, задать вопрос: а что, мы одна такая сказочная страна на белом свете, все остальные уже утилитарные и живут подножным кормом, а мы живем одними воздушными замками, кто какой нарисует — замок небесный или замок с реальными зубцами и стрельцами и еще чем-нибудь? По-видимому, строительство замков — признак переходности, признак, как говорят многие историки, запоздалой модернизации. Только тогда замки строят. Причем замки эти на самом деле не столько берутся из прекрасного будущего, сколько из вчерашнего дня других. Все стремления догнать, перегнать, быть лучше, краше и т.д. на самом деле были стремлением догнать чужой XIX век в первой его половине, потому что вторая была малосимпатичной, уже мечтаний меньше было.

Я думаю, что в ближайшие времена мы будем в большой мере этим заниматься, пока не утвердимся в идеях другого типа — универсальности. И какая-то скрытая, явная, благая, злая конкуренция между этими вариантами, между универсальностью и маргинальностью будет существовать еще долго, а значит, еще будет возможность утешаться: нам плохо, зато иначе, чем у всех. И кроме того, это самое удобное прикрытие нежелания, неумения что-нибудь сделать. А зато мы отдельные! Сугубо маргинальная позиция пира на обочине, что ли. Пир тоже получается своеобразным.

**Вопрос из зала.** Корректно ли людям вообще ставить такой вопрос: предпочитаете ли вы стабильность, порядок, благополучие? Трудно представить себе людей в любой стране, которые предпочтут беспорядок, нестабильность и неблагополучие. И второй вопрос. Не разумнее было бы поставить вопрос: предпочитают ли люди жить в великой стране с более низким уровнем жизни или в среднеевропейской стране с более высоким уровнем жизни?

**Ю. Л.** Вопросы ставятся по-разному, удачней или неудачней, — это вопрос о методике и технике исследований, мы стараемся быть аккуратными. Как правило, вопросы о предпочтениях ставятся не в альтернативной форме, а в форме предлагаемого меню, т.е. набора блюд. Из них можно выбрать два, три, пять; человек выбирает. А дальше мы получаем, *что* выбирают чаще всего. Иногда бывает и *либо — либо* тоже. Насчет второго вопроса: я сам, получив результат, думал над такой постановкой. Тут важнее акцент, что акцентируется — благополучие или величие. *Или — или* возникает тогда, когда у нас где-то в подкор-

ке лежит постановление о том, что в то время, когда любили бряцать величием железным, то не очень думали о благополучии, оно как-то было не очень важно, хотя, надо вам сказать, что сейчас выросло поколение людей, которым кажется, что и здесь у нас все было в порядке. Это реальный факт. Можно серьезно этому удивляться, но так движется память человеческая, у нее такие закономерности, она подчиняется текущей злобе дня. Даже кто пережил, здорово забывает, это мы знаем. А акцент на величии либо акцент на спокойствии — это вещь более или менее реальная, хотя тоже относится к мифологии. Всем понятно, что не хватит наших баррелей для ложного количества авианосцев, даже если очень захочется.

**Ж. Нива.** По вашим опросам вы можете указать на ответ, который дают на вопрос: как вы видите связь вашей страны с Европой и с Европейским Союзом?

**Ю. Л.** Я могу ответить, потому что мы такой вопрос ставили часто, хотя истолковать его мне немножко трудно. Ответ состоит в том, что ЕС у нас большинство людей любят и больше половины устойчиво, вплоть до текущего месяца, хотели бы, чтобы Россия в этом Союзе состояла. Сомнительность этого в том, что никто толком не знает, что это значит и какая цена за это вхождение должна быть заплачена. А цена эта экономическая и политическая. Как у нас должны выглядеть цены, качество продукции и наши возможности с открытыми дверьми и с прочей открытостью для этого, — люди об этом мало думают. Европейский Союз существует как некоторая мифологическая конструкция, довольно близкая сейчас — приехать можно запросто или посмотреть еще проще, но вот как до этого добраться, никто толком не знает. Но манит. Ну а насчет реальности туда попадания для России, я думаю, это с ваших высот виднее. В ВТО тоже хотят, в торговую организацию. Почему хотят, объяснить нельзя, потому что эти проблемы еще дальше от обычного человека, какие критерии должны здесь быть в торговле, пошлинах и т.д. для этого, в этом, по-моему, и специальные министры не всегда разбираются и еще долго будут разбираться. Но хотят. А вот в НАТО не хотят. Почему? Потому что принято с давних времен, пятьдесят с лишним лет, считать, что это что-то такое страшное и, наверное, опасное. А почему — тоже ведь не знают.

**О. Анри Мартен.** Как мы только что услышали, согласно вашим опросам получается, что большинство предпочитает все-таки благополучие величию. Между тем я слышал не так давно по радио «Эхо Москвы» противоположные результаты опросов. Там получалось, что большинство как раз величие предпочитает благополучию.

**Ю. Л.** Видите ли, я пытался сейчас объяснить вам и самому себе. Ведь и то, и другое — вещи немножко выдуманные в массовых рассуждениях. Поэтому вопрос в том, как эти выдумки сочетаются друг с другом. У меня такое впечатление, что у людей болит утрата былого величия. Причем утрата великой державы и великого страха, который она вызывала, болит больше, чем утрата строя, идеологии, иерархии советского времени, это как-то легко слетело, как осенние листья под ветром слетают. А это болит. Болит, но немножко, повторяю, странно, потому что, в чем состояло это величие, — это вопрос темный и спорный на самом деле. Поэтому при некоторой постановке вопроса может показаться, будто это людей больше всего интересует. Это интересует как утраченная выдумка. Утраченная выдумка — это очень больная вещь, по-моему. Имен-

но поэтому, что она больше болит, чем утраченный палец или даже рука. Зарастет рана рано или поздно, можно и без руки жить, живут люди, а вот утраченная иллюзия — это страшная штуковина. А сейчас люди, конечно, больше всего хотели бы жить просто благополучно, сохраняя мечту о величии.

**Л. Медведко.** Я услышал мифологему об универсальности и маргинальности. Не правильнее ли сейчас по-другому поставить вопрос: маргинальность или глобальность. Входит ли в ваше понятие универсальности только европейская универсальность или же есть универсальность, к которой относятся Китай, Индия? Получается, что все-таки стоит вопрос: Восток или Запад? Здесь был вопрос о Европейском Союзе. А он вырисовывается в форме Евро-Азиатского Союза. Ставится ли как-нибудь вот этот вопрос?

**Ю. Л.** Нет. Я думаю, что универсальность и маргинальность — это более общие характеристики, чем Восток и Запад. Мы давно знаем, что никакого особенного Востока, кроме как в воображении, сейчас не существует. Мы знаем все давно, что Япония — западная страна, хотя имеет очень много своей японской специфики, но эта страна по экономике, по политике и ориентации западного типа, и так оно и будет. Что касается сверхбольшущего Китая, то, какие бы там флаги ни использовались, он тоже идет в универсальном направлении. Хотя понятно, что путь у него сложный, и как будут в этом универсальном направлении уживаться, сосуществовать и как-то трансформироваться его исторические и прочие культурные, политические и т.д. черты, — это долго было неясно. Но все равно другого пути нет. Я не думаю, что произойдет то, о чем, скажем, Вильгельм Первый сказал около ста лет назад: угроза желтой опасности, которая страшна для мира. Нет ведь такого. Скорее всего, то, что казалось далеким Востоком, идет по пути универсализации. И если мы куда-нибудь будем способны идти, а не застрянем в своей очередной канаве (а наш путь всегда был из канавы в канаву, из колдобины в колдобину), то туда же и мы будем идти, хотя сколько времени, — не знаю, никто не знает.

**В. Макаров.** В ваших высказываниях звучит ироническое отношение к «Тополям М», боеголовкам. Следует из этого полагать, что вы считаете, что в XXI веке сила перестанет быть доминирующим аргументом в мировой политике?

**Ю. Л.** Видите ли, я все-таки, как и все присутствующие, специалист в других областях. Можно и в разных средах, в разных профессиональных сообществах высчитывать качество национального продукта и высоких технологий; и есть люди, которые умеют очень серьезно говорить о таких вещах, о которых я говорю как очень сильный профан, поэтому я неизбежно от них защищаюсь какой-то долей иронии — что я еще могу с этим сделать? Сила — страшная вещь. Я думаю, что и в XXI, и в XXIV, и в XXVIII веке она будет играть свою роль. Но как она связана с другими вещами — это то, о чем мы можем говорить. Рассуждать всерьез о том, какие средства уничтожения будут придуманы через десяток или через полсотни лет в этой точке мира или в другой, — просто профессионально я этого не умею делать. Думаю, что и остальные тоже не умеют.

**В. Макаров:** Немножко конкретизирую вопрос. Другими словами, как коррелируется оборонная мощь и величие державы? Может ли держава быть великой, не обладая оборонной мощью?

**Ю. Л.** Опять же тут надо спрашивать, что такое «великая». Есть ли серьезные и объективные объяснения этим словам? В смысле территориальном или демографическом «великая» или в смысле членства в пятерке Совбеза ООНов-

ского? Тогда ответ понятен. Но мир многообразен, в нем около двухсот разных стран, как хотите, державы они или не державы. В 99 процентах из них люди ориентируются на то, как им спокойно жить, вовсе не думая о том, достаточное ли у них число больших ракет. Не в этом же дело, в конце концов. И зачем быть великим? Лучше быть хорошим. Главное-то по-человечески, хотите, и по-христиански тоже — это ведь человек, а не держава. Человеку было бы хорошо, и человек был бы приличный. А будут ли границы очень большие и невозможные, как у нас, например, или поменьше, а еще лучше вообще незаметные, это все-таки не самое главное на свете. Может быть, куда как важней, чтобы эти границы становились все менее заметными; это важный элемент всякой глобализации, которая неизбежно все-таки очень могучей резинкой стирает вот эти разделения и будет стирать и дальше.

**Р. Гальцева.** Вы сначала объяснили нам, что мы все в России желаем жить в изоляции от Запада, желаем жить на своем пятачке, за забором, а ваша статистика противоречит этому, потому что оказывается, что этот же самый человек очень благорасположен к ЕС и готов там быть.

**Ю. Л.** Видите ли, противоречие на самом деле существует, оно не только в моих рассуждениях, оно существует в том предмете, о котором я пытаюсь рассуждать и думать, удачно или неудачно. Люди готовы жить в ЕС, потому что они не знают, что означает эта готовность. Туда очень нелегко попасть, особенно такой структуре, как нынешняя Россия. Но это знают не все. Люди готовы мечтать о том, что хорошо бы жить так же благополучно и спокойно, как живут в ЕС Германия, Голландия, Франция, кто-нибудь еще, хотя у них свои беспокойства есть, но это другое дело. Мы готовы мечтать об этом. С другой стороны, когда вопрос о том, что бы надо было сделать, кто бы мог это сделать, — это вопрос более серьезный. Дело том, что те же самые люди, например, довольно высоко ценят как раз тех людей из известных у нас персонажей, которые не могут и не хотят это делать, которые нам каждый день объясняют, что мы должны жить в резервации, иначе нас поглотят, растворяя, и будет ужасно плохо. Так есть. Там много есть кричащих нестыковок, но так оно бывает всегда, и в человеке отдельном, и в человеке массовом, в данном случае я могу только это зафиксировать.

**Е. ЕРМОЛИН**

Моя позиция — контрэтатизм, контрфетишизм, контрмаргинальность.

Я исхожу из необходимости вернуть России место в центре мира. Как здесь было сказано, реализовать мечту о величии, потеря которой ноет, как отрезанная нога.

Любая национальная, в том числе и русская, идея есть *идеальный проект*, вписанный в историю. В России в историю вписаны два феномена, две великие духовные практики: святость и художественное творчество.

Я настаиваю на исключительности русской идеи и русской миссии. Мой тезис: русская идея — это творчество духа, более высокопарно выражаясь — *духовная Голгофа*; это *Россия духа*, в непосредственном воплощении — *творческие одиночки и сообщества, адресующие себя вечности*. Русская идея — личностный и общинный поиск Абсолюта... Вектор смысла, а не догма.

Додумаем до конца некоторые связанные с этим вещи, обновим понимание основ, освежим исходные смыслы.

Исторические формы цивилизации — не русское достижение. Почти все здесь составлено из подражаний Западу и Востоку, химерично. Российское государство всегда антинародное, народ всегда антигосударственный, каждая оппозиция всегда непримиримая. (Кстати, и широко распространенная ныне нелюбовь к Америке основана, как мне кажется, на сугубой нелюбви к самодовлеющей власти, как таковой.) Империя — тюрьма народов, но прежде всего, конечно, — «имперского», русского народа. Российская общественно-политическая история и российская территория — внешний человеку рок, внешнее бремя — подчас почти невыносимое. Вот и современная Россия оказалась *заложником* фатальных случаев: новых угроз и средств спасения от них. Она сегодня — Дубровка и Беслан, скажу сильнее — она превратилась в *Новый Египет, Дом Рабства*. Как пес возвращается на свою блевотину, так русский человек возвращается к своему привычному рабскому состоянию, соблазнившись очередными миражами, фетишами благополучия и безопасности.

Но, к счастью, он способен обернуться и на иной зов. Сегодня и необходим новый *исход от заложничества к апостоличеству*, к свидетельству об истине. Необходимо *новое крещение*.

Исторические формы преходящи. И вот они прешли. Их больше не осталось, и прежних, скорей всего, уже не будет. Остались пародия и фарс. Какая там империя, о воссоздании которой пекутся столь многие! Мы *уже* живем в глобальном имперском пространстве, политический центр которого явно не здесь. И слава Богу: кто лучше США сможет утвердить закон и порядок крепкой рукой и твердой волей? Уж явно не мы. И я почти приветствую эти легионы и их железную поступь. Я сознаю непопулярность этой позиции. Вчера А.Б. Зубов призывал нас учиться на чужом опыте — судьбе библейского народа. Мне очень близок этот подход, и в его контексте моя позиция — это позиция Иеремии.

Но, может быть, США готовят, сами того не зная, пространство для новой эпохи духа. И если есть новый Рим, почему не может быть совсем в другом месте нового Иерусалима? Новых Афин?

Россия перестает быть страной, государством, она все больше становится средой творческого духовного поиска, личностным способом бытия, духовной лабораторией человечества. Россия — это творческий элемент мира, фермент ищущего духа, это жанр личного роста, это художественное творчество и его субъект. Всем можно поступиться. Но этим — нельзя. Такая Россия нужна миру — значит, где-нибудь она и будет случаться, в Москве или, может быть, в Киеве. Вчера и сегодня она, пожалуй, случилась и в этих стенах.

Субъект такого прорыва назовем интеллигенцией. Уже сняты с интеллигента ветхие *облачения* класса и нации, древние оболочки партийности и образования, конфессии и профессии. Уже нельзя абсолютизировать его роль *хранителя* «зажженных светов», заключившего свободу духа в формы, которые обеспечивали необходимую меру его неуязвимости. Сегодня интеллигент может быть осознан и опознан не столько как хранитель, сколько как *творец* смыслов и идей — *осевая личность*: воплощение тревожной и взыскательной духовности, бродильный фермент ищущего духа в социальных дебрях, собеседник вечности. Это человек незавершенного поиска, человек обнаженных нервов, человек смятения и страсти. Рефлексер, бого- и правдоискатель, борец с бытом и властью... Он ценен нам как товарищ по сердечным хворям и риску мысли.

Осевая личность, обращенная к вечным проблемам и проклятым вопросам бытия, является национальной идеей, задачей современной культуры и перспективой духовного роста для нашего современника. Из таких личностей и складывается в новом столетии *факт или случай русского народа: как последствие исхода-крещения, как мистический остаток*, подобный библейскому.

Поиск смыслов — это духовное пространство, которое само вберет в себя тех, кто к тому расположен. Они и будут русскими людьми XXI века. Россия духа — черная дыра, или сияющая (зияющая) дыра, она втягивает в себя всех, кто зазевался, искусился — и окунает в мистическую купель, ставя один на один с вечностью. Это сублимация культуры Запада, ее специфический экстракт в аспекте не жизненной формы, а ищущего духа.

Первичная органическая форма творческого поиска в России традиционна. Это *искусство, литература* (и ее носитель: русский язык). *Русский человек — художник. Пушкин, Достоевский. Россия строилась прежде всего как литературное, художественное пространство.* Россия есть литература и есть в этом смысле экстракт интеллигенции.

*Итак, в наиболее простом и конкретном выражении русская идея есть русская литература и ее автор.*

(Какой литературный жанр адекватен предмету, если предмет — духовный поиск? Роман (повесть) идей и судеб, определенных идеями, роман героя с идеей. Философско-культурологическое, критическое эссе. Лирическое стихотворение.)

Какова духовная основа этого творческого поиска?

Я убежден, что духовной жажды русского искателя не утолить *ничем меньшим, чем христианство.* Не казенное, конечно, не рутинно-обрядовое. Это Православие — как мистерийный *опыт предельной и запредельной свободы*, где нет никакого связывающего духовный поиск внешнего земного абсолютного авторитета, а личность непосредственно участвует в вечности и обращается к Богу без посредников, диалогически раскрывается в персональном контакте с миром и Богом. По заповеди Августина: люби Бога и делай что хочешь.

Нужно предположить этот духовный прорыв к истокам христианской культуры, движение поверх ее исторических форм, всегда слишком тесных, *к ее творческим первоосновам.* Иными словами, назрела и должна состояться *православная реформация.* Собственно, она уже идет, в личном опыте она часто вполне состоялась.

Такой прорыв в своем горизонте заново раскрывает и главную тему русской культуры — *тему жертвы.* Это воспроизведение в масштабе личности и общины извечной русской темы: жертвы народа собой. Сегодня это личное *творчество как* личная *жертва*, или солидарное общинное творчество, в стенах культурного или религиозного *Дома* (театра, журнала, прихода).

**М. АДАМОВИЧ**

Все нации складывались в религиозную эпоху. И религия была не только одной из составляющих, а вообще истоком рождения нации, она формировала понятие нации как осмысления некоей складывающейся общности. Вне этого говорить о нации, как таковой, на мой взгляд, просто бессмысленно. В этом смысле, скажем, известная формула национальной идеи «Москва — Третий Рим» должна бы у нас вызывать восхищение тем масштабом, той перспективой и тем уга-

данным предвидением нации, которое в этой формулировке держится. Более того, даже известная триада «Православие. Самодержавие. Народность» тоже должна была бы нас вполне удовлетворять содержащейся в этой триаде гармонией, потому что в ней содержится полное понимание религиозной природы нации и религиозной природы монархии. При венчании на царство ниспадает Божья благодать. Здесь есть органика, но эта органика нами уже не воспринимается.

Религиозное толкование нации свидетельствует об угадывании некоего Божьего промысла. В этом смысле идея, по-моему, ее напомнил Александр Кырлежев, что мы можем уравнять нацию и личность, мне нравится. Коллективная личность, безусловно. Как личность — есть Божье творение и в ней есть некий Божий промысел, задача, которую он на протяжении своего земного пути пытается угадать, так и нация.

С Кырлежевым не соглашусь в одном, когда он говорит, что ангелы нации — это метафора. Да нет, ангелы — это ангелы. Я сразу оговорюсь, прошу прощения за махровость, человек я православный. Ангелы есть, это не метафора. И если вы признаете нацию в религиозной парадигме, тогда судьба любой, а не только русской нации — она под волей Божьей. Ни провидения ее мы не знаем, ни судьбы, она движется в истории и открывает смысл этой истории. Если мы отказываемся от этой парадигмы, вот тогда и ангелы, и нация становятся некоей метафорой.

Практически все вчерашние докладчики говорили об уникальности России, поэтому я позволю себе внести некоторое разнообразие и говорить не о своеобразии России, которое я не отрицаю. Я зайду с другого конца и буду говорить как раз об универсальности России, о проблемах России и о национальных процессах в России как отражении общецивилизационных процессов. И в этом смысле я могу возразить Зубову, что октябрь 17-го это не только русское явление, это отражение некоторого реального общеевропейского кризиса. Это отражение кризиса христианской парадигмы, христианской культуры. Очевидно, что все началось в далекие времена, в эпоху Просвещения, причем эпоха Просвещения здесь сыграла свою роль и своими отрицательными сторонами, и своими, безусловно, положительными. Прежде всего это разрушительные процессы, связанные с абсолютизацией человеческого разума, с предельной, вульгарной, я бы сказала, рационализацией. И непреодоленное искушение видеть в себе человекобога. Не богочеловека, а человекобога, то бишь атеизм. И XX век — порождение вот этого процесса, на мой взгляд. Но даже положительные завоевания этого разума, могучего разума привели к несколько неожиданным результатам. Именно этот процесс привел нас к глобализации и демократизации. Глобализация же предполагает атрофию национального. Она предполагает создание такой общности, которую вчера, может быть, не очень удачно, назвали *политическая нация*. Понятно, что это не нация со сверхзадачей, а это просто некая общность Российской Федерации. А демократизация, как известно всем присутствующим, закончилась восстанием масс. Масса восстала, масса победила. Восстание масс свелось к тому, что выступила масса самодовольная, самодостаточная, и свой собственный идеал, а он есть, невысокий, не духовный, утилитарный, она предлагает в качестве конечного, ничего другого нет и не признается.

Сейчас вот это Е. Ермолиным было произнесено: «Россия перестает быть государством». Вы знаете, парадоксальная мысль, которая вызывает сразу отрицание, хотя на самом деле, в контексте того, что я говорю, не Россия перестает

быть государством, а современное государство, которое сейчас формируется, — не прежнее государство... И Россия, и Франция, и все остальные европейские государства, и США, — они перестают быть прежним государством, которое формировалось в прежние века. На наших глазах образуется нечто новое, нечто, нами еще не осознанное, а мы примеряем к этому «нечто» старые мерки, поэтому происходит сбив. И механизм управления также иной. Поэтому я согласна с теми, кто выступал против термина «политическая нация». Это некий нонсенс, потому что это не нация в прежнем понимании. Но одновременно это реальность современного общества. Любое государство сейчас многонационально, поэтому, на мой взгляд, говоря о реальной политике любого государства, включая Россию, мы должны говорить об обязанности государства, правящих кругов, вести антинациональную политику.

Вчера очень много говорили о политкорректности, говорили в подавляющем большинстве с отрицательным знаком. Я думаю, что в этом отрицании политкорректности на самом деле отрицался абсолютизированный плюрализм, здесь повторялся протест Бердяева, когда он выступал против формальной демократии, которая готова любую форму, любую идею приветствовать, поддерживать, независимо от содержания.

Я приведу смешной пример. Года два назад мне довелось участвовать в круглом столе на радио Би-би-си по поводу политкорректности, и английский коллега привел забавный и реальный в его невероятности пример. Есть такая английская детская песенка про черного барашка. Так черного барашка предложили заменить на зеленого. Тем не менее если не доходить до абсурда, не доводить все до предела, то в разумных пределах это необходимость реальной политической практики, в частности политической практики России. Русская нация вымирает, мы в сильном минусе, и, на мой взгляд, руководство России обязано в силу своей теоретической антинациональной политики, принятой политкорректности, спасти эту нацию и создать ей условия для ее выживания и сохранения и развития.

Я хочу возразить и Зубову по поводу его положения: идеология — всегда обман. Нет, идеология не всегда обман, здесь опять срабатывает наша, наработанная советскими годами, реакция. Идеология необходима; идеология — это практика идеи, по-моему, тот же Кырлежев назвал это рабочей идеей. Как угодно назовите, но для существования общества, для реального его существования необходимо выработать некую его положительную парадигму. Она должна быть назидательной, а не на отрицании строящейся.

Удобно делать заключения на анализе локального опыта, поэтому я хочу в двух словах рассказать об опыте русской эмиграции. В свое время совершенно справедливо исследователи русской эмиграции назвали ее Россией в миниатюре. Это действительно было так. Экстремальная ситуация, но она тем и хороша для наблюдения, что она экстремальная, там все очень ярко, все очень проявлено. Что происходит прежде всего? Усиление роли церкви, религии, т.е. строительство некой соборной личности, возвращение к вере, всплеск религиозности во всех слоях. На самом деле это попытка возрождения того самого архаичного понимания нации как религиозного союза людей, как коллективной религиозной соборной личности. Отсюда делаю вывод, вывод для религиозного сознания, которое пытается нащупать национальную идею. Я думаю, что национальная идея для такого типа сознания, в данном случае я говорю о рос-

сийском сознании, формируется по-прежнему в духе миссионизма, отстаивания православной веры и несения вот этой миссии, как она и была сформулирована. Я не вижу здесь причин что-то пересматривать. Это для той группы, которая считает себя православными христианами.

Но мы не можем говорить о России как о православной стране, не так это. Посмотрите, мы живем в неоязыческую эпоху, это кризис христианской культуры и сознания. Поэтому обратимся к следующей стороне опыта русской эмиграции — опора на русскую культуру как объединяющую идею на уровне менталитета. Это некий иррациональный уровень, не спрашивайте меня, что такое менталитет, я не могу дать вам формулировки, это слишком сложно. Но там, безусловно, основа иррациональна. И вот на этом уровне нас всех объединяет русская культура. Почему я считаю возможным выдвинуть задачу опоры на традиции русской культуры? Я вижу возможность на ней базировать так называемую национальную идею современной России, потому что это все-таки культура. Как и любая европейская, основанная на христианских идеях, христианских идеалах, ценностях. Эта культура сохранила максимально возможную связь с идеалами и ценностями, тогда как европейская культура слишком далеко ушла от них, отдалилась, потеряла ощущение материальности этой связи.

Опыт консолидации русской эмиграции вокруг традиций русской культуры был удачен. Может быть, в Российской Федерации, государстве многонациональном, но объединенном единой культурой, это тоже будет удачно.

И последний момент. Я не могу поддержать идею, порыв спасти человечество, которая прозвучала во многих вчерашних докладах. Не надо России играть посредническую роль. Понимаете, в рай насильно не ведут, в рай поодиночке входят, туда коллективом нельзя, не получится. Поэтому, если мы говорим о спасении, это спасение себя, в себе образа Христа, Божьего подобия, и через это, кстати, спасение и другого, ближнего своего. В данном случае мне близка идея Достоевского.

**Н. ЗЛОБИН**

Я живу и работаю в Америке уже много лет, поэтому мое мышление, судя по тем ремаркам, которые делались в адрес Соединенных Штатов, уже давно достаточно примитивное. Поэтому я сделаю только несколько замечаний в отношении того, что происходит в этой же сфере дискуссий в других странах.

Нет ни одной страны в мире, нет ни одного народа в мире, который не считает себя исключительным. В этом смысле Россия не отличается от других. В этом, кстати говоря, универсальность России, т.к. самоуважение и подчеркивание своей уникальности — вполне нормальная вещь. Нет народа более уверенного в своей исключительности, чем в Соединенных Штатах. Американцы очень уверены в своей исключительности и без конца это обсуждают. Их исключительность базируется на трех вещах. Во-первых, на знаменитом плавильном котле, где все превращаются в американцев. Во-вторых, на том, что они, выйдя из Европы, построили государство, отрицающее Европу, в этом их гордость. Они, эти выходцы из Европы, ненавидели Европу, они создавали все не так, как в Европе. Они свои корни отрубили и очень гордятся тем, что смогли это сделать. В-третьих, на том, что американцы не считают себя самыми умными, самыми образованными, самыми справедливыми, но они видят одну простую вещь — они создали хорошее государство, хорошую политическую систему. Они не видят

ни у кого в мире более логичной, более разумной политической системы. Можно с ним соглашаться, можно не соглашаться. Но на большее они не претендуют. Они только не понимают одного — почему эта политическая система не принимается другими. Но это уже не американское дело. Вот в этом заключается смысл американской уникальности, которую они без конца обсуждают.

Я постоянно общаюсь с американскими так называемыми советологами. Их не очень много, к ним можно по-разному относиться, мы уже давно друзья, хотя занимаем разные позиции, не такая большая группа в Вашингтоне занимается Россией. Но у меня уже несколько лет такое впечатление, что люди, занимающиеся Россией профессионально, всю жизнь Россию не любят. Говорят, что надо опять ехать в Россию, а не хочется. Там холодно и/или еще что-нибудь, возвращаются из России с большим удовольствием, и именно они — профессиональные эксперты по России. Как-то мы сидели, хорошо выпили, и я им сказал, что у меня такое впечатление, что они Россию не любят. Они ответили, что Россию-то любят, — но когда изучали эту страну в университете, читали Достоевского и Чехова, изучали знаменитую русскую культуру, читали о русской душе. В Россию тогда ездить было нельзя. А потом стали ездить туда и поняли, что огромная разница между тем, что написано в книгах, и этой страной, лежащей между этой и этой параллелью. «Это наше разочарование, нас Россия обманула. Поманила своей культурой, величием своей души, Достоевским, Чеховым, Тургеневым, а потом мы столкнулись с тем, что она совсем не такая, какая она в книжках». Я спрашиваю: а что же не то? Отвечают, что не видели в мире более эгоистичной культуры, чем российская, более эгоистичного народа, чем российский.

Или знаменитый российский пессимизм. Они не понимают, как вообще можно так жить, заранее зная, что ничего хорошего не выйдет. То есть какие-то вещи, к которым мы привыкли и воспринимаем совершенно нормально, со стороны выглядят дико и не поддаются какому-то разумному анализу. Причем американские советологи делятся на две категории. Одни — это те, кто вышел из политики, они занимаются политической наукой, политическими теориями и т.д., они считают, что надо строить демократические институты, рынок и т.д., применить к России модель, которую уже применяли к другим странам, и модель заработает. Американские советологи, которые вышли из изучения российской культуры, российской истории, церкви, они считают, что не заработает, они уже заражены этим делом. Если утрировать, то люди, мало знающие Россию, считают: модель в ней заработает, а люди, хорошо знающие Россию, говорят, что никакие модели там работать не будут.

И еще один момент, который все отмечают. Если вы возьмете учебники, не только американские, но и европейские, они все отмечают, что Россия непредсказуема в своей зигзагообразности. Вот это знаменитое разделение на Европу и Азию, когда каждое поколение отвечает по-своему на этот вопрос: куда мы, в Европу или Азию, и каждый лидер поворачивает страну то влево, то вправо, а это бывает в жизни одного поколения дважды-трижды, и чего ожидать в следующий раз, никто не знает. А как вы понимаете, в мире больше всего боятся непредсказуемости. Как мы говорим в политике, предсказуемый враг гораздо лучше непредсказуемого друга. Поэтому вот эта непредсказуемость российская, которую я в течение двух дней здесь наблюдаю, она на самом деле является предметом достаточно серьезным, если смотреть на страну со стороны, извне.

Мы живем в период, когда государство исчезает так быстро, что мы не успеваем даже этого отслеживать. Мы никогда не жили в эпоху, за исключением, может быть, первобытного коммунизма, когда государство играло такую маленькую роль. Национальных экономик практически не осталось у развитых государств. Глобализация. Международная корпорация. Нефтяные рынки. Энергетические рынки. Государство управляет очень малым в рамках экономики. Вы можете сегодня прийти домой, сесть за компьютер, включить Интернет и перевести свои деньги из банка России в банк Японии. Вас государство не может контролировать. Государство не контролирует денежную систему. Или возьмите границу. О границах много здесь говорилось. Какие границы? Вот я занимаюсь проблемами безопасности, и для нас большой вопрос: надо ли защищать границы? На границы никто не нападает, нападают изнутри. Зачем нам пограничные войска, условно говоря. Зачем нам эти ракеты, как они нам помогут? Вот Россия на днях приняла решение о строительстве еще 700 танков. Зачем? Логика какая в этом? Может быть, нужно, я не спорю. Но сама идея, что будет война между двумя независимыми государствами, которые перейдут границы одно другого, на самом деле сегодня почти невероятна. А какие-то другие опасности мы не в состоянии понять, потому что мы живем еще в той детской одежде, о которой я только что говорил.

Государство исчезает, а весь наш менталитет в течение последних столетий был основан на современном государстве, на его границах, на его культуре, на его национальных особенностях, на руководстве этим суверенным государством, на его политической и юридической системе. Сегодня порядка семидесяти миллионов человек пересекают границы мира. Кто их контролирует? Как их контролируют? Какие государства? Я уже не говорю про почту, Интернет, посылки... Европейский Союз уже практически уничтожил границы, как таковые. То есть когда говорят о границах суверенности, о государствах, надо, на мой взгляд, понимать, о чем мы говорим.

ООН построена на принципах суверенных государств, поэтому она ничего не может сделать. «Аль Каида» не государство, у нее нет территории, мы не можем объявить против нее экономические санкции, у них нет экономики. Мы не можем вызвать Бен Ладена в ООН и указать ему, что он должен делать, потому что он никого, собственно, не представляет. Он не президент, у него нет конституции, у него нет армии. А у нас суверенное государство со всеми атрибутами XX века. И мы попадаем в такой конфликт, и говорить о русской национальной идее или о будущем России, не понимая, что есть этот конфликт и что мир совсем другой, на мой взгляд, сегодня бессмысленно.

Мне кажется, надо ответить на вопрос, на который мы пока не можем ответить: что будет означать величие страны в XXI веке? Я не знаю. Если количество вооружений... Я не понимаю противопоставления благополучия и величия. Если это военное величие, то почему Америка не является сочетанием обоих? Это великая страна и достаточно благополучная. Если мы меряем величие державы опять критериями XIX века, т.е. военной силой, то да, Россия до сих пор великая держава: 1600 ядерных боеголовок, из которых 1599 направлены на Америку. Атомные подводные лодки плавают в Индийском океане и нацелены на Вашингтон. Мы великая держава, за полчаса мы можем смести Америку. Делает это нас великой державой? В XIX веке бы сделало. Зато Китай делает самое большое количество штанов в мире. Это делает Китай великой державой? Я не знаю.

Или это качество жизни народа? Или это стабильность системы? Или культура? Но факт, что критерии, которые мы обычно применяли, уже не годятся. Вот ядерное оружие — это теперь оружие бедных. Это пятьдесят лет назад ядерное оружие трудно было произвести, нужны были налоги, институты, ученые, сегодня практически нищее государство Северная Корея способна произвести атомную бомбу и поставить всех на колени. Это уже не делает Россию великой державой в военном плане, если Корея способна поставить нас на колени, или Иран, или Израиль. Надо пересматривать какие-то фундаментальные вещи, и в этом плане вся концепция величия, связанная с военной силой уходит в прошлое.

Может быть, это величие связано с количеством друзей в мире. Американцы пытаются сегодня эту проблему решить. Я вижу, что у России сегодня не осталось ни одной дружественной страны. Для меня эта проблема гораздо более серьезна, чем количество ракет. Если что-то случится, никто грудью за Россию не встанет. Мне кажется, эта потеря — гораздо более серьезная проблема, с точки зрения будущего России и безопасности. Вчера кто-то говорил, что на Западе и в Америке публикуются негативные статьи о России, и поэтому у нее имидж плохой. Но извините, нет ни одной страны в мире, о которой публикуется больше негатива, чем о США. И до сих пор Америка для многих является идеалом, а многие просто стараются туда попасть и жить там, невзирая на статьи.

Второй тезис. Я хочу сказать о взаимоотношениях власти и народа. Вчера здесь об этом тоже говорили, и меня все время задевала одна простая вещь. Люди интеллигентные, очень красиво говорящие, все время повторяли: дайте народу идею, сформулируйте ее. Дайте ему хорошую идею — будет хорошо; дадут плохую — плохо. А кто вообще дает народу идеи? Если это русская национальная идея, то кто монополизировал право в этой стране на давание народу идеи?

Вот никому в Америке не придет в голову ожидать от президента Буша, чтобы он сформулировал и огласил народный приоритет. Никому в голову не придет отдать это правящему классу. Простой американец считает, что это его дело. Национальный интерес формируется нацией. Не политиками, не элитой, тем более не лидерами. Элита и лидеры нанимаются для того, чтобы они пытались эти национальные идеи реализовывать. Если они плохо реализовывают, мы их следующий раз не изберем. Если они хорошо реализовывают, мы их будем держать, кормить и платить им деньги. Но вот идея, когда национальные интересы, национальная идея или национальный идеал формулируется небольшой группой в Кремле, на которую никакого влияния никто оказывать не может, — никому в голову такое не придет. Нельзя так национальную идею формировать.

Такое впечатление, что в России постоянно колоссальное недоверие к народу, не способному ни на что, и огромное привлечение возможностей правящего класса. Элиты.

Я недавно прочитал очередную книгу Пайса, «Свобода и собственность». Там интересная глава о России. Он пишет, что, на его взгляд, все беды в России начались с того момента, когда русские князья стали собирать дань для татар. От имени татар они стали собирать дань со своего народа, превратившись, таким образом, в часть татарского ига и глядя на свой народ глазами татар как на народ завоеванный, как на народ побежденный. Вот он считает, что с этого момента раскол между властью и обществом, между правом и совестью, между народом и элитой начался, и до сих пор он продолжается, что так никогда и не произошло никогда обратного воссоединения. До сих пор российская власть, российская элита

смотрят на народ как на народ, который она завоевала, и она дает ему идеи и поворачивает этот народ направо-налево, в Европу, в Азию, на строительство ракет, космических спутников и т.п. Вот этот вопрос в России толком никогда решен не был, и это вызывает очень много непонимания на Западе, до каких пор народ будет таким, как пишет Пушкин: «Народ безмолвствует».

И еще один вопрос, который нельзя опустить, когда говорится о фундаментальных российских вещах, основах, — это вопрос собственности. Вопрос собственности в России — это самый большой вопрос на протяжении столетий. На мой взгляд, и не только на мой, я тут ничего оригинального не выдумаю, вопрос собственности в России никогда не был решен.

Начался XXI век, в России до сих пор идут споры о частной собственности. Это вопросы, которые были решены в Европе в XII — XIV веках. Я помню еще из учебников, меня тогда поразило, что в первый раз, когда восстали декабристы в 1825 году, они были повешены, но у них ничего не было отобрано. Вот это был поразительный пример в российской истории, потому что раз ты преступник, то у тебя заодно отбиралась собственность. Собственность связана с твоей лояльностью, собственность связана с твоей политической линией, собственность не имеет самостоятельного значения. И вот то, что в России собственность не имеет самостоятельного значения, делает эту страну, этот народ очень уязвимым, зависимым от тех, кто принимает политические решения. Поэтому я думаю, что говорить о будущем России, о стабилизации, о каком-то более-менее нормальном развитии страны без решения этого вопроса также будет очень трудно.

И последнее. Я вчера ждал этих слов, а сегодня, наконец, дождался от профессора Левады. Это — «универсальность», и он еще использовал слово «модернизация». Вчера весь пафос большинства выступлений был в том, что русская идея, русская община, русская культура должны влиять, влиять, влиять... Но как можно влиять, не будучи интегрированным туда, на что ты хочешь влиять? Влиять со стороны — это все равно как сидеть и слушать то, что я говорю за три здания отсюда. Все равно ничего не слышно. Если ты не там, то никакого влияния нет. Значит, надо говорить о том, как туда попасть. И поэтому надо принимать какие-то вещи, которые являются универсальными, смешно против них бороться.

Россия действительно великая страна, великая культура, оказавшая влияние на очень многие вещи. Но кто-нибудь говорит о том, что хотел бы в этой стране иметь через пятьдесят лет? Американцы об этом постоянно говорят, что такое будет Америка к концу XXI века. Есть конкретные вещи, есть то, чего они хотят достичь.

При всех плюсах демократии у нее есть огромный минус: надо каждые четыре года выиграть выборы. Поэтому думать больше, чем на четыре года, политический класс не в состоянии. Надо ведь выиграть выборы, а то, думая о будущем, их можно и проиграть. Это не дело элиты, не дело политиков — думать о будущем страны. Это большое заблуждение, которое существует в России и которое идет из российской истории. Это дело народа, тех, кому на следующие выборы глубоко наплевать, и они думают о гораздо более фундаментальных вещах. Поэтому я думаю, что здесь надо сместить акценты, и пусть элита, пусть власть, пусть политические партии и президент думают о том, как поднять ВВП или как выиграть следующие выборы, это не их дело — думать о будущем страны. Это дело народа. Но как побудить народ в России думать об этом и формулировать свою национальную идею — я, честно говоря, не знаю.

**Л. АННИНСКИЙ**

Если в реальности, пока ты говоришь фразу, ты два или три раза меняешь оттенки понятия в зависимости от ситуации, как это все обсуждать? Если Гозман в упор не видит России, а Непомнящий и видит и помнит и если мы определим все эти понятия, мы что же, стенка на стенку пойдем? Может быть, лучше вот так в тумане копаться, по крайней мере, в живых останемся.

Валентин Непомнящий рассказал нам сказку о том, как мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Ну да, мышка. Компьютерная. И тогда понятно, что нужна модернизация всей системы и мы должны входить в другую систему, иначе нужно организовываться. Нужно иначе управлять людьми, нужно иначе управлять тем, что называется собственностью, никакой собственности тут на самом деле нет, но все равно, предметом управлять надо. Стали искать, кто может управлять. Давайте искать того, кто начнет управлять. Партдеятели не могут управлять. Нашли каких-то, управляют. И тут же несется фраза: «Это хапок», — и в ответ — презрение и обида. А вы чего не нахапали? Если стоять на той точке зрения, что всякая собственность есть хапок и прожирание, тогда все правильно. А если ты должен управлять — тогда как? И вот так все эти самые наши слова, они гуляют туда-сюда. И чего нам обсуждать — непонятно.

Нация при Наполеоне во Франции одно означает, при Джефферсоне в Америке другое означает, у Розенберга в Берлине третье означает, у товарища Сталина четвертое означает. А нам предлагают *национальную идею*. Почему национальную? Я понимаю, нужно любой ценой сплотиться, Россия если не разваливается, то шатается, народ злорадствует и радуется неуспехам собственной власти, хотя не из тебя ли эта власть? И жить в этой ситуации, не пытаясь сплотиться, опасно и противно. Но почему — национальная? Да, русские никогда нацией не были, они всегда были сверхнацией — как американцы, как индусы, как китайцы. Русские этнически сложились из славян, тюрок и монголов, и это уже вы не расцепите. Как вы вернетесь к племенному? Но ведь весь мир говорит слово «национальный», и мы вынуждены играть в эту игру. И потому русские пытаются стать сейчас этнической нацией. Что они для этого делают? Бороды отпускают. Как Дугин велит, или головы бреют, и непонятно, кого убивать после этого.

Честно говоря, это просто чушь собачья. Но приятно, и власть тоже беспокоится, и хочет что-то сделать. А слово «власть» я терпеть не могу, потому что «власть» — это мы, и никакой идеи никакая власть не даст.

Вообще идеи не предшествуют реальности, а идеи оформляются по ходу того, как реальность реализуется. Ну и какая реальность у нас сейчас? Что мы реализуем? Вопрос ставит Юрий Александрович Левада, что лучше — благополучие или величие? Но если всю историю это голодуха, или гулянка, а середины нет, то, конечно, нам хочется благополучия. Простите, оно воняет, потому что это желудочно-кишечный тракт. Ладно, будем терпеть вонь, будем выключать телевизор. Хорошо, можно так. А при чем тут величие? Никакое величие заказать нельзя. Величие крови стоит, слез стоит. Если уже получилось так, что выиграли 1812 год, вот Толстой и написал, что это величие. А как это запрашивать, у кого это просить и как рекомендовать народу это величие, когда заранее известно, что это страшная скорбь и беда?

Роднянская правильно вчера сказала, нечего бояться империи. В империях больше вольности, как правило, чем в моногосударствах, потому что империя

возникает там и тогда, где народы устают бороться между собою и соглашаются на общую крышу. Конечно, каждый отказывается от части своей самости, своей инаковости. Но нет других путей выбраться из бесконечной свары, бесконечной междоусобицы.

Правильно, империя дорогого стоит, очень тяжело, но великие культуры рождаются в контексте великих империй, в том числе из сопротивления гнету этих империй, только в этом контексте. А иначе будет маргинальность.

Кстати, с маргинальностью и с универсальностью. Опять слова подменяем. Было понятие всеотзывчивости, мы с ним как-то сжились. Нет, теперь это универсальность, теперь это глобализм. Если глобализм — реальность, то такая же реальность — природа человека, которая постоянно сопротивляется этому глобализму. В диких формах, страшных формах, но это неизбежно.

Как будем жить дальше? Может быть, мне позволено будет некоторые тезисы предложить? В XXI веке американский котел взорвется, и они будут заново собирать все. В XXI веке гегемоном Европы будет Германия, потому что немец лучше всех работает. И кроме того, будет еще решаться вопрос: где юг, а где север? Если вы даже сейчас возьмете и почувствуете, где горит — Индонезия, Кашмир, Иордания, Чечня, Албания. Это линия фронта, не между Западом и Востоком, а между Севером и Югом. А на Юге колоссальный перевес энергии, рождаемости и чего угодно.

Есть три образа жизни в империях: есть общий котел, есть многожильный провод и есть уподобление. Советский образ — это многожильный провод, где каждый внутри этой крыши остается самим собой. Многожильный провод — это риск короткого замыкания. Мы это короткое замыкание имели 15 лет назад, пережили и пытаемся жить дальше. Есть общий котел — это Америка. Копится, взрывается, опять копится. Россия и эти стадии проходила. Сейчас в ходу уподобление. Хочешь стать французом — едешь и становишься. Хочешь стать британцем — пожалуйста. Тебя принимают, становись британцем. Немцем хочешь стать — пожалуйста. Турки приезжают в Германию и потом хвастаются, что во втором поколении этот бывший турок уже настоящий немец. Правда, он по-прежнему мусор собирает, а немец о Боге думает, но это уже другой вопрос. То же самое и с Францией. Генерал Дюма был негр, а ближний потомок его был Александр Дюма, он уже был француз. Пакистанцы приезжают в Англию, их дети становятся британцами, принимают британскую культуру, становятся англичанами, читают Чосера, читают Шекспира, играют в футбол и гребут на этих регатах, а потом взрывают метро. Почему? Почему во Франции не стали французами люди, которым предложили черную работу?

Проблема для России: надо делать нерусских русскими, иначе пропадем, мы не выдержим той борьбы, которая идет и будет идти в XXI веке. Как русским стал Фонвизин, как русским стал Багратион, как русским стал Тургенев, Булгаков, что я буду вам перечислять! Пушкин. И вот мы получаем русских и задаем себе вопрос: а это новые русские, которые стали старыми русскими, или это пятая колонна, которая рванет в метро или где-нибудь еще? Вот этот вопрос — у меня нет на него ответа. Это страшная тревога. Это та реальность, в которой мы сейчас живем.

Речь не о том, чтобы нам исправить ситуацию или подарить народу идею, ничего мы не подарим. Мы задним числом в лучшем случае ее сформулируем, и то лукавыми словами. Мы народ художественный.

**ИГУМЕН ВЕНИАМИН (НОВИК)**

Двигаемся назад? А чему, собственно, удивляться? Свобода и право никогда в России не были этической ценностью. Более того, свобода была и до сих пор есть синоним анархии. За свободу никто особенно не боролся, а закон никогда не понимали как гарант свободы. Некоторые злые языки даже утверждают, что у русского человека нет гена вкуса к свободе. Правовой закон воспринимается как формальная пустышка и, кроме умученных в «системе исполнения наказаний», никого не интересует.

Теперь опять дрейфуем неизвестно куда, в некий соци-капитализм с игорными домами, отдельными человеческими лицами и контрольными выстрелами в голову. Одним словом, то ли Евразия, то ли Азиопа, то ли некоторое их сочетание. Надежда, как и прежде, одна — на «авось». Но «авось» срабатывает почему-то все реже и реже, а с верой в Бога — проблемы.

Так нам и надо, или, как гласит самая популярная русская поговорка, «сами виноваты». Момент упущен, теперь все сложнее исправить. Ну что ж, самое время продолжить поиски национальной идеи.

Чем отличается народ от населения? Очевидно, наличием чего-то общего в культуре, религии, в системе этических ценностей, в мировоззрении в целом. Причем все это должно быть ориентировано на понятие добра, относительно которого также должен быть некоторый консенсус (общественное согласие). Причем это добро должно быть не только для одного человека, но касаться в той или иной форме всех членов общества. Именно это предполагает ныне прочно забытая социоэтическая концепция «общего блага». Если невозможно создать рай на земле и полностью искоренить зло, то вполне возможно оптимизировать состояние общественных отношений с существенным преобладанием добра над злом. При наличии доброй воли, конечно.

Полезно вспомнить не только главную Евангельскую заповедь о любви как универсальном принципе, но и первую статью «Всеобщей декларации прав человека»: *Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.*

К тем, кто не хочет слушать свой разум и совесть (голос Божий в душе человека) и посягает на права других людей, применяется силовое ограничение, называемое законом. Правовая юридическая система никому не обещает счастья, но стремится гарантировать отсутствие некоторых несчастий: грабежей, насилия и т.п.

Ну а теперь главное определение: *Национальная идея есть идея общечеловеческой солидарности, выраженная на языке национальной культуры.* Сущность *национальной идеи*, согласно Владимиру Соловьеву, совпадает с христианским преображением жизни, построением ее на началах истины, добра и красоты. *Национальная идея*, по определению Вячеслава Иванова, не содержит в себе никакого «национального фатализма» или «народного эгоизма», а является «самоопределением собирательной народной души... во имя свершения вселенского». Сочетание «родного и вселенского», в понимании Иванова, и есть идея христианского универсализма. Все остальные разновидности *национальной идеи* суть лишь различные формы группового эгоизма, который пострашнее индивидуального будет. Национальный интерес допустим, конечно, но не более чем как состязательный аспект при наличии справедливых правил игры.

Весь вопрос в том, где взять вкус и желание к братству, солидарности, сочувственно-сострадательному отношению друг к другу (и ближнему и дальнему), к справедливости, к желанию добра ко всему тому, что принято называть отчизной, и далее — всему человечеству. Именно так определил национальную идею Достоевский, реалист в более высоком смысле этого слова (как он себя определил), чем трюкачи-политтехнологи тех и нынешних времен. Он говорил в своей пушкинской речи: «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и неизбежное».

Не секрет, что как-то нам нынче не дружится и не любится. На улицу выходим — как в бой идем. Причем сразу против всех: бюрократии, ждущей взяток, чиновников на кормлении, уличных хамов, продавцов, которые норовят нас на каждом шагу обмануть. Вечером передвигаемся, у кого машины нет, короткими перебежками, как на фронте. Это все — при фатальном недоверии к государству «самому холодному из чудовищ» (Ницше), любые реформы, исходящие от которого нас страшат. В лучшем случае братство получается лишь в узком кругу близких друзей. Не хватает нам этой самой общечеловеческой солидарности.

Как рождаются, формируются и исчезают этносы, нации, цивилизации? Никто толком этого не знает. Ответ уходит в иррациональные глубины Бытия, в некую социобиоэнергетику, пассионарность, просветленную светом Логоса. Не знаю, суждено нам жить или исчезнуть с арены мировой истории. Но раз мы хоть это знаем, не помирать же преждевременно. Может быть, все-таки попробовать что-то восстановить и воссоздать?

Может быть, надо сосредоточиться, обрести хотя бы немного воли и начать с исполнения вечных Божиих заповедей: «не убивай», «не воруй», «не лги»? Затем оглянуться окрест себя и ощутить ответственность за происходящее вокруг, стать наконец вменяемыми, преодолеть синкретический (кашеобразный) тип сознания. Далее хорошо бы перестать быть политическими младенцами, ожидающими от барина пряников «сверху». А там, глядишь, и в народ, наконец, мало-помалу превратимся. Ведь даже большой путь, как гласит восточная мудрость, начинается с малого шага.

Наша национальная идея четко выражена в Конституции. Это — правовое, социальное государство. Этого пока достаточно. Нужно начать. Может быть — и до любви дело дойдет, и вкус к жизни постепенно появится. Аминь.

**Н. КОРЖАВИН**

Мы находимся сейчас в той ситуации, в какой находимся. С Россией произошла трагедия, это правильно. Но не во всем она связана с какими-то глубинными отрицательными качествами русской души. Что значит — русский народ не виноват в своей судьбе? Виноват! Но все-таки не так, как об этом пишут. Это не выражение нашей сути — то, что с нами произошло. Нет такого народа, который бы сам себе выдумал коллективизацию и раскулачивание.

Бывают в истории неприятности, иногда они бывают случайными. Вот Степан Борисович Веселовский в своей книге об Иване Грозном сказал, что бывают в истории явления абсолютно бессмысленные. Таким он считал, например, Иоанна Грозного.

Была революция. Что-то такое с русским народом происходило, то ли откровения, то ли помешательство. Россия первая открыла ужас XX века. Вот когда

сидели Свердлов с Гусевым и выдумывали указ о роспуске Учредительного собрания, я не знаю, какими они были людьми, но, во всяком случае, не народ это сделал. Люди хотели просто жить, жить и работать. И стали работать, как только представилась возможность. Когда Ленин из тактических соображений пошел на НЭП. Кстати, этот НЭП предлагал и Троцкий еще на год раньше, но Ленин надеялся, что обойдется, что можно и без этого, а потом понял, что без этого нельзя. Естественно, когда они давали крестьянам пахать, они это делали не из народолюбия, а просто чтобы уцелеть, сохранить свою идею.

Я считаю, что во многих бедах русского народа виновата и интеллигенция тоже. Ее прекрасные чувства не подкреплялись знанием самого народа. И вот это идейное творчество мировой интеллигенции — причина многих несчастий, и сегодня тоже...

Я больше 32 лет живу в Америке. У меня критического в отношении ее достаточно много, хотя и очень много хорошего. Я абсолютно не согласен с ее графоманской политикой в отношении России после перестройки. Вначале начали помогать, потом... Зачем это продвижение НАТО на восток? Бред сивой кобылы. А мы привыкли жить стратегически, и мы пугаемся — к нам в тыл заходят. Уверяю вас, американцы ни с кем воевать не хотят, а с Россией тем более, потому что русские ведь непредсказуемы и в этом смысле, и обижать их — бред.

Я не могу понять антиамериканское помешательство, которое дошло даже до этого зала. Америка нормальная страна, в чем-то хорошая. Когда я приехал в Америку впервые, я написал ныне покойной Ирине Алексеевне Иловайской о своих первых впечатлениях: «Америка — страна передового прикладного христианства, напоминает рай до грехопадения, но яблоко висит». Яблоко висело в основном в американских университетах.

У них глобальный интернационализм тоже был, они всех жалеют, кроме себя. Даже к Советскому Союзу не так относились: «вы понимаете, надо дать им сохранить лицо». Я им говорю: вы свое лицо сначала сохраните.

Запад был впереди, но сегодня он сам не знает, что делать, он меньше нас знает. Происходит какая-то капитуляция перед напором иррациональных и глупых сил, а мы все-таки должны защищать свое.

Идет исламистское наступление на всю культуру нашу, на религию. Причем они же исламизируют не проповедью, мусульмане имеют такое же право на проповедь, как и все остальные, а захватом, силой. Я православный, мне ближе христианство, но пускай, кто хочет, будет мусульманином. Но стремиться навязать — это отвратительно. Вот, допустим, были русские эмигранты в Париже, их было очень много, но они не накладывали лапы на Францию, а просто жили, выпускали свои книги, газеты, разговаривали, и к ним ненависти не было. А тут они стали навязывать свои формы жизни. Мы — мусульмане! Так будьте ими, но не надо делать собор мечетью Парижской Богоматери.

Вообще говоря, людям дают права, эти права выработаны христианской цивилизацией западной, а они начинают использовать эти права для уничтожения этой цивилизации.

Россия все время ищет *национальную идею*. Я не знаю, что это такое. Я просто люблю Россию. Я ее видел в разных местах, в деревне я был не заезжим гостем, а жил два года в ссылке, мое положение было ниже даже, чем местных жителей, поэтому меня никто не воспринимал как чужака или как какого-то начальника.

Никакой особой лени русского народа я не видел. Я работал на заводе, там были талантливые люди, которые умели очень многое делать. Потом русские в Америке, я имею в виду этнических русских, вторую волну эмиграции, они были самым преуспевающим нацменьшинством в Америке, они работали. Они не пили вообще.

Нет тут никакой прирожденности. Но себя защищать надо. Без этого нельзя. Мы уже воюем, хотя и плохо. Вот в России есть такой талантливый политический обозреватель Радзиховский, и он когда-то написал, что Четвертая мировая война уже идет, и мы ее проигрываем. Мы — это Запад, включая Россию. Мы проигрываем потому, что те, кто с нами воюет, знают, что они воюют, и они ведут себя соответствующим образом, а мы в это время произносим речи о том, что мы им недостаточно конфет дали.

Самое главное не сказал. У нас все мышление — западное. Все равно нам всем надо равняться на Запад. Давайте сохранять себя, свою гордость, и не надо самих себя превращать в вечно виновных перед всеми. У нас есть много недостатков, и мы многое должны взять у Запада, умение организовывать работу. Американцы, когда хотят, они здорово организуют работу. У них организационный гений. Учиться этому надо. И нет такой вещи, которую русские не могли бы перенять или сами создать.

**О. АНРИ МАРТЕН**

Мне было очень интересно слушать, было много поучительного. Конечно, некоторые вещи и встретили сопротивление, и иногда был вопрос «а куда я попал?». Я еще помню времена, когда мы «Континент» неизвестно как подпольно доставали, фотографировали, и я сам ночами в ванне печатал его на фотобумаге и распространял. И я как-то не ожидал услышать здесь такие вещи, что злые американские госсекретари спят и видят, как бы матушку-Россию расчленить. Или давайте будем расчленять Украину потому, что они Гоголя на украинский посмели перевести. Я не понимаю, почему можно Гоголя на французский переводить и нельзя на украинский. То, что там найдется немало людей, которые предпочли бы войти в состав России, я нисколько не сомневаюсь. Но, говоря такие вещи, надо очень ясно отдавать себе отчет, что найдутся и те, которые этого никак не приемлют, и такие вещи, вообще говоря, чреваты кровью, и большой кровью, потоками крови. Понятно, что тот, кто говорит, об этом не думает. Те, кто в свое время сочиняли фашистский гимн, тоже не воспринимали его как призыв истреблять евреев и славян.

Несмотря на мое экзотическое имя и грузинское происхождение, я считаю себя русским, думаю и говорю по-русски, и, как выражался товарищ Сталин, я человек русской культуры. У меня жена русская, дети русские. Внуки русские, и мне совсем не безразлично, что будет с моей страной, как будут жить мои дети, как будут жить мои внуки. Для меня этот вопрос очень близкий, болезненный. И поэтому я счел необходимым дать точку зрения людей со стороны, потому что она тоже мне близка. Я сам из Грузии, грузинская точка зрения для меня тоже своя, родная.

Вы здесь все чувствуете, что Россия вызывает беспокойство своих соседей, говорили даже много о том, почему именно. И вот мне вспоминаются слова моего друга Давида Давлеанидзе, который говорил, что русские — это народ, который свое историческое несчастье распространяет на соседние народы. И

так горестно при этом добавлял: «Ну при чем здесь мы? Или при чем здесь афганцы?» Ну что афганцы здесь ни при чем, все согласятся более-менее. Про Грузию я вчера здесь услышал, что она вошла в состав России добровольно. И да, и нет. Можно внести очень существенные коррективы. Добровольным был Георгиевский трактат 1784 года, который (кстати, речь шла не о всей Грузии, а только о ее восточной части) царь Ираклий II подписал с Россией, причем это был договор о протекторате. Протекторат означает, конечно, ограничение суверенитета в обмен на защиту. Но результатом этой защиты в течение 20 лет явилось то, что население Грузии сократилось вчетверо — с двух миллионов до пятисот тысяч. И для этих пятисот тысяч был вопрос просто физического существования — войти в состав Российской империи или вымирать дальше, т.е. такой добровольно-принудительный способ вхождения.

Буквально сегодня утром я слышал по московскому радио, причем на милицейской волне, если я не ошибаюсь (там очень короткие новости, очевидно, выбирают события наиболее важные, с их точки зрения), и там сообщили, что в Приднестровье сегодня приступили к выпуску собственной монеты. Выпускает ли собственную монету Буркина-Фасо, никому в голову не приходит сообщать в новостях, потому что она в русскую *национальную идею* не включена. А Приднестровье в эту идею попало, и выпадет ли когда-нибудь — неизвестно. Так же как попали в эту идею Абхазия, Осетия в Грузии.

На момент начала абхазско-грузинского конфликта среди населения Абхазии абхазы составляли 18 процентов, большинство же были грузины. Это, конечно, не значит, что эти 18 процентов необходимо было подавить, заставить молчать. Разумеется, нет. Но если бы Россия действительно перед собою ставила миротворческие цели, то при таком соотношении это как-то можно было решить не военным путем, не за счет того, что большую часть населения истребили или выгнали оттуда. Вы сегодня возле Белорусского вокзала встретите очень много продавцов цветов — грузин, они все из Абхазии, потому что их оттуда выгнали, а кто не успел бежать, тех убили. И Шамиль Басаев, как мы знаем, там проходил свою выучку террористическую. Это надо было все-таки по-другому как-то решать, и такие возможности были.

Я хочу, чтобы мы ясно отдавали себе отчет, как наши слова воспринимаются и к каким они последствиям могут привести, потому что, рассуждая о своей *национальной идее*, надо все-таки помнить, что никто не обязан входить во все тонкости, во все нюансы того, как мы к этому относимся. Потому что у него перед глазами фактические выводы, от которых как бы мы ни дистанцировались, но все-таки для грузина или для молдаванина это «то, что с нами Россия делает».

И маленькая ремарочка. Я слышал про тезисы, что собираются говорить о Третьем Риме, о его актуальности и т.д. Это очень большая проблематика. Но мне как католику все время невдомек, а зачем нужен Третий Рим, если Первый никуда не делся.

**Л. МЕДВЕДКО**

Я востоковед, поэтому я смотрю на русскую национальную идею с востока, а вернее сказать, с евро-азиатской стороны.

Из того, что я здесь услышал, мне самое близкое то, что все понимают, что все стало другим. Другое стало все. Другой стал мир, причем он стал другой еще

до распада Советского Союза, а после распада произошла глобальная деконструкция. Но в этой деконструкции «другим» стала и Евразия. Поэтому и то, что писалось Россия—Евразия через черточку, тоже стало другое, и то, и другое. Я являюсь вице-президентом фонда Айтматова, мы собирали последний наш форум по Иссык-Кулю, и гладь Иссык-Куля была такой гладкой, и белый пароход прямо за сценой. Никто не думал, что пройдет полгода, и то, что ЮНЕСКО объявило заповедной зоной биосферы, с точки зрения ноосферы станет хаосом.

Мы обречены историей быть государством. Даже протяженность наших границ и евразийское положение обязывает быть государством. Но, помимо известного геополитического термина *местопребывание*, есть цивилизационное новое определение (я его ввел в своей книге «Россия. Запад. Ислам») — условие нахождения. Россия находится в уникальном условиенахождении. Это Богом ее определили в Европу и Азию, но мы сами распяли себя на Голгофе и оказались сейчас распятыми между социализмом, несостоявшимся бюрократическим, и капитализмом, несостоявшимся разбойничьим или олигархическим, каким угодно, и тоже бюрократическим. Причем в еще худшем виде, т.к. раньше взятку брали очень умеренно, сейчас она берется очень большая. Так вот, эти два положения — местопребывания и условиенахождения и являются ключевыми для определения национально-государственной идеи России.

Какая это идея? Это всегда идет из троицы, из триадности, из тринарности. Я попытался к 60-летию окончания войны сформулировать эту тринарную идею. Это: служение отечеству тому, которое есть; верность родине, которая была; любовь (как понимание Бога). Как сформулировал Солженицын, это сохранение нации. А сохранение нации — это любовь внутри семьи, это любовь к женщине, это любовь к детям, это любовь друг к другу. Это называется Богом.

Но все стало «другим», поэтому как ни прозвучит это для православия кощунственно (все говорят о том, что ислам должен измениться), но измениться должны все религии в XXI веке. В исламе есть ключевое слово. Это *насха* — отмена некоторых пророческих слов, сказанных самим пророком. И это требуется всем религиям. Их надо привести в соответствие с теперешним положением. И вспомнить одну из главных заповедей: «Цезарю — цезарево, а Богу — божие». Вот, мне кажется, идея, которая могла бы спасти все остальные национальные идеи.

Не должно быть исламских государств, не должно быть христианских партий или исламских партий. Вера, религия являются сугубо внутренним делом человека. Как только это пытаются распространить на политику, на национальные идеи, это становится более опасным, чем любое ядерное оружие. Если к этому человечество не придет, оно погибнет от того, от чего оно было рождено. Религия, возведенная в ранг политики, становится не Богом, а дьяволом.

**Г. ГАЧЕВ**

«Сова Минервы вылетает ночью», — говорил Гегель, т.е. мудрость и знание явления наступает тогда, когда оно умерло. Россия роковым образом запоздала с работой «познай самого себя». Ныне мы после драки машем кулаками и судорожно пытаемся понять, зачем мы жили и зачем живем. Ведь было небось назначение высокое. Да, было, и оно исполнилось уже без надобности особой рефлексии, сознания, как молодой, полный сил и здоровья организм живет и действует без надобности обдумывать и понимать себя.

*Национальная идея* — это как Божий замысел о данном национально-историческом теле, организме, России. Каким ему быть, отличным от других. Вливает душу живу в сие тело и предопределяет назначение в жизни ему как породе живых существ. На языке философии выражает это же категория *энтелехия* — целевая причина, что, по Аристотелю, есть у каждого существования. Энтелехия — это определение и причины, т.е. того, что позади, и цели — того, что впереди, в будущем, как зов. Призвание и тяга. И пока они вместе действуют, они реализуют целостность всего существования. Так, энтелехия соснового семечка — это стать роскошным деревом и жить 400 лет. И до тех пор душа жива в нем.

Пример мой. Я в 11 лет с музыкальной папкой садился в сани и ехал на Якиманку в музыкальную школу и там встречался с Бочаровым, который играл на скрипке, а сейчас, на 77-м году жизни, я выступаю с докладом про энтелехию, и то, какой я сейчас, уже работало во мне 11-летнем.

То же самое и с каждым национально-историческим организмом. В стране, народе — это одушевление, пассионарность. Это одушевление восходит дальше в разум, в сознание своего я: что такое я и каково мое призвание. И это уже идея.

Так что различим. Энтелехия — это понятие онтологии, бытия, а *национальная идея* — это понятие гносеологии, как доходит наш разум и как мы понимаем свою энтелехию. Обычно мы предлагаем разные варианты. Третий Рим, Русь-Тройка, соборность, «завидуем внукам и правнукам», всепонимание, всемирная теократия, евразийство, мировая революция и коммунизм, — это все ипостаси нашей энтелехии, варианты идеи. Это были сверхидеи самосознания. Сейчас тоже ищут национальную идею в таком узком гносеологическом понимании. Это сверхидеи самосознания, сопутствующие живому и вдохновенному шествию России как космоисторического тела.

С точки зрения планеты Земля, назначение России, русского народа было, как понимал еще Ключевский, разлиться, колонизировать, цивилизовать равнину севера Евразии, от Балтики до Тихого океана. Это и было осуществлено в советской цивилизации, которая есть продолжение и пик, и реализация энтелехии России. Что же сделано, реализовано? Покрыт север Евразии дорогами, принесена цивилизация Запада народам востока, севера и юга внутри социализма и интернационализма, в чем уже сказалась своя предварительная глобализация по-русски прежде нынешней глобальной. Причем чьей силой?

Три субъекта есть в истории России. Первый — это Мать Сыра земля, огромная, от Балтики до Тихого океана. Мать Сыра земля рождает русский народ, как Гея рождает Уран — небо, который ей сын и муж. Но русский народ реденький, слабенький. Недостаточный муж. Он мужчина — но мальчик, не муж для России-матери. Поэтому России пришлось второго мужа завести. Это государство, держава, кесарь. И он с запада варяг, государь. Вот так три субъекта в российской истории, и все они друг другу необходимы. Мать Сыра земля как субстанция, субъект; народ-сын, но не муж; и государство-муж, который взял ее в охряпку и работал. Россия — огромная и бесконечная Мать Сыра земля, водо-земля, аморфно-расползающаяся, ее нужно дополнить чем? Формой и огнем. Огне-земля это государство, труд и так далее. Государство выступает... не только милитарная цель у него. Причем вектор развития и разлития России — против восхода солнца. Смотрите, Россия выступала носителем западных моделей и идей, которые развивались с запада на восток, Ермак, Сибирь, Владивосток и так далее. Весь вектор цивилизации шел с запада. Все понятия такие же. Третий Рим почему берется за понятие?

Против восхода солнца. Православие из грек, власть из варяг. Отсюда же развитие в российской Европе — разлитие на юг и восток. То же и коммунизм.

То есть что же что получается? На месте золота Орды (а золото — это Солнце), на той же территории мы распространили серебро Луны — духовность, бесцветность, бескрасочность, на место жизненности и эроса — воздержание. В России жизнь как бы стыдное дело. Почтенна жертва, смерть, идея — выше дело. И вот на этой тяге и духе развивалась, разливалась Россия по бесконечной равнине, как вечер. И народ тут странник, свечер (это мой неологизм — народ по субстанции свет и вечер)... Калика перехожий, но и солдат-воин. Тут вектор России — однонаправленная бесконечность с запада на восток. Россия как космодром на вылет с Земли в космос, в дух, в Царствие Небесное, Циолковский, Федоров и т.д. Как бы попирая жизнь на духовность. В этой интерференции воль с запада и востока создала Россия свою великую цивилизацию и культура, литературу, музыку.

Но что происходит? Насилие горизонтали над вертикалью. А вертикаль — это что? Власть земли, земледелие, рожание. Всегда это было слабо в России. Тяга земли так слаба, что даже пришпиливать русского человека приходилось крепостным правом, чтобы не разбегался в кочевой психике странника, что гуляет, где ветер, да я. Русский человек не самостоит, он сдуваем, он не self made, а державой made, его крепит держава, муж России, кесарь. Человек не самостоятельный мужчина, мечта бедных русских женщин несбывающаяся, и потому так легко было советской власти выдрать с конем христианство и переселить в города. И вот уже русский человек беспомощен, люмпен, зависимый от подачек государства и магазина, не кормит себя, детей не рожает, не хозяин. А почему? Да ведь от той же общинно-соборности. Субъектом русской истории ведь является не русский человек, и даже не народ, личностью является держава в целом. И вот Россия оказалась ныне как трагический герой мировой истории.

В чем суть героя трагедии? Он великолепен, красив, умен, в нем сверхум, но и простодушие, он превосходный, и в избытке силы, самоуверенности впадает в гордыню и преступает меру, положенный ему предел от богов, и терпит поражение именно потому, что в нем это сверхусилие. Вот то же и в России, в ее энтелехии. Территориальному развитию России был положен предел, ее локус — это равнина севера Евразии, но на стадии СССР Россия в гордыне стала преступать его, этот предел. Идея мировой революции, «Гренада, Гренада, Гренада моя». От гордыни от победы над Германией разлилась в Восточную Европу, да еще на Кубу. Никарагуа подавай, подавай Афганистан! Уж совсем противоестественно было преступать южный пояс гор, кайму русской равнины.

Но и покаран трагический герой России откатом и разрухой. В восхищении своего призвания Россия исполняет саможертвенно это свое призвание.

Россия как очарованный странник, беспамятный, потеряв инстинкт самосохранения истощилась в своей цивилизаторской деятельности на севере Евразии и с выеденными осталась потрохами. Весь центр стал пустыней бесперспективных деревень. Отчего? Да оттого, что русскими человеками цивилизовали якутов, киргизов, а карацупы джульбарасами охраняли необъятные границы. Растянулся русский народ, как на дыбе, на своей непосильной ныне земле, в векторе горизонтальном.

Теперь очухивание. Вертикаль спасет. Снова прирастание к земле. Земледелие... Самокормиться, рожать... То же и у Солженицына. Из земств, снизу, самоуправление... Так ведь отвыкли, неумехи... Встать на ноги русскому челове-

ку и самостоять. Но он-то привык содержим быть державой, быть руководимым, в том числе и идеями руководиться, в этом направлении двигаться. А теперь-то никуда не надо двигаться, а попробовать самостоять и не падать, удержаться. А это, знаете ли, тому, кто едет на велосипеде и так держится, — вдруг встать. Все равновесие его лишь в движении обеспечено.

Вот почему сейчас ищут русскую идею, которая вдохновила бы двигаться. А спартаков-то нет, это чистая имитация, которая для всего государства со всех его имитационных форм жизни виртуальных. Задача русскому человеку или же россиянину — встать на ноги, становиться уже просто человеком средним, не очарованным. Но тогда будет ли он русским? Бездуховным, без божества и вдохновенья, что давала причастность к русской идее, призванию высокому.

Так что да, выживать не до жиру — быть бы живу русскому человеку и России как целому. Итак, задача современного момента России — удерживаться от падения, разрухи, расчленения, отступая, огрызаться, и сохранять что можно. И поэтому понадобилось власти эту русскую идею как имперскую иметь. По сути-то надо вбираться в свои берега, в обороне слиться, сжаться, экономить, бережливо затворить сквозняки... И ставка на внутренний рынок.

Ну а нам, людям культуры, задача, конечно, удержание русского языка, комментаторство, служение великой русской литературе и мысли. Как в Элладе, помните. После того как натворила Эллада великое свое, Гомера, Платона, Софокла и т.д., уже в эллинизме умники-комментаторы Гомера и Платона, Аристотеля каждую запятую раскурочили они, как у нас Достоевского. Надо этим заниматься. И мы тоже сейчас этим занимаемся на этих Чтениях.

Пока я дал рационалистическую канву предопределения, но это только одна половинка. А во что у меня вера: я верую в непредсказуемый разум истории. У шествия истории есть много гитик. Вот я верую в этот непредсказуемый разум истории, в его остроумие. Собственно, ведь в роли трагических героев для России уже в XX веке выступила Германия, ну а ныне на эту роль выходит Америка, что тоже в своей гордыне преступает свои положенные пределы, очерченные ей между океанов, и лезет повсюду, и надорвется. Но более того, видим сейчас, как Западная Европа, вся белая раса идет в кандидаты в трагические герои. Вон Франция сейчас растеряна под натиском пассионарного юга, ислама, христианская цивилизация белой расы. Она, видите ли, стала сугубо умна и спиритуальна.

Христианство оправдало надругательство над телесным, главное — рожанием. Видите ли, чтобы детей иметь, — кому ума недоставало. Так вот христианская цивилизация надругалась над эросом, жизнью, любовью, деторождением. И права человека ныне поставили под угрозу права рода людского на продолжение. Спросите современного человека, женщину, входит ли в ее права человека — рожать или не рожать. Скажет, безусловно: хочу рожаю, хочу не рожаю. А ты, милая феминистская эмансипаточка, ты сама себя родила? Нет, и не приходит вот этот вопрос. Вот вам погубительный ответ для западной, да и русской цивилизации. Теперь что же, субъектом становится даже не Россия как целое, а Россия как сумма атомарных индивидуумов, самозамкнутые монады, а из таких жизнь не слагается.

Все упирается в очень простое — в любовь. Видите ли, у нас она очень уж высокая, духовная. А вот детей рожать — это низменная любовь. Интеллигенция русская в этом грехе и повинна. Ишь, как презирала: «иметь детей — кому ума недоставало». Так вот, самое умное и спасительное дело для России — рожать детей.

**Н. ГОРБАНЕВСКАЯ**

Само понятие *национальной идеи* кажется мне туманным, а порой и опасным.

Что имеется в виду под словом «национальная»? Идея, исповедуемая всей нацией? Или большинством ее? Или ее «лучшей, мыслящей частью» — «элитой» в старом смысле слова? Или той ее частью, которую ныне именуют «элитой», а в старину именовали «правящими верхами» (или «верхушкой»)? И не имеется ли иногда в виду то заимствованное из западных языков употребление слова «национальный» прямо в значении «государственный»? И что за «нация» в этом прилагательном? Русская — то есть определяемая по этническому, в лучшем случае по культурно-этническому, признаку? «Российская» — то есть по государственной принадлежности: по гражданству и месту проживания?

И все становится еще сложней, когда мы соединяем определение с определяемым. *Национальная идея* — это ведь, если сказать совершенно по-русски, «национальная мысль». Значит, предполагается, что мы в этом случае мыслим скопом (или если кому угодно — соборно), а мышление все-таки, если я не ошибаюсь, дело глубоко индивидуальное, мыслить, думать можно только своей головой.

Я не философ, не социолог и вообще не теоретик, и по мне *национальная идея*, если под этим разуметь — тут я отвлекаюсь от всех вышеперечисленных сложностей — нечто действительно руководящее жизнью народа, подспудна, от природы бессловесна. Ее можно более или менее извлечь из жизненных фактов и тенденций, как нынешние этнолингвисты извлекают из языковых фактов черты национального характера, подтверждая или опровергая сложившиеся стереотипы, скажем, о «русской душе». Извлечь — и тогда уже высказать словами, но как плод наблюдений, а не «руководство к действию». И тогда уже можно оценивать, хороша ли она, плоха или середка на половинку.

Думаю, что общенациональной идеей советского периода — от самой верхушки до самых низов — было простое «выжить». В лучших случаях — а это немалое меньшинство, если в какие-то периоды не большинство — уже и не просто «выжить», а «выжить и спасти»: спасти бессмертную душу и человеческое достоинство в себе, спасти — хоть насколько возможно, насколько удавалось — веру, культуру, представление о высших ценностях. (Вплоть до того, что часто это приводило к тому, чтобы физически уже и не выжить, а погибнуть — но человеком, не винтиком.)

Что же происходит сейчас? Что можно вычислить сегодня — будучи притом, как я, сторонним наблюдателем? Почти уверена, что большинство присутствующих со мной не согласится и будет убеждать меня, что сейчас выжить еще трудней и все умы только мыслью о выживании заняты, но, на мой взгляд, идею «выжить» на всем посткоммунистическом пространстве заменила идея «жить и — чего-то — достичь».

Это «что-то» может быть очень разным, но по всему, что я вижу и слышу, в его состав все у большего числа людей в столицах и провинции входит и собственное достоинство, и жизнь по совести, и полная самоотдача в труде, и помощь тем, кому приходится особенно трудно, и... — много еще можно прибавить всяких «и». Суть же в том, что развивается это не по идее, спущенной свыше, не по навязанной обязанности, а по свободно — и зачастую радостно! — взятой на себя ответственности. Идет это снизу, отдельными клеточками, ячейками, постепенно умножающимися и столь же постепенно начинающими заполнять то пространство, где и должно наконец возникнуть то, что мы называем гражданским обществом.

Думаю, сама идея гражданского общества сегодня мало кому что говорит, даже не всем из тех, кто действительно его повседневным трудом закладывает. Потому-то идею гражданского общества я *национальной идеей* не назову. Но что оно будет создано — и не призывами с высоких трибун, а деятельностью самих граждан, каждого в своем особом деле, вопреки всем помехам и препятствиям, воздвигаемым на его пути, — в этом я уверена. Однако и тогда оно не станет «национальной идеей», ибо станет просто фактом жизни. И тогда из этого факта, кому захочется, можно будет извлекать уже новые представления о «национальной идее».

**А. КАЦУРА**

Я хочу вспомнить того замечательного человека, именем которого эти Чтения названы, Владимира Максимова. В мои студенческие годы это было просто великое имя. Мне кажется, славе Максимова как литератора не повезло, а это был очень большой русский литератор и деятель, который создал этот журнал. Но вот забавная деталь. Еще в марте 94-го года в «Независимой газете» я опубликовал статью «Чем занять имперского человека?» с ехидным подзаголовком «Жалеют ли финны о том, что потеряли Крым?». Финны потеряли Крым в декабре 17-го, когда большевики санкционировали решение об отделении, и уже никакой финн не мог называть Крым частью своей большой Родины. Эта статья была абсолютно на тему нашей сегодняшней конференции.

К чему я все это вспомнил? Когда я был еще студентом, я был страшно антисоветски настроен. Я понимал, что изнутри с большевизмом очень долго разбираться, поэтому я придумал: мы объявляем войну Финляндии и проигрываем ее. В считанные годы Россия станет первой страной мира. И я вот это опубликовал, когда стало возможно. И через неделю мне отвечает газета «Правда» резкой отповедью, что я антипатриот. И знаете, кто мне ответил? Владимир Максимов. И я нисколько не обиделся. Перечитал трижды, четырежды и понял, что я в студенческом ерничестве чуть-чуть преувеличил и задел струну Максимова, который невероятно любил Россию и не мог принять такой вариант.

А теперь я просто перечислю те темы, о которых хотел бы говорить.

Русская идея — это идея наднациональная, абсолютно точно. Хотите — имперская. Она остается наднациональной, даже если ее нет и не будет. Пусть это гегелевское небытие, пусть это хайдеггеровское ничто, но это наднациональная мечта.

Русскую идею можно рассматривать в контексте других национальных идей. Получается целая серия книг: Русская идея и французская идея. Или Русская идея и германская идея. Еврейская идея, наконец. Только в России, на вершине гениальной поэзии, невероятное количество русских поэтов еврейского происхождения. Достаточно вспомнить Мандельштама, Пастернака и Бродского. Это поразительно. Здесь сидит изумительный Наум Коржавин. Это случайность или нет? Я уверен, что не случайность. Русские захватили огромное пространство и выпали из времени. Евреи выпали из пространства, они его потеряли, но обрели четырехтысячелетнюю историю. Когда эти два народа встретились как культурные феномены, произошла удивительная вещь — континуум, единство пространства и времени. Друг в друге они нашли что-то очень близкое. Мандельштам и Пастернак — поэты континуума.

Русская идея в мировом контексте — колоссальная тема. Наконец, русская идея и грозящая человечеству экологическая катастрофа. Из работ Римского клуба

ясно, что человечеству осталось 50 лет, от силы 70. Никто еще этого не опроверг. Власти предержащие просто закрыли уши и ум для этого. Ученые потихонечку спорят, но не опроверг никто. Остается надеяться, что в самую ответственную минуту мать-земля вмешается и спасет свое самое главное дитя — человека.

Какую задачу не выполнила Россия, а могла? Не оправдала свое имперское назначение. Мы говорим в культуре, а я бы сузил, — в языке. Когда мне было 12 лет, я был уверен, что весь мир скоро будет говорить на русском. Теперь вроде бы весь мир собирается говорить на английском. Это два по-настоящему конкурентных языка. Русский язык проиграл. Некогда анализировать почему.

Что такое язык? Изумительно глубокую мысль высказал Хайдеггер: это дом бытия. Мы живем в языке. И если Россия завоевывает языком свой мир, и тогда человечество живет. Языковой империализм — это единственно возможный, положительный империализм. Я думаю, что не все еще возможности утеряны. Россия должна оставаться культурной страной, литературной страной, поэтической страной. Только культура по-настоящему и дает устойчивость бытию, только она и спасет. Но укорененности в земле это не должно противоречить.

**С. СЕМЕНОВА**

Как только человек захлопывается в своей нынешней природе, кризисной, несовершенной, смертной, вытесняющей и погубляющей живое на этой короткой жизненной дорожке, где идет борьба, соперничество этих смертных самостей, как только это происходит, появляется та цивилизация, которая сейчас, увы, залила мир. Это сугубо посюсторонняя цивилизация, забывшая об этом зове неба, о всякой трансценденции, которая зацикливает человека на время живота разного рода потребительскими приманками. А сейчас уже идет такой культ гедонизма в России, с той же неудержностью, с тем же исступлением, с каким она все время смотрит в горизонт последних времен и сроков.

Русская душа эсхатологична по своей природе, но ее изнанкой является, как вы знаете, нигилизм. Как только все эти магические социальные очарования совершенного идеала спадают, так тут же она впадает, как говорил Лев Карсавин, в неслыханное скотоподобие, в мифическое равнодушие ко всему.

Почему Россия никак не может построить капитализм? Да потому, что капитализм очень устойчивая система, потому что он базируется на личной природе человека, на всех этих тонких балансах добродетели, порока, он умеет на этом играть, поэтому он так победно идет по миру. Но в большой перспективе он точно так же обречен на фиаско, как и социализм; смотрите, какие кризисы полыхают на нашем горизонте пожарами.

Самый страшный кризис — антропологический, кризис в природе самого человека. Была масса социальных доктрин, которые совершенно не задумывались об одной вещи, о природе самого человека. Им казалось, что вот мы разделим справедливо собственность, и человек станет хорошим, гармонизируется мир и возможен рай на земле. А какой рай на земле со смертным человеком? Это совершенно невозможно. Вылезли дикие, кричащие противоречия человеческой природы, и идеал пошел на то, что он стал затыкать рты, он стал лакировать действительность, пошел террор и прочее разное. И это неизбежно.

Мне кажется очень важным для идеи просто выживания человечества. Но выживания недостаточно, должно быть восхождение, выживание — жалкая идея.

Самое главное, что дала русская религиозная мысль, это фактически три идеи.

Первая, главная идея — это идея богочеловечества, это возможность сотрудничества божественных и человеческих энергий в деле спасения, в деле преображения мира. Человек может соединиться с Богом и стать соработником Его, стать активным орудием осуществления Божьей воли на земле. А Божья воля на земле — она онтологическая, Он смерти не создал, желает спасения всем, желает, чтобы мы усыновились Ему, чтобы не были рабами Божьими, а были сынами Его, Он с этой идеей пришел. Он говорил: «Дела, которые Я творю, и вы сотворите, и больше сих сотворите». А дела эти касались всего круга изысканий смертоносных начал из текстуры бытия. Он исцелял, воскрешал, утишал бури и говорил, что мы должны это делать, стать орудием осуществления Божьей воли. Это дала русская религиозная мысль, и это мы можем понести всему миру.

Дальше, вторая. Иногда говорят, что религия — частное дело. Да какое же это частное дело?! Мы один род, связанный одной судьбой и одной задачей. Более того, существует колоссальная ответственность лучших перед худшими. Мы должны подымать их до этого лучшего состояния, работать над человеческой природой. И вот эта идея соборности в русской религиозной мысли — это как раз попытка найти идеальное устроение множества.

Господин Медведко говорил о триединстве. Так вот, триединство понималось иначе в христианской мысли. Оно понималось как образец для построения человеческого общежития, в котором существует нераздельность, мы все вместе в нем, и вместе с тем неслиянность. Две гениальные идеи заложены в Троице, Которая есть идеальный коллектив. Не надо бороться с догматом, надо превращать догмат в заповедь. Догмат о триединстве можно перевести в заповедь для человеческого рода, который должен устояться на началах нераздельности, неслиянности и любви как принципа связи всего со всем. Или тот же догмат богочеловека — это возможность синергического действия Божественной и человеческой природы, это великая идея.

И последнее, что труднее всего воспринимается и христианами, и нехристианами, но без чего христианство не имеет шанса мировой победы. Это идея всеобщности спасения. Пока будет идея, что спасается горстка праведников, а тьма идет на корм вечным червям и огню неугасимому, эта идея не вмещается в человеческое сознание, слишком человеческая идея... Это такое низменное представление о Боге любящем, это абсолютное неуслышание основного послания, которое есть в Евангелии, когда Господь пришел спасти погибшее, когда мы знаем, что ничто не будет проклято, об этом сказано в Апокалипсисе, будет Бог всяческое во всем.

Евгений Трубецкой говорит, что сам догмат о вечном аде свидетельствует о том, что Бога нет. Весь террор ада привел к богоборчеству, особенно в католических регионах. А восточный христианский регион, православный, он был всегда больше одушевлен идеей преображения жизни в красоте, идеей возможности обращения зла в добро, превращение злонаправленных энергий в жизнепостроительные, творческие энергии. Без этого мы мир не спасем.

Идея всеобщности спасения очень важна и для социальной деятельности, потому что по каким-то очень тонким эмоциональным и умственным каналам она проникает и в наше историческое поведение.

Господь, грозный, карающий Господь, Который сортирует Свою тварь, за небольшой какой-то земной отрезок жизни, да тем более в нашей этой скверной, смрадной и смертной шкуре, Он будет за это вечностью мучений наказывать, —

видите, какая диспропорция, не вмещающаяся даже в человеческое сознание, тем более в Божественное сознание. Господь зла не делает. Есть высшая свобода. Наша низшая свобода — следовать своим низменным инстинктам, свобода смертного человека, извращенного — это не есть свобода. Искупление, конечно, все равно есть. Ад — это не пространство, это внутреннее состояние человека, избывание в себе греха уже в преображенном виде, на новом уровне сознания, когда можно осознать всю эту бездну зла и тьмы, которую вы наделали в этой жизни.

**Е. ФЕДОРОВ**

Я не разделяю точки зрения, что Россия, русский народ или нация не имеют своей идеи. Эта идея есть, была и будет. Эта идея очень простая, хотя наше общество сейчас от нее страшно далеко и называть ее просто страшно. Это не моя идея, и я бы не сказал, что она мне очень нравится. Эта идея — построение Царства Божия на земле. Вот идея русского народа, и она проходит через всю русскую историю. Это и идея Третьего Рима, это духовная идея прежде всего. Это идея раскола. Это даже идея большевизма. Большевизм захватил это все не только силой, он захватил и идеей, и идеей почти христианской. Пролетариат выступал как мессия, который освободит все человечество.

Я думаю, то, что сейчас Россия оказалась где-то на обочине — это хорошо. Мы живем сейчас перед великими конфликтами, конфликтом Азии и Европы, и рано или поздно они закончатся великой войною. И в этой войне нам надо не участвовать. Нам надо быть, как Франко, который не участвовал в войне. Вот как надо.

**В. МАКАРОВ**

Скажите, в русском языке прилагательное может означать предмет? Работая с архивными документами, я обратил внимание на такой момент, что до конца 20-х годов на вопрос о национальности человек отвечал — великоросс. Поэтому когда мы употребляем понятие русский, это ошибка. Мы либо великороссы, либо белорусы, либо грузины... Отсюда вытекает задача — четко составить категориальный аппарат.

Весь ход дискуссии привел к тому, что необходима *национальная идея*. Но национальная не значит националистическая. Я согласен и с тем, что она имплицитно в каждом из нас присутствует. И не только среди здесь присутствующих, но и в каждом из народа, электората и т.п. Поэтому, рассуждая о национальной идее, можно говорить о нескольких уровнях бытия этой идеи. Первый уровень как бы личностный, он выражается очень просто: чтобы нашему роду не было перевода. Мы интуитивно в ходе наших дискуссий подходили к этому — проблема сохранения рода, сохранения семьи. Второй уровень — это мир вокруг нас, наш дом, наш двор, наше село, наш город. И третий уровень на уровне государства — стабильность, порядок, благополучие.

**Ю. КАГРАМАНОВ**

Можно ли прожить без *национальной идеи*? Прекрасно можно. Надо только иметь в виду, что в этом случае мы превратимся в «неисторический», по терминологии Гегеля, народ, довольствующийся «обочинным» существованием на Большой дороге истории, движение по которой осуществляется так или иначе силою идей. Это, впрочем, лучший вариант. Есть и худший: будем и дальше сокращать свое присутствие на земле и в конечном счете смешаемся с другими народами.

Тем, кого такая перспектива не устраивает, придется все-таки обратиться к национальной идее. Благо ни искать, ни специально выдумывать ее нет необходимости. Ибо она у нас есть: это концепция Третьего Рима.

Когда суровой зимой 1523/24 года из ворот псковского Елеазарова монастыря выехал возок, который вез Послание старца Филофея, адресованное видному московскому сановнику М.Г. Мисюрю-Мунехину, автор его вряд ли рассчитывал, что оно будет иметь какой-то немедленный эффект. Основную аудиторию о. Филофей нашел в среде образованного духовенства. Что неудивительно: все три его Послания имеют, так сказать, экклезиологическое ударение — не столько судьба страны их заботит, сколько судьба Церкви. С точки зрения о. Филофея, Церковь — Жена, которую змей гонит из одного края в другой; Московия — последнее для нее убежище, и в *этом* смысле (или прежде всего в этом смысле) она становится Третьим Римом.

Русская народность была, таким образом, возвышена над всеми другими народностями; но и поставлена на службу Вселенской Церкви, что, естественно, накладывало на нее обязанность жить «во Христе», показывая в этом отношении пример другим языкам.

Уже история раскола показала, что идея Третьего Рима несет в себе диалектическое противоречие. Обе конфликтующие стороны заявляли себя ее приверженцами, но раскольники подчеркивали в ней момент отрыва от первых двух Римов, а никониане, напротив, момент связи. Точнее, никониане ориентировались на Второй Рим: отсюда «книжная справа» по греческим образцам, уравнение обрядового «чина» с греческим и т.д. Но греческое «царство» целиком уже принадлежало прошлому; по сути, от Греции (Византии) осталось лишь недвижное «священство».

Предметом озабоченности о. Филофея было «латинство», или, по его выражению, «латинское буйство». Имелось в виду, прежде всего, отступление Запада от православия, но также и бурный и очень неоднозначный расцвет культуры, названный Ренессансом, и начавшийся уже в самом «латинстве» великий раскол. Чтобы отстоять высокий титул Третьего Рима, надо было не только сохранить православие в его изначальной чистоте, но и выдержать столкновение с Западом «на всех фронтах». Что отнюдь не следует понимать в военно-полевом смысле. О. Филофей пишет: ап. Павел «в толкованиях глаголет: "Рим весь миръ". Это можно понимать в том смысле, что все христианство вместилось в пределы Римской империи, но можно понимать и так, что Рим вместил все человеческие знания и умения. Держал ли в уме о. Филофей данное обстоятельство или нет, надо было освоить все культурное, а также политико-юридическое наследие первых двух Римов.

Что мы имели «в активе» в начале XVI века? Удивительное явление северной Фиваиды — рассыпанных в вологодских лесах отшельников-нестяжателей. И еще удивительную, вполне способную потягаться с византийскими учителями, школу иконописи. Вот, пожалуй, и все. Не было развитой культуры слова — ни философско-богословского, ни художественного. Напомню замечательный образ Г.П. Федотова: Русь XV века — девочка с чудными глазами, но немая; все понимает, но сказать не умеет. Должны были пройти века, заполненные болезненными Петровскими реформами, периодом ученичества и робкого подражательства, чтобы в России созрела великая литература и, с некоторым запозданием, великая религиозная философия.

Лишь к середине XIX века рост русского самосознания приводит к возрождению идеи Третьего Рима. К сожалению, чем дальше, тем больше преобладает сугубо мирское искажение: Третий Рим становится символом земного величия и неограниченного территориального расширения. Это против такого ее понимания написал свои знаменитые пророческие строчки В. Соловьев:

Судьбою павшей Византии
Мы научиться не хотим.
И все твердят льстецы России:
Ты — третий Рим, ты — третий Рим.
Пусть так! Орудий Божьей кары
Запас еще не истощен.
Готовит новые удары
Рой пробудившихся племен...

1917 год знаменовал разрыв с прошлым, но дух внешней экспансии «старая» Россия будто передала по наследству «новой». Некоторые западные исследователи подхватили идею, что коммунистическая Россия является преемницей Третьего Рима, не желая замечать ни того, что внешняя экспансия даже в царское время в какой-то момент перестала отвечать идее Третьего Рима, ни того, что при коммунистах она приняла особенно грубый и жестокий характер. Пришлось эмигранту Н. Ульянову напомнить об элементарной вещи: музыка Филофея меньше всего походила на марш Буденного.

Крах СССР не в последнюю очередь явился результатом его оголтелого экспансионизма. Россия вернулась к разбитому корыту — границам времен Бориса Годунова (а если бы не сохраняющаяся пока военная промышленность и не огромные запасы нефти и газа, то вовсе откатилась бы к группе третьестепенных государств). Но это еще не означает, что пришло время «забыть о Третьем Риме». Напротив, пора вернуться к этой идее с тем, чтобы выявить ее творческие потенции. И прежде всего вернуть ей ее *преимущественно церковный* характер.

На Западе, давно уже выкинувшем религию из меню «прогресса», неуклонно сгущается языческая тьма. Одолев, казалось бы, всех своих врагов, Запад «по доброй воле» стремительно движется к упадку; и главное, не видно сил, которые могли бы его вытянуть. Поэтому и наступление исламского мира (не отождествлять с исламским терроризмом, который есть его частное проявление) развивается с гораздо большими шансами на успех, чем во времена о. Филофея; к тому же в первых рядах его — не культурно восприимчивые, хотя бы в известной мере, османы (которые, между прочим, сами считали себя в некотором роде наследниками «ромеев»), но фанатики-ваххабиты, враждебные ко всякой культуре.

Ключевое слово в Послании Филофея, которое должно быть актуализировано, — «ковчег». Идея Третьего Рима — это сегодня идея ковчега, который позволит сберечь христианство и цивилизацию. Она ныне не просто декларативна, она фундирована богословски и культурно (в этом принципиальное отличие нынешней ситуации от ситуации начала XVI века), и для ее реализации необходимы только волевые усилия.

Конечно, и наш народ переживает ныне состояние упадка, быть может, еще более глубокого, чем на Западе (и в этом также принципиальное отличие нынешней ситуации). Но Запад давно уже движется по наклонной плоскости, тогда как наш упадок — это упадок переходного периода. А к чему мы сейчас переходим, зависит от нас самих.

Борис СОКОЛОВ

# КАК ПОДСЧИТАТЬ ПОТЕРИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Вопрос о том, сколько потеряло человечество в ходе крупнейшей войны в истории вообще и сколько именно потеряли страны, понесшие наибольшие абсолютные потери, остается актуальным и сегодня, через 60 лет после окончания Второй мировой войны. Эта сложнейшая задача не решена до сих пор. Более того, сейчас уже ясно, что для всех стран-участниц суммарно ее нельзя решить с точностью, превышающей плюс-минус 10 миллионов. Так что цифра, которую я приведу в итоге своих расчетов, неизбежно будет условной, но повысить ее точность ни сейчас, ни в будущем практически невозможно.

Начну с той страны, потери которой нельзя оценить даже приблизительно. Это Китай. Он вел войну с Японией с 1937 г. вплоть до японской капитуляции. И оценить, сколько солдат и мирных жителей погибло в это время от голода и эпидемий, в принципе невозможно. Первая перепись населения в Китае прошла только в 1950 году, а массовая смертность от голода и эпидемий была характерна для Китая и в довоенные годы, тем более, что в 20–30-е гг. страна была охвачена гражданской войной. Не существует ни демографической статистики, ни сколько-нибудь надежной статистики потерь китайских правительственных войск и коммунистических партизан Мао Цзэдуна в борьбе против японцев. В то же время потери японских войск в Китае в 1937–1942 гг. были сравнительно невелики и составили 641 тыс. человек убитыми. В 1942 г. активность боевых действий в Китае снизилась, и потери японцев упали по сравнению с 1941 г. вдвое. Если в 1943–1945 гг. уровень потерь Японии в Китае остался на уровне 1942 г., то японцы должны были потерять еще около 150 тыс. солдат, а общие потери японской армии в Китае в 1937–1945 гг. могли составить около 800 тыс. погибших. Китайские войска, по официальным данным правительства Чан Кай Ши, потеряли 1 млн 310 тыс. убитыми и 115 тыс. пропавшими без вести. Даже если принять, что все пропавшие без вести погибли и что японцы также несли потери в борьбе с

**Борис СОКОЛОВ** — родился в 1957 году в Москве. Окончил географический факультет Московского государственного университета. Доктор филологических наук, кандидат исторических наук. Автор более 40 книг, в том числе «Булгаков: энциклопедия» (переведена в Польше), «Гоголь: энциклопедия», «Вторая мировая: факты и версии», биографий Сталина, Жукова, Тухачевского, Берии, Инессы Арманд и Надежды Крупской, Сергея Есенина и др. Переводы книг издавались также в Латвии и в Литве. Преподает в Российском государственном социальном университете. Живет в Москве.

коммунистическими партизанами, хотя и значительно меньшие, вряд ли китайцы потеряли всего в 1,6 раза больше солдат погибшими, чем их гораздо лучше вооруженный и обученный противник. Поэтому ближе к действительности кажется утверждение китайских властей, относящееся к сентябрю 1945 года, что в войне с Японией погибло и 1,8 млн китайских солдат, а еще около 1,8 млн были ранены или пропали без вести. Учитывая потери коммунистических партизан и умерших из числа пропавших без вести, общие безвозвратные потери китайских вооруженных сил наверняка превышали 2 млн человек[1]*. Урланис, в частности, оценивает число погибших китайских солдат в 2,5 млн человек[2], но, возможно, и эта цифра занижена. Что же касается данных о потерях мирного китайского населения, то они носят чисто условный характер. Так, В. Эрлихман оценивает их в 7,2 млн человек, а к 2,5 млн погибших военнослужащих добавляет еще 300 тыс. умерших в плену, очевидно, — чтобы общая цифра потерь достигла 10 млн, хотя нет достоверных данных ни об общем числе китайских пленных, ни о том, сколько именно их погибло[3]. Есть и более низкие оценки. В. Петрович общие потери Китая определяет в 5 млн человек[4]. Очевидно, здесь потери мирного населения просто взяты в размере потерь армии. Ясно, что в случае с Китаем потери мирного населения не могли быть меньше потерь армии, хотя число мирных граждан, убитых японской армией, китайские источники, вероятно, преувеличивают. Например, насчет резни, устроенной японскими войсками при взятии Нанкина в декабре 1937 г., китайцы говорят о сотнях тысяч убитых (называют цифры в 220 и 300 тыс. человек), а японцы — лишь о нескольких тысячах. Здесь истина скорее ближе к меньшим цифрам, поскольку сторона, пострадавшая от резни, обычно любит приводить внушительные круглые цифры, хотя никакой реальной статистики по горячим следам не велось, а оценки по демографическим показателям в тогдашних китайских условиях были невозможны. Но в целом китайские потери, главным образом за счет мирного населения, могут составлять даже не миллионы, а десятки миллионов, однако установить их истинную величину не представляется возможным из-за отсутствия соответствующих данных и методов. Условно для общих подсчетов я беру цифру в 5 млн китайских потерь, сознавая, что они могут быть гораздо выше и превысить потери Германии.

Весьма противоречивые данные существуют о потерях Японии. Официальные данные о потерях армии и флота в 470 тыс. погибших представляются сильно заниженными. Больше доверия вызывает послевоенная оценка совета по экономической стабилизации Японии в 1млн 555 тыс. погибших. Правда, не вполне понятно, входят ли сюда потери в войне с Китаем. По американской же оценке, японцы понесли потери в 1 млн 219 тыс. погибших и умерших от ран, в том числе 126 тыс. — в Китае в период 1942–1945 гг., а также в 41 тыс. пленных. Эти данные коррелируют с собственно японскими данными, согласно которым в 1942 г. в Китае погибли 53 тыс. японцев. Если добавить к американским данным 588 тыс. человек (убитые в Китае в 1937–1941 гг.), то общее число погибших достигнет 1 млн 807 тыс. человек[5]. Если добавить сюда не менее 55 тыс. японцев, погибших в совет-

* Примечания см. на с. 255.

ском плену, а также неизвестное число погибших в плену у западных союзников, равно как и число умерших от болезней, японские военные потери наверняка превысят 2 млн Б. Урланис оценивает потери японских вооруженных сил в 2 млн человек, включая потери в Китае[6], а В. Эрлихман — в 1940 тыс., включая 120 тыс. умерших в плену, а в войне с Китаем в 1937–1941 гг. — в 588 тыс. человек. Мне более близкой к действительности кажется цифра в 2 млн погибших. Потери гражданского населения Японии он оценивает в 690 тыс. человек. Еще примерно 70 тыс. японцев погибли в 1945 г. во время депортации из ряда азиатских стран или стали жертвами расправы со стороны местного населения[7]. Их также можно включить в потери Японии в войне. Тогда их общий размер можно оценить в 2 млн человек, из которых 760 тыс. — потери гражданского населения. Не исключено, что в действительности за счет избыточной смертности в войну число жертв среди гражданского населения было больше.

США, Англия и Франция, державы-победительницы, понесли сравнительно небольшие потери, которые после войны оказалось возможным достаточно точно подсчитать. Потери армии США составили 407,3 тыс. погибших[8]. Потерь мирного населения в США почти не было, так как на американской территории не велось боевых действий. Они оцениваются в 5 тыс. человек — это моряки торгового флота и гражданские пассажиры судов, потопленных германскими подлодками[9]. Потери британской армии и флота, включая служивших в ней представителей доминионов и колоний, составили 429,5 тыс. погибших, из которых 286,2 тыс. пришлось на Англию, 23,4 — на Австралию, 11,6 тыс. — на Новую Зеландию, 39,3 тыс. — на Канаду, 8,7 тыс. — на Южно-Африканский Союз, 36,3 тыс. — на Индию, 22 тыс. — на Бирму, 2 тыс. — на Египет[10]. Потери мирного населения Великобритании составили около 94 тыс. человек — жертвы бомбардировок и атак подводных лодок. Значительные потери понесло население ряда британских колоний в Азии, где война обострила обычный для них массовый голод. В Индии, по некоторым оценкам, от голода 1943–1945 гг. погибли до 1,5 млн человек, на Цейлоне — 70 тыс., в голландской Индонезии — около 2 млн, во Вьетнаме — тоже до 2 млн, тогда как в Лаосе и Камбодже вместе погибли не более 50 тыс. человек[11]. В Бирме жертвами голода и японских репрессий стали более 1 млн человек, в Малайзии, включая Сингапур — 600 тыс., а на Филиппинах — до 1 млн, из которых только 42 тыс. приходится на военных и партизан[12]. Единственный же японский союзник в Азии Сиам (Таиланд) потерял 2 тыс. погибших солдат, около 3 тыс. антияпонских партизан; и еще до 120 тыс. таиландцев погибли на строительстве стратегической железной дороги в Бирме[13]. В японской колонии Корее в рядах японской армии погибли 10 тыс. человек, а еще 70 тыс. мирных жителей стали жертвами голода и репрессий[14]. Все эти цифры, как и цифры в отношении Китая, условны, точный подсчет тут невозможен. Таким образом, в странах Азии, кроме Японии и Китая, в годы Второй мировой войны погибли, главным образом от голода, около 8,5 млн человек. С прибавлением же потерь Китая и Японии суммарные потери стран Азии возрастут до 21 млн человек, что, кстати сказать, превышает суммарные потери всех европейских стран, исключая СССР, а также США и британских доминионов. Но в потерях

Азии на мирное население, ставшее прежде всего жертвой традиционного для этой части света массового голода, падает 75% всех потерь.

Посмотрим, каковы были потери всех европейских стран, кроме СССР. Франция потеряла 233 тыс. военнослужащих, в том числе 47 тыс. погибшими в плену. Кроме того, погибли около 20 тыс. участников партизанского движения, чьи потери логичнее отнести к потерям военнослужащих. Потери же мирного населения составили около 442 тыс. человек, из которых до 30 тыс. приходится на казненных по суду или убитых без суда коллаборационистов[15].

Потери Бельгии составили около 10 тыс. военнослужащих, в том числе 1,8 тыс. — в рядах германской армии, 2,6 тыс. партизан и около 65 тыс. мирных жителей[16], потери Голландии — 16,8 тыс. военнослужащих, в том числе 3,7 тыс. — на стороне немцев, 21,5 тыс. партизан и подпольщиков и 182 тыс. мирных жителей[17]. В рядах немецкой армии погибли 2,2 тыс. люксембуржцев, потери же мирных жителей Люксембурга составили около 2 тыс. человек[18]. Также около 2 тыс. человек мирных граждан потеряла Мальта — от германо-итальянских бомбардировок.[19] Норвегия потеряла 2,8 тыс. солдат, в том числе 700 человек — в рядах германской армии. Кроме того, погибли около 5 тыс. участников норвежского движения Сопротивления и около 2 тыс. мирных жителей[20]. В Дании потери составили 300 с небольшим солдат, служивших в войсках СС, и 15 тыс. мирных жителей[21]. Испанская «Голубая дивизия», сражавшаяся на Восточном фронте как 250 дивизия вермахта, потеряла, по некоторым оценкам, около 15 тыс. человек[22]. В Чехословакии 4570 человек погибли, сражаясь в рядах Красной Армии, а 3220 — в войсках западных союзников. Кроме того, примерно 5 тыс. чехов погибли в составе вермахта, а 7 тыс. словаков — в рядах союзной Германии словацкой армии. Еще 4 тыс. чехов и словаков умерли в советском плену. Жертвы среди чешских и словацких партизан и участников восстания в Праге достигали 10 тыс. человек, а потери мирного населения — 385 тыс. человек[23].

Значительно большие потери понесли балканские страны Антигитлеровской коалиции и Польша. Это определялось двумя факторами — тем, что в Польше проходило в основном, наряду с оккупированными советскими территориями и союзных Германии Венгрии и Румынии, «окончательное решение еврейского вопроса», и сильным партизанским движением (в Польше и в странах Балканского полуострова). Потери Польши составили около 6 млн человек, в том числе 2 млн 920 тыс. евреев, уничтоженных в ходе Холокоста. Из этого числа на потери польской армии в 1939 г. приходится 66,3 тыс. человек. На Восточном фронте на стороне Красной Армии погибли 24,7 тыс. поляков, а на стороне западных союзников — 3,8 тыс. Кроме того, примерно 120 тыс. поляков погибли в немецком плену, а 130 тыс. — в советском. Число жертв партизанского движения в Польше оценивается в 60 тыс. человек. Остальные 5,6 млн погибших приходятся на мирное население. Не исключено, что эти потери завышены в силу двойного счета жертв евреев Восточной Польши, которая в 1939 г. была оккупирована Советским Союзом. Не исключено, что эти жертвы включены как в потери Польши, так и в потери СССР. Также вполне вероятно, что завышено количество мирных жителей — в частности, вызывает сомнения цифра

120 тыс. мирных варшавян, погибших во время Варшавского восстания, равно как и число в 40 тыс. бойцов Армии Крайовой, павших в этих боях[24]. Более реалистической представляется цифра в 40 тыс. погибших варшавян[25]. Вообще жертвы среди мирного населения, как правило, заявлялись в первые послевоенные годы без сколько-нибудь тщательных статистических подсчетов, и, вполне возможно, данные о них содержали пропагандистское преувеличение, так что не исключено, что за счет мирного населения традиционная цифра потерь Польши в 6 млн человек преувеличена на 1–2 млн.

Потери Югославии во Второй мировой войне во времена Тито официально оценивались в 1 млн 706 тыс. погибших и умерших от голода и болезней. Сейчас исследователи склоняются к значительно меньшей цифре в 1 млн 27 тыс. человек, в том числе 20 тыс. военнослужащих, погибших во время германского вторжения в апреле 1941 г., 16 тыс. хорватских солдат, погибших в боях против Красной Армии на Восточном фронте и в сражениях с партизанами Тито и четниками Михайловича; 22 тыс. югославских солдат умерли в немецком плену, 1,5 тыс. хорватских солдат — в советском. Партизан Тито, по немецким оценкам, погибло примерно 220 тыс. (сам Тито говорил о 300 тыс. погибших). Потери среди мирного населения определяются в 770 тыс. человек, из которых жертвами военных действий в 1941 г. стали только 20 тыс. человек, а еще 70 тыс. умерли от голода и болезней. Число казненных и умерших в лагерях и тюрьмах оценивается в 650 тыс. человек. Фактически в это число входят и жертвы хорватских, четнических, боснийских и албанских коллаборационистских формирований, боровшихся с партизанами Тито. Число же жертв террора, развязанного партизанами Тито в 1944–1945 гг., главным образом в мае — июне 45-го, оценивается в 335 тыс. человек, что увеличивает общее число жертв войны в Югославии до 1 млн 362 тыс. человек[26].

В Греции армия в ходе боевых действий против Италии и Германии потеряла 20 тыс. погибшими, и еще 10 тыс. умерли в плену. Потери партизан составили 30 тыс., еще 6 тыс. погибли в ходе гражданской войны 1944–1945 гг. между коммунистами и роялистами, которых поддержали английские войска. Потери мирных жителей Греции сегодня оцениваются в 375 тыс. человек, из которых 210 тыс. умерли от голода и болезней[27]. Наконец, Албания потеряла примерно 20 тыс. партизан в борьбе против итальянских и немецких войск, а жертвами карателей и голода стали еще 35 тыс. мирных жителей. Кроме того, в ходе гражданской войны 1944–1945 гг. погибли около 1 тыс. человек и еще несколько тыс. человек были казнены[28].

Немалые потери понесли и европейские союзники Германии. Италия потеряла убитыми и умершими от ран и в плену 304 тыс. военнослужащих. Из 74 тыс. погибших в плену 28 тыс. умерли в советских лагерях, 40 тыс. — в немецких и 6 тыс. — в англо-американских. Потери итальянских партизан оцениваются в 71 тыс. человек. Также около 105 тыс. мирных жителей стали жертвами войны, а примерно 50 тыс. коллаборационистов были уничтожены победителями в 1944–1945 гг.[29]

Потери армии Венгрии в войне составили 195 тыс. погибшими и умершими в плену, потери мирного населения — до 330 тыс. человек, среди которых 170 тыс. евреев[30]. Потери вооруженных сил Румынии достигли 550

тыс. человек, в том числе 170 тыс. погибли в боях против немецких войск, 55 тыс. умерли в советском, а 15 тыс. — в немецком плену. Потери мирного населения достигли 580 тыс. человек, из них 450 тыс. евреев[31]. Финская армия потеряла 67,4 тыс. человек, из которых 403 человека умерли в советском плену, а примерно 1 тыс. погибли в боях с немцами в 1944–1945 гг. Потери мирного населения Финляндии оцениваются от 1 до 3,5 тыс. человек, в основном от бомбардировок советской авиации[32].

Значительно больше были потери самой Германии. Безвозвратные потери вермахта вплоть до ноября 1944 г. достаточно полно учтены по данным персонального (поименного) учета. В период с 1 сентября 1939 г. по 31 декабря 1944 г. сухопутные силы потеряли убитыми на поле боя, а также умершими от ран, болезней, несчастных случаев и по иным причинам 1 млн 750,3 тыс. человек, а пропавшими без вести — 1 млн 609,7 тыс. человек. Флот за этот же период потерял 60 тыс. человек погибшими и 100,3 тыс. человек пропавшими без вести, а военно-воздушные силы — 155 тыс. погибшими и 148,5 тыс. пропавшими без вести. Потери за период с 1 января по 30 апреля 1945 г. центральными органами учета оценивались для сухопутных сил в 250 тыс. погибших и 1 млн пропавших без вести и для ВМФ — в 5 тыс. погибших и 5 тыс. пропавших без вести, и для ВВС — в 10 тыс. погибших и 7 тыс. пропавших без вести[33]. По характеру расчетов все пропавшие без вести в сухопутных силах в период с 1 января по 30 апреля 1945 г. могут быть отнесены к числу пленных. Также и большинство пропавших без вести за этот период в ВМФ и ВВС можно счесть пленными. С учетом данных о количестве пленных на разных фронтах число погибших в германских сухопутных силах с начала войны и до конца 1944 г. я оцениваю в 2 млн 496 тыс. человек. Общее число погибших в составе германских вооруженных сил, включая люфтваффе и ВМФ, можно оценить в 4 млн человек, из них около 0,8 млн умерших в плену, в том числе 0,45–0,5 млн — в СССР и 0,3–0,35 млн — на Западе (всего примерно 11 млн пленных, в том числе 8 млн — на Западе)[34]. Из этого числа, по моей оценке, на Востоке погибло около 2,6 млн германских военнослужащих, из которых около 100 тыс. пришлось на люфтваффе и флот[35]. Таким образом, следует подчеркнуть, что безвозвратные потери Красной Армии превосходят безвозвратные потери германских вооруженных сил примерно в 10,3 раза. Если же учесть потери германских союзников на Восточном фронте, то соотношение уменьшится до 8 : 1.

Существуют и более высокие оценки потерь вермахта, но они представляются мне завышенными. Германский военный историк Р. Оверманнс оценивает потери германских вооруженных сил во Второй мировой войне в 5,3 млн погибших, включая умерших в плену[36]. Это примерно на 1,3 млн больше, чем по ранее существовавшим оценкам, сделанным, в частности, Б. Мюллером-Гиллебрандом, генералом, во время войны как раз и отвечавшим за учет личного состава. Однако данные Оверманнса вызывают большие сомнения. Во-первых, по его подсчетам получается, что в последние 10 месяцев войны погибло почти столько же германских военнослужащих, сколько за предшествовавшие четыре с половиной года. Только за последние три месяца войны, как полагает немецкий исследователь, погибли, с учетом умерших в плену, около миллиона германских военнослужащих. Однако

известно, что в последний год войны основные потери вермахт нес пленными, а не убитыми или ранеными, причем численность германской армии неуклонно сокращалось, так что для миллионов погибших просто не остается места. Да и количество умерших в плену, особенно на Западе, где подавляющее большинство были отпущены в течение двух лет, не могло быть столь велико. Скорее всего, Оверманнса подвел метод подсчета. Он пользовался картотекой военнослужащих вермахта, которая хранилась в Западной Германии до объединения двух германских государств в 1990 году. Поскольку после капитуляции почти все германские военнослужащие попали в плен, то как выжившие фиксировались только те военнослужащие, которые после войны сами обратились в архив (или это сделали их родственники, подтвердившие их возвращение из плена). И далеко не всегда сотрудники архива могли с уверенностью установить гибель военнослужащего в плену, особенно в отношении граждан ГДР и Австрии: значительная часть этих людей не имела реальной возможности обратиться в западногерманский военный архив, а значит, факт их возвращения из плена не мог отразиться в картотеке. Такой возможности очевидно были лишены и большинство иностранцев, служивших в немецкой армии и СС и благополучно переживших плен. Вероятно, за счет этих категорий вернувшихся из плена и образовалось более миллиона мнимых погибших.

Еще большую трудность представляет собой определение потерь мирного немецкого населения. Например, число погибших в результате бомбардировки Дрездена союзной авиацией в феврале 1945 г. колеблется от 25 тыс. до 250 тыс. человек[37], поскольку в городе находилось значительное, но не установленное число беженцев из Западной Германии, число которых было невозможно подсчитать. Жертвами воздушных налетов в границах Рейха 1937 г. стали, по официальным данным, 410 тыс. гражданских лиц и еще 23 тыс. полицейских и вольнонаемных служащих вооруженных сил. Кроме того, от бомбардировок погибли 160 тыс. иностранцев, военнопленных и перемещенных лиц с оккупированных территорий. В границах же 1942 г. (но без протектората Богемия и Моравия) число жертв воздушных налетов увеличивается до 635 тыс. человек, а с учетом жертв вольнонаемных служащих вермахта и полицейских — до 658 тыс. человек[38]. Потери немецкого гражданского населения от наземных боевых действий оцениваются в 400 тыс. человек, потери гражданского населения Австрии — в 17 тыс. человек. Жертвами нацистского террора в Германии стали 450 тыс. человек, в том числе до 160 тыс. евреев, а в Австрии — 100 тыс. человек, в том числе 60 тыс. евреев; и еще 250 тыс. — избыточная смертность от голода и болезней[39]. Сложнее определить, сколько погибло немцев, депортированных из Судет, Пруссии, Померании, Силезии, а также из балканских стран в 1945–1946 гг. Всего было выселено более 9 млн немцев, в том числе по 250 тыс. из Румынии и Венгрии и 300 тыс. из Югославии. Число погибших среди них оценивается в 350 тыс. человек. Кроме того, в зонах оккупации Германии, главным образом в советской, после войны были казнены до 20 тыс. военных преступников и нацистских функционеров, а еще 70 тыс. интернированных умерли в лагерях[40]. В Австрии были казнены союзниками и умерли в лагерях для интернированных 1,1 тыс. человек[41]. Существуют и

другие оценки жертв гражданского населения Германии: около 2 млн жертв, в том числе 600–700 тыс. женщин в возрасте от 20 до 55 лет[42], 300 тыс. жертв нацистского террора, в том числе 170 тыс. евреев[43]. Наиболее же достоверной оценкой погибших среди изгнанных немцев представляется цифра в 473 тыс. человек — это число людей, чья гибель подтверждена очевидцами[44]. Необходимо подчеркнуть, что в послевоенные годы претерпели изменение границы и произошли значительные перемещения населения, так что проверить потери Германии, сопоставляя довоенную и послевоенную численность ее населения, на практике не представляется возможным.

Общие потери Германии и Австрии во Второй мировой войне можно оценить в 6,3 млн человек, если брать более высокие оценки. Не исключено, что эта цифра может оказаться больше на 1–1,5 млн человек, если принять более высокую оценку потерь германской армии в 4,77 млн человек (включая сюда и служивших в вермахте австрийцев)[45], а также более высоких потерь гражданского населения в ходе наземных боевых действий и жертв среди изгнанных. Потери же всех стран Европы, кроме СССР, во Второй мировой войне можно оценить в 18,1 млн погибших, включая сюда также потери США и британских доминионов: Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южно-Африканского Союза. Получается, что потери всех европейских стран и близких им по культуре и цивилизации стран на других континентах, но с исключением потерь Советского Союза, почти не отличаются от потерь стран Азии. Только в Азии на потери вооруженных сил пришлось лишь 25% жертв, а в Европе более 7 млн погибших военнослужащих составили 39% всех жертв.

Но самые большие потери в войне понес Советский Союз. Поскольку они на порядок превышают потери любой другой страны-участницы, а также из-за крайне плохого учета определение истинных потерь СССР в Великой Отечественной войне представляет собой особо трудную задачу. Она должна быть решена несколькими альтернативными методами подсчета, потому что документированные и учтенные в ходе войны потери составляют значительно менее половины от их истинного числа.

Согласно официальным данным, обнародованным только в 1993 г., советские военные потери в 1941–1945 гг. составили 8 668 400 военнослужащих (в том числе — пограничных и внутренних войск), погибших на поле боя или умерших от ран, болезней, несчастных случаев и в плену, а также казненных по приговорам трибуналов и оставшихся на Западе после освобождения из плена. Из этого числа в войне против Японии погибли и пропали без вести (вместе с умершими от ран и несчастных случаев, а также по болезни) всего лишь 12 031 человек[46].

Однако то, что данные книги «Гриф секретности снят» многократно занижают истинный размер советских военных потерь, доказывает следующий пример, взятый из нее самой. 5 июля 1943 г., к началу Курского сражения, войска Центрального фронта насчитывали 738 тыс. человек и в ходе оборонительной фазы сражения с 5 до 11 июля понесли потери (санитарные и безвозвратные) в 33 897 человек. За неделю оборонительных боев состав Центрального фронта практически не изменился: добавилась одна отдельная танковая бригада и убыли две стрелковые бригады, что в итоге

могло уменьшить численность войск фронта не более чем на 5–7 тыс. человек[47]. Согласно всем законам математики, к 12 июля, началу наступления, войска фронта должны были иметь в своем составе 704 тыс. человек, однако авторы книги «Гриф секретности снят» свидетельствуют, что 12 июля Центральный фронт насчитывал всего 645 300 человек. Получается, что как минимум 55 тыс. красноармейцев за неделю стали неразысканными дезертирами в безлесных курских степях. Характерно, что данный случай — единственный, когда сведения книги «Гриф секретности снят» поддаются проверке, и при этом ошибка оказывается столь велика, что полностью подрывает доверие к официальной цифре потерь.

В Красной Армии учет потерь был поставлен из рук вон плохо. Рядовой и сержантский состав после финской войны был лишен удостоверений личности — красноармейских книжек. Правда, приказ наркома обороны о введении «Положения о персональном учете потерь и погребении личного состава Красной Армии в военное время» появился 15 марта 1941 г. Этот приказ вводил для военнослужащих медальоны с основными сведениями о владельце. Но до войск Южного фронта, например, этот приказ был доведен лишь в декабре 1941 г. Еще в начале 1942 г. многие военнослужащие на фронте не имели медальонов, а приказом наркома обороны от 17 ноября 1942 г. медальоны вообще были отменены, что еще больше запутало учет потерь, хотя такая отмена диктовалось исключительно стремлением не угнетать военнослужащих думами о возможной смерти (многие вообще отказывались брать медальоны). Красноармейские книжки ввели 7 октября 1941 г., но еще в начале 1942 г. красноармейцы не были ими полностью обеспечены. В приказе заместителя наркома обороны от 12 апреля 1942 г. говорилось: «Учет личного состава, в особенности учет потерь, ведется в действующей армии совершенно неудовлетворительно... Штабы соединений не высылают своевременно в центр именных списков погибших. В результате несвоевременного и неполного представления войсковыми частями списков о потерях (так в документе. — *Б. С.)* получилось большое несоответствие между данными численного и персонального учета потерь. На персональном учете состоит в настоящее время не более одной трети действительного числа убитых. Данные персонального учета пропавших без вести и попавших в плен еще более далеки от истины». И в дальнейшем положение с учетом личного состава и потерь не претерпело существенных изменений. Приказ наркома обороны от 7 марта 1945 г., за два месяца до конца войны с Германией, констатировал, что «военные советы фронтов, армий и военных округов не уделяют должного внимания» этому вопросу[48].

Поэтому необходимы иные методы подсчета. За основу расчета я беру опубликованные Д. Волкогоновым данные о безвозвратных потерях Красной Армии по месяцам 1942 г.[49] Кроме того, имеется помесячная разбивка потерь Красной Армии ранеными (пораженными в боях) за период с июля 1941 по апрель 1945 г., выраженная в процентах от среднемесячного уровня за войну[50]. Замечу, что, вопреки распространенному мнению, помесячная динамика потерь ранеными свидетельствует, что в последние год-два войны потери Красной Армии отнюдь не уменьшились. Потери ранеными достигли максимума в июле и августе 1943 г., составив 143% и 172% от

среднемесячного числа. Следующий же по величине максимум приходится на июль и август 1944 г., достигая соответственно 132% и 140%. Потери же в марте и апреле 1945 г. были лишь немногим меньше, составив 122% и 118%. Выше этот показатель был только в августе 42-го, в октябре 43-го и в январе и сентябре 44-го (по 130%), а также в сентябре 43-го (137%).

Можно попытаться оценить общее число погибших, принимая число убитых в бою примерно прямо пропорциональным числу раненых. Остается определить, когда учет безвозвратных потерь был наиболее полон и когда почти все безвозвратные потери приходилось на погибших, а не на пленных. По ряду соображений, в качестве такого месяца был выбран ноябрь, когда Красная Армия почти не понесла потерь пленными, а линия фронта была стабильна вплоть до 19 числа. Тогда на 413 тыс. убитых и умерших будет приходиться показатель в 83% пораженных в боях, т. е. на 1% среднемесячного числа пораженных в боях приходится приблизительно 5,0 тыс. убитых и умерших от ран и болезней. Если же принять за базовые показатели января, февраля, марта или апреля, то там соотношение, после исключения примерного числа пленных, будет еще большим — от 5,1 до 5,5 тыс. погибших на 1% от среднемесячного числа пораженных в боях. Тогда общее число погибших в боях, а также умерших от ран можно оценить, умножив 5 тыс. человек на 4656 (сумма, в процентах от среднемесячного, потерь ранеными за войну, с учетом потерь июня 41-го и мая 45-го) в 23,28 млн человек. Отсюда надо вычесть 940 тыс. вернувшихся к своим окруженцев из числа пропавших без вести[51]. Останется 22,34 млн человек. Я предполагаю, что в приведенных Д. Волкогоновым данных к безвозвратным не отнесены небоевые потери, т. е. бойцы, умершие от болезней, несчастных случаев, самоубийств, расстрелянные по приговорам трибуналов и погибшие по иным причинам (кроме умерших в плену). По последней оценке авторов книги «Гриф секретности снят», небоевые потери Красной Армии составили 555,5 тыс. человек[52]. Тогда общие безвозвратные потери советских вооруженных сил (без умерших в плену) можно оценить в 22,9 млн человек. Если же в волкогоновские цифры небоевые потери включены, то безвозвратные потери Красной Армии можно оценить в 22, 34 млн погибших.

Для получения итоговой цифры военных потерь необходимо также оценить количество советских военнопленных, умерших в плену. По итоговым немецким документам, на Восточном фронте было взято 5 млн 754 тыс. военнопленных, в том числе в 1941 г. — 3 млн 355 тыс., при этом авторы документа, представленного западным союзникам в мае 45-го, оговаривались, что за 1944 — 1945 гг. учет пленных неполный. При этом число умерших в плену оценивалось в 3,3 млн человек[53]. Однако я склонен присоединиться к более высокой оценке общего числа советских военнопленных 1941 года в 3,9 млн человек, содержащейся в немецких документах начала 1942 г.[54] Несомненно, в это число вошли также примерно 200 тыс. пленных с оккупированных территорий, отпущенных из лагерей еще в 1941 г. С учетом этого, а также пленных, взятых союзниками Германии (так, например, Финляндия захватила 68 тыс. пленных, из которых умерли 19 276 — около 30%)[55], общее число советских военнопленных я оцениваю в 6,3 млн человек. На Родину из германского (а также финского и румынского) плена

вернулись 1 млн 836 тыс. человек, еще примерно 250 тыс., по оценке МИД СССР 1956 г., после войны остались на Западе[56]. Общее число погибших в плену, добавляя сюда 19,7 тыс. красноармейцев, погибших в финском плену (из 64,2 тыс. всех захваченных)[57], я оцениваю примерно в 4 млн человек, учитывая тех окруженцев, кому удалось скрыть пребывание в плену. Это составляет 63,5% от общего числа пленных. Тогда общие потери советских вооруженных сил можно оценить в 26,3 — 26,9 млн человек.

Общие же потери — и военного, и гражданского населения СССР — я оцениваю в 43,3 млн человек, исходя из оценки ЦСУ, сделанной в начале 50-х годов, численности населения СССР в конце 1945 г. в 167 млн человек, и из оценки ЦСУ, сделанной в июне 41-го, населения СССР на начало 1941 г. в 198,7 млн человек. Принимая во внимание повторный пересчет, который успели сделать по двум регионам, это последнее число следует увеличить на 4,6%. Следовательно, численность советского населения к началу войны можно считать 209,3 млн человек[58]. Тогда потери мирного населения можно оценить в 16,4–16,9 млн человек.

Есть возможность проверить полученную нами выше цифру в 26,9 млн погибших красноармейцев двумя альтернативными методами подсчетов. Первый из них заключается в следующем. Банк компьютерных данных музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе к маю 1994 г. содержал персональные поименные данные на 19 млн военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе войны и до сих пор не обнаруженных. Сюда были включены не все погибшие, о чем свидетельствуют и неудачи десятков граждан, обратившихся в музей с запросами о судьбе своих без вести пропавших родных и близких. Практически невозможно поименно установить всех погибших через полвека после окончания войны. Примерно из 5 тыс. погибших советских военнослужащих, чьи останки были найдены в 1994–1995 гг. и чью личность удалось установить, около 30% не числились в архивах министерства обороны и не попали поэтому в компьютерный банк данных[59]. Если предположить, что 19 млн попавших в этот банк составляют примерно 70% всех погибших и пропавших без вести, их общее число должно достигать 27,1 млн человек. Отсюда надо вычесть примерно 2 млн выживших пленных и примерно 900 тыс. вернувшихся к своим окруженцев. Тогда общее количество погибших солдат и офицеров можно исчислить в 24,2 млн Однако данный подсчет сделан на основе тех 5 тыс. погибших, которых удалось идентифицировать по сохранившимся у них документам. Следовательно, у этих военнослужащих вероятность оказаться в списках министерства обороны выше, чем у среднестатистического убитого, поэтому, скорее всего, 19 млн охватывают в действительности не 70% , а меньший процент всех погибших. Из-за этого обстоятельства мы считаем более близкой истине цифру в 26,9 млн погибших в рядах советских вооруженных сил, полученную в результате наших предыдущих подсчетов.

Надо также учитывать, что нет никаких шансов сколько-нибудь точно подсчитать общее число лиц, служивших в Красной Армии в годы войны, поскольку в 1941–1944 гг. значительное число людей мобилизовывалось непосредственно в части и централизованного учета таких призывников не велось, равно как и сотен тысяч и даже миллионов ополченцев, погиб-

ших еще до зачисления в обычные части. Например, один только Южный фронт и только в сентябре 1943 года призвал непосредственно в части 115 тыс. человек, большинство из которых прежде не служили в Красной Армии [60]. Ясно, что за весь период войны общее количество призванных непосредственно в части исчисляется многими миллионами.

Есть еще один вариант подсчета советских военных потерь — по соотношению потерь офицеров Красной Армии и вермахта. Офицеров ведь считали точнее, и в СССР учет их безвозвратных потерь занял после войны много лет и завершился только в 1963 г. С июня 1941 по ноябрь 1944 г. безвозвратные потери офицеров германской сухопутной армии на Востоке составили 65,2 тыс. погибшими и пропавшими без вести. Красная Армия за тот же период (без ВМФ и ВВС и с исключением политического, административного и юридического состава сухопутных сил, представленного в Германии не офицерами, а чиновниками) потеряла около 784 тыс. офицеров только погибшими и не вернувшимися из плена. Это дает соотношение около 12 : 1[61]. В немецкой армии на Востоке доля безвозвратных потерь офицеров до конца 1944 г. составила около 2,7%[62], т. е. практически совпадала с долей офицеров в безвозвратных потерях советских сухопутных сил. Например, за период 17–19 декабря 1941 г. в 323-й стрелковой дивизии потери начальствующего состава среди убитых и пропавших без вести составили 3,36%[63]. Для 5-й гвардейской армии в период 9–17 июля 1943 г. соотношение потерь рядовых и офицеров составило 15,88 : 1, а с исключением политического и других «чиновничьих» составов — 18,38 : 1[64]. Для 5-й гвардейской танковой армии соответствующие соотношения в период с 12 по18 июля 1943 г. составят 9,64 : 1 и 11,22 : 1[65]. Для 48-го стрелкового корпуса 69-й армии в период с 1 по 16 июля 1943 г. данные соотношения составят 17,17 : 1 и 19,88 : 1[66]. Надо учитывать, что основные потери в живой силе в войну несли именно общевойсковые, а не танковые армии (в последних доля офицеров была значительно выше). Поэтому общее соотношение безвозвратных потерь офицеров и рядовых красноармейцев в целом будет гораздо ближе того, что было установлено мной для общевойсковых армий, чем для танковой. При этом надо учесть, что использованные советские донесения содержат недоучет безвозвратных потерь, причем в большей степени за счет рядовых, а не офицеров. Причем этот недоучет был очень значительным. Так, по донесениям, 183-я стрелковая дивизия 48-го стрелкового корпуса потеряла в указанный период 398 убитых и 908 раненых (пропавшие без вести не были учтены), причем для убитых соотношение солдат и офицеров было 25,5 : 1. Однако численность личного состава дивизии, даже без учета возможного пополнения, сократилась с начала боев и до 15 июля с 7981 человек до 2652, т. е. реальные потери составили не 1300, а 5329 солдат и офицеров[67]. Очевидно, разница в 4029 человек образовалась главным образом за счет неучтенных пропавших без вести, среди которых наверняка солдаты резко преобладали над офицерами.

Для сравнения можно взять другие дивизии 48-го корпуса, относительно которых есть данные и по пропавшим без вести. У 93-й гвардейской стрелковой дивизии соотношение солдат и офицеров среди убитых было 18,08 : 1, а среди пропавших без вести — 12,74 : 1, у 81-й гвардейской соответственно —

12,96 : 1 и 16,81 : 1, у 89-й гвардейской — 7,15 : 1 и 32,37 : 1, у 375-й стрелковой — 67,33 : 1 и 31 : 1. В последнем случае столь большие цифры очевидно получились из-за малой величины безвозвратных потерь — 3 офицера и 233 рядовых, что повышает риск статистической погрешности. Замечу также, что в 375-й дивизии был огромный недоучет потерь. Ее численность сократилась за время боев с 8647 до 3526 человек, что дает реальные потери не в 236, а в 5121 человек. В тех случаях, когда среди пропавших без вести доля офицеров оказывается большей, чем среди убитых, это должно указывать на то, что здесь был огромный недоучет пропавших без вести солдат, так как судьбу офицеров обычно определяют точнее. Поэтому в случае с дивизиями, где офицеров среди пропавших без вести было больше, чем среди убитых, мы примем для пропавших без вести то же соотношение, какое было установлено для убитых, и исключим из подсчета 375-ю дивизию. Замечу, кстати, что в приведенном выше донесении 323-й стрелковой дивизии за декабрь 1941 г., очевидно, достаточно полно подсчитаны пропавшие без вести. Для 183-й стрелковой дивизии мы условно определим число пропавших без вести в 4000 человек. В этом случае подсчеты для 48-го корпуса без одной дивизии дадут соотношение солдат и офицеров в безвозвратных потерях, равное 21,02 : 1. С исключением же политсостава, юридического и административного соотношение станет равно 24,16. Интересно, что это практически равно соотношению, которое получается для немецкого объединения — III моторизованного (танкового) корпуса генерала Эберхарда Макензена, но за более длительный период времени. Этот корпус действовал на Восточном фронте в период с 22 июня 1941 г. по 13 ноября 1942 г. и за это время потерял погибшими и пропавшими без вести 14 404 человека, в том числе 564 офицера, что дает соотношение 24,54 солдат и унтер-офицеров на одного офицера[68]. Отмечу, что в немецком моторизованном корпусе доля танковых частей и подразделений была значительно меньше, чем в советской танковой армии, поэтому в соотношении в потерях солдат и офицеров он был ближе к армейским корпусам, чем советские танковые армии — к общевойсковым армиям. Кстати сказать, соотношение солдат и офицеров по немецкому корпусу оказывается ниже, чем по Восточной армии в целом. Разница, вероятно, возникла за счет того, что в корпусе все же была выше доля танковых частей, где доля офицеров была выше, чем в пехоте, а также то, что в корпусных донесениях не учитывались раненые и больные, умершие в госпиталях, среди которых доля офицеров была ниже, чем среди убитых и пропавших без вести. Кроме того, в корпусных донесениях наверняка был некоторый недоучет безвозвратных потерь, и в первую очередь за счет солдат.

Если принять итоговое соотношение между солдатами и офицерами в безвозвратных потерях, установленное мной для 48-го стрелкового корпуса в период Курской битвы, близким к среднему соотношению между солдатами и офицерами в безвозвратных потерях сухопутных сил Красной Армии за всю войну и распространить его на потери офицерского корпуса до конца ноября 1944 г. (т. е. на 784 тыс. погибших и не вернувшихся из плена офицеров), то общие потери сухопутных сил Красной Армии погибшими в период с июня 41-го по ноябрь 44-го можно оценить в 18 941 тыс. человек. Если добавить сюда потери сухопутных войск за последние полгода войны —

вероятно, не менее 2 миллионов, и добавить сюда потери флота и авиации — не менее 200 тыс. человек, то получим около 21 млн погибших, что укладывается в пределы точности наших оценок, проведенных иными методами. С учетом же того, что в своей оценке мы имели дело с заведомо заниженными донесениями о потерях, причем заниженными в основном за счет солдат, то истинная величина потерь, по всей вероятности, должна быть больше, чем получилось по оценке, осуществленной по методу сопоставления офицерских потерь.

Поэтому наиболее близкой к истине в данный момент я принимаю цифру в 26,3–26,9 млн погибших солдат и офицеров Красной Армии. При этом необходимо сознавать, что точность этой цифры невелика, в пределах плюс-минус пять миллионов, поэтому десятые миллиона в цифрах вполне условны и отражают лишь способы счисления. Однако шансов получить цифру большей точности, равно как и когда-нибудь похоронить всех погибших красноармейцев, просто нет. В то же время, потери Красной Армии в целом посчитаны точнее, чем потери мирного населения и, соответственно, чем общие безвозвратные потери советского населения. Так что если в последующем общие потери СССР в результате тех или иных оценок будут уменьшены, то это произойдет главным образом за счет гражданских потерь.

Общее число мобилизованных, если верна моя оценка, также значительно превышает официальные данные об общем числе призванных на военную службу граждан СССР — 34 млн 476,7 тыс. человек (включая армию мирного времени), из которых 3 млн 614,6 тыс. человек были переданы для работы в народном хозяйстве и в военные формирования других ведомств. При этом к 1 июля 1945 г. в Вооруженных Силах СССР осталось 11 млн 390,6 тыс. человек и, кроме того, 1 046 тыс. лечились в госпиталях[69]. Если же исходить из числа погибших в 26,9 млн человек, то, с учетом инвалидов и лиц, демобилизованных для работы в промышленности, чистый призыв в Красную Армию можно оценить в 42,9 млн человек. В Германии, включая армию мирного времени, общий призыв составил 17,9 млн человек. Из них примерно 2 млн человек были отозваны обратно, в первую очередь для работы в промышленности, так что чистый призыв составил около 15,9 млн человек, или 19,7% от общей численности населения Рейха в 80,6 млн человек в 1939 г. В СССР же доля чистого призыва могла достичь 20,5% от населения на середину 1941 г., оцениваемого в 209,3 млн человек. Официальные данные о числе мобилизованных в Красную Армию были значительно занижены за счет призванных непосредственно в части.

В целом общая величина советских потерь оказывается большей, чем суммарные потери всех других государств, участвовавших в войне. Последние в сумме потеряли около 38,95 млн человек, а вместе с советскими потерями потери всех стран во Второй мировой достигают 82,4 млн человек, из которых на СССР приходится 52,6%. Интересно, что потери советского гражданского населения лишь незначительно, в 1,06 превышают потери гражданского населения Азии, но зато в 1,5 превосходит потери мирного населения всех европейских стран вместе взятых. Что же касается безвозвратных потерь Красной Армии, то они значительно превышают сум-

марные потери как европейских (7,2 млн), так и азиатских (5,3 млн) армий, превосходя их вместе взятые в 2,13 раза.

Практически все эти цифры хорошо демонстрируют, что Россия оставалась страной азиатской как в том плане, что во время войны власть не имела возможности, да и особого желания заботиться о выживании мирного населения, так и в том, что победу могла одерживать только неся потери, на порядок переходящие потери противника. Любопытно, что в японо-китайской войне, в которой китайцы в основном придерживались тактики малой, партизанской войны, соотношение потерь было в пользу Японии не более чем в 2,5 раза. Вероятно, если бы Красная Армия придерживалась бы в войне с Германией преимущественно оборонительного образа действий и больше внимания уделяла партизанской войне, соотношение потерь было бы гораздо благоприятнее для советской стороны.

## Примечания

[1] См.: *Урланис Б.* Войны и народонаселение Европы \\ М.: Соцэкгиз, 1960, с. 236-239.

[2] *Урланис Б.* Народонаселение. Исследования, публицистика \\ М.: Статистика, 1976, с. 203.

[3] *Эрлихман В.* Потери народонаселения в XX веке. Справочник \\ М.: Русская панорама, 2004, с. 70.

[4] *Петрович В.* Отечественная история XX — начало XXI в. Курс лекций для дистанционного обучения по учебнику авторского коллектива под руководством академика РАН А.О. Чубарьяна \\ http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200500109

[5] *Урланис Б.* Войны и народонаселение Европы, с. 237-239.

[6] *Урланис Б.* Народонаселение, с. 203.

[7] *Эрлихман В.* Потери народонаселения.., с. 81.

[8] *The World Almanac and Book of Facts 1997* \\ Mahwah (NJ): World Almanac Books, 1996, p. 184.

[9] *Эрлихман В.* Потери народонаселения.., с. 107-108.

[10] *Урланис Б.* Войны и народонаселение Европы, с. 229; *Эрлихман В.* Потери народонаселения.., с. 133, 75.

[11] *Эрлихман В.* Потери народонаселения.., с. 62, 80, 63, 59, 68, 72.

[12] Там же, с. 74, 79.

[13] Там же, с. 77-78.

[14] Там же, с. 71.

[15] Там же, с. 53.

[16] Там же, с. 38.

[17] Там же, с. 48.

[18] Там же, с. 47.

[19] Там же, с. 48.

[20] Там же, с. 48-49.

[21] Там же, с. 44.

[22] Там же, с. 46.

[23] Там же, с. 54.

[24] Там же, с. 49.

[25] *Дурачиньский Э.* Варшавское восстание // Другая война 1939 — 1945 \\ М.: РГГУ, 1996.

[26] *Эрлихман В.* Потери народонаселения, с. 55-56.

[27] Там же, с. 43-44.

[28] Там же, с. 37-38.

[29] Там же, с. 46-47.

[30] Там же, с. 41. Из военных потерь исключены 40 тыс. будто бы погибших в невооруженных «трудовых батальонах», ибо эта цифра представляется значительно завышенной.

[31] Там же, с. 51.

[32] Там же, с. 52.

[33] *Мюллер-Гиллебранд Б.* Сухопутная армия Германии 1933—1945. Пер. с нем. Т. 3. \\ М., 1976, с. 338.

[34] Существует и более низкая оценка числа германских пленных, умерших в плену у западных союзников — 150 тыс. человек. См.: *Эрлихман В.* Потери народонаселения.., с. 42-43.

[35] Оценка по: *Мюллер-Гиллебранд Б.* Указ. соч. Т. 3. С. 323—344. Подробнее см.: *Sokolov B.* The Cost of War: Human Losses for the USSR and Germany, 1939 — 1945; *Соколов Б.* Тайны Второй мировой \\ М.: Вече, 2001, с. 247-250.

[36] См.: *Overmanns R.* Deutsche militдrische Verluste im Zweiten Weltkrieg. // Beitrдge zur Militдrgeschichte. Bd.46. Schrifenreihe des Militдrischen Forschungsamtes. — Wien — Mьnchen.R.Oldenbourg Verlag, 1999; а также рецензию на эту книгу: *Полян П.* Убойный блицкриг // Общая газета, 2001, 22 июня; и публикацию фрагмента этой книги на русском языке: *Оверманс.* Человеческие жертвы Второй мировой войны в Германии // Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований \\ М.: Весь мир, 1996. Новые исследования немецких историков.

[37] *Итоги Второй мировой войны* \\ М.: Издатинлит, 1957, с. 228.

[38] *Беккер К.* Военные дневники люфтваффе \\ М.: Центрполиграф, 2004, с. 538.

[39] *Эрлихман В.* Потери народонаселения.., сс. 36-27, 42-43.

[40] Там же, с. 42-43.

[41] Там же, с. 37.

[42] *Урланис Б.* Войны и народонаселение Европы, с. 205.

[43] *Итоги Второй мировой войны* \\ М.: Издатинлит, 1957, с. 598.

[44] *Оверманс Р.* Человеческие жертвы.., с. 692.

[45] *Урланис Б.* Народонаселение, с. 203.

[46] *Гриф секретности снят:* Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Под ред. Г. Кривошеева \\ М.: Воениздат, 1993. С. 129, 132. Во втором издании этой книги цифры остались прежними (Россия и СССР в войнах XX века. М.: Олма-Пресс, 2001. С. 236).

[47] *Гриф секретности снят*, с. 188—189.

[48] «Вопросы истории», 1990. № 6, с. 185—187; «Военно-исторический журнал», 1990. № 6, с. 185—187; «Военно-исторический журнал», 1990, № 4, с. 4—5; «Военно-исторический журнал», 1992. № 9, с. 28—31.

[49] *Волкогонов Д.* Мы победили вопреки бесчеловечной системе // Известия. 1993, 8 мая, с. 5.

[50] *Смирнов Е.* Война и военная медицина. 2-е изд. \\ М.: Медицина, 1979, с. 188.

[51] *Гриф секретности снят*, с. 129.

[52] *Россия и СССР в войнах XX века*, с. 237.

[53] *Dallin A.* German Rule in Russia, 1941—1945 \\ L.-N. Y., 1957, p. 427.

[54] «Вопросы истории», 1989. № 3, с. 37; *Нюрнбергский процесс*: в 7 тт. Т. 3 \\ М., 1960, с. 29—30.

[55] *Оз А.* По лесам и лагерям Суоми (в финском плену) \\ «Новый журнал», Нью-Йорк, 1952, № 30.

[56] *Гареев М.* О мифах старых и новых \\ «Военно-исторический журнал», 1991, № 4, с. 47.

[57] См.: *Пиэтола Э.* Военнопленные в Финляндии 1941 — 1944 \\ «Север», Петрозаводск, 1990, № 12.

[58] *Кожурин В.* О численности населения СССР накануне Великой Отечественной войны \\ «Военно-исторический журнал», 1991, № 2, с. 23—26. Подробнее методику подсчетов потерь как армии, так и гражданского населения см.: *Sokolov B.* The Cost of War: Human Losses for the USSR and Germany, 1939 — 1945 \\ The Journal of Slavic Military Studies (JSMS), vol. 9, № 1, March 1996; *Соколов Б.* Тайны Второй мировой \\ М.: Вече, 2001, с. 219-272.

[59] Сообщено С. Д. Митягиным.

[60] РГАСПИ, ф. 83, оп. 1, д. 29, лл. 75-77.

[61] Подсчет по: *Мюллер-Гиллебранд Буркхарт.* Сухопутная армия Германии. 1933 — 1945. Т. 3. \\ М.: Воениздат, 1976, с. 354-409; *Шабаев А.* Потери офицерского состава Красной Армии в Великой Отечественной войне \\ Военно-исторический архив. Вып. 3. М., 1998, с. 173-189; *Россия и СССР в войнах XX века* \\ М.: Олма-Пресс, 2001, с. 430-436.

[62] *Мюллер-Гиллебранд Б.* Указ. соч. Т. 3, с. 342-343.

[63] *Скрытая правда войны: 1941 год* / Под ред. Павла Н. Кнышевского \\ М.: Русская книга, 1992, с. 222.

[64] ЦАМО РФ, ф 5 гв А, оп.4855, д 20, л. 4 (Цит. по: *Лопуховский Л.* Прохоровка — без грифа секретности // Военно-исторический архив, 2004, № 2, с. 73).

[65] Там же, с. 72. (ЦАМО РФ, ф. 5 гв. Т.А, оп. 4952, д. 7, л. 3).

[66] ЦАМО РФ, ф. 69 А, оп. 10753, д. 442, л.24.

[67] *Замулин В., Лопуховский Л.* Прохоровское сражение. Мифы и реальность // Военно-исторический архив, 2003, № 3, с. 101.

[68] Подсчитано по: *Макензен Э.* От Буга до Кавказа (III танковый корпус в кампании против Советской России в 1941 — 1942 гг.) \\ М.: АСТ, 2004.

[69] *Гриф секретности снят*, сс. 139, 141.

Мария РЕМИЗОВА

# МЕДВЕЖЬИ ПЕСНИ О КИСЛЫХ ЯБЛОЧКАХ

## Опыт дешифровки современной политической символики

Эта история началась давным-давно, когда мир был еще совсем новенький и человек только пробовал стать человеком. С первых же проблесков сознания стартовало символическое восприятие окружающего мира, позволяющее устанавливать незримые связи между объектами, на первый взгляд никак не связанными между собой. В конечном счете, все лучшие области человеческой деятельности — искусство, наука, философия — это поздние плоды исходной способности сознания к уподоблению и упорядочению — своего рода структуризации мира в образах мифа. Здесь лежат корни широко используемой символики сегодняшнего дня. Эмблемы, гербы, товарные знаки — все это поддается той же дешифровке, что и древние ритуальные изображения. Основные модели работы сознания неизменны, а древние символы — хотим мы того или нет — прочно закреплены в нашем коллективном бессознательном.

Символика политических партий — не исключение. Нравится нам это или нет, но всякий символ тянет за собой долгую и часто запутанную нить смыслов, нанизанных на него за всю историю использования образа. Не следует сбрасывать со счетов, что древние смыслы не забываются окончательно, но хранятся в общем чулане коллективного бессознательного, так или иначе влияя на восприятие. И — что не менее важно — на сам выбор эмблематики.

Культура — странная штука, в ней ничто не проходит бесследно. И прочтение ее как метатекста — ничуть не менее продуктивное занятие, чем, допустим, прямая общественная деятельность.

Итак, попробуем провести эксперимент. Возьмем для пробы символы двух российских партий — «Единой России» и «Яблока» — и поглядим, куда заведет нас расшифровка.

### Медведь

Вероятно, образ медведя — один из самых смыслоемких животных символов в мифологических представлениях человечества. Во всех регионах его обитания — в Европе, Азии и Америке — известны представления о медведе как о тотемном предке. Отсюда идут сюжеты о перевоплощении медведя в человека и человека в медведя, о браке с медведем и появлении соответству-

---

**Мария РЕМИЗОВА** — родилась в 1960 г. в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Литературный критик, прозаик. Работала в «Континенте», «Независимой газете» и др. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь» и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

ющего потомства (с этим связано множество «медвежьих» топонимов — Медвежье озеро и Берн, Бирмингем, Аркадия и даже Арктика, множество имен и фамилий — Урсула, Артемида, Медведенко... Хороший пример такого «закодированного» названия — имя героя древнеанглийского эпоса — Беовульф, буквально «пчелиный волк», то есть все тот же медведь).

Арийские племена считали медведя настолько священным, что древнейший корень для всех индо-европейских языков утрачен безвозвратно — имя медведя было жестко табуировано, поэтому по-русски и украински он — тот, кто ведает медом, в германских языках (корень «бир»-«бер» — в русском языке от него остались, например, «бирюк» и «берлога») — бурый, по-литовски (локис) — лохматый... Его звали «хозяином», «отцом», «стариком», «князем зверей», «косолапым», «топтыгиным»...

Для древнего охотника медведь был грозным хозяином леса, от которого зависел не только промысел, но и все существование общины. В этой ипостаси медведь выступает хозяином лесной избушки, где проходили инициацию юные члены первобытной общины. Реликты этого ритуала зафиксированы в русском сказочном фольклоре — в некоторых сюжетах, где мачеха отправляет падчерицу в лес, на призыв соскучившейся в одиночестве девушки «Кто в лесе, кто в темном — приди ко мне гостевать!» — является медведь. «Ну-ка, девушка, — говорит, — туши огни, будем в жмурку играть». Эти «жмурки» были вовсе не так безобидны — при инициации испытуемых жестко истязали, наносили серьезные увечья, доводили до полного умопомрачения, так что они действительно пребывали в убеждении, что умерли и впоследствии возродились к новой жизни с новыми качествами. Следы этих ритуалов обнаруживаются все в той же сказке: «хорошую» падчерицу лесной хозяин в конце концов награждает, «плохую» же дочку рвет в клочья...

И, конечно же, медведь оставался при этом объектом охоты, самой вожделенной добычей и жертвой, которую, во избежание опасных последствий, следовало каждый раз умилостивить определенными церемониальными действиями. Древнейший миф об умирающем и воскресающем звере, в роли которого очень часто выступает медведь, требовал жестко регламентированных манипуляций, чтобы «дух» животного при его гибели никак не пострадал и имел возможность воплощаться снова и снова — чтобы кормить своей плотью молящих о снисхождении охотников.

Эвены (Западная Сибирь), окружив берлогу, пели: «Дедушка медведь, наша бабушка, твоя старшая сестра велела тебе: не пугай нас, умри». Кеты, подняв зверя из берлоги, прежде чем убить, приговаривали: «Не сердись, дедушка! Пойдем к нам в гости!»

«Медвежий праздник», до совсем недавних пор актуальный для народов Сибири, предполагает почтительное обращение с тушей убитого медведя — его голову, шкуру, лапы кладут на почетное место, перед ними ставят угощение, подносят подарки, пляшут, поют, обещают почетные похороны. И уверяют, будто убил его кто-то другой — люди из другой земли, вороны, вообще неведомо кто. Раньше, если на охоте случалась цепь неудач, медведю в жены обещали — и отдавали! — самую красивую девушку в селении: отводили в тайгу и привязывали к дереву. И радовались, когда несколько дней спустя невесты на месте не оказывалось — значит, понравилась, теперь дела пойдут на лад...

Индейцы Северной Америки исполняли специальную «медвежью пляску», призванную «пригласить» зверя на охоту и дать себя убить — по их представлениям, можно убить лишь то животное, которое само этого захочет. Несколько дней они строжайшим образом постятся, воздерживаются от всяких контактов с противоположным полом, потом следует длительная ритуальная пляска в соответствующих масках, во время которой животное горячо уверяют, что после смерти окажут ему должное почтение, ни в коем случае не повредят кости и совершат все необходимые действия, так что впоследствии, накормив людей своим мясом, он сможет легко возродиться в новом теле. У туши медведя просят прощенья. «Я твой сородич. Я беден, поэтому охотился на тебя», — каялся индеец-тлинкит.

Убив медведя, индейцы подносили мясо к его голове — угощали его же мясом. Так же поступали и сибирские коряки — шкуру медведя с головой встречали женщины с факелами, одна из них натягивала ее на себя и исполняла особый танец. Потом на специальной дощечке медведю подносили его собственное мясо — со словами: «Угощайся, друг».

Индейцам была известна и целительная сила медведя. Для некоторых племен медведь — основной патрон «лекарских» корпораций, в необходимых случаях его вызывают при помощи ритуалов — все тех же «медвежьих плясок».

Дальневосточные медвежьи культы требуют длительного воспитания медведя в семье. Пойманного медвежонка выхаживают и выкармливают несколько лет, относятся к нему как к члену семьи. Перед ритуальным жертвоприношением его, наряженного и украшенного, водят по селению от дома к дому и потчуют лучшими кушаньями. Дают с собой мешки с продовольствием для «дальней дороги» и выводят к «лобному месту». Выкормившая его семья заводит ритуальный плач как по умершему родичу. Медведя привязывают к двум столбам, и самый меткий охотник пускает стрелу. Затем, как водится, пир и пляски. Некоторые части медведя едят в последний день — и только мужчины, для женщин табу не только подобная еда, но и само присутствие на церемонии. Дело очень серьезно — от этого зависит благополучие рода. Завершение праздника — похороны останков на специальном медвежьем кладбище. Череп и кости укладывают на пне, челюсть и уши вешают на дерево.

В мифологии чичба-муисков (Южная Америка) существует замечательный персонаж — Ненкатакоа («медведь полей и столбов»). Это бог ритуальных попоек и хмельного напитка чичи. Его представляли в виде медведя, наряженного в плащ. Известно о нем немного: миф зафиксировал лишь то, что он организовывал перерывы для выпивки при коллективной доставке бревен с окрестных гор. Единственная известная форма почитания Ненкатакоа — обильные возлияния в его честь, носящие, естественно, массовый характер.

Есть в медвежьем культе обряды очень древнего происхождения, призванные обеспечить сохранение и размножение животного. Это особые ритуалы оргиастического характера, известные, например, у ханты и манси.

Академик Рыбаков уверяет, что название практиковавшегося у древних славян праздника комоедицы, приуроченного к весеннему равноденствию (то, что потом стало масленицей), главным героем которого был медведь, этимологически связано с греческим словом «комедия» (и тогда комедия — не

что иное, как «медвежья песнь», как «трагедия» — в буквальном переводе «песнь козла»).

Параллельно с этими представлениями медведь — одно из хтонических животных, наряду с жабами, змеями, мышами, выдрами, обитающее у корней мирового древа (символ, универсальный для мифопоэтических схем всего человечества). Ведь он подолгу спит в своей земляной пещере — эта символика приводит его прямиком в преисподнюю, устанавливая связь с царством мрака и смерти, с потусторонним миром и одновременно — с идеей последующего воскресения в пандан к оживающей каждую весну растительности.

Архаические животные черты сохраняли даже «культурные» античные божества: Артемида не только богиня охоты, но и сама — изначально медведица. В Аттике жрицы ее культа для ритуальных плясок надевали медвежьи шкуры и назывались медведицами. Артемида обратила прогневавшую ее нимфу Каллисто в медведицу; Зевс поместил бедняжку на небо, где мы и по сей день любуемся ее красотой в форме созвездия Большой Медведицы. Облик медведя при необходимости принимал Дионис.

Отождествление (или по крайней мере теснейшая связь) с медведем установлена у «скотьего бога» древних славян Велеса. У многих народов медведь — хозяин скота, он способен влиять на состояние стад — не только как целительная сила, но и как уничтожитель. Известно множество заговоров против медведя и песен на этот сюжет («Медведюшка-батаюшка, ты не тронь мою коровушку, не губи мою головушку...»).

В русской народной традиции защитник стад от медведя — святой Егорий.

## Яблоко

С древнейших времен яблоко играло немалую роль в символическом пантеоне человечества. Сейчас все знают радужное яблочко с надкусанным боком фирмы «Макинтош», да благодаря «Битлз» помнят фирму грамзаписи «Эппл». А между тем даже русская сказка дает богатейший материал для анализа смыслового содержания образа.

И золотое яблочко на серебряном блюдечке, которое катают бессчетные красны девицы, соблазняя на неравноценный обмен добившихся успеха соперниц, и жар-птицы, таскающие яблоки из царских садов, что служит зачином для множества сюжетов, и даже формула «Съешь моего кислого яблочка», предложенная как испытание капризной девочке из «Гусей-лебедей» (серьезность акции можно понять из сюжета, хорошо известного по литературной обработке фольклорного мотива Пушкиным — надкусив роковое яблоко, царевна из живой превращается в мертвую) — все это указывает на глубокий мифологический подтекст образа.

Неспроста непоименованный плод с библейского Древа познания европейская традиция упорно отождествляет с яблоком — до прихода христианства (после чего и началось знакомство со Святым Писанием) в этом ареале именно яблоко из всех прочих плодов играло наиболее сакральную роль. Неспроста выбрать красивейшую из трех — Геры, Афины и Афродиты — Парис был должен, вручив избраннице яблоко. С его ангажированного решения (Афродита пообещала ему Прекрасную Елену), к слову, началась Троянская вой-

на... Отметим попутно и православный Яблочный Спас, заменивший практиковавшийся во времена язычества праздник, приуроченный к сбору плодов.

Примечательно, что название по крайней мере двух «плодов», заимствованные русским языком, определяют объект через понятие «яблоко»: апельсин (из немецкого «апфель-син» — китайское яблоко) и помидор (итальянский «поми-д-оро» — золотое яблоко).

Два основополагающих принципа первобытного мышления — это принцип подобия и принцип смежности. Символизация объектов шла по одному из этих путей. (Оба легли в основу двух основных литературных тропов — метафоры и метонимии.) Благодаря цвету и форме (наряду с колесом, кольцом, клубочком, золотым яичком — и золотом вообще) яблоко прежде всего — символ солнца. Так что блюдечко, где оно так славно катается, тоже не лыком шито — это, соответственно, весь небосвод. Поэтому, кстати, и воруют яблоки именно жар-птицы — еще один типично солнечный символ.

Абсолютно во всех мифологических системах солнце выступало основным подателем жизни. Отсюда вытекало представление о «солнечном царстве» как о месте вечной молодости и неиссякаемой сокровищнице бесконечных жизненных благ. С этими мотивами как раз и связан образ сада, где висят яблоки вечной молодости (в русской традиции — молодильные яблочки). Таков сад нимф Гесперид, хранительниц чудесных яблок, по представлениям древних греков расположенный на крайнем западе. Характерно, что Гесперид — дочери Ночи, и имена двух из них — Эглы («сияние») и Эрифии («красная») — вне всяких сомнений, качественно связаны с солнцем.

Кельты тоже размещали свой Аваллон, «острова блаженных», на далеких мифических «Западных островах». В Аваллоне не двигалось время, царили изобилие и молодость. Там росли дарующее бессмертие чудесные яблоки. Сам топоним «Аваллон» восходит к валлийскому корню «афал» — все то же яблоко. По преданию, в Аваллон был перенесен своей сестрой-колдуньей Фата-Морганой смертельно раненный в битве король Артур, там он и обрел бессмертие. Характерно, что знаменитый Круглый стол, за которым собирались рыцари артуровского цикла, ученые соотносят с кромлехом (центрическим сооружением из каменных глыб). Самый известный из кромлехов — это Стоунхедж. Культовый характер постройки не подлежит сомнению, равно как и значение для ритуала: расположение составляющих камней ориентировано строго в соответствии с солнечным циклом.

Золотыми яблоками молодости владела Идунн («обновляющая») — богиня скандинавского пантеона. Существует сюжет о похищении Идунн и ее магических яблок оппозиционным к правящей династии богов великаном Тьяцци (к слову, повелителя бурь и ледяных ветров — что наводит на мысль об универсальном мотиве смены зимы и лета). Для богов потеря оказалась роковой: они с ужасом заметили, что начинают стареть. Спасти положение вызвался бог огня Локи, который, воспользовавшись соколиным оперением, выкрал Идунн с ее корзинкой из-под носа великана. Нелишне заметить, что окончательно избавиться от погони ему помог гигантский костер, который поджидавшие беглецов боги развели на стене Асгарда (города, где все они обитали). Огонь не тронул своего повелителя, а Тьяцци пришлось отступить несолоно хлебавши.

Римляне знали отдельную богиню «древесных плодов» — Помону (само имя указывает на теснейшую связь в первую очередь с яблоками). Помона отвечала за плодородие. Культ уходит корнями в глубокую древность. За Помоной была закреплена священная роща, в ее честь устраивали праздник — помональ.

Уже упоминавшаяся роль яблока в сюжетах, основанных на вкушении его в качестве испытания, — связана в первую очередь с ритуалом инициации.

Заметим, к слову, что эпизод швейцарской легенды о Вильгельме Телле, метком стрелке, который вынужден был сбить стрелой яблоко с головы сына — так, чтобы ребенок не пострадал, — есть не что иное, как позднейшая обработка инициационного мифа. Когда-то через такой ритуал проходили все мальчики — и один Бог знает, целили ли в наливные яблочки на их головенках столь же удачливые стрелки...

Возвращаясь к материалу русского фольклора, стоит отметить, что общемировой сюжет «дети в лесу» всегда связан этой темой и отражает реально существовавшие этапы обряда: похищение таинственной и очень опасной силой, часто персонифицированной в животных и птицах либо в виде ветра, вихря и т. п., или отправление в лес злой мачехой (как правило, за несуществующие провинности); посещение избушки, где обитает Баба-яга, Медведь, леший; угроза смерти — как правило, в печи — и последующее спасение, часто с обретением новых позитивных качеств. Яблоня русской сказки, укрывающая бегущих детей, — это типичный инициационный шалаш, который зафиксирован решительно для всех культур, где практиковался этот обряд (а он, в свою очередь, свойствен всем цивилизациям на определенном этапе развития).

То, что для усыпления инициируемых (понимаемого как настоящая смерть) в ареале распространения яблони использовался именно ее плод, вероятнее всего, связано все с теми же «солнечными свойствами» яблока. Для первобытного мышления процесс поедания (принцип смежности) всегда связан с уподоблением поедаемому. (Сюда, кстати, восходит и каннибализм — как частный случай ритуальной причащающей трапезы, и употребление блинов — еще один из символов солнца — на масленицу...) Разумеется, это были не просто «кислые яблочки» — их пропитывали одурманивающим составом, который погружал испытуемого в прострацию — пробуждаясь, он думал, что умер, а теперь — благодаря магическим действиям знахарей и жрецов — родился заново. В фольклоре, утратившем первичный мифологический смысл, царевна, съевшая отравленное яблоко, пробуждается благодаря поцелую жениха. Этот мотив снова возвращает нас к теме смены зимы и лета: характерно, что во время «мертвого сна» царевна лежит в хрустальном гробу. Хрусталь, стекло, алмазы, серебро — это по принципу подобия (лед) всегда символы зимы.

Закованная в лед царевна — это и солнце, и вся погруженная в сон природа. Она бессмертна. Яблоко вечной молодости и жизни — ее собственность и постоянный ее атрибут.

...Интересно, а сами-то политики когда-нибудь задумывались обо всем этом?

**Роман ДОБРОХОТОВ**

# ВНИЗ ПО ВЕРТИКАЛИ

## Вниз по вертикали.

*М.: Колибри, 2005*

Вот уже, казалось бы, вот-вот-вот-вот... нет, не она.
*Михаил Жванецкий — про демократию в России.*

С каждым годом все меньше пространства остается для независимых СМИ, все усиливается информационный голод. Адекватная и независимая аналитика уже давно исчезла с телеэкранов, а те несколько газет и радиостанций, которые еще позволяют себе что-то «невертикальное», не могут полностью справиться с «недосказанной» федеральными каналами информацией. Поэтому и возникает потребность в таких книгах, как изданный фондом «Либеральная миссия» сборник «Вниз по вертикали» — собрание наиболее острых либеральных статей периода первого президентского срока Владимира Путина.

«Вниз по вертикали» — это попытка объемно представить те политические метаморфозы, которые произошли в стране с приходом Путина к власти. Это своего рода концентрат целебного яда, призванного излечивать рецидивы старых идеологических болезней. Статьи выстроены в хронологическом порядке, что позволяет прочувствовать изменения в их динамике и одновременно создает иллюзию целостности сборника. В реальной жизни человек, сталкиваясь с той или иной реформой, уже успевает позабыть результаты предыдущей, а потому не всегда улавливает общий вектор развития страны. Прочитав эту книгу, даже самый неискушенный в политике человек поймет, что политические изменения последних лет укладываются в определенную логику, причем логику вполне доступную для понимания.

Картина происходящего приобретает в книге объемный вид благодаря тому, что авторы включенных в нее статей — люди самых разных призваний. В книге представлены журналисты (Отто Лацис, Андрей Колесников, Наталья Геворкян, Валерий Панюшкин, Юлия Латынина, Владимир Познер), социологи (Юрий Левада, Игорь Клямкин), политологи (Дмитрий Орешкин, Лилия Шевцова, Марина Литвинович), экономисты (Евгений Ясин, Дмитрий Бутрин), политики (Григорий Явлинский, Владимир Рыжков), культурологи (Даниил Дондурей, Андрей Зорин), а также сатирик Виктор Шендерович и многие другие авторы.

**Роман ДОБРОХОТОВ** — родился в 1983 г. в Москве. Окончил политологический факультет МГИМО, получил степень магистра по специальности «Политэкономия». Председатель центрального совета движения «Мы». Живет в Москве.

Для тех, кто довольно внимательно следил за политическим процессом в течение последних лет, эта книга будет интересна не столько своим фактическим содержанием, сколько тем, как восприятие и язык авторов меняется со временем. И вот здесь-то как раз кроется самое удивительное.

Для многих россиян и читателей этой книги феномен Владимира Путина раскрывался постепенно: сначала он и его политика были совершенной загадкой (что уже само по себе давало повод надеяться на лучшее), затем в его стиле правления стали намечаться некоторые авторитарные тенденции, которые многие искренне считали лишь проявлением решительности и политической воли, а уже после этого стало приходить понимание истинной природы происходящих изменений, причем у многих понимание это еще не наступило и не наступит никогда. Удивительно, но, когда читаешь эту книгу, создается впечатление, что ее многочисленным авторам все было ясно *с самого начала.* Уже в статьях 2000 года основным лейтмотивом стала угроза возвращения в Советский Союз, признаки которого каждый из авторов находил в тех или иных своих наблюдениях — будь то реабилитация советского гимна или отношение Путина к журналистам. Даже интонации авторов со временем мало изменились, разве что нет в ранних статьях еще той обреченности, которая появилась ближе ко второму президентскому сроку, когда стало ясно, что все это не случайно и надолго.

Прочитав эту книгу и лишний раз осознав, как далеко за последние годы Россия сползла вниз по вертикали, читателю остается только задаться вопросом — как же так, без особенного сопротивления и даже под бурные аплодисменты страна лишилась всех тех завоеваний, за которые в 1991 году выходили бороться на улицы сотни тысяч людей? С чего бы это какому-то незаметному спецфункционеру, волею судеб оказавшемуся во главе страны, так быстро и эффективно удалось взять под контроль все ветви власти, расправиться с журналистами и заручиться поддержкой широких масс населения, уже совершенно отвыкших как будто бы доверять власти?

В самой книге ответа на этот вопрос нет, да и не может быть, ведь лаконичный публицистический жанр не поощряет рассуждений на такие широкие, почти философские темы. И все-таки, ознакомившись со статьями сборника, читатель волей-неволей начинает понимать, что стоит за всем этим медленным сползанием обратно в канаву советского строя. Дело, конечно, не столько в личности Владимира Путина и не столько в свойствах правящей элиты; есть более общие, объективные закономерности, изменить которые значительно сложнее, чем сменить Путина и партию власти.

Когда-то россияне ненавидели «совок». Относительно недавно десятки и сотни тысяч людей в Москве заполняли площади и строили баррикады из подручного металлолома для того, чтобы «совок» не вернулся. Большинство из этих людей еще живы и здоровы. Куда же все они подевались?

Россияне сами по себе не очень изменились, зато сильно и не один раз успела измениться политическая среда. Попытка построить на останках советского режима демократию и рынок очень плохо удалась реформаторам, и демократическая эйфория быстро сменилась разочарованием: в массовом сознании, склонном к упрощениям, демократия стала ассоциироваться с экономическими кризисами, криминалом и неуверенностью в завтрашнем дне.

Россияне тосковали по стабильности, а стабильность до сих пор ассоциируется в массах с жесткой рукой. И тогда россияне придумали Путина. Именно простые россияне, которые если и бывали в Кремле, то разве что на экскурсии в Оружейной палате или на новогодней елке. Ельцинской семье оставалось только угадать желания этих людей, обычных людей, и слепить из их ожиданий Голем. Взяли человека с подходящим именем, подходящей биографией, придумали ему тезисы, на всякий случай попросили эти тезисы самостоятельно не озвучивать — и пустили в открытое плавание. Угодить народу, особенно тогда, было очень просто — надо было всего лишь не умирать на глазах, как Ельцин (делавший в интервью десятисекундные паузы между словами) и не обещать, как Зюганов, возвращение коммунизма.

Голем ожил и начал исполнять желания народа, а как известно — нет для людей хуже наказания, чем дать им то, что они просят.

Хотели прищучить олигархов? Получайте ЮКОС и рекордный отток капитала из страны.

Хотели слышать о победе над чеченскими сепаратистами? Получайте вторую войну и разгон НТВ.

Устали от коррумпированных губернаторов? Получайте отмену выборов.

Возвращение авторитарного режима — это результат глубинных, тектонических процессов в российском обществе, и Владимир Путин не руководит этими процессами, а лишь иллюстрирует их. Так называемый *демократический откат* неизбежно возникает после периода либеральных реформ. Но насколько долго может продолжаться этот откат и не вернет ли он нас к диктатуре?

Всего год назад путинский стиль правления казался умеренно жестким. Явный дефицит демократии, казалось, можно исправить направленным давлением на власть, нужно лишь объединить усилия. Со временем стало ясно, что бороться придется за выживание демократии, как таковой, хотя бы в минимальном ее проявлении. С момента издания книги «Вниз по вертикали» ситуация успела значительно ухудшиться и, подводя промежуточный итог сегодня, можно сказать, что:

— в парламенте более не представлены демократические партии;

— зарегистрировать новую оппозиционную партию теперь невозможно (Касьянова, например, даже не пустили на съезд ДПР). При этом в нелиберальных, но оппозиционных партиях («Партия пенсионеров», «Родина»), как только они набрали популярность, сменено руководство;

— практически во всех регионах России парламенты подконтрольны «Единой России»;

— президент теперь представляет кандидатуру губернатора и вправе снять его с должности;

— все федеральные телеканалы находятся под контролем государственной цензуры, независимое вещание сохраняет только Ren-TV, но теперь положение и этого канала хрупкое;

— количество независимых федеральных и региональных СМИ в России значительно сократилось;

— положение НКО сильно ухудшилось. Принят закон, ужесточающий контроль над НКО, многие НКО оказались под прессингом властей. Счета самой крупной независимой НКО «Открытая Россия» арестованы;

— значительно увеличилось число провластных политических движений, проводящих уличные акции. Многие из них открыто применяют насилие;

— доля военного бюджета страны постоянно растет (превышая расходы на науку, здравоохранение и образование, вместе взятые), множество отсрочек отменяется, происходит постепенная милитаризация страны;

— в ходе дела ЮКОСа обнаружилось, что судебная власть в России полностью подчинена исполнительной. В ходе этого же дела выяснилось, что страна окончательно потеряла доверие российского бизнеса — бегство капитала превысило 10 млрд долларов в год;

— государство освоило практику национализации компаний. Газпром, Рособоронэкспорт и другие государственные компании подавляют свободную конкуренцию на рынке;

— отношения с демократическими странами окончательно испортились. Через государственные телеканалы усиливается антизападная пропаганда, а Владимир Путин, критикуя США и Совет Европы, выражает поддержку всем мировым изгоям: Северной Корее, Туркмении, Узбекистану, Беларуси, Ирану и партии ХАМАС.

Все эти факты полностью вписываются в концепцию книги «Вниз по вертикали», а ведь большинство из них обнаружились уже после окончания первого президентского срока. Видимо, к 2008 году можно будет издать второй том этой книги, и будет он существенно толще. Или тоньше — ведь писать об этом, вероятно, будет уже некому и негде.

Некому писать — это не только в смысле увеличения дефицита либеральных СМИ. Некому писать и в том смысле, что *не к кому*. До тех пор, пока высокие цены на нефть еще работают на российскую экономику (т.е. еще минимум год-два — не потому, что цены упадут, а потому что дивидендов с них уже будет меньше, чем вреда), россияне в массе своей будут готовы позволять гипнотизировать себя сладкими песнями о росте экономики, возрождении имперского статуса и добром царе-батюшке, который то с доярками встретится, то Европе пригрозит, то злым боярам строго что-нибудь правильное прикажет. Пенсионерки, московские яппи, владельцы заводов и государственные чиновники — все дружно вступают в «Единую Россию», потому что очень уж боятся новой эпохи перемен: плохие у них ассоциации сложились с подобного рода эпохами.

Как это ни ужасно, но даже и в случае нового финансового кризиса совсем не обязательно усилятся позиции демократов. Да, диктатура опирается сегодня на доходы от нефти, но это не значит, что экономический кризис избавит нас от диктатуры. В середине 1990-х годов в КНДР более миллиона человек погибли от голода, но никаких подвижек в сторону демократии так и не произошло.

Так что же тогда делать? Статьи сборника «Вниз по вертикали» хорошо иллюстрируют тенденции политического развития и современное состояние России, но практически ничего не предлагают в качестве выхода из тупика. Подтекст всех статей — «от этой власти нам ждать нечего». Подразумевается, что надо ждать, пока путинская элита не уступит место новой. Но власть репродуцирует себя, и пока общество не потребует от элиты

отчитываться за свои действия, изменений не произойдет. А вот как заставить элиту отвечать за свои решения — остается нераскрытой темой.

Между тем тут никакого секрета нет. Российское общество, либералов не слышащее (и не особенно по этому поводу переживающее), постепенно самостоятельно учится демократическим технологиям, которые цивилизованным странам известны уже как минимум триста лет. Волнения после монетизации льгот так напугали российскую власть, что она разработала целую стратегию на будущее: теперь власти научились перехватывать инициативу. Как только в каком-то регионе начинается серьезный протест, они идут на символические уступки, при этом преподнося их как собственную инициативу. Так было сделано, например, в случае с делом Щербинского, обвиненного в гибели губернатора Евдокимова, когда «Единая Россия» была подключена к протестам против несправедливого приговора перед самой его отменой. Аналогичную тактику использует и лично Путин, что проявилось во время одной из самых показательных гражданских акций протеста — акции в защиту Байкала. Сначала все телеканалы пытались убедить россиян, что от трубы у Байкала не будет никакого вреда, а все, кто считают иначе, — наймиты мировой закулисы. Иркутск ответил на это 10-тысячными демонстрациями, мэр вынужден был встать на сторону митингующих, и в конце концов лично Путин маркером на карте показал, куда трубу надо передвинуть, и «в белом венчике из» роз стал главным защитником природы в глазах аудитории Первого канала. Но уступка от этого не перестала быть уступкой.

Автомобилисты, защищая Щербинского, защищали себя. Иркутчане, защищавшие Байкал, защищали себя. Демократия, как таковая, — это возможность защищать себя. И постепенно люди начинают осваивать это политическое самбо. Для этого они не нуждаются в объединенном лидере или даже какой-то специальной идеологии. Достаточно лишь желания. Совсем недавно в центре Москвы агрессивные жильцы поколотили и выгнали одну девушку, которая пыталась съесть хот-дог в якобы частном дворике (частным его решили объявить жители). Через несколько дней в этот дворик пришло более сотни человек с хот-догами и кока-колой. Агрессивные жильцы попытались было что-то сделать, но были высмеяны и вынуждены были под улюлюканье скрыться с глаз долой. Вряд ли они теперь решатся кого-то выгонять и тем более колотить. Они обнаружили, что люди умеют защищать себя.

Практика последних лет наглядно демонстрирует, что, когда россияне чего-то действительно хотят, они этого добиваются. Значит, дело все-таки совсем не в диктатуре, не в ФСБ и не в Глебе Павловском. Игла, в которой хранится жизнь российской диктатуры, спрятана не в стенах Кремля, а внутри каждого из наших сограждан. И давно бы этой иглы уже не было, но в наследство от Советского Союза вместе с долгами нам передалось неверие в возможность что-то изменить своими силами. Не хочет русский человек слезать с печи и идти чего-то там где-то менять, особенно если на печи пока еще тепло, а за окном дождь и полная неопределенность. Сложно сказать, может ли повлиять на такого человека книга «Вниз по вертикали», но будет, наверное, лучше, если россиян подвигнут действовать правильно подобранные слова, а не новый системный кризис.

# КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ*

/Январь – март 2006 г./

**14.01.2006**

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович.

Начало года ознаменовалось огромной победой российской внешней политики — мы устроили козью морду братской Украине! То есть мы хотели устроить козью морду Украине, но, как в бильярде, не рассчитали отскока и довели до предынфарктного состояния матушку-Европу, что, впрочем, тоже можно считать неплохим результатом... Они там, в Европе, думают, что все измеряется деньгами, а хрен! Наша внешняя политика смотрит с утра пораньше не в столбцы биржевых новостей, а с какой ноги всталось батюшке-царю да какой именно петушок кукарекнул ему в ухо. Ну и арифметика от всего этого происходит соответствующая... Пять лет назад мы подписали с Украиной договор о том, чтобы они газок не воровали, а платили, как люди, — меньше, чем Европа, но как люди! Получалось на круг — около 130 долларов за тысячу кубометров. Но ближе к тамошним выборам, когда Путин с Кучмой между собой решили, что президентом Украины будет Янукович, «Газпром» с барского плеча оставил цену 50 долларов! Добрые люди называли это тогда братской помощью, а злые — подкупом избирателей. Когда же вместо классово близкого рецидивиста в матери городов русских укрепились оранжевые, Путин вспомнил про тот подарочек и, чисто по Зощенко, сказал Ющенке: «Ложи взад». Ющенко, разумеется, не понял, о чем речь, и честно сообщил, что в таком разе Украина вынуждена будет газок воровать, чай не впервой. Тут бы России пойти в международный суд (благо, договорчик на руках), но это не наш путь! Золотой петушок в полной ярости клюнул главу Российской Федерации в источник светлого

* О новом формате «Комментария» Виктора Шендеровича см. в предисловии к выпуску в № 118.

**Виктор ШЕНДЕРОВИЧ** — родился в 1958 г. в Москве. Окончил Институт культуры и аспирантуру Щукинского театрального училища по специальности «педагог по сценическому движению». Работал на ТВ (программы «Куклы», «Итого», «Бесплатный сыр»). Сейчас на радио «Свобода» регулярно выходит его передача «Все свободны», а на «Эхе Москвы» — «Плавленый сырок». Автор книг «Семечки», «Московский пейзаж», «Антология сатиры и юмора», «"Здесь было НТВ" и другие истории», «Шендевры» и др. Живет в Москве.

разума, и ближе к Новому году «Газпром» просто подзавинтил крантик европейского газопровода. Раззудись, плечо, размахнись, рука!

***«Тридцать пять лет сотрудничества и деловой репутации России с западными странами в деле поставок газа полностью уничтожены в течение нескольких часов», — пишет американская Washington post, комментируя действия России во время газового конфликта с Украиной.***

Ну, полностью не полностью... в общем, газ-то, конечно, потом пошел, но осадок остался. И в этом остатке — блеск и торжество государства Российского! Вентиль, разумеется, пришлось повернуть в обратную сторону, с миром так не шутят; газ Украине мы продаем теперь по цене, в полтора раза ниже прописанной в договоре — минус сотни миллионов долларов убытка, плюс своими руками еще разок оттолкнули Киев от Москвы, плюс репутация европейской котельной (единственное, в сущности, чем мы им интересны) пошла действительно на некоторые буквы родимого алфавита. А в остальном... прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!

Теперь одна поучительная история с большой государственной моралью. С недавних пор обнаружилось, что сотовая связь в Москве работает нерегулярно, а лучше сказать — не повсеместно. А именно — глохнет сигнал, причем глохнет отчего-то как раз в кварталах вокруг Бутырки и Матросской Тишины. Оказалось: тюремное начальство типа ГУИНа установило в тюрьмах «глушилки» для радиосигналов. Чтобы, значит, заключенные не могли пользоваться мобильниками. Но там-то заключенные, а снаружи-то, снаружи! Но на эти робкие вскрики россиян гражданам быстро напомнили, кто в доме хозяин.

***«Мы все делаем на законных основаниях, обеспечиваем общественную и государственную безопасность, — заявил в ответ на критику в прессе анонимный представитель управления исполнения наказаний. — А государственная безопасность важнее коммерческой выгоды и удобства потребителей».***

Что ж: ради такого признания, можно посидеть и без мобильной связи... Итак: наше частное желание поговорить по телефону входит в противоречие с интересами государственной безопасности! А государственная безопасность — это о-го-го! Правда, если немножко помахать перед лицом руками и развеять этот государственно-значимый дым, то станет хорошо видно, что госбезопасность здесь ни при чем. Просто охранники передают заключенным мобилы. Одни за деньги передают, другие бесплатно изымают, а потом, уже за другие деньги, передают другим заключенным. Называется это — коррупция, а никакая не госбезопасность, и в странах попроще просто прищучили бы охранников — и все дела! Но в России со времен царя Гороха лучшее средство от перхоти — это гильотина. Поэтому анонимные держиморды из ГУИНа ставят в тюрьмах «глушилки», попутно давят сигнал в кварталах вокруг, а потом делают гражданам замечания за недостаточное понимание государственных интересов.

Теперь несколько слов о положении дел с законностью. В этом плане (в отличие от газовых поставок и сотовой связи) с репутацией в отчетный период ничего не случилось: какая репутация была, такая осталась. Ну, еще на пяток процентов повысился индекс произвола правоохранительных органов, определяемый на основе социологических опросов. В 2005-м лично по-

страдать от милицейского произвола боялись уже 84% россиян. Шестеро из семи, стало быть, боятся встречи с ментом, а седьмой как раз и есть сам мент. В свете этой статистики день работников прокуратуры, которых Владимир Владимирович поздравил за три дня до самого праздника, стал для граждан России лишним поводом напиться — в данном случае, желательно вусмерть. Потому что живому человеку это торжество законности не вынести.

***По сообщению газеты «Новые Известия», спустя несколько дней после закрытия уголовного дела в отношении сына министра обороны Иванова, сбившего насмерть на пешеходном переходе пожилую женщину, сотрудники правоохранительных органов завели новое уголовное дело — об избиении Иванова-младшего зятем погибшей.***

Да! Если наши правоохранительные органы встанут на защиту прав какого-нибудь человека — то уж защитят так защитят! Главное — оказаться именно таким удачливым человеком: ну, например, сыном министра обороны. Тогда жизнь ваша будет складываться превосходнейшим образом. Свидетель того, как вы ехали на красный свет, куда-то исчезнет безо всякого следа, бригада «скорой помощи» тоже исчезнет и будет молчать в тряпочку, красный свет окажется зеленым, скорость посмертно упадет до пятидесяти восьми километров в час, а погибшая семидесятилетняя женщина, как выяснится, просто-таки сама внезапно бросилась под колеса. А потом окажется, что вы, сбивший насмерть женщину на пешеходном переходе, — на самом деле потерпевший... Не хотите провести такой эксперимент на ближайшем перекрестке, уважаемые радиослушатели? Милости просим. Только — мой вам совет — сначала окажитесь сыном министра обороны! Или кем-нибудь еще из этой нашей элиты без тормозов... Потому что если вы не из элиты, то вам и давить никого не нужно — тогда у вас есть шанс сесть в тюрьму за то, что кого-то задавили угнанным у вас автомобилем (такой случай уже зафиксирован на наших необъятных юридических просторах). И если такое случится, то все эти прокуроры умрут, но вынут невиновного из-за колючей проволоки, по лицам понятно — спать не будут, пока не восстановят справедливость! Вы лица эти, ну вот хоть Устинова с Колесниковым, представляете? Во-во. С профессиональным праздником вас, дорогие работники прокуратуры, государево око наше окосевшее!

С такой специфической офтальмологией, какую выдает на-гора это наше государево око и родственное ей по кремлевской линии правосудие, нет ничего удивительного в том, что россияне в поисках закона в массовом порядке забредают в Страсбург...

***Все больше граждан России обращаются в международный суд в Страсбурге. По сведениям СМИ, из России сюда идет лавина жалоб, которая нарастает с каждым днем. В настоящее время в суде находится 9000 исков, причем каждую неделю поступает примерно по 300 новых.***

Вот же, ей-богу, вредители! Сказано же было русским языком: государственные интересы важнее личных! Ну посадили тебя на пару лет до суда в переполненную камеру с туберкулезом и вшами, ну разорили и отфутболивают десятый год, ну, наконец, просто закусили тобой, потому что сунулся в политику против главы племени, по ошибке решив, что здесь не Африка и это сойдет с рук... Зачем же порочить Россию перед проклятым

Западом? Не по-товарищески это. Да и непрактично: двуглавый орел предателя заклевывает, иногда и насмерть, вот хоть как чеченку Зуру Битиеву, дошедшую до Страсбурга после пыток в фильтрационном лагере Черноозово. Расстреляли ее вполне практическим образом, вместе с родственниками и малолетними детьми — чтобы, значит, некому больше было ходить в Страсбург... Разгрузили европейский суд. Впрочем, больше половины жалоб собственно до суда все равно не доходят: тамошние юристы требуют, чтобы «были исчерпаны все возможности национальной юстиции»... То есть они там, в своем Эльзасе, полагают, что где-то в России есть такое отдельное от этого орла правосудие и человек должен непременно пройти по всему периметру...

Что же до Чечни, то в Страсбурге этом лежат в настоящий момент около двухсот исков по поводу пыток, похищений людей, внесудебных арестов и казней. Видимо, истцы просто сговорились опорочить Родину, потому что, по официальным данным, Чечня — если еще не Баден-Баден, то что-то вроде швейцарского кантона... А вскоре умоет и Швейцарию.

***Исполняющий обязанности премьер-министра Чечни Рамзан Кадыров заявил в минувший вторник: «И сегодня Чечня является наиболее безопасным регионом Российской Федерации, а через два года она станет самой спокойной и благополучной точкой мира».***

Ну что: засекаем время?..

И последнее. Накануне Нового года Всероссийский центр изучения общественного мнения попробовал выяснить, какие события 2005-го более всего запомнились россиянам. И выяснилось, что на серьезные политические изменения в стране наш народ-богоносец попросту не обратил внимания.

***По данным ВЦИОМ, только 10% опрошенных обратили внимание на президентские национальные проекты. Переход к выборам по партийным спискам заметили всего 4% россиян — втрое больше отметили в качестве события развод Пугачевой и Киркорова. Как сказал в интервью газете «Новые Известия» руководитель отдела социально-политического анализа ВЦИОМ Леонтий Бызов, «население смотрит на политику, скорее, как на развлечение».***

Счастья вам.

**21.01.2006**

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович.

На отчетной неделе всех опять «сделал» наш умница-президент.

То есть «сделал»-то он всех по-тихому еще на прошлой, а на этой: открывают россияне «Российскую газету», глядь, а там — текст «Закона о неправительственных и некоммерческих организациях». Того самого, призванного попрочнее приковать прометеев-правозащитников к скале неподалеку от двуглавого орла. Журналисты давай звонить в Кремль, в пресс-службу: не подписывал же вроде президент этот закон! А в пресс-службе той честнейшие люди работают, их туда по большому конкурсу отбирают... Так вот, они честно так и говорят: мы не в курсе, подписывал президент

этот закон — не подписывал... Ну действительно — откуда им знать? Кремль такой большой... И пресс-служба Кремля так ничего и не узнала, пока им с радиостанции «Эхо Москвы» не позвонили. В удивительной мы стране живем, правда?

Ну а раз закон уже опубликован, он сразу и вступил в силу. В Ингушетии. Там, в Ингушетии этой, только этот один закон, по-моему, в силу и вступил, насчет всего остального там уже много лет живут «по понятиям» или просто — от беспредела до беспредела. Но надо же с чего-то начинать исполнение законов!

***В Ингушетии по иску прокуратуры запрещена деятельность двух представительств зарубежных организаций, которые оказывали помощь Чечне и чеченским беженцам — английской «Центр миротворчества и общественного развития» и немецкой «HELP». Иск прокуратуры о запрещении американского «Международного медицинского корпуса» в настоящее время находится в стадии рассмотрения, сообщает «Интерфакс».***

Как я рад за Ингушетию! Наконец-то там начнется нормальная жизнь. Потому что от западных гуманитарных неправительственных — одни хлопоты и неприятности нашим негуманитарным правительственным и прокуратура, конечно, должна стоять на страже! А насчет чеченских беженцев позаботятся правительства — одно федеральное и два местных. Фрадков, я знаю, очень обеспокоен положением беженцев, у него на лице написано. Зязиков-президент, Алханов, тоже президент — ночей не спят хрен знает какой год, все ворочаются под одеялом: как там беженцы? Теперь, когда мы вышвырнем из России этих умалишенных иностранцев, которые за собственные фунты, марки и доллары вмешивались в наши внутренние дела и привозили людям в чисто поле одежду, одеяла и лекарства, ничто не помешает Зязикову-президенту и Алханову, тоже президенту, обеспечить беженцам достойную жизнь!

За иностранцев, слава богу, вообще взялись по-нашему, всей пятерней за лицо. А то что это, правда: хотят — въезжают, хотят — выезжают... Думают, если Советской власти нету, так и некому сделать на пограничном контроле «вселенскую шмазь»? Как бы не так.

***Новая редакция двух законов — «О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ» будет принята в ближайшее время. По данным газеты «Версия», около 100 поправок, разработанных группой под руководством члена партии «Единая Россия» Плигина и уже принятых в первом чтении, существенно ограничивают возможности въезда в Россию.***

Там, в проекте закона, замечательные имеются идеи. Например, возможность отказа в визе, если иностранец совершил «недружественные действия», которые нанесли «урон международному престижу страны». Тут вспоминается анекдот про человека, который пришел ко врачу: «Доктор, что со мной? Куда ни ткну пальцем, мне очень больно». Тот отвечает: «Голубчик, да у вас палец сломан!» Это я к тому, что если иностранный журналист просто начнет рассказывать, чего он тут у нас увидел, то через минуту нанесет тяжелый урон международному престижу страны! А уж насчет упомянутых в проекте закона «исторически сложившихся в России общественных ценностей», о

которых иностранцу не велено пренебрежительно высказываться, — тут вообще святых выноси! При Иване Васильевиче, Петре Алексеевиче и прочих иосифах виссарионовичах у нас исторически сложилась такая, например, общественная ценность, как право главы государства под народное «ура» пустить такую кровянку, чтобы реки потемнели, — и так крепко сложилась эта ценность, что до сих пор не пройдет. Так что если не хочешь, сукин сын иностранец, чтобы тебе аннулировали в пять минут визу, давай уже начинай отзываться об этой нашей ценности уважительно! Отличная вещь будет новый закон. Всех повышвыриваем отсюда — так поднимем престиж, слов нет!.. Жалко, даже Болгарии в соцлагере не осталось, не с кем поделиться гордостью.

Одна из несомненных общественных ценностей в России — со времен, когда здесь пороли губерниями, — запрет на собрания, «противные общественному порядку и спокойствию» (это я цитирую по газете «Новые Известия» документ 1904 года). Уже через год, в 1905-м, этот высочайший запрет помог государю-императору очень сильно... ну вы помните. Но прыжки на грабли — наш национальный вид спорта; на колу мочало, начинай сначала! Московский мэр Лужков еще в конце прошлого года подписал бумажку, которой обязал всех желающих о чем-либо в белокаменной митинговать — согласовывать это дело с ним лично. Демократы, конечно, тут же закричали, что эта бумажка ни в какие конституционные ворота не лезет, что Лужков опять превысил и нарушил, но что-то мне подсказывает, что — ничаво, сойдет... Чай, в текущий исторический период Конституция наша — не царица, а что-то вроде девки на содержании, и с хозяйской половины к ней можно заходить без стука... Привычное для России соревнование двух столиц дало себя знать и тут. Вослед за Третьим Римом в ту же тухлую воду с разбегу сиганула и Северная Венеция.

***По информации «Новых Известий», в Петербурге подписан и в ближайшие дни начнет действовать новый порядок проведения массовых мероприятий, уличных шествий, демонстраций и митингов. По новому закону практически не осталось мест, где можно было бы устраивать подобные акции, пишет газета.***

Ну и не осталось... А и не надо никаких акций! Губернатор Матвиенко Валентина Ивановна, слава богу, жива-здорова, что надо сделать народу, сделает ему сама. Она еще двадцать лет назад, будучи зампредом исполкома Ленсовета, заботилась о земляках симметричным образом, показывала козью морду от имени Коммунистической партии Советского Союза, запрещала митинги и собрания. За двадцать лет та козья морда сменилась этой «медвежьей», это и есть прогресс на наших лесных просторах...

Ежели народ запихнуть обратно на кухни, транспаранты им поломать, желательно вместе с руками, а советских зампредов исполкома в компании с гэбухой привинтить к руководящим креслам навечно, в России наступит наконец настоящая демократия! Потому что ныне правящая партия — безо всякой шестой статьи Конституции — способна объявить себя и ядром, и руководящей силой, и Наполеоном Бонапартом...

Теперь несколько слов о борьбе с преступностью, особенно политической. Тут наш краснознаменный паровоз набрал такую хорошую скорость, что никак не может затормозить...

***Один из защитников экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт утверждает, что жалоба на этапирование Михаила Ходорковского в колонию Читинской области исчезла. Адвокат направил жалобу 10 января срочной почтой в Замоскворецкий суд Москвы, но спустя неделю ни в канцелярии суда, ни в экспедиции ее не оказалось, сообщает РИА «Новости».***

Удивительный все-таки был день десятого января! Пресс-служба президента, вы помните, никакого закона, подписанного президентом, в «Российскую газету» в тот день не отправляла, а он взял и дошел! А адвокат Шмидт жалобу на произвол ГУИНа в этот день, наоборот, отправлял, и не просто так, а спецпочтой, и квитанция имеется, а в Замоскворецком суде — шаром покати... Мне кажется, это связанные между собой явления, вы не находите? Какая-то магнитная аномалия, наверное, случилась в тот вторник. И я боюсь, что эта аномалия — на все дни недели... Что же до сути вопроса, — тут как раз ничего удивительного нет. Конечно, по закону и Ходорковский, и Лебедев должны были отбывать наказание в Московской области, но после прокурора Шохина и судьи Колесниковой — говорить о законе даже как-то неловко...

Кстати! Что касается Колесниковой и особенно прокурора Шохина. Поскольку этот синий человек после всего содеянного им на процессе Ходорковского не сел сам в ту же самую клетку по месту работы, а взял на грудь «Знак Почета» от президента Российской Федерации, мы, разумеется, были вправе ожидать от устиновских бойцов новых подвигов во славу текущего гаранта. И они оправдали наши ожидания!

***Нижегородскому журналисту, главному редактору газеты «Правозащита» Станиславу Дмитриевскому грозит четыре года колонии. Как пишет интернет-издание «Газета.Ru», такого наказания потребовала прокуратура. Дмитриевского обвиняют в том, что в феврале позапрошлого года он опубликовал обращения Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева к Европарламенту и российскому народу. Прокуратура квалифицировала это как разжигание межнациональной розни.***

Следователь Генеральной прокуратуры, ведший это дело, — человек исключительно ясных понятий! Он усмотрел разжигание межнациональной розни в упоминании о сталинской депортации чеченцев, а также в определении нынешней чеченской войны как (цитирую Масхадова) «преступном безумии кремлевского кровавого режима». Еще раз, медленно: преступное — безумие — кремлевского — кровавого — режима. Пять слов. В котором из них говорится что-нибудь ущемляющее русский народ, я, признаться, не нашел. Тут одно из двух: либо у меня плохо со зрением, либо у прокуратуры плохо с мозгами, потому что для издателей Гитлера четырех лет колонии они не просили никогда.

Счастья вам.

**29.01.2006**

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну, я вам доложу, неделька! И на невидимом фронте успех за успехом, и внутри законопослушание подвинтили дополнительно... Ну, обо всем по порядку.

Когда советник президента Андрей Илларионов сначала перестал давать ему советы, а в конце декабря просто ушел от президента восвояси, я сразу затревожился. Вот как чувствовал — какую-нибудь бяку выкинет Андрей Николаевич Владимиру Владимировичу за то, что не слушал советов. Недоволен он, видите ли... А твое какое дело? Ты знай советуй — и пятого и двадцатого в кассу ходи, а уж под обои он твои советы клеит или в сортир с ними ходит — его царское дело! А Илларионов этот, Андрей Николаевич, и раньше отдельный голос из-под державы подавал, а потом, во время дела Ходорковского, из-под державы вылез и начал в открытую расшатывать скипетр: мол, это полный позор и Венесуэла, а не член большой восьмерки. А под Новый год просто сказал царю-батюшке последнее прости и вышел вон, громко хлопнув Спасскими воротами. И вот в минувший понедельник опубликовал Илларионов в газете «КоммерсантЪ» текст под названием «Другая страна». Текстик, прямо сказать, возмутительный и тянет на «антисоветскую агитацию», от трех до восьми лет. Мол, говорит, никакое у нас не демократическое государство, а государство у нас теперь — корпоративное, и точка поворота уже пройдена, и власть принадлежит не народу, а этой самой корпорации, а как называется корпорация, сами догадайтесь с трех раз. В общем, другая страна! Опять Венесуэлой обзывался и чуть ли не козью «ностру» поминал... Ну, за Венесуэлу он еще ответит — там, конечно, тоже у власти любимый народом полковник, тоже все на нефти держится и изо всех сил противостоит западной бездуховности, — но как можно сравнивать полковника-десантника с полковником-особистом, это же совсем другая корпорация! А раз Илларионов сам из корпорации не по понятиям вышел, пускай теперь пеняет на себя.

Теперь новости с невидимого фронта. Вы догадались, о чем я. Ну да, конечно: о нем, о камне-тайнике, на который пописал какой-то человек, названный англичанином, а потом другой человек, названный другим англичанином, унес этот камень из пописанных кустов в неизвестном направлении. Почему этого второго англичанина не взяли с поличным, хотя следили и за ним, и за камнем-тайником, и все это время снимали оперативной съемкой... — я понятия не имею, чекисты не объяснили. А вот зачем весь этот ТАСС упал на нас, намоченный заявить, в лучшее время на главном госканале, страна поняла сразу, чай не впервой.

Ну, разумеется! Должны же мы осознать наконец, как мудро поступил Владимир Владимирович, взяв под контроль финансирование всяких там правозащитников! Ведь молодой минералог из английского посольства, тот самый, который под оперативную съемку ФСБ подобрал с земли камень с тайником и ушел, почему-то не взятый с поличным, — он же, оказывается, подписывал документы на финансирование Хельсинкской группы! Вот ради чего весь этот кинематограф! Собственно, я никогда не сомневался, что Людмила Михайловна Алексеева — английский шпион, просто я, в отличие от чекистов, не торопился выскакивать на люди с голой задницей, а копил доказательства, следил за Алексеевой самостоятельно как истинный патриот на заседаниях «Комитета-2008»... Так вот, она шпионка, точно вам говорю! Жаль, нет оперативной съемки ее блокнотика, но я-то своими глазами видел: она во время заседаний, пока выступления слушает, все время там ка-

кие-то квадратики рисует! Не иначе, схемы тайников. В общем, с успехом вас, бойцы невидимого фронта, — и тебя с успехом, Аркаша Мамонтов, бывший журналист, ныне видный сотрудник пиар-службы ФСБ... Только чур не останавливаться на достигнутом! Неопороченных правозащитников в России еще много, независимые газеты еще выходят кое-где, а уж булыжников вдоль дорог навалено, слава богу, хватит на всех. Пилите, Шура, пилите!

М-да... Камень-тайник, английские шпионы, гнилые интеллигенты, продавшиеся западным спецслужбам. У меня такое ощущение, что это кино мы уже видели... Я бы даже сказал: десятилетия напролет только его и смотрели. Потом нас ненадолго выпустили из пыльного кинозала, дали вдохнуть свежий воздух... И вот, кажется, объявили следующий сеанс... Не найдется ли у вас лишнего билетика, граждане? В какой-нибудь другой зал, где показывают что-нибудь эдакое... от чего уже не тошнит?

Теперь несколько слов об особенностях здешней атмосферы. В смысле прохождения радиосигнала. Знаете, иногда говоришь-говоришь по мобильному, и вдруг — раз! и ничего не слышно. Сеть ушла. Две недели назад Интерфакс сообщил о случае дедовщины, выдающемся даже по нашим уродским меркам: старослужащие батальона обеспечения учебного процесса Челябинского высшего военного командного училища пытали и насиловали солдат первого года службы (надо полагать, в процессе обеспечения учебного процесса). В результате гангрены, возникшей от пыток, врачи были вынуждены ампутировать одному солдату-срочнику обе ноги и половые органы. Напоминаю: об этом сообщил две недели назад — Интерфакс! А пару дней журналисты попросили, наконец, министра обороны Иванова сказать: чё он об этом обо всем думает?

***Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новости», министр обороны Иванов заявил, что «последние несколько дней находился далеко от российской территории, высоко в горах, и о том, что произошло в Челябинске, не слышал». «Я думаю, что ничего очень серьезного там нет, — добавил Иванов. — Иначе я бы об этом обязательно узнал».***

Остается пожелать министру Иванову, чтобы с ним и его близкими тоже не случилось ничего серьезного — в крайнем случае, что-нибудь легкое в этом же роде... Но каковы особенности атмосферы, господа? То верхним чутьем учуиваем связь Хельсинкской группы со шпионским булыжником, а то — две недели никак не можем связаться с собственным министром обороны, находящимся высоко в горах. Знаете, что я вам скажу? Если мы срочно не поможем им наладить связь и не спустим на землю с горних высей, — лучше давайте заранее ампутируем нашим детям головы. Это легче, чем «учебный процесс» с изнасилованием под руководством глуховатого министра Иванова и его главнокомандующего абонента, давно ушедшего от всех нас в зону недоступности.

Найти этого высочайшего абонента, оказывается, пытались и отдельные смельчаки из парламентской комиссии, расследующей обстоятельства трагедии в Беслане.

***«К сожалению, за все шестнадцать месяцев вопросами ответственности президента за Беслан комиссия не занималась, — заявил в интервью «Новой газете» член комиссии, депутат от КПРФ Юрий Иванов. — Пу-***

***тин фигурировал в списке вызываемых целый год, но вдруг оттуда исчез». Конец цитаты. На вопрос корреспондента газеты, принимала ли комиссия решение о том, чтобы Путин выпал из списка вызываемых, депутат ответил: «Нет. И не обсуждала, просто его фамилия исчезла из списка».***

Понимаете, чего бывает в начале третьего тысячелетия? Есть независимая парламентская комиссия по делу о гибели трехсот с лишним человек; в списке вызываемых свидетелей имеется фамилия президента страны, к которому в связи с этой массовой гибелью есть вопросы и, как сказано у Булгакова, «данные очень нехорошие». Я бы даже сказал, что это свидетель вполне ключевой — и надеюсь, что однажды, дай ему бог здоровья лучше, чем у Пиночета, г-н Путин показания по этому делу даст обязательно... И фамилия в списке найдется, и самого доставят. А пока что — поживем еще в этом мистическом государстве, где фамилии свидетелей сами исчезают из списков парламентской комиссии. А с другой стороны, можно понять и комиссию: детей много, а президент один. Беречь надо президента...

***В минувший вторник Михаил Ходорковский был помещен на пять суток в штрафной изолятор. Основанием для наложения этого взыскания явилось наличие у Ходорковского документов, которые, по мнению администрации, осужденным запрещено иметь при себе. В ходе проведенного обыска сотрудники колонии обнаружили и изъяли у Ходорковского два приказа Министерства юстиции РФ и утвержденные ими инструкции, касающиеся прав осужденных, содержащихся в исправительных колониях. Как сообщает пресс-центр Ходорковского, изъятые приказы Минюста официально поступили ему по почте и были вручены под роспись сотрудником колонии незадолго до проведения обыска.***

Нет, не прав бывший советник Илларионов: это не Венесуэла! В Венесуэле так не умеют. Вручить заключенному под роспись бумажку, тут же провести обыск и дать ему за эту бумажку пять суток изолятора! Какая изящная работа, а? — особенно если принять во внимание, что бумажка была как раз про права заключенного. А вы говорите: Уго Чавес... Нет, десантнику против особиста — слабо! Только учиться, учиться и учиться.

Счастья вам.

**4.02.2006**

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Неделька выдалась богатая, и многое в очередной раз прояснилось. В очередной раз — потому что у нас уже шестой год каждую неделю проясняется более или менее одно и то же... Ну, обо всем по порядку.

Начнем с главного: с происков врагов. Что это теперь будет главное и надолго, не сомневайтесь! И то сказать: внутренней политики давно уж нет в живых, уже и забыли, как это бывает; об экономике и говорить неловко — какая может быть экономика при семидесяти долларах за баррель? Сиди, как в Аравийской пустыне, да качай из дырки себе в карман, пока цена не упала или Ходорковский на свободу не вышел и все обратно не отобрал. Про удвоение ВВП как-то уже никто не вспоминает, эту игрушку власть потеребунькала-потеребунькала и потихоньку отложила: надоело, что все пальцем показывают и в лицо смеются... В общем, остались

только происки врагов! Этот крик у нас в горле наготове всегда: в какой век ни ткни, оно тут. И внешняя политика наша — сплошное письмо от вертикали власти князю Курбскому... Вплоть до мата. Но давеча Запад действительно напросился сам!

***Все коммунистические режимы без исключения характеризовались массовыми нарушениями прав человека, — говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, принятой в конце января. Парламентская ассамблея проголосовала за документ, несмотря на активное сопротивление российской делегации. СМИ отмечают, что против резолюции выступали не только коммунисты, но и представители нынешней партии власти, посчитавшие действия ПАСЕ выпадом в адрес России как правопреемницы Советского Союза. Политолог Вячеслав Никонов в эфире ОРТ назвал Парламентскую ассамблею «маргинальной организацией».***

Парламентской ассамблее Совета Европы, в сущности, еще повезло. Дедушка политолога Никонова, Вячеслав Михайлович Молотов, нашел бы для этой буржуазной заразы слова и попроще. Они бы вообще к стульям приклеились. Но вот, однако, какая история, не описанная у Шарля Перро! Серый тоталитарный волк, которому лет пятнадцать назад отбила почки группа охотников, все осознал и раскаялся, давно лежит в постели в виде бабушки и проповедует вегетарианство, любит пирожки, признает права человека, недавно вошел в большую восьмерку и уже почистил зубы, чтобы в нем председательствовать... Но когда при нем нехорошо отзываются о людоедстве и вспоминают какую-то Красную Шапочку, страшно расстраивается, говорит, что это «контрпродуктивно» и предупреждает, что упоминания о съеденной Шапочке будут рассматриваться им как выпад против него как бабушки-правопреемницы... А на осторожный вопрос Европы: бабушка, зачем тебе такие большие зубы? — отвечает: дай отлежаться, сама поймешь.

Теперь о том, что внутри. Внутри у нас праздник, причем уже традиционный: в минувший вторник в Кремле состоялась очередная пресс-конференция президента России. Обсуждение шло по самому широкому кругу тем, от блондинок до автопрома, но и от столбовой тематики было никуда не деться.

Отвечая на вопрос о связи иностранных спецслужб с неправительственными организациями России, президент Путин отметил, что такие объединения «не должны руководиться кукловодами из-за границы».

«Кукловоды из-за границы»... Мама, роди меня обратно! Кукрыниксы начали рисовать это семьдесят пять лет назад; пятьдесят лет назад они замучились это рисовать, а тридцать лет назад я замучился на это смотреть — на всех этих карикатурных «правозащитников» (о, в кавычках, разумеется!), ниточки от которых тянутся наверх, к костлявым рукам дяди Сэма... И вот опять заело старую пластинку. Но если репертуар нравится публике, отчего ж не поездить иглой по извилинам еще полвека?

Да! «Кукловоды из-за границы»... Иностранное финансирование... Тянут, тянут щупальца к России, не дают жить спокойно! «Мемориал» на западные гранты раскапывает истории про массовые убийства в Чечне, ставит государство на «бабки» в Страсбурге; Хельсинкская группа, вся как есть, на содержании у английской разведки, защищает шпионов типа Никитина

и Пасько; шпионские солдатские матери рассекречивают методику воспитания личного состава в воинских частях... не дают, черт возьми, челябинским «дедам» проводить нормальную работу с салагами! Это все на вражеские деньги делается! А на свои деньги мы сами, затянув поясок на последнюю дырочку, содержим легионы этих генералов, особистов и тружеников «эскадронов смерти», и нам обидно, что враги мешают нам мочить своих чеченцев, калечить своих призывников и сажать своих ученых, и мы должны наконец прекратить вмешательство в наши дела! Правильно я понял вашу мысль, Владимир Владимирович?

Что же касается бывшего солдата Сычева, то теперь, когда благодаря вражеским усилиям, предпринятым на зарубежные деньги, эта казарменная история вышла наружу, высочайшая рука вынула батистовый платочек и дала отмашку на кампанию милосердия. Теперь пареньку, если он не умрет, дадут квартиру, теперь его посетят члены Общественной палаты, теперь депутаты парламента выразят возмущение случившимся и даже на полчасика, перед обедом, поднимут вопрос о защите прав военнослужащих... И сам главнокомандующий соорудит на лице озабоченность, и министр Иванов, временно спустившийся из поднебесья, заговорит другими словами. Хотя лучше бы говорил он теми же.

***Отвечая на вопрос, как он воспринял трагедию с рядовым срочной службы Андреем Сычевым в Челябинском танковом училище, Сергей Иванов заявил: «Я воспринял ее так, как любой отец, как любой нормальный человек».***

Все-таки интересно: какой лукавый тянет за язык нашего министра обороны? Вот насчет того, что он воспринял трагедию Сычева, как отец... Не напоминал бы уж, право... Больно не стыкуется его отцовская забота о рядовом Сычеве с рядом мероприятий, предпринятых в отношении защиты собственного сына, когда тот задавил женщину на пешеходном переходе. Там через пять минут все на уши встали — и стояли на ушах до тех пор, пока виноватой не оказалась погибшая... Другой сын Иванова, обнаруживший в 24 года способности, достаточные для руководства «Газпромбанком», тоже, кажется, отцовской заботой не обделен. Так может, махнуться не глядя? Солдатика бывшего — в «Газпромбанк», а Ивановы-дети, раз уж с ногами, — может, пойдут, послужат? Но желательно инкогнито и новобранцами. Чтобы проблема «дедовщины» встревожила наконец Иванова-папу по-настоящему... Но это я расфантазировался. А в реальности все, конечно, будет как всегда: кампанейщина пройдет, Ивановы останутся на своих местах, а главнокомандующий еще разочек выскажет обеспокоенность ситуацией, и загнется у него эта обеспокоенность в привычную сторону...

***Путин: «Я хотел бы обратить внимание на то, что Российская армия — это часть нашего общества. Мы все ответственны за то состояние общества, в котором она находится. Это касается и средств массовой информации, это касается и воспитательной работы, это касается и волны насилия на экранах наших телевизоров».***

Ну да, ну да... «Мы» ответственны, «мы» виноваты... Как «бабки» ходорковские делить, — они справляются довольно узким кругом, а как нести за что-нибудь ответственность — сразу вспоминают, что плоть от плоти народа! После Беслана выяснилось, что это мы — мы все опять-таки — позволили

коррумпировать правоохранительные органы... Не Путин-гарант, не Патрушев-генерал, не чекисты, в открытую делившие нефтяное «бабло» с полевыми чеченскими командирами, — а мы, все! А уж СМИ ответственны первым номером, за всё пожизненно! Это они (вы помните) поставили под угрозу жизнь заложников в «Норд-Осте»! И уж как Путин защищает население от журналистов — чтоб он нас так от Басаева защищал! После «Норд-Оста» НТВ добил, после Беслана Рафа Шакирова из «Известий» уволил... Теперь, за пытки с изнасилованиями в челябинских казармах, мы призовем к ответу, я думаю, Френсиса Копполу! Апокалипсис, понимаешь, одних крестных отцов три штуки, кровь ручьями... Нечего приучать наших граждан к чему ни попадя! А Иванову орден дать — за отеческую заботу второй степени.

На отчетной этой президентской пресс-конференции, 31 января, вообще прозвучало довольно много традиционных текстов. Случались и текстуальные совпадения...

***Путин: «Я думаю, что вполне можно говорить об окончании контртеррористической операции при понимании того, что правоохранительные органы Чечни практически берут на себя основную ответственность за состояние правоохранительной сферы».***

По-французски это называется — дежа вю, а по-русски — «крыша в пути»... Потому что об окончании контртеррористической операции в Чечне Владимир Владимирович Путин, как сейчас помню, объявил счастливому российскому народу в феврале 2000 года, шесть лет и десять тысяч трупов назад, перед первым своим президентством. Ну, стало быть, период оборота по этой ленте Мебиуса мы выяснили: еще через шесть лет и десять тысяч трупов снова закончим контртеррористическую операцию и все опять будет хорошо. А каким образом все это время будут поддерживать состояние правоохранительной сферы Рамзан Кадыров и его нукеры, рекомендую даже не фантазировать, а то сон пропадет окончательно...

Но вернемся к обзору жизни, совершенному в минувший вторник президентом России на пресс-конференции в Кремле. Разобравшись с «дедовщиной», Чечней и мировым закулисьем, Владимир Владимирович приступил к иностранным делам.

***Выступая на пресс-конференции, президент Путин обратил внимание на негативные высказывания грузинского руководства в связи с недавней аварией на газопроводе. Курс нынешнего руководства Грузии Владимир Путин квалифицировал как «плевки в сторону России».***

Должен сказать, в отношениях с Грузией у нас вообще наладилась такая геополитика, что не знаешь, кем полюбоваться сначала: Путиным или его коллегой Саакашвили... По части взаимных плевков оба геополитика стараются очень давно, а уж после взрыва газопровода начали трудиться просто на изнеможение, наработали на стадо верблюдов! Оба в чужой слюне и в своем рейтинге. Под это пиршество взаимного пиара Басаев не первый год ходит у нас по Кабарде и у них по Панкиси, как у себя дома, и взрывает что, где и когда захочет. Волку среди верблюдов жить — одно удовольствие!

Когда мы гнобим врагов — это красота! Но уж когда начинаем поддерживать друзей, это вообще сказка...

***Свободные выборы всегда возможны, в том числе в Белоруссии, в марте этого года, заявил, выступая на пресс-конференции в Кремле, президент России Владимир Путин.***

Тут, кажется, логическая шарада. Ибо сказанное может означать две совершенно противоположные вещи. Вариант первый: свободные выборы всегда возможны, в том числе в Белоруссии, — то есть у любого народа, в том числе у белорусского на выборах в марте этого года, есть шанс сковырнуть тирана, засидевшегося на троне поперек всяких приличий и законов. Вариант второй: выборы, которые проведет в марте по своим правилам батька, будут считаться свободными, и Россия их (в отличие от всего мира) признает. Вы уж сами решите, что именно имел в виду Владимир Владимирович... А мы пока послушаем, какие идеи имеются у нашей внешней политики на ближневосточном направлении.

***Президент Путин заявил, что победа ХАМАС на выборах в Палестине стала сильным ударом по американской дипломатии на Ближнем Востоке. МИД России никогда не признавал ХАМАС в качестве террористической организации, заявил Путин. Впрочем, «это не значит, что мы одобряем и поддерживаем все, что делает ХАМАС».***

«Это не значит, что мы одобряем все, что делает ХАМАС». То есть, стало быть, что-то не одобряем, а что-то одобряем... Что, например, одобряем, — Путин не сказал, а было бы очень любопытно! Потому что, по моим впечатлениям, ХАМАС — это не Леонардо да Винчи, там особой палитры дарований не наблюдается... Десятилетия напролет, при первой возможности, убивают евреев, а больше никакой осмысленной деятельности в тамошней автономии вообще не замечено. Ну, еще пилят промеж собой миллиарды гуманитарной помощи, продолжают святое дело Арафата, потому что аллах, конечно, акбар, но миллиард в год, тем более зеленых, в цвет ислама... — это повод отвлечься даже от убийства евреев. Может быть, Путин намерен поддерживать ХАМАС в чем-то из этого? Но в обоих случаях, уверяю вас, справятся без России. Так что имел в виду, Путин и его МИД, не признающие ХАМАС в качестве террористической организации? Не знаю. Загадочная русская душа с традиционными советскими глубинами: поддержка людоедов и нескрываемая радость по поводу любого поражения американской дипломатии...

Теперь заглянем в зал одного суда, где в минувший четверг восторжествовала очередная, вполне привычная законность.

К четырем годам лишения свободы приговорен Олег Щербинский, признанный виновным в ДТП, приведшем к гибели алтайского губернатора Евдокимова летом прошлого года. В ходе расследования отдел Генпрокуратуры РФ в Сибирском округе установил, что Щербинский не уступил дорогу машине алтайского губернатора, которая была оснащена проблесковым маячком и в связи с этим имела приоритет на дороге.

О подробностях этого ДТП несколько раз подробно писала «Новая газета». Шестисотый «мерседес» губернатора вылетел на старенькую «тойоту» электрика-железнодорожника Щербинского со скоростью двести километров в час — за шесть секунд до столкновения. У губернаторского шофера была бездна времени, чтобы снизить скорость если не до положенной, но хотя бы до вменяемой — или просто объехать «тойоту» справа (там

было десять метров чистой полосы). Но машине с мигалкой западло ездить по положенной полосе; VIP-шофер решил не изменять VIP-привычкам и, не снижая скорости, вышел на встречную полосу, где, задев крыло разворачивавшейся «тойоты», и начал свой последний тормозной путь. Теперь у чудом оставшегося в живых электрика есть четыре года, чтобы осознать свою вину за то, что в тот день он вообще выехал на трассу Бийск-Барнаул...

Счастья вам.

**11.02.2006**

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Неделя выдалась богатая, много всякого и разного напроисходило на международной арене, но и Россия не отстала, подключилась, после чего по привычке догнала и в некотором смысле перегнала... Ну, обо всем по порядку.

Просто удивительно, правда, какие бывают попадания у классиков! Главную цитату этой недели мне подсказал один мой шибко образованный коллега и приятель... Вспомнил он блестящую идею Остапа Бендера, пришедшую в светлую голову турецкоподданного во время его совместного путешествия на верблюдах с товарищем Корейко...

***Из «Золотого теленка»: «И знаете что я сделаю? Объявлю священную войну, джихад, Дании! Повод найдется! Представляете картину? Въезд диких племен в Копенгаген, а впереди я, на белом верблюде. Тра-та-та-та-та!»***

Да... Повод хотя не сразу, но — нашелся! На отчетной неделе продолжал раскручиваться сюжет с карикатурами на пророка Мухаммеда. Тут вообще со всех сторон сплошное пиршество ума. Сначала группа датских художников решила проверить, что будет, если бензинчиком плеснуть в огонь — и нарисовала сто портретов пророка. Через пять месяцев, когда, после протестов и извинений, костерок удалось притушить, уже норвежская — и заметим, христианская — газета перепечатала эти карикатуры. Типа из принципа. А вслед за ней и английская, — ну, чтобы быть совершенно спокойными относительно того, что мусульманский мир это заметит. Ну он и заметил. И среагировал совершенно адекватно — то есть адекватно своему развитию... И сотни тысяч гомо сапиенсов со смещенным центром тяжести в голове пошли громить посольства и призывать к джихаду. Наконец, крупнейшая иранская газета объявила конкурс карикатур на тему Холокоста. Ну эти ребята точно знают: все, что существует в мире за пределами ислама, включая норвежскую христианскую газету, — это евреи! В общем, здравствуй, ума палата, привет тебе, двадцать первый век, и дай тебе бог такими темпами дожить до двадцать второго... Но это все, так сказать, обзор матушки-Земли... Но и наша родная Российская Федерация, конечно, не осталась в стороне от этого праздника интеллекта!

***Исполняющий обязанности главы правительства Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в Чечню больше не будут допускаться датские организации. «Все, что оттуда исходит, мы запретили, и они не будут присутствовать в нашей республике», — заявил Кадыров. В минувший понедельник правительство Чечни издало указ о запрещении деятельности Датского совета по беженцам.***

Датский совет по беженцам — страшная организация. Они уже девятый год возят в Чечню «гуманитарку» и помогают со строительством жилья. Мы, блин, из последних сил все там разносим в клочья, а они, гады, лечат и лечат, и кормят, и восстанавливают... Только в прошлом году помогли в Чечне двумстам пятидесяти тысячам человек! То есть это примерно столько же, сколько мы угробили за десять лет. Это ли не издевательство над нашей государственностью?! Притом ведут себя цинично, нарушают местные обычаи, чиновникам не «откатывают», взяток не дают, «гуманитарку» свою распределяют бесплатно среди населения сами — нет бы отдать военным, там у нас такие специалисты тыловой службы простаивают, я вам передать не могу!.. Короче, давно пора было перекрыть датчанам границы! Правда, по закону решение об этом имел права принять только суд, но так это по закону... чего вспомнили, три ха-ха. В общем, безо всякого суда, утром во вторник, партию датской гуманитарной помощи просто не пустили в Гудермесский район, и все дела: Кадыров не велел! Федеральные и партийные руководители этого крупного чиновника и «единоросса», люди образованные, немедленно сделали Кадырову глубокомысленное замечание.

***Председатель Госдумы Борис Грызлов посоветовал исполняющему обязанности премьера Чечни Рамзану Кадырову быть более сдержанным в своих заявлениях, передает «Интерфакс». «Я думаю, такие заявления надо сначала провести через орган власти», — сказал Грызлов журналистам. Правомочность действий господина Кадырова поставил под сомнение и представитель правительства РФ в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах Михаил Барщевский.***

Знаете, есть такой классический анекдот. Бежит волк по лесу, видит: заяц. Заяц, говорит, ты у меня на завтрак, — я записываю! Бежит дальше, смотрит: олень. Олень, говорит, ты у меня на обед. Я записываю! Бежит дальше — ворона на суку сидит. Ворона, говорит, ты у меня на ужин. Я записываю. Ворона говорит: пошел ты на х..., собака серая! Волк говорит: понял, вычеркиваю. Это я насчет замечаний, исходящих от партии и правительства в адрес Рамзана Кадырова. Знаете что? — давайте не валять дурака. Подсадили этого чувачка в тренировочных штанах в Грозный на федеральных штыках, власть ему дали — теперь уж он как-нибудь разберется без Грызлова и юридической консультации представителя правительства. И не только насчет запрета датской «гуманитарки».

***Интернет-ресурс «Ежедневный журнал» опубликовал статью, в которой рассказывается о возвращении в Чечню практики шариата. Созданная Рамзаном Кадыровым «служба безопасности» не в последнюю очередь комплектовалась из вчерашних ваххабитов, пишет «Ежедневный журнал», и система подчинения в ней сложилась, не имеющая отношения к чеченской традиции: пытки, «повязывание кровью», с последующими избиениями «для профилактики».***

Не пугайтесь раньше времени. Ваххабитские порядки в системе МВД субъекта Российской Федерации, — только начало процесса. Рамзан наведет порядок и среди гражданского населения! Месяц назад, выступая по телеканалу «Вайнах», этот крупный федеральный чиновник заметил между прочим, что нескромно молодым девушкам ходить с сотовыми телефонами.

И бойцы в камуфляже начали отбирать «мобилы» у студенток Нефтяного института. Во исполнение пожеланий Рамзана о «женской скромности» появилась «полиция нравов», тоже в камуфляже — ходят по кафе, проверяют, на каком таком основании обнимаются парочки... Ну а про отрезанные головы личных противников Рамзана Ахмадовича мы уже рассказывали... В общем, что и говорить, вернули мы Чечню в правовое поле Российской Федерации.

Теперь перейдем к заботе о военнослужащих. Она огромна. Просто не знаешь, как благодарить.

***По сообщению ИТАР-ТАСС, в минувший вторник на аэродроме Чкаловский под Москвой прошла образцово-показательная встреча солдата Андрея Сычева, искалеченного в Челябинском танковом училище. У спецсамолета Ту-134 носилки с солдатом встречало практически все военно-медицинское руководство страны, в том числе начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России, его заместители, Главный хирург Вооруженных сил, представители Генштаба Вооруженных сил и госпиталя им. Бурденко.***

Вот какая честь солдатику... Спецсамолет, пропасть генералов у трапа... Езда с эскортом... Не удалось засунуть дело Сычева в мешок и под воду, разболтали врачи, пронюхали подлые газетчики, ахнула страна — теперь Генштаб поедет всем кагалом к черту на рога встречать искалеченного солдата! У нас если не убийство, то показуха, середины-то нет. Тем временем по всей стране продолжаются, разумеется, «дембельские» развлечения и прочие армейские радости, кончающиеся ампутациями, сумасшествием и суицидом — за время, прошедшее со случая с Сычевым, дня не было, чтобы мы чего-нибудь такое не узнавали... Но к каждому калеке всем Генштабом не поедешь — да и президент отмашку давал только на заботу о Сычеве, других фамилий произнесено не было... Поэтому сейчас какая задача? Чтобы вся страна вместо того, чтобы пинками погнать министра обороны и начать по мере сил трясти его главнокомандующего, пока в той голове, вместо звукосочетания «Байкалфинансгрупп», не появится что-нибудь человеческое... — так вот, говорю: главное, чтобы страна сейчас прослезилась от небывалой заботы армейского начальства о рядовом Сычеве, и умилилась, и все простила! А потом кампания пройдет, про Сычева быстро забудут — и сколько он потом проживет, и как, и скольких еще ребят угробят за это время на просторах нашей необъятной и плохо освещенной Родины, — это уж Генштаба не касается.

По качественному составу с руководством Российской армии во Вселенной может сравниться только руководство ФСБ. На минувшей неделе высокое качество это получило высокую оценку из высочайшего источника.

***Президент России Владимир Путин принял участие в заседании коллегии ФСБ и поблагодарил чекистов «за результаты работы в прошедшем году». В качестве примера хорошей работы службы глава государства, в частности, назвал операцию в Нальчике.***

Операция в Нальчике как пример успеха ФСБ — показательная штука! Дает представление о точке отсчета. То есть на фоне результатов, достигнутых ФСБ совместно с боевиками во время «Норд-Оста», Назрани и Бесла-

на — история восстания в Нальчике, разумеется, безусловный успех. Всего три десятка погибших и сотня раненых — притом что о готовящемся восстании ФСБ было известно заранее, а основу восставших составляли не столько профессиональные боевики, сколько спровоцированные и доведенные до отчаяния местные ваххабиты, которых перед этим месяцы напролет безнаказанно пытали и унижали, причем пытали в присутствии министра МВД республики Шагенова, выстригали кресты на головах, выжигали бороды... В общем, что и говорить, — огромный успех.

Но неблагодарное население все еще шарахается по привычке от людей со щитами и мечами! И на Лубянке решили, как всегда, что-нибудь подправить в консерватории...

***В минувший вторник ФСБ России объявила конкурс на лучшее произведение о своей деятельности. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, в ходе конкурса будут отобраны лучшие произведения, в которых, в частности, «на высоком художественном уровне создан положительный образ сотрудника органов безопасности» и «наиболее объективно отражена деятельность органов безопасности».***

Поскольку победителям этого конкурса ФСБ России обещает ценные призы, а я это дело страсть как люблю, я очень желал бы принять участие в конкурсе! Вот только не знаю, в какую бы оглоблю запрячь мою послушную Музу? Вы бы, господа, конкретизировали задачку! Потому что, воля ваша, что-то одно: либо «создавать положительный образ» чекиста — либо «объективно отражать деятельность органов безопасности». Жду указаний и ценных подарков.

А пока — попробуем в очередной раз скрестить ужа и ежа и, объективно отразив реальность, создать положительный образ выходца из органов, ныне президента демократической России. На отчетной неделе он летал в Испанию — страну, известную шумящим Гвадалквивиром, спящей Эстремадурой и плохой мобильной связью в мадридском музее Прадо. Именно там, в Прадо, шесть лет назад выяснилось чуть ли не в первый раз, что президент Путин вообще не в курсе. Тогда он был не в курсе насчет ареста Гусинского, и с тех пор оказывался не в курсе всякий раз, когда в стране случалось что-нибудь, требующее его немедленного вмешательства как гаранта Конституции. Так что нынешний диалог нашего президента с испанским журналистом можно считать уже в каком-то смысле традиционным...

***В ответ на вопрос испанского журналиста, является ли обычным в России, что заключенного сажают в карцер из-за того, что у него на руках есть документ, где записаны его права, или руководство колонии получило особое распоряжение именно насчет Ходорковского, — Владимир Путин ответил: «Если честно, я даже не знаю, о чем вы говорите».***

Самое прекрасное в этом ответе — даже не его содержание (его можно было предсказать), а вот это вводное: «если честно»... Впрочем, свою трогательную девственность в вопросе о Ходорковском наш президент с лихвой компенсировал знаниями в других областях. Тут, кажется, получилось действительно честно. И кажется, честнее, чем хотел сам президент.

***На вопрос, зачем была создана компания «Байкалфинансгруп», впоследствии купившая на аукционе акции «Юганскнефтегаза», Владимир Путин***

***ответил: «Чтобы претензии к тем, кто потом приобрел эту собственность, практически свелись к нулю».***

Кажется, шальной воздух свободы сыграл с профессором злую шутку... Это провал, подумал Штирлиц. Позовите костоломов Мюллера, у меня есть пара вопросов к этому штандартерфюреру. Итак: правильно ли я понял ваши слова, Владимир Владимирович? Вы только что фактически признались в том, что создание «Байкалфинансгруп» имело целью вывести из-под юридического удара реального покупателя «Юганскнефтегаза» — компанию «Роснефть», которой, по странному совпадению, руководит ваш земляк, коллега и заместитель главы вашей администрации Игорь Сечин. И, поскольку о собственниках этой подложной «Байкалфинансгрупп», в момент покупки, никто, кроме вас, никакой информации не имел, то что же это получается? Получается, что президент России был как минимум в курсе аферы, а как максимум — в доле по бабкам... То есть мы, конечно, и раньше догадывались, но зачем говорить об этом вслух, Владимир Владимирович? Мы-то тут все свои, отвернемся и сделаем вид, что не слышали, а перед Европой неловко. Получается: нами жулики какие-то руководят... Вы уж не расслабляйтесь, держитесь, недолго осталось.

Но вернемся на Родину. Заразителен не только дурной пример, но и добрый тоже: депутаты Государственной думы тоже хотят поиметь собственность. То есть они ее и сейчас имеют, но не очень легально, а хотят легально, и давно хотят! Еще в прошлой Думе «Яблоко» не допустило поправок к «Закону о статусе депутата», но теперь «Яблока» нет — и перед «единороссами» открылись буквально все пути.

***По сообщению «Независимой газеты», фракция «Единая Россия» на своем последнем заседании поручила первому вице-спикеру Слиске и вице-спикеру Чилингарову разработать поправку, отменяющую запрет на коммерческую деятельность депутатов Государственной думы. Если поправка будет принята, пишет газета, депутаты смогут возглавить по совместительству крупнейшие отечественные бизнес-структуры.***

Ну, это будет справедливо. А то: сколько можно нажимать на кнопки в нищете? Сто тыщ в месяц — это же унизительно! И потом, что же это: Кремлю можно, а им нельзя?! Если не дают разделить власть, так пускай хоть дадут разделить собственность. Правильно?

Счастья вам.

**19.02.2006**

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. У Салтыкова-Щедрина в одном романе обыватель кричал, помнится, в некотором отчаянии: «Воняет! воняет!» Потому что даже ко всему привычные ноздри прошибает в иной день очень сильно. Уж больно густовато иногда выходит у родной администрации... Пара таких деньков случилась и на отчетной неделе... Ну, обо всем по порядку.

Плюньте в глаза тому, кто скажет, что наше федеральное начальство, и Министерство обороны в частности, закоренели в грехе, не умеют признавать ошибки и не способно к эволюции... Плюньте ему в глаза еще раз, когда он скажет, что их надо просто гнать в три шеи с насиженных мест, потому что

раньше рак свистнет и ХАМАС примет иудаизм, чем министр обороны покраснеет от стыда и почувствует боль в том месте, где у обычных людей бывает совесть... Плюньте ему в глаза! — не министру, а его злоязыкому недоброжелателю. О нет! Совестливость, душевная тонкость и правдивость — вот по каким признакам вы безошибочно узнаете вице-премьера правительства России и министра ее обороны Сергея Иванова, когда вдруг встретите его на улице. А когда он откроет рот, вы поразитесь и глубине анализа.

***«Министерство обороны не снимает с себя ответственности за случай, произошедший в Челябинском танковом училище», — заявил министр обороны Иванов, выступая в Государственной думе. Там же он заявил, однако: «Сообщения СМИ о том, что рядовой Сычев подвергался коллективному издевательству и изнасилованию, не соответствуют действительности». Отвечая позднее на вопросы депутатов Госдумы, Иванов сообщил, что сейчас «информация даже о самом мелком мордобое поступает в Министерство обороны».***

Ну тут, кажется, надо по пунктам... Первое: «Министерство не снимает с себя ответственности». Это приятно, но, на мой вкус, недостаточно. Хотелось бы конкретнее — чем, например, ответил за отрезанные ноги и половые органы рядового Сычева лично министр обороны, под руководством которого расцветает этот дивный челябинский способ обучения личного состава? Поездка на лимузине с Арбатской площади на Охотный Ряд и обратно — это, конечно, суровое наказание, но я бы не стал этим ограничиваться. Впрочем, как выяснилось там же, на Охотном Ряду, особенно каяться-то Иванову и не в чем: Сычев, оказывается, «коллективному издевательству не подвергался». А ноги и половые органы у него отпали, надо полагать, сами, по общему нездоровью (кстати, это, если помните, была первая версия представителей Минобороны). И наконец: «информация даже о самом мелком мордобое поступает в Министерство обороны»... Этим, заметьте, обрадовал нас тот самый министр, который через три недели после случая в Челябинске заявил, что «ничего серьезного там не случилось, иначе ему бы сообщили». Я ж говорю: честный человек. Расставив точки над i в вопросе о Сычеве, министр обороны приступил к тому, зачем приехал.

***С. Иванов: «В отдельных печатных изданиях целые полосы отведены под материал, знакомясь с которым сразу трудно понять, о какой армии — нашей Российской, или вражеской? — в них с таким ожесточением говорится».***

А-а... Ну да. Я все думал: неужели в этот раз обойдется? Не обошлось. Нашли по-настоящему виноватых, которые подрывают и льют на мельницу врага... Но не может быть, чтобы такое мощное и свежее открытие обошлось без оргвыводов! Послушаем, что там дальше, у Иванова...

***С. Иванов: «Более того, уже появились открытые призывы к акциям неповиновения и бойкоту весенней призывной кампании. Думаю, что такие факты могли бы стать объектом пристального внимания конституционно-правовых органов на предмет соответствия их российскому законодательству в области обороны и безопасности».***

Вот! Это другое дело... А то ответственность какая-то... Сычев какой-то... Правильно, товарищ министр обороны! Просто вдарить с размаху — это любой дурак может, а вот бить и плакать не велеть — тут сразу виден

русский начальник с щедринским размахом. Мочить по тысяче солдатских жизней в год — больше чем в Афганистане, собственноручно, безо всяких душманов, — а тех, кто против, записывать во враги и сажать за подрыв обороны и безопасности страны! Вот молодец!

Слушайте, какая безопасность, какая оборона? От кого оборонял Родину рядовой Сычев, когда сидел на корточках в казарме Челябинского танкового училища с табуреткой на вытянутых руках? Кого обороняли «деды», гоготавшие рядом? Чем обеспечивают безопасность страны сотни тысяч полуголодных и замордованных рабов с гниющими руками и ногами, желающие смерти своего сержанта сильнее, чем до призыва желали женщин? Каким образом защищают Россию подколотый сержантский состав и проспиртованный офицерский? Генералы эти, по отдельности превосходящие весь генералитет НАТО размерами животов и масштабами личного строительства... Не морочьте нам голову, господин Иванов. Ни при чем тут ни обороноспособность, ни Родина! Это пушечное мясо давно протухло и может напугать блок НАТО только запахом. Вы обороняете только и исключительно себя — свое право ездить с мигалками и отрывать куски от бюджета, право ваших отпрысков с младых ногтей руководить банками и давить насмерть пешеходов... А про безопасность Родины — пожалуйста, больше не надо. Ее бы обезопасить как-нибудь от вас всех, вот бы спасибо сказала!

Но вернемся на Охотный Ряд. Помимо Иванова, чей доклад очень понравился депутатам (вице-спикер Слиска даже пожелала ему «творческого вдохновения» — представляете, что будет, когда он еще и вдохновится?)... Так вот, и помимо Иванова в нижней палате, конечно, нашлось кому поддержать заботу об обороноспособности.

***Главная военная прокуратура подготовила и направила в Минобороны законопроект о полковых священниках, которые должны войти в штат Вооруженных сил, получив воинские звания. Координировать их работу будет созданное в структуре Министерства обороны главное управление военных священников во главе с церковнослужителем, утвержденным министром обороны. Главному военному священнику по представлению министра обороны может быть присвоено генеральское звание, сообщают СМИ.***

Отличная идея, особенно с генеральскими званиями! Полагаю, что генерал-майор в этом случае будет называться просто — поп-звезда. Появление в казарме батюшки, безусловно, разнообразит палитру психических расстройств среди мусульман, буддистов и просто агностиков рядового состава... — но вот насчет обещанного снижения уровня суицида и повышения уровня законности я не поручусь. Вообще-то в армиях попроще (немецкой там, английской, американской) это дело по старинке обеспечивают военные юристы, к которым в любую минуту может прийти военнослужащий, мобильные телефоны у солдат и тотальный контроль общества за происходящим в национальной армии. Но у нас и здесь — свой путь: на место замполита от КПСС заступает, помолясь, замполит от РПЦ. «Вооруженные силы небесные» — дело будущего, а пока что они там справляются своими силами... И очень лихо.

***Родители матроса Дмитрия Николаенко, три месяца назад пропавшего с корабля «Курилы», до сих пор не могут получить от руководства Тихо-***

***океанского флота ответа на вопрос, что произошло с их сыном. Руководство флота не признает матроса погибшим. Тем временем прокуратура Владивостокского гарнизона возбудила уголовное дело против Николаенко по статье о самовольном оставлении части.***

В момент «самовольного оставления части» матрос Николаенко стоял в ночном наряде по камбузу на корабле, находившемся в Филиппинском море, в 60 милях от берега, — и я полагаю, что перед тем, как возбуждать уголовное дело о самовольном оставлении части, прокуратуре Владивостокского гарнизона следовало бы своими силами провести следственный эксперимент, а именно: отплыв всем личным составом прокуратуры на 60 миль от берега, прыгнуть в море с целью дезертирства. А уж тому, кто выплывет, идти и заводить на Николаенко уголовное дело. Но это я расфантазировался. А в реальности, конечно, насылать милицейские наряды к родителям матросика, погибшего при неизвестных и, очевидно, темных обстоятельствах, — гораздо легче и гораздо дешевле, чем попытаться расследовать эти обстоятельства, а потом выплачивать родителям погибшего денежную компенсацию. Привет прокуратуре Владивостокского гарнизона! Так держать!

Но вернемся к гражданской жизни на берегу. Она прекрасна, особенно у депутатов Государственной думы. Они нынче пребывают на пороге осуществления вековой мечты: получить легальный доступ к бизнесу. На прошлой неделе — помните? — стало известно, что «единороссы» уже начали править «Закон о статусе депутата». Общественность всколыхнулась: мол, что же это получается? Это же узаконенная коррупция получается! Но, слава богу, — никакой коррупции! Об этом на минувшей неделе авторитетно сообщила скромная руководящая дама, уже до легализации бизнеса позволявшая себе делать прическочки по три пенсии за штуку и менять их, на радость благодарным россиянам, чуть не каждые сутки.

***Первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска считает вполне оправданным принятие решения, позволяющего депутатам состоять в руководстве бизнес-структур. «Ничего плохого не будет, — заявила она, — если в предприятии с государственной долей капитала будет участие и представителя депутатов — это определенный контроль».***

Вице-спикер Слизка сказала новое слово в истории взаимоотношений власти и бизнеса. Теперь, в развитие этой терминологии, надо легализовать ментовские и чекистские «крыши», которыми второе десятилетие напролет придавлен к земле российский бизнес — Любовь Константиновна же русским языком вам сказала: это не коррупция, а «определенный контроль»! И видные сотрудники администрации президента, ненароком взявшие на себя хлопоты по руководству газом и «нефтянкой», — они тоже ни на одну минуточку не коррупционеры: просто следят, чтобы там чего не случилось! Кстати: козел, пущенный в огород, тоже в основном контролирует рост капусты. (Под словом «капуста» тут следует понимать — капусту. А под словом «козел» — какого-нибудь козла.)

Древнее искусство икебаны — составления букетов — имеет свои политические разновидности. Иногда, правда, один номенклатурный цветок удивительно подходит к другому! В то самое время, когда одни «единороссы» начали организовывать себе посреди Охотного Ряда легальный

депутатский бизнес, другие там же рассказывали третьим о борьбе с коррупцией.

***Комиссия по противодействию коррупции Госдумы представила результаты своей деятельности за минувший год. Как сообщают СМИ, отчет председателя комиссии Гришанкова длился всего пять минут и не содержал ни одного коррупционного примера, но призывал к необходимости (цитирую) «консолидации усилий всех ветвей власти и государственных институтов в проведении эффективной государственной политики по противодействию коррупции».***

Вы не помните, в каком году нам начали скармливать эту питательную словесную ботву? Ну вот, насчет «консолидации усилий всех ветвей власти... бла-бла-бла... по противодействию коррупции». Я точно не помню, но лет уж десять только этим и питаемся! Всё они там консолидируют эту борьбу. Поконсолидируют, бывало, — нефтяную компанию себе прикупят, еще поконсолидируют — офшор по самое не могу бабками забьют, отдохнут самый чуток по куршевелям — и айда опять бороться с коррупцией! Просто иногда удивляешься, сколько сил у людей...

В неиссякающей борьбе институтов российской власти с коррупцией в лидирующей группе, ноздря в ноздрю, идут суд и прокуратура. А народ с интересом наблюдает за этим соревнованием — и делает выводы, и это дает прекрасный встречный эффект!

***За прошлый год на четверть выросло количество граждан, уклоняющихся от явки в суд. Социологи считают это иллюстрацией общего отношения россиян к отечественной фемиде. По данным их исследований, россияне ставят суды и прокуратуру на третье место по уровню коррупции после милиции и ГИБДД, а треть граждан считают суды и прокуратуру главным источником коррупции в стране.***

Ну у них там, конечно, очень плотные результаты — как у конькобежцев! И кто именно главный российский коррупционер — судья, прокурор, депутат или мент, — без поллитры и фотофиниша не разобраться...

И напоследок — пара слов о правах человека в период расцвета «управляемой демократии».

***Госдума рассмотрела в первом чтении президентский законопроект «Об обращениях граждан». Законопроект предусматривает возможность представителя органа власти «прекратить переписку» при повторном обращении гражданина. СМИ отмечают также, что в случае принятия закона россиянам будет некуда жаловаться на мэров и губернаторов, а также на генпрокурора и главу Верховного суда, так как у них нет прямых начальников.***

Понимаете эту технологию? Вы пишете наверх отчаянное письмо (мол, квартиру у вас отобрали или ногу отрезали и инвалидность не признали), а вам отвечают: «В соответствии с существующими правилами оснований для удовлетворения Вашей просьбы не найдено»... (В переводе с канцелярского на русский: «пошел вон, смерд, не до тебя!») Вы тогда пишете второе отчаянное письмо: мол, как же так? почему? А вам отвечают: «В соответствии с законом от такого-то, номер такой-то, прекращаем с Вами переписку в связи с повторным обращением». И ползи в Страсбург! Ближе ко второму пришествию Российскую Федерацию, конечно, признают нару-

шительницей ваших прав, а ближе к третьему — она вам даже чего-нибудь заплатит за ущерб... Но в целом попытка гражданина добраться хоть до кого-нибудь на этой вертикали сильно напоминает старую ярмарочную забаву с сапогами, висящими на верху скользкого шеста... То есть попробовать можно, но шансов навернуться гораздо больше.

Счастья вам.

**25.02.2006**

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Неделя выдалась приятная, полупраздничная... Чего праздновали — черт его знает, ничего хорошего 23 февраля отродясь не случалось. Каким образом мордобой местного масштаба под Нарвой в восемнадцатом году, где по преимуществу били нас, превратился в первую победу Красной армии, — не спрашивайте, испортим выходные окончательно... Впрочем, мы ж не в обсерватории, нам точность ни к чему, тем более историческая... Историю нашу мы сами напишем так, чтобы потомкам стыдно не было, а что там было на самом деле, — кому интересно, пускай идет в библиотеку и сидит там молча, а народу расслабляться не мешает! Четвертого ноября тоже ничего не было, а выходной есть, и слава богу! Не все ли, в конце концов, равно, по какому случаю взять на грудь и прекратить течение реального времени в голове?

Но поскольку реальное время, сволочь такая, снаружи от головы продолжает течь и в выходные, то вот вам (в каком-то смысле вместо эпиграфа) кусочек из одной новехонькой публикации, нас прямо касающейся.

***Журнал «Форбс» опубликовал рейтинг стран и регионов, посещения которых должны избегать жители «цивилизованного мира». В качестве зоны, представляющей угрозу для иностранцев, наряду с Бурунди, Пакистаном и Новой Гвинеей, аналитики «Форбс» выделили Северную Осетию, Ингушетию, Ставропольский край, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и собственно Чечню. «В этих регионах в обстановке беззакония до сих пор продолжается открытая партизанская война», — пишет «Форбс».***

Сейчас я вам объясню, как следует правильно понимать эту информацию. Понимать ее надо так, что вообще-то Россия уже давно вошла без стука в семью цивилизованных народов, председательствует в «большой восьмерке» и некоторой своей частью, расположенной вокруг Кремля, довольно быстро движется к процветанию, но по сторонам этого оазиса процветание наблюдается пожиже и с цивилизованностью негусто, а ближе к Чечне начинается уже некоторое бурунди и, прямо сказать, гвинея — не то чтобы очень новая, зато своя. И обстановка беззакония — тоже своя, вполне привычная и местами даже комфортабельная (по крайней мере, для тех, кто это беззаконие крышует, не забывая руководить «большой восьмеркой»). В общем, все путем, а не хотите к нам ездить, скатертью дорога, никто не держит, а рейтинги свои засуньте себе в Страсбург.

***В минувшую среду Комитет Госдумы по безопасности принял во втором чтении законопроект «О противодействии терроризму». По информации СМИ, членам Комитета Госдумы по безопасности текст будущего закона был роздан перед самым началом заседания.***

Вы спросите: как это может быть, чтобы члены Комитета Государственной думы получали текст будущего закона только перед началом заседания? Если вы это вслух спросите, вы попались: вас вязать надо, вы шпиён засланный! Местные-то все давно знают: «Парламент — не место для дискуссий!» Подпись: спикер Грызлов. И голосуй, за что сказано. Удивительно другое. Корреспондент газеты «Новые Известия» утверждает: некоторые из депутатов признались ему, что такого унижения, как в случае с принятием этого документа, они доселе не испытывали. Вот тут действительно загадка: раньше их, стало быть, ничто там не унижало! Тоже, ей-богу, как не местные, а из английского парламента! Теперь по сути закона.

Благая весть, большая победа либеральных сил — из текста исчезло упоминание о праве властей под соусом борьбы с террором запрещать массовые мероприятия! Можете начинать радоваться, секунд десять.

По мнению экспертов, после того как в прошлый четверг Владимир Путин подписал указ о создании Национального антитеррористического комитета, необходимость в законодательном ограничении прав граждан в тексте «Закона о противодействии терроризму» попросту исчезла. «Того, что спецслужбы пытались добиться через закон, теперь они могут добиться по специальной линии», — отмечают эксперты.

Ну, слава богу! А то я уж волновался за наши спецслужбы — ну что их попросят наконец слезть с шеи гражданского общества и перестать разгонять прессу и запрещать митинги каждый раз, когда ФСБ в очередной раз проспит террористов... Но — не попросили. Собственно, в настоящий момент по-настоящему попросить их об этом некому: прессы осталось с гулькин нос, с депутатами все понятно и слепому, а насчет того, чтобы выйти на улицу более или менее численно — ноги атрофировались. «Аншлага» пересмотрели, центр тяжести в диване на глубине полметра, сигналы снаружи до головы доходят слабенько... Пока еда не кончится, не встать. В общем...

Теперь перейдем к законности в целом. За нею присматривает государево око, прокуратура, и остроте ее зрения, право же, позавидует Гомер...

Генпрокуратура РФ не нашла оснований для реабилитации Николая II и членов царской семьи. Там пояснили, что нет документов, согласно которым было принято решение о расстреле Николая II и его родственников, поэтому они не подпадают под закон о реабилитации и не могут быть признанными жертвами политических репрессий.

Логичные ребята работают на Большой Дмитровке! Решение Екатеринбургского ревкома было, оказывается, внесудебным! Просто, стало быть, сначала какие-то смутные господа, называвшие себя почему-то товарищами, заперли царя и его семью в Ипатьевском доме, а потом зачем-то всех расстреляли. И никакой политики! И никаких репрессий, в сущности. Так, случай на Урале.

Счастья вам.

**4.03.2006**

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Отчетная политическая неделя была с одной стороны, привычно тоскливой, но с другой стороны — вполне себе содержательной и замеча-

тельной. То есть ничего нового не произошло, зато старого навалили до краев. Ну, обо всем по порядку.

Начнем с приятного уху сравнительного анализа. Бывают такие смешные малоуправляемые страны, где политическая жизнь растет сама собой. Как огурец или бамбук — в зависимости от климата. Прет себе эта политическая жизнь снизу наверх, выражая особенности национальной почвы... Партии в этих странах появляются как выражение интересов каких-то, смешно сказать, слоев населения... Когда большинство осознает эти интересы как свои, партия приходит к власти, а потом таким же естественным образом от власти уходит... В общем, ерунда какая-то. То ли дело у нас!

***Официальный сайт «Единой России» опубликовал стенограмму выступления Владислава Суркова перед слушателями Центра партийной учебы «единороссов». Заместитель руководителя администрации президента призвал слушателей «овладевать идеологией» и поставил перед партией задачу не просто победить на ближайших парламентских выборах, а «делать все, чтобы обеспечить доминирование партии в течение минимум 10–15 предстоящих лет». Сурков привел в пример «единороссам» японскую либерально-демократическую партию, которая правила около 40 лет, и шведских социал-демократов, находившихся у власти 44 года.***

Обеспечить доминирование партии на десятилетия вперед — задача вполне посильная и уже почти решенная. С помощью Минюста, Центризбиркома, прокуратуры, налоговой полиции, суда и ОМОНа закатать под асфальт все, что шевелится снаружи от «Единой России» — и доминируй на здоровье! Правда, в результате такого партийного строительства, страна будет напоминать шведскую модель не больше, чем «жигуль»-копейка напоминает «вольво», и из японского опыта россиянам пригодится в этих обстоятельствах только харакири — и они еще подумают, кому его делать: себе или руководству... Потому что, какими бы словами ни называли свое партстроительство кремлевские партстроители, а выходит у них почему-то всякий раз только и исключительно КПСС, а эту булочку мы уже проходили... Что же до «овладевания идеологией», то я вам скажу: неплохой порядок действий! Сначала шесть лет овладевать во всех позициях страной, а потом спохватиться: ах да, кстати! как там с идеологией? Да никак. В руководящий ковчег давно набилось всякой твари по паре, и найти общую идеологию для Лужкова, Розенбаума, Слиски и Рамзана Кадырова, боюсь, невозможно (если, конечно, не считать идеологией любовь к бюджетным бабкам — единственное, что объединяет этих политических деятелей промеж собой)... Впрочем, Сурков не дурачок и все понимает сам — поэтому, потеребунькав для приличия идеологию, он быстро перешел к практической стороне вопроса.

***Выступая перед слушателями Центра партийной учебы, заместитель руководителя администрации президента рекомендовал «единороссам» создавать в регионах «постоянные группы по пропагандистскому обеспечению борьбы с политическими противниками». «В каждом регионе, — заявил Сурков, — должны быть люди, которые получают за это зарплату, которые с утра и до вечера думают о том, как насолить конкурентам, как им возразить».***

Вот! «Пропагандистское обеспечение», так бы и говорил, а то — идеология какая-то... «Насолить конкурентам» — задача по уму и сердцу! Подкормить подручную журналистику да и вывалять оппозицию в грязи, милое дело... А то и пропаганды не требуется — не в Швеции живем! Наслать «Наших» или вообще скинхедов с битами или просто, без затей, разметать оппонентов судами и ОМОНами... И руководи еще сорок лет и четыре года безо всякой идеологии, пока опять еда не закончится и страна на дыбы не встанет... Но это когда еще будет... и на какие кисельные или лазурные берега переберутся те, кто сегодня проводят инструктажи в области партстроительства, — бог его знает... В общем, все путем, и опасаться нечего. По крайней мере, им.

Продолжаем приятный уху сравнительный анализ. Как идет в смешных странах западной демократии политическая борьба? Ответ: идет постоянно, а в предвыборные времена даже очень остро! И на самом лезвии борьбы — предвыборные дебаты. И стоит в прямом эфире, положим, Шредер, а напротив него — Меркель, а немцы во все глаза смотрят, слушают и сравнивают! А рейтинги впритирку, и кто победит, неясно, и почти все зависит как раз от результатов теледебатов... Ну? И зачем нам такая нервотрепка?

***Государственная дума отклонила в первом чтении и сняла с дальнейшего рассмотрения законопроект, которым предлагалось ввести запрет на отказ политической партии от участия в теледебатах в период избирательной кампании.***

Вот, опять-таки, — другое дело... Зачем дебаты, когда и так всем известно, кто должен победить! И что бы другу Герхарду с его партией не перенять опыт заранее? Маячил бы, отец родной, круглые сутки в телевизоре в программе «Цайт» (то есть «Время») — никакой Ангелы Меркель рядом и никаких вопросов по экономике, никаких падающих рейтингов и полное единодушие в рейхстаге, а что экономика дуба дает, так это враги виноваты, а кто финансирует оппозицию, тех в концлагерь, а в телевизоре чтобы круглые сутки только счастливый фатерлянд и благодарное население, с разинутой варежкой ждущее преемника к 2008 году! Но друг Герхард свой шанс упустил, а уж мы его ошибок не повторим. Никаких дебатов: не фиг баловать оппозицию!

Поотсекав с общественного дерева, со всех сторон, лишние демократические ветки, мы получили наконец искомую вертикаль, похожую на обычный столб с двуглавым орлом наверху. Идеальное место для показательных экзекуций остатков гражданского общества. С тех пор как отмашка поступила непосредственно от гаранта, процесс экзекуции пошел без остановок... Хельсинкская группа, Центр по правам человека, приготовиться «Мемориалу»...

***Басманный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску Федеральной регистрационной службы Минюста России о ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Центр обвиняется в том, что в течение пяти лет не представлял в ФРС Минюста информацию о своей деятельности.***

Информацию о своей деятельности Центр по правам человека в Минюст, разумеется, представлял — и думали небось эти правозащитники, что

раз они все по закону делают, так им сойдет с рук защита прав человека в эпоху вертикального столба с орлом наверху. Три ха-ха! В Минюсте люди бывалые, юридически подкованные по самые колени — не утвердили решения собрания Центра. Да и как им было его утвердить, ведь грубейшее нарушение допущено! Написали в протоколе: «утвердить имярека такого-то председателем правления», а следовало написать не «утвердить», а — «избрать». Правозащитники (прямо как дети, честное слово!) говорят: хорошо, давайте перепечатаем страничку. Фигушки, отвечает Минюст, надо проводить новое собрание... Но — поскольку решения старого собрания не утверждены, вся предыдущая деятельность правозащитного Центра оказывается какой? — правильно, нелегитимной. И пожалте иск о ликвидации...

Но вернемся к борьбе за построение вертикали по образцу полного столбняка. Праведные федеральные усилия в этом направлении находят горячий отклик у местной администрации...

В газете «Курская правда» — органе областной администрации — под видом письма «ветерана труда» вышла статья, фактически обвиняющая местную оппозиционную газету «Эхо недели» в том, что ее нелояльность к местной власти объясняется контактами с иностранными фондами, финансирующими в России неправительственные организации, — в том числе тем, которым руководил сотрудник британского посольства Марк Доу, ранее обвиненный в шпионаже.

Не будем изобретать велосипед, господа! Все давно изобретено и хорошо работает. Письмо «ветерана труда» в официальной газете, продажная оппозиция, получающая деньги из иностранных фондов... Правда, никаких денег ни из каких фондов курское «Эхо недели» отродясь не получало и никакого письма про это никакой «ветеран труда», как выяснилось, не писал... Подложное письмецо оказалось! Ну так тоже ничего нового. Правда и то, что оппозиционная газета много раз пыталась привлечь внимание курян к экологической угрозе, связанной с местной металлургией... Правда и то, что скоро выборы в областной парламент, а гендиректор горно-обогатительного завода, от которого курская экология расцветает таблицей Менделеева, намерен идти на эти выборы от «Единой России»... Заметили, как все хорошо срастается? В общем, нет ничего удивительного в том, что курские журналисты оказались английскими шпионами. Это входит в чертеж нашего старого советского велосипеда!

Не стал изобретать велосипед перед грядущими выборами и батька Лукашенко. (Некоторые по недоразумению называют этого человека президентом Белоруссии, но, поскольку все конституционные президентские сроки давно прошли, следует признать, что Александр Григорьевич теперь просто «батька». Или «пахан». Ну, в общем, что-то вроде царя горы, типа Чаушеску и с аналогичными перспективами.) Так вот, насчет старого советского велосипеда. Он до поры до времени еще возит. И уж кто-кто, а батька-пахан только на нем и нарезает!

***Белорусские спецслужбы разоблачили деятельность сразу 72 радикальных оппозиционных организаций, которые действовали на территории Белоруссии. С таким сенсационным заявлением выступил в минувший четверг на Третьем всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко.***

Вы не пробовали разом разоблачить деятельность 72 радикальных организаций? Нет? Значит, вы не работали в белорусском КГБ... Но до чего ж не повезло батьке с народом, а! Неблагодарные свиньи! Ну, я понимаю, одна радикальная организация, ну две... Но — семьдесят две! Он, значит, им второе десятилетие, с пеной на усах, несет счастье, причем счастье на всю жизнь, потому что уходить не собирается, — а они валят в радикалы просто уже всем народом! Что делать? В принципе имеется два варианта, но у Лукашенко уже только один, потому что без власти жизнь его на родине будет несчастливой, а не исключено, что и недолгой. Значит, держаться до последнего, а потом — в Ливию, к полковнику Кадаффи или к другому полковнику, поближе, у нас тут какой только политической уголовщины не ошивается, так что милости просим, все свои... Пока в России гражданские к власти не пришли, безопасность гарантирую.

Но вернемся к делам российским.

***Государственная дума разработала поправки в принятый недавно Закон «Об особых экономических зонах в РФ». Депутаты из «Единой России» предложили включить в число территорий, где действует льготный налоговый режим, курорты и туристическо-рекреационные зоны. Их перечень утвержден еще в декабре прошлого года, и в него, в частности, входит большая часть Чечни. По сведениям издания «Газета», поправки в закон уже одобрены правительством.***

Офшорный режим в Чечне по случаю ее курортного статуса — это ли не сбыча самых смелых мечт кадыровского тейпа!

Счастья вам.

## ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

в русской периодике
четвертого квартала 2005 г. – первого квартала 2006 г.

Поиски русской национальной идеи породили особого рода отрасль философии — «герменевтику России». Новая наука, возникшая буквально на наших глазах, занимается проблемами понимания России, постижения ее смысла. Московский журнал «Философия хозяйства» посвятил этому благородному делу целый номер. **Н. Шулевский («Телеология бытия в России»** — «Философия хозяйства», № 1) уверяет, что необходимость понять Россию — это из всех мировых проблем наипервейшая, поскольку Россия защищает достоинство живого бытия от нечистых взглядов хищников и спекулянтов лжеименного знания. Но познание России абы кому не дается, оно доступно лишь абсолютно бескорыстной мысли и бескорыстной вере. Известно же, что умом Россию не понять, тут потребно особое гносеологическое состояние. Да Россия, собственно, и дана миру, чтобы выразить «смысловой агностицизм» (недоступность познания) самого бытия. Внешне эта агностическая непознаваемость России проявляется в том, что она постоянно существует не в истории, а где-то рядом, около. И не потому, что не умеет или не желает быть исторической, а потому, что ей в истории тесно и скучно. Что же замыслил Бог о России? Ответ на это можно найти лишь в рамках философии хозяйства, которая признает таинственную непознаваемость России творческим принципом ее жизни. А тайны нужно не раскрывать, а охранять, ибо, раскрыв тайны, мы оголяем свою сущность и становимся беззащитными перед беззаконием. К тайне России можно приблизиться лишь через врата, ведущие в мир идеального, а оно доступно тем, кто сам удостоился воздействия идеальных сил и энергий. Стало быть, необходима школа духовного преображения, а это и есть философия хозяйства, которая суть и метафизика социально-экономического строя России, и реальный проект неформального университета-империи. И только такой *Университет-Россия* может и должен выполнить волю Провидения: защищать мир (включая Запад) от разрушительных духов бездны, действующих посредством безумия, бессознательности, иррациональности.

**Г. Гачев** в статье **«Энтелехия России — как суть русской идеи»** («Философия хозяйства», № 1) утверждает, что субъектом русской истории является не русский человек, и даже не народ, но целое, то есть Держава. И эта Держава оказалась трагическим героем мировой истории. В чем суть героя трагедии? В том, что он, превосходный, в избытке сил, в самоуверенности впадает в гордыню и терпит поражение. Территориальному развитию России (горизонталь) был положен предел: Север Евразии. Но на стадии СССР трагический герой в гордыне стал преступать положенные ей пределы (идеал Мировой революции, послевоенная Восточная Европа, Куба, Афганистан) и был наказан откатом и разрухой. Теперь следует полагаться на

вертикаль: прирастание к земле. Нужно вбираться в свои берега, затвориться, закрыть щели (оборона, внутренний рынок) и рожать, рожать и рожать. Нельзя пренебрегать деторождением, ибо где, как не в семье с детьми взращивается высшее сокровище — Любовь? Нынешнее призвание России в мире: возродить Любовь как сверхценность, а остальное приложится!

Для единения с энергетикой России нам недостает понимания ее глубинных сил, сетует **Д. Подкосов** (**«Личное сознание и невоплощенная Россия»** — «Философия хозяйства», № 1). Увы, наше сознание несоразмерно России. Не вмещается в него существо «русской идеи» и энергия «русскости». Наука наша рассыпана, лишена своих евразийских корней. Надо высвобождаться из плена европейский понятий и установок, таких как капитализм, социализм, глобализация и т.д. Эти имена уже испытаны, уже выявили свою бытийную и философскую ущербность. Капитализм перекраивал хозяйственно-бытовую жизнь и одновременно отрицал Русь; точно так же социализм перестраивал и отрицал Россию. Пора подвинуть в центр нашей философии и науки «эволюцию русских энергий», вглядеться в их истоки и их возможности, понять свое собственное задание в человечестве. А оно, по убеждению Подкосова, заключается в «выявлении соборно-преображающих сил в человеке, обществе и природе». Только так наука приблизится к зоне пересечения физических и нефизических планов бытия, разовьется до уровня космического общения и сотрудничества, до уровня духовного преображения природы и человека. А там, глядишь, и экономика начнет заботиться о «хозяйственной поддержке соборного преображения». Но для этого прежде всего необходима «самосборка личности», что предполагает воспитание в себе чувства непрерывности, беспредельности жизни, ощущение масштаба своего пребывания в грандиозной российской истории. Подкосов считает, что нам следовало бы научиться мыслить свою жизнь в кармической перспективе, рассчитанной, по крайней мере, на тысячу лет.

**И. Бестужев-Лада** (**«Россия в конце "эпохи держав"»** — «Философия хозяйства», № 1) возмущен тем, что во имя корыстных интересов горстки негодяев было разрушено веками складывавшееся единое социально-экономическое пространство евразийской цивилизации — Россия. И теперь приходится привыкать, что сегодня осталась только одна держава (США), которая обладает мировым господством. Но век ее недолог, дни ее сочтены; нам же надо приспосабливаться к новым условиям в этом мире. Для этого надо послать к черту жульнические выборы — нам нужна соборность общественных организаций, которые действительно представляли бы интересы социальных групп. Вместо скандальных парламентов нам нужны комитеты и комиссии экспертов, которые выносили бы на всенародное обсуждение продуманные проекты, а не лоббировали воровские планы олигархов. Нам не нужна тупая и коррумпированная бюрократия, которая за взятку разрешает то, что и так положено законом. Нам не нужна псевдогуманность по отношению к преступнику — его следует изолировать еще *до* совершения преступления (? — *А.Д.*). Словом нам не нужно больше государство в его современном виде, а тем более держава, претендующая на господство над кем-то.

Иначе настроен проректор Крестьянского университета им. Кирилла и Мефодия **А. Субетто**, предрекающий **«Ноосферно-социалистический путь**

**подъема великодержавности России»** («Философия хозяйства», № 1), т.е. путь водительства на собственных цивилизационных основаниях. Оснований много: среди них «евразийское месторазвитие», историософская миссия, духовность (православие), идеократия (власть идеи), русский народ (русское измерение евразийства), «софийное» хозяйство (мудрое следование традиции), высокая обороноспособность. На этих основания строится стратегия развития. Начинается она с социалистической революции, бескровной, как предполагает автор, — а там как история решит. Революция аннулирует реформы последних десятилетий. Далее следует переход к подлинному народовластию, которое предполагает полную национализацию земли и ее недр, национализацию тяжелой промышленности, топливно-энергетической системы, транспорта. Восстанавливается научный потенциал страны (научно-исследовательские институты, академии и т.д.), возрождаются механизмы планирования и государственного регулирования цен на основные товары и услуги. Нуждающихся бесплатно обеспечивают жильем, средним и высшим образованием, здравоохранением, также бесплатно удовлетворяются потребности в физической культуре и спорте. Конечно, национализируются основные средства массовой информации, всемерно развивается оборонный комплекс, восстанавливается военная мощь России, а заодно и геополитические интересы. Все это зиждется надеждой на наше ноосферное будущее, о котором якобы мечтал В.И.Вернадский.

Священник **Георгий Кочетков** и историк **Юрий Афанасьев** обсуждают **«Причины русских невзгод»**. Именно так называется их беседа, опубликованная в журнале «Свободная мысль — XXI» (№ 1/2). Историк констатирует современное состояние страны: народ вымирает, а правительство, окончательно потеряв совесть, богатеет, превращаясь в крупных капиталистов. Просвета в будущем не видно, а опыт прошлого подсказывает, что мы как народ действительно предназначены для того, чтобы демонстрировать всему миру, чего не надо делать и как не следует поступать. Причину вековечной русской беды Афанасьев видит в двух неизменных противоречиях. Первое — наше стремление к экспансии вплоть до мирового господства, сочетающееся с одновременным катастрофическим обесцениванием человеческой жизни. Второе — доходящее до взаимного уничтожения противоречие между властью и обществом. Гражданские и завоевательные (колониальные войны), восстания и революции, господство репрессивных режимов и карательных систем — все это веками уродовало, мордовало, обессмысливало само существование власти и населения России. Власть становилась все безжалостней. А общество все больше и больше превращалось в лживую, угнетенную, лишенную человеческого достоинства массу. Не мудрено, что сегодня духовное уныние воцарилось буквально среди всех. Разница лишь в том, что одни избывают постылую жизнь в пресыщении и роскоши, а другие — в пьянстве и нищете. Словом, Россия идет к гибели и спасти ее может только чудо. О. Георгий предлагает свое толкование. Он понимает национальные невзгоды России как опыт разнообразия. Ведь наряду со скорбными фактами рабства и угнетения наша история подает примеры подвигов духа и свободы творчества. История наша действительно противоречива и удивительным образом может сочетать вещи противоположные. Сейчас главное —

не впадать в уныние и стараться жить по-божески, жить по совести, жить по-христиански, не оборачиваясь ни на кого и ни на что. Это касается и мирян и Церкви. Ситуация действительно катастрофическая, признает о. Георгий, но надо верить в то, что Господь нам поможет не только в частной жизни, но и в жизни общественной. Следует трудиться не покладая рук — начинать вовсе не с политики. Гораздо важнее сейчас просвещение нашего общества. Христиане должны находить людей одного духа, одного языка, может быть даже пока далеких от традиционной христианской культуры. Просвещение и терпимость могут сделать возможным чудо, на которое уповает собеседник о. Георгия, Юрий Афанасьев.

По мнению **В. Белоцерковского**, единственный шанс спасти Россию — это левый поворот в политике (**«Левый поворот и "плюрализм" российской интеллигенции»** — «Свободная мысль — XXI», № 1/2). Свой проект он называет «синтезный социализм», что, впрочем, никакого отношения к марксизму не имеет. Смысл проекта лучше всего выражают слова папы Иоанна Павла II: «Человек труда — это не просто орудие производства, но и личность, имеющая... приоритет перед вложенным капиталом. Самим актом своего труда человек становится господином на своем рабочем месте, хозяином трудового процесса, хозяином продуктов своего труда и их распределения». Живой пример осуществления принципов «синтезного социализма» — испанская федерация кооперативных предприятий «Mondragon» под руководством католического священника Хосе Марии Аризмендиарриеты. Немарксистскую версию социализма автор считает спасительной для России потому, что капитализм в России не пригоден. Как наша либеральная интеллигенция, недоумевает Белоцерковский, умудряется не видеть, что везде в посткоммунистических странах с развитием капитализма укореняется демократия? У нас же она искореняется. В истории не известно случая, когда бы капитализм, развиваясь, ничего не создавал, а только разрушал. А у нас именно такая история. При нашем капитализме средняя продолжительность жизни мужчин не превышает 57 лет, население за год уменьшается на миллион. Разве это не говорит о том, что организм России капитализма не приемлет?

Памфлет **С. Яржембовского «По щучьему веленью»** («Звезда», № 3) приводит читателя к выводу, что в злоключениях великой утопии советского социализма виновата наша вера в сказочное разрешение всех трудностей. Ничего у нас не получилось — и поделом! Бескорыстные идеалы социализма не устояли перед «демократическими ценностями» капитализма. Приходится осваивать новое поприще, то есть рынок. Но и тут согласия нет. Западники тянут к растворению в глобальном единстве всего человечества (или хотя бы лучшей его части), славянофилы-государственники ищут особого пути. В связи с ростом влияния государственников намечается общий подъем страны, а Запад нас уже хоронит. Видно, забыли они, что мы можем в самых неблагоприятных условиях поголовно осваивать грамотность, осуществлять всеобщую электрификацию, индустриализацию, делать ракеты и т.п., не говоря про балет. Конечно, тягаться в добросовестности, рачительности и деловитой расторопности с соседями мы не будем. Каждому — свое. Однако все идет к тому, что скоро и Запад по части промышленного производства не сможет конкурировать с Востоком (Китаем и Индией). И

если французам, итальянцам, испанцам и грекам ничуть не зазорно извлекать ренту из климатических, ландшафтных и культурно-исторических ресурсов своих стран (туризм), чего нам стыдиться извлекать ренту из ресурсов наших недр (сырье). Беда не в самой ренте, а в том, что она используется бестолково. Вот толковости и надо учиться, а не впадать в уныние, назвавшись «сырьевым придатком».

Историки наши злоключения объясняют обстоятельней. **Ю. Пивоваров** в статье **«Русская власть и публичная политика. Заметки историка о причинах неудачи демократического транзита»** («Полис», № 1) повествует о том, почему так бесплодны наши попытки наладить демократические порядки. Главную причину он усматривает в особенностях российской почвы, где никак не прививается иноземный плод демократии — нам всего милее самодержавие. Главное действующее лицо нашей истории — Власть (именно так, с большой буквы) — т.е. насилие без всяких ограничений, «сдержек и противовесов». Она лишь меняет свои наименования (царь, император, генсек, президент). Власть всегда персонифицирована, т.е. всегда предполагает определенного носителя (самодержца). Самодержавная власть не может действовать непосредственно, и потому имеет исполнительные органы — законодательные, административные и судебные. Заметим, не делит с ними власти, как это следует по оригинальному политическому проекту Запада, а милостиво наделяет их своими полномочиями. Самодержавие — «сосредоточение и источник всего», и всякая революция у нас — не что иное, как оборотная сторона самодержавия; самодержавие же — изнанка революции. Пивоваров называет это Русской Системой. Единственно, на что способна такая система, — это создание политической химеры, «партии власти». Кстати, ее изобретатель Д. Трепов — московский обер-полицмейстер, позднее петербургский генерал-губернатор и, наконец, в 1905 году товарищ министра внутренних дел — откровенно предлагал включить в эту партию начальников всех государственных уровней, взять под контроль прессу, подтянуть солидные финансы и т. п. Нынешняя «партия власти» представляется Пивоварову в виде некоей «властной плазмы», призванной гасить конфликты в социальном проекте западного производства. Ее основа — коррупционный механизм передела финансовых и материальных средств. В каком-то смысле коррупция и есть плазма, в которой протекают конфликты-переделы. Коррупция — это среда, в которой развертывает себя в пространстве и времени наше «государство».

С. Шатиров и В. Павленко (**«Имперская государственность: история и современность»** — «Обозреватель», № 2) формулируют краткий перечень общеисторических закономерностей, связывающих прошлое России с ее настоящим и будущим. Прежде всего, это «реставрация будущего», которая предполагает возвращение к истокам духовного и геополитического выбора, раз и навсегда сделанного Россией в начале ее исторического пути. Это значит, что страна должна сохранять верность византийской православной традиции, а в геополитике взаимодействовать с западной цивилизацией только при условии опоры на союз с исламом и другими восточными культурами (конфуцианством и индуизмом). В политическом устройстве авторы, считая империю более высокой ступенью развития по сравнению с рес-

публикой, прочат нам имперское возрождение с непременным условием единства власти и углубленным взаимодействием церкви и государства. Возвращение в общий имперский контекст предполагает (с учетом опыта всех революций) восстановление «свойственной России вертикально-интегрированной формы правления и персонифицированного общенационального лидерства» (Сталин и Путин). Варианты же ленинского, хрущевского, брежневского и тем более горбачевского и ельцинского опыта с имперским контекстом несовместимы. Российская имперская идея принципиально несовместима ни с национализмом, ни с интернационализмом. Предлагается некая не постижимая умом «суперидеология», которая приводит в согласие интересы всех основных национальных, конфессиональных, социальных, корпоративных и иных общественных групп

**А. фон Бринкман**, автор статьи **«Неполномощные законы. К психологии русской исполнительной власти»** («Полис», № 1), полагает, что начало самобытности русской политической истории положено царем Иваном Грозным. Он гениально расслоил свою державу и этим предначертал судьбу России. А сделал это так: с обширных земельных пространств по особому плану выселялись местные бояре (феодалы-землевладельцы), а их земли отдавались дворянам-опричникам, членам особого царского двора, находящимся в непосредственном подчинении государю и предназначенным для искоренения «крамолы». Остальная государственная территория, земщина, имела право самоуправления и оставалась в ведении Боярской думы. Таким образом, Иван Грозный совершенно умалил государственное значение родовой знати и, уничтожая аристократический строй, создал служилое поместное дворянство. Причем старый административный механизм (земщина) разрушен не был, в нем все осталось на своих местах и по-старому. Весь смысл опричнины, по мнению автора, заключался в том, что, будучи совершенно неопределенной как государственное учреждение, а потому неуловимой для гнева народного правосознания, она окончательно разрушала это правосознание и приучала население к закономерности самодержавного произвола. «Двор», т.е. опричнина, беспрекословно подчиненная государю, противостоял «стране» — выборному самоуправлению земщины, источнику крамолы, по определению. Опричнина, хотя и утратила со временем свое наименование, сохранила свою суть, пишет автор, и по сей день определяет историю России. Она, как и при Иване IV, по-прежнему является способом управления страной посредством людей, близких ко двору (верховной власти), но чуждых местным интересам. В этом управлении по-прежнему интересы попечительной (исполнительной) власти — выше твердых указаний закона, а глас народа по-прежнему подозревается в крамоле. Опричнина порождает такое положение, при котором сила закона находится не в руках верховной власти, а в руках власти исполнительной. В этом случае даже указы неограниченного самодержца выполняются не все — иные остаются под спудом, а иные явно искажаются при исполнении. Так возникает законодательство, состоящее из «неполномощных» законов, к которым исполнители относятся или явно враждебно, или просто непочтительно. Ни один закон, оставляющий хоть малую долю самостоятельности земщине, не претворялся в жизнь таким, каким был высочайше утвержден.

Неукоснительно исполнялись лишь те, что были выгодны опричнине. Поэтому, полагает А. фон Бринкман, ни одна из «великих реформ» в России уже при своем обнародовании не могла рассчитывать на добросовестное исполнение, ни одна не была «полномощна». Статья Бринкмана написана в 1907 году, он оглядывался на реформы Александра II и сомневался в успехе манифеста Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка». Тогда он был убежден, что в России закон «хотя бы и тянул в земщину, исполнительная власть все же будет тянуть в опричнину, оставляя все прерогативы земщины неполномощными». И. Беленький, отыскавший эту статью в журнале «Русская мысль» столетней давности и предваривший ее кратким комментарием, считает, что за истекший век она ничуть не устарела.

Академик **Ю. Поляков** указывает на некоторые заблуждения по части истории России (**«Еще о гражданском обществе»** — «Свободная мысль — XXI», № 1/2). Наши политики, журналисты, деятели искусства в своих высказываниях Россию воспринимают как тысячелетний неизменный колосс, не желая видеть кардинальных трансформаций, которые это понятие претерпевало. Когда говорят «тысячелетняя история России», иногда забывают, что речь идет, по сути, о различных государствах: Киевская Русь, Московское царство, послепетровская империя. Историю надо знать и, сообразовываясь с этим, не переносить, например, понятие «гражданское общество» в XVII век. Гражданское общество возникает, когда государство, руководствуясь демократическими принципами и обладая необходимыми действенными институтами обеспечения и защиты конституционных прав человека, не препятствует существованию и работе общественных организаций (кроме тех, что призывают к насилию). Общественные организации могут придерживаться каких угодно политических взглядов и идеологий, но они должны быть едины в постановке и осуществлении общих конструктивных задач, способствующих укреплению и развитию России (безопасность государства, стабильность общества, воспитание патриотизма, преодоление сепаратизма, развитие культуры, науки, образования и т.д.). Все конфликты и противоречия должны разрешаться мирно, цивилизованно, путем переговоров, митингов, демонстраций и СМИ. Во время чрезвычайных событий (войны, эпидемии, стихийные бедствия) общество должно сплотиться и забыть все противоречия до лучших времен. В нашей истории такого не бывало — и неизвестно, будет ли. И употреблять понятие «гражданское общество» всуе вряд ли стоит.

Произошедшее в ходе реформ Петра I разделение русского общества на две неравные части — европейское по своему мировоззрению и культуре дворянство и придерживающийся традиционного уклада народ — **Г. Курган** называет расколом (**«Русский раскол, его истоки и исследование в общественной мысли России XIX–XX вв.»** — «Философия и общество», 2005, № 4). Целью реформ, пишет автор, было повышение обороноспособности страны, т.е. своего рода модернизация, которая потребовала заимствований извне: вооружений, техники, научных достижений. Увы, возросшая внешняя мощь страны была куплена ценой едва ли не полного культурного и духовного порабощения. Да, вестернизация была неизбежной, но Петр, по мнению Кургана, настолько увлекся заимствованиями западной техно-

логии, что превратил это в самоцель и «никаких мер против заражения страны европейским духом не принял». И вестернизация стала катастрофой для национального духа России, главное для которой — сохранение своих святынь («органическое развитие»). Западная же цивилизация с характерной для нее доминантой внешнего устроения жизни (удовольствия, комфорт) ориентируется на индустриализацию и «покорение природы». Ценность знания о природе («знание — сила») и нелюбовь к метафизике есть важнейшая особенность западного мировоззрения Нового времени. Раскол был неизбежен. Русская общественная мысль разделилась пополам: на западников, оправдывающих Петра I, и славянофилов, его порицающих. За эти интеллигентские распри народная стихия отомстила октябрьским переворотом, главная причина которого, как уверяет Курган, — не классовые, а культурно-исторические противоречия. Революция 1917 года, таким образом, есть, по существу, восстание не столько бедных против богатых, сколько — презираемых против презирающих. Революция погубила петербургскую Россию и истребила «образованное сословие», но этот грандиозный катаклизм имеет провиденциальный смысл, ибо заложил основы нашего будущего. А будущему России было необходимо освободиться от европейски воспитанного правящего слоя и открыть дорогу национальной стихии, «здоровой по своим устремлениям».

Тлетворное влияние Запада на Россию началось еще до Петра. Об этом свидетельствует статья **Е. Ивахненко «Интеллектуальные споры XVII века: "грекофилы" и "латынщики"»** («Россия — XXI», № 1). Так, в XVII веке в России существовали две партии — традиционалисты и новаторы. Традиционалисты («грекофилы») сторонились схоластических приемов и рациональных «мудрований», придерживаясь традиционной умственной культуры: чтение и заучивание священных текстов. Они выступали за сакрализацию власти и экономический изоляционизм. Напротив, «латынщики» выступали за секуляризацию власти и геополитическую экспансию. В русскую жизнь они привнесли новую дискурсивную практику, любовь к логике, практику умозаключений. Если для «грекофилов» залогом правдивости была хорошо выверенная и узнаваемая аллегория, то «латынщики» основывались на силлогизме, в отличие от аллегории располагающем не к мифологизации, а к критике. «Латынщики» прививали обществу требования четкой и ясной мысли, твердого слова, логичной речи и подводили к необходимости реформ в русском языке, к повышению его культурного статуса. Они учили мыслить в категориях выгоды и пользы в торговле и в ведении хозяйства в целом. Петровские преобразования стали, по сути, материальным воплощением идейных противостояний «грекофилов» и «латынщиков».

По мнению **Л. Сиберг**, весь остальной мир враждебен нам из-за православия (**«Почему ж нас все-таки так не любят»** — «Север», № 1 — 2). Мы приняли веру от Византии, но это не поставило нас в ряды содружества христианских стран. Мы стали союзниками еретиков, и Рим (Западная Церковь) предал нас вместе со всей Восточной Церковью анафеме (Великая Схизма 1054 г.). На Западе столетиями воспитывалась неприязнь к России, корней которой уже никто не помнил. Западные христиане не только поддерживали наших врагов, но и вели с Россией прямые войны. Не счесть швед-

ских нашествий с разорением православных церквей и монастырей. В наших «крестовых походах» за освобождение Константинополя от турок западные братья-христиане становились на сторону мусульман, с нами воевали католическая Польша и Франция. Московия для них — враждебная сила, а православные — еретики, неправильные христиане. «Они изображают и описывают нас с величайшей ненавистью», — писал Юрий Крижанич в XVII веке. С тех пор мало что изменилось. Заразилось такими настроениями и российское дворянство, получившее европейское образование. Наши «просвещенные» соотечественники все самобытное в русской культуре, всю ее непохожесть на Европу стали воспринимать как «неправильность». Запад не знает кириллицы, а значит, не знает русской свято-отеческой литературы, равно как и выросшей из нее славянофильской философской мысли. Не имея понятия о нашем словесном и духовном богатстве, надменные европейцы по сей день мнят нас дикарями и не видят в России «равного партнера».

Социолог **Л. Гудков** — частый персонаж наших обзоров. Специфическая оптика его научных интересов, куда бы он их ни обращал, выявляет болезненные эксцессы российской общественной жизни. Видимо, поэтому его лексика изобилует медицинской терминологией. Однако горькая правда его диагнозов — это не бездушное заключение патологоанатома, напротив — свидетельство того, что выздоровление возможно. На сей раз он пишет **«О положении социальных наук в России»** («Новое литературное обозрение», № 77). В основном статья посвящена социологии. С ней, с точки зрения стороннего наблюдателя, — все в порядке: и по численности занятых она впереди всех других, и учатся на социологов десятки тысяч студентов, и специальных научных журналов навалом. Но, как писал маркиз де Кюстин 160 лет назад, «у русских есть названия, но нет ничего в действительности: Россия страна фасадов...». В самом деле, положение социальных наук здесь довольно противоречиво. Прежде всего нет почвы, т.е. такой институции, как публичные дискуссии или политическое и гражданское участие, а отсюда и отсутствие спроса на качество социологических знаний. Состояние социологии в России лишь отражает паралич всей общественной, публичной и политической жизни и пассивное массовое приспособление к привычному режиму. Так было и в советское время, когда общественные науки занимались идеологическим обеспечением режима, а специалисты-обществоведы готовы были выполнить любое задание партии и правительства. Крах коммунистической системы оказался для таких специалистов полной неожиданностью, а последующие реформы были восприняты с недоумением и недовольством. Однако весь корпус преподавателей общественных наук, толкователей премудростей марксизма-ленинизма, знатоков истории КПСС, научного атеизма, критиков буржуазной идеологии разом переквалифицировался в социологов, политологов, психологов. Только знания остались теми же да и сервильные установки не изменились: что прикажете? Академические институты (около дюжины учреждений) и сегодня понимают свою деятельность как обслуживание власти. Пользоваться милостями и благоволением правительства, быть при нем единственным советником — извечная мечта руководителя такого института. А поскольку верноподданничес-

кие установки познавательным инициативам как-то не способствуют, то и заметных результатов общественно-научной деятельности в постсоциалистический период не видно. Наука стала резко стареть. Власти денег не дают, поэтому более прагматичная и беспринципная часть ученых вынуждена выпрашивать гранты, ища сочувствия и финансовой поддержки у иностранного капитала. Возникла парадоксальная ситуация: необходимость сочетать государственническую идеологию и интересы грантодателей (зачастую совершенно противоположные). Результатом стала трудновообразимая мешанина и эклектика теоретических подходов, языков описания, идеологических предрассудков и т.д. Когда российские ученые заимствуют концептуальные модели из зарубежной литературы и начинают переносить чужие теоретические схемы на наш, российский материал, почти всегда получается что-то не совсем то. Вот и приходится нашим ученым компенсировать свой комплекс неполноценности глубоким внутренним консерватизмом и целым набором антизападнических, антимодернизационных, имперских или националистических клише. Терапия такого рода обеспечивает полный анамнез — потерю памяти о своих «скелетах в шкафу», о травмах профессиональной совести. Табуированными остаются серьезнейшие для нас проблемы: тоталитарное и патерналистское прошлое российского общества-государства, тип человека, приспосабливающегося к меняющимся формам насилия, наша циническая культура и т.п. Пренебрежение анализом прошлого оборачивается возрождением старых идей о месте и приоритетах России как великой державы. Научные журналы полнятся рассуждениями об «особости российского пути». Картина, описанная Гудковым, неприглядна, однако он же отмечает: тяжело и медленно, но все же рождается и другая социальная наука — подлинно аналитическое описание нашей многотрудной социальной действительности.

А тем временем специалисты-обществоведы, старая гвардия исторических материалистов, сама выросшая и взрастившая себе подобных в условиях господства «единственно верного учения», мудро приноравливается к нынешней ситуации «бескрайнего плюрализма». Например, **В. Келле**, пятьдесят лет назад написавший книгу «Исторический материализма как наука», сегодня пришел к выводу, что философия вообще не наука и плюрализм взглядов, теорий и методов — ее главное органическое свойство (**«Социальная философия: актуальные проблемы»** — «Философия и общество», № 1). Наука — это сфера интеллектуального; нравственность, религия и искусство — духовного. Философия, в том числе и социальная, является единственной формой общественного сознания, которая относится и к тому и к другому, поэтому для нее все подходы и методы хороши. Множественность общих черт исторического процесса дает представление о широте полета человеческой фантазии и свидетельствует о неограниченных возможностях человеческого разума; разнообразие подходов и измерений создает гармоническую картину социального мира.

**Б. Гнилов** в статье **«Геополитика и "автономная" музыка»** («Обозреватель», № 2) обнаруживает «взаимную соотнесенность» музыкального жанра с особенностями русской истории и культуры. Автономная музыка — это музыка без поэтического текста и программного названия, так называ-

емая *фортепианно-оркестровая композиция*. В определенные периоды истории русские деятели искусства задают тон своим западным коллегам. Такое случалось в сфере науки (Лобачевский и Вернадский), литературы (Достоевский), живописи (Кандинский). Нечто подобное случается и в жанре фортепианного концерта. Эстетическое значение музыкального произведения этого жанра автор разделяет на три смысловых уровня: персонально-личностный (vox humana), национально-державный (vox populi) и музыкально-системный (musica mundana). На всех трех русские в начале XX века достигли неоспоримого превосходства. На уровне vox humana пять концертов для фортепиано с оркестром Рахманинова являют собой образец точности и полноты передачи противоречивости, тревожности, настороженности и вместе с тем оптимистических надежд творческой личности, жившей в России начала XX века. То же самое можно сказать и о пяти фортепианных концертах Прокофьева. Оба композитора прославили русский гений и на уровне vox populi, продемонстрировав зрелость национальной культуры. На уровне musica mundana образцом формально-технической изобретательности и оригинальности гармонических новаций потрясли мир Скрябин и Стравинский: первый — дополнив партитуру специально выписанной партией света («Прометей»); второй — противопоставив звучание клавишей черного цвета клавишам белого, добился такого счастливого неблагозвучия, которое оплодотворило всю позднейшую музыку. «Русский след» автор находит даже в фортепианном творчестве Дж. Гершвина, чья «Американская рапсодия» на всех означенных уровнях чрезвычайно близка к твореньям русских композиторов.

*Обзор подготовил Александр Денискин*

Галина АККЕРМАН

# ЕЩЕ РАЗ О ДИССИДЕНТАХ — ОБ ИХ РОЛИ В ПАДЕНИИ СОВЕТСКОГО РЕЖИМА

Существует мнение, что программа «звездных войн», запущенная в США при Рональде Рейгане, стала главным фактором в цепи событий, приведших сначала к поражению СССР в «холодной войне», а затем и к крушению в стране коммунистического режима. Я не являюсь безусловным сторонником этой теории.

Разумеется, крушение советской системы было ускорено надрывным экономическим соперничеством с американцами. Особенно при той крайне неблагоприятной экономической конъюнктуре, которая сложилась после Чернобыльской катастрофы с ее неисчислимыми трагическими последствиями. Немногие отдают себе сегодня отчет в том, насколько Чернобыль подорвал экономику СССР, и поэтому стоит напомнить, что в так называемых работах по «ликвидации последствий чернобыльской аварии», которые продолжились несколько лет, приняло участие около ***миллиона*** человек[1]. Очистка территории станции, строительство саркофага, дезактивация десятков тысяч кв. км территории, строительство нового города Славутич и множества новых поселков, куда были переселены около 200 000 человек, последующая медицинская помощь ликвидаторам и лицам, заболевшим в результате проживания на зараженных территориях[2], выплата разного рода

[1] Согласно секретным протоколам Политбюро, опубликованным Аллой Ярошинской (Чернобыль. Совершенно секретно. М.: Другие берега, 1992), уже в сентябре 1986 года Политбюро решило наградить 5400 человек из более чем 500 000 гражданских лиц, принимавших участие в ликвидации, а ведь в работах, по данным Украинской академии наук, принимали еще участие 340 000 военных (в основном резервистов), да и сами основные работы продолжились до поздней осени 1987 года (ввод в действие 3-го блока и строительство г. Славутич), при постоянной смене персонала. См. мою книгу: Tchernobyl: retour sur un désastre. Paris: Buchet-Chastel, 2006.

[2] На сегодняшний день в зонах разной степени зараженности (в основном цезием-137) в России, Украине и Белоруссии проживает от 8 до 9 миллионов человек.

**Галина АККЕРМАН** — родилась в Москве, закончила филфак МГУ, эмигрировала в Израиль в 1973 г. С 1984 г. живет в Париже. Защитила докторат по истории религии в Сорбонне, ведет рубрики «Судьба идей» и «Религиозная хроника» на Международном французском радио, автор многочисленных эссе и литературный переводчик.

пособий — все это тяжело сказалось на госбюджете СССР. Понятно, что это обстоятельство не могло не подтолкнуть Михаила Горбачева, провозгласившего «новое мышление», к отказу от гонки вооружений.

Два года назад мне довелось взять интервью у известного белорусского ученого, академика Василия Нестеренко, который участвовал в подготовке советского ответа на программу «звездных войн». В 1986 году Нестеренко был директором Института ядерной энергетики Белоруссии, который входил в советский военно-промышленный комплекс. Под прикрытием своего названия (в Белоруссии не было атомных АЭС) Институт занимался разработкой передвижных ядерных электростанций, которые могли бы обеспечить запуск межконтинентальных ракет из любого пункта советской территории. Ракеты предполагалось оперативно доставлять к заранее приготовленным площадкам на тяжеловозах, перехитрив тем самым американские станции радарного слежения. Проект «Памир», который был ориентирован на разработку запусков с высокогорных плато и в котором было задействовано 110 научных институтов и предприятий по всему СССР, был заброшен на последнем этапе, сразу после чернобыльской катастрофы: специалистам-ядерщикам пришлось срочно решать совсем иные задачи, да и средства были мобилизованы на иные нужды[3].

Тем не менее, несмотря на экономические трудности, с которыми сталкивался советский режим в последние годы своего существования, он вряд ли потерпел бы крах, если бы новый генсек решил любой ценой сохранить идеологические тиски, как это сегодня делают китайцы. Но установка была, к счастью, иная, не кровожадная, в результате чего именно гласность и оказалась, как мы знаем, единственным осуществленным параметром задуманных широкомасштабных реформ советского общества. В результате в действие вступили и другие, уже не экономические, а более глубинные, внутренние, психологические и духовные факторы, обусловившие развал советской империи. Причем, похоже, именно Чернобыль явился в значительной мере катализатором широкого народного пробуждения: отсутствие информации и умышленная ложь властей относительно размеров и последствий катастрофы вызывали естественное чувство протеста. В обществе, которое за долгие десятилетия тоталитарного правления забыло, что означает свобода слова, собрания, вероисповедания, что такое право на забастовку и т.д., широкомасштабная чернобыльская драма, обернувшаяся для многих смертью или инвалидностью, привела к тому, что идеи правозащитного диссидентства впервые обрели массовую поддержку и воплощение: экологические организации стали возникать как грибы после дождя, и под их давлением Съезд народных депутатов проголосовал в 1989 году за снятие секретности с чернобыльских документов, высветивших криминальный характер некоторых правительственных мер — как, например, решения использовать зараженное радионуклидами мясо в качестве добавки в мясокомбинатские котлеты по всему Союзу. Давление экологических организаций при широкой народной

[3] Это интервью было опубликовано мною по-французски: Les Silences de Tchernobyl, sous la direction de Galia Ackerman, Guillaume Grandazzi et Frederick Lemarchand. Paris: Autrement, 2006 (второе издание).

поддержке привело и к другим, немыслимым ранее мерам: как пишет в своих мемуарах Михаил Горбачев, за годы его правления было закрыто 1300 вредных производств, в основном в Сибири и на Урале.

Наряду с экологическими протестами, очень быстро стали возникать и другие движения, тоже взращенные на идеях диссидентства.

Сегодня уже далеко не все знают, что собой представляло диссидентское движение. Речь идет о группах самой разной ориентации, самых разных взглядов. Роднило их лишь одно: все они подвергались преследованиям властей по идеологическим причинам. Среди них были группы с демократическими чаяниями, требовавшие соблюдения Конституции и Уголовного кодекса, соблюдения прав человека и права на забастовку. Были среди них группы православных диссидентов, которыми руководили священники, как, например, отец Александр Мень или отец Дудко, призывавшие к возврату к подлинной духовности и освобождению от контроля КГБ, но были и униаты, баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы, которые также преследовались режимом. Были национальные движения: евреи, боровшиеся за право выезда в Израиль, крымские татары и немцы Поволжья, требовавшие права на возвращение в родные края (эти два народа, равно как и ряд кавказских народов, были коллективно депортированы Сталиным в 1943–1944 годах в порядке коллективного наказания за так называемое «сотрудничество с фашистами»). Украинские и прибалтийские диссиденты требовали признания преступлений коммунистического режима в отношении их народов, а также широких прав для их национальных культур.

После провозглашения горбачевской политики гласности некоторые из этих движений значительно усилились. Национальные движения в советских республиках попросту взорвали Союз изнутри. За прошедшие двадцать лет евреи в большинстве своем уехали в Израиль или западные страны, немцы Поволжья поселились в основном на берегах Рейна, татары вернулись в Крым. Бывшие православные диссиденты имеют все основания быть довольными жизнью: православие стало, по существу, государственной религией, и от его имени продолжается борьба с сектантством, то есть теми же баптистами или иеговистами, от его имени чинятся препятствия назначению католических священников. Что же касается тех, кого на Западе по преимуществу и называли «диссидентами», то есть носителей демократических идей, то судьба их оказалась весьма удивительной.

Когда Михаил Горбачев пришел к власти, аресты диссидентов в первое время продолжились. Эпоха освобождения диссидентов из лагерей началась немного позже: в 1986–1987 годах. Первым был возвращен в Москву академик Андрей Сахаров, который находился в ссылке в Горьком, в полном отрыве от внешнего мира. После освобождения Сахаров поддержал начинания Горбачева и стал впоследствии одним из лидеров Межрегиональной депутатской группы — первой оппозиционной парламентской фракции новейших времен, которая сыграла, в частности, капитальную роль в отмене статьи 6 Конституции, провозглашавшей принцип руководящей роли КПСС. Однако Сахаров, отец советской ядерной бомбы, принадлежал к научной элите нации, и его судьба была не вполне типична для других диссидентов.

В своем исследовании, посвященном феномену советского диссидентства, французский историк Сесиль Весье описывает обширную операцию по дискредитации диссидентского движения, которая началась задолго до прихода Михаила Горбачева к власти[4]. Тактика состояла в освобождении политзаключенных из мест заключения или психушек, не признавая при этом законности их борьбы. В обмен на освобождение от них требовалось покаяться, пообещать не нарушать более общественный порядок — и это было тяжелым испытанием для тех, чья сила состояла лишь в моральной безупречности. Если же некоторые диссиденты упрямились, им предлагалось обрести свободу ценой эмиграции. В 1986–1987 годах эта тактика была применена примерно к 200 политзаключенным. В их числе был, например, Сергей Ходорович, изгнанный из СССР 22 апреля 1987 года и проживающий ныне в Париже. В июне 1987 года в советских лагерях и тюрьмах оставалось еще 539 диссидентов, большинство из которых были освобождены лишь в ноябре 1988 года, в обмен на подачу весьма унизительной просьбы о помиловании. Что же касается тех, кто отказался и подписать обязательство о соблюдении общественного порядка, и покинуть пределы СССР, то они еще год провели в тюрьмах или на поселении. Диссидентское движение оказалось сломанным.

Параллельно с этой «ломкой» так называемая «либеральная» правящая элита осуществила подмену: она освоила несколько старых диссидентских идей, выдав их за собственное творчество. Как Франция в 1944 году внезапно заполнилась свежеиспеченными участниками Сопротивления, так и «прогрессивные» коммунисты-аппаратчики и либеральная московская и ленинградская интеллигенция полетели, по образному выражению французов, «на помощь победе». Евгений Примаков, например, прямо пишет в своих мемуарах о так называемых «диссидентах в системе», которые пытались еще с брежневских времен менять существующий режим изнутри. По Примакову, «внутренние диссиденты» тем самым выгодно отличались от «внешних», которые наивно лезли на рожон и попадали в тюрьмы да психушки. Кстати сказать, эта операция по «перехвату» диссидентского знамени до сих пор весьма успешно осуществляется нынешней государственной и журналистской номенклатурой, которая создала уже целый почетный легион своих героев — бывших «внутренних диссидентов» — от А. Бовина до М. Стуруа и от Т. Колесниченко до Е. Примакова. Этой пиаровской акцией «перехвата» во многом и объясняется тот факт, что, в отличие от диссидентов национальных движений, российские правозащитники не стали ни политической силой, ни даже моральным авторитетом в конце коммунистического правления — за почти единственным исключением: Андрей Сахаров, скончавшийся в 1989 году. Новые пришельцы захватили политическое пространство и СМИ, в то время как подлинные диссиденты оказались отстраненными, скомпрометированными, изгнанными из страны.

Но если диссиденты не оказали сильного влияния на советскую политическую жизнь и не нашли в большинстве своем места в новой России (чем во многом и объясняется ее быстрый поворот в сторону реабилитации советского прошлого), они все же сыграли очень существенную роль в

[4] *Cécile Vaissié*. Pour votre liberté et la nôtre. Paris: Robert Laffont, 1999.

падении советского режима — хотя и косвенным образом: через западное общественное мнение. В конечном счете, практика высылки особо «вредных» инакомыслящих за границу, которая стала применяться с 70-х годов, привела к широкому распространению правдивой информации о природе советского режима. Практически все известные диссиденты смогли опубликовать на Западе книги, принимали участие в организации различных общественных акций, писали письма протеста, выступали по телевидению. Все это способствовало мобилизации западного общественного мнения, которое постепенно заняло куда более критическую позицию по отношению к СССР и другим коммунистическим странам, чем раньше.

Я сама была отчасти свидетелем этой борьбы. В 1985 году, по прибытии в Париж (куда я переехала из Израиля), я познакомилась с Владимиром Максимовым, русским писателем, выдворенным из Советского Союза, который с 1975 года выпускал журнал «Континент», созданный при поддержке немецкого магната прессы Акселя Шпрингера. Очень быстро этот журнал стал важнейшим органом самовыражения диссидентской интеллигенции (как эмигрантской, так и той, что оставалась в СССР). Но этого было недостаточно для настоящей политической борьбы. В 1983 году подлинный «мозг» диссидентства, Владимир Буковский — бывший политзаключенный, который был обменен в 1986 году на генерального секретаря чилийских коммунистов Луиса Корвалана, — выступил с оригинальной идеей. Вместе с Владимиром Максимовым и Эдуардом Кузнецовым, еще одним бывшим узником Гулага[5], он основал Интернационал Сопротивления — организацию, о которой сегодня мало кто помнит. Идея состояла в том, чтобы собрать вместе политэмигрантов из всех коммунистических стран и вести совместные общественные кампании против этих режимов.

Интернационал Сопротивления был создан вначале в США, но быстро переместился в Париж, хотя его финансирование осуществлялось в основном Конгрессом США и частными американскими фондами. В Париже ИС быстро поддержали ряд видных общественных деятелей — такие фигуры, как Ив Монтан, Андре Глюксман, Симона Вейль, Эжен Ионеско, Эли Визель и многие другие. Ибо не следует забывать, что с начала 70-х годов, после публикации на Западе *Архипелага Гулаг* Александра Солженицына и страстных

[5] Для молодых читателей напомню биографии Буковского и Кузнецова. Владимир Буковский (род. в 1942 г.) к 24 годам уже два раза побывал в психбольнице — за обладание запрещенной книгой и подготовку манифестации. В общей сложности он провел в лагерях 8 лет, в том числе за предание гласности практики содержания инакомыслящих в психбольницах. Его перу принадлежат несколько книг, в том числе важнейший сборник прокомментированных им документов о деятельности КПСС (Московский процесс. М.; Париж: Русская мысль — изд-во МИК, 1996). Эдуард Кузнецов (род. в 1939 г.) был приговорен в 1961 году к семи годам заключения за участие в несанкционированных поэтических сборищах на площади Маяковского в Москве. В 1970 году, после отказа властей выпустить его в Израиль, попытался вместе с целой группой евреев захватить гражданский самолет, чтобы покинуть СССР. Был приговорен к смертной казни, замененной под международным давлением на 15 лет строгого режима. В 1979 году был обменен, вместе с несколькими другими диссидентами, на двух советских шпионов.

деклараций французских «новых философов»[6], ветер во Франции подул в другую сторону: почти безусловная защита советского режима, которая была столь в моде среди левой французской и в целом западной интеллигенции в два предыдущих десятилетия, стала практически невозможной.

Интернационал Сопротивления, где я проработала с января 1986 года по конец 1988-го, когда он прекратил свое существование, провел много серьезных акций. Я никогда не забуду, например, Парижского форума в ноябре 1987 года, посвященного литературе без границ. Там присутствовало столько наших друзей, выдающихся деятелей культуры, многие из которых ныне уже в ином мире: нобелевский лауреат Иосиф Бродский, Милован Джилас, Анни Криежель, Бранко Лазич, Жан-Франсуа Ревель, Рене Таврнье, Жан Бло, Пьер Декс, Марко Паннелла и др. Я никогда не забуду и наш хохот при издании аутентичного перевода одного номера газеты *Правда*. Для французского читателя дубовый язык и идеологические клише этого обязательного ежедневного чтения каждого советского коммуниста и каждого даже беспартийного чиновника были подлинным откровением о сущности советского режима. Быть может, я когда-нибудь напишу свои воспоминания, чтобы рассказать об этом периоде моей жизни, насыщенном интересными событиями и встречами с замечательными людьми, но здесь я ограничусь лишь одной историей, которая прекрасно иллюстрирует отношения между советским обществом горбачевской эпохи и диссидентами.

8 марта 1987 года *Фигаро* опубликовала письмо десяти советских диссидентов, которые проживали на Западе и были близки в то время к Интернационалу Сопротивления. Это были Василий Аксенов, Владимир Буковский, Александр и Ольга Зиновьевы, Эдуард Кузнецов, Юрий Любимов, Владимир Максимов, Эрнст Неизвестный, Юрий Орлов и Леонид Плющ. В этом письме «подписанты» бросали вызов советскому руководству: если вы хотите действительно открыть новую страницу истории, говорили они, признайте преступления коммунистического режима, освободите без всяких условий политзаключенных, разрешите эмиграцию и свободу слова, организуйте свободные выборы, прекратите милитаризацию советского общества. И прежде всего опубликуйте это письмо в вашей прессе.

Последний пункт вызова был принят малоизвестной еще в то время газетой *Московские новости*. Несомненно с ведома и разрешения властей, русский перевод письма был опубликован на ее страницах. За этой публикацией последовали незамедлительно многочисленные статьи в самой этой газете и в других СМИ, яростно обрушившиеся на авторов письма и на Интернационал Сопротивления.

Вот несколько выдержек из этих статей:

«Время и жизнь навсегда размежевали тех, кто ведет в нашей стране революционную перестройку, и бывших граждан СССР, которые на нее клевещут» (заголовок подборки читательских откликов, МН, 5.4.87).

«Стыдное письмо. Ни один комментарий не скажет того, что эти авторы сказали про себя. А сказали, что они не только продукт уходящего време-

[6] Речь идет в первую очередь о Бернаре Анри Леви и Андре Глюксмане, которые начали систематически проводить сравнение между сталинским и нацистским тоталитаризмом.

ни, что не могут представить себе совершающихся у нас перемен, но что и не хотят, чтобы перемены у нас совершались. И еще сказали этим письмом, что ехали они за свободой, а обрели жалкую зависимость» (*Григорий Бакланов*, там же).

«Владимир Буковский используется ЦРУ для активной подрывной деятельности против СССР»; «Леонид Плющ — сторонник террористических методов борьбы против существующего в СССР строя»[7]; «Владимир Максимов выехал в 1974 году за рубеж, где возглавил созданный под эгидой ЦРУ антикоммунистический журнал *Континент*»; «Юрий Любимов участвует за рубежом в различных антисоветских акциях» (*от редакции* — МН, 12.4.87).

«Мне их психология такой представляется: уезжая, люди эти в своей гордыне надеялись, что отъезд их станет акцией едва ли не государственного масштаба: дела в стране сразу же пойдут хуже, и тогда их оценят. А уехав, увидели: дела у нас сегодня разворачиваются серьезные, да без них. Своими силами обходимся. Вот и злобствуют. А в злобе своей смыкаются с теми, кто добрых чувств к нам и прежде не испытывал... Все подписавшие письмо стали на путь политической борьбы с нами» (*Олег Ефремов*, там же).

«Надо, чтобы в Отечестве было хорошо. С этой целью 70 лет назад народ выбрал путь социализма, убежденный, что именно социализм — это хорошо. А авторам письма с народом оказалось не по пути» (*Лен Карпинский*, там же).

«Потому-то и формируется в общественном мнении отношение к письму как к предательству» (*Михаил Ульянов*, там же).

«Почему они объединились — подобные В. Буковскому уголовные преступники, организаторы подпольной деятельности против родной страны, и "люди искусства", называющие себя "защитниками демократии"? Ответ очень прост. Если раньше лозунги "демократизации общества" первые использовали для организации подпольной, нелегальной, антисоветской деятельности, то вторые выдвигали демократические лозунги для прикрытия своего внутреннего неприятия социализма... Весь ассортимент кличек "диссидентов", "инакомыслящих", "правозащитников"... — слова, написанные кириллицей, но по сути своей они рождены в тот момент, когда западная пресса "скучает"... Печальное, а еще больше мерзкое зрелище — видеть, как болото засасывает в безысходную трясину того, кто клевету на Родину сделал профессией...» (*Советская культура*, 11.4.87)[8].

---

[7] Напомним историю «террориста» Плюща (род. в 1939 г.). Киевский математик, сторонник йоги и телепатии, он сблизился в середине 60-х годов с московскими диссидентами и стал одним из основателей Инициативной группы защиты прав человека в СССР. В 1972 году был интернирован в психбольницу, где его насильственно лечили (распространенный в те годы способ пытки, применявшийся к диссидентам). Благодаря мобилизации западного общественного мнения, Плюща выдворили из СССР с лишением советского гражданства в 1975 году.

[8] Все цитаты — из уникального теперь издания Интернационала Сопротивления, напечатанного на ротаторе, «Спрашивайте — отвечаем!» (Париж, 1987). Кстати, работали в «мощной» антисоветской организации, помимо начальства, всего четыре человека, вместе с секретаршей и негром Эрбером, который печатал всю нашу продукцию на ротаторе. Времена-то были докомпьютерные...

Эта подборка ясно показывает совершенно советскую ненависть к диссидентам, которых даже вполне «приличные люди» рассматривают чуть ли не как западных наймитов, действующих из личной выгоды и неудовлетворенного честолюбия. Высказывания деятелей культуры — Егора Яковлева, Олега Ефремова, Михаила Ульянова, Лена Карпинского, Григория Бакланова — отчетливо иллюстрируют тот процесс подмены, «перехвата», о котором я говорила. Именно эти люди объявляют себя «строителями» нового общества, носителями революционных преобразований, отметая диссидентов как врагов и ренегатов.

Почти через десять лет после этой истории, в первую годовщину смерти Владимира Максимова, в Париже прошел симпозиум, посвященный его памяти. Этот симпозиум оптимистически назывался «От диссидентства к демократии». На него съехались многие славные люди из разных стран, в том числе из России. Благодаря помощи банкира Владимира Виноградова, который был впоследствии выбит из формирующейся группы олигархов, мне даже удалось издать крошечным тиражом сборник материалов этого симпозиума[9], ставший, должно быть, почти такой же реликвией, как *Спрашивайте — отвечаем!* В послесловии к этому сборнику Владимир Буковский написал: «Итак, двадцать восемь лет спустя[10], мы смотрим друг на друга и читаем в глазах немой вопрос: было ли все это напрасно, тюрьмы и лагеря, ссылки и психушки? Являемся ли мы лишними людьми, которые были столь замечательно описаны в русской литературе 19-го века?»

Буковский и прав, и не прав.

Борьба диссидентов за демократизацию, за соблюдение Хельсинкских соглашений и т.д. не была напрасной. Они смогли мобилизовать и изменить западное общественное мнение и оказать тем самым серьезное влияние на западных политиков. А эти политики в свою очередь оказали давление на Михаила Горбачева, советского лидера, который претендовал на звание человека, способного изменить мир. И те идеологические послабления, на которые он под этим давлением и под давлением других факторов, о которых я писала выше, пошел, просто не могли уже не привести к быстрому обвалу советского здания, поскольку его фундаментом была и могла быть только жесткая идеология.

Но на родине российские диссиденты-демократы, за редчайшими исключениями, остались париями. Их идеализм был в основном не понят в российском посткоммунистическом обществе, где доминируют деньги и национализм с религиозной окраской. Перестройка погребла под собой тех, кто подготовил ее ценой страданий, а то и жизни.

---

[9] De la dissidence à la démocratie. Paris: Editions du Rocher, 1996.

[10] Имеется в виду манифестация семи диссидентов на Красной площади в Москве в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию.

Игорь ХОЛОДЯКОВ

# ДНЕВНИК УЧИТЕЛЯ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ В КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА

***15 августа***

Когда мои коллеги, друзья и знакомые начинают слишком докучать ехидными расспросами о том, где я теперь добываю хлеб свой насущный, я с достоинством отвечаю: «Я тружусь в специализированной школе для особенно одаренных юношей с девиантным поведением». Уточнять, что это школа в исправительной колонии, я не успеваю — все понимающе кивают головами (теперь этих специализированных школ развелась тьма, в том числе и таких, которые гордо называют себя то гуманитарными, то международными, то при академиях, но справедливо могут именоваться мичуринскими по своей сути: принимают дубы, а выпускают липу). А я утешаю себя несколько циничной, но справедливой мыслью: «Если государство не может прокормить учителя, значит, оно вынуждает его кормиться воровством, пусть чужим». Восемь лет проработав доцентом кафедры гуманитарных дисциплин, я теперь буду преподавать русский язык и литературу в ИТУ (исправительно-трудовой колонии общего режима), и сегодня я первый раз наблюдал построение на проверку всего спецконтингента — осужденных колонии.

***1 сентября***

Сегодня вплотную наблюдал построение на проверку всего состава колонии.

Нужно было идти разыскивать по отрядам учеников своего класса, не явившихся на первое занятие.

По периметру плаца стояли черные шеренги в бушлатах. День ветреный, серый, с реденьким дождем. Впереди строя — старшины и активисты, которые выстраивают ряды к приходу начальника отряда. Черные шеренги, серое небо, дождь... В задних рядах кто-то начинал натужно кашлять, и тотчас же сухой лающий кашель перекидывался из отряда в отряд через площадь, а над всем этим бодро гремел из динамика марш: «Не спи, вставай, кудрявая...» Почему-то вспомнилось, что стихи эти написал Борис Корнилов, расстрелянный за антисоветское творчество и связь с империалистической — кажется, гондурасской, да и не все ли равно? — разведкой, а кудрявую, его беременную жену, на допросе в живот пинали, чтобы фашистское отродье не плодила.

---

**Игорь ХОЛОДЯКОВ** — родился в 1951 г. в Ярославле. Окончил историко-филологический факультет Ярославского госпединститута и исторический факультет МГУ. С 1973 г. работает учителем русского языка и литературы. Статьи публиковались в журналах «Литература в школе», «Открытая школа». Живет в Ярославле.

Подошел начальник отряда, ласково спросил: «Ну что, господа осужденные, строиться будем или маму вашу вспоминать нужно?»

И здесь я буду работать.

***15 сентября***

Да, здесь я буду работать. Забавно, но мое прошлое место работы весьма импонирует и моему директору: «У меня литератор доцентом был, статьи пишет в столичные журналы, книгу издал...» — и моим нынешним ученикам: «У нас учитель — доцент (мало кто может объяснить, что это такое, но бессмертный фильм «Джентльмены удачи» смотрели все), не фуфло какое, крутой кент, в натуре».

А вот моя встреча с учениками восторга не вызвала. Понятно, на многое я и не рассчитывал. Полная безграмотность у подавляющего большинства — результат традиционной с советских времен убежденности, что во всей средней школе № 333 может быть только 2–3 второгодника, иначе «знаете, как в РОНО ругают». Это в царской гимназии директор, узнав, что за экзамен выставлены только 3 двойки, выговаривал учителю: «Либеральничаете, милостивый государь!» В нашей школе двоечников быть не должно — их и не было! А теперь расхлебываемся, но самое смешное, что все равно упорно изображаем, что все справляются с нагрузкой и соответствуют Госстандарту! Даже завалы на едином госэкзамене никого не образумили, просто по школам разослали негласную рекомендацию, что если даже компьютер, проверяющий листы ЕГЭ, этот железный дурень, не понимающий важности момента и его политической значимости, и выставит за экзамен двойку, то в аттестат все равно нужно рисовать тройку. В военкоматах хватаются за голову — так стремительно растет количество неграмотных призывников, а я теперь сталкиваюсь с результатами «всеобщего успешного освоения программы»: заявления в две строчки пишут с десятком ошибок, с трудом дочитывают страницу до конца, но тут же забывают, что было в начале, внятно пересказать содержание отрывка способны единицы. Рассказывают о событиях своей жизни предельно просто:

— Ну, погнали мы на плешку, а там два пассажира, такие гуси, мы к ним — а они... ну, улет, во ржачка... ва-аще, жара! Ты, круто!

Причем его собеседник явно все понимает и одобрительно матерится. Впрочем, это уже мое восприятие — матерится, он не ругается, он так выражает свои переживания, так общается, и когда учитель биологии, дама изящная в своих чувствах, делает в коридоре школы замечание: «Зачем вы ругаетесь, Сергей?» — тот искренне удивляется: «Да я и не ругаюсь, я ему объясняю!» На уроке один из моих учеников, выслушав мою фразу: «Эмоционально насыщенная поэма рождает ассоциации...» — вдруг взорвался: «Что хоть вы говорите, я ни одного слова не понимаю, можно же по-человечески говорить!»

В свободное время — а его море, в зоне работает едва ли 30 процентов осужденных, нет заказов! — сидят, курят, рассказывают истории из жизни, мечтают об амнистии, которую ждут по любому поводу. У меня периодически спрашивают:

— Что там, на воле, за амнистию слышно?

Отвечаю:

— Ничего не слышно, да и где бы я услышал о ней?

Удивленно смотрят на меня:

— Как где, люди же говорят, наверно, ну, там в трамваях, в автобусе... Мы же ждем, думаем, а они что, не такие, что ли?

Читают единицы, их не осуждают — каждый сходит с ума по-своему, — но и не одобряют. К чтению нет привычки, нет потребности в книге, которая создается только в семье (Алеша Пешков, ставший Максимом Горьким, — исключение, как и всякий самородок). Семей — настоящих — у моих учеников чаще и не было, какие уж тут семейные вечера за столом с книгой! Очень много интернатских, эти вообще ничего не умеют, так как жили пусть бедновато, скудновато, но на всем готовом. Один, смеясь, вспоминал, как в общежитие попал после интерната, начал сам себе обед готовить, курицу варил со всеми потрохами, кишками и лапами, сунул пачку чая в кружку, залил водой и стал ждать, когда заварится... Посмеялись, а потом кто-то грустно сказал: «Да, общежитие... где оно теперь? Куда пойду на воле?» Без прописки не берут на работу, без работы не прописывают — этот вечный заколдованный круг еще как существует для моих учеников. Многие из них никому не нужны: ни родне — одни хлопоты с этим зэком, ни государству — оно и стариков своих, вечных тружеников, бросило, отняв последние крохи накоплений, пенсий и льгот, а тут эти уголовники... Раньше хоть участковый хлопотал, чтобы на работу взяли, а теперь вернется мой десятиклассник домой, потолкается на бирже, походит по фирмам, где в основном требуются двадцатилетние секретарши с опытом работы пятнадцать лет и фигурой 90-60-90, плюнет... и придет ко мне через полгода в одиннадцатый класс. Один из моих учеников признался: «Я на простынях-то только на зоне сплю, а на воле...» — и махнул рукой. У одного в личном деле с его слов был записан домашний адрес: «Возле вокзала у моста колодец теплотрассы рядом с будкой». Этих людей покинули все.

***1 октября***

Моих учеников — да, этих проклятых уголовников, ворье, жуликов, все так, — но покинули все. Или, в современной лексике, *кинули*, т.е. подставили, обманули. Их по-кинули, кинули в свое время родители, оставив без любви, тепла, заботы, без настоящей семьи. Их по-кинуло государство, не дав возможности начать жизнь по-человечески или исправить свою ошибку, часто глупую, мальчишескую, за которую по большому счету нужно было бы выдрать хорошенько и отправить к деду на перевоспитание, а попросту оторвать от того круга, где он неминуемо повторит сделанное. Но ошибка фиксируется, становится путем в жизнь иную, где другие ценности, совсем не те, о которых говорила учительница в классе, где совсем иные представления о добре и зле. Но и все эти рассказы о блатной этике, о воровских традициях дружбы до смерти, о красивой жизни гордого вора — это для новичков. Каждый за себя — вот главный закон.

«Стучат» — это слово в переводе не нуждается — друг на друга, на начальников отрядов, на учителей... Недавно попросили одного из начальников отряда проявить «на воле» контрабандой отснятую фотопленку. Тот

согласился — по доброте ли, из корысти, кто знает, но в проходной был остановлен — «внезапная внеплановая проверка». Сами мои ученики смеются: оставь на виду в отряде сторублевку (наличные иметь не разрешается) — через 15 минут прибежит наряд изымать незаконное и тащить нарушителя в изолятор, но зато деньги не отберут, а переведут на личный счет, будет теперь с чем в магазин идти. Это называется «заработать стольник через пятнашку» — деньги будут после изолятора.

Понятие «мы» отсутствует, есть только «я и мой кент» — друг, подельник, но сами себя и поправляют: «Сегодня кент, а завтра мент». Есть устойчивые группы: «семейники» — иногда земляки, иногда просто симпатизирующие друг другу. Эти твердо знают: за семейника нужно пойти на нарушение, на кулаки, на конфликт с администрацией, в изолятор... Часто перед уроком слышу просьбу: сегодня уж отпустите меня чуть пораньше с урока, нужно встретить семейника, поднимается, т.е. выходит из изолятора, пятнашку оттянул, так что надо подкормить... По сути, семейник выполняет потерянную функцию родственника, близкого человека, потому что без семьи — тоска.

***15 октября***

Без семьи — тоска. А большинство моих учеников не имеют свиданий — не потому, что лишены за какие-то нарушения режима, просто к ним приехать некому. Или родня затерялась в бурных житейских (чаще всего алкогольных) волнах, или судьба непутевого сына, брата, племянника глубоко безразлична... Поэтому очень у многих нет даже простейших вещей: ручки, карандаша, тетради, все это я выдаю на уроке вместе с учебниками.

Время от времени я обращаюсь в различные учреждения, организации и фирмы с просьбой помочь школе тетрадями, канцелярскими принадлежностями. Сначала мои собеседники и возможные спонсоры вежливо просят оставить адрес, телефон, обещают связаться, но, узнав, что это не просто школа, а тюремная школа, интерес к благотворительности теряют, а в одной из фирм, услышав мой адрес, весело засмеялись и обнадежили: «Вот мы сядем — всего у вас будет вдоволь!»

Первое время я не мог понять, почему так безжалостно рвут листы из тетрадей, потом стал предупреждать: «Если нужна бумага, не разоряйте тетради, попросите, я дам листы из запасов». Потом стал откровенно говорить: «Кому нужны журналы, приходите в кабинет литературы, мне все знакомые тащат старые “Роман-газеты”, можно читать, а можно... на гигиенические нужды». Народ пошел валом, а я только успевал спрашивать: «Тебе читать, только честно? Наш директор, спасибо ему, достал Астафьева, Шукшина, Распутина... Есть Балашов, Толстая, Кондратьев, Быков, Булгаков, Солженицын, Шаламов...» Кто-то берет читать, кто-то смеется: «Не, мне для этой, для гигиены...» В зоне есть своя библиотека, но чтобы ею пользоваться, нужно в качестве вступительного взноса сначала принести две свои книги, и, как пояснил библиотекарь, «не туфту какую, пушкиных разных, а хорошие — Доценко, Маринину...». Везде свои ценности!

Но отсутствие свиданий, писем, посылок не только приносит бытовые неудобства. Иногда начинается неожиданное: человек уходит в себя, умолкает, не обращает внимания на окружающих — это значит, что началась «гон-

ка», которую можно объяснить как острый приступ тоски. Выйти из него трудно, особенно одиноким, малообщительным, живущим замкнуто, без семейников, и тогда возможно непредсказуемое: обычный парень, ни с кем не конфликтовал, начальство не прижимало, в отряде столкновений не было, «не прессовали», как здесь говорят, до конца срока оставалось пять месяцев, и вдруг нашли за баней в петле, уже и остыл... Кто-то прокомментировал: «Гонка была, наверное...» К таким событиям относятся однозначно: зона довела, проклятая! Это когда нет сил видеть забор, колючку, одни и те же лица, слышать одни и те же марши, стоять в строю, строем в школу, на работу строем, на свидания строем... Я как-то на уроке в качестве примера психологического осмысления ситуации рассказал, что в английском метро надписи «Выхода нет» заменили на объявления: «Выход с другой стороны». Посидели, подумали, кто-то прокомментировал: «Буржуи о людях думают!»

Недавно подошел прощаться ученик, завтра домой, конец срока. Сказал: «Вы мужик нормальный, на уроках не скучно, но мне это на хрен не нужно, я о другом хочу сказать. Тут недавно хреново мне было, так гнало — сил нет, а вы в раздевалку провожали и советовали: "Бушлат берите или свой, или уж только один!" Я как услышал — заржал, и вроде легче стало. Так что спасибо, в натуре помогло».

Вот уж точно: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...»

***1 ноября***

Да, правда, нам не дано предугадать... Удивительно, но особое внимание на уроках литературы у учеников моих вызывают биографии писателей, поэтов. С одной стороны, понятно: сиди, слушай, легонько подремывай... А с другой стороны, многие напряженно слушают буквально открыв рот. Только что в десятом классе закончили читать Тютчева. По программе на него — два часа, а мы потратили целых шесть. Начал с биографии: старинный дворянский род, служили России с XIV века, были воинами и дипломатами... слушают явно из вежливости — ну, они служили, а мы тут сидим, и что из этого? Но когда я заговорил о Денисьевском цикле, о его последней, трагической любви к Марии Денисьевой, о том, как мучался он и страдал, сознавая, что эта любовь делает несчастной и его жену, и полюбившую его девушку... Потребовали рассказать, как отреагировала жена, явно прикидывая на знакомые житейские ситуации... Узнав, что не била ни морду, ни посуду, что поняла счастье и трагедию мужа, притихли, что-то обдумывая. Кто-то прокомментировал: «Вот раньше бабы были, не то что сейчас...» Я мгновенно включился, оседлав любимого конька: «А ты что хотел? Знаешь, как начинается большинство дел об изнасиловании? Одинаково: "Шел по улице, вижу, две девушки сидят, пиво на скамейке пьют, предложил купить еще, выпили, то да се, потом мы с ней пошли за гаражи покурить, потом я... а она... ну, и вышло..." Хохочут — все узнаваемо.

А я упорно продолжаю: «А ты чего хотел? Встретить свою единственную с бутылкой пива? Именно единственную, ту, которая будет с тобой всю жизнь, и в радости, и в горе, пока смерть не разлучит вас? Которая тебе детей рожать будет, твоих детей, твое продолжение? Хочешь, сейчас скажу фразу, которую потом у Булгакова прочитаем? "По вере и по делам твоим воздастся

тебе". Это не писатель придумал, это он из Евангелия взял. Вот веришь ты, что все бабы — стервы, мужики — козлы, что нет никакой дружбы, а есть только "ты мне, а я тебе", что нет никакой любви, а только как бабка моя, Царство ей Небесное, говаривала, "козьи потягушки", так у тебя и будет! И жена — стерва (не дай Бог, постучим по дереву), и друзей не будет — только собутыльники, потому что каждый находит в жизни только то, что ищет».

Кто-то с явной досадой говорит: «Ну а у вас что, все по понятиям, без мазы?» И я отвечаю: «Вот я школу закончил 35 лет назад, но я и сейчас за два часа соберу у себя двадцать своих одноклассников, если только позвоню и попрошу помощи!» Молчат, прикидывают, думают, а я продолжаю воспитывать:

— Дураки вы, я же не хвастаюсь, я хочу доказать, что вы сами свою жизнь строите, нужно только суметь, и все у вас будет: и любовь, и друзья, нужно только оставаться самим собой, а не слушать, что «опытные люди» твердят. Вот и Тютчев вам же говорит:

Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум...

Это и о тебе тоже, потому что все мы созданы по образу и подобию Божьему, нужно только услышать Его голос в себе, именно поэтому говорит поэт: «Лишь жить в себе самом умей...» Ты единственный, ты неповторимый, значит, Господь создал тебя зачем-то, душу бессмертную вложил, так не разменивайся, найди главное! Неужели ты создан только для того, чтобы, как говорил один литературный персонаж, съесть свои десять тысяч бифштексов?! А вот Тютчев тебе, именно тебе говорит: «Лишь жить в себе самом умей...»

***15 ноября***

«Лишь жить в себе самом умей...» А дальше в обычной или, как здесь говорят, в вольной школе стал бы говорить о средствах создания образа, о ритмике и рифме, об ассонансах и суггестивности стиха... Здесь это бессмысленно — слишком велика запущенность, отсутствует самая минимальная подготовка. Странно, но мои ученики охотнее всего на уроках литературы идут на два вида совершенно противоположных занятий: одно абсолютно прикладное, практическое, которое требует здравого смысла, минимума литературоведческих знаний, языкового чутья и художественного вкуса. Например:

— Есенин, вспоминая родной дом, свою деревню, пишет: «Все равно остался я поэтом (золотой, маленькой) бревенчатой избы». А какое слово из скобок ты выберешь, потому что именно оно и только оно принадлежит Есенину?

Я не буду пугать моих учеников, называя эту работу стилистическим экспериментом, я объясню, что если перед нами действительно настоящий поэт, то ни одно слово в строчке не заменить, каждое — единственное, самое важное, именно поэтому в строчках Есенина изба — золотая, ведь это и солома на кровле под лучами закатного солнца, но это и память, золотое детство, родной дом...

Такую работу выполняют охотно. Ворчат на тему «что мы вам, ученые, что ли, мало что они там понапишут, а ты разбирайся...», но делают, разбирают слова, спорят со мной и поэтом. Кто-то просто потому, что можно получить оценку, а я совершенно откровенно говорю своим ученикам: «Да, я понимаю, что последний раз ты был на литературе четыре года назад, с тех пор все забыл и чувствуешь себя превосходно, но просто попробуй, начни работу, а что там получится — посмотрим, ведь важен не только результат, но и приложенные усилия! За Богом молитва, за царем служба, за учителем оценка не пропадет!» А все-таки кто-то работу эту делает и потому, что это твое, именно твое мнение, именно ты сумел доказать, что это вот слово главное!

А второй — и любимый вид работы — моя лекция. Конечно, я не обольщаюсь, лекция — это возможность тихо посидеть, подумать о чем-то своем, просто незаметно подремать... Никогда не забуду, как один из моих хулиганов в деревенской школе в верховьях Камы, где я оказался по распределению, вдруг весь урок внимательно смотрел на меня, забыв о безобразиях, так изводивших молодого специалиста, и я уже поздравлял себя с овладением педагогическим мастерством, приковавшим внимание лоботряса («МЫ с Макаренко и Сухомлинским...»). А он на перемене подошел и спросил: «А вы знаете, что, когда человек говорит, у него только нижняя челюсть двигается?» Вот и все педагогические таланты! Но все же...

Вот начинаю я говорить о духовных поисках героев русской литературы и обязательно скажу своим ученикам, что человек живет в трех сферах:

Первая — физическая, биологическая: выжить, не умереть, спастись от холода и голода, опасностей, найти укрытие, завести пару, дать потомство и вырастить его — вот главное, что составляет суть этой стороны жизни человека. Если все это осуществилось, человек может задуматься о второй сфере жизни, хотя подавляющее большинство прекрасно себя чувствует именно на этой ступени.

Вторая — социальная: реализовать себя, найти свой место в обществе, занять именно то, которое я считаю для себя подходящим, т.е. стать не просто офицером, но генералом, не просто чиновником, но столоначальником, быть камергером, оставить детям имение, дом на Поварской, счет в банке, шкатулку с семейными и благоприобретенными безделушками («этот перстень мой дед подарил моей бабке, когда она родила моего отца, потом он перешел ко мне, теперь, сын мой, ты вручишь его своей избраннице...»). А может быть, совсем иначе: печататься в Петербурге, написать такое, чтобы узнавали на улицах, чтобы строчки повторяли, чтобы сказать России такое слово...

И, наконец, третья сфера — духовная: понять, зачем я живу, для чего пришел в этот мир, есть ли действительно у меня та цель, которая даст смысл всей моей жизни, одухотворит, наполнит светом великой истины?

Сидят, морщат лбы — одни. Совершенно равнодушны — другие. У кого-то на лице написано: это все не нужно мне, дурь гонит, ну так ему за это деньги платят, вот и старается... К учителю такое отношение распространено, и это объяснимо. Один из главных вопросов зоны — отношение к властям, начальству. Вся жизнь осужденного определяется традициями сопротивления надзору. Порой это очень хитро: сохранить свое лицо, показать, что не спешишь выполнить распоряжение начальника отряда, конт-

ролера, любого, имеющего власть, но при этом открыто не конфликтовать, не «залететь в кондей», то есть в штрафной изолятор, который можно получить иногда и за пустяк: не поздоровался, проходя мимо офицера, не встал при появлении контролера... Порой бывает открытый взрыв неподчинения, что, впрочем, достаточно редко и вызван, как правило, какими-то внешними причинами (плохое письмо из дома, свидания давно не было)... А учитель воспринимается как представитель власти, который заставляет учиться, именно поэтому показать, что «эта принудиловка» тебе не нужна — очень частая линия поведения.

Но все-таки двое-трое подойдут (часто не сразу, через несколько дней) и скажут: «Вы тут говорили, что есть Булгаков... Дадите в отряд почитать?» Я даю, хотя порой (впрочем, довольно редко) книги пропадают.

Когда я начинаю говорить о пути в жизни, о твоем, именно твоем месте, о социальном статусе, то, чтобы не пугать учеников, чтобы не выглядеть заумным и оторванным от жизни, обязательно комментирую:

— Вот у меня одноклассник есть, автослесарь. Занимается только дверцами автомобильными. Видели, как закрывают двери «Москвича»? (Демонстрирую рукой и ногой: «Бах! Дрызь! Дзынь!») Хохочут — представили. А вот у него любая дверь движением пальца закрывается с легким аппетитным чмоканьем, так к нему буржуины в очередь встают за три месяца. Что, это не социальный статус? Лучший слесарь! Разве не место в жизни?!

Прикинули, приняли — годится.

По сути, я занимаюсь не литературным образованием, да это и понятно. О каком анализе текста может идти речь, если слова ХОРЕЙ и АМФИБРАХИЙ один из моих учеников на полном серьезе посчитал ругательствами. Если я начну говорить о роли аллитераций в лирике А. Блока, это будет совершенно бессмысленно, потому что мои ученики ни разу не встречали в своей бурной жизни ни одной ситуации, когда им пригодилась бы аллитерация, а тем более Блок. Большинство из них не учится три-пять лет, и в той, прошлой школьной жизни они были не лучшими учениками. Но даже и они будут слушать меня и что-то говорить на уроке, если я начну рассуждать о том, что Катерина — традиционный «луч света в темном царстве» — попыталась построить свое счастье, оставив мужа. Может ли быть счастлив человек, причинив боль другому? Может ли женщина бросить ради своих чувств того, кому она перед Богом клялась в верности? (Голоса с мест: «Сука она, да и все они такие!» — я пресеку, пообещав рассказать о великой любви Марии Лазич и поэта А. Фета, и бунт увянет, сменившись ожиданием.) И появится возможность поразмышлять о верности и долге, о надежности мужчины и силе женской слабости. И никто в этих местах лишения свободы с ними, моими учениками, об этом говорить не будет. Начальнику отряда успеть бы составить десяток рапортов, отчетов, сопроводиловок... Есть в зоне церковь, построенная хлопотами начальника учреждения и силами самих заключенных, предмет гордости и первый объект демонстрации любой комиссии и проверке. Несколько раз в месяц звенит колокол, зовет на службу. Приезжает батюшка, исповедует желающих. Но нужен постоянный пастырь... Наверно, я здесь преподаю не только и не столько литературу... Может быть, человековедение?

Я не заблуждаюсь относительно своего проповеднического дара — просто моим ученикам в свое время недодали что-то очень важное, а душа болит вне зависимости от того, веришь ты в ее существование или нет, и требует она не минимума («жрать да пить, морду бить»), но и еще чего-то... Нужен не эпизодически приезжающий священник, а батюшка, который умеет говорить и — самое важное — слушать. Вот только где их взять, этих батюшек?

А душа-то болит...

***1 декабря***

А душа-то болит, и лечат ее порой самыми разными средствами и способами. Могла бы моя литература стать врачевателем? В каждом классе понастоящему учатся пять-шесть человек, остальные и не могут, и не хотят, не видят смысла. Что я им скажу? Учись — врачом будешь, станешь получать две тысячи? Дневная порция наркотиков стоит семьсот — восемьсот рублей. Очень показательна реакция учеников на подборку прекрасно изданных энциклопедий по искусству, которые мой директор раздобыл для школы: «Что? Каждая книга по этому вашему искусству — пятьсот рублей? И таких книг восемь штук? Да ведь это неделю ширяться можно!»

О наркотиках вспоминают с нежной, теплой грустью, как о близком друге, оказавшемся вдалеке. Объясняют: «Вам не понять. Это все другое, другая жизнь, не знаю, как сказать. Не зря говорят — улет!» Свято убеждены, что все писатели, поэты — если не наркоманы, то алкоголики точно: «Иначе такого не напишешь!» Передают взахлеб друг другу невероятные истории «про Голландию и вообще ту Европу», где «дурь» выдают любому желающему просто так, без «всяких бабок», и «ширяются все, кто только хочет, и менты не вяжутся». Общий вздох: вот бы туда попасть, да как! Практически все, кто тратил добытое трудами неправедными на наркотики, мечтают о воле как о возможности «ширнуться», «вмазать». Вынужденный перерыв на отбывание срока воспринимают как дополнительную тяжесть, а не как возможность вырваться из-под власти наркотика. По-человечески это объяснимо: наркотик дает им, моим ученикам, не знающим ни книг, ни театра, ни музыки, ни сколь-нибудь сложных и ярких духовных переживаний, возможность вырваться из серой обыденности быстро и просто. Отсюда постоянные попытки «перебросов», в которых нередко участвуют мальчишки седьмых — восьмых классов с воли. Быстро и ловко (силенка уже есть!) перекинув через стены пакеты, они убегают счастливыми: обдурили ментов, помогли своим! Даже в случае задержания им грозит в лучшем случае разговор с участковым, а они в детской комнате милиции частые гости. А с угла, от перекрестка наблюдают за перебросом двое-трое из машины, и именно туда побегут потом мальчишки за вознаграждением.

Теперь, пообщавшись с моими учениками, я знаю, почему Россия пошла за большевиками: Толстой звал к духовному самосовершенствованию, Чехов убеждал по капле выдавливать из себя раба... Как это долго и скучно! А Ленин сказал просто и понятно: возьми винтовку, отними землю и фабрику, и наступит счастливая жизнь. Вот так и наркотик дает простой и быстрый выход в иной, легкий и приятный мир, где нет проблем, где все можно! Мои школьники убеждают меня: «Вы думаете, там (жест наверх, туда,

где власть) не могут справиться с наркотой? Поймают курьера, какого-то мужика зачуханного с пятью презервативами в желудке, и неделю по телевизору показывают — победа над наркомафией! Вот хотите простой пример? По всему городу расклеены, в газетах встречаются постоянно объявления: куплю импортную аудиовидеоаппаратуру, можно без документов. И телефон дан! Дураку понятно, что это барыга, скупщик, нас приглашает с товаром, его прихлопнуть — как два пальца обдуть, а он телефон свой свободно дает, не боится, значит, но если его не трогают, выходит, это кому-то нужно, выгодно? А с наркотой точно так же, только там деньги совсем дурные ходят, поэтому никто и не рыпается, себя жалко. Возражать будете?»

Я что-то мямлю общевоспитывающее, мол, у милиции до всех руки не доходят, но сколько веревочке ни виться... Кто-то спрашивает сострадающе: «Вы в самом деле так думаете?» Кто-то отвечает с задней парты: «Да не, это ему положено в нас вселять уважение к закону». Печально, но, кажется, мои ученики правы.

***15 декабря***

Да, печально об этом размышлять, но так же печально слушать рассуждения школьного дневального, исполнительного, простовато-хитроватого парня, проводившего только что своего «кента», друга еще по прежним, вольным дням, ушедшего на УДО — условно-досрочное освобождение: «А у меня еще... конец срока в десятом году. Говорят, город здорово изменился... А уж за это время столько всего будет...» Он не закончил мысль, но было понятно, что думает парень не о новых магазинах и залах игровых автоматов — сама жизнь за эти годы станет другой, как он в нее впишется? Что станет делать? У его ровесников уже семьи, дети, свои интересы, другая жизнь, а кто позаботится о нем? Ведь мы убеждены: главное посадить его, злодея, и словно по-прежнему висит над нами и нашим сознанием отчеканенный вождем всех времен и народов афоризм: «Нет человека — нет проблемы». Вот выйдет этот злодей через три — пять — семь лет в мир, где его никто не ждет, где он всем лишний, всем мешает, и что дальше? Электрик, ставивший в моем классе светильники, вдруг по какому-то поводу сказал: «Сейчас у всех, говорят, сотовые... мобильник у каждой сикалявки. А я даже не знаю, как он выглядит, этот мобильник. Сюда привезли — он был как золотой браслет: дорого и не у нас, теперь вроде часов. А я вот здесь — и ни часов, ни мобильника». Что ему сказать? Что все у него будет? А откуда будет и кому он нужен, этот электрик, в свои 46 лет оказавшийся здесь, и не только без часов, но и без жены, без квартиры? И как он сюда попал, такой рассудительный?

***15 января***

И как они, мои ученики, сюда попадают? Иногда становится жутко, когда слушаешь рассказы своих школьников (а им порой просто необходимо выговориться — ау, батюшка, добрый батюшка с седой бородой и все понимающими глазами, где ты?). Страшно становится от какой-то душевной невменяемости, затмения разума, полной остановки не только здравого смысла, но и инстинкта самосохранения — настолько бездарны, безнадежно нескладны совершенные преступления...

Сидел в баре, выпил, мало, вышел, содрал с проходящей женщины золотую цепочку, продал здесь же в баре, начал пропивать — тут же и взяли, цепочка оказалась с дорогим камнем, дали срок...

Или еще страшнее и глупее: вышел с зоны, пришел домой, денег нет, поехал к тетке в деревню, увидел иконы, зарубил тетку топором, продал иконы за 300 рублей...

А эти двое долго и сладостно пинали пенсионера, который на требование закурить ответил: «Уж если курите, так сами и зарабатывайте на сигареты». На недоуменный вопрос, почему били, отвечают: «А чего он залупался?»

Встретил вечером девушку, она испуганно просила взять сотовый, деньги... Ответил ей: «На хрена мне твои деньги, мне тебя отхреначить охота». Пинал так, что лицо восстанавливали в пластической хирургии. Когда на суде спросили, зачем бил, ответил: «А чего она шла вся из себя такая...»

Конечно, есть и иные. Компьютер мне в кабинете литературы налаживал специалист, получивший срок за проникновение в здание фирмы, где ему заказали извлечь из компьютера жесткий диск, скачать информацию, но диск поставить на место, чтобы и подозрений не было. Он все сделал, но во время снятия информации пошел в туалет и машинально включил свет, было это в три часа ночи, охрана заметила. Хохоча, он прокомментировал: «Воспитанность подвела, надул бы лужу в углу — ничего бы и не было, жил бы припеваючи, деньги хорошие пообещали». Но это, скорее, исключение, хотя и в духе времени. Большинство садится так тупо, бездумно... И почти всегда из-за водки. Забежал недавно ученик с очень русским именем и характерной восточной фамилией, рассказывает:

— Нашел меня дядька, я про него и не знал, на свидание приезжал. Обещает добиться условно-досрочного освобождения, а там, говорит, мы тебя женим, на хорошее место устроим...

— В чем же дело, все здорово!

— Нет, — говорит. — Дядька требует, чтобы я непременно мусульманство принял, обрезание сделал.

— И что же, тебе так дорог этот кусочек кожи?

— Да при чем тут кожа! Он говорит, что сало есть нельзя и водку пить ни в коем случае нельзя! Что же мне, теперь всю жизнь не пить? Я уж лучше досижу, время быстро идет, а там уж оторвусь! Ну, и на уроках у вас посижу, тоже проведение времени.

***1 февраля***

Посижу на уроках... Это основное желание — не учиться, а просто провести время. Лишь несколько человек в классе действительно решили использовать вынужденную паузу в жизни с толком. Кстати, есть очень характерный признак, что человек что-то для себя решил: начинается выведение татуировок. Начальство с этим «безобразием на теле» боролось всегда, и так же всегда находились специалисты, это безобразие творящие, и желающие его приобрести. Один из таких мастеров долго уговаривал меня отлить ему чернил из принтера, и все мои объяснения, что нет там ничего такого, что можно было бы отливать, не действовали, человек был убежден, что я жадничаю. Кому охота быть жадюгой? Пришлось показать устройство

принтера. Ушел разочарованный — был искренне уверен, что уж из такой техники он суперчернила достанет и такую себе и другим тату сотворит...

Татуировку выводят самым варварским и болезненным способом: кожу жгут щелочью, кислотой, содой с мылом, остаются страшные, трудно заживающие язвы, которые постепенно рубцуются, зато исчезают рисунки. Вот такие борцы за внешний вид — еще один слой учеников, они стараются получить поощрение за регулярное и добросовестное посещение уроков, и школа охотно идет им навстречу.

Кое-кто ходит в школу, чтобы сменить обстановку, получить хоть какие-то новые впечатления, перерыв в монотонной жизни, встретиться с новыми людьми. Посещаемость уроков резко возросла, когда пронесся слух, что новая учительница английского языка молодая и ходит в кожаном обтягивающем брючном костюме.

Очень любят ученики приезд студентов театрального института, с которыми школа давно дружит и использует их дарования в корыстных целях. Молодые, жизнерадостные, раскованные студенты легко идут на контакт, показывают и сцены из спектаклей, и фрагменты «капустников», да и вообще, как сказал один из зрителей, «девок хоть посмотреть — и то радость». А один из здравомыслящих добавил после эстрадного танца двух довольно смело одетых студенток: «Ну, сегодня у половины отряда шконки до полночи ходуном ходить будут».

Один из моих учеников, посмеиваясь, объяснил, почему ходит в школу:

— Школа — это такое место, где я могу сказать то, что думаю, и мне за это ничего не будет.

А потом подумал и, заржав от души, добавил:

— Да еще и пятерку поставят — за самостоятельность.

Остальные учиться неспособны. Можно сколько угодно повторять печально известный лозунг Крупской о том, что нет плохих учеников, есть плохие учителя, но ничего не изменится. Зачем тогда нужен я? А затем, чтобы сказать этим людям, что есть и еще один мир, тот, в котором существует любовь и дружба, красота и верность, слезы и страдания... А учеба — это труд, причем тяжелый, но вот работать-то мои ученики не любят.

***15 февраля***

Да, работать мои ученики не любят, но под все случившееся подводят идейную базу. Один из учеников гордо заявил мне:

— Я ведь не у всех подряд краду, только у богатых, у барыг разных.

Спрашиваю:

— Скажи мне, славный Робин Гуд, кто, по твоему мнению, богатый?

— А это тот, у кого видак там, телевизор японский!

Нет слов.

Основной довод: это не мы такие, это жизнь такая! И можно сколько угодно говорить, то человек сам кузнец своего счастья, и я, конечно, буду повторять на уроках, что Господь даровал нам свободу воли для того, чтобы мы сами выбирали свой путь и сами отвечали за свой выбор, за все, что свершим, но в душе, как я ни сержусь на их ограниченность, глупость, безделье и бесконечную уверенность в том, что их жизнь — это единственно

верный путь, мне бесконечно жаль их, брошенных семьей и страной, озлобленных от безысходности и невозможности что-либо изменить, часто не имеющих ни дома, ни близких людей... Дай Бог нам не озлобиться, не проклясть их, не отбросить на обочину жизни, подальше от себя! Это так трудно, но единственный путь — тот, который определен в Писании: «Грех ненавидь, грешника люби!»

Только закончил последнюю строчку, дневальный бежит с криком ко мне в лаборантскую:

— После вашего урока в кабинете лампочку вывинтили!

А урок был на тему: «Тьма мира и свет в душе Ивана Денисовича»! Не придумать лучшего финала этим размышлениям!

Юрий КАГРАМАНОВ

# О СВЯТОМ ДУХЕ В ИСЛАМЕ, «СЛЕЗАХ АГАРИ» И ДРУГИХ ВЕЩАХ

Хоть постыдно наше время,
Общий дух того не губит,
Кто, как я, Пророка любит,
Чтит завет его и семя.

*И.-В. Гете. Книга Гафиза*[1]

Речь пойдет о двух великих арабистах XX века, по сию пору остающихся у нас практически неизвестными[2]. Это англичанин (точнее, шотландец) Дункан Макдональд (1863–1943) и француз Луи Массиньон (1883–1943). Им принадлежит честь подлинного открытия ислама, и в этом смысле они сравнимы с первооткрывателями времен великих географических открытий.

Что представляла собой европейская ориенталистика в части изучения мусульманского мира к началу XX века? В ней уживались различные методики и подходы — исторический, социологический, феноменологический, культуроведческий, и все это были *научные* подходы (кстати, в этой плоскости до сих пор остается и наше востоковедение), дававшие какие-то частные знания об исламе, но не способные понять его, как некое самозаконное целое, да никто и не ставил себе такой задачи. Ислам рассматривали в рамках «истории идей» (Geistesgeschichte), чрезмерно подчеркивая влияния, которые он испытал — со стороны иудаизма, христианства, различных эллинистических движений и течений и т.д. Получалось, что это религия, как бы собранная с бору по сосенке. Все исследователи сходились в том, что ислам — «умирающая религия» и что он является препятствием на пути распространения европейского просвещения и европейского гуманизма.

[1] Перевод В. Левика.

[2] Да и откуда им быть известными, если в ведущих наших библиотеках, включая библиотеку Института востоковедения, нет ни одной их книги. Мне удалось познакомиться с этими авторами лишь благодаря литературе, которую мне привезли знакомые из Стенфордского университета (США).

**Юрий КАГРАМАНОВ** — родился в 1934 г. в Баку. Окончил исторический факультет МГУ. Автор книг и статей по западной и русской культуре и философии, публиковавшихся в журналах «Вопросы философии», «Иностранная литература», «Новый мир» и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

Чтобы понять ислам, требовался совсем иной подход. Об этом хорошо сказал современный исследователь (кстати, ученик Массиньона): «Религиозное чувство представляет собою сокровище человеческого опыта, спрятанное за семью замками... Как правило, замки остаются закрытыми; нужно особое искусство, чтобы подобрать к ним ключи»[3].

Дункан Макдональд, по сути, был первым европейцем, которому удалось это сделать. Секрет его был прост, и он им охотно делился: чтобы понять чужую религию, в данном случае ислам, надо, во-первых, самому быть верующим человеком (Макдонадьд был пресвитерианином) и, во-вторых, с *симпатией* отнестись к предмету изучения и попытаться увидеть его «изнутри» (что вовсе не обязательно означает физическое пребывание в мусульманской стороне: Макдональд редко и недолго бывал на Востоке; в отличие от Массиньона, который провел там много лет, общался и дружил с мусульманскими богословами и простыми мусульманами).

С точки зрения Макдональда, ислам — полновесный монотеизм, представляющий собою громадный шаг вперед в сравнении с другими религиями, за исключением иудаизма и христианства. В исламе «сам Бог, Единственный, открывается человеку, посредством пророчеств или каким-либо иным способом, и человек, посредством молитвы, может обратиться непосредственно к Богу. В этом великая слава Мухаммеда. Индивидуальная душа и ее Бог оказываются лицом к лицу»[4]. Правда, Бог открывается человеку — приходится примириться с таким оксюмороном — как «закрытый» (если сравнивать с христианским представлением о Нем); Он не посылал на землю Сына, Которого можно было лицезреть, до Которого можно было дотронуться, Которого, наконец, можно было казнить (что уже совершенно непонятно для мусульманина). Поэтому Бог представляется еще более загадочным, чем в христианстве, и в еще большей степени внушающим страх.

Верность мусульманина своей религии не имеет равных: «когда дело касается веры, тогда мусульманин должен остаться в одиночестве (напомню, что это писалось в колониальный период, когда жителю мусульманской страны легко было наткнуться на *кафира* (неверного. — *Ю.К.*). Он выше христиан — он это знает и чувствует»[5]. И это вполне естественно и неизбежно для всякого верующего.

Основным предметом исследований стала для Макдональда философия Аль-Газали (1059–1111), никогда не вызывавшая в Европе большого интереса. Европейцы привыкли ценить Ибн Рушда (Аверроэса) и Ибн Сину (Авиценну), особенно первого из них, за их научный рационализм и скептицизм. Ибн Рушд и в несколько меньшей степени Ибн Сина стремились вывести философию и науку из рамок ислама, тогда как Аль-Газали, напротив, видел в философии средство защиты ислама и укрепления его. Его позиция была симметрична позиции христианских богословов, для которых философия была полезна, как «служанка богословия» (ancilla teologiae),

---

[3] *Waardenburg J.-J.* L'Islam dans le miroir de l'Occident. Paris.: La Haye, 1962. P. 326.

[4] *Macdonald D.* Aspects of Islam. London, 1911. P. 70.

[5] Ibid. P. 41.

но именно поэтому она (позиция Аль-Газали) не вызывала интереса в Европе.

Между тем, Аль-Газали явился тем мыслителем, о котором можно сказать, что он достроил здание ислама (по крайней мере, в суннитской его части), придал ему смысловую и художественную цельность и законченность. Ему удалось связать воедино три основных направления в нем, представленные ханбалитами (традиционалистами), мутазилитами (сторонниками рациональной теологии) и суфиями (мистиками)[6]. Особенно важно отметить проведенную им, в рамках ислама, легитимацию суфизма, на который многие мусульмане тогда смотрели косо; это удалось ему сделать благодаря тому, что Аль-Газали «очистил» суфизм от буддийских и зороастрийских влияний, а с другой стороны, провел четкую разделительную линию между ним и христианством, от которого суфизм изначально сильно зависел. Получивший официальное звание «обновителя веры» — *мухии ал-Дин*, Аль-Газали оказал огромное влияние на мусульманский мир; Макдональд даже поставил его выше самого Мухаммеда: ведь лично для него Аль-Газали стал «Вергилием», который провел его по всем «этажам» ислама, по всем его «улицам» и «закоулкам».

Мир ислама, в том виде, в каком он укрепился после Аль-Газали, отличает, согласно Макдональду, большая внутренняя устойчивость, невосприимчивость к чьим бы то ни было влияниям. Или, точнее, *отличала* — до определенного момента. Этот момент наступил, когда западная цивилизация обнаружила свою немыслимую для предшествующих поколений пробивную силу. Тогда даже мир ислама дрогнул и пошел трещинами. «Если только не обманывают все знаки, — пишет Макдональд, — мусульманские народы поставлены перед ужасным религиозным поражением. Ислам как религия не может устоять перед наступлением неверия и европейской цивилизации, которая его затопляет»[7].

Такая перспектива отнюдь не вызывает у Макдональда чувство удовлетворения, как раз напротив. Потому что западная цивилизация развивается совсем не в том направлении, которое мог бы приветствовать верующий христианин. «Вообразите, — пишет Макдональд, — что наш западный мир утратил все связи с христианством, и не только с его организованными формами, но и с его идеями и душевными движениями (к чему дело шло уже в начале XX века. — *Ю.К.*). Вообразите, что закрылись все церкви, как и различные гуманитарные организации, ими порожденные и с ними связанные; что все школы и университеты полностью лаицизированы; что мир коммерции и промышленности, мир политики и сфера развлечения существуют сами по себе и психологически уже никак не регулируются христианством; и что, таким образом, мечта человека о секуляризации стала подлинной реальностью. Вообразите все это — и какая картина вам представится? Во всяком случае, это будет что-то очень близкое к аду»[8].

---

[6] Что, впрочем, не исключило в дальнейшем раздельного их существования и взаимной критики. Например, современные ваххабиты, наследники ханбализма, резко отрицательно относятся к суфиям.

[7] Ibid. P. 100.

[8] Ibid. P. 217.

Сегодня мы можем констатировать, что набросанная Макдональдом картина до конца еще не реализовалась; христианство пока что сохраняет кое-какое влияние в Европе, хотя бы и очень слабое. Но жар, свидетельствующий о близости к аду, ощущается чем дальше, тем сильнее — его приближают растущий цинизм, тайная, а то и явная жестокость, неразборчивость в половой сфере, подспудное отчаяние молодежи, проявляющее себя в истерической «молодежной культуре».

Макдональд, однако, допускал еще возможность иного пути. Он ловил признаки «христианского возрождения» и надеялся, что Европа повернется к исламу христианским своим лицом и тем самым удержит ислам от дальнейшего разрушения. Вероятно, впервые в истории вопрос ставился таким образом: христианство призывалось не вытеснить ислам, а, напротив, «поддержать» его. Макдональд оправдывал свою позицию, слегка варьируя мысль Гете: противоречия между верой и неверием сильнее, чем противоречия между исламом и христианством.

Увы, признаки «христианского возрождения», коими на протяжении минувшего столетия не раз льстились европейские христиане, всегда оказывались обманчивыми. Луи Массиньон, принадлежащий к следующему за Макдональдом поколению, похоже, не верит, что христианство способно «поддержать» ислам; скорее уж наоборот. Интересна история его обращения в католичество, точнее, возвращения его в лоно, в котором он был воспитан и к которому потом охладел, — оно совершилось в большой мере под влиянием католического священника Шарля де Фуко. А вот отец Шарль пришел к католичеству... благодаря исламу.

История о. Шарля де Фуко (в минувшем году беатифицированного Ватиканом) стоит того, чтобы рассказать о ней отдельно (и я надеюсь это сделать в ближайшее время). Французский офицер, посланный с разведывательной миссией в Марокко, Мавританию и далее на юг, то есть в те страны, которые вскорости предстояло завоевать французам, выполняя свои профессиональные обязанности, попутно «разведал» для себя, что в бедных селениях, разбросанных на краю Сахары, тамошние «примитивные» жители ведут жизнь, во многих отношениях более достойную, чем его соотечественники. «Ислам, — писал он в частном письме, — произвел во мне глубокое потрясение. Знакомство с этой верой, с этими людьми, живущими в постоянном присутствии Бога, убедило меня в том, что существует нечто гораздо более великое и более истинное, нежели наши мирские занятия и увлечения»[9]. Нет, капитан Фуко не перешел в ислам — он ушел из армии и стал (тут, наверное, позволительно сказать: слава Аллаху!) католическим священником и миссионером.

Взгляд Массиньона на ислам близок к тому, что мы находим у Макдональда, хотя кое в чем отличен. Можно сказать, что он сделал шаг вперед в изучении своего предмета даже в сравнении с Макдональдом. Согласившись с ним, что действие Св. Духа проявляется не только в христианстве, но и в исламе (а также с тем, что Св. Дух, а не только научный интерес ведет исследователя, пытающегося проникнуть в мир ислама), он иначе

[9] Цит. по: *Ruscio.* Le credo de l'homme blanc. Bruxelles, 1996. P. 289.

подошел к истолкованию ночи *мираджа* (мистического восхождения Мухаммеда в небесные сферы). Ночь *мираджа* — «пункт», с которого начинается ислам. Между тем Макдональд как раз в этом важнейшем «пункте» испытывал некоторые колебания. Он склонен был считать, что в роковую ночь Мухаммед проявил себя в качестве *экстатического медиума*. «Такого рода медиумы, — писал Макдональд, — входят в транс, что-то говорят в этом состоянии и дают показания (indications), оставаясь в состоянии гипноза. Я думаю, что в таком состоянии находился (в ночь *мираджа*. — *Ю.К.*) и Мухаммед»[10]. Это язык науки, и он не дает ответа, то ли «показаниям» Мухаммеда можно доверять, то ли пророку просто что-то привиделось.

А Массиньон сказал то, в чем не сомневаются мусульмане: в ту ночь Мухаммед общался с Богом. Первым из европейцев он признал, что ислам основан на самостоятельном Откровении[11].

Позднее Арнольд Тойнби (который тоже оставался христианином) скажет о «дифракции Божественной истины»: она по-разному преломляется в сознании разных народов и рас. Что отнюдь еще не означает равенства религий. Христианин не может не считать, что полнота Откровения дана только в христианстве, а в других религиях мы находим лишь частичные Откровения.

Массиньон не говорит об этом прямо, чтобы не «обидеть» свой предмет, но косвенно признает, когда находит «в глубине души» ислама тяготение к христианству.

Точнее было бы сказать, что такое тяготение обнаруживают суфии. Они и не скрывали его, особенно в первые века своего существования. Чего стоит, например, следующая строчка Джами:

Тоскую я средь мулл по христианам...[12]

Положим, эта строка у Джами — «настроенческая», и тем не менее — совсем не случайная.

Массиньон сделал своим героем (в смысле — основным предметом исследования) Аль-Халладжа (858–932), который стал для него таким же «Вергилием» в мире ислама, как Аль-Газали для Макдональда. Так же, как Макдональд — Аль-Газали, Массиньон ставит Аль-Халладжа выше Мухаммеда. С его точки зрения, пророк, общаясь с Богом в ночь *мираджа*, не преодолел последний оставшийся меж ними барьер — не прочувствовал Его сердцем. Это попытались сделать суфии, в особенности те из них, кого они назвали своими святыми (*вали*): мистическое «опьянение» стало для них средством приблизиться к Богу. Они вызывали восхищение уже у Макдональда. «Молоко рая на их губах, и они слышат шаги Всемогущего», — писал он[13].

Аль-Халладж зашел дальше своих собратьев-суфиев: он стремился до конца слиться с Богом и, слившись с Богом — здесь Массиньон фиксирует

---

[10] *Macdonald D.* Op. cit. P. 55–56.

[11] В свое время к такому выводу близко подошел Гете, но он не сформулировал свою мысль достаточно четко.

[12] *Джами.* Избранные произведения. Л., 1978. С. 156.

[13] *Macdonald D.* Op. cit. P. 30.

момент наибольшего приближения ислама к христианству, — умереть насильственной смертью, будучи преданным анафеме. Массиньон считает, что Аль-Халладж «явно примерял себя к образу Христа».

Аль-Халладж таки добился своего: он был публично казнен в Багдаде за ересь (довольно редкий случай в истории мусульманства). Ему поставили в вину его слова «Я есть истина», посчитав, что он таким образом пытался возвеличить себя до высоты Бога. Он и вправду как будто цитирует Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14:6). На самом же деле Аль-Халладж хотел не возвеличить себя, а, наоборот, стереть свое «я», «заполнив» образовавшуюся пустоту Богом. Разве не о том же писал Хайям:

> К познанью Божества прямым путем идущий
> Чуждается себя и в Боге весь живет.
> Себя не признавай! Верь: Бог един есть сущий![14]

Примем мысль Массиньона о тяготении к христианству в исламе, как и о том, что наиболее полно выразил его Аль-Халладж, и все же не будем преувеличивать значение ни того, ни другого. Массиньон пишет, что Аль-Халладж не был одиночкой, что он имел определенное влияние в исламе. Действительно, сам Аль-Газали пишет о нем не без сочувствия, а философ Ибн Араби (1165–1240) — быть может, самый великий из мусульманских мистиков — так даже с пиететом. Но все это не может отменить того факта, что Аль-Халладж был и остается в исламе еретиком.

И, наверное, надо быть осторожным, сближая мистические воспарения мусульман с таковыми у христиан. Все-таки мистика тоже «окачествована» догматикой. Фактически это признает и Массиньон, когда пишет: «"Сердце" означает непрестанное колебание человеческой воли, которая бьется, подобно пульсу, под воздействием различных страстей — воздействием, которое должно быть стабилизировано Сущностным Желанием, устремленным к Богу»[15]. Между тем, представление о Боге у мусульман и христиан хоть и близкие, а все же разные.

У Ибн Араби (он был также поэтом) есть стихотворение (я читал его в переводе на английский и не буду еще раз переводить, а только передам суть): человек бредет по жизни, как в пустыне, исхоженной до него множеством ног, и каждая стопа его ложится в песок не так, как он того хочет, а как хочет Бог, о котором н и ч е г о нельзя сказать, а только почувствовать Его каким-то шестым чувством. Это апофатика, обязательная также и в христианстве, но здесь доведенная до предела, и детерминизм, не оставляющий места свободе.

Мистика — наиболее эфирная часть ислама, необходимая, как пишет Массиньон, для «интериоризации» религии, но далеко не всем мусульманам доступная, а ваххабитами, например, принципиально отвергаемая. Зато всех

---

[14] *Омар Хайям.* Рубаи. Л., 1986. С. 229. Кстати говоря, Хайям — не только поэтический, но и теологический гений, — на мой взгляд, вполне может послужить «Вергилием» в мире ислама.

[15] *Massignon L.* Mystique musulmane et mystique chretienne au Moyen Age. Roma, 1957. P. 29.

касается, так сказать, приземленная сторона мусульманства, где дело идет о политике, праве и т.д. Как в исламе соотносятся небесное и земное? С этим вопросом столкнулся сам Мухаммед, чья деятельность, как известно, распадается на два резко отличных периода — мекканский и мединский. Макдональд высоко оценил «мекканского» Мухаммеда, но резко отрицательно отнесся к его практически-политической деятельности в Медине, где тот повел себя, по его мнению, как обычный восточный деспот. Иначе оценил «мединского» Мухаммеда Массиньон: «Каждый его политический шаг, — пишет он, — представляет собою краткое размышление, где он соотносит то или иное конкретное дело с тем, что вера подсказывает его сердцу; при этом всегда готовый прислушаться к мнению других. Это человек, исполненный добродушия (mansuetude) и проницательности (finesse), находчивости и сдержанности; не признающий никаких иных авторитетов, кроме своей веры»[16]. Из сказанного следует, что Массиньон не отрицает исторической обусловленности тех или иных сторон шариата, aliter земного пути ислама («шариат» в переводе означает «путь»), за который цепко держатся традиционалисты, в частности те же ваххабиты.

При всех своих симпатиях к исламу, Массиньон не мог обойти стороной факт его враждебности по отношению к иудаизму и христианству. Массиньон объясняет это обстоятельствами, сложившимися изначально, так сказать ab initio. Измаил, от которого произошла арабская раса (чьей религией стал ислам), изначально чувствовал себя отверженным. Правда, Бог благословил его по молитве Авраама: «...О Измаиле Я услышал от тебя: вот, Я благословляю Его, и возвращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ» (Быт 17:20). А все же: «Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на другой год» (Быт 17:21). Чувство отверженности усугубляется тем, что Бог в исламе недоступен (то есть более недоступен, чем в иудаизме и христианстве); что, однако, не мешает мусульманам твердо верить в Него.

«История арабской расы, — пишет Массиньон, — начинается со слез Агари, первых в Священном Писании. Арабский — это язык слез; а именно слез тех смертных, которые знают, что Бог в своей сущности недоступен и что так должно быть. Если Он входит в нашу (мусульман) жизнь, то как Неизвестный, регулярно напоминающий о молитвенном часе и после ускользающий. Некоторые (мусульмане), по следам мистиков, находят путь к Соединению (с Богом), но это одиночки, бредущие в ночи»[17].

Раз уж речь зашла о слезах Агари, то можно представить, каковы были бы слезы Сарры, если бы она знала, что е е потомство почти две тысячи лет будет пребывать в рассеянии, а потом биться смертным боем за свою кромку земли, осаждаемую со всех сторон многочисленным потомством Агари.

Массиньон пишет также об «обиде», которую испытывают мусульмане, ощущающие, что христианство оказалось «привилегированной», в глазах Бога,

---

[16] *Massignon L.* La passion d'al-Halladj, martyr mystique de l'Islam. Paris, 1922. P. 725.

[17] *Massignon L.* Les trois prieres d Abraham. Paris, 1935. P. 24.

религией. Но тут надо учитывать время, на которое пришлись эти размышления. Это было время полного, казалось бы, торжества христианского (условно говоря) мира. Когда-то мусульмане ощутили на своих земных путях поддержку Неизвестного, и это придавало им крылья. В самом деле, были моменты в истории, когда ислам распространялся, как степной огонь, — хотя бы и посредством вооруженной силы. И все-таки успехи его всегда были частичными. Арабы отхватили половину Византийской империи, но обломали зубы об Константинополь. Османы добили империю, но обломали зубы об Вену. Но когда, на исходе Средневековья, а главным образом уже в Новое время, христиане (чем дальше, тем больше становящиеся таковыми условно) перешли в наступление, успех их был полным и, что важно отметить, казался окончательным. Практически в с е мусульманские страны стали колониями или полуколониями западных держав. Единственное исключение составила Саудовская Аравия — не потому, что западных колонизаторов смутило наличие на ее территории Двух Священных городов, а просто потому, что ее пески никого не заинтересовали (что под песками таится нефть, еще никто не знал). Если учесть, сколь органично политика входит в мировоззрение мусульман, можно представить, какое унижение все они должны были испытывать.

«Храбрый» Тартарен из Тараскона отправился в Африку охотиться на львов и встретил там только одного — безобидного «ручного» льва, которого по неведению и застрелил. Вряд ли А. Доде придавал этому эпизоду какую-то символическую значимость, и тем не менее она в нем есть: лев у арабов — символ мужественности и «тайного знания». Ни того, ни другого от них уже, кажется, никто не ждал.

Дункан Макдональд и Луи Массиньон были в числе редких европейцев, у которых «торжество победителей» не вызывало никакого восторга. Европа, лишенная «внутреннего света» (Макдональд), не заслуживала того, чтобы распространять свою власть на другие царства-государства. Оба исследователя считали, что мусульманский мир должен идти своим собственным путем, перенимая у Европы только то, что не нарушает его собственной цельности.

Но Массиньон сумел еще и заглянуть в будущее: мы находим у него прозрение, что мусульманский мир, напоминающий нам «об истинах, которые мы потеряли», может оказать обратное воздействие на Европу. Прозрение тем более удивительное, что в его время робкие признаки «возрождения ислама» еще не стоило принимать в расчет. Подлинное возрождение ислама началось с Иранской революции 1979 года, то есть много спустя после его смерти.

Массиньон пишет, что ислам — это «как бы побочная религия», которою Бог может воспользоваться, «к а к  м е ч о м» (разрядка моя). Замечательная мысль! Остается уточнить, как в этом контексте понимать слово «меч». Вряд ли Массиньон имел в виду какое-то новое кровопролитие. И уж точно нельзя подвести под названное понятие терроризм (который Массиньон и предвидеть-то никак не мог); это диавол (как бы его ни называть — Иблис или как-нибудь еще) увидел здесь для себя лазейку и немедленно ею воспользовался. Скорее всего, Массиньон имел в виду «меч

духовный» — удар которого мог бы «привести в себя» евро-американский мир.

Но это, конечно, оптимистическое предположение; возможны и другие. Поколения джихадистов, выросшие за минувшие десятилетия, именно кровопролитие ставят своей целью, мечтая о том, чтобы поставить на колени ни много ни мало весь евро-американский мир.

Это путь, мягко говоря, неплодотворный для самого мусульманского мира. Кровопролитие, повторяющееся в истории, — вещь более или менее однообразная; подлинное творчество истории есть творчество нового (такое ее понимание заложено уже в Библии), и создается оно не на полях битв, а на совсем иных полях.

# ХОЧУ НЕВОЗМОЖНОГО...

## (Из дневников)

**Май, 1976 г.**

...Захожу в церковь, в руках сумки с поминальной снедью. Служба только что закончилась. Догорают свечи, посередине стол, заставленный кутьей, хлебом, сахаром. Поминальная суббота. Отыскиваю глазами того, кто не оттолкнет, примет и помолится... Может быть, вот эта? Закутанная в несколько платков, сгорбленная старуха, в очках с толстыми стеклами. Подхожу к ней, протягиваю батон и невнятно бормочу: «Помяните отца моего Исаака...» Она берет батон, быстро крестится и, не говоря ни слова, семенит к выходу. Не расслышала имени? Выбираю следующую: пожилую женщину с усталым морщинистым лицом, сую ей банку сгущенки. «Помяните...» — шепчу я, презирая себя за этот дрожащий панический шепот.

«Кого?» — переспрашивает она.

«Исаака...»

«Еврей?!»

«Да...»

«Господи, спаси и помилуй!» — она шарахается от меня и, осеняя себя крестным знамением, пятясь назад и заикаясь от негодования, отчитывает за совершенное святотатство. Я застываю посередине церкви с банкой сгущенки в протянутой руке. В сумке еще макароны, апельсины, рыбные консервы. Все это надо раздать, чтобы помолились за душу моего папочки. «Может быть, не будут спрашивать — еврей или нет», — сказала мама. Подавать в алтарь записки «За упокой» с именем папы нельзя. За него можно молиться дома или в храме, но мысленно. А в алтаре — нет. Он некрещеный.

Я делаю еще одну попытку. Вот старик. Лицо апостола. Он любит всех. Для него нет ни эллина, ни иудея. Я ему дам апельсины, он их, наверное,

---

**Ирина БРОДСКАЯ** — родилась во Владивостоке. Закончила факультет журналистики Московского государственного университета и аспирантуру Киевского университета. Кандидат исторических наук. Работала в редакциях газет, преподавала в вузе на Украине. С 1993 г. живет в Германии. Читает лекции по истории мировой духовной культуры. Преподает русский язык, историю России и русского искусства в школе для детей российских эмигрантов. Режиссер-постановщик театра «Хавейрим» («Товарищ») в Оснабрюке, на сцене которого идут спектакли, написанные по ее сценариям. Автор книг «Поклонник истины святой» (М.: Русский путь, 1999), «Молитва о Пушкине» (М.: Изд-во Правосл. ун-та, основанного пр. А. Менем, 2005) и др.

никогда не ел. «Помяните, пожалуйста, отца моего Исаака... Он очень хороший был... он был морским офицером...» Старик минуту смотрит на меня, потом отводит мою руку в сторону и говорит: «Не буду». Лицо «апостола» темнеет, а в глазах столько всего, что теперь шарахаюсь я...

Прежде чем выйти из храма, подхожу к «своей» иконе — Владимирской Божьей Матери. Опускаюсь перед ней на колени, долго с мольбой смотрю на нее... И, как всегда, мне кажется, она *в с е* понимает. Она все про меня знает и про моего папу тоже. И она молится за него *с а м а*. И я верю во всесильность ее молитв у престола Всевышнего. Я плачу... не от обиды, не от гнева, — от радости, что она есть. Темно-вишневые еврейские глаза Девы Марии, вобравшие в себя всю вселенскую скорбь, излучают то, чему нет названия на языке землян. Ни на одной иконе нет таких глаз. Эти глаза усмиряют мою гордыню, будоражат мою совесть, исцеляют мои недуги. Я всегда от них отворачиваюсь, когда в душе ад... Сейчас я молю об успокоении и нахожу его.

...Выхожу из церкви и раздаю всю снедь пьяным синюшным теткам, заполнившим прицерковный двор.

**Апрель, 1990 г.**

Впадаю то ли в ересь, то ли в смертный грех. Одолевают крамольные мысли. Почему западный проповедник не может нести слово Божие в России? Какая разница, с Востока он или с Запада, этот умный, образованный католик, говорящий только об одном — о Христе. Разве поиски Божественной истины можно изолировать, замкнуть в пространстве, даже если это пространство — твое Отечество? Разве апостолы проповедовали только у себя на родине? «Истина выше родины» (философ Мераб Мамардашвили).

...Перестала воспринимать косноязычные проповеди священников, вещающих об исключительности православия и о несметных его врагах.

Слово «экуменизм» — бранное для «истинно православных христиан», для меня означает контакт и терпимость.

На днях во всеуслышание заявила, что православная церковь заражена антисемитизмом, и первая ужаснулась сказанному... Духовная литература, которая мне попадается, кажется националистической, примитивной и не только не отвечает на вопросы, а, напротив, разжигает вольнодумство. С произведениями русских философов почти не знакома, достать их трудно. До недавнего времени для России они вообще не существовали. Случайно купила книгу митрополита Антония Сурожского «Беседы о вере и Церкви». Читаю запоем. В магазине религиозной литературы на ул. Репина в Киеве на вопрос: «Есть ли у вас что-нибудь отца Александра Меня?» — три высоких бородатых парня с лицами древних русских князей отчеканили не без злобы: «*Т а к о е* не держим».

А отец Александр служил под Москвой, в Новой Деревне. И я часто, в течение двух лет, с 86-го по 88-й, ездила мимо станции Пушкино в Загорск, где неподалеку служил в армии мой сын, московский студент. И, наверное, в эти воскресные дни в электричках были и те, кто выходил на станции Пушкино, чтобы встретиться с ним, услышать его. А я проезжала мимо... мимо самого важного и ценного, что только может быть в жизни. Господь не сподобил...

**Июнь, 1994 г.**

«Ты простираешь руку Свою грешникам, и десница Твоя простерта навстречу кающимся...» — молитва на праздник Йом-Кипур (День искупления).

— Скажите, отец Владимир, я могу посещать синагогу? Ну хотя бы в день поминальной молитвы?

— Можете... Читайте во время богослужения псалмы Давида. Ими молился Христос. Только... не говорите никому, что я благословил вас на эти хождения.

Отец Владимир похож на Чехова. Он долго и внимательно смотрит на меня, и глаза его под овальными стеклами улыбаются, но голос строгий:

— Православие не забывайте!

Мы сидим в его маленькой комнате, где много икон и книг. Одна из целей моего приезда из Германии на Украину — встретиться с ним. Рассказываю ему о своей исповеди в Киево-Печерской лавре. Молодой священник наставлял меня на незамедлительный развод с мужем, если «этот еврей не покрестится и вы не обвенчаетесь».

— Это исключено для вас? — спрашивает отец Владимир.

— Да... Это исключено... Он этого не сделает...

— Тогда живите с ним в любви, молитесь за него, и Бог вас не оставит.

Хожу по киевским монастырям. Они разные. И дышится, и молится в них по-разному. Как не похожи эти полуголодные инокини, часто сумрачные, малоразговорчивые, живущие в тесных своих кельях, на улыбчивых католических монахинь Запада, лихо разъезжающих на велосипедах. Каждая из них несет на себе отпечаток своей страны и своей обители, у каждой свое служение, свое приобщение к великой тайне монашества.

...Это неправда, что я изменилась и постепенно предаю православие. Я знакомлюсь с западной церковью, и знакомство это волнующе. Но — как приговор звучат слова преподобного Феодосия Печерского: «Не подобает хвалить чужую веру. Хвалящий чужую веру все равно что свою хулит». Но почему не похвалить, если есть за что? Средние века, включая XI, когда преп. Феодосий писал это князю Изяславу, — период безобразный в истории католической церкви, но и в истории православной церкви не все страницы розовые...

Я люблю русскую церковь, ту сокровищницу православного духа, что издревле была наполнена тайнами Богопознания, все то чистое, искреннее, гармоничное, порой необъяснимое, радостное и аскетическое одновременно, все, что от Сергия Радонежского и Серафима Саровского, все то, что заставило Владимира Соловьева, тяжело переносившего раскол христианского мира, вернуться с Запада «еще более православным, чем он был».

Но значит ли все это, что без православной церкви спастись невозможно, что только она — истинна и угодна Богу, что вне ее — любви нет и быть не может? Где она, эта любовь? С амвона звучит откровенная злоба ко всему, что не является православным, и повсюду ищутся враги, и везде мерещится Антихрист — в масонах и евреях, в сочинениях религиозных русских философов, в кредитных карточках, которые не что иное, как «пе-

чать самого Антихриста». И страх перед ним затмевает любовь к Христу и упование на Него...

Чего же не хватает «исключительному православию»? Может быть, внутренней свободы, духовной энергии и высокого интеллекта русских религиозных мыслителей, западной цивилизованности? Не хватает уважения и терпения к чужому, отличному от него самого, не говоря уже о любви, той самой любви, на которой и зиждется гармония с Богом?

**Сентябрь, 1994 г.**

Иерусалим. Стена Плача. Уткнувшись в нее, молюсь вместе со всеми. И никто не отнимет у меня этого чувства — чувства сопричастности к людям, облепившим стену, к этим миллиардам слез, пропитавшим за тысячелетия мощные камни ограды некогда существовавшего Второго Храма.

Господи! Помоги мне понять! Почему мне так хорошо и надежно у этой Стены, мне, исповедующей православие? Древняя кровь отца напоминает о себе? Но мне хорошо и надежно не только здесь, но и в крохотной церквушке Рождества Богородицы в Путинках в Москве, и в бедной часовне на Крите, и в первозданной тишине древней католической церкви... Радостно и легко от предчувствия, что Ты здесь и Ты там. И мне так хорошо с Тобой и здесь, и там...

А может быть, все это потому, что у нас один Бог и законы, которые даны иудеям и христианам, тоже одни и те же! Достаточно почитать Тору, псалмы и Нагорную проповедь, чтобы убедиться в том, что Всевышний и от тех, и от других, и там, и здесь ждет одного и того же! Любить друг друга, делать друг другу добро, не желать другому того, чего не желаешь себе... И сам Христос об этом говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков...»

Вот чего нет в иудаизме — Христа! Божественного Разума, явившегося на землю с человеческим именем, Христа и Его великой жертвы... Христа, который и есть сама Любовь во плоти...

...Брожу по раскаленным улочкам старого города и думаю о том, что все дороги ведут не в Рим, они ведут в Иерусалим. Вечером читаю творения Святых Отцов. «Если бы кто убил твоего сына, скажи мне: ужели ты мог бы смотреть на такого человека, слушать его разговор?.. Иудеи умертвили Сына твоего Владыки, а ты осмеливаешься сходиться с ними в одном и том же месте? Умерщвленный (Иисус Христос) почтил тебя так, что сделал своим братом и сонаследником, а ты столь бесславишь Его, что уважаешь убийц и распинателей Его и угождаешь им участием в их праздниках, ходишь в скверные места их собраний». Иоанн Златоуст. Великий учитель и бунтарь.

Вспоминаю себя у Стены Плача и ощущаю почти физически, как беспомощно и жалко вжимаюсь в эту Стену, словно в поисках защиты. Или... следовало отшатнуться?!

О том, что евреи повинны в смерти Христа не более, чем греки в смерти Сократа, что рядом с теми, кто кричал «Распни его!», стояли и те, которые рыдали, и — вообще, распинали не евреи, а римляне, — много сказано. Я о другом. О том, что дается намного труднее, чем ненависть. О смирении, все-

прощении и любви. Тот, Кого распинали на Голгофе, не смотрел на своих мучителей с гордостью и презрением, не взывал к отмщению. В самой безропотности этой, в самой жертве жила грядущая победа над злом, над тьмой, над смертью.

Святые Отцы толковали Евангелие — радостную весть от Христа для нас. Но в *этом* толковании Христа, как мне кажется, нет... Иоанн Златоуст сказал об апостоле Павле: «Хотя он и Павел, но все же он был человек». Иоанн Златоуст тоже был человеком... Значит, мог ошибаться.

Наверное, у людей свои понятия и своя правда. А Божественная правда иная. И, может быть, она в том, что диалог Творца со своим народом, начатый еще с Авраама, трудный, жесткий и обнадеживающий, никогда не прерывался, даже в часы страшных мук Его Сына. И через этот диалог прослеживается связь Неба со всем человечеством.

**Август, 1998 г.**

Приезжает сестра из Нью-Йорка с 11-летним сыном. Путешествуем по городам северной Германии. Ни в один костел мой племянник не заходит.

— Мне нельзя, я еврей...

— А ты воспринимай эти храмы как памятники зодчества. В Кельн поедем... Кельнский собор — шедевр мировой архитектуры. Неужели не зайдешь?

— Нет... Христиане — язычники. Разве можно Бога лепить, вырезать из камня? Разве Бог — это дедушка с длинной бородой, каким его рисуют на иконах? Человек не может изображать ни Бога, ни человека, ни животных.

— Поэтому древние евреи не оставили ни изображений, ни скульптуры, в отличие от других народов.

— Зато они оставили Библию...

Да, они оставили Слово, «которое было в начале и которое было у Бога, и слово это было Бог». И перед э т и м меркнут не только рельефы древних египтян, древнегреческая скульптура, но и все мировые открытия. Евреи оставили свои идеи, одна из которых гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу». Потому что резец скульптора и кисть художника бессильны воссоздать великое творение Всевышнего — человека и его дух. И тем более создать образ Высшего Разума, таинственную, запредельную и недостижимую Реальность.

Все так... И все... не совсем так. Да, истинный Творец — Бог. Но и человек создан как творец, как личность, предназначенная творить дальше вместе со своим Создателем. И душа человеческая не творить не может. Это то необъяснимое состояние творческого духа, которое не ограничишь ни разумом, ни законом. Видимо, эта жажда творения заставляла Марка Антокольского, скульптора XIX века, идти против заповеди своих отцов и воплощать в мраморе любимый образ — Иисуса Христа. На вопрос, как он, еврей, может заниматься пластическим искусством, Антокольский отвечал: «Я еврей и останусь им навсегда. Но я боготворю Христа не меньше вашего...»

Как известно, наряду с творчеством великим и истинным существует и разрушительное, лишенное красоты и гармонии. В современном «религиозном искусстве» примеров таких немало. И на вопрос правоверного еврея:

«И вот *этому* вы поклоняетесь?!» — хочется поспешно ответить: «Нет, этому мы не поклоняемся». Мы поклоняемся другому. Если образ, созданный в красках или в мраморе, проникает вглубь твоего сердца, если перед ним хочется встать на колени, если он вызывает в тебе особое мистическое чувство и преображает тебя — значит, он сотворен по воле Творца. И тогда происходит чудо. Ты видишь то, чего нельзя видеть.

Когда говорят, что, увидев «Троицу» Андрея Рублева, можно сразу поверить в Бога, то это действительно так! Совершенная чистота, удивительная гармония и вселенское согласие трех ангелов были даны свыше. Они пришли в стены маленького монастыря, затерявшегося в лесных чащобах, из космоса, и молодой чернец сотворил то, что повелело Небо.

Когда обессиленный, голодный 24-летний Микеланджело, завершив свой труд — Деву Марию с мертвым Сыном на руках, встал перед собственным творением на колени и молился, то он имел на это право. Ибо это уже было не его творение; здесь уже присутствовал Бог.

...Поражает неожиданная мысль. Многие шедевры мирового искусства созданы в лоне христианства. И среди создателей этих шедевров еврейских имен нет или почти нет. Конечно, были и есть прекрасные еврейские художники, композиторы, писатели.... Сколько таких творцов породила эпоха авангарда в искусстве, да и весь XX век! Но титанов среди них не было. Не было Леонардо да Винчи, Рафаэля... Наложив запрет на создание живых образов в искусстве, оставив это поле невозделанным, еврейский народ породил титанов в другом: он дал величайших пророков, философов, ученых.... А одни из лучших творений мирового искусства остались за теми, кто возлюбил Христа...

**Сентябрь, 2000 г.**

Пишу сценарий вечера, посвященного памяти отца Александра Меня, к 10-летию его гибели. Все вокруг советуют не наломать дров. «Не забывай, в какую аудиторию ты идешь». Аудитория — в основном вчерашние советские евреи, мало что знавшие о себе в той, прошлой жизни. Здесь, в Германии, они стали жадно познавать свою историю, религию, радостно, со вкусом отмечать религиозные праздники. Годы, жизнь, время превращают еще недавних атеистов в сомневающихся, интересующихся, поверхностно религиозных.

Несколько лет я читаю в этой аудитории цикл лекций по истории мировой духовной культуры. Лекцию об Александре Мене «заказывали», ее ждали. И все же мы, организаторы вечера, я и писатель Феликс Ветров, считающий о. Александра своим духовным отцом, волнуемся... Мы оба — «не совсем чистокровные евреи» и православные по вероисповеданию, но об этом мало кто знает.

Встревоженная предостережениями, я ломаю голову, как сделать так, чтобы этот вечер памяти не превратился в дискуссию.

Неожиданно приезжает В. Д., моя приятельница. Обычно о наших философских посиделках мы договариваемся заранее. Но я понимаю: она приехала меня предостеречь. Внезапно разразилась непогода. За окном захлестал дождь, забился в конвульсиях ветер, и мы сидим в полутемноте.

— Александра Меня покарал Бог. За измену вере отцов.

— Я это уже слышала. Только от христиан... Бог покарал за то, что еврей осквернял своим присутствием храм.

— Наши старики говорят, что верить в Христа и оставаться при этом евреем невозможно.

— Почитай Евангелие...

— Я читала о крестовых походах, о погромах и газовых камерах... Я имею представление о христианстве и о том, что оно принесло евреям.

— Такие христиане предавали не только евреев, но и Христа...

— С именем Христа христиане рвали свитки Торы!

— А с именем Аллаха уничтожаются православные храмы, статуи Будды, взрываются школы и жилые дома... Но Аллах не имеет к этому никакого отношения! И потом, уж так ли хорошо нынешние евреи знают Тору?

— А что толку, что христиане знают Евангелие? Они становятся от этого лучше? Кто из твоих знакомых православных тайно или явно не заражен антисемитизмом? Да ты сама испытала это на себе...

Увы... И не один раз. В той, советской жизни меня, выпускницу МГУ, не брали в областную партийную газету, и главный редактор доверительно и сочувственно шептал мне: «Ты сама понимаешь... Отец твой еврей... и их там, наверху, не прошибешь».

Здесь, в Германии, я не могла бы стать членом еврейской общины, поскольку негалахическая еврейка, т.е. мама моя — русская. Дискуссии по поводу «негалахических евреев» трясут нынешнюю еврейскую общественность. «Чистота рядов» может быть обеспечена только без «евреев с русскими мамами». «Не пускать в Германию тех, у кого мамы русские! И вообще еврейские общины — это место только для религиозных евреев!» Как будто бы в печах, в газовых камерах, в Бабьем Яру и в белорусских деревнях не погибали те, кто не был религиозен или имел нееврейских мам...

— Еврей, не знающий Христа, но живущий по Его заповедям, ближе к Нему, чем христианин, ненавидящий еврея... Потому что антисемитизм — грех против самого Бога, — говорю я.

— Сколько уже перепето на эту тему!.. Впрочем, евреям действительно следует гордиться таким сыном, величайшим из пророков, но пророков смертных...

— «...Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы...»

— Пастернак... Я знаю, знаю, Мандельштам, Галич и другие... Что заставило их принять христианство? Оно было для них более привлекательным, чем иудаизм ?

— Иисус Христос для Пастернака очень много значил. Он восхищался им, он любил его... И вопрос: почему евреи ушли от Христа, мучил его всю жизнь. Почему эту душу, такую высокую и прекрасную, не поняли его соплеменники, почему учение, которое родилось на еврейской земле, не принял народ, который Пастернак тоже страстно любил, к которому сам принадлежал. Любил и страдал вместе с ним, пытаясь понять, почему так трагична история этого народа... И рассуждал устами одного из своих героев: может, одна из при-

чин — в его замкнутости, духовной изоляции от остального мира? Он всегда считал, что узкие националистические идеи пагубны для любого народа...

По сей день ни евреи, ни православные не могут простить ему этих слов: евреи — первые и лучшие христиане мира! Только бы им не сбиваться в кучу! Только бы они были со всеми!

Вера Василевская, тетя отца Александра Меня, писала, что тоска по христианскому мироощущению присуща многим евреям.

— Истоки этой тоски в основном понятны. Евреи должны были выжить, а принятие христианства давало такую возможность.

— Времена маранов и инквизиции давно прошли, а в советской России слово «церковь» было не менее ругательным, чем «синагога».

— Тогда в чем секрет бессмертия евреев? Почему этот народ сохранил себя среди других народов, культур, цивилизаций? Благодаря Божественной избранности?

— Да... Бог открылся еврею-пастуху, а не великим мыслителям Древней Греции, например... Потом воплотился в человеческой истории и опять же среди евреев... А что касается выживаемости... то русские тоже выжили, не растворились в этой кровавой каше своей истории... Философ Иван Ильин называл это духовным терпением нации... Вот таким духовным терпением обладают и евреи...

Я часто думаю, как этот народ, перенесший Холокост, остался верен Богу, не возопил в гневе к Небу....

— Но почему все-таки Бог допустил Холокост?! Никто толком ответить на этот вопрос не может!

— Наверное, потому, что это вопрос Божественный, а не человеческий...

— А возможно ли, что мой народ еще не выполнил до конца предназначенную ему великую и таинственную миссию? Может быть, еще все впереди...

— Может быть... Великая миссия... Православная Россия тоже считает, что призвана выполнить такую миссию и спасти человечество... Кто знает... Владимир Соловьев писал, что идея нации — это не то, что она сама о себе думает во времени, а то, что думает о ней Бог в вечности...

...Дождь прекратился, ветер утих. В.Д. уехала, пожелав мне «быть умницей и не демонстрировать откровенно свои религиозные воззрения». «Тем более, — добавила она, — что *все это* для большинства — сиюминутный интерес. Мало для кого вера — суть жизни. Это всего лишь часть жизни, у кого маленькая часть, у кого побольше, но не ее целое».

Так оно есть... Религия (Вера) — и по сей день, и даже больше, чем когда-либо, — одна из форм общественного сознания. Надстройка. Не базис. Не начало всех начал. Не высшая точка отсчета всех человеческих ценностей. Не мера всех вещей — таких, как экономика и политика, наука и искусство, война и мир, любовь и ненависть... А посему мы и имеем то, что имеем, признав всем миром незыблемость и несокрушимость давно известного материального базиса...

Вечер памяти отца Александра Меня прошел так, как мы хотели. После было и непонимание, и непринятие, но все это не коснулось того общего

целительного духовного состояния, в котором мы все находились. В зале плакали, когда звучал «Реквием» Моцарта, и с экрана обращался живой отец Александр, царственно красивый и по-библейски мудрый: «...Когда вы творите добро, когда вы любите, когда вы созерцаете красоту, когда вы чувствуете полноту жизни, Царство Божие уже коснулось вас...»

**Май, 2001 г.**

Звоню в Киев старой приятельнице.

— Ты слышала? К нам приезжает римский папа!

— Прекрасно!

— Что?! Вся православная Украина молится, чтобы этого не случилось!

— ?! Неужели вся?

— Да, да! Зачем нам этот непогрешимый папа, этот наместник Бога на земле?

— К вам едет Иоанн Павел II! Что вы вообще о нем знаете?!

— Знать не желаем! Дружба с еретиками дело грешное и опасное! Он и едет только потому, что православие наше им всем поперек горла! Но наша церковь стояла и будет стоять и врата ада не одолеют ее!

Мы еще долго препираемся, в заключение слышу: «Запад и богоотступническая страна тебя окончательно испортили»...

Итак, едет гость, не совсем званный и далеко не всеми желанный. Едет Иоанн Павел II, больной и старый, пытающийся привести современный порочный мир к евангельскому учению. Едет христианин к христианам... И в который раз срабатывает старое, как мир, чувство страха перед *ч у ж и м*, непринятие чужого. А тут не просто чужой — враг, «посягающий на нас, на нашу веру, на наши церкви».

И те, кто не желают никаких контактов с католическим миром и не страдают ностальгией по былому единству святой апостольской Церкви, знают, что надо делать. Вооружившись «нашими» иконами, с любовью к вере наших отцов и нелюбовью к вере отцов чужих, идут на защиту своих святынь. И вот уже рождается толпа, которая начинает жить по своим законам. Ей чужды попытки что-то понять, в чем-то засомневаться. Она в гневе... Женщины плюют в портреты старика в белой «не нашей шапочке», а детвора победно размахивает иконами...

И этой детворе, и этим женщинам с детства внушали, что «еретик» — слово ругательное, и слово «католик» тоже ругательное, и оба они означают одно и то же.

**Июнь–август, 2003 г.**

Умерла мама... Она умирала с твердой верой в Господа и надеждой на Его милосердие. Она была истинной христианкой и всегда напоминала ребенка своей чистотой, наивностью и доверчивостью...

Урожденная дальневосточница, православная, вышедшая замуж за морского офицера, еврея, она похоронена на немецком католическом кладбище.

Как не хотела она ехать в Германию! Как плакала! «Там нет православных церквей! Где я буду причащаться?» Священники, один за другим, кача-

ли головами: «Упаси вас Бог переступить порог католической церкви!» А отец Владимир сказал: «Если не будет поблизости православного храма, посещайте католический... только, пожалуйста, не говорите никому, что я вас на это благословил».

Неподалеку от нашего города оказался сербский храм, и мама часто посещала его. А потом здесь стал служить священник из России.

Мама умирала в госпитале Святого Франциска. Ее соборовал русский батюшка, а рядом стояли две католические монашки и молились. И когда она умерла, они стояли вместе со мной у ее кровати, молились и утешали меня...

Хожу по богадельням киевских монастырей, раздаю мамины вещи. Молюсь за нее.

...Закончилась служба в Покровском соборе. Я всегда любила этот собор, мне не было тяжело выстаивать здесь службы, я часто выходила отсюда, переполненная особой духовной радостью.

Вот и сейчас, иду, одухотворенная, сквозь ряды торгующих книгами, кассетами, иконами, разложенными прямо на земле. Рядом с проповедями митрополита Антония Сурожского — фильмы о папе Иоанне Павле II. Читаю аннотацию. Кто такой нынешний римский папа? Тот, кто «не гнушается переступать порог синагоги и мечети, кто прокладывает дорогу Антихристу...».

«А что? Действительно папа — Антихрист, — говорит стоящая рядом женщина, — что творит! Что творит!»

Да уж, натворил много, этот философ, поэт, интеллектуал, приветствующий верующих на 62 языках... Побывал в 129 странах. Сходил с трапа самолета и тут же целовал новую для него землю... Совершил самое беспримерное и мужественное путешествие длиною в 2000 лет — в Большую синагогу в Риме. И просил прощения у евреев за все мировое зло, им причиненное, и посетил мечеть, и снимал обувь, как все, как положено, прежде чем переступить ее порог...

«А знаете, — говорю я невпопад, — он очень любит песню "Вставай, страна огромная" и плачет, когда ее слушает». Женщина смотрит на меня, как на умалишенную.

Еще фильмы... О том, что Холокоста не было, что евреи по-прежнему вынашивают идею погубить православную Русь, и т.д. и т.п...

Списать все это на элементарное невежество? Не обращать внимания? Забыть? Перечеркнуть?.. Вечером в кругу родных и знакомых, вполне образованных и далеко не невежественных, делюсь впечатлениями. Читаю «Откуда эта злоба?» — из книги «На путях к Богу живому» священника Георгия Чистякова. Книгу эту очень люблю и специально привезла в Киев. И не нахожу ни понимания, ни поддержки.

Мрачно мне в моем Киеве...

**Октябрь, 2003 г.**

По дороге из Берлина в электропоезде знакомлюсь с чеченскими беженцами. Он — ветеринарный врач, она — учительница, рядом ее младшая сестра, высокая, худая, с перепуганными глазами. Сначала настороженно,

потом все более откровенно рассказывают о том, что пережили. ...Чего только не находили они в своем огороде под Грозным: оторванные руки, ноги... Соседский дом, где жила семья из девяти человек, включая 7-месячного ребенка и 80-летнюю бабушку, разбомбили. На второй день — сообщение по телевизору: в деревне уничтожено 9 боевиков...

Почему молчит Русская православная церковь?! Почему не скажет «Нет!» чеченской войне?! Молчит, потому что не может? Или не хочет?! «Церковь должна быть подле государя, напоминать ему о его долге перед Богом и людьми, она не должна допускать, чтобы государь нарушал заповеди Божьи...» — поучал средневековый киевский митрополит Никифор. И спрашивал князя Владимира Мономаха: «Все ли ты сделал для своего народа? Не слышен ли от твоих дел детский плач? Не затевал ли ты ненужной войны?»

...Не проходит и двух месяцев, а я уже опять скучаю по родине. Хочу в маленькую русскую церковь, чтобы свечки стояли в железных подсвечниках, чтоб на чисто побеленных стенах тускло поблескивали старинные иконы, обрамленные беленькими кружевами, чтоб несколько старушек тоненько пели «Благослови, душе моя, Господа», а старенький священник говорил о любви и Христе...

Так было в юности. Я ездила в такие далекие деревенские церкви причащаться, чтобы никто меня не увидел... То особое благоговейно-радостное состояние осталось как воспоминание.

...Стою в сербском храме и по старой советской привычке испуганно оглядываюсь, если стукнет дверь... И каждым поворотом головы предаю Христа...

Рассказываю на лекции об Эдит Штайн. Ученый, философ, педагог, автор 12 томов научных исследований. Она же — Терезия Бенедикта, монахиня ордена кармелиток в Кельне, она же сожжена в газовой камере Освенцима как еврейка.

Еще до войны она просила об аудиенции папу Пия XI. Ей хотелось поговорить с ним о той страшной нацистской угрозе, которая нависла над евреями Европы. В 1938 году настоятельница монастыря оповестила власти о «неподходящем» происхождении сестры Терезии. Бегство в один из голландских монастырей ее не спасло: нацисты нашли ее и там.

Иоанн Павел II назвал ее выдающейся дочерью Израиля и верной дочерью католической церкви. И причислил ее к лику святых. За 2000 лет святых евреев у католической церкви еще не было.

Эдит Штайн писала: «Наша мера любви к Богу — это любовь к людям». Что можно на это сказать? Ничтожна наша мера...

**Октябрь, 2004** г.

Рассказываю детям своего русского клуба «Умники и умнички» о еврейском празднике Сукот. Я им всегда рассказываю обо всех больших религиозных праздниках: христианских, еврейских, мусульманских. Воспитываю таким образом религиозную толерантность. Вывожу на доске: Авраам, Мои-

сей, Будда, Иисус Христос, Мухамед. 7-летняя Леночка, из строго ортодоксальной еврейской семьи, выводит печатными буквами все имена, кроме имени Христа. «Я ЭТО СЛОВО писать не буду!»

«Знаешь ли, Леночка, — говорю я, — чтобы стать культурным, образованным и добрым человеком, надо все, все знать...»

Католику ближе православный, чем протестант, православному не так страшен мусульманин, как католик, а Центральному совету евреев Германии намного дороже еврей-атеист, нежели еврей-христианин. Против первого, желающего переселиться в Германию, он возражать не станет, а против второго!.. Так и живем.

**2 апреля 2005 г.**

Такое чувство, что потеряла близкого человека... Если бы христианское духовенство состояло из Александров Меней и Иоаннов Павлов II, мы бы жили в другом мире!

...А встреча на Москве-реке так и не состоялась. Горько и стыдно...

**Май, 2005 г.**

Мнение авторитетного ортодоксального иудея: двухтысячная история христианства развивалась успешно и смогла донести до народов мира важную часть Синайского откровения. В христианском учении бесспорно содержатся «искры Божественного света». К «искрам» относятся: примат общечеловеческих ценностей над национальными, использование разнообразных эстетических средств воздействия на человека, страстные и эмоциональные проповеди.

В ортодоксальном иудаизме эти «искры» утеряны, поэтому многие евреи переходят в христианство. Оказывается, так все просто! Зашел еврейский человек в храм, увидел красоту небывалую, насладился органной музыкой, послушал вдохновенное слово проповедника, обращенное не к замкнутому пространству, а ко всему миру и... решил перейти в христианство.

**Июнь, 2005 г.**

Общенациональный диалог с Богом — такова идея Балтиморской декларации, появившейся года два назад в Америке. Христианские богословы и ученые религиоведы определили современные аспекты отношения христианства к иудаизму. Одна из главнейших обязанностей современной теологии, считают они, пересмотр христианского учения об иудаизме и еврейском народе. Похоже, христиане, и в первую очередь западные, быстрее заговорят с иудаизмом на языке дружбы и взаимопонимания, нежели православные с католиками.

**Август, 2005 г. Киев**

Обещаю себе: ни слова о политике и религии! Не получилось... «О дружбе с католиками и речи быть не может! Они для нас всегда еретики! Они хотят дружбы? Знаем мы эту дружбу! У них одна цель — переманить на свою сторону людей, забрать наши церкви. Козни и заговоры!»

Ох уж этот общемировой синдром: повсюду видеть заговоры! Ну до чего ж упорные эти католики! Как со времен Чудского озера размечтались окатоличить Русь, так и по сей день не могут успокоиться. Им мало африканских папуасов...

«Да и потом, не до них сейчас Русской православной церкви, у нее самой забот хватает»... А может ли быть, чтобы истинному православию было не до чего-то? Тем более если речь идет о дружбе с христианами, которых около миллиарда? Можно ли представить себе, что кто-нибудь пришел к Серафиму Саровскому с миром, а тот говорит: «Не до тебя мне сейчас...» А то, что католические христиане хотят мира с православными, — это всему миру понятно, опять же кроме Руси...

Некоторые православные богословы, да и не только они, твердят нынче о том, что западное христианство претерпевает кризис, что все христианские ценности разрушены, что Запад погряз в грехах, здесь вовсю правит бал сатана, а католическая церковь осталась как традиция — для крещения, венчания и похорон. Церковь упустила Европу и теперь бессильна что-либо сделать. Одним словом, Запад забыл Бога. Наверное, так оно и есть.

Ну а разве сегодняшняя Россия менее грешна? Разве ксенофобия, национализм, антисемитизм — это не грехи? Здесь тот же кладезь грехов, что и на Западе, — наркомания, гомосексуализм и многое другое, только в собственном российском варианте. И Русская церковь так же, как и Западная, не в силах этому противостоять. Расписанные золотом храмы, пышные богослужения, освященные куличи и яблоки, празднично декоративное почитание смиренного плотника из Назарета еще не свидетельство того, что ОН — внутри нас. «Не нужен будет Богу ваш храм, если вы туда приходите без очищенного сердца» (пророк Иеремия).

И, может, пора заканчивать с «перегородками, которые до Бога не доходят» (справедливое известное выражение!), а взяться всем христианским, да и не только христианским церквам вместе исцелять мир?

**Сентябрь, 2005 г.**

Журналист Дарья Асламова: две церкви-сестры, а какие разные характеры! Католицизм — это дисциплина, краткость и сухость латыни, рассудок и мистика в одном флаконе, а православие — это крик к Богу, страсть, неуступчивость, почти сладострастное (?!) раскаяние, молитвы, звучащие иногда с суровостью проклятия.

А по мне, так многое прекрасно: и лаконичность латыни, и отчаянный вопль православного к Богу, и мелодичное звучание органа, и русская мощь монастырского хора, и резные деревянные скамьи в католических храмах (во время службы можно сидеть, но есть и время, когда нужно стоять), и многочасовое и терпеливое стояние на старческих узловатых ногах православного люда...

**Октябрь, 2005 г.**

Есть у меня большой друг — Маркуша. Ему 7 лет. Глаза у него коричневые, в желтую крапинку. Очень серьезный человек. Знакомясь, он протя-

гивает руку и говорит: «Марк Гельман, философ». Мы часто разговариваем на религиозные темы.

— А вообще, зачем так много богов? У тех свой и у тех свой... И те убивают этих, а эти убивают тех, и каждый своего Бога в помощь зовет! Такие глупые взрослые... Есть же один Бог!

— Так ты предлагаешь все религии соединить?

— Зачем?! — Глаза у Маркуши распахиваются, и каждая крапинка видна отдельно, — зачем соединять? Я этого себе просто не представляю!

Маркуше хочется мировой гармонии, и мне хочется Маркушиной гармонии, наивной и чистой... Но современный мир вполне обходится без такой гармонии. Из-за накопленного веками умения *не любить* друг друга в мире не происходит ничего невозможного... Люди, славящие единого Живого Бога и исповедующие в церквах, синагогах и мечетях Его великие и простые истины, продолжают не знать, не понимать, не любить и проливать кровь друг друга... Справимся ли мы сами со всем этим?

— Маркуша, что делать с миром?

— Как что? Ничего мы сами не сделаем!

— Тогда мы все погибнем!

— Как это погибнем?! Да это просто невозможно! Во-первых, Он нас любит!

— А во-вторых?

— А во-вторых, мы тоже должны Его полюбить!

И тогда невозможное станет возможным...

# ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
## в зеркале прессы
### (Март – май 2006)

*(Краткий обзор)*

## X Всемирный русский народный собор

В начале апреля в храме Христа Спасителя прошел юбилейный X Всемирный русский народный собор под девизом «Вера. Человек. Земля. Миссия России в XXI веке».

«Темой ежегодного общественно-религиозного форума фактически стало осуждение основного постулата современной западной цивилизации — Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года», — пишет **Кирилл Василенко** в газете **«Время новостей»** (05.04 2006).

С ним солидарен **Сергей Бычков**, который в **«Московском комсомольце»** (06.04.2006) обращает внимание читателей на антизападную направленность собора: «Владыка Гундяев вновь призывает Россию пойти "другим путем". Он заявляет: "Нас, как историческую цивилизацию и мощную культурную традицию, не может удовлетворить роль вечно ведомых"».

Совсем в ином ключе выступает **«Русский курьер»** (10.04.2006). Собор, по мнению издания, высказался на актуальную и значимую тему прав человека и тем самым показал, что не существует идеологической монополии либерализма и Запада на понимание прав и свобод человека.

**Григорий Ревзин** в газете **«КоммерсантЪ»** (07.04.2006) приветствует стремление Церкви расширить поле своей общественной деятельности. «Митрополит Кирилл к правам человека относится благожелательно. Равенство людей, свобода мысли, совести, религии, убеждений и свободное их выражение не вызывают у него возражений как принцип. Он лишь пытается сказать, что это не самое главное, а главное — вера в Бога и нравственное следование заповедям, и ему не близко, когда принципы прав человека используются против веры и нравственности», — пишет автор.

**Александр Верховский**, директор Информационно-аналитического центра «СОВА», так прокомментировал в **«Ежедневном журнале»** (www.ej.ru) итоговый документ собора: «Декларация призывает гармонично сочетать разные ценности... Дело именно в желании Церкви сдвинуть балансы в сторону традиционных религиозных принципов — и консервативная околоцерковная общественность, собирающаяся на ВРНС и тому подобных форумах, ее в этом поддерживает. Необходимо, однако, понимать, что, говоря о смещении баланса, мало кто задумывается о том, как далеко его — в идеале — следовало бы сместить. Вряд ли рассуждения о том, что "РПЦ тянет нас в средневековье", правомерны: митрополит Кирилл или протоиерей Всеволод Чаплин прекрасно понимают, что реально возможны только весьма ограниченные сдвиги в направлении чаемой десекуляризации общества, — и именно их и добиваются. Например, митр. Кирилл не призывает восстанавливать уголовное преследование за гомосексуализм, но призывает к его

официальному и общественному осуждению — вместо формирующейся ныне толерантности к содомскому греху».

Газета **«Газета»** (07.04.2006), комментируя итоговые решения собора, пишет: «Формулировки касательно пропаганды гомосексуализма, эвтаназии, абортов и тому подобного в документах собора смягчены. Во всем остальном классическом спектре прав человека (детей, солдат, заключенных, обделенных и обиженных властью) собор продемонстрировал солидарность с правозащитниками».

Примерно в таком же духе высказывается и **Борис Фаликов** в еженедельнике **«Культура»** (№ 14, 2006): «Итоговая декларация собора указала, что ценности веры и святыни не ниже (а значит, и не выше) прав человека, и предложила государству их гармонизировать». И все же, по мысли автора, декларация не вызовет широкой реакции в российском обществе: «Большинству населения безразличны как либерально-секулярные, так и консервативно-религиозные ценности. В защиту своих, а тем более чужих прав оно не слишком верит, а в библейские заповеди — еще меньше».

**Алексей Еременко** в «Еженедельном журнале» (07.04.2006) в связи с прошедшим форумом задает далеко не риторический вопрос: «Готова ли РПЦ хотя бы столь же активно, как нынешние правозащитники, защищать Сычева, Щербинского, добиваться справедливого наказания убийц Хуршеды Султановой?» «Реальный авторитет, — заключает он, — можно заработать только реальной же работой — упорной, кропотливой и очевидной большинству россиян. В противном случае иное понимание триады "личность—общество—государство" так и останется иным пониманием, дежурной критикой Запада, и не более того».

И в завершение сюжета — мнение обозревателя **«Новых Известий» Михаила Поздняева** («Миссия наполнима?»; 05.04.2006): «Организация, бывшая на грани роспуска, явно взяла второе дыхание. Сумеет ли она после этого вдохнуть православное содержание в международную политику и защиту прав человека, зависит от того, займут ли места в президиуме собора, не без оснований зачищенном от людей вчерашних, люди завтрашнего дня. Те, кто не только знает, как правильно взять благословение у митрополита Кирилла, но и готов предложить идеи, способные привлечь внимание страны и мира».

## Евангелие от Иуды

В начале апреля в Вашингтоне вниманию публики был представлен древнейший коптский манускрипт, содержащий «Евангелие от Иуды». Оно является одним из ряда так называемых апокрифических Евангелий и написано в традиции гностицизма. Иуда в нем предстает положительным героем, который предал Спасителя, чтобы исполнить божественное предназначение. Интернет-издание **«Страна.Ру»** (10.04.2006) приводит мнения разных ученых о находке. В частности, **Бен Уитерингтон**, специалист по толкованию Нового Завета из Духовной семинарии Эсбири в Уилморе (Кентукки), сказал: «Рукопись ничего не сообщает нам об историческом Иисусе или историческом Иуде. Она позволяет узнать много нового о группе, которую называли еретической в период ее существования».

Евангелие было опубликовано точно перед началом Страстной седмицы по западному календарю, когда во всех странах западного мира совершались воспоминания предательства Иуды и последствий этого предательства. Этот очевидный маркетинговый ход стал поводом для размышлений **игумена Григория (Лурье)** о феномене массовой культуры. «Пока торжествующим направлением в этическом осмыслении этой истории является оправдание предательства. И за пределами этой истории, в "этическом строительстве" цивилизации будущего вообще, играет большую роль поиск "альтернативного взгляда" на предательство, — пишет он на сайте **«Портал-Кредо»** (17.04.2006). — "Второе пришествие" Иуды — через его евангелие — совершилось тогда, когда его позвала вся европейская цивилизация».

В другом материале, напечатанном в **«Русском журнале»** (16.04.2006), тот же автор ставит вопрос об этических аспектах финансирования проекта изучения найденного текста. И отвечает на него в положительном смысле: «Ученые прекрасно понимают, что хорошее финансирование проекта вызвано исключительно его "раскруткой" — ажиотажным спросом, созданным посредством манипуляций на примитивных интересах толпы... Я думаю, что ученые вполне вправе, в обмен на предоставление легкой возможности потрепаться и блеснуть эрудицией, снять с обывателя немножко денег».

**Борис Фаликов** в газете **«Культура»** (№ 16: 27 апреля — 3 мая 2006) обращает внимание читателей на то, что современный масскульт без зазрения совести черпает материал из элитной культуры и та отвечает ему взаимностью. «Прежняя табель о рангах ушла в прошлое, теперь это сообщающиеся сосуды. Поэтому лихой борзописец Пауло Коэльо вполне успешно косит под интеллектуала, а элитный постмодернист Владимир Сорокин запросто клепает масскультовый трэш. При этом оба активно черпают из гностических источников ("Алхимик", "Лед"). Не брезгует ими и Голливуд, который очень чутко отслеживает настроения масс».

Но почему эти массы полюбили гностицизм? Фаликов так отвечает на этот вопрос: «Элитный эзотеризм и масскульт, как ни странно, опираются на один и тот же психологический механизм — чувство подъема, испытываемое человеком, перед которым открывается тайна. Его любопытство (метафизическое или обывательское) удовлетворено. Это может быть и тайна архонтов или тамплиеров, и тайна Майкла Джексона, оказавшегося педофилом. Культ знаменитостей не смог бы существовать, если бы тщательно скрываемые секреты этих живых богов время от времени с воинственными кличами не развенчивали вездесущие СМИ. По сходной модели в "Коде да Винчи" достоянием гласности становятся тайны Леонардо, Ватикана и самого Иисуса Христа. А в Евангелии от Иуды нам сообщается душещипательный секрет — предатель так полюбил, что погубил. Почти как в цыганском романсе».

## К вопросу об объединении РПЦ и РПЦЗ

В мае в Сан-Франциско прошел IV Всезарубежный собор Русской православной церкви за границей и следом за ним Архиерейский собор. Эти события приковали к себе внимание СМИ, поскольку ожидалось, что на этих форумах будет принято окончательное решение о воссоединении двух церквей.

**Борис Фаликов** в интернет-издании **«Газета.Ру»** (22.05.2006) отмечает, что при всем своем богословском консерватизме зарубежники достигли высокой степени внутрицерковной свободы — годы, прожитые на демократической чужбине, дали о себе знать. «Страх эту свободу потерять и омрачил радужную картину воссоединительного процесса. Жаркие дискуссии в Сан-Франциско, в которых на равных с клиром принимали участие и миряне, были совершенно непонятны нашим церковным деятелям и тем более политикам, а дружные залпы отечественной пропаганды накануне и во время Всезарубежного собора сильно напугали его участников, ярко напомнив о совке».

**«Независимая газета»** (15.05.2006) сообщает, что на Всезарубежном соборе была принята резолюция, которая делает возможными совместные богослужения и евхаристическое общение. С другой стороны, резолюция ставит дальнейший объединительный процесс в зависимость от действий Московского патриархата. Главным препятствием, по мнению собора, является участие РПЦ в экуменическом движении, которое РПЦЗ считает ересью.

«Упреки в адрес Москвы прозвучали и в связи с несогласием российских иерархов покаяться от лица церкви за сотрудничество с безбожной советской властью», — продолжает тему газета **«Время новостей»** (15.05.2006). В то же время газета напоминает, что обещание канонического общения в резолюции прозвучало. Но его формулировка оказалась настолько обтекаемой, что непонятно, готовы ли церкви объявить свое каноническое единство уже сегодня или планируют сделать это в неопределенном будущем. В тексте говорится лишь о «великой надежде, что в благоприятное для сего время будет восстановлено, на основе Христовой Истины, единство в Русской церкви, открывающее нам возможность служить вместе и причащаться от единой Чаши».

**«Московские новости»** (22.05.2006) поместили мнения ряда лиц о соборе. Великая княгиня **Мария Владимировна Романова** считает, что «Всезарубежный собор показал готовность к восстановлению единства». С ней солидарен протопресвитер **Борис Бобринский**: «Стремление к объединению с обеих сторон было честным и искренним, но пока достигнут лишь временный результат. Конечно, были разногласия. Но ведь и в России не все обстоит благополучно... Состоится ли вообще объединение и когда? Я могу сказать лишь то, что я думаю. Рано или поздно это случится, не может не случиться, потому что речь идет о преодолении раскола, а это дело Божие. Времена и сроки тут не имеют значения».

Газета **«Россія»** (18.05.2006) в статье «Диалог с пастырской осмотрительностью» подытоживает деяния соборян и говорит о возможных перспективах диалога: «В силу разности жизненного опыта верующих по обе стороны железного занавеса все недоумения и непонимания нельзя разрешить в одночасье. Обе стороны признают, что процесс воссоединения не будет легким, поэтому они так осторожны в своих заявлениях и высказываниях. И для кого-то резолюция IV Всезарубежного собора "всего лишь" слова церковной дипломатии, а для кого-то — знаковое событие, начало пути в объединении когда-то расколотого единого целого».

## О событиях в Сурожской епархии

По сообщению **«Новой газеты»** (15.05.2006), в Сурожской епархии Московского патриархата на территории Великобритании разгорелось жестокое противостояние. Управляющий епархией епископ Сергиевский Василий (Осборн) обратился к патриарху Алексию II с письмом о намерении вывести епархию из-под юрисдикции Москвы и присоединиться к Вселенскому патриархату. Против этого выступила часть церковной общины. Причины конфликта, по мнению экспертов, в противоречиях между верующими, приехавшими в Англию в последние годы, с православной традицией эмигрантов первых волн и британцев.

Газета **«Московский комсомолец»** (10.05.2006) напоминает читателям историю конфликта. В Англии обосновались богатые выходцы из бывшего СССР. Русское население одного Лондона в последние годы возросло до 200 тыс. Поэтому глава ОВЦС митрополит Кирилл, зная, что митрополит Антоний находится в преклонных летах, «еще при его жизни направил в Лондон викарным епископом своего человека — Илариона (Алфеева). Молодой епископ развернул раскольническую деятельность — начал ссорить между собой духовенство и руководство приходов. Дело дошло до патриарха, и Илариона со скандалом выпроводили из Англии... Внешняя канва конфликта такова: приверженцы Илариона обвиняют "местных" английских священников в сокращении церковных служб. Митрополит Сурожский Антоний был выдающимся миссионером. Направленный в Англию, он стал подлинным апостолом православия в этой стране. Он служил чаще всего на английском, на самом деле учитывая менталитет англичан, сокращал богослужения. Он знал, что Россия уже тысячу лет пытается жить по монашескому уставу. Но устав — это не главное в жизни церкви. И этому он учил духовенство и мирян. Все это не нравится новым русским православным, обосновавшимся в Лондоне. Казалось бы, чего проще, раз вы так богаты, то постройте пару храмов. Митрополит Кирилл пришлет вам священников, которые будут свято блюсти устав церковный. И живите в свое удовольствие! Но "гундяевцы" так не поступают».

**«Новые известия»** (16.05.2006) упоминают еще об одной стороне долгой предыстории сегодняшних событий. «Имя митрополита Антония (Блума) в самые затхлые годы, когда многие тайком потянулись к Церкви, было паролем — почти таким же, как имя Солженицына. В Лондоне владыку, служившего в соборе Успения Божией Матери на Эннисмор-Гарденс, окружали десятки любящих прихожан, в России себя считали его духовными чадами десятки тысяч. И те, кто видел его в храмах в редкие приезды в СССР, и кто слушал по Би-би-си, и кто читал в самиздате. Когда он умер, с тревогой задавался вопрос: что станет с его наследием? Не с книгами и магнитофонными записями, а с той атмосферой, которую создал он на своем приходе, которую, в подражание ему, создавали в России немногие пастыри? Вопрос целых три года звучал все более тревожно. Теперь на него дан ответ», — пишет в статье «Вопреки завещанию» **Михаил Поздняев** и напоминает далеко не всем известные подробности назначения епископа Василия (Осборна) главой епархии: «Когда митрополит Антоний был уже на смертном одре, без сознания, владыка Василий сказал ему на ухо: "В патриархии решен

вопрос о твоем преемнике. Выбран я. Коли ты меня слышишь — пожми мне руку". И почувствовал крепкое рукопожатие».

Интернет-издание **«Страна.Ру»** (18.05.2006) прослеживает дальнейшее развитие конфликта. Патриарх Алексий II направил епископу Сергиевскому Василию указ, «освобождающий его от управления Сурожской епархией с увольнением на покой без права перехода в другую юрисдикцию до окончания разбора кризиса специальной комиссией». Временно исполняющим обязанности управляющего Сурожской епархией назначен архиепископ Корсунский Иннокентий, также возглавивший и упомянутую в указе патриарха комиссию. По мнению издания, сомнительно, что Константинополь примет к себе архиерея без отпускной грамоты.

Однако, как сообщает **«Благовест-инфо»**, епископ Василий отказался подчиниться указу патриарха и на основании 9-го и 17-го правил IV Вселенского собора подал апелляцию Вселенскому патриарху. С ним солидаризировались и некоторые члены Епархиального совета, которые заявили, что решение о смещении правящего архиерея произведено с нарушением Устава Сурожской епархии.

В интервью радиостанции **BBC** (17.05.2006) епископ Василий подчеркнул, что речь идет не о расколе, а о присоединении верующих к Вселенскому патриархату: «Нам представляется разумным сохранить епархию такой, какая она есть. Лучший способ сделать это — присоединиться к Вселенскому патриархату, подобно другим православным епархиям и приходам в Западной Европе, как это было последние 75 лет».

В последнюю неделю мая основную часть публикаций на тему конфликта в Сурожской епархии составили свидетельства прихожан. Одно из них, опубликованное 22.05 порталом **«Религия и СМИ»**, отражает встречающиеся в этих письмах взаимоисключающие позиции: «Другим последствием краха коммунизма стали совершенно неожиданные масштабы потока иммигрантов... Я думаю, что большинство из них вело себя как тактичные гости и было благодарно за то, что в городе, который стал их вторым домом, нашлась действующая церковь русской традиции. Однако некоторые, кажется, приехали совсем с другими намерениями и решимостью воплотить их в жизнь. Я думаю, что лучше всего она выражена еще одной цитатой из статьи, появившейся 13 мая на веб-сайте BBC, а именно словами Ивана Леонидова. Он говорит: "Это право наших людей, наше культурное право — сохранить эту собственность" (то есть церковь на Эннисмор-Гарденс). Я не буду останавливаться на вопросе о собственности: для меня непостижимо, что община, воспринимаемая как христианская, может быть разодрана на части из-за споров по поводу собственности. Что вызывает у меня беспокойство в данном заявлении, это ссылка на "культурные права". Я могу интерпретировать это лишь как желание со стороны некоторых новых прихожан перестроить Сурожскую епархию как сосредоточенное на самом себе, этноцентрическое культурное гетто, отгороженное от более широкого общества и довольное таким положением вещей. Ничто не может быть более далеким от видения митрополита Антония и ничто не может быть более губительным для будущего православной веры в Великобритании».

*Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины*

## РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ

в русской периодике
четвертого квартала 2005 г. – первого квартала 2006 г.

«Основы социальной концепции РПЦ», официальный документ, принятый Православной церковью в 2000 году, до сих пор вызывает неоднозначную реакцию. Возражения **А. Будова** касаются отрицательного отношения РПЦ к либеральной идеологии и рыночной экономике (**«Идея гражданского общества в социальном учении православной церкви»** — «Религиоведение», № 1). Церковь объявляет, что нормообразующими для православного сознания — так сказать, эталоном социальной мысли, являются Священное Писание и церковное Предание. По мнению автора статьи, перенесение на современный социум социального опыта, зафиксированного в текстах полуторатысячелетней давности, вряд ли возможно. Антирыночные позиции церкви малоубедительны, они не способствуют внедрению современных технологий в процессы труда и тем самым консервируют архаические типы сознания, что, в свою очередь, тормозит процесс общенациональной интеграции. Критика либеральной модели развития, по мнению Будова, справедлива только тогда, когда она касается либерализма западного образца (эгоизм, индивидуализм). Русский же либерализм направлен прежде всего против засилья бюрократии и ратует за право церкви на внутреннее самоуправление, за свободу церковных собраний и обществ, за начала соборности и выборности. Русский либерализм, полагает автор, всегда понимал православие как фактор, способствующий интеграции личности в систему социальных отношений, а значит, укреплению гражданского быта, основанного на свободе. Концепция же РПЦ исходит из того, что человек свободен только по отношению к Богу (как Его со-работник) и остается рабом всех земных, социальных институтов. Автор напоминает, что в православии, в отличие, например, от католицизма, совершенно отсутствует опыт социального теоретизирования: никогда прежде РПЦ никаких социальных доктрин не формулировала, поэтому судить о практических последствиях первого подобного опыта затруднительно. Начиная с петровских времен вся церковная политика, включая церковно-государственные отношения, определялась исключительно императором и ни духовенство, ни верующие граждане никакой самостоятельной политической роли играть не могли, что, конечно, отразилось и на нынешней социальной мысли, и на общественно-политической практике РПЦ. Сегодня она не препятствует верующим гражданам участвовать в законодательной и политической деятельности, но специального благословения на это не дает. Однако системный кризис нашего общества церковь критикует совершенно справедливо, да и посильная оптимизация демографических процессов, обозначенная в «Основах» как приоритетное направление РПЦ, представляется автору разумным и своевременным.

**В. Федотова** и **Ш. Кросс** пытаются выяснить, насколько православие вообще совместимо с духом западной цивилизации и, в частности, капитализма (**«Православие, Вебер и новый русский капитализм»** — «Общественные науки и современность», № 2). И правомерно ли объяснять происходящее в России, руководствуясь идеями Макса Вебера (1864 — 1920), выводившего капитализм из духа протестантской этики. Вебер считал, что революционными преобразованиями западное общество обязано протестантизму и его морали: аскеза и труд в земной жизни обеспечивают человеку спасение в жизни вечной. Протестантизм в свое время оттого-то так широко и распространился, что протестантская теология обладала «избирательным сродством» с интересами простых людей, которые в силу нужды склонны были к аскетизму и бережливости, жизнь воспринимали отнюдь не как развлечение, а честность полагали единственно надежным кредитом. Это с легкой руки Вебера многие почитают западный капитализм универсальной моделью общества и единственно возможным путем экономического развития. Однако у немецкого философа оппоненты появились уже среди современников: так, ему указывали на полноценность капитализма в католических странах, а также на то, что существуют формы предпринимательства, которые с аскетическим идеалом никак не вяжутся (разбой, ростовщичество, спекуляция и проч.). За прошедшее же столетие к Веберу накопилось еще множество вопросов, среди которых, к примеру, такой: сохраняет ли Запад и сегодня тот самый изначальный аскетический дух протестантизма? Особенно удивляют авторов статьи сегодняшние российские реформаторы с их наивной верностью идеям Вебера, хотя сам Вебер в переписке с Сергием Булгаковым говорил о невозможности построения цивилизованного капитализма в России именно из-за отсутствия этого самого духа протестантской этики (свободы, индивидуализма, правовой культуры). Авторы статьи полагают, что за сто лет Россия так и не стала страной протестантской этики. Попытка же копировать западные образцы привела к победе не честных и нравственно чистых людей, ориентированных на духовные ценности, а корыстных, завистливых и жадных. Откуда же этот антивеберовский характер исторической реальности? На то есть три причины. Социокультурная: исторически сложившееся недоверие к возможности праведного богатства. Антропологическая: доминирование в сознании русских идеи абсолютной справедливости, которая недостижима. Институциональная: отсутствие правовой культуры, осознанной и организованной поддержки нравственного позитива. Авторы согласны с Вебером в том, что не материальное начало определяет суть социального бытия, что не жажда наживы, а нравственное чувство является главной силой экономического развития. Как Православная церковь может способствовать развитию цивилизованного капитализма в России? Смысл ее деятельности в этом направлении сформулирован в документе «Основы социальной концепции РПЦ». Есть также «Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании», принятый Всемирным русским народным собором. И хотя недостатки этих документов очевидны, ясно одно: экономика зависит от моральных качеств людей, а значит, от способности церкви влиять на дух предпринимательства. Церковь призывает к доверию, честности, справедли-

вости, милосердию, солидарности и совместной деятельности, а также «соборности», чуждой сознанию протестанта, но неизменно вызывающей у него почтение и зависть.

Одному из оппонентов Вебера, его современнику и соотечественнику посвящена статья **В. Патрушева («Метаморфозы Вернера Зомбарта (1863–1941)»** — «Новая и новейшая история», № 2). В противовес Веберу Зомбарт не был склонен преувеличивать роль протестантской этики в формировании современного капитализма. Наоборот, он указывал на сильные антикапиталистические черты протестантизма. Да и экономические идеи протестанта Лютера были куда консервативнее хозяйственных идей Фомы Аквинского, столпа мысли католической. Особую же силу, из которой проистекал капиталистический дух, Зомбарт усматривал в иудаизме. Да и поведенческие нормативы протестантизма он напрямую выводил из иудаизма. Преимущества иудаизма как инициатора и двигателя капитализма, по Зомбарту, заключались еще и в том, что здесь есть определенный этнический носитель — еврейский народ. Именно евреи были главными носителями духа капитализма и обладателями капиталистических качеств (ум, бережливость, стремление к богатству). Впрочем, как указывает Патрушев, эту мысль никто не воспринял серьезно; критики убедительно доказали, что Зомбарт перепутал причину и следствие: «не евреи создали капитализм, а капитализм создал евреев такими, какие они есть».

Важное влияние на ход нашего цивилизационного развития оказало сознание староверов, считают **Я. Шемякин и О. Шемякина («Старообрядчество и процесс формообразования в российской цивилизации»** — «Общественные науки и современность», № 2). В начале церковного раскола XVII века у староверов наблюдалась очень высокая степень мистического мироотрицания: бегство из мира, из государства и общества, отмеченного печатью антихриста; упорные поиски Беловодья, земного Рая; наконец, «гари» — массовые самосожжения, когда смерть в огне предпочитается жизни под властью «антихристовых слуг». Однако это отрицание официальной церкви, государства и общества не переросло в тотальное отрицание земного бытия, как такового. Более того, старообрядчество «приняло мир», обретя веру в то, что и на грешной земле можно устроить жизнь в соответствии с Божественными принципами и нормами благочестия. Это парадоксальное обстоятельство авторы объясняют тем, что русское старообрядчество несло в себе многовековой опыт взаимодействия различных традиций и на его мировоззрении сказалась свойственная русскому православию и восходящая к языческой архаике «тенденция гиперсакрализации бытия» — острое чувство Бога в материи. Старообрядцы не верили в возможность достижения человеком абсолютного совершенства, в силу его греховности, но надеялись на приближение к Божественным образцам посредством строгого соблюдения норм благочестия в мирской жизни, что рассматривалось ими как религиозный долг человека. А это в конкретной земной жизни, подпавшей под власть антихриста, предполагало необходимость так или иначе приспосабливаться к враждебной действительности. Такое приспособление требовало материального и идеологического обеспечения. Первое давала хозяйственная предприимчивость, второе — мастерство в полемике: сво-

бодный анализ вопроса, вольное толкование слова Божия и святоотеческих писаний. Фактически это означало признание за собой права на создание собственных текстов, обладающих «сакральным статусом». Постоянная необходимость защищать свою веру служила мощным стимулом для развития интеллектуальной деятельности. Активную промышленную деятельность старообрядцев авторы связывают с необходимостью приспособления к греховному миру с помощью средств этого мира: «Почему не заставить дьявола работать на пользу людям?» (слова старообрядческого епископа Геронтия). Такой ход мысли авторы объясняют элементами языческой архаики, которая, будучи включенной в христианский космос, стимулировала активное участие ревнителей «старой веры» в научно-техническом прогрессе. Итак, традиционалистская по своей ориентации форма религиозного сознания оказалась восприимчивой к процессу модернизации; старообрядчество нашло «специфический баланс мироотрицания и принятия земного бытия».

Предметом размышлений **А. Митрофановой** стало «политическое православие» — так она называет религиозную идеологию, которая радикально отличается от православного вероучения, а то и вовсе противоречит ему (**«"Политическое православие" и проблема религиозности»** — «Философия и общество», № 1). Анализ статистических данных и материалов социологических исследований заставил автора статьи усомниться в существовании в России «настоящих верующих», а выражение «религиозное возрождение в России» счесть идиомой, не имеющей реального смысла. Религиозным возрождением, указывает Митрофанова, называют появление нового типа религиозности, который не признает традиционных форм (обряды, догматы, иерархия). Сегодняшняя религиозная интеллигенция, по мнению автора, относится к наиболее далеким от народного православия слоям общества. Религиозно ориентированные интеллигенты рассчитывают найти в Церкви ответы на острые социальные, политические и экономические вопросы современности. Но, оказавшись в Церкви, сталкиваются с малопонятной замкнутой субкультурой, которая встречает их совсем не дружелюбно. В результате в России складывается слой «православных верующих», полностью отчужденных от всех религиозных институтов, чья религиозность, таким образом, носит исключительно умственный, идеологический характер. Однако такая религиозность вовсе не мешает им быть активными участниками религиозно-политических движений. Большинство лидеров современного политического православия обратились в эту веру совсем недавно и часто внезапно. Возник химерический образ «невоцерковленного православного фундаменталиста». Автор полагает, что вера, которую исповедуют такие люди, является их собственным изобретением. Но это не мешает им называть себя истинными православными и быть воинственными проповедниками выдуманной веры. Русская православная церковь не может ни контролировать, ни обратить вспять этот процесс и ответственности за него не несет.

**Р. Гальцеву** беспокоят взаимоотношения РПЦ с нашей апокалиптической культурой (**«Миссия Церкви перед лицом нового вызова»** — «Главная тема», 2005, № 8). Россия считается светским государством, но господствует в нем атеистическая (то есть религиозная с отрицательным знаком) идеология. Она и формирует новейший тип человека. Автор набрасывает

его общие черты, в которых мы должны узнать своего соотечественника, а то и себя. Это — эгоистически самоуслаждающийся аутист, не признающий общепринятых норм, оголтелый потребитель («все можно купить») с развращенной душой и извращенной фантазией, поклонник «золотого тельца» и проповедник безграничного релятивизма («все дозволено»). Глашатаи новой культуры — авангардное меньшинство, усвоившее все признаки нового антропологического типа, — беззастенчиво отстаивают свои права и свободы, а любое напоминание о стыде и совести объявляют тоталитарной угрозой. Признание «прав и свобод человека» переходит в признание абсолютного релятивизма. Рождается тотальная идеология. Ведь утверждать себя релятивистская идеология прав может только путем экспансии, то есть расширяя права за счет существующих норм и тем самым узаконивая ненормальное. Отменять истины, преодолевать все табу и нравственно-эстетические барьеры — других способов доказать свою правоту у релятивизма нет. Такой гуманизм оказывается смертельным врагом христианского гуманизма. Права авангардного меньшинства оборачиваются дискриминацией большинства человечества. Под маской «абсолютного гуманиста» усматривается антихрист. Гальцева полагает, что РПЦ должна противостоять ему, а для этого следует перейти от обороны к наступлению. Не зря в «Основах социальной концепции РПЦ» сказано: «Если культура становится антирелигиозной и античеловечной, превращается в антикультуру, Церковь противостоит ей». В условиях культуры, бросающей прямой вызов христианским заповедям, старые формы апологетики и миссионерства малоэффективны. Церковь должна стать мыслящей и воинствующей. Необходимо найти в себе смелость и силы доказать на языке современной философии (то есть убедительной для разума не только верующих) ложность всех новых форм секуляризма. Но обличение — лишь половина дела. Настало время обратиться к Евангелию. В сознании нашего современника образ Христа одеревенел и оказался вытесненным другими образами и приоритетами. Наступило время новой евангелизации. Церковь должна овладеть СМИ и взять на себя роль «коллективного агитатора и организатора».

На новые вызовы либеральной (апокалиптической) культуры Церковь отвечает, быть может, не так воинственно, как того требует Гальцева, однако отнюдь не безмолвием. **Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл** разъясняет позицию и стратегию Церкви в этом вопросе (**«Замысел Божий о человеке и свобода воли. Эсхатологическая перспектива»** — «Церковь и время», 2005, № 4). В православной традиции принято говорить не столько о свободе, как таковой, сколько о свободе воли. Свое подлинное раскрытие понятие воли получило в Боговоплощении. Именно Иисус Христос явил нам, каким должен быть человек в его неповрежденном грехом состоянии, какой должна быть его воля и в чем заключается свобода. Воля — неотъемлемая составляющая человеческой природы. Она имманентна человеческому естеству. Без нее человек не может считаться разумным существом. Именно посредством воли с человеком произошла самая страшная во всей человеческой истории трагедия — грехопадение. Пожелав вкусить запретный плод от древа познания добра и зла, человек позволит греху проникнуть в свое естество. Грех в первую очередь поразил волю человека, через

которую в человеческую природу вошли тление и смерть. Именно поэтому в спасении от греха нуждалась прежде всего человеческая воля, которую и воплотил в себе Иисус Христос. В Нем человеческая воля получила полное согласование с волей Божественной. Священное Писание называет Волей Бога замысел Божий о человеке, который дан в заповедях. Согласование воли Божией с волей человеческой есть путь ко спасению. Это согласование воль именуется «синэргией», т. е. со-действием человека и Бога. Однако синэргия возможна не только с Богом, но и со злыми силами. Воля человеческая находится, по сути, между двумя волями — Божественной и диавольской. Способность направлять свою волю и к добру, и ко злу, способность самоопределения на современном языке называется свободой. Она есть Божий дар, от которого нельзя отказываться, но и злоупотреблять которым нельзя. Он дан во благо, чтобы человек не просто осуществлял выбор, но избирал добро: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу» (Гал 5:13). Спасение и обóжение суть главные цели христианской жизни, достижение которых зависит от согласования воли человеческой с волей Божией — при условии, что человек выбирает благую волю лишь свободно. Начиная с века победы христианства над язычеством (IV в.) появляется оптимистическое убеждение, что нравственное совершенствование человека может быть обеспечено политическими (государственными) средствами. В истории Церковь пробовала принимать на себя функции государственного института и принуждением регламентировать личную жизнь своей паствы. Особенно отличилась в этом, пишет митрополит Кирилл, Западная церковь, но мало преуспела. На Востоке Византия придерживалась автономии Церкви и государства, предполагающей их взаимную поддержку — симфонию. Россия с принятием христианства ориентировалась до поры на византийскую модель. Однако в начале XVIII века произошли радикальные перемены, был заимствован западный (протестантский) образец, и Церковь оказалась в полном подчинении у государства. Перенеся чуждые образцы церковно-государственных отношений на свою почву, Россия создала условия для распространения тех же самых изъянов общественной жизни, которые были характерны для Западной Европы: в умы ее граждан проникли просвещенческие и революционные идеи, абсолютизирующие свободу личности. В XX веке либерализм развивался в весьма опасном направлении, сводящем идею свободы исключительно к свободе выбора, а значит, к возможности выбора в пользу зла. Это привело к радикальному отказу от нормативного значения традиции, в первую очередь религиозной, и к абсолютизации права индивида определять, что есть добро, а что зло. Свобода личности от нравственных норм стала поддерживаться законом, легализовалось то, что противоречит морали верующих (аборты, гомосексуализм и проч.). Сегодня Русская православная церковь постепенно освобождается от навязчивой опеки государства. Она, в духе святоотеческого богословия, выступает за нерасторжимую взаимосвязь свободы и нравственности, этих двух неотъемлемых категорий христианской антропологии, и не допускает абсолютизации ни одной из них. Митрополит Кирилл напоминает, что выбор человека всегда имеет эсхатологическую перспективу. Вто-

рое Пришествие Христа будет исполнением чаяний тех, кто выбрал волю Божию и, не злоупотребляя своей свободой, использовал ее по назначению, то есть со-действовал благой воле Бога.

**Иеромонах Нектарий (Морозов)** в статье **«На пути к Богу»** («Москва», № 3) пишет о воцерковлении, которое понимает как «врастание человека в организм Церкви», превращение из христианина номинального в христианина реального, вхождение в церковную жизнь настолько глубоко, что эта жизнь становится в полной мере его жизнью. Через эту стадию должен пройти каждый христианин. Церковь — это единственное уготованное Богом убежище на земле для тех, кто ищет Его, ищет вечного спасения. У приходящего в Церковь человека должно возникнуть непреодолимое желание стать частицей, клеточкой Церкви. Важно выбрать подходящий для себя храм, найти священника, чтобы постоянно исповедоваться у него и вместе с ним искать ответы на вопросы, возникшие на пути воцерковления. И тут требуется постоянство и систематичность: регулярное посещение храма, исполнение молитвенных правил, принятие таинств. Все это не формальные предписания, а меры, необходимые для пробуждения глубоко спящего в нас духа. Это труд, который обещает благие перемены в нас. Но духовная работа у каждого идет по-своему, и не у всех усердие в исполнении внешних правил немедленно вознаграждается преуспеянием. Духовная жизнь — это по сути своей взаимоотношения между человеком и Божественной благодатью. На первых шагах обращенный чувствует ее, как младенец — руки матери. Но по мере взросления благодать как бы отступает, скрывается от христианина. Она соприсутствует ему, хранит его, но уже не трудится вместо него, как в младенчестве. Господь дает нам потрудиться самим, чему-то научиться, что-то пережить и через все это приблизиться к Нему. Иногда период такой «оставленности» бывает длительным, и тогда требуются терпение, вера и надежда. В духовной жизни, как и в каждом земном занятии, существуют правила, пренебрегая которыми нельзя добиться успеха. У христиан — это аскетические принципы, советы и наставления святых отцов древности и подвижников последнего времени. Необходимым условием воцерковления является и понимание православного обряда. Распознавание таинственного и символического значения богослужения также требует умственной работы. Вообще жизнь христианина — это постоянный труд самоисправления, и в Церкви, месте постоянного присутствия Божия, человек обретает благодатную помощь в этом труде.

Чтобы рационально оправдать религиозные основания культуры, **В. Сторчак** прибегает к теории архетипов (**«Психоаналитическая концепция религии К. Юнга и современность»** — «Религиоведение», № 1). Сам Юнг предостерегал от ложных толкований его теории, указывая, что архетип — это не готовый первообраз, а своего рода вектор, «специфический инстинкт», психический заряд, имеющий характер божественные манифестации. Естественный архетип эволюционирует в ходе человеческой истории, рационально преобразуясь и приобретая ту или иную культурную форму. Древние религии, по Юнгу, «не с неба упали, а возникли из той же человеческой души, которая живет в нас и сейчас». Время существования всякой религиозной системы прямо пропорционально ее чувственно-эмоциональному заряду

и обратно пропорционально ее рациональному восприятию. Жизнь архетипа «преднаходится» в вероучении и безостановочно протекает в ритуалах и символах веры, открываясь во внутреннем мире верующего. Но время от времени происходит всплеск сознания, рационализирующего таинственную божественную манифестацию, и люди вдруг обнаруживают, «что их боги ничего не значат, сделаны человеческой рукой из дерева и камня и совершено бесполезны». Вот так и теперь. Западный мир захлестнул поток всевозможных экзотических религий. Недавние христиане облеклись в новое «религиозное платье», обратились к иноверным символам, воспетым на чужих языках, вскормленным чужими культами, развивавшимися по ходу чужой истории. Но духовную жажду того, кто лишился своих исторических символов, не удовлетворит эрзац. Перед ним зияет «ничто», от которого он с ужасом отворачивается. Еще хуже, когда вакуум заполняется абсурдными суррогатами (летающие тарелки с пришельцами, оккультизм, массовая культура, туризм, спорт). Новые кумиры обретают «сакральное» значение, символизируются, мифологизируются и активно воздействуют на нации и классы.

Сравнительно недавно в обществе обрели некоторое признание «паранауки» и «парапрактики», бытующие сегодня под общим названием эзотеризм. Они дают якобы научное объяснение феноменам, обыкновенно относимым к сфере религиозного опыта. Признает право эзотеризма на существование и пытается примирить его с естественными науками **Р. Стерледев**, автор статьи **«Естественно-научное и эзотерическое видение мира в аспекте имманентного и трансцендентного»** — «Религиоведение», № 1). Эзотеризм, согласно его определению, это знание, содержащее объяснение того, что именуется «областью неопределенного»: астральные планы, тонкие миры, биополя и т.п. Эзотерическое знание выступает в виде различного рода теоретико-спекулятивных концепций. Наиболее характерные из них — «Роза мира» Д. Андреева (многослойность Вселенной и ее пространственно-временная специфика) и Агни-Йога Н. Рериха (ряд уровней мироздания). «Правда» эзотеризма, по мнению автора, заключается в том, что мир на самом деле гораздо разнообразнее и загадочнее, чем видится с точки зрения обыденного сознания, здравого смысла и современной науки. Естественные и эзотерические науки «столкнулись» на проблеме неизвестного. Автор полагает, что если неизвестному дать правильные названия, как это было в первые дни творения (см. кн. Бытие), то неведомое обретет смысл, а мир — ясность и гармонию. Сделать это и пытается Стерледев, вводя понятия «фундаментального порождающего уровня» бытия (ФПУ), а также «частного производящего уровня» бытия (ЧПУ). Весь вопрос в том, может ли ФПУ влиять на ЧПУ и порождать трансцендентные формы материи. Высказанные на таком языке эзотерические концепции, как полагает автор, перестанут противоречить научным, а, напротив, явятся преобразующим СЛЕНТом. Это еще одна проясняющая тайны мироздания аббревиатура, означающая «строительные леса научной теории». С помощью этих лесов нам удастся получить систематическое, по-настоящему научное, а значит, подлинное знание.

**С. Фуллер** по-своему описывает отношения между наукой и религией как в веке нынешнем, так и грядущем (**«Антропная или кармическая альтернатива: модернизация научно-религиозного дуализма для XXI века»** —

«Эпистемология и философия науки», 2005, № 4). На наших глазах, пишет он, физика перестает быть идеалом научной картины мира, ее заменяет биология. А это значит, что различения между человеком и другими формами жизни сводятся к минимуму, а стало быть, подвергается сомнению привилегированное место, отведенное человеку в природе. Для религии глубинные последствия такой тенденции весьма ощутимы. Фуллер пишет о «кармическом дарвинизме», указывая на избирательное сродство между неодарвинизмом, биотехнологией и тремя «кармическими» религиями (индуизм, буддизм, джайнизм). Великие монотеистические религии Запада постулируют сотворение человека по образу и подобию Божию и, следовательно, отводят ему привилегированное положение в природе. Великие пантеистические религии Востока отрицают это. То есть западный, антропный, принцип противопоставляется восточному, кармическому. Слово «карма», которое автор переводит словосочетанием «жизненная сила», охватывает многообразные смыслы. Вот они: действия индивида обусловлены прошлыми жизнями; в течение жизни индивид может предпринять действия, смягчающие неблагоприятные черты своей наследственности (но не может полностью элиминировать их); не существует прогресса от вида к виду и от поколения к поколению; жизненная сила является общей для всех форм жизни. Контраст между антропным и кармическим мировоззренческими принципами наиболее ярко выражается в ответах на следующие три вопроса:

1) религиозный: состоит ли человечество (в сравнении с другими формами существования) в привилегированных взаимоотношениях с Богом?

2) научный: автономны ли общественные науки по отношению к естественным?

3) политический: возвышается ли человечество как коллективный проект над личными и семейными интересами отдельных индивидов?

На каждый из этих вопросов антропное (западное) миропонимание отвечает «да», а кармическое (восточное) — «нет». В следующих номерах журнала автор обещает показать драматические перипетии этих мировоззрений в неодарвинизме и эволюционной биологии.

**А. Лапин** и **Е. Воронкова** рассматривают **«Категории религиозной веры в мировоззрении Ф.М. Достоевского»** («Религиоведение», № 1). Писатель, пишут они, считал веру атрибутивным свойством человеческой природы, полагая, что она — мощный регулятор поведения, и более широко — всякой человеческой активности вообще. Именно вера позволяет человеку воспринимать себя как некую целостность, избегая разрыва между «я» и «не-я»; она дает ощущение аутентичности и позволяет сознанию сконцентрироваться на некоей «идее-чувстве», за которую человек бывает готов пожертвовать самой жизнью. Глубинная сущность бытия не может быть определена разумом. Бог выступает как начало, «собирающее бытие»; Он есть синтез бытия, или синтез бытия есть Бог. Этот синтез открывается не разуму, а чувствам. Так что символ веры Достоевского не выводим разумом, он изначально иррационален. Мало того, разум вообще не может быть источником истины. Вера держится не доказательной силой разума, а силой любви и безграничного доверия к предмету веры.

Еще одна публикация о Достоевском, интересная в контексте проблемы религиозной веры, — статья **И. Евлампиева «Великий инквизитор, Христос и дьявол: новое прочтение известной темы Достоевского»** («Вопросы философии», № 3). По мнению автора, подлинное понимание веры Достоевского выражено в рассуждениях его героя, Ивана Карамазова, который считает, что человек «выдумывает» Бога и это «выдумывание» составляет неотъемлемое, сущностное качество человека, возвышающее его над всем животным миром. Идея Бога есть идеал, который человек способен создать благодаря наличию в себе абсолютного измерения. Но идеал этот недостижим ни в историческом, ни в метафизическом времени. Вера в Иисуса Христа тождественна вере в бессмертие, в возможность для человека стать Богом. Но для Достоевского мало быть бессмертным. Сомнения и борения его веры относятся к размышлениям о том, каково наше посмертное (бессмертное) существование. Бессмертие человека — это не окончательное перемещение в некое застывшее и неизменное бытие, а нескончаемое странствие из одного мира в другой. Этому странствию нет предела, как нет предела на пути к абсолютному совершенству. Идеал недостижим, но он существует в смысле божественного и абсолютного измерения в самом человеке. Личность имеет абсолютное измерение, и ее жизнь должна стать борьбой за полное и окончательное (что недостижимо) раскрытие этого измерения. Извечная брань между добром и злом в душе человека предполагает с необходимостью абсолютное благо и равно необходимое абсолютное зло. Это силовое поле обусловливает иррациональную индивидуальность каждой личности и является основанием ее жизненной полноты и конкретности. Здесь человек «выдумывает» Бога и его двойника — дьявола.

Несмотря на усилия полемистов и апологетов, на протяжении всей истории Церкви остаются живы языческие верования. **А. Забияко**, автор статьи **«Язычество: от религии крестьян до кибер-религии»** («Религиоведение»,. № 1), полагает, что соперничество язычества и христианства обрело в нашем отечестве особую форму. Русское язычество — это автохтонная религия, возникшая в результате переработки восточными славянами индоевропейского наследия, а также раскрытия собственного религиозного опыта и выборочного усвоения других религиозных традиций, прежде всего восточного христианства. Воздействие христианства обусловило деградацию древнеславянской религии и русского язычества. Однако под влиянием христианства древняя традиция не исчезала, а эволюционировала. Православие, погрузившись в толщу народной жизни, приобрело отчетливые языческие черты. В XIX веке в России в русле оппозиционных политических движений заявило о себе религиозное диссидентство. К таким диссидентам автор относит Белинского, Чернышевского, Петрашевского и др. «Надрыв религиозного чувства» выработал у них новый религиозный идеал. В их представлениях народ стал общественной святыней. Перед народом они испытывали чувство вины, в жертву ему были готовы принести собственную жизнь. Комплекс вины и греха сочетался в мировоззрении народников с фанатичной верой в свою пророческую миссию. Забияко полагает, что, несмотря на демонстративно светский характер политических программ народников, в них присутствовали важнейшие компоненты религиозной

ментальности: священный объект, истовая вера, идея причастности к высшему смыслу бытия, переживание личного несовершенства, убеждение в избранничестве и обладании харизмой, желание жертвенного служения и жажда спасения. Но это еще не неоязычество, указывает Забияко, хотя образы абстрактных божеств Древнего Рима, такие, как Свобода, Могущество, Согласие, все же здесь присутствуют. А вот представители Серебряного века — уже определенно неоязычники. Забияко находит, что в творчестве Вл. Соловьева, А. Блока, В. Розанова, В. Хлебникова, Н. Рериха и многих других обнаружило себя «темное радение», а христианство тесно сплелось с язычеством. Язычество привлекало русские умы не только религиозным эротизмом и «откровением плоти», — в нем искало опоры русское национальное самосознание, желавшее утвердить свою самобытность. Творческая интеллигенция Серебряного века чаяла воспринять от родной дохристианской культурной почвы свежие силы. В почитании образа Иванушки-дурачка «почвенничество» переплеталось с теософией, западный культ «сверхчеловека» — с «тайнами» Востока, чтобы явить миру нечто поистине уникальное.

**К. Антонов** находит в языческой культуре фундаментальные соответствия развитию нынешней цивилизации. В его статье **«Религиозное обращение в античной философии»** («Религиоведение», № 1) речь идет о том, что языческая философия Древней Греции в некоторых своих направлениях может рассматриваться как мощное религиозное движение, а ее философы — как религиозные наставники, пророки, реформаторы. Автор полагает, что для мудрецов древности секуляризация полиса, просвещение общества, либерализация личности, свобода творчества — словом, все, что мы привыкли считать благом, — было печальным свидетельством деградации и разрушения духовной традиции. Деградация эта определяется космическими циклами — общим мировым законом круговращения, возникновения и разрушений, чредой эонов. Несмотря на необратимость круговращений и неизбежность деградации, лучшие из философов пытались противостоять ей. Таким противостоянием и были занятия философией, которая понималась как своеобразный путь трансцендирования, способ приобретения религиозного опыта; философская же школа была общиной адептов, когортой избранников. Ведь, в представлении древних, интеллект — это не только рассудочная способность (рацио), но одновременно разум и дух. Философская школа (например, пифагорейцы) — это община, ведущая определенный образ жизни, включающий духовные, аскетические и оккультные практики. Естественно, что такая община противостоит обыденному, «профанному» способу существования. Обращение поднимает человека над обычным уровнем, делает его «божественным мужем», облеченным пророческой миссией.

**О. Белова** и **В. Петрухин** проводят комплексный анализ общеславянской мифологии «высшего» уровня, куда относятся космологические, этиологические, эсхатологические сюжеты, связанные с мифопоэтическими персонажами — демиургами, культурными героями, мифологизированными историческими личностями **(«История в свете "фольклорной" мифологии: от язычества к христианству»**. — «Россия — XXI», № 1). Они обнаруживают, что «фольклорная реконструкция» складывается при помощи «вторичной мифологизации» («вторичной фольклоризации»). То есть представления, из-

начально возникшие в народной среде, усваиваются книжной культурой и впоследствии возвращаются в сферу народной культуры уже из литературной традиции. Так, в «Повести временных лет» описывается пантеон Владимира и человеческие жертвоприношения. Описание идольских жертв в летописи авторы считают распространенной цитатой из Псалтири (Пс., 105), и свидетельствует оно, по их мнению, не о действительном факте, а об общепринятом способе повествовать о подобного рода событиях. Возникающие в этой связи заблуждения повторяются и в современных исследованиях. Так, при интерпретации археологических находок с человеческими останками делается вывод о человеческих жертвоприношениях, якобы практиковавшихся на Руси чуть ли не до середины XIII века. Однако то, что можно условно назвать «человеческими жертвоприношениями», — только эпизод погребального ритуала; живых же людей, по свидетельствам хроник X века, в жертву своим богам славяне не приносили. Многие славянские боги представляют собой плоды так называемой кабинетной мифологии, а их имена — трансформированные припевы народных песен или названия традиционных календарных обрядов. Эти продукты вторичной мифологизации, дополненные авторской фантазией и предрассудками, наводняют многочисленные популярные справочники по «славянской мифологии», «русской мифологии» и проч. Для убедительности своих предположений авторы прослеживают происхождение нескольких персонажей славянского пантеона (Перун, Купала).

Журнал «Церковь и время» (2005, № 4) продолжает искать способы экуменического взаимопонимания. На этот раз здесь опубликована статья католического священника **Михаила Ван Парейса «Богословие мира»**, в которой обсуждаются некоторые условия межрелигиозного диалога. Отец Михаил приводит в пример короткий рассказ из «Апофтегм отцов пустынников» (греческая патрология Миня, том 65). Из рассказа ясно, что подлинная встреча и примирение требуют прежде всего предстояния перед «лицем Божиим», что это невозможно без осознания своего спасения посредством святости присутствия «Бога живого». Встреча с враждующим братом схожа отчасти с тайным борением с Ангелом Божиим: все довольно рискованно, переменчиво и неопределенно. Однако Бог хранит Своих верных от насилия и удерживает, чтобы они сами не стали вершителями насилия. Со стороны человека требуется желание сотрудничества в диалоге, соработничества, которое имеет своей целью не слияние и смешение, но обретение опыта согласия, несмотря на различия и даже заблуждения. Для этого необходимо следовать наставлениям апостола Петра: «Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благовестие» (1 Пет 3:9). Это означает абсолютную недопустимость оскорбления личности, равно как и отказ от осуждения по причине принадлежности собеседника к иной религиозной и культурной традиции. В межрелигиозном диалоге наибольшую остроту приобретает вопрос речевой этики. Вообще христианину следует помнить о святости слова, ибо им изъясняется тайна неизреченного Бога, открывающегося миру. В этой связи отцу Михаилу показалось уместным указать нам на пагубное влияние лжи, ибо она есть смертоносная игра князя мира сего, дьявола.

«Церковь и время» (2005, № 4) публикует также доклады, прочитанные на XIII богословской конференции по русской духовности «Преподобный Андрей Рублев и русская иконопись». Она проходила в Италии, в экуменической монашеской общине в Бозе. Приор общины **Энцо Бьянки** открыл конференцию докладом **«Богословие красоты»**. Ссылаясь на отцов Церкви, он напоминает участникам конференции, что, когда благодать влечет нашу волю к прекрасному, она отпечатлевает в нас знак подобия Сыну, Слову Божию, который восстановил падший человеческий образ в его первоначальном достоинстве и красоте. Древняя Русь не произвела многотомных богословских трудов; погруженная в свою богословскую мысль, она молчит. Безмолвие означает близость к тайне, к тому, о чем нельзя говорить, что можно лишь созерцать в молитвенном безмолвии. Красота, созерцаемая в таком состоянии, отражается на ликах святых, в святых иконах, исполненных благодати. Богословие Древней Руси — богословие красоты. В литургии, через сопричастность красоте пения, через молчаливое созерцание изображений, свидетельствуется тайна общения в невидимом Боге. Христианское таинство не есть смутное ощущение святого и невидимого, но есть захватывающее событие явления Иисуса Христа. Тайна иконы — в изображении, сопровождаемом словом, экзегезой Слова. На иконах Андрея Рублева и его школы видна эта литургическая и духовная экзегеза. Язык его икон — это язык богословия и искусства вместе, в них завершается синтез умозрительного и визуального прославления Бога.

Обстоятельный доклад **епископа Илариона «По образу и подобию»** был посвящен православной иконе в самых разнообразных модусах ее бытия — богословском, антропологическом, космическом, литургическом, мистическом и нравственном («Церковь и время», 2005, № 4). В каждую эпоху икона писалась в том стиле, который сложился к этому времени. Менялась эпоха, менялся и стиль, менялись эстетические стандарты, технические приемы. Неизменным оставался лишь иконописный канон, дисциплинирующий человеческую фантазию. Канон необходим потому, что икона прежде всего теологична. Это евангелие для неграмотных или не ведающих Писания. Образ выражает то, что и текст Священного Писания. Икона догматична и немыслима вне догматического контекста. При помощи художественных средств здесь передаются основные догматы христианства — о Святой Троице, о Боговоплощении, о спасении и обожении человека. Единственно допустимым образом Бога (иконой), с точки зрения православного Предания, является изображение Иисуса Христа — Бога, ставшего Человеком. Канонически недопустимой является икона так называемой Новозаветной Троицы, на которой Бог Отец изображен в виде седовласого старца, Бог Сын — в виде младенца, а Дух Святой — в виде голубя. Единственно допустимый образ Святой Троицы — Троица Новозаветная, лучше всего известная по «Троице» преподобного Андрея Рублева. Это весьма древний иконографический тип (II–III вв.), где перед нами не Отец, Сын и Святой Дух, а три ангела, символизирующие Предвечный Совет трех Лиц Святой Троицы. По своему содержанию каждая икона антропологична. На ней всегда изображен человек. Ландшафт, растения, животные, бытовые предметы, — все это может присутствовать в иконе, если того требует сюжет, но главным

героем любого иконописного изображения является человек. Икона — не портрет и не претендует на точную передачу внешнего облика. Икона являет человека в его преображенном, обоженном состоянии, в «невыразимом блаженстве добродетели» (св. Григорий Нисский). На иконе перед нами предстает человек, не борющийся со страданиями и страстями, но уже победивший, преодолевший их; не взыскующий Царства Небесного, но уже достигший его. Поэтому на иконе нет натуралистического изображения боли, она не ставит целью эмоционально воздействовать на зрителя. Боль, страдания, агония остаются за кадром. Икона показывает то, что произошло после: «Свершилось!» Не процесс, а итог. Если главный герой иконы — человек, то фоном ее нередко становится образ преображенного космоса. В этом смысле икона космична. Она являет природу в ее эсхатологическом, измененном состоянии. По своему назначению икона литургична и является неотъемлемой частью литургического пространства — храма, а также непременным участником богослужения. Смысл иконы как объекта богослужебного поклонения раскрывается в догматическом определении VII Вселенского собора, положившего конец ереси иконоборчества. Согласно этому определению, следует «чествовать иконы лобзанием и почтительным поклонением — не тем истинным по нашей вере служением, которое приличествует только Божескому естеству (latreia), но почитанием по тому образу, как оно воздается изображению честного и животворящего Креста и святому Евангелию и прочим святыням (proskynesis)». Мистический смысл иконы заключен в том, что она неразрывно связана с духовной жизнью христианина, с его опытом богообщения. Икона вырастает из молитвы, и без молитвы не может быть настоящей иконы. Будучи плодом молитвы, она является и школой молитвы для тех, кто созерцает ее и молится перед ней. Молитва выводит человека за пределы иконы, поставляя его перед лицом самого первообраза — Господа Иисуса Христа, Божией Матери, святого. К мистическим явлениям относятся чудотворные иконы, избавляющие от «враг видимых и невидимых». Епископ Иларион упомянул и о чуде мироточения икон, повсеместно встречающемся в России. Он полагает, что мироточение — не мрачное предзнаменование грядущих бедствий, а,0 наоборот, явление милости Божией, посланной для утешения и духовного укрепления верующих. Икона, источающая миро, является свидетелем реального присутствия в Церкви того, кто на ней изображен: она свидетельствует о близости к нам Бога, Его Пречистой Матери и святых.

*Обзор подготовил Александр Денискин*

Жорж НИВА

# TABULA RASA ПАСКАЛЯ И ТОЛСТОГО

Блез Паскаль был одним из любимых мыслителей Л.Н. Толстого. Известно, что Паскаль, бывший одновременно и великим математиком, и великим мистиком, полностью отъединял веру от разума. Именно это и привлекало Толстого, хотя он и пытался построить рациональное христианство. Толстой много раз подчеркивал, что Паскаль прав, когда утверждает необходимость религии для «разумной жизни», и не прав, когда отстаивает правоту католицизма. Но одно тесно объединяет обоих мыслителей, одно берет Толстой у Паскаля — осознание нашего мира как мира нелепого, сумасшедшего. Это признание нелепости мира Толстой заимствует у Паскаля, а тот, в свою очередь, наследует скептикам и Монтеню. И хотя Монтеня Паскаль неоднократно цитирует в «Мыслях», сам он идет гораздо дальше.

Толстой не понимает Паскаля-мистика, Паскаля — автора нескольких огненных бесед с самим собой и с сошедшим к нему Богом. В этом русский писатель солидарен с просветителями, которые (например, Вольтер) также принимали Паскаля-скептика, иронисту, автора «Писем к провинциалу», а Паскаля-мистика игнорировали. В этом смысле Толстой — сын Просветительства, сын XVIII века, ему чужд французский XVII век в своем мистическом компоненте. «Великому Веку» Франции упражнения во «внутреннем разговоре» свойственны были весьма и весьма, и «Мысли» Паскаля — это как раз такой жгучий внутренний разговор. Толстому ближе жанр «обследования своей совести», т.е. скорее кальвинистский принцип пересмотра «я» в свете рациональности, составление списка грехов.

«Мысли» Паскаля, которые так любил Толстой, — незаконченная «Апология христианской веры», где развита лишь первая часть, о «нищете духовной человека», а скептицизм в традиции Пиррона доведен до крайнего отчаяния. Толстой знал такое крайнее отчаяние лишь мгновениями (в

---

**Жорж НИВА** — родился в 1935 г. в Клермон-Ферране. Окончил Сорбонну и Высшую нормальную школу (Париж). В 1972–2000 гг. — профессор Женевского университета, заведующий кафедрой славистики. Ныне почетный профессор. Председатель Международных женевских встреч. Автор книг «О Солженицыне» (1974), «Солженицын» (1980), «Конец русского мифа» (1981), «Конец русского раскола» (1993), «Возвращение в Европу» (1999), «Европа картофеля и метафизики» (2002) и многих статей по проблемам русской культуры, главный редактор выходящей в издательстве «Файар» семитомной «Истории русской литературы». Переводил на французский язык произведения А. Белого, А. Солженицына, А. Синявского. Член редколлегии и постоянный автор «Континента». Живет во французской деревне под Женевой.

Арзамасе), но семена этого отчаяния носил в себе. Так что и паскалевское отделение разума от веры, и установление «трех орденов» бытия (плоть, ум, сердце), и весь метод Паскаля, учившего, что надо научиться мыслить, — все это глубоко удовлетворяло Толстого*.

Парадокс Паскаля состоит в том, что, победи он в борьбе с иезуитами — западное христианство никогда бы не помирилось с наукой. А ведь именно союз науки и «светского» христианства повлек за собой материальные и духовные успехи Запада (об этом свидетельствует вся педагогическая система иезуитов). Об этом парадоксе остроумно и убедительно написал польский философ Лещек Колаковский. Но парадокс этот не смущал Толстого, боровшегося временами и против церкви, и против науки. Семена своего анархизма Толстой мог найти и у Паскаля, для которого государство не может быть христианским, т.е. абсолютно справедливым. Для Паскаля человек, полностью поглощенный заботой о своем спасении, бросает мир, перестает участвовать в его жизни.

В своей книге Колаковский показывает, что сегодня победил враг Августина, т.е. пелагианство, утверждающее, что неодолимого греха не бывает и человек сам способен спасти мир, надо лишь творить добрые дела (а коль скоро не существует реальной силы греха, то не существует и благодати). Этой ложной идее Августин противопоставлял всю бездну грехопадения. Но кто сегодня, спрашивает Колаковский, верит в грехопадение? Вся полемика о «благодати», так занимавшая христиан от Августина до Янсенуса, включая Кальвина и Паскаля, исчезла...

Позиция Толстого довольно парадоксальная: он, руссоист, отвергает идею грехопадения — но одновременно жестоко осуждает все виды современного города и городской, капиталистической цивилизации. И именно вследствие этого парадокса некоторые его тезисы могут сегодня выглядеть вполне актуальными, актуальнее, чем вчера.

Читая такой эмоциональный текст, как «Так что же нам делать?», мы увидим все эти парадоксы. Прежде всего поражает искренность текста. Толстой кается, сам подчеркивает свои внутренние парадоксы, бьет по самому себе. Это рассказ-исповедь о том, как глубоко он был поражен нищетой целого слоя населения, когда решил посетить московские ночлежные дома, как он предложил свои услуги для переписи населения, выбрал для себя самые нищие кварталы города, а потом затеял благотворительное дело, чтобы помочь жильцам «Ляпинского дома», — и, наконец, как вся затея рухнула и какую неудачу он испытал.

«Мне стало несомненно, что затеянное мной не только глупо, но и гадко». *Гадко* — слово, часто мелькающее у Толстого, когда он переживает острый экзистенциальный кризис. Городская нужда поражает его особенно, ибо она и менее правдива и более требовательна, чем деревенская нужда. Приведем здесь удивительную его фразу: «Что ж такое: кормиться в городе? В словах “кормиться в городе” есть что-то странное, похожее на шутку, когда вдумаешь-

* О Паскале и Толстом можно прочесть замечательную книгу Б.Н. Тарасова «Мыслящий тростник, жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей» (М., 2004).

ся в смысл их». Толстой здесь увлечен своей антицивилизационной утопией. Его анализ — экономическая нелепость. Город существует со времен древнего Египта, и отрицать город — значит, отрицать саму идею торговли. Но вслед за этой нелепостью Толстой анализирует неудачу своей благотворительной затеи с «Ляпинским домом» — и анализ этот поражает нас искренностью, верностью, радикальным обнажением себя и своего класса. Благотворительность по-настоящему осуществима лишь при одном условии: общение меж людьми, общение в глубине. А, говорит Толстой, общение невозможно из-за той «стены чистоты и образования», что разделяет богатых и бедных. «Я принадлежу к разряду тех людей, которые разными уловками отбирают от трудящегося народа необходимое и которые устроили себе этими уловками волшебный, неразменный рубль, соблазняющий этих же несчастных».

Было время, когда такие слова казались дешевым марксизмом (хотя Толстой полностью отвергает марксизм и идею революции). Однако несмотря на то, что подобные представления совершенно ненаучны и довольно примитивны, современные социологи свидетельствуют о том, что Толстой тем не менее прав. Цикл неравенства повторяется из поколения в поколение, его не могут остановить никакие экономические реформы — и именно потому, что нелегко менять культурные классы. Не изменился принцип, изменилась разве что «стена» Толстого: так, гигиена стала всеобщим явлением в Европе. Но культура продолжает служить «стеной».

В этом же трактате Толстой нам предлагает и теорию о происхождении истории. «История же начинается с того, что наезжают завоеватели». Тут говорит сразу и автор «Войны и мира», и ученик Руссо. Дальше Толстой развивает теорию о трехступенчатом порабощении человека: прямое рабство, присвоение земель несколькими людьми, капиталистическая эксплуатация. Толстой — физиократ. Для него все богатство — от земли, но он знает о теориях Гегеля и Маркса. И он приводит пример хищничества Америки и Англии: историю крохотного королевства островов Фиджи. Вдохновитель Толстого — экономист Иван Янжул, автор этюдов о фабричном быте русских рабочих, о меркантилизме в Англии, главарь «социально-этической школы» в русской экономической науке того времени.

Как верный ученик Руссо, Толстой видит в неравенстве мотор истории, т.е. зла в обществе. И доходит до убеждения, что «если есть один праздный человек, то есть другой умирающий с голоду». Это как будто социальная физика: сообщающиеся сосуды общественных жидкостей... Тому, кто возражает: «Ведь не мы это сделали, это сделалось само», — он отвечает словами пророка Исайи: «доколе не опустеют города». Исцеление — возврат к земле, массовое бегство из городов. Конечно, эти виды Толстого выглядят безумными. Много позже страшный палач-утопист Пол Пот позже попытался осуществить в Камбодже подобные *опустения* «грешных» городов. Но левый радикал и анархист Толстой проповедует, как мы знаем, не только бегство из города, но вообще «опрощение». Это надо понимать как сближение между производителем духовной пищи и производителем пищи телесной. И все толстовские нападки на искусство — на первый взгляд, столь нелепые — объясняются острым сознанием этого разрыва: художник, который не силится восстановить эту органическую связь, умерщвляет искусство. Упростить нужно не только

искусство (не нужны оперы, романы, большие картины), но и материальную культуру (не нужны телефоны, электричество... не говоря о телевизорах...). Толстой иногда поразительно наивен: «Приручили ли хоть одно животное со времен библейских?» Ответ — нет. Значит, никакого прогресса нет!

В 1775 году Руссо в письме Вольтеру утверждал, что гораздо больше зла происходит от наших ошибок (от ложной науки), чем от нашего незнания. Вот с этим Толстой вполне согласен. «Вся моя жизнь основана на лжи, и я эту ложь старательно выдаю за правду перед другими и перед собой». Жить не по лжи — толстовско-солженицынский призыв звучит радикально и, наверное, еще способен взволновать часть русских.

В 1911 году в сборнике «Религия Толстого» киевский профессор богословия Василий Экземплярский развил тезис, что Христа всерьез принимали два человека: Иоанн Златоуст и Л.Н. Толстой... За это странное утверждение Экземплярский был немедленно уволен... Что имел в виду Экземплярский? Надо думать, глубину жизненного «переворота», порожденного встречей с Христом. Златоуст неустанно взывал к такому «перевороту». Ему возражали, что от исполнения одиночкой Заповедей Христа мир не освободится от всех своих скорбей. На что он отвечал, что эти скорби гораздо легче вынесет ученик Христа, чем ученик мира. «В этом пункте, — пишет Экземплярский, — полное совпадение мысли св. Иоанна и гр. Толстого». Толстой действительно пишет, что тяжесть подвига не должна отменять нашего духовного обновления. Но взывает Толстой к «новому разуму», т.е. к полной переоценке и себя и мира. В данном случае, разум — скорее, «смысл жизни». Это «новый разум» после разрушения мирского и релятивистского разума. «Требуется не отречение от личности, а подчинение ее разумному сознанию». Важно здесь слово «сознание». Трактат «О смысле жизни» начинается цитатой Паскаля. Толстой оперирует не применением «метода» Декарта, а кризисами сознания, как Паскаль.

Была в наших клетках «брызнь», а стала вдруг «не брызнь а жизнь», так он пишет. Люди разбрелись на тысячу вер, и все ненавидят всех. Толстой мечтает не о синкретизме (хотя есть у него и такое искушение), а о новом сознании, при котором вдруг станут видны общие корни главных вер. Конфуций, Лао-цзы, брамины, Будда, еврейство, христианство... Нет в списке лишь ислама: для Толстого ислам — лишь смесь двух последних религий. Кое в чем Толстой предвещает наше время: религиозность без определенной веры, вселенская «религия прав человека» (общая основа всех девяти главных вер) и отвержение владычества науки.

«Апология христианства» Паскаля сегодня вряд ли подействует как апология: никого не убедит. Аргументы паскалевского спора уже не функционируют. Но *апология Толстого* — своего рода апология «нового разума» — както вновь функционирует, ибо своим радикализмом соответствует мышлению многих наших современников — правда, лишь в рамках Запада, исключая ислам, который Толстой вычеркнул из своего списка вер. Парадоксы Толстого — это наши парадоксы, во всяком случае — парадоксы части наших современников. Осталась не «апология», остался «жест». Точно так же, как от Паскаля осталась не янсенистская апология, а остались молнии мистицизма.

**Ольга СЕДАКОВА**

# ПУТЬ К «ЧЕЛОВЕКУ СЕРДЦА»

## Луиджи Джуссани. Религиозное чувство

*«Христианская Россия», Италия — Москва, 2000*

Я пересматриваю уже давно читанную книгу — одну из книг замечательного итальянского священника и богослова наших дней (дон Джуссани скончался в глубокой старости в минувшем году), создателя движения «Communione e liberazione» («Причастность и освобождение»). Начавшись в кругу студентов Миланского католического университета, где Джуссани преподавал в 1964 — 1990 годах, к нынешнему времени это движение верующих мирян стало, без преувеличения, всемирным; на ежегодном фестивале в Римини собирается уже больше миллиона участников этого движения и тех, кто ему сочувствует. В этом фестивале, назначение которого — представить альтернативную современную культуру, мне пришлось однажды участвовать: меня пригласили сказать вступительное слово о выставке русского искусства, собранной и представленной последователями дона Джуссани, работающей в Москве группой «Христианская Россия». Выставка называлась: «Счастье в русской культуре двадцатого века». Не правда ли, неожиданно? О чем угодно принято говорить в связи с русской культурой — тем более, минувшего страшного столетия — но уж не о счастье. Фестиваль этот достоин отдельного разговора, но пока я расскажу о книге. Книга, как и вся деятельность дона Джуссани, — это разговор с нашей реальной современностью.

Наша современность, как описывают ее многие, — это мир, в котором *что-то* отсутствует, из которого *что-то* исчезло или общими усилиями изгнано. Какой-то померкший, «вдовый» мир. Без этого *чего-то* становятся невозможными многие вещи, в «другие времена» не только возможные, но и привычные: такие, как простодушная вера, вдохновенное художественное творчество (творчество, исходящее из «этики щедрости», как назвал искусство этого рода Шимус Хини). Или же — «общее», по-настоящему публичное пространство, по Ханне Арендт. Или же — вектор будущего. Да, это как будто мир *после* чего-то, мир на пределе собственного смыслового и волевого истощания. Европейский мир, как писали и греческий богослов мит-

**Ольга СЕДАКОВА** — родилась в 1949 г. в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и аспирантуру Института славяноведения. Кандидат филологических наук. Автор многих книг, в том числе поэтических сборников, собрания сочинений в 2-х томах и тома избранного «Путешествие волхвов».

рополит Иоанн Зизиулас и, еще в бытность свою кардиналом Ратцингером, нынешний Папа Римский, устрашающе похож на позднюю античность, на римский мир периода упадка. Похоже, как и тогда, нам остается только ждать новых варваров. И, быть может, ждать не долго: как видно, они в дверях. Что же будет отстаивать перед новыми варварами наш старый мир?

Новую жизнь, новую кровь в рассыпающуюся под собственной тяжестью античность внесло, как известно, юное христианство, малое стадо, малая закваска, заквасившая тесто истории на тысячелетия. Но современные богословы прекрасно отдают себе отчет в драматическом различии эпохи позднего язычества и нашего странного положения. Современный мир предполагает, что благая весть или «добрая новость» христианства ему уже слишком давно и достаточно хорошо известна. Что вершина этого пути осталась где-то позади: для кого — в апостольских временах, для кого — в святоотеческих, для кого — в великом Средневековье. Дальше путь шел под гору. Актуальный мир, секулярная цивилизация мыслит себя не просто внехристианским, но постхристианским обществом. С какой же новизной придет к нему современное церковное христианство? Можно ли еще раз понадеяться на силу этой закваски здесь и сейчас, в наши поздние времена? В этом и заключаются мысль и труд дона Джуссани.

Прежде всего, читая книгу Джуссани, мы видим, как он понимает это отсутствующее *что-то*, с которого мы начали наши рассуждения: это *прямое отношение* человека к реальности и к себе самому. Джуссани говорит об особой несвободе современности, которую точнее выразят не привычные образы оков или тюрьмы, а новый образ — морской болезни: чувство отсутствия опоры, скованность действий и мысли, происходящая из неуверенности человека в самых простых вещах. Эта неуверенность, систематический скепсис, который выражают самые популярные мыслители современности, уже приобретает характер идеологии (ее совершенно неверно именуют агностицизмом: ведь это весьма решительная убежденность в том, что о «последних вещах», о добре и зле никто ничего знать не может и потому и говорить не имеет права).

Обычно причину утраты этой простоты ищут в невероятной экспансии рациональности, в требованиях обоснования, логической последовательности, доказательности, которые современное сознание предъявляет к любому смыслу.

Джуссани открывает нерациональный, неразумный характер этого гиперрационализма. То, о чем он говорит, не столько «чувство» в привычном смысле этого слова (русский перевод названия не слишком удачен), а скорее некоторая естественная органическая разумность, непосредственное восприятие реальности как реальности. Из русских употреблений слова «чувства» это значение мы найдем в выражениях «прийти в чувство», «привести в чувство», что значит: прийти в себя, опомниться, вернуться к реальному видению вещей. И опомниться таким образом значит — вспомнить, что многие жизненно необходимые вещи, вообще говоря, принимаются на веру, не требуя для себя никаких обоснований. В ином случае всякая жизнедеятельность

становится невозможной. Невозможным окажется ни пахать, ни молотить (как сказано в 1 Кор 9:10), ни составлять словари, ни собираться на дачу. Мы изначально, даровым образом что-то *знаем* о том, что необходимо для нашей жизни — как это ни скандально для испытующего ума.

На этом основании Джуссани и строит свою школу религиозного опыта. Он понимает веру — христианскую церковную веру — не как особую и выделенную область жизни, согласие с некоторой системой представлений, установок и т.п.: но как самое широкое основание всей жизни человека, как *состояние* его ума и чувства.

«Естественное» агностицизма таким образом переворачивается. Быть неуверенным можно на самом деле только в тех вещах, которые не составляют твоего крайнего интереса. «Жизнь по истине», «собственная жизнь» (как и «собственная смерть») ушли из современности не потому, что никто о ней ничего не знает и знать не может, а просто потому, что они перестали быть предметом крайнего, реального, конкретного интереса.

Путь к «собственному», к той цельности бытия, которое мы чувствуем как «совсем свое», неуничтожимо, бессмертно «свое», крайне затруднен. Об этом постоянно спрашивал Рильке: а что же в самом деле *наше*? Когда мы в самом деле неоспоримо *существуем*? что не погибнет перед бытием Ангела, смертельного для смертных?

Und alles ist einig, uns zu verschweigen, halb als
Schade vielleicht und halb als unsagliche Hoffnung.
И все сговорилось замалчивать нас: наполовину
Как позор, вероятно, и наполовину — как (свою) несказанную надежду

(*Р. М. Рильке.* Вторая Дуинская элегия)

В возвращении человека к его «собственному» — иначе говоря, к себе, к «внутреннему человеку сердца» и состоит метод Джуссани. Дальше этот путь может повести к взысканию Откровения, поскольку для «внутреннего человека» это взыскание естественно.

Обращение к «собственному», естественному, природному кажется непривычным в проповеди христианства, которое часто понимается прежде всего как преодоление естества, борьба с естеством, с «самостью», с «собой». Но удивительным образом мы найдем тот же путь в словах Антония Великого, основателя пустынножительства, изначального образца аскетики: «Ибо каждый, кто ищет Бога или служит Ему, делает то, что природно его сущности. Но каждый грех, в каком мы повинны, чужд и не соприроден нашей сущности»*. Великий аскет советует, по существу, то же, что автор «Религиозного чувства»: познать себя «в своей умной сущности» или же «по своему первому состоянию» — и, более того, полюбить себя. «Тот, кто может любить себя, любит всех» (там же, с. 49); «ибо я пишу вам как людям разумным, которые могут знать себя — и вам известно, что тот, кто знает себя, знает Бога...» (с. 34). «Если человек знает свое истинное имя, он увидит и имя истины» (с. 31). Эти удивительные советы из посланий Антония Великого можно умножать и умножать.

---

* «Послания святого Антония Великого». Пер. О. Седаковой. М., Синтагма, 2002. С. 59.

Об опыте познания себя «в первом замысле», о своего рода «эпифании» себя и мира, об откровении собственного сердца как *крепости* и *рая* писал современный трагический лирик:

В Бресте, где пламя вертелось
и на тигров глазел балаган,
я слышал, как пела ты, бренность,
я видел тебя, Мандельштам.

Небо над рейдом висело,
чайка спустилась на кран.
Всегдашнее, бренное пело,
Канонерка звалась Баобаб.

Трехцветному флагу с поклоном
я по-русски сказал: прощай!
*Погибшее было спасенным,*
*и сердце — как крепость, как рай.*

(*Пауль Целан.* Вечер с цирком и крепостью. Пер. и курсив мой. — *О.С.*)

Итак, к этому сердцу, к этому «чувству» и хочет возвратить современного человека дон Джуссани.

Из многих примеров, рассказанных им в книге, самое сильное впечатление произвел на меня рассказ о происшествии в горах, когда единственным выходом из положения был рискованный прыжок через пропасть. Человек, понимая всю целесообразность и неизбежность такого прыжка, тем не менее не мог на него решиться. Почему? — анализирует Джуссани. Потому, что он не *чувствовал* правды этой необходимости. Он знал о ней — но непосредственное восприятие, чувство говорило ему только о гибельной опасности такого действия. Он должен был *поверить* в нее в самом реальном смысле, то есть всем своим существом *почувствовать* этот смысл. Анализ этого эпизода у Джуссани очень важен: ведь там, где речь идет о вере, непременно присутствует тема страха. Чего недостает тому, кто всем существом не соглашается на то, что сам же признает правильным? «Истинная драма не в доводах, а в воле» (с.155), утверждает Джуссани. Мне кажется, что здесь затронута одна из самых острых тем современности — и принципиальная проблематичность проповеди, которая должна сообщить не какие-то предметные содержания, а именно эту энергию, волю (в смысле желания), огонь. Здесь со всей очевидностью кончаются возможности и чувства, и природы. Возвращаясь к Антонию Великому: *естественно* (то есть вернувшись к своему первому естеству) человек приносит жертву — но огонь на эту жертву сходит с небес.

Итак, книга Джуссани — ответ на вызов современности. И здесь вторая сторона темы: не только *что* ей сообщать — но и *как*. Современность известна нам как нарастающая экстенсивность и количественная сила: это болезненная громкость — для звука, яркость и величина изображения — для зрительного, «выставленность» — для смысла, лихорадочная скорость — для

узнавания. Это механический повтор: на десятый раз уж точно не пройдешь мимо. Публичная массовая культура обращена как будто к глуховатому, подслеповатому, не способному сосредоточиться человеку:

Я глуховат, я, Боже, слеповат...

(*И.Бродский*)

Обращена так, чтобы овладеть им. Защитная реакция человека — дальнейшее ослабление восприятия, вплоть до отключения. Иначе всего этого уже просто не вытерпеть.

Каким же может быть ответ этому грохоту, скорости, яркости? Должен ли он быть той же — или еще превосходящей громкости? Той же — или еще большей — степени «выставленности», то есть объясненности, инструктажа во всех подробностях? Это было бы страшно.

Да, «нормальная» громкость уже, вероятно, неуловима для слуха. И, видимо, по-настоящему ответит современному шуму только *радикально иное*. То есть не большое — но и не маленькое, не громкое — но и не тихое, не яркое и не бледное: *безмерное*. Это одно из главных слов Джуссани. В отношении проповеди эта безмерность означает одно: безмерно доверительное слово. Слово с надеждой на ответ как на чудо, на дар.

И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

(*Ф.И.Тютчев*)

Об этой свободе доверия знали художники. Знает это и современный проповедник.

## ФИЛОСОФСКАЯ, СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ И ИСТОРИОСОФСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ

в русской периодике
четвертого квартала 2005 г. – первого квартала 2006 г.

Философия становится на стезю созидания. **В. Сломский** в статье **«Философия — воспитание для будущего»** («Философские науки», № 1) пишет, что философ обязан по мере своих возможностей формировать мир, в котором он живет. Философы должны оправдывать ожидания общества, которое их содержит. Целью философии является такая дефиниция человека и проблем, связанных с его существованием, которая будет понятна в контексте любой эпохи, каждому поколению человечества. Философия, которая рефлексивно распознает и объясняет человеку собственную его ситуацию, даже и не решая проблем, меняет ситуацию самим фактом философской рефлексии. И меняет самым фундаментальным образом. То есть философия, хочет она этого или нет, есть педагогический инструмент формирования человека. Философское мышление диалогично, а потому и несет в себе педагогическое начало. Истину можно искать в диалоге, даже если это диалог с самим. Конечно, философия не дает готовых рецептов и не защищает от угроз современного мира, но сформировать в человеке умение самостоятельно мыслить, принимать решения и осознавать свою ответственность за них — тоже немало.

**С. Лебедев** и **В. Ильин** (**«Метафилософия»** — «Философские науки», № 1, 2) выделяют два важнейших элемента философского мировоззрения: «я» и «не-я» (где «я» — всеобщее выражение сущности человека, а «не-я» — все остальное). Теоретически «я» конкретизируется в понятии «сознание», а «не-я» — в понятии «бытие». Эти элементы и образуют исходную пару (бинарную оппозицию) философского мировоззрения. Существуют три основных типа взаимоотношений между ними, и ни у одного из них нет преимущественного права на истинность. Первый — равноправный диалог между «я» и «не-я» (бытием и сознанием), который авторы статьи называют Игрой. Второй основан на ценностном подходе к отношениям «человек — мир», где человек рассматривается как нечто неизменное, мир же изменчив, и задача подлинной философии — разработка неизменного отношения к этому миру, то есть проблема ценностей. Важнейший вопрос здесь — это вопрос о смысле жизни. Умножение знаний о бытии и сознании мало способствует решению ценностных проблем человеческого существования, и тут нынешние философы оказываются не мудрее древних. Наконец, третьим способом синтеза «я» и «не-я» является рациональная демонстрация их единства в конкретных ситуациях (культура, общество, техника и т. п.). Все три способа разрешения оппозиции «бытие — сознание» лишь демонстрируют различные версии их единства. Философия, как известно, претендует на всеобщее истинное знание. Она не только обобщает опыт свой и других наук, но и дополняет его актом интеллектуальной интуиции, реализующимся в мыш-

лении. Мышление — это независимый от внешнего опыта источник знания. Подобно тому, как математика свободно конструирует числовые структуры, так мышление конструирует предметы умозрения. Способов подобного конструирования авторы насчитали пять. Из них особенно распространены в наше время феноменологическая редукция (позиция «чистого наблюдателя» — независимого от опыта всего человечества и даже от собственного опыта) и свободный дискурс. Свободный дискурс — это то, что предлагает постмодернизм; по раскованности и многообразию построений философия тут сближается с искусством. Авторы находят, что достоинство этого метода — в его прагматической полезности, внутренней гармонии, а также в том, что он делает философию нескучным занятием.

Впрочем, кто из философов согласился бы назвать свое занятие скучным? Общее здание науки создается не одним человеком, это результат спонтанного, незапланированного сотрудничества многих лучших, и это они задают направление курсу истории цивилизации. Так думал испанский философ **Х. Ортега-и-Гассет** (1883–1955), чья статья **«Исторический смысл теории Эйнштейна»** опубликована в № 2 журнала «Эпистемология и философия науки». Ортега справедливо полагал, что в истории культуры неведомым образом взаимосвязаны самые, на первый взгляд, далекие друг от друга сферы мысли. Сравнивая отношение к абсолютному и относительному у Эйнштейна и Ньютона, он обнаруживает тенденции развития культуры XX века. Старые абсолютисты, так Ортега называет приверженцев рационализма, господствовавшего в европейской мысли со времен Ньютона, полагали, что человек может видеть только в евклидовом пространстве — там, где действуют законы классической механики. Эту нашу особенность рационалисты возвели в закон для всего космоса. Они исходили из явной переоценки человека, и в этом, указывает Ортега, — их главный просчет. Они превращали человека в центр вселенной и обосновывали необходимость этой единственно достоверной точки зрения в поиске абсолютных определений. Ньютон верил в то, что реально существует абсолютное пространство, которое видится с точки зрения Бога в абсолютной перспективе, и что человеческий разум может достичь этого образца — точки зрения вечности. Вообще чистый разум рационализма строит образцовый мир — физический или политический космос, который и является настоящей реальностью и поэтому должен заменить иллюзорную действительность. То есть разум-творец формулирует принципы, и действительный мир исчезает в тени вымышленных абстракций. Для Эйнштейна роль разума гораздо скромней: это не демиург, а лишь полезный инструмент наблюдения. В то время как утопическая физика Ньютона все исправляла видимый мир, прибегая к бесконечному в пространстве и времени, физика Эйнштейна ограничивала пространство и время вселенной. Мир Эйнштейна искривлен и потому замкнут и конечен. В этой очевидной склонности к конечному, пишет философ, проглядывает четкая воля к ограничению, к спокойной тщательности и антипатия к смутным крайностям. Непонятно только, как относился к этому сам Ортега-и-Гассет: нравилось ли ему ограничивать себя такой «ампутацией» (его выражение) и жить в мире, который он называл «обрубком вселенной»?

Всеобщую взаимосвязь и определенную закономерность обнаруживает во всех формах теоретизирования и **В. Федоров**, автор статьи **«Сакральность разума»** («Философские науки», № 2), смело живописующий, как «идеальные структуры высшего разума Души» материализуются в «едином ментально-манасическом теле» всемирного разума. В эту торжественную поступь космического прогресса каждый из нас вовлечен не благодаря усилиям собственного духа, а по счастливой возможности родиться на данном этапе эволюции человечества. Сама эволюция есть вскрытие внутреннего ресурса развития. Но это, предупреждает автор, можно понять, только осознав душу как глубинный источник эволюции ума. А уж будучи посвященным, уверяет автор, ты непременно обнаружишь первоисточник и увидишь единство материального и идеального в объективной реальности. На эволюционном пути мы идем вглубь — к первоисточнику жизни, как бы совершая путь, противоположный процессу воплощения. Однако этим возвратным движением к истоку мы на самом деле делаем шаг вперед и двигаем эволюцию к исторической неизбежности ноосферной цивилизации. Что нам в ней уготовано, Федоров не сообщает.

Доктор исторических наук, профессор **В. Бердинских** из Вятского университета в неизбежное совершенство мира не верит; напротив, он остро ощущает неблагополучие этого мира (**«Особенности регресса современного человеческого общества (вперед в средневековье)»** — «Клио», № 4). Автор обращается к прошлому, которое манит его тихим светом крестьянской идиллии. Нам же Бердинских предлагает подвести печальные итоги всеобщей индустриализации. Он пишет, к XXI веку значительная часть цивилизованных стран, сама того не замечая, лишилась существенных элементов счастливой и душевно комфортной жизни. Мир, в котором мы живем, оскудел, повсеместно ухудшилось качество пищи, воды, воздуха — и это необратимо. Мир лишился крестьянства, а именно оно было живородящей основой всякого национального языка и культуры в целом. С гибелью крестьянства исчезла вековая традиционная основа человечности, погибло творческое начало, мы разучились петь и танцевать. Автор с сожалением вспоминает и об утраченной аристократии, которая в Средние века была основой высокой интеллектуальной культуры. Установка на восприятие, а не на созидание создала массовую культуру, рассчитанную не на «среднего человека», а на среднего идиота. Произошло колоссальное оглупление и обеднение чувств, мыслей, строя жизни. Мир стал значительно меньше, скоростные средства передвижения сильно сжали его. Городская скученность сделала невыносимым повседневный быт. Мы превратились в заложников городского сервиса. Все случайно и иллюзорно — радость, горе, любовь, ненависть... Эмоциональная убогость мира компенсируется внешним допингом (кино, телевидение, пресса, индустрия развлечений). Наш псевдодемократический мир лишился иерархии и ритуала. Современный человек обречен на непосильный ритм жизни. Историческое время сжимается, как пружина. Скорость перемен убыстряется. Но мы не способны жить быстрее, мы не успеваем адаптироваться к этому темпу. А бывало... Скрип тележных колес, медленная ручная работа — вкус и цвет жизни, привычное счастье обжитого, знакомого до мелочей мира, насыщенность человечностью... Теперь этого нет. Только упадок и угасание

духовного самостоятельного творчества человека, народа, нации. Регресс человеческого общества несомненен, утерянные ценности невосстановимы, пути выхода неизвестны. Автор предсказывает к середине текущего века «мощный взрыв исторического времени».

В статье **«Место курса философии истории в системе исторического образования»** («Клио», 2005, № 4) **В. Носков** называет означенную науку квинтэссенцией гуманитарного знания. Он подчеркивает, что особое значение философия истории приобретает именно сейчас, когда наша страна находится в состоянии глубокого системного кризиса, а массовое сознание полностью дезориентировано относительно исторической перспективы. Носков полагает, что философия истории должна стать достоянием масс, для чего ее следует непременно ввести в курсы образования хотя бы историков. Но что же такое философия истории? Прежде всего ее не следует считать наукой, поскольку она выше науки. Это особая форма познания, которая соединяет в себе гносеологические возможности и философии, и истории как разновидностей человеческого знания. Философия истории ищет «первоначала» и в то же время дает ключ к пониманию каждого конкретного явления. Она представляет собой последнюю возможность сохранить в современном мире то непосредственное цельное знание, идеал которого человечество лелеет в продолжение всего своего обозримого существования. Однако следует оградить философию истории от набегов в ее приделы таких наук, как социология, социальная философия, история культуры, методология истории и проч. Однако, зорко охраняя ее границы, следует помнить и о невозможности универсальной философии истории, которая была бы пригодна для всех времен и народов. Философия истории, по соображениям Носкова, может изучаться лишь как некий непрекращающийся процесс, тон которому задает — это очень важно — идейная традиция Платона. В приложении дается примерная программа курса «Философия истории», содержащая 111 имен мыслителей, внесших свой вклад в познание смысла истории (от пророка Даниила до Генри Киссинджера).

Многие историки к философии истории относятся с меньшим пафосом, чем Носков, и деловито осваивают способы современного философствования. Так, постмодернизм сегодня перестал пугать наших ученых, они присмотрелись к нему и начинают находить в нем всякие полезные для своего рукомесла предметы. Например, **К. Хвостова** в статье **«Постмодернизм, синергетика и современная историческая наука»** («Новая и новейшая история», № 2) находит полезным постмодернистское отношение к языку исторического описания (нарратива). Она имеет в виду труды М. Фуко, Ж. Дерриды, Ж.-Ж. Лиотара. Исторический текст, с их точки зрения, представляет собой «текучий дискурс», который живет собственной жизнью. Язык можно понять только в условиях той культурно-исторической реальности, в которой он употреблялся. Здесь нужна не рациональная интерпретация логики выражений, а интуитивное схватывание отношений «слово — вещь». В современном обществе индивидуальный язык подчинен официальному. И, чтобы выявить первоначальный смысл, необходимо осуществить деструкцию, «археологию языка». Понимание подлинного, «первоначального» языка приходит с пониманием метафор. Такой прием постмодернисты называют «дело-

гоцентризм», он позволяет восстановить естественный язык и даже судить о бессознательном в рассуждениях человека. Прием, как указывает Хвостова, не новый, и его абсолютизация кажется ей весьма ошибочной. С такой же двусмысленной доброжелательностью она относится и к другим методам постмодернизма: не новы, дескать, но полезны, хотя и не всегда.

История философии тоже не утратила своего значения. Например, французский философ по фамилии Ален написал **«Краткий курс для слепых. Портреты и доктрины древних и современных философов»**; посвященная Аристотелю глава из этой книги напечатана в журнале «Философские науки» ( № 1). Ален выяснил, что, вопреки устоявшемуся мнению, заслуга Аристотеля — в учении о душе и развитии. Оказывается, механическое движение есть лишь видимость, а подлинное изменение представляет собой движение от свернутого к развернутому, как это происходит в душе, когда она пробуждается и вспоминает. Душа не изменяется, она пробуждается и развертывает мир — мир истинный. Ален цитирует высказывание Аристотеля: «Бог представляет собой абсолютную мысль; а абсолютная мысль представляет собой мысль о мысли».

Кого считать родоначальником нашей философии? — таким вопросом задается **В. Жуков («С кого начиналась русская философия»** — «Философские науки», № 2). Слово «философия» (в буквальном переводе с греческого — «любо-мудрие») он понимает в его первоначальном смысле — не как школьную науку, а как любовь к мудрости. Для древнерусской культурной традиции мудрость и знание вовсе не тождественны. И, если смотреть с этой точки зрения, то философия на Руси началась с княгини Ольги: именно она была у истоков нашей истории «мудрейши всех человек». Известно, что Ольга на Руси была одной из первых, кто принял крещение. Крещение для нее было обретением истины жизни в ощущение реальной радости действительного бытия, единением души и тела. Достижение такого единства автор и считает «просвещением». Ольга нашла мудрость, которая присутствует в жизни и носит название «жизнь». Христианство она приняла как высшую объективную истину. И эта всеобщая истина воплотилась на Руси не в силу влияния могущественной и просвещенной Византии, не в силу особой уникальной предрасположенности Руси к христианству, а в силу универсальности самой истины. Мудрость Ольги проявилась в понимании значения христианской истины. Ольга как женщина — дщерь Евы, через которую грех пришел; но она женщина, — так же, как и Богородица, с чьей помощью первородный грех преодолен. Этот акт священной истории был повторен в истории русской, пишет Жуков, и княгиня Ольга оказалась именно тем человеком, через которого этот всемирный акт получил национальное воплощение. Ольга есть мудрейшая из мудрых потому, что исполнила дело истины, а совсем не потому, что у нее можно обнаружить какую-то исключительно личную, оригинальную философию.

**А. Патрушев** проследил идеологические **«Метаморфозы Вернера Зомбарта (1863-1941)»** («Новая и новейшая история», № 2). Нельзя сказать, чтобы этот немецкий экономист и культуролог потряс человечество глубиной и оригинальностью своей мысли; однако есть в его умозрении что-то привлекательное для нас, какая-то схожесть по роду недугов. В молодости Зом-

барт ощутил значение политической экономии Маркса и проникся его идеей классовой борьбы как движущей силы человеческой истории. Но, приглядевшись и к истории, и к перипетиям классовой борьбы, обнаружил, что классовая борьба может быть продуктивна не в варварских формах революционного восстания, а в разумных формах экономической (профсоюзы) и политической (парламентарии) деятельности, что предполагает порядок, законность, гуманизм и демократию. Он понял, что пролетарские массы в большинстве своем ничем не обладают и ни к чему не способны, они — благодатная среда для воздействия социалистической заразы. Классовая борьба — это нечто противоестественное, революции несут ненависть, разрушение, страх и разгул кровавых инстинктов. Противостоять классовой борьбе может только истинная вера в Бога. Капитализм — порождение дьявола — естественный и живой мир превращает в развалины. Зомбарт с ностальгией обращается к Средним векам, когда медленное органическое созидание продукта не умаляло его качества и его художественной ценности, когда индивид был «согрет» и защищен в недрах патриархальной семьи. Зомбарту так хотелось вычеркнуть из истории Германии последние полтора века и вернуться в эпоху просвещенного абсолютизма, под милостивое покровительство рыцаря и философа Фридриха Великого.

**А. Дзюра** наблюдает историю философии в наших пределах, испытывая муки Гамлета: **«Порвалась связь времен (марксизм и переоценка ценностей)»** («Философия и общество», № 1). «Молчат рядовые и дипломированные марксисты, которых еще вчера было так много. Куда они подевались? — недоумевает автор. — Видно, быть марксистом — это признак дурного тона!» Но Дзюра хулы не боится и ставит Маркса в один ряд с Платоном и Христом. Марксизм — наследник многовековой культуры гуманистического мышления, Маркс живет в мировой мысли и сегодня. В постсоветскую эпоху большинство обществоведов отвернулись от марксизма. На самом деле Маркс просто не понят до глубины. Мы не доросли до него и не ощущаем в нем поистине магической силы идейно-нравственного воздействия. Без Маркса невозможна логическая и историческая эстафета и преемственность в познании действительности, а значит, и художественно-эстетическое освоение мира. Поспешное и недальновидное отречение российского общества от Маркса Дзюра объясняет тем, что марксизм вообще-то квинтэссенция западноевропейской, а отнюдь не русской культуры. Теория Маркса к России никакого отношения не имеет; пределы ее применения очерчены границами Западной Европы; российские же большевики отступили от основ философии Маркса. Марксизм — это важный шаг на пути самосознания всей западной цивилизации. Похоронить Маркса — все равно что похоронить всю новоевропейскую культуру. Но марксизм жив. Он умер только в умах (сердцах) политических геростатов. Верные его последователи, Дзюра в их числе, почитают творчество Учителя как процесс «неустанного самостановления, самотворения, самосознания Духа» и неразрывное звено в «связи времен».

**И. Исаев** свидетельствует, что политика, которой у нас занимаются с «легкостью необыкновенной», требует образования и умственного труда. Он учит нас читать **«Непроявленный язык закона»** («Lex russica», № 1). Он напоминает, что издавна источниками закона назывались природа, божествен-

ное откровение и разум. От античности до Нового времени считалось, что в основании закона лежит некая базовая норма, из которой исходили все последующие. Это первоначало Исаев называет «душой» закона. Все бесконечные формы закона возникают, исчезают и вновь воссоздаются, приспосабливаясь к внешним обстоятельствам бытия, но универсальные принципы остаются неизменными. Универсальные принципы, будучи «небесной» основой закона, обнаруживают сопротивление, нисходя в земные сферы и сталкиваясь с необходимостью своего применения в людской среде. Незыблемый идеальный кодекс законов «вопиет» против изменчивости законодательства реального. Небесное и земное в законе всегда выполняли различные функции: первое формулировало основные принципы, второе — конкретные правила, необходимые для применения в жизни. Согласное сосуществование двух правовых порядков несло в себе гармоничность и онтологическую пропорциональность — тот порядок, при котором человеческие законы копировали принципы закона божественного. Так было до XVIII века. Позднее эта гармония была разрушена. Человек забыл о своих корнях и об источниках своего закона, его свободная воля возродила первичный хаос. Исчезло ощущение предела, границы и меры, а с ним и представление о порядке. Духовные иерархии сменились организационными и бюрократическими структурами. Сфера священного стала рассматриваться как набор нелепых фантазий и, порвав все отношения с политикой и юриспруденцией, переместилась исключительно в область религии. Искажено само понимание порядка; и вернуть его может только обращение к ритуалу. Только так нейтрализуются опасные силы, высвобождаемые в результате нарушения границ священного.

Журнал «Россия в глобальной политике» (№ 1) поместил статью известного американского политолога, попечителя и советника Центра стратегических и международных исследований **З. Бжезинского «Последний суверен на распутье»**. В ней он размышляет о положении США как единственного суверенного государства в сегодняшнем мире. По его соображениям, внешняя политика Буша после 11 сентября отличается близорукостью и недальновидностью, сеет чрезмерный страх перед терроризмом и слишком дорогостояща. Результаты ее крайне неудовлетворительны: Америка стала еще более уязвимой, чем была до теракта, а легитимность ее мирового господства сильно подорвана. Бжезинский считает, что основная проблема нашего времени — не мировой терроризм, а всеобщее ожесточение, связанное с происходящим в мире пробуждением политической активности. Население развивающихся стран остро осознает вопиющую социальную несправедливость и трактует ее как политическое унижение. Демографическая революция в странах «третьего мира» означает выход на политическую арену огромной массы встревоженных юношей и девушек. Звуки и образы, доносящиеся из СМИ и Интернета, лишь усиливают кипение умов и недовольство молодежи. В силу грамотности и доступности информации их социальная активность не знает границ. Это затаившиеся революционеры, их протестные настроения способны превратиться в «революционный меч». Да, пока что у них нет объединяющей доктрины (такой, как марксизм), но США — благоденствующий великан и незыблемый

суверен — становится всеобщим раздражителем, вызывая одновременно и восхищение, и общественную зависть, и политическое негодование, и религиозную ненависть. Бжезинский предлагает альтернативу нынешней политике Буша: не подавление всеобщего ожесточения кнутом военной мощи, а умиротворение пряником экономических поощрений. Оно и дешевле! Всем известно, что это может быть обеспечено только демократией. Никто другой, кроме Америки, не может предложить и отстоять всеобъемлющую стратегию новой мировой солидарности и управлять постоянно меняющимся и политически неустойчивым глобальным сознанием. США должны задавать тон в построении такого мира, где нет химеры государственного суверенитета, где царит «неуклонно возрастающая и политически регулируемая *взаимозависимость*». Рамки национального государства стали слишком узки и не позволяют осуществлять программы, в которых заинтересована большая часть человечества. Сегодня ни одна крупная международная проблема не может быть решена без участия США. Но и они не в состоянии многого решить в одиночку. Америке нужны партнеры. Для решения общих проблем человечества на первых порах достаточно создания полуофициального клуба или консультативного саммита из 14 держав под руководством США: три европейские (Великобритания, Франция, Германия); две африканские (Нигерия и ЮАР); азиатские гиганты — Китай и Индия (числом населения), Япония (экономикой), Пакистан (ядерным оружием), Индонезия (количество мусульман); из Латинской Америки — Бразилия и Мексика и, конечно, Россия. Возглавив благонамеренный союз четырнадцати, Америка возьмет на себя обязательства поднять человечество на иной качественный уровень взаимоотношений, возвысить его над случайностями межкультурных конфликтов и межцивилизационных противостояний. Только так суверенитет США будет служить более высокой цели, чем национальная безопасность, а американские интересы совпадут с интересами всего мира.

Статья **М. Санаи** дает возможность предположить, как будут реагировать на проект американца страны, не включенные им в число четырнадцати (**«Внешняя политика Ирана: между историей и религией»** — «Россия в глобальной политике», № 1). Профессор из Тегеранского университета повествует о государственной системе Ирана. В ее основе лежит шиизм. На протяжении всей своей истории шииты стремились установить справедливое правление, считая, что законным руководителем мусульманской общины может быть только *непогрешимый имам* (прямой потомок четвертого халифа Али и Фатимы, дочери пророка Мухаммеда) или его преемник. В отсутствие же имама право руководить нацией имеют только праведные богословы и вся полнота власти должна быть сосредоточена в руках образцового законоведа (факиха). Правитель мусульман должен отвечать следующим фундаментальным требованиям: 1) достаточное знание исламского учения, 2) справедливость и добродетель, 3) понимание требований эпохи. Концепция государственного устройства основана на трех принципах: 1) полное подчинение и приверженность светских государственных структур исламскому праву; 2) верховная власть факиха над всеми тремя ветвями светской власти в государстве; 3) обязанность каждого мусульманина прилагать все силы для установления исламского правления. В политике Исламской Республи-

ки Иран традиция должна сочетаться с требованиями современной эпохи. Международные отношения строятся на глубоком понимании различий в ценностях сосуществующих культур. При этом осознается, что фундаментальные основы мировых цивилизаций переплетены и взаимосвязаны настолько, что конфликт между ними невозможен. Источником столкновений и разногласий являются попытки некоторых держав достичь мирового господства. Если человечество освободится от оков групповых обязательств, если повысится уровень знаний об исторических корнях и культурных особенностях других наций и если будет достигнуто взаимопонимание, оснований для конфликта цивилизаций не будет.

**А. Давидсон («Ключевая проблема XXI столетия: последствия распада империй»** — «Новая и новейшая история», № 2) грустит о конце эпохи блистательной, триумфальной Европы, эпохи сиятельных капиталистических империй, сравнивая процессы, происходящие сегодня, с падением великого Рима. Каким станет будущее «без белых», «без государства», «без демократии», «без равенств», «без смысла» — и «без России»?! С распадом империй мир, несомненно, вступил в совершенно новую эпоху. Прежде мировые события зависели всего лишь от нескольких центров силы. Теперь, вопреки господствующему мнению, что мир стал однополярным, центров силы многократно прибавилось. За столетия господства метрополий у аборигенов накопилась масса недовольства. Возник «антирасистский расизм», его лозунг — *«жизнь для колонизованного может возникнуть только из разлагающегося трупа колонизатора»*. Обретают силу различные антиколониальные идеологии, зиждущиеся на осуждении имперского владычества (востокоцентризм, исламоцентризм, афроцентризм и др.). Однако не секрет, что в освободившихся от колониального гнета странах кровавые междоусобицы и этнические конфликты унесли за последние десятилетия больше человеческих жизней, чем продолжавшаяся столетиями европейская работорговля. Национально-освободительные движения перерастают в террористические войны. Вместе с этим обнаруживаются демографическое превосходство и массовая миграция населения бывших колоний в метрополию, а также бурно развивающаяся промышленность азиатских и африканских стран, усиление их политических союзов. Все это не может не беспокоить европейцев. У них (то есть у нас) появляется боязнь утраты национальной идентичности, а вследствие этого растет расовое (и националистическое) самосознание. Давидсон считает это несомненным злом и призывает избегать расового и национального эгоизма. Нельзя видеть мир таким, каким он видится из Москвы (Лондона, Парижа, Нью-Йорка). Необходимо знать, каким он предстает из Дели и Пекина (Аддис-Абебы, Буэнос-Айреса). Послеимперский мир может быть понят, если каждый из нас будет прислушиваться к мнению не только своего, но и другого («чужого») народа. Европе нужно осознать и внушить своим гражданам понимание роли не-Европы в современном мире.

**К. Россиянов** воскрешает полузабытую историю об эксперименте скрещивания человекообразных обезьян с homo sapiens — факт, интересный не столько в научном (биологическом), сколько в нравственном смысле (**«Опасные связи: И. И. Иванов и опыты скрещивания человека с человекообразными обезьянами»** — «Вопросы истории естествознания и техники», № 1).

Затеял искусственное оплодотворение самок шимпанзе человеческим семенем, а также натуральных женщин — обезьяньим вполне старорежимный и нравственно вменяемый профессор с одобрения властей и академических коллег. Случилось это в 1926 году. Автора статьи удивляет, как такого рода эксперимент мог быть одобрен без нравственных терзаний или хотя бы широких предварительных дискуссий. Ну, с большевиков, слывших воинствующими безбожниками и радикальными реформаторами морали, и взять нечего. Но как же быть с поддержкой коллег, которые являли собой эталон порядочности (В. И. Вернадский, Н. И. Вавилов и др.)? Россиянов полагает, что выдвинуть убедительные нравственные возражения на том этапе развития научной этики было не просто, а то и совсем невозможно. По целому ряду причин эксперимент не удался, но проблема осталась, и Россиянов пробует разрешить ее, исходя из биологических и нравственных реалий современной действительности, страшно загрязненной искусственно созданными генетическими «конструкциями». Он задается вопросом: есть ли вообще видовые границы, то есть границы между человеком и человекообразной обезьяной? Имеют ли эти границы объективный, так сказать, независимый от наших интересов и чувств нравственный смысл? Увы, положительного ответа на этот вопрос автор статьи дать не может. Он полагает, что нам пора освободиться от видового эгоизма человечества, ставящего себя на высшую ступень в эволюционной иерархии. Идея безусловного и нераздельного владычества человека над остальным миром кажется ему нездоровой и даже губительной и для природы, и для культуры. Ведь мы уже не верим в существование различий (границ) между расами, национальностями и сословиями, — так откуда следует этическая обязательность наших видовых границ? Быть может, «нисхождение», единение с природой не только душою, но также плотью и кровью (короче говоря, гибридизация) избавит человечество от фундаментального заблуждения о своем превосходстве над остальным живым миром? И тогда права человека перестанут быть оправданием наших экологических бесчинств, и мы поделимся этими правами с «братьями нашими меньшими». На память приходит поучительный анекдот, пересказанный философом Владимиром Соловьевым со слов его отца, знаменитого историка. В их пору русская интеллигенция была увлечена идеями Дарвина, трактовала их как уравнение прав человека с правами прочих животных и пыталась донести все это до народа. Один из таких просветителей как-то долго втолковывал суть дарвинизма московскому купчине и в конце своей речи спросил: «Понял?» Тот отвечал: «Понял». — «Что ж скажешь?» — «Да что сказать? Ежели, значит, я — пес, и ты, значит пес, — так у пса со псом какой же будет разговор?»...

*Обзор подготовил Александр Денискин*

## *У книжной полки*

# ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ, или ТРЕТИЙ ЗАВЕТ ОТ ЛЬВА ТОЛСТОГО

***(Письмо в редакцию)***

## Елена Полтавец. «Война и мир» Л.Н. Толстого на уроках литературы.

*М.: Дрофа, 2005. 368 с. (Библиотека учителя)*

Я — преподаватель литературы, интересуюсь, естественно, новинками «Библиотеки учителя», потому и купил эту книгу. Тем более что аннотация обещает: *«Работа с данным пособием — это самый простой способ сделать изучение романа "Война и мир" по-настоящему увлекательным и помочь ученикам найти путь к пониманию его скрытой философии»*. Купил прочел и... Словом, *не могу молчать*. Не могу не поделиться впечатлениями. А поскольку методический труд этот — из той серии, когда комментарии только во вред, постараюсь, чтобы как можно больше звучал голос самого автора этой книги[1].

Начну с главной претензии, которую предъявляет Елена Юрьевна Полтавец школьным учителям литературы. Она в том, что *«Толстой как исследователь христианства и создатель нового религиозного учения совершенно не известен школе»* (4). И это происходит прежде всего потому, что в романе «Война и мир», который изучается в школе, учителя и методисты не видят главного. Они считают «Войну и мир» всего лишь художественным произведением, в то время как это *сакральный текст*, требующий принципиально иного подхода. А именно: *«наиболее адекватным»* будет в данном случае именно *«тот способ прочтения, который применяют к Библии экзегетические сочинения»* (8). Всего же ближе к экзегетике, по мнению Полтавец, ***мотивный анализ***, суть которого состоит *«в том, чтобы найти в тексте мифологемы, ключевые понятия и символы, складывающиеся в мотивы»* (10). Причем, указывает Полтавец, *«такой подход особенно уместен в школе*[2]*, при изучении произведения под руководством учителя»* (8). При этом подходе *«бóльшая часть уроков будет посвящена тезаурусному описанию основных понятий (концептов) текста»* (9), потому что *«если уж учить школьников приемам литературоведческого анализа, то исходить нужно из анализа лингвистического (имен персонажей, например), а не социологического или даже на первый взгляд более тонкого, но все же не адекватного словесному искусству — психологического»*[3] (85).

Мотивный анализ, и в самом деле, дает ошеломительные результаты — причем немедленно. Вслед за Полтавец мы легко обнаруживаем ***ключевые*** для

[1] Все цитаты приводятся курсивом, номера страниц указываются в скобках.

[2] Подчеркнуто мною, просто не смог удержаться. — *Л.А.*

[3] Подчеркнуто мною. — *Л.А.*

«Войны и мира» ***мифологемы и мотивы*** — такие как «*дерево*» (правда, тут есть тонкая разница: «*береза*» у Толстого определяется как «*дерево*» и принадлежит мифологеме «*древа*», а «*дуб*» никак не определяется, следовательно, равнозначен понятию «*мировое древо*»). К ключевым относятся также «*сеть*» (или «*пряжа*»), «*дверь*», «*небо*», «*равновесие*», «*вода*», «*птица*» и так далее. Последними в этом ряду названы «*мифологемы апостолов Андрея и Петра*» (9).

Но обо всем этом еще пойдет речь.

Итак, «Война и мир» — вовсе не художественное произведение. Это книга, построенная «*по принципам Библии и древних восточных религиозных текстов*» (10). Она написана «*как бы иероглифами, где этими иероглифами, т.е. единицами смысла, могут быть понятия, сцены и эпизоды, описания, философские отступления, иногда целые главы*» (9). Причем что характерно, указывает Полтавец, — единицы толстовского иероглифического кода по смысловой нагрузке гораздо крупнее привычно-европейских, так что творение Толстого «*в этом смысле ближе к восточному иероглифическому письму и свойственному ему, например в "Дао дэ дзин", способу постижения мира*» (10).

Шрифтом выделена в книге ее исходная истина: ***«...в "Войне и мире", священной книге нового учения о единении, главную роль играют священные имена пророков этого учения, вобравшие в себя символику Библии, "Дхаммапады" (книги изречений Будды), даосского учения и других священных текстов. Нет никакого сомнения, что "Война и мир" создавалась Толстым как некий сакральный текст тайного (эзотерического, как сейчас модно выражаться) содержания»*** (87).

А вот итоговый вывод: «*в каком-то смысле книга Толстого может рассматриваться как ритуальный, магический текст, воспроизводящий сакральные имена... сакральную топонимику и, главное, ритуал спасения мира*» (258).

Итак, предложенный Полтавец метод призван привести нас к постижению глубиннейших сакральных смыслов толстовского романа. Последуем ему, и нам откроется, что для Толстого «*эрос существует только агапический*» (48), что Андрей Болконский принадлежит к «*нирваническим существам*» (54); мы поймем, сколь для него «*труден путь к идеалу митраического согласия и единения*» (54), и будем потрясены, узнав, что он «*в глубине души нефеломан и дендрофил*» (168); что Николенька Болконский — вполне возможно, мессия, так как родился 20 марта (218); что композиция «Войны и мира» подчиняется числу 28, а глав в четырех томах ровнехонько 333 — то есть «*половина библейского числа 666*» (217). И еще многое другое поймут ученики на уроках Е.Ю. Полтавец. В две колонки они будут расписывать произведения русской литературы. В одну — эсхатологические, в другую — сотериологические. А затем — обсудят проблему взаимоотношений сотериологии и партиципации...

Путь такого постижения откроет и нам, учителям, нечто такое, о чем мы раньше и помыслить не могли — или стеснялись себе признаться. Вот, к примеру, советское литературоведение любило Наташу Ростову — но это, скорее, потому, что ее «*удобно было представить школьникам в свете соцреализма-оптимизма*» (249). А на самом-то деле любить ее не за что: типичная душечка — пока не научилась *мистическому участию* («*роль душечки прекрасно подходит Наташе и, главное, очень восхищает Толстого*» — 246)! А Пьер Без-

ухов — это вообще *«несостоявшийся международный террорист»* (88): то Наполеона убить собирается, то против существующей власти выступить; правда, все это не мешает Пьеру быть одним из любимых героев Толстого. Или вот Телянин. Не все помнят, кто такой? А напрасно. Обладатель *«рогатой»* фамилии (школьники должны понимать, что это *«знак принадлежности к бесам»*, а если не понимают, — пусть припомнят хотя бы *Коровьева*), — так вот, Телянин (в отличие от большинства персонажей на *Т* и *-ин* (*Тушин*[4], *Тимохин*, *Теркин*, *Турбин*) — самый настоящий *«вампир, хотя и метафорический»* (96). Те же из старшеклассников, кто мало-мальски знаком с мифологией, безусловно, усмотрят *«в схватке Денисова с Теляниным борьбу с рогатым*[5] *Минотавром, а в скитаниях Денисова по чиновничьим кабинетам — Лабиринт»* (96).

И сколько в книге подобных находок, наблюдений, сравнений, ассоциаций! *«У Толстого*, — пишет Полтавец, — *вообще многие, казалось бы, чисто бытовые или психологические детали оказываются символическими при сопоставлении и повторении их»* (32). Вот Андрей Болконский перед приходом французов в Лысые Горы приезжает в родное имение и между прочим видит там старика, плетущего лапти. Но мы-то знаем: *«старик, плетущий лапти, занимается "ремеслом" парок — плетением судьбы»* (33). Или вот «маленькая княгиня» Лиза Болконская, занятая вышиванием, прерывает работу. С чего бы ей прерываться? — не иначе, оборвала нить! А ведь *«обрыв нити символизирует смерть не только в античной мифологии, но и в праславянских языческих представлениях»* и *«Прекращение Лизой работы может означать только одно*[6]*: и она, и ее муж скоро умрут»* (30 — 31).

Поистине роковая роль в судьбе Болконского (Полтавец сурово говорит о *«доле вины»*) отведена и Наташе Ростовой: она **роняет клубок**!!! Нет сомнений, что это событие *«предвещает князю Андрею смерть»* — и это бы полбеды, *«да еще Наташа, пытаясь поднять клубок, закрывает от князя Андрея свечу. А ведь любовь к Наташе князь Андрей называл светом. Мотив свечи в мифопоэтических представлениях*, — указывает Полтавец, — *связан с мотивом нити, а гаснущая свеча — это прерванная нить. <...> Нить жизни мужчины, по поверьям, находится в руках любимой женщины. Как и Лиза, когда-то оборвавшая нитку, Наташа выпускает из рук нить судьбы князя Андрея»* (31).

Надо заметить, что Наташа Ростова и вообще ведет себя крайне неосмотрительно: к примеру, *«бежит наперерез карете Болконского, что*, — предупреждает Полтавец, — *особенно символично»* (80).

Но нельзя подходить к священному тексту слишком однобоко. Скажем, упрощенно трактовать мотив прядения, вышивания и вязания. Ведь работа парок связана не только с прерыванием, но также и с продолжением жизни. Да и парка парке рознь. Одно дело — гостиная Шерер, уподобленная *прядильной мастерской*, да к тому же с подробным описанием *именно трех женщин* (сколько было парок, все помнят?), и совсем другое дело — Платон

---

[4] *«Харизматический лидер»* капитан Тушин *«создал колоссальное энергетическое поле объединения усилий всех сражающихся. Может быть, то же самое случилось при Фермопилах благодаря царю Леониду»* (237).

[5] Подчеркнуто мною. — *Л.А.*

[6] Подчеркнуто мною. — *Л.А.*

Каратаев, *разматывающий* веревочку или *шьющий* рубашку. Во-первых, это не простая рубашка, а «*судьба-рубашка*» (34), а, во-вторых, сам Каратаев — не что иное, как действующее в романе «*божество судьбы, любви и прощения*», а его веревочка олицетворяет «*главное в любви — ощущать свою связь со всеми*» (35). А уж когда за пяльцы садится беременная Марья Ростова, тут уж только слепой не поймет: «*теперь вязанье-плетенье-вышиванье символизирует продолжение рода, новую жизнь, неуничтожимость жизни*» (34) — «*мир спасен, связан, сбережен от распадения, даже Наташа по просьбе князя Андрея "выучилась* ***вязать***[7]*"*» (314). При этом никогда не следует забывать и о том, что «*ритуально-обрядовое значение пряжи, ниток состоит в том, что они выражают идею связи между нашим и иным миром*» (34)!

Конечно, всю книгу не перепишешь — но жаль и останавливаться: что ни страница, — то новые и новые «*коды*», «*мифологемы*», «*концепты*» и «*кросс-уровневые единицы*»... С сакральным текстом по-другому ведь нельзя.

А в центре этого текста — князь Андрей Болконский. И, надо признать, Полтавец весьма изобретательно объясняет, почему именно «*князь*», именно «*Андрей*», причем «*Болконский*».

Итак, «***Андрей***». Поскольку «Война и мир» — не что иное как экуменический *Третий Завет*, то и «*соотнесенность имен главных героев Пьера и князя Андрея с апостолами не подлежит сомнению*» (63). А если принять во внимание то обстоятельство, что греческое имя «Андрей» начинается с первой буквы алфавита, то с полным основанием «*можно понять альфу в начале имени толстовского апостола Андрея как знак начала новой религии*» (62). И, конечно, говоря о «Войне и мире», нельзя не принять во внимание, что апостол Андрей — «*самый русский из апостолов*» (84), а «*три поколения Болконских соотносятся подобно Ветхому, Новому и Третьему (от Толстого) Заветам*» (62).

А почему же именно такая фамилия — «***Болконский***»? Скрытый смысл налицо и тут. Правда, с помощью одной только Библии его не выявишь, и Полтавец прибегает к другим авторитетным источникам: «Толковому словарю по эзотерике, оккультизму и парапсихологии», «Энциклопедии мистических терминов» и «Сравнительному словарю мифологической символики в индоевропейских языках». И вот что выясняется: «*присоединение Андрея Болконского к роду Болконских связано не с прототипом (которого не было), а с семантикой самой фамилии. Семантика же фамилии такова, что связывает героя с "волхвом" и "облакопрогонителем"*». Ибо тут важен не столько даже особый «*интерес князя Андрея к облакам*» (уже упоминавшаяся *нефеломания*), но и то обстоятельство, что именно «*колдуны-облакопрогонители, или облакопрогонники, могли влиять не только на погоду, но и на исход битвы*» (79) (то есть прямо как князь Андрей при Аустерлице!).

Теперь о титуле — «***князь***». Полтавец сообщает нам, что по-английски героя зовут *Prince Andrew*, а по-французски — *prince André*, причем это самое «prince» по-английски означает еще и «***принц***», а по-французски — «***первейший***». Но мы-то помним, что Андрей — первый апостол, недаром и зовется Андреем Первозванным! Следовательно, «*настойчивое повторение*

[7] Выделено Е.Полтавец.

*титула при имени Болконского может указывать на ассоциации с каким-то сверхсуществом»* (59).

Каково, а?! А вы говорите, женская логика!!! Далее заметим, что *«Будда Сиддхартха Гаутама был **принцем**, царским сыном»*, причем имя Сиддхартха означает ***«совершенный»*** — а ведь Пьер считал князя Андрея образцом всех совершенств!.. Заодно для сведения: Le prince des ténèbres — князь тьмы (вот оно, волхвование-то!); le prince apôtres — апостол Петр; а еще апостол Андрей считается небесным покровителем России, *«как и Богородица, чье имя носит княжна Марья»* (63)...

Какие возможности для бескорыстной игры ума!

Добавлю к сказанному, что на странице 274 Андрея Болконского ждет *«самораспятие на древе познания добра и зла»*, на 87-й он впадет в *«полубессознательное (шаманское) состояние вследствие большой потери крови и высокой температуры»*, впрочем, уже и на 61-й у князя обнаружатся явные атрибуты святости: Полтавец найдет у него своего рода *стигматы* — не зря же *«аустерлицкая рана Болконского открывается*[8] *несколько раз и служит как бы постоянным напоминанием об **откровении***[9] *высокого неба на Праценской горе»*!

Теперь от князя Андрея (которого, несмотря на стигматы, *«с наибольшими основаниями можно назвать символом России»* — 67) перейдем к Пьеру Безухову. О том, что он *«несостоявшийся международный террорист»*, мы уже знаем. Со временем узнаем также, что он *«апостол социальных преобразований»* (86). Так что какие к нему могут быть претензии?! Пьер ведет себя именно так, как и положено по его апостольской роли, — как *«апостол Петр, **единственный из апостолов выхвативший меч и бросившийся на врагов Христа***[10]<> *Пьер все время таков: отрекся от пьянства и кутежа с Анатолем, от мистики масонства, от Платона и его мудрости, вообще от всяких ценностей, ценных только по тому наслаждению, с которым можно их бросить, и ищет новые. Апостол Петр тоже отрекался, каялся и в конце концов даже распятие принял перевернутым вверх ногами — мятущаяся душа»* (89).

Однако и этого мало. Ибо глубина священной книги поистине неисчерпаема. Так, два толстовских апостола (ассоциирующихся заодно с ***Ахиллом и Патроклом*** — 63), подобно своим евангельским прототипам, *«представляют собой два пути преобразования России»*: князь Андрей символизирует восток и непротивление, Пьер — западную общественно-политическую активность (85). ***«Пьер»*** — это *«апокрифический»* вариант имени Петр: *«изменение традиционного звучания и должно подчеркнуть независимость автора от традиционной версии событий и от традиционного осмысления всего сюжета»* (86). В русской литературе и вообще, указывает Полтавец, *«имя Петр часто получает персонаж, преклоняющийся перед западными образцами, иногда даже прогрессивно настроенный, но абсолютно далекий от понимания России и вообще жизни»* — вроде Верховенского, недотепы Пети Трофимова или бездушного дельца Петра Лужина (84); особняком же стоят *«травестированные апостолы»* Петруха из «Двенадцати» и Петрушка, лакей Чичикова; полностью *«от-*

---

[8] Подчеркнуто мною. — *Л.А.*

[9] Выделено Е. Полтавец.

[10] Выделено Е. Полтавец.

*рабатывает» мифологему Петра* и пушкинский Петр Гринев, чье имя *«полностью уравновешивается отчеством Андреевич»* (84). В истории же известны Петр I и Петр Чаадаев, чьи имена тоже ассоциируются с западничеством. Так что, апокрифически называя своего апостола Петра Пьером, Толстой снимает *«нежелательный контекст имени Петр»* (84).

...Но вот наступает 1812 год. *«Два апостола, Андрей и Петр, с изумлением взирают на одержимое бесами человечество»* (73), и Елене Полтавец открываются такие соответствия, параллели и соотношения, что прямо дух захватывает. Пусть не посетует на меня читатель за пространную выписку. Ну где еще вы такое встретите!

Итак: *«Накануне Голгофы ученики Христа последовали за ним в Гефсиманский сад. Князь Андрей, Пьер и офицеры полка князя Андрея беседуют в сарае под березами*[11]. *"Душа моя скорбит смертельно!" — сказал Христос ученикам. "Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить Ну, да не надолго!" — сказал князь Андрей Пьеру. "Симон! Ты спишь?" — зовет Христос Петра после смиренной молитвы Отцу... "Однако ты спишь," — вдруг говорит князь Андрей Пьеру после обращения к Богу, который, по мысли Болконского, несправедлив по отношению к своим творениям»* (74). Не правда ли, параллели наглядней?!

Хочется еще добавить, что *«топоним Лысая Гора есть русский перифраз слова "Голгофа"»* (118), а *«Образ князя Андрея — это образ сверхсущества еще и потому, что Болконский ближе всех к небу, живя на горе»* (120). Эти самые Лысые Горы Толстой именно для того выбрал вотчиной Болконских, чтобы Полтавец могла написать: *«образ князя Андрея приобретает соотнесенность не только с волхвом, поклоняющимся около священного дуба на священном холме древнему Перуну, но и с Христом. Явления и пророчества, как известно, совершались на горе (Синай, гора Фавор, Нагорная проповедь) или в роще (священные рощи Будды). Мифологема горы связана с образом князя Андрея через топоним Лысые Горы, дерева — через образ дуба»* (118).

И тут уж никак нельзя умолчать и о *«мировом древе»*, о *«дереве бодхи» (ficus religiosa)*, о *«неопалимой купине»*, *«масонском символе»*, *«Мамврийском дубе»* и *«древе познания добра и зла»* — короче, о *«священном дубе» Андрея Болконского*, под которым и провозглашается *«символ веры» толстовской религии единения*! Тем более, что

— *«...дуб князя Андрея в известной степени центральный персонаж "Войны и мира"»* (181);

— *«создавая в сцене с дубом несомненный аналог чуда со смоковницей, Толстой присоединяет к мировой гармонии и "всякую тварь"»* (187);

— *«Дуб — эмблема Христа»*, но кроме этого *«дуб также символизирует славу, мужество, силу, чародейство, свадьбу, вечность. В русских народных песнях дуб — символ добра молодца. Итак, дуб предвещает князю Андрею любовь, славу и счастье»* (180);

— *«Обломанная кора и старые раны дерева могут быть символами неудач и разочарований Болконского, но более вероятно, что это результат его самоотождествления с дубом»* (176);

---

[11] Подчеркиваю — для прояснения связи. — *Л.А.*

— *«Уход в иной мир также связан с дубом через дупло, как это происходит со сказочными героями, через Голгофу — крест распятия изготовлен из дуба»* (180);

— *«Объединив дерево Бодхи, евангельскую смоковницу и русский дуб, Толстой создал мощнейший сплав духовно-природных энергий, который должен послужить митраическому единению всего человечества и природы»* (188).

И вот — в заключение — несколько заданий, которые предстоит выполнить учащимся, обработанным по методу «мотивного анализа»:

— *Предложить свой проект всеобщего мира* (38)

— *нарисовать свое фамильное дерево и придумать герб своей семьи* (102)

— *написать письмо Печорина к Вере* (104)

— выяснить, *«как лучше объясниться в любви с девушкой: написать письмо, поговорить с родителями, как Болконский, или как Пьер»*? (171)

...«Авеста», «Бхагавад-Гита», Библия, гомеровские поэмы, «Дао дэ цзин», «Дхаммапада», «Махабхарата», «Рамаяна», «Роза мира», «Homo ludens», славянская мифология, Шопенгауэр, Карл Густав Юнг... Возможно, я что-то пропустил. Читаю, читаю — и чувствую себя безнадежно устарелым. Может, права Елена Полтавец: *«Интертекстуальные связи — тоже своего рода иероглифы»* (37)? Хотя мне почему-то кажется, что эти иероглифы я при всей своей устарелости расшифровываю вполне бегло и обещанную Полтавец *«скрытую философию»* толстовского *«экуменического сочинения»* готов изложить в двух фразах. Но прежде еще цитата: *«Главное, что не побоялся высказать Толстой, была правда о патриотизме, разделяющем народы, глупом чувстве превосходства одной нации над другой»* (261).

Так вот: суть *«религии единения»* сводится, похоже, к тому, чтобы в случае какого-нибудь нового Бородина явить пример непротивления насилием — и немедленно воспротивиться духовно, то есть отправиться к священному дубу (на худой конец, на *гору*, в *рощу* или в *сакральное пространство избы*) и совершить (по примеру Андрея Болконского) ряд *«тайных обрядов митраизма, вишнуизма и культа античных богов»* — тот самый *«ритуал спасения мира»* (258).

«Литература сильна тем, что вызывает острое чувство счастья», — цитирует Елена Полтавец В. Проппа. И добавляет от себя: *«Задача урока может быть только одна — продлить это счастье»* (358). Только — чье? Учеников или учителя?

С последней задачей автор книги, как кажется, справился вполне: и очевидное довольство собой и собственной эрудицией, и уверенность в непогрешимости своего анализа, и чувство несомненного превосходства над *«среднестатистическим учителем»*, обучающим *«среднестатистического школьника»*, — все это свидетельствует, что ощущения счастья после своих уроков Елене Полтавец не занимать. Одного не возьму в толк: «Война и мир»-то здесь при чем?

***Лев АЙЗЕРМАН**, преподаватель средней школы № 303.*
г. Москва

## *Новый реализм: парабола смысла*

**Марта АНТОНИЧЕВА**

# О ТЕНДЕНЦИОЗНОСТИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ

*Заметки на полях критических статей В. Пустовой «Диптих», «Пораженцы и преображенцы. О двух актуальных взглядах на реализм» и С. Шаргунова «Стратегически мы победили»*

Когда-то в далекие советские годы от писателя требовалось «глаголом жечь сердца людей». Идеологию диктовало правительство, а критики ее браво подхватывали. От несчастных писателей в обязательном порядке требовалось нечто из ряда вон выходящее, как то: прекрасные истории о прекрасных и чистых душой колхозницах и рабочих и победе идеологии в лице главного и самого ответственного и сердцем чистого героя над беспартийными негодяями.

Глядя на деятельность молодых критиков, вспоминаешь почему-то именно это костяное советское время, когда если идти, то строем, если петь, то хором, если писатель, то только Максим Горький.

Очередным поводом для разговоров ни о чем стало навязшее на зубах понятие «нового реализма», к которому хорошо бы что приписать, да нет практически ничего. Поэтому от существующих парочки текстов (у Валерии Пустовой таким камнем преткновения стали романы Шаргунова и Кочергина) и пляшем. И если, по словам В. Орловой, молодые писатели — это «разобщенная общность», то молодые критики — это, скорее, идущие вместе. Причем под одними флагами, с одной идеологией. Немного странно, не правда ли?

Вернемся к сути претензий — понятию «новый реализм». Что же это такое? В статье «Пораженцы и преображенцы. О двух актуальных взглядах на реализм» (Октябрь. 2005. №5) Пустовая дает такое его определение: «*Новый реализм выходит из берегов, захлестывая старинную твердь реализма-вообще, посягая на рифы новаторства и поголовно затопляя островки творчества так называемых молодых писателей, — новый реализм бескраен, как Ничто*».

---

**Марта АНТОНИЧЕВА** — родилась в 1981 г. в Баку. Окончила филологический факультет Саратовского государственного университета, где в настоящее время обучается в аспирантуре. Автор статей о В. Набокове, А. Ахматовой, С. Соколове, Д. Галковском; участница Третьего форума молодых писателей России. Публиковалась как литературный критик. Живет в Саратове.

Как сказала бы Эллочка людоедочка: «Шикарно!» Трудно представить себе писателя, который посидел, подумал и решил о правде писать. Определил для себя какие-то критерии (после восьми вечера не есть!) и уселся строгать свою «нетленку» (хорошо, если не молоком, не в тюрьме, как Ходор... тьфу, Владимир наш Ильич).

Интересно, как долго смеялся бы Бодлер, если бы к нему подошел любознательный критик и так нежно, с улыбкой шепнул: «Шарль Петрович, а стишата-то ваши того... Где ваши идеалы? Нравственность и все такое? Выбросьте вы это, займитесь лучше пением». Думаю, он бы хохотнул, не сдержался.

Однако, чуть ниже, мы все-таки находим требуемое. Итак, вот что манифестирует Пустовая: *«Причем если вдуматься в эти мотивы, то станет ясно: никакого новореалистического откровения в искусство привнесено не было. Продолжение традиционного (как выразился Бондаренко, "стержневого") реализма вопреки постмодернизму — раз; игровое искривление стержня реалистической традиции в сторону заимствования устаревающих постмодернистских приемов — два; наконец, дотошная физиологичность прозы свежайшего поколения, "открытие" которой опять-таки не в обновлении эстетических и философских оснований реализма, а в новизне самой описываемой поколенческой реальности — три. Три слагаемых схлопываются в ноль: литература нового времени по-прежнему на стартовой полосе, в ожидании прорыва, отсчета нового эстетико-мировоззренческого времени в искусстве»*.

То есть мы опять наталкиваемся головой на каменную стену. Между прочим, больно.

Объяснимся, в чем же заключается суть наших претензий к молодым критикам, чтобы не довести разговор до дуэли.

Первый вопрос-недоумение связан с неизбежностью реализма: почему он обязательно неизбежен? Неизбежна смена литературных направлений, как органичного свойства литературы, но это совершенно не обязательно должен быть реализм. В конце концов, никто ничего никому не должен. Тем более автор читателю.

Из вопроса первого вытекает вопрос второй: насколько возможен этот пресловутый новый реализм после постмодернизма? И тут мы вгрызаемся зубами в землю. Так как вопрос о том, был ли явлен в русской прозе постмодернизм в том виде, как он понимается на Западе (имеется в виду совокупность культурно-философских представлений), уже частично решен. Не был. Но в каком виде он существовал у нас? В этом отношении мне близка позиция С. Чупринина, который достаточно подробно и очень понятно выявляет различия между постмодерном западным, выполнившим свою задачу, и русским, существовавшим по иным законам и пришедшим к концу века к совершенно иным результатам. На мой взгляд, он, соглашаясь с М. Липовецким, приходит к вполне рациональному (вопреки эмоциональным заявлениям большинства критиков) осмыслению данной проблемы: *«И вот почему стоит согласиться с Марком Липовецким, который, споря с могильщиками этого литературного течения, полагает, что, как раз наоборот, "не-*

*обходимо закрепить уроки русского постмодернизма, пройти еще раз путями русского необарокко и русского концептуализма" <...> Зачем? Чтобы привыкнуть к культурной работе с настоящим, чтобы ввести эти эстетические практики в повседневный язык культуры и в национальный канон»*[*]. Такой пересмотр проблемы позволит избежать болезненного отвращения к самому постмодерну, которое из бранного слова сможет превратиться, наконец, в полноценное понятие.

Забавен слог молодых критиков (почему-то не воспринимаешь себя в таком контексте, ощущаешь старым и далеким от чувств добрых, пробуждаемых лирой, поэтому невольно и отстраняешься) — почему-то это военная стилистика. Однако, насколько я разбираюсь в данном вопросе, на войне все достаточно четко, приказания недвусмысленны и однозначны. Тутто и обнаруживается главное противоречие молодой критики — стиль не соответствует содержимому. Нельзя конкретным военным языком\стилем изъясняться о вещах абстрактных (только не говорите, что литература конкретна, как портянка, не поверю). Непонятно, правда, за что\ради чего воюем? За новый реализм? А кто его в глаза видел?

В своей небольшой статье «Стратегически мы победили» Сергей Шаргунов рассуждает во многом с такой редакторской позиции, что почему-то кажется весьма странной, если не сказать нелепой, такая, например, фраза: *«Я вижу у "новых реалистов", каковых воистину легион, печальные перекосы»*. Ну чем не речь советского партийного работника? Работать надо, товарищи писатели, исправлять перекосы.

Новая литература возникает сама по себе, критика ее лишь фиксирует. Критик не способен заставить петь писателя под свою дудочку, как крысолов. Он способен испортить репутацию или, наоборот, ее создать, но диктовать писателю, как писать, невозможно. Хотя, оговорюсь, это было возможно в советское время. Ну, собственно, и получили по заслугам.

В данном случае крысы ведут крысолова, а не он их. Доказывать, как надо писать, нужно писателям, а не критикам. Критика должна воспитывать читателя, вот кто ее адресат, — а совсем не писатель, — просвещать его, а не понукать в спину винтовкой. Если молодые диктуют молодым, как писать, то кому остается их читать? Получается замкнутый сам на себе процесс. А в реальности все несколько иначе — чаще всего критика ориентирована на то, чтобы читатель не пропустил достойное произведение. Потому что за всем не уследишь. Потому что зарубежной литературы на книжном рынке больше, чем русскоязычной. И кому-то все же нужно читать молодых. Не по работе. А так, для удовольствия.

К тому же сам жанр манифеста, в котором работает Пустовая, достаточно абсурден. Что манифестировать? То, что молодая литература есть? Ну да, никто и не сомневался. Хотя *«факт смены культурных эпох»* вряд ли произошел. Более того, любая смена эпох, даже если в основе своей она революционна (это определенно не наш случай), все равно предполагает какого бы то ни было рода преемственность. Общеизвестно, ничто не появля-

---

[*] http://www.livejournal.com/users/chuprinin/41911.html

ется на пустом месте. А пресловутое «новое сознание» явилось еще в прозе Геласимова, которого уже с натяжкой можно назвать молодым автором. С каждым поколением оно является читающим впервые Сэлинджера, как бы мелодраматично это ни прозвучало. К тому же трудно сказать, что молодые авторы привнесли что-то новое в манеру написания, как-то изменили стиль письма, их плюс — это энергия молодости, воплотившаяся в тематике — жизни молодых. Однако и это проходит. Что же тогда получается, не писать после тридцати пяти? А «Мы есть! И мы другие!» кричат\кричали\ будут кричать всегда, это явление не литературное, а поколенческое. Каждый, дожив до определенного возраста, обязательно хотя бы разок, да и крикнет: «Я не такой, как все!»

Устроим перерыв. Скажем так, «тренировку для хвоста». Милый читатель, у меня есть для тебя небольшое задание. Попытайся, пожалуйста, найти смысл в следующей фразе: *«Потенциально их обновленный реализм — залог надземных прозрений, основанных на символическом познании реальности, которое может быть подчас более близким к истине, чем прямые, без посредства жизнепознания, мистические вопрошания»*. Это, если тебе еще интересно, Валерия Пустовая о молодых писателях сказала. О новом реализме.

Интересно, а они в курсе?

Огульные замечания по поводу абсолютного отсутствия рефлексии молодых писателей по отношению к прошлому кажутся каким-то наговором на несчастных писателей. А выделение этого отсутствия в качестве главной особенности современной литературы — тем более. Интерпретация начинает приобретать безудержный характер, когда Пустовая говорит о мифическом новом культурном сознании, приплетая совсем не к месту Бердяева, Шпенглера, Блока и проч., пытаясь, видимо, продемонстрировать читающему собственную осведомленность в философии.

Открыв для себя философию и литературную практику Серебряного века, Пустовая наделяет, как фея, современных авторов его метафизикой, несчастным молодым писателям совершенно не присущей. Разбирая непосредственно тексты молодых авторов, критикесса не замечает, как далеко аналитическая часть ее работы оказывается от теоретических выкладок, которые она так туманно-мелодраматично манифестировала.

Невозможно придумать схему под свою идею. Когда и авторов-объектов восхищения — раз, два и обчелся (Шаргунов да Кочергин). Куда же девать тогда остальных несчастных, не вошедших в рамки «нового реализма»?

Литература, как и любой другой вид искусства, развивается хаотично. И пытаться насильно загнать ее в рамки какого-либо направления так же абсурдно, как ловить рыбу голыми руками. Можно, конечно, кинуть динамитную шашку в воду, но тогда это будут уже литературные итоги. Стоит ли? По словам Пустовой, *«ценен не результат, а стремление»*. Поэтому лучше уж подождем, не будем. Ведь до сих пор остается непонятным, какое «положение» в литературе для идеологов «нового реализма» более значимо — «я в литературе» или «литература во мне».

# НОВАЯ КРИТИКА РАСПРЯМИЛА ПЛЕЧИ

Энергичная статья Валерии Пустовой «Пораженцы и преображенцы. О двух актуальных взглядах на реализм» вызвала разные отклики. И все чаще, знакомясь с ними, чувствуешь, что их авторы почувствовали себя во многом уязвленными. Дело здесь не в личных обидах. Сама жанровая форма показалась непривычно смелой — еще бы, манифест! Допустим ли он сейчас, не чрезмерная ли это заявка? Звучит адресованный критику недоуменный возглас: «Что манифестировать? Вы же, господин хороший, подневольное существо, находящееся на окладе!»

Пустовая — критик яркий и смелый, с незашоренным сознанием, свободный от догматизма и тенденциозности. Бессмысленные провокации не ее стиль. Тирады манифеста хлесткие, яркие, сочные, хоть сейчас в сборник афоризмов помещай. Взялся критик серьезно, со знанием дела за проблему, которая сейчас на повестке дня — «новый реализм»: *«Реальность — это то, что должно быть преображено (во имя искусства), — гласит предполагаемый принцип нового реализма. Ад жизни преодолевает личность, серость жизни преодолевает художнический талант. В отличие от реализма, который знаменует собой рабство человека у реальности, у необходимости и суеты как главных законов видимого мира, новый реализм преломляет пережитую боль — в красоту, труд — в мысль, предмет — в образ, человека — в творца, дело — в слово. Новый реализм — декларация человеческой свободы над понятой, а значит, укрощенной реальностью».*

Звучит, конечно, чересчур романтично, и манифестируется скорее желаемое, чем действительное — но разве критик, как хороший шахматист, не должен предугадывать партию на несколько ходов вперед, разве не должен всматриваться в перспективу и отыскивать там чаемые горизонты? Создается ощущение, что именно это предназначение критика и критики и вызывает сейчас наибольшие сомнения.

Функция критика — лишь банальное фиксаторство, занесение в амбарную книгу всякого нового литературного произведения, а там уже по полкам, по разрядам сортировка. Очень настойчиво навязывается в последнее время и такая точка зрения: критик — своеобразный путеводитель по книжным новинкам с целью их продвижения.

---

**Андрей РУДАЛЕВ** — родился в 1975 г. в Северодвинске. Окончил филологический факультет Поморского государственного университета. Журналист. Участник форумов писателей России. Публиковался как литературный критик в журналах «Москва», «Гиперборей», «Двина», «№66», «Север», в сборнике «Новые писатели России». Живет в Северодвинске.

*«Критик не способен заставить петь писателя под свою дудочку, как крысолов»*, — говорит Марта Антоничева в своей заметке-реплике «О тенденциозности в литературной критике». С этих позиций и адресованный литераторам манифест, и любая публично высказанная позиция критика, даже немолодого, будут выглядеть неуместными. Отсюда напрашивается совершенно закономерный в русле логики Антоничевой вывод: *«Критика должна воспитывать читателя»*.

Итак, братцы, ваши личные предпочтения — это хорошо, даже замечательно, но они по большому счету мало кому интересны. Критика — сугубо прикладная сфера, и все задачи ее давно определены и расписаны. Ваше дело, господа критикующие, ориентироваться на читательский вкус, «воспитывать».

Но это то же самое, как в бесконечное сериальное варево добавить щепотку чего-то возвышенного. Крупицу вкуса протащить контрабандой. На рынке он не востребован, но в умеренных дозах критик-менеджер, распорядитель литературного потока может его употребить и внедрить.

Об утверждении Марты Антоничевой, что *«литература, как и любой другой вид искусства, развивается хаотично»*. Не знаю, какое бессознательно-хаотическое нечто имеется в виду, о какой литературе речь идет (в стиле автоматического письма?) или о каком хаосе (может быть, как «гармонии в стихийных спорах»), но, согласившись с этим, на самом деле сложно увидеть в художественном процессе какую бы то ни было оформленность, тенденцию. Литература становится казусом. Согласуясь с таким представлением, роль критика опять-таки будет сведена к участи рецензента-статиста.

Можно согласиться с предельно здравым утверждением из той же статьи «О тенденциозности...»: *«Если молодые диктуют молодым, как писать, то кому остается их читать? Получается замкнутый сам на себе процесс. А в реальности все несколько иначе — чаще всего критика ориентирована на то, чтобы читатель не пропустил достойное произведение. Потому что за всем не уследишь. Потому что зарубежной литературы на книжном рынке больше, чем русскоязычной. И кому-то все же нужно читать молодых. Не по работе. А так, для удовольствия»*. Все это правильно, но при условии, если у критика будет статус не просто пересказчика книг-новинок в каком-нибудь глянцевом журнале, в газете, в своей колонке, рядом с рубрикой «новинки видеопроката».

Обратимся к термину, вокруг которого весь сыр-бор. Алиса Ганиева в «Литературной России» (2005. № 52 — «Не лезь в пекло вперед батьки!») относительно навязшего на зубах термина замечает: *«Объяснить, что кроет под собой новоявленное словосочетание, никто толком не может. Получается, что термин придумали, а того, что он мог бы обозначать, в природе и в литературе нет»*. Я понимаю и позицию заместителя редактора журнала «Вопросы литературы» Игоря Шайтанова, который считает, что говорить о «новом реализме» как о существующем явлении преждевременно. Разумная позиция, раскрывающая стратегию академического издания.

Можно согласиться со скептиками. Действительно, то, что вроде бы уже принято называть «новым реализмом», как бы так выразиться помягче, в

природе почти не существует. Но в пространстве литературной критики, которое формируется через диалог и в диалогическом высказывании, разговоры вокруг «нового реализма» очень даже продуктивны.

«Новый реализм» — это еще далеко не факт литературного процесса, а нечто становящееся. Не оформленное, а только еще оформляющееся. Пока понятие «нового реализма» мы, по большей части, связываем с новым качеством общества. Реализм настолько нов, насколько своеобразна современная социальная реальность, в период нового формационного сдвига. Чтобы распознать и осмыслить эти новые тенденции, нужны не только литературные опыты, но и публицистические, критические высказывания. Литературный критик не должен поэтому замыкаться в сфере чисто художественных условностей, его мысль должна быть синтетична и симфонична, а он сам должен перестать быть простым статистом локального литпроцесса, ему суждено быть провозвестником. И в этом смысле, как лозунг, «новый реализм» не так уж на самом деле и плох.

«Новый реализм» в прозе пока еще спорен, но вот где он без сомнения уже полностью оформился, так это в литературной критике. Критик поднял голову, распрямил плечи, воодушевленный и радостный почувствовал если не свое всесилие, то свою необходимость и незаменимость. Он начал отрываться от обслуживания литературного потока посредством механического рецензирования, позволил себе стать застрельщиком нового...

А его опять за вихры и головой вниз — мол, знай сверчок свой шесток.

«Новый реализм» — термин, определяющий характер творчества в первую очередь молодых. Но сейчас молодая-новая литература — это не возрастная квалификация. Это не обозначение новых имен, год-два как о себе заявивших. К ней можно приписать и Олега Павлова, и Андрея Геласимова. Лучшие, на мой взгляд, авторы, трудящиеся сейчас в жанре малой прозы, рассказа, — Дмитрий Новиков и Александр Карасев, — начали писать, как мне известно, перешагнув тридцатилетний рубеж. У Карасева и у Новикова поражает зрелость мировосприятия, мудрость и жизнелюбие, несмотря ни на что. А это по современным меркам действительно уникальное явление. Разве это не искомая *«декларация человеческой свободы над понятой, а значит, укрощенной, реальностью»*?..

Молодая литература — особое, новое слово, соответствующее духу времени. Оно мыслится своеобразным противовесом мастеровитой «литературной мертвечине», от которой многие уже устали. Это новое слово и оформляется в поколенческие признаки, которые иногда именуются «новым реализмом». Та же Валерия Пустовая пишет: *«Есть писатели молодые, а есть — новые, обновляющие литературу, выводящие ее на новый путь»*.

Много авансов молодой литературе дал Евгений Ермолин. В послесловии к сборнику «Новые писатели» (Вып. 2. М., 2004) он писал: *«В поэзии и прозе нового поколения есть много замечательного, что уже сегодня помогает жить. Новые литературные ландшафты создают впечатление, будто мир растет. Мир идет вширь и вглубь. На фоне сомнительных социальных и житейских перипетий новая глубина литературного пространства зияет влекущими перспективами и обещает одарить небывалым опытом соучас-*

*тия в жизни более реальной, чем химерная действительность эпохи фикций и зрелищ».*

Чрезвычайно пафосно, но достаточно верно сказано, почему на молодое поколение сейчас делают большие ставки. За литературной молодежью — новый опыт, принесенный из сфер невиданных, куда давно не ступала нога заплесневелой литературной общественности.

*«Пишущая молодежь созревает до чего-то по-настоящему нового. Все чаще вместо стилистических изысков, явной выдумки, до предела запутанного сюжета (когда порой сам автор теряет сюжетные нити своего произведения), появляется простота — та простота повествования, что способна тронуть читателя за живое, покорить искренностью»*, — писал один из ярких представителей молодого поколения Роман Сенчин (Свечение на болоте. Знамя. 2005. № 5). Действительно, интересны эти интуитивные, часто вслепую, иногда наивные поиски. Они освежают, вносят что-то неожиданное в оформленный четкими берегами поток литературы. При всей пресыщенности мы голодны и беспорядочно снуем в поисках. Хоть что-то новенькое, что-то необычное — и нас уже цепляет.

К примеру, огромная часть телезрительской аудитории бросилась следить за реалити-шоу. Ведь там можно увидеть что-то свежее, что-то, кажется, настоящее, не искусственное, происходящее не по заранее написанному сценарию. Реалити-литература — это несколько сложней, даже с технической точки зрения. Хотя почему сложней? Включил диктофон, закинул его под стол и наслаждайся раскрепощенной беседой (вот и «калиф на час» Ирина Денежкина вдруг напомнила о себе серией интервью «Герой моего времени»).

«Рубашка» Гришковца, «День счастья завтра» Робски, книга Бибиш «Танцовщица из Хивы, или История простодушной», повести Ильи Кочергина «Помощник китайца», Аркадия Бабченко «Алхан-Юрт», Сергея Шаргунова «Ура!», Алексея Ефимова «730 дней в сапогах» — это примеры какого-то особого вида прозы, где ценность, смысл и сюжет составляет сама реальная, почти протокольно задокументированная жизнь. Но у каждого жизнь своя (у Бабченко — война в Чечне, у Кочергина — москвич в алтайской тайге, у Робски — лабиринт новорусских поместий, ресторанов, бутиков), и потому каждый такой рассказ о жизни — уникален. Досочинить действительные или очень возможные детали и эпизоды в такой литературе возможно и даже необходимо, а выдумывать — более чем рискованно. Если не губительно. Так считает тот же Роман Сенчин (Лабиринт без выхода. Литературная Россия. 2005. № 33–34).

О чем-то близком в свое время писала Лидия Гинзбург: *«Литература то подчеркнуто замыкается в своих границах, то сближается с жизненными "человеческими документами"»*[*]. Но ***уникальный опыт — это все же материал для чего-то большего***, не кажется ли вам? Сам по себе в больших дозах такой опыт скучен и уныл.

Именно непредумышленной искренностью показалось интересным тому же Сенчину сочинение Алексея Ефимова «730 дней в сапогах» (Дружба

[*] *Гинзбург Л.* О старом и новом. Л., 1982. С. 56.

народов. 2005. № 9). Руководитель мастер-класса на форуме молодых писателей, где обсуждался текст Ефимова, Леонид Юзефович назвал его «человеческим документом». А вот вступительное слово Сенчина к повести Ефимова: *«Дело в том, что в армию на срочную службу попадают ребята в основном совсем молодые, и когда кто-то из них пробует описать события этих двух лет по свежим следам, у него в силу возраста, из-за неопытности мало что получается. А если человек пишет по прошествии времени, из памяти волей-неволей уходит множество деталей, мелочей, выветривается сама атмосфера армейской службы — "совсем другой жизни", мира "за забором". Остается самое яркое, какие-то случаи, ситуации, чаще всего трагические или курьезные. Они-то и составляют основу для рассказа, повести, романа. Герой Ефимова проходит путь от призывника и духа до дембеля. Он испытывает жестокость, и ему приходится быть жестоким; он взрослеет, мужает, закаляется. И происходит это не по прихоти автора, не литературно, а естественно и достоверно... Вообще "730 дней в сапогах" трудно назвать произведением литературным. Это нечто другое. На мой взгляд, большую этнографическую да и психологическую правду содержат армейские анекдоты, афоризмы, тексты вроде бы наивных песен, молитв из дембельских блокнотов и альбомов. Алексею Ефимову удалось поразительно ярко и точно передать подробности этого мира, состояние человека, вынужденного в нем не только существовать, но и постараться остаться человеком, сильным человеком. Личностью».*

Здесь появляется документ, который «несет этнографическую да и психологическую правду», тем он и интересен. К сожалению, *только тем.*

Сейчас мы пребываем в периоде «выжидания», когда велики надежды и привкус разочарования еще не горчит на губах. Сладостный на самом деле период. ***Но это еще само по себе не новое, а лишь подготовка к нему, «выжидание». Это имитация новизны.***

Об имитации свидетельствует безъязыкость, скудость языковых выразительных средств. (А как иначе, ведь перед нами черновики, наброски, тезисные реплики.) Жанна Голенко (Здравствуй, племя младое... знакомое? Вопросы литературы. 2006. № 1) говорит о новом литературном поколении, употребляя маркировку «безъязыкое поколение». И тут же полемизирует с ней: *«Нет, эти авторы заявляют о себе бойко, их стилистика напориста, динамична. Они даже не говорят, а сразу кричат, так как боятся (и не без основания), что их не услышат».*

Крик — разве это не имитация слова. Крик — слово, теряющее смысл, звукосочетание воздействующее на наши эмоции и органы чувств. Помните «Ура!» Сергея Шаргунова?..

Об этой безъязыкости пишет и Валерия Пустовая: *«С языковой точки зрения реалистов как самостоятельных авторов не существует. Они одинаковы в слове, их было бы трудно отличить друг от друга на слух, без напечатанной вверху фамилии. Сами реалисты любят объяснять свою безъязыкость подражанием "улице", образом выловленного из толпы рассказчика. Как будто мало того, что раньше улица корчилась безъязыкая — пусть теперь и словесность поколбасит от косноязычия. Не той же ли ссылкой на ограниченность "толпы" оправдывают СМИ опубликованные ими и выведенные в эфир*

*репортажи о голых телах и криминальной резне? Не пора ли увидеть в публике новые горизонты интересов, способность к постижению более сложной фактической и художественной информации?»*

Все-таки писатели не только идут на поводу, не всегда только подчиняются реальности, они и осваивают ее. Как это у Пустовой: «Реальность — это то, что должно быть преображено». Осваивают по-разному, и здесь действительно сложно и преждевременно говорить о какой-то общности, которая пока еще — лишь красивая метафора.

По мне «новый реализм» — это Александр Карасев, Ирина Мамаева, Дмитрий Новиков. Авторы, работающие не по принципу «что вижу, то пишу», а искренне проживающие ситуацию. Их текст излучает зрелую человеческую мудрость. Мудрое видение, переживание мира — вот что такое реализм.

«Новый реализм» — это особое переживание действительности. Переживание напряженное, до боли, до надрыва, до отрицания. Верх реалистичности, верх освоения мира — в его отрицании, в воспевании «внутреннего человека», в культивировании собственного субъективного взгляда. Отсюда предельная концентрация смысла в каждом слове-образе. Как в «Маргинале» Александра Карасева:

«— Да какая жизнь, — говорю — работа одна.

— А ты брось такую работу, и живи...»

Слова эти простые, понятные и в то же время необычные, неожиданные — своеобразный ответ на призыв Пустовой: *«Мастерство нового реалиста — в умении не столько отражать, сколько трактовать действительность: он должен уметь, как древний прорицатель, узнавать надмирные истины, копаясь во внутренностях птицы-жизни. Новый реализм — это когда критику есть работа по разгадыванию внутреннего, не декларируемого прямолинейно смысла произведения. Реалистические произведения без тайны выхолащивают мысль критика».*

Реализм в Средневековье — это ориентация на единственную и высшую реальность, которой является Бог. И для нас ***реализм, в отличие от натуралистичности, — это ориентация на сакральные величины.*** Отсюда особое сопряжение реализма как метода с современностью. Современность, реальность в литературе кардинальным образом отличается от того, что предлагают нам жанры литературной журналистики. Современность — это не та злоба дня, навязываемая нам набившими оскомину образами проституток, бандитов, «новых русских», олигархов...

Вообразите себе картину: в середине XXI века на уроке истории учитель рассказывает ученикам, что самые характерные приметы России рубежа XX–XXI веков — бандиты, проститутки, макдоналдсы. И все. Остальное — из разряда архаики...

Сейчас мы все живем ощущением нового, предчувствием нового. Но из чего и как оно вырастает? У Ирины Мамаевой — через традиционное начало, прикосновение к глубинным корням народного духа, у Дмитрия Новикова — через личный опыт, через вчитывание в корпус лучших произведений отечественной литературы, через исключительное языковое чутье. Со-

временность в литературе не должна рассматриваться как некое мгновение вне какой-либо взаимосвязи с прошлым и вне выхода в гипотетическое будущее. Понятие «современность» не обязательно связано с понятием новизны. Это часто — ситуативная интерпретация традиции в данный конкретный момент, акцентуация взгляда на отдельные аспекты ее. Если хотите, оно не из разряда эмпирики, а, в первую очередь, ***система общественных и личностных взаимоотношений, система основополагающих ориентиров, на которые опирается общество и каждый человек отдельно в данный момент и всегда.***

В связи с этим выскажу крамольную мысль: литературоцентризма в России никогда не было. Просто здесь литература долгое время была рупором, призванным в секуляризованном государстве возвещать о духовно-нравственных ценностях. Учительный характер литературы XIX века как раз и является прямым следствием этого.

*«Кто, если не сами молодые литераторы, заинтересован в формировании эстетической и мировоззренческой идеи своего творческого поколения?»* — такими словами Валерия Пустовая заканчивает свою статью-манифест, и, несмотря на огромное количество частных разногласий, в этом я с ней соглашусь.

Разумеется, молодые критики со всеми основаниями входят в круг молодых литераторов.

Дайте слово критику, не затыкайте ему рот!

**Евгений ЕРМОЛИН**

## СЛУЧАЙ НОВОГО РЕАЛИЗМА

На правах одного из персонажей А. Рудалева, не вдаваясь глубоко в детали полемики, сделаю несколько замечаний по теме спора.

Что мы имеем в новом веке на авансцене литературного процесса? Уж во всяком случае — не продленный до сего дня припадок постмодернизма или того, что этим словом себя называло в литературе 90-х годов.

Новая литературная реальность пестра и противоречива. Но дрейф писателя по направлению к исконной задаче искусства — познанию и выражению истины — очевиден. Этот дрейф, как мне кажется, мы и называем новым реализмом.

Эстетически он сопряжен с усвоением грандиозного опыта классического реализма (с его экзистенциальными и социально-психологическими штудиями), романтизма и неоромантизма, в том числе экспрессионизма (в его футуристическом и контрфутуристическом, экзистенциально-абсурдистском, вариантах), символизма (включая его сюрреалистическое ответвление), а также контркультуры и модернизма второй половины XX века (с поп-артом/соц-артом и постмодернизмом включительно).

Содержательно он выражает себя как испытание ресурсов существования, избывание его тупиков, постижение его пределов, раскрытие опыта духовной, нравственной стойкости — и опыта исканий, поисковых драм, постановки открытых вопросов, обращенных к человеку, к социуму, к мирозданию, к Богу. Прежде всего — в пределах широко понятого «Сегодня».

В этом качестве новый реализм (как когда-то и «старый») не столько отражает нашу жизнь, не столько берет ее в типичном, в норме, — сколько ее (хочется верить) ***опережает***, задавая иной, небанальный уровень важности и значительности человеческого существования.

И эта новая литература в последние годы уже отчасти состоялась. У кого-то романом, у кого-то рассказом, у кого-то — в формате non fiction... Я дам, чтобы не выглядеть голословным, ряд имен: Юрий Малецкий (по моему глубокому и непреходящему убеждению — «первый среди равных»), Александр Вяльцев, Олег Павлов, Денис Гуцко, Евгений Кузнецов, Нина Горланова, Александр Кузнецов-Тулянин, Сергей Бабаян, Андрей Волос, Владимир Курносенко, Владимир Маканин, Роман Солнцев, Юрий Екишев, Ольга Славникова, Михаил Кураев, «поздний» Виктор Пелевин, Ирина Мамаева, Александр Карасев, Герман Садулаев, Рубен Гальего Гонсалес, Валерий Панюшкин (с его «Узником Тишины»), Сергей Щербаков, Марина Палей, Андрей Дмитриев, Михаил Шишкин, Дмитрий Новиков, Василий Голованов, Андрей Геласимов, Роман Сенчин, Наталья Ключарева, Захар Прилепин, Марина Кошкина, Сергей Чередниченко, Игорь Савельев, Сергей Шаргунов, Борис Гречин. И это — только прозаики (причем без учета прозы исторической).

Новая русская словесность призывает и обязывает нас к самопреобразованию в новое человечество и каждого из нас — к претворению себя в нового человека.

Станислав РАССАДИН

# ДОЛОГ ПУТЬ ДО НЮРЕНБЕРГА

История народа принадлежит Царю.
*Карамзин*

История принадлежит народам...
*Никита Муравьев*

История народа принадлежит Поэту.
*Пушкин*

Пишу эту статью на исходе 2005 года, который хочется назвать самойловским. Не только в прямолинейном смысле: Давиду Самойлову, будь он жив, должно было исполниться восемьдесят пять, а исполнилось пятнадцать со дня его смерти. (Хотя — как вспомню большой зал ЦДЛ, собравшийся на одну из этих годовщин: не только битком стоящие в проходах, но и заполнившие фойе, слушающие выступавших по динамику!..) И дело даже не в том, что, вослед двухтомным «Последним записям», вышло образцово изданное полное собрание поэм; впрочем, оно-то и наводит на эти размышления.

...В поэзии Самойлова сосуществуют, подчас противоборствуя, две стихии. Отчетливо заявленное пушкинианство («...из поздней пушкинской плеяды... Мы — послушники ясновидца...») — и то, что я давно, еще при жизни поэта, условно назвал лирической эксцентрикой. Хотя имя Пушкина уместно и здесь. Андрей Немзер (было бы элементарной неприличностью не отметить, что его статья-комментарий к поэмному тому превосходна не только добросовестностью и талантом, но и тем, что, не в пример типовому литературоведению, не самодовольно-самодовлеюща, насыщена волнением, даже страстью) говорит: «Под пером Самойлова "Граф Нулин" встретился с "Медным всадником"...» — или вернее: встречается? Ибо — не всегда.

Признаюсь, «Снегопад», поэма, высоко ценимая критикой и нежно, ревниво любимая самим автором, не из числа моих предпочтений. Мне мешает

---

**Станислав РАССАДИН** — родился в 1935 г. в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. С 1963 г. — на так называемой творческой работе. Член Союза писателей, Союза кинематографистов. Автор книг «Драматург Пушкин» (1983), «Фонвизин», «Спутники» (1984), «Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина» (1989), «Очень простой Мандельштам» (1994), «Русские, или Из дворян в интеллигенты» (1995, 2005), «Русская литература: от Фонвизина до Бродского» (2001), «Самоубийцы» (2002), «Книга прощаний» (2004) и др. Живет в Москве.

именно явно проступающая протеическая, но узнаваемая интонация сочинителя «Руслана» и «Онегина» (что, может быть, и прекрасно, но — «не свое»!):

Была ль она красива? Сразу
О том не мог бы я сказать,
Конечно, моему рассказу
Красавица была б под стать!
Она была обыкновенной,
Но с той чертою дерзновенной,
Какую могут обрести
Лет где-то возле тридцати
Иные женщины...

И т.д.

Стоит сопоставить с победным, чисто самойловским самовыявлением:

Фердинанд, сын Фердинанда,
Из утрехтских Фердинандов,
Был при войске Бонапарта
Маркитант из маркитантов.

Бонапарт короны дарит
И печет свои победы.
Фердинанд печет и жарит
Офицерские обеды.

Вплоть до:

Я не склонен к аксельбантам,
Не мечтаю о геройстве.
Я б хотел быть маркитантом
При огромном свежем войске.

И, напротив, именно лиризма (каковой мы не совсем необоснованно связываем с традицией пушкинианства) недостает мне в беспримесной эксцентрике некоторых иных вещей...

Да Бог с нею, с недостачей! По мне, хуже, когда в поэме, например, «Канделябры» лиризм сопереживания, словно бы спохватившись, неосновательно возникает в финальных строчках: «Жалко, жалко, чада Божьи, / Вас, бредущих по земле... / Надо плакать и молиться!..»

Верю, что вне данных стихов действительно: «Жалко». («Это чувство возникло у меня с поэмой "Канделябры"», — добавит Самойлов в письме к Л.К. Чуковской; что ж, возможно, так оно и было, возможно, предположу, диктовалось общегуманитарной совестливостью, ибо сказано тут же: «Жалость — чувство всеобщее».) Но, говоря непосредственно о поэме, о ком, скажите мне, плакать? Кого жалеть, если в ней — те самые хулиганы, в которых, по словам Самойлова же, выродились белые благородные славянофилы (как западники — в людей моды)? Если здесь — тот срам и содом, который накануне создания поэмы, став ее прямым поводом, потряс его, когда Кожинов-Палиевский-Куняев учинили антисемитский шабаш, благонравно названный дискуссией «Классика и мы» (1978)? Оттого в «Канделябрах» — не более чем шуты гороховые:

Начал часто черт являться
Валентину Горобцу,
Соблазнял он Валентина,
Перед ним жевал мацу.

Нет. Стиль — и характер! — Самойлова образует как раз лирическая эксцентрика (эксцентрика, но лирическая), каковым рабочим термином не горжусь, тем паче что при появлении в давней статье он вызвал благодушную самойловскую насмешку (из письма к нашему общему другу Михаилу Козакову: «...Выходит, что я какое-то необычайное соединение Пушкина с эквилибристом. А если эквилибриста вынуть, то останется, следовательно, Пушкин. Для меня это звучит лестно»). Но имею, как и имел, в виду испытание лирики — иронией, постоянного — переменным, пафоса — скептиком.

Да у Самойлова в его самых «самойловских» вещах одного без другого не существует, коли он сам сказал:

...И что искусство — смесь
Небес и балагана!
Высокая потреба
И скомороший гам!..
Под небом — балаган,
Под балаганом — небо!

Сказал — настойчиво повторяясь, упирая на смысл, растолковывая его — устами легендарного скульптора Вита Ствоша, создателя гениального алтаря краковского костела Девы Марии. В поэме «Последние каникулы».

Поэме загадочной, сложноструктурной и, к слову, моей любимейшей, самой «моей», не единожды вызывавшей счастливый трепет при домашнем авторском чтении и оставившей горькое сожаление: отчего Самойлов так и не закончил ее? Не от того ли, робко догадываюсь, что поэма была самой-самой и для него тоже, — недаром Ствош, он же Фейт Штос, немецкий еврей, ушедший по окончании работы над алтарем в Нюренберг и сгинувший по дороге, здесь очевиднейший двойник автора? (Нелишне заметить, по семейной легенде, потомка со стороны матери французского — или, не знаю, голландского, «утрехтского» — еврея Рафаэля Фердинанда, будто бы пришедшего с войском Наполеона и застрявшего в России. См. стихотворение «Маркитант».)

Вот он, Ствош, и выбран на символическом пути к символическому Нюренбергу, понимай: соискателем внутренней свободы — в частности, сколь это ни парадоксально, от самого искусства, которое, конечно, дает художнику свободу как выход из земной тесноты, но ведь и закабаляет!

И отрекись навеки!
И больше не твори!..
Я волен. Наконец-то
Я больше не артист.

В общем, получилась «фантастическая хроника артистического бегства из реальности» (снова Немзер), — да, совершенно верно, но бегства и из

самого «аристократизма». А мир «артиста», художника — индивидуален, уникален, одинок, отчего и свобода — одинокая.

Потому в «Каникулах» тут же отсеются, едва будут названы в качестве возможных соучастников побега, замышленного новейшим усталым рабом, реальные, бытовые знакомцы: «Пересветов», «Л. Итанский» («который был готов / Пойти со мной и с Витом, / Но был заеден бытом / И значит — не готов»). Либо: «Кого б еще сманить? / Петра или Бориса? / Володю, может быть? / Но с ним мы разошлися». То есть — Петра Горелкина, друга всей жизни, Слуцкого, Корнилова. Что же до первых двух, то помню слышанный мною вариант, где Феликс Светов и Левитанский назывались впрямую.

В отличие от Межирова, раз навсегда наделенного злым псевдонимом «Мерзилов», — Самойлов не хотел простить блистательному Александру Петровичу заигрывания с прототипами «Канделябров», коим тот, в частности, проповедовал политический консерватизм своего любимого Константина Леонтьева, советовавшего, как известно, «подморозить» Россию. Отсюда, естественно, и Мерзилов.

(Из «Поденных записей» 1968 года: «Вечером у Межирова.

— Духовное одиночество... Читаю Леонтьева... Прав Победоносцев... Россия останется такой еще пятьсот лет... Борьба с этим — провокация. За бесплодный протест уничтожат нас...

Банальные имитации совести, глубокомыслия, исторического опыта. В нечеловеческом мире и один человек, нормально реагирующий на мир, — благо, великое благо. В этом, наверное, и великая суть и притягательность легенды о Христе.

У Межирова страх стал второй натурой. Страх настолько естественное для него состояние, что не замечается.

— Клянусь тебе, я не трус, — говорит Межиров.

— Нужна черта оседлости, — говорит он.

Где угодно, как угодно — лишь бы существовать».

Завершая мучительный сюжет отношений:

«Межиров: "Ты действительно считаешь меня дурным человеком?" — "Да, Саша"». Год 1984-й.

Притом что бывшего друга уж действительно «жалко»; вспоминаю еще, как, читая нам с Юрием Давыдовым фрагмент «Последних каникул», Самойлов признался: дескать, не удержался, прочел и «Сашке» строки о Мерзилове и тот огорчился настолько, так поник, что, говорит, у меня сердце сжалось. Строк, однако, не выбросил, не смягчил.)

Короче, остается — Ствош, а поскольку он, снова скажу, двойник, альтер эго («Закончен мой алтарь...» — мой, не чей-то еще, единый и неделимый), то, выходит, и путешествие совершается в одиночку?

Выходит — так. Куда же идут (идет)? Да в смерть, каковая тут образ уж такой свободы, что дальше некуда. Не зря ж единственные, кто, глядишь, сгодился бы на роль спутника, — друг погибший и тем освободившийся от земных пут:

Один, Леон Тоом,
Пошел бы ты со мною...
Ты, сокрушитель стен,
Ниспровергатель окон,
Прозревший острым оком
Убожество систем!

Сказано же (Томасом Манном, в «Иосифе и его братьях»): «Смерть сохраняет восстановив», она «укрывает и хранит любимое существо в минувшем», стало быть, перекрыв путь к возможным и нежеланным превращениям.

Быть может, в Нюренберге
Мы встретимся потом.

Нюренберг — это загробное существование. Или — и вот допустимый ответ, почему поэма, так долго мучившая автора невозможностью закончить ее, так и не была завершена, — несуществование? Вопрос, на который вот именно нет ответа, по крайней мере уверенно доказательного, отчего и старый дон Жуан в маленькой одноименной поэме, сполна явив циническое бесстрашие и ни о чем не намереваясь жалеть, не удержится, чтобы не спросить своего полузловещего, полукомического визитера, «старый череп Командора»:

...Что там —
За углом, за поворотом,
Там — за гранью?..

Получая ответ: «Тьма без времени и воли...» Страшно!

Немзер имеет резон заключить: «Нюренберг эквивалент Элизия», «блаженной страны», но в XX веке уже слабо верилось в бессмертие, во всяком случае язычески буквальное, и хотя бы отчасти поэтому «Каникулы» все хотят и все не могут завершиться, конечный пункт по-прежнему далек, недоступен:

Как далеко, однако,
Преславный Нюренберг!
...Как далеко, однако,
Преславный городок!..

У знака: «К Нюренбергу.
Две тысячи км»...

Незакрытый простор. И открытый трагизм? Подумаем.

* * *

«Трагизм», «трагичность» — слова, которыми пользуемся неразборчиво, часто думая этим польстить писателю, коему, дескать, доступна трагическая высота.

(Так кинорежиссеры-комедиографы любят повышать статус своих фильмов, объявляя их трагикомедиями. Чаплин — ни в «Новых временах», ни в «Золотой лихорадке» в подобном отнюдь не нуждался, даром что безрабо-

тица и экономическая депрессия — невеселое дело. А уж подсказавшая идею «Лихорадки» экспедиция на Аляске, чьи участники дошли до каннибализма, вовсе ужасна.)

Что до Самойлова, то перед трагедией, в том числе трагедией несуществования, не то чтобы останавливается, но — тормозит.

И думал Цыганов:
«Зачем я жил?
Зачем я этой жизнью дорожил?
...Зачем я пил, гулял, зачем дружил?
Зачем, когда так скоро песня спета?
Зачем?»
И он не находил ответа.

(*«Цыгановы»*)

...Для чего сей шум листвы?
И для чего вино и прелесть бабья?
Смерть — краткий миг.
И все, что дивно в мире,
Все кратко.

(*Драматическая поэма «Сухое пламя»*)

А «Сон о Ганнибале», где изображена семейная драма пушкинского предка, чуть ли не родовой рок, не пощадивший и потомка, закончится сомнением, уж непосредственно авторским:

А может статься, вовсе я не прав,
И случай этот был весьма банальный,
И был рогат арап полуопальный?

Простор для версий, как на пути в Нюренберг! «Мне все равно».

Что никак не является безволием-безразличием, составляя самую суть самойловского историзма — именно как восприятия трагичности, неотрывной от человеческой истории вообще и в частности, может быть, в особенности истории отечественной. Восприятия очень российского. Русского.

Вынужденно бегло касаясь темы, по-моему, чрезвычайно существенной для понимания русской литературы да и самой России (здесь вынуждены и беглость и само касание), соответственно наскоро воспроизведу тезисы — не углубленнее уровня философской энциклопедии, разве что авторитетно указанные именем автора А.Ф. Лосева. Словом: трагическое как философско-эстетическая категория зависит от своей внутренней природы, а не от внешних сил; оттого оно неразрешимо. «Трагическое предполагает свободное действие человека... так что хотя его крушение и является закономерным и необходимым следствием этого действия, но само действие представляет собой свободный акт человеческой личности», — что, понятно, в наиболее чистом до стерильности виде характеризует именно античное понимание трагичес-

кого. Далее у Шекспира, даже у Корнеля с Расином — коррективы, поправки, уступки... А у нас?!

Занятно отметить: у Островского в меньшей степени, у молодого Чехова — в большей (XVIII век оставим в покое в качестве черновика «настоящей» литературы), но у того и другого слово «трагик» употребляется, как правило, не без насмешливости. Или хотя бы усмешки. Несчастливцев с его велеречием и благородством, в котором смешались порыв сердца и привычка к театральному жесту, — симпатичный нонсенс. Ераст Громилов («Таланты и поклонники») — весь в автохарактеристике: «...Я благодарен... Ах, как я благодарен! Одно... обидно, что благодарен-то я только в пьяном виде...» «Оралы» Антоши Чехонте — почти сплошь пустобрехи, исключая «Калхаса». Ну это, положим, трагики как представители амплуа, произносящие чужие слова, рвущие в клочья чужую страсть, но вот Лев Толстой говорит с неприязнью: мол, приедет, бывало, Тургенев и все: «Траги-изм!.. Траги-изм!»

Почему так? Что в самом по себе слове раздражало великого моралиста?

Наш Белинский писал об «ихнем» Гамлете: «Он пока доволен и счастлив жизнью, потому что действительность еще не расходилась с его мечтами... Такое состояние есть состояние нравственного младенчества, за которым непременно должно последовать распадение: это общая и неизбежная участь всех порядочных людей...»

Надо думать, Шекспир, прочитавши подобное или, уже у Пушкина, что его Отелло не ревнив, а доверчив, был бы весьма озадачен. (Да то ли еще случалось! Иннокентий Анненский, знаток античности и переводчик Еврипидовой «Федры», как и всего Еврипида, писал, что автору-трагику грезились «мечта и философский идеализм Евангелия», — правда, в отличие от самоуверенно-безапелляционного Белинского, он ясно сознавал, что душа его «несоизмерима классической древности» и «он первый бежал бы» от общества как персонажей Еврипида, так и его самого.) Ведь в трагедии о Гамлете, при всей ее удаленности от античных нормативов, тоже неизбежность трагического исхода, заложенная в природе человека и в его столкновении с мировым порядком. А Белинский и Пушкин — один видит в принце Датском драму порядочного человека, расплачивающегося не за роковое несовпадение с миром, но за иллюзию простодушия (ситуация очень либерально-российская); другой также отрицает предопределенность трагедии венецианского мавра. Ибо, сравнительно с ревностью, неотделимой от самой любви, кто б ты ни был, и всех равняющей, доверчивость есть свойство слишком, так сказать, частно-индивидуальное, характеризующее натуры, склонные к тем же иллюзиям. Хочется сказать: свойство интеллигентское...

Русский трагизм — всегда разрыв и разлад, как у Жуковского, Тютчева, Лермонтова, Некрасова, тем более Достоевского. Разлад между индивидуумом и недружелюбным миром? Как же без этого. Но немедленно переходящий в разлад с самим собою. Не столько разлом, сколько — надлом, как мы успели заметить, традиционно коснувшийся даже лубочно-монументального Цыганова, даже героя «Сухого пламени», несклонного к душевным терзаниям Меншикова. «Зачем?.. Зачем?.. Зачем?.. Для чего?..» «И он не находил ответа»...

Правда, в *недостоверной повести* «Струфиан» ответы даны таки. И — на любой вкус! Даже в любом измерении, фантастическом или реальном, начиная как раз с подчеркнутой исторической респектабельности: «настоящий» Таганрог декабря 1825 года, «настоящие» предатель Шервуд и барон Дибич, Александр I с его документально зафиксированным безволием перед заговором, о коем знает («Не мне их судить»). Словом, обезволенный царь — на сцене; деятели-декабристы — за нею.

Есть и еще один персонаж, третья сила — «задумчивый казак» Федор Кузьмин, «уездный Сен-Симон» с трактатом «об исправленье империи Российской»:

На нас, как ядовитый чад,
Европа насылает ересь.
И на Руси не станет через
Сто лет следа от наших чад.
...И эта духа сухота
Убьет все промыслы, ремесла;
Во всей России не найдется
Ни колеса, ни хомута.
Дабы России не остаться
Без колеса и хомута,
Необходимо наше царство
В глухие увести места —
В Сибирь, на Север, на Восток,
Оставив за Москвой заслоны,
Как некогда увел пророк
Народ в предел незаселенный.

Как общеизвестно — это пародия на «Письмо вождям» Солженицына с его мыслью об освоении Северо-Востока как средства обустройства России. Пародия, но не карикатура, не пасквиль, даром что ныне, кажется, и Александр Исаевич обиделись; не «Канделябры» же, не образ Мерзилова, жестокость коего Самойлов сознавал, но не хотел смягчиться. Здесь — скорее поддразнивающий шарж, тем более что в самом последнем письме к Л.К. Чуковской будет сказано: «Я прежде недооценивал конструктивные стороны плана А.И.»; хотя видимая покаянность все же не означает, что конструктивным он счел наконец переселение народов. И, значит, должен теперь отказаться от прежней шаржированности...

Самойлов и вообще — об этом надо сказать не откладывая — был государственником (слово, бездарно уступленное «демократами» коммунистам и близким им) и, коли угодно, почвенником. Конечно, само его «государственничество» с годами менялось, и если в послевоенную пору по инерции, перенятой у Кульчицкого, Когана, молодого Слуцкого, в дневнике могла появится сентенция: «...Правда государства есть правда поэзии» — с горделивым присовокуплением: «...До нас этого не было», то после... Но об этом именно после.

Что же касается почвенничества, понятия, которое Самойлов строго дифференцировал, различая среди почвенников «марксистов», «балалаечников», «печенегов» (о них читай в «Канделябрах») и «интеллигентов», то

у него самого (скорее, понятно, «интеллигента») оно доходило до степени радикализма. Впрочем, должен признаться, радикализма, лично мне не только понятного, но симпатичного. Примкнуть к которому мешает разве что робость, не идущая далее восхищения к тому, кто решился выразиться так. Имею в виду своего рода непримиримость — разумеется, также дифференцированную в зависимости от обстоятельств — к вопросу об эмиграции. Может быть, точнее сказать — к идее эмиграции, овладевшей и насаждавшейся в оные годы.

Смотри, например, ту же переписку с Чуковской по поводу *эмигрированных* друзей Анатолия Якобсона и Льва Копелева или полемику как раз с Копелевым:

«Миллионы итальянцев или югославов, живущих за границей, — не эмигранты. Ромен Роллан, живший в Швейцарии, — не эмигрант.

Это люди, свободно решающие вопрос о том, где и ради чего они хотят жить.

У русской эмиграции нашего времени совсем другое положение.

Эмиграция в Израиль — результат геноцида. И здесь можно поставить вопрос: что же вы больше любите — себя, или родину, или культуру, к которой принадлежите.

Ахматова однажды уже ответила на этот вопрос гениальным стихотворением.

Но еврейская эмиграция разнородна. В ней есть только элемент интеллигентской эмиграции.

Суть вопроса вот в чем.

Государство нашло новый способ борьбы с инакомыслием — выживание его за границу. Если бы политическая эмиграция не была выгодна государству, ее бы не было.

Диссиденты, демократы и борцы, в сущности, признали этот способ. Они пошли на поводу у ГБ. И, сперва провозгласив борьбу за права человека, воспользовались приобретенным авторитетом, чтобы уйти, снять с себя ответственность и т. д.

Только страдание — плата за борьбу за права человека. На это не все решаются. Но кто решился, должен стоять твердо и не идти в щель, открытую для них.

Оттуда нас не спасешь.

Мандель (Коржавин. — *Ст.Р.*), писавший о любви к России, хорош был здесь, а не там.

Вот в чем суть вопроса...»

Подытожу: ситуация «Струфиана» — идеальный материал для трагедии — в литературном, эстетическом смысле, потому что в отношении историческом то и была истинная трагедия России. Пока что в грозном своем зарождении, но потомку-поэту уже открытая. Состоящая не в самом по себе поражении дворянских революционеров, а в дальнейшем неотвратимом устранении с политического поля сословия дворян, наиболее просвещенного и наименее зависимого от единоличной верховной власти (независимость, пусть

относительная, но сознаваемая, гарантировалась родовитостью и имущественной самостоятельностью). И даже не в самом деспотизме, как бы ни был склонен к нему император Николай Павлович, а в грядущей и состоявшейся таки замене дворян бюрократией, в приходе лично обязанных царя выдвиженцев, в том, что поныне определяет общественную жизнь России.

Не сказать, чтобы именно производным от всего этого стал российский утопизм, воплотивший надежду на одномоментный поворот ко всеобщему счастью (вымышленный, нет, скажем — полувымышленный Кузьмин или, увы, реальные большевики), — в конце концов крестьянская мечта о Беловодье и Лукоморье была искони. А все же как раз жесткая официальная безвариантность столбовой российской дороги, окончательно ставшая таковой, я уверен, в Николаевскую, даже не в Петровскую эпоху, способствовала убежденности в пресловутом нашем «особом пути», совпадавшей с начертаниями Бенкендорфа либо Победоносцева — или противостоявшего им. Противостояние бывало более чем существенным, но надежда на «особость» — общая.

Главное (и худшее): чем дальше, тем больше она принимала (принимает) формы национальной замкнутости, агрессивности, кичливости, недоверия и прямой вражды к инаковерующим и инакомыслящим.

А всякий мыслящий мыслит «инако».

* * *

Ради этой волнующей мысли придется несколько отступить в сторону.

Так вышло, что, начавши эту статью, я одновременно читал дневники Георгия Свиридова (Музыка как судьба. М.: Молодая гвардия, 2002), которые меня — без преувеличения — потрясли. И не отдельными подкупающе меткими или энергичными суждениями, без чего и трудно представить выдающегося музыканта. (Например: «Надобно понимать музыку как составную часть общей духовной жизни нации, а не как обособленное ремесло» — да, да, и словесность тоже, как бы ныне это ни отрицалось и высмеивалось. Или — отчего нам и французам трудно обрести взаимопонимание: «Вот когда на месте Нотр-Дам де Пари будет зловонная яма с подогретой жижей для небрезгливых купальщиков и купальщиц, тогда мы будем разговаривать, понимая друг друга».) Если бы речь об этом! Однако...

Приступаю с осторожностью, помня, помимо прочего, об иерархии, в искусстве — реальной. Может быть, только в нем.

Не удивительно — даже не естественно ли? — что Свиридову «ненавистен» общепризнанный Бах, тот самый, Иоганн Себастьян, что с годами стал мерзок Шостакович. Тем более — что́ заставит старого мастера полюбить «новых» Шнитке и Губайдуллину? Правда, сказанное о последней: «сухой дамский онанизм» — это уж слишком, но вольно́ было племяннику-составителю обнародовать дядино дневниковое неприличное раздражение.

Тут, впрочем, возможна такая оговорка. Существует стереотип: все творческие люди ревнивы. Не только к успеху *другой* эстетики, но вообще к чужому успеху. Так ли — тем паче примерами ревности пруд пруди? Думаю, все-таки не совсем так. Само творчество как процесс неревниво — у него,

то есть у процесса, нет возможности оглядываться вокруг. Разумеется, результат, вернее, общественное восприятие результата — дело иное, но и тут обычно нужны какие-то сугубо внешние, не творческие причины, заставляющие незаурядного художника высказывать, к примеру, следующее.

Вот: Рубинштейны, Николай и Антон, в записях о которых — упор на их инородчество, так что и роль братьев в устройстве музыкальных учебных заведений, думалось, общепризнанно благородная, выставляется как сомнительная. Даже провокационная.

А уж дальше, поближе к новому времени... В легендарном ИФЛИ, отмечается, «студенты состояли в значительной степени из определенных лиц», — что ж говорить о руководстве Ленинградского Союза композиторов? Большой театр — «еврейский лабаз». Патриарх Тихон убит «зубным врачом Гуревичем», — даже сочувствующий родственник-комментатор стыдливо опровергает слух. Педантично указываются как улики вредоносности и неполноценности «настоящие» фамилии: Светлов — Шейнкман, Голодный — Эпштейн; даже латыш по отцу Евтушенко — подозрительный Гангнус; даже сербская (графская?) фамилия Войновича представлена как «Войновкер». (Вспоминается, ну конечно, Солженицер, как советские юдофобы объясняли инаковость Александра Исаевича; Сахаров — Цукерман; Эльцин; Якобсон или Яков Лев — Александр Николаевич Яковлев.) И т.д. и т.п., вплоть до: «Ныне мы свидетели, как этот малый (! — *Ст.Р.*) и якобы угнетенный народ пожирает одну христианскую империю за другой». Уровень Шафаревича, если не, страшно сказать, Макашова.

Еще одна попутная мысль, на сей раз несущая или старающаяся принести в данном случае некоторое утешение. Такое не сошло бы да и не сходит с рук работающим со словом (наглядна судьба автора «Привычного дела» и «Плотницких рассказов», — впрочем, поди пойми, что́ тут первичнее в смысле распада, дикая ли помешанность на инородцах или литературное истощение). А музыка... На другом, что ли, уровне подсознания или, лучше сказать, надсознания возникает она; там, куда не досягает всякая гнусность?..

Итак, каковы же причины того, что с течением времени — а читатель свиридовской книги оказывается свидетелем явственной эволюции — незауряднейший музыкант опускается до подобного уровня?

Первое, что приходит в голову (первое — не значит непременно неверное): дело в сознании собственной недооцененности. Возможно, не совсем привидевшееся — при всех премиях и орденах. Разве не было резона в словах академика Лихачева: Георгий Васильевич Свиридов — русский гений, который по-настоящему еще не оценен? Да и я сам — не писал разве, что неловко вручать премию «Триумф» Борису Гребенщикову при живом Свиридове? Не отказываться же от этих слов по прочтении книги.

Играло свою роль, разумеется, и окружение, общественные и эстетические симпатии и антипатии (хотя опять-таки — что́ первично и здесь, выбор окружения или его влияние?). Кто неприятен и чужд? Сахаров («культурный идиот», «изверг»). Ахматова (в ее поэзии «нет творческой тайны,

нет ничего неожиданного... Сама ее премия в захолустной академии, как видно, устроенная масонской ложей... Связь с еврейскими поэтами»). Пастернак, который «противен навеки... грязноватый и умильный». «Говнюк Мандельштам, презренный и бездарный книжный человек Тынянов». В сущности, весь — кроме, пожалуй, Малого — театр: Покровский, Ефремов, Эфрос, Любимов. Из драматургов — Розов, Арбузов, Горин, Рощин, Радзинский, Володин. Из литераторов, журналистов — Лакшин, Коротич, Адамович, Карякин, Крымова, Рыбаков...

Безоговорочно любы — Куняев, Кожинов.

Почему бы и нет — тем более, все эти вкусовые — да и идеологические предпочтения, как и знаки оскорбленного самолюбия, слишком мелки для того, чтобы объяснить подобные превращения личности калибра свиридовской.

Тогда что же?

Ведь даже сама сила отчаяния от того, что́ сделано с любимой Россией, сперва Лениным–Сталиным («Истребление нации началось буквально на другой день после злосчастного октябрьского переворота... Страна жила и живет в рабстве»), потом — перестройкой, которую Свиридов именует «троцкистской» («Все те же люди, доканчивающие разгром великой Русской империи и уничтожение Русского народа, а это — их главная цель — истребить Русскую нацию, перебить ее, перестрелять, рассеять по свету»), даже это отнюдь еще не ведет к выводам вроде: «Революция... была не столько социальной, сколько религиозно-национальным переворотом». «...Воскрешение древних дохристианских идей — религиозного истребления целых народов...» «Сионисты», «сатанисты», чья цель — «просто перебить нас, как собак». И уж вовсе по-макашовски: «Швондер, воцарившийся над всеми народами», «Золотой Жид». Или, по слову кстати подвернувшегося Достоевского, «жид и его банк».

Другое дело, что сила отчаяния определялась и тем, что, в отличие от все более неприемлемого Шостаковича с его «Леди Макбет», Свиридов, как он сам сознавал и декларировал, тяготел к никогда не существовавшему, вымышленному национальному идеалу: «Пишу “Миф о России”». Что чревато опасностью, хоть и не всегда выходящей из чрева на свет, — повторяюсь, не для музыки (вероятно), но уж точно для словесных умозаключений. Не ходя далеко, достаточно вспомнить все того же Белова, которому та́к хотелось, чтобы деревня, пусть в прошлом, была такой, какова она в его *очерках о народной эстетике* «Лад». Вызвавших отклик ревнителя «правды жизни» Федора Абрамова: «Какая прелесть!» И тут же: «Хотя Бог знает, в каком подкрашенном виде предстанет крестьянская Русь прошлого. Лад... Да был ли он когда-либо на Руси? Не в этом ли трагедия России, что она никогда не смогла дойти до лада?»...

Одно к одному: имея дурную привычку читать сразу несколько книг, одновременно со свиридовскими дневниками листал «Обещание на рассвете» Ромена Гари и вдруг нашел ответ на мучающие меня сомнения — много лучший, чем дал бы или хотя бы выразил сам.

Ему, выходцу из России (как нельзя не понять из его прозы, сыну Ивана Мозжухина), мать с младенчества внушила именно *миф о Франции*. «О дале-

кой стране, где исполняются самые невероятные мечты, где все равны и свободны, артисты приняты в лучших домах, а Виктор Гюго был Президентом Республики...» «Франция в лирических и вдохновенных рассказах моей матери с раннего детства стала для меня сказочным мифом (! — *Ст. Р.*), далеким от реальности, чем-то вроде поэтического шедевра, абсолютно недоступного и недосягаемого для простого смертного». И вот Ромену — одному из трехсот выпускников летной школы! — не присвоили офицерского звания. (Будущему герою Сопротивления, кавалеру ордена Почетного легиона, награжденному боевым крестом.) Причина или, скорее, повод — то, что он, сын еврейки из России, всего лишь три года как стал натурализованным французским гражданином.

Какова же реакция на оскорбление? «...Довольно неожиданным следствием моего провала было то, что с этой минуты я действительно почувствовал себя французом... я по-настоящему ассимилировался. Наконец-то я понял, что французы — не исключительная раса, что они не лучше меня, что и они могут быть глупыми и смешными — короче, что мы, несомненно, братья». Мало того: «Прошло много времени, прежде чем я отделался от этих романтических представлений и из сотни образов Франции выбрал тот, который казался мне наиболее привлекательным: неприятие дискриминации, отсутствие ненависти, злобы, злопамятности долгое время отличали меня от заурядного француза; только в зрелом возрасте мне удалось наконец-то отделаться от своего франкофильства, только где-то в 1935 году, в разгар событий в Мюнхене, я почувствовал, как меня понемногу стали охватывать ярость, отчаяние, отвращение, вера, цинизм, надежда и желание все разнести, и я окончательно расстался со сказкой кормилицы ради родной и неприглядной действительности».

Напомню на всякий случай: говорит несомненнейший патриот Франции, доказавший патриотизм геройским делом и талантливым словом.

Замечательному русскому композитору для убедительности рожденного им мифа о России понадобился миф черный, чернее некуда — о «малом народе».

Вот что, однако, едва ли не парадоксально (или, напротив, по-своему закономерно?): даже и тот миф, что задуман как светлый, возвышенный, выходит... Но с определением погодим.

«Саморастворение» — именно это как основополагающая черта увидено в характере России и русских, что еще не расходится, скажем, с христианским сознанием Пастернака (конечно, не только его): «Я ими всеми побежден, / И только в том моя победа». И — дальше: «Это — русское, идет у нас с Востока, но смешано с православным христианством, с верой, чуждой европейскому сознанию, чуждой идее "самовыражения" личности (любой ценой!). Здесь же самоумаление, самоуничтожение — "все во мне и я во всем" или как самосожжение в "Хованщине" — слиться с миром в пламени, а не выделиться, не отъединиться от него. Но это — страдательная черта, страдательная вера! Таков наш удел».

Противостояние — иудаизм. В отличие от него, у «нас» — это воплощено, например, у Стравинского, в «Весне священной», — «нет неумолимой,

всеобъемлющей жестокости, той, которая — не черта характера того или иного, а *входит как главное* в сам религиозный характер народа». Естественно, «малого».

Впрочем, на этом уровне еще можно рассуждать и спокойно спорить. Но дальше:

«Жестокость же язычества (славянского, нашего. — *Ст. Р.*) — это беззлобное, даже, например, каннибализм. Здесь нет *всеобъемлющей злобы*, а — гедонизм, удовольствие, ощущение сладости человеческого мяса и тому подобные ужасы, не так, однако, опасные для мировой жизни, ибо не стремятся к всемирному господству (разве что стихийно) и не так деятельны».

Можно, конечно, и черно пошутить на тему: да, дескать, пусть каннибал, но наш каннибал. Можно сказать о вопиющем антиисторизме, ибо переход к единобожию был неизбежно связан с идеей личности. (Томас Манн не без участия рациональной логики XX века, но нисколько не в противоречии с духом христианства говорит, что библейский Авраам, сделанный им персонажем романа, «из стремления к высшему», то есть из неудовлетворенности принять за высшее землю, дождь, солнце, луну и т.д., «открыл Бога», «сформулировал его и придумал», став «освященным в душе объективной Его близостью».) Или был возможен скачок от язычества с каннибализмом прямо ко Христу?

Но меня занимает другое: сам утопический, мифологизированный образ Руси предстал в основе своей страшным, бесчеловечным, вернее, обесчеловеченным («каннибализм», «сладость человеческого мяса»). Что при всей своей причудливости, вероятно, закономерно: мифологизация чего бы то ни было — вообще волевое усилие. А когда реальность противится твоей воле, когда миф не совпадает с тем, что зримо воочию, ты или разочаровываешься, впадая в противоположную крайность (вскользь замечу: так, например, антиутописты Оруэлл или Платонов начинали с утопий: первый был революционером троцкистского толка, второй действительно верил в то же, что и его чевенгурцы), или начинаешь искать супостатов. На чьем фоне твой миф еще продолжает сиять.

Одним словом, из наивного идеалиста наподобие самойловского Федора Кузьмина ты превращаешься в персонажа «Канделябров».

* * *

Возвращаясь наконец к «Струфиану»: итак, Кузьмин хочет вручить императору свой трактат, дабы вразумить его и спасти Россию. Декабристы на свой лад загодя спасают ее, готовясь к действию. Но в этот момент (опять цитирую Немзера) государь «получает чудесный подарок. Инопланетяне, “духи и боги”, “волшебник в голубом вертолете”, булгаковские черти, двоюродный дядя из Тель-Авива, что пришлет вожделенный вызов, — кто-то должен наконец сделать меня счастливым!». И — царь уносится в космос силой «волшебника», чью роль, не гнушаясь ходовым, уличным характером средства, берет на себя автор.

Утописта — в каземат; декабристов — на виселицу и в Сибирь; власть же — не в первый и не в последний раз — ускользнула от вразумления, от выбора, стало быть, от ответственности. Как оно, кстати, и было в реальности

или полуреальности: уход (?) Александра I в старчество, самоубийство (??) его преемника-брата, сказавшего, как говорят, своему наследнику: мол, оставляю тебе державу не в полном порядке.

...А неопознанный предмет
Летел себе среди комет.

Понимать ли: НЛО, хулигански вмешавшийся в судьбу русского самодержца, прилетел «себе», улетел «себе», и история тоже идет «себе»? Независимо. В любом случае «неопознанный предмет» сыграл роль скептической проверки упований меланхолического императора и «конструктивного плана» «задумчивого казака». Как заодно и декабристов. Ту же роль, что вообще играет ирония у Самойлова, проверяя на истинность лирику и правду.

Так что же — история самопроизвольна? И, не говоря об утопиях, даже реальное вмешательство в нее ничего не меняет? Самойлов так не полагал. То есть, с одной стороны, сочиняя «Фарс о Клопове», о человеке, пытавшемся вразумить уже Николая II, он писал Лидии Корнеевне Чуковской (которая ревниво подозревала и здесь полемику с Солженицыным, обратившимся к «вождям»): «Очень я огорчился, что Вы так поняли пьесу. *Его* я и не собирался трогать. Тогда я тронул и Льва Николаевича, писавшего Александру III и Николаю II, и святейшего А.Д. (Сахарова, конечно. — *Ст. Р.*). Я писал о *клоповщине*, чисто русском явлении, о той вере, что *они* не знают, а им можно что-то объяснить. И удачливый пример Клопова доказывает, что объяснить ничего нельзя, что история идет своим путем ("себе". — *Ст. Р.*), что поезд тронется и раздавит всех действующих лиц. Пьеса безнадежная».

Но, с другой стороны, откуда такая пристрастность к проблеме эмиграции, требование, дабы интеллигенция работала «здесь, а не там», — да, требование, иной раз доходившее до степени ярости?

Юлий Ким рассказывал, как его друг Давид, услыхав от общего их собутыльника высказывание «в том смысле, что, мол, бегущий от режима, даже если тот его и не подталкивает, все-таки презрения не заслуживает и уважения не утрачивает... взъелся на него! Прямо зверски. "И уезжайте! И уезжайте!" — кричал он в гневе...

— Не собирается он никуда! — уговаривал я. — Наоборот: он три года отсидел за правду, имеет полное моральное право, а не едет!

— Вот и пусть едет!

— Да он не хочет!

— Нет, пусть едет, раз так говорит!»

(Притом что сам Ким, чью смягченную точку зрения разделяю и я, пишет: «По мне, так человек, сбежавший от брежневского режима, есть беженец. А по Давиду — беглец». Добавляя, впрочем, то, в чем они с Самойловым, конечно, совпадали: «Теперь я то и дело встречаю мысль: тот, кто тогда бежал от режима, был храбрее тех, кто оставался. Как будто режим — единственное, что можно любить на родной стороне».)

Так или иначе, пессимистом — да и фаталистом — Самойлова назвать трудно. Декабристы ему дороги. Кузьмин-Солженицын, даже в шаржиро-

ванном варианте, побуждает к серьезнейшим размышлениям. Тогда в чем дело? «И он не находил ответа».

Как Русь у Гоголя, каковая также не отвечает на взывающий вопль: «Куда ж несешься ты?» (Потому что не знал ответа и автор «Мертвых душ», — когда узнает, — точнее, решит, что узнал, и соберется ответить, выйдут «Выбранные места», «прожект», не уступающий в утопизме сочинению Кузьмина.)

Гиштория, пока
Не отлилася в бронзу, — мягкий воск!
А надобно лепить ее со смыслом.

Вряд ли устами умного и осторожного Остермана («Сухое пламя») говорит сам автор — особенно учитывая фабулу драматической поэмы и явную тщету потуг Меншикова и его окружения. К тому же поэма явно неаллюзионна, стало быть, не годится для преподавания «гиштории». Смутное время междуцарствия — не примета советской эпохи (или, считая по правителям, эпох?), когда власть жадно перехватывалась из рук в руки и преемник готовился возглавить на Мавзолее траурный митинг.

Наше привычное отношение к истории — примерка или оглядка, прагматически, как правило, недальновидные. (Уж никак не отношение к простору, на коем случается, не может не случаться непредсказуемое и необъяснимое, не годящееся для утилитарного воспроизведения.)

Как — простейший и неотвязный пример — со сталинско-брежневско-путинским гимном, этим символом преемственности по-нашенски, то есть не целостно-непрерывной, а совершающей выборочный скачок через головы Горбачева и Ельцина. Даже Хрущева.

Как, допустим, и с Петром I в качестве любимого образца для президента. Что, смею предположить, недостаточно осмыслено. Главная заслуга «большевика на троне» — окно в Европу, которое, едва приоткрывшись при перестройке, ныне, наоборот, старательно объявляется причиной вредоносных сквозняков. А мстительный садизм царя-тирана, чрезмерно патологичный даже для нравов XVIII века, вряд ли пример для подражания. Подражаний же отходчивости Петра, также случавшейся с ним, как и подражаний его таланту селекционера, не видать. Увы.

В общем, для кого-то пример — Петр; для кого-то — Иван IV, приукрашенный в виде победного государственника, а то и во всей своей лютости; для кого-то — мифологизированный Столыпин (кому он нравится как реформатор, кому — как антисемит). Отчего страдает история — при всей внешней почтительности обращения к ней. (Оставляю в стороне очевиднейшее: насколько страдаем мы. Народонаселение.)

«...Не находил ответа». Это, формулируемое по-разному, но постоянно, — конечно, странное свойство такого «смысловика», как Самойлов. Ежели странностью можно счесть допуск вариантов, самых отчаянных; не только вмешательства НЛО, но и такого, для русского стихотворца, пожалуй, невыносимого:

В третьем тысячелетье
Автор повести
О позднем Предхиросимье
Позволит себе для спрессовки сюжета...
(Добавить ли: уже позволяют?)
...Небольшие сдвиги во времени —
Лет на сто или двести.

В его повести
Пушкин
Поедет во дворец
В серебристом автомобиле
С крепостным шофером Савельичем.

За креслом Петра Великого
Будет стоять седой арап Ганнибал —
Негатив постаревшего Пушкина.
... Он предложит Пушкину виски с содовой,
И тот не откажется,
Несмотря на покашливание старого эфиопа.

— Что же ты, мин херц? —
Скажет царь...

Ну, и т.д.

Хотя главной странностью, с которой мне не примириться (как и с суждением Нины Берберовой, что в XXI столетии Пушкина не будут читать — утешаю себя тем, что Самойлов, может быть, наступает на хрупкое горло своего историзма, в действительности *так* не считая), словом, этой слабо приемлемой для меня странностью довода считаю примирительность:

Читатели третьего тысячелетия
Откроют повесть
С тем же отрешенным вниманием,
С каким мы
Рассматриваем евангельские сюжеты
Мастеров Возрождения,
Где за плечами гладковолосых мадонн
В итальянских окнах
Открываются тосканские рощи,
А святой Иосиф
Придерживает стареющей рукой
Вечереющие складки флорентийского плаща.

Насилие поэта над собою как отчаянную крайность историко-эстетической толерантности (открывающей дорогу всем пикулям и акуниным, включая «Вольтерьянцев и вольтерьянок» талантливого, однако мало начитанного Аксенова) предполагаю, твердо помня сравнительно раннее (1961) стихотворение «Дом-музей»: «Заходите, пожалуйста. Это / Стол поэта. Кушетка поэта. / Книжный шкаф. Умывальник. Кровать. / Это штора — окно прикрывать».

В шестидесятые годы мне, помнится, приходилось до остервенения спорить — например, с Александром Петровичем Межировым — относительно этого стихотворения, доказывая, что тут — не просто обличение конформизма (тема, тогда особенно животрепещущая или по крайней мере доступная публичному обсуждению — разумеется, косвенному, намекающему). «То, что вы говорите, Стасик, — рассмеялся А.П., тогда для меня Саша, — очень интересно, но у Дезика ничего подобного нет! Я же его знаю!..» И, может, по-своему был прав? Может, «Дезик» ничего, что привиделось мне, не умышлял? Какая разница? Получилось что получилось.

Вот позднейший портрет — удалой.
Он писал тогда оду «Долой»
И был сослан за это в Калугу.
Вот сюртук его с рваной полой —
След дуэли. Пейзаж «под скалой».
Вот начало «Послания к другу».

Дальше — то, что и давало основательность моим оппонентам:

Вот письмо: «Припадаю к стопам...»
Вот ответ: «Разрешаю вернуться...»
Вот поэта любимое блюдце,
А вот это любимый стакан.
Завитушки и пробы пера.
Варианты поэмы «Ура!»
И гравюра: «Врученье медали».
Повидали? Отправимся дале.
Годы странствий. Венеция. Рим.
Дневники. Замечанья. Тетрадки.
Вот блестящий ответ на нападки
И статья «Почему мы дурим».

Да, деградация. Да, смешно и печально. Но — чья деградация? Кому — смешно? Ведь кое-что, и даже немалое, в судьбе вымышленного поэта можно воспринять как шарж, жутко помыслить, на Пушкина! (А уж на долгожителя Вяземского!..) Не буквально, разумеется, но все же: ода «Долой!» — это, предположим, да «Вольность», одна из тех, за которые была назначена ссылка. Поэма «Ура!» — может быть, «Полтава», которую подозревали в урапатриотизме, в «шинельности»? (По крайней мере: надо же, мол, им кость кинуть, — говорит, извиняясь, Грибоедову Пушкин в романе «Смерть Вазир-Мухтара» как раз касательно «Полтавы», — таково восприятие задавленной советской интеллигенции, пробующей изъясняться намеками.) Если и не «Полтава», то подвергавшиеся подозрениям в «ласкательстве» «Стансы». А «блестящий ответ на нападки»? Допустив предыдущее: ответ именно тем, кто на «Стансы» нападает:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю...

Совершенно не собираюсь утверждать, что в споре был прав именно я. Тем более — ни разу не догадался спросить о толковании этих стихов у

«Дезика», а и спросил бы, многое ли бы это прояснило? Может, и запутало бы. Важно, что здесь вновь простор для толкований, та самая дорога к Нюренбергу, что хочет и не может закончиться.

Заканчивается только экскурсия:
Вы устали? Уж скоро конец.
Вот поэта лавровый венец,
Им он был удостоен в Тулузе.
Этот выцветший дагерротип —
Лысый, старенький, в бархатной блузе —
Был последним. Потом он погиб.
Здесь он умер. На том канапе.
Перед тем прошептал изреченье
Непонятное: «Хочется пе...»
То ли песен? А то ли печенья?

Смешно? Пожалуй. Как вдруг:

Кто узнает, чего он хотел,
Этот старый поэт перед гробом!

И — после неожиданно, незаконно вырвавшегося то ли вопроса, то ли вздоха, поспешное возвращение к служебному, официальному тону. К исполнению обязанностей:

Смерть поэта — последний раздел.
Не толпитесь перед гардеробом.

«Кто узнает?..» Кто узнает правду хоть о самых последних словах поэта. Может, это действительно старец Вяземский? Или тот — «лысый, старенький», каким князь Петр Андреевич, неотвратно старея, от всего сердца хотел бы увидеть своего чудом выжившего друга, в десятую годовщину его гибели прикидывая, что «сложения он был крепкого и живучего», «дарование его было также сложения живучего и плодовитого», в общем, жить бы да жить, благополучно доживая до лысинки, до седин, до подагры?

О словах, то ли устремленных ввысь, «туда», dahin, к песням, к творчеству, не оставляющему тебя до смертного мига. То ли — к «печенью», что, между прочим, ничуть не смешнее моченой морошки, которой вдруг захотелось пересохшему рту умирающего Пушкина. О тех словах, каковые потомки толкуют и перетолковывают, надеясь угадать в них нечто вроде завещания. «Прощайте, друзья!» — а кому это Пушкин сказал? Книгам, по которым, как говорили, скользнул угасающий взор? Оставшимся жить Жуковскому, Плетневу, тому же Вяземскому? Не спросишь.

И качество версий говорит уже не о *нем*, не о *них*, — о нас. Так (грубый пример), чеховское «Ich sterbe» один наш современник, задним числом возненавидевший Ольгу Леонардовну Книппер («немецкая сука» — это, впрочем, другой ненавистник, Виктор Ерофеев) и по-своему понимая чеховскую семейную драму: мол, телка трахается с паханом, то бишь с Немировичем-Данченко, готов транскрибировать тоскливую немецкую фразу как последнее проклятие неверной жене: «Эх, стерва!»

Полагая, что тем самым защищает честь Антона Павловича.

Пушкин, неотступно присутствующий в стихах Самойлова (то, совсем не исключаю, престижно-инерционный: «...из поздней пушкинской плеяды» — надо, значит, доказывать принадлежность, — а то, что всегда интереснее, потворствующий смелости, вольности, хулиганству), как раз и *обнаруживает перспективу*, которую единственно стоит связывать с именем самого свободного из российских гениев.

*Перспективу!*

В «Сне о Ганнибале» Пушкин-правнук, в поэме присутствуя, верней, ощущаясь, еще верней, обещаясь, тем не менее лично не выведен. Прямолинейная аналогия — как Пушкин в пьесе Булгакова «Пушкин». Это не он оглядывается на Абрама Петровича, как бы в сущей своей реальности им ни интересовался, а Ганнибал будто бы наделен перспективой... Нет, не превращения, не перерастания в правнука, существо иной породы, но — воплощения в правнуке сходных, сродственных свойств, хотя бы темперамента, способности взорваться от ревности на качественно иной ступени. Иной — временно́й и этической.

А вообще арап в России редок,
Особенно такого внука предок! —

это еще шутка. Но:

Арапу бедный правнук! Ты не мстил,
А, полон жара, холодно простил
Весь этот мир в часы телесной муки,
Весь этот мир, готовясь с ним к разлуке, —

это уже серьезно.

К слову: читая ставшую знаменитой переписку Самойлова с Л.К. Чуковской, вспомнил историю, как Пастернак, оказавшись в гостях (для точности — у соседа Тренева) вместе с Булгаковым, захотел выпить за его здоровье. Хозяйка дома всполошилась: нет, нет, сначала за Вересаева (есть вариант: за академика Бурденко), но Борис Леонидович уперся. Тот, мол (Вересаев? Бурденко? все равно), «явление законное, а Булгаков — незаконное!» За Булгакова!

В том конкретнейшем смысле, какой имею в виду, из двух славных корреспондентов «незаконный» — Самойлов. Да, да, а не героическая диссидентка, перед которой он явно робел, зажимаясь в письмах к ней, корректируя обычную вольность в оценках. (Лидия Корнеевна, декабрь 1985 года: «...Что мне обидно, в самом деле, это несколько раз повторенные Галей слова: "Дэзик вас боится". Какой повод я подала Вам, или Гале, или кому бы то ни было — меня бояться?» Непрошено добавлю, что боялся «Лиды» и сам отец Корней Иванович, в чем мне признавался. Боялся — ну, вернее, побаивался ее прямолинейности, жесткости, «железности».)

Полагаю, ничуть не странно, что возникает — пусть даже кто-то поморщится — аналогия со стихами «Пестель, Поэт и Анна». Да, имеющий документальную основу диалог Пестеля и Пушкина, где оба историчны, оба достоверно-конкретны, но Пушкин еще и надисторичен, надконкретен. Пестель — весь! — в своем комплексе революционных идей, излагаемых в разговоре,

смысл которого и есть смысл его жизни; Пушкину в этой беседе, льстящей ему (с кéм говорит! Кто́ его удостаивает вниманием!), все-таки тесновато. «И некуда податься кроме них» (кстати, и Самойлов, бывало, ведóмый этим сознанием совершал «диссидентские» поступки, подписывал «письма протеста», осознанно жертвуя выходом книг, возможностью публиковаться и, стало быть, зарабатывать на растущую семью), но, прилежно слушая декабриста, самойловский Поэт — конечно, исторический Пушкин, однако и сам «Дезик», выпивоха, гуляка, бабник — не способен с головой погрузиться в важный для него, значительный, сущностный разговор:

Он вновь услышал — распевает Анна.
И задохнулся: / «Анна! Боже мой!»

Что, впрочем, тоже исторически достоверно.

Иные, лучшие мне дороги права...
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно?

Или, обращаясь к «вельможе» Юсупову: «Ты понял жизни цель... Для жизни ты живешь», — что, как и Анна в стихах Самойлова, житейский аналог «иных прав». Не знаю, держал ли Самойлов в памяти именно эти строки, когда, прикрывшись по обычаю подцензурных времен (у Окуджавы — «Молитва Франсуа Вийона»!) именем Батюшкова, написал:

Какая цель у Бога?
Неужели цели нет?

...На пугающем пространстве XXI века, покуда не наступившего, только надвигающегося на нас, (напоминать ли, что столетия начинаются не по календарю — см. Ахматову: «...А по набережной легендарной / Приближался не календарный — / Настоящий Двадцатый Век»), нам все равно предстоит... Ну, не выбрать дорогу, она, худо-бедно, выбрана, даром что мечтать о России как о Евразии или, скорей, Азиопе, конечно, не заказано. Не заказано и стараться своротить с пути «в Нюренберг», в Европу, в мир.

Да и власть еще будет в нехудшем смысле бездействовать, как Александр I, в худшем — сопротивляться неотвратимости: и утопии родятся, куда более мракобесные, чем у Кузьмина (рождаются уже!); и народный социальный протест может оказаться жестоко, кроваво подавленным, куда декабристскому, или выдохнуться. Все будет, но дорога намечена. Определена.

У Самойлова, еще и еще раз скажу, не пессимизм, как и не оптимизм.

Даром что в последнем он был как-то обвинен Владимиром Корниловым. Из «Поденных записей», 1973 год: «Разговор с В. Корниловым. Я: "Тебя интересует деструкция жизни, а меня конструкция. Тебя — почему жить нельзя, а меня — почему можно". Он согласился. "Поэтому мы и не можем понравиться друг другу"».

У него, назойливо повторюсь, открытое пространство, на котором личностная безвыходность (царя Александра, умирающего Цыганова, несчаст-

ной жены Ганнибала...) не перестанет мучить, не станет тем ничтожно малым, с чем можно и не считаться на фоне «общенародных задач», но где в да, вынужденно, да, вопреки растреклятой нашей ментальности, во многом, ежели не во всем, выдуманной, дабы оправдать безволие и бессилие, — где, словом, сделан выбор самóй историей. Идущей «себе».

Самойлов (опять повторяюсь) — не диссидент, не... Хотя даже и отрицать его причастность к официозу до смешного излишне. (Что, между прочим, еще не абсолютная похвала, учитывая существование его друга-соперника Слуцкого, чья упертая коммунистичность была и драмой его, и... Но у поэтов и драма, даже драма упертости, ограниченности может воплощаться в драму существования в целом — предмет поэзии!)

Самойлов на вручении ему Государственной премии, получаемой еще из рук Георгия Мокеевича Маркова, отыскав приличествующую случаю и наиболее лояльную из всех не искажающих истину фраз, сказал: «Сегодня нас наградили за то, что каждый оставался самим собой». «Нас» — сказано от широты, может быть, и от некоторого лукавства, да и применительно к нему самому следовало бы: не «оставался», а «становился». Это — касательно особенностей его долгого становления, о котором речь не сейчас и что самолюбиво запечатлелось в «Поденных записях». Главное, что — «стал». Тем паче — «остался».

Стал *внутренне свободным государственником*. Бывает, значит, и такое, в чем, возможно, надежда на будущее России.

В этом смысле Самойлов — поэт XXI века. Именно он, а не чтимый им Бродский; вернее, совсем не Бродский, ни в коем случае не он.

Тот, выбравший одиночество — или оно его выбрало — как форму независимости от всего и от всех, в конце концов и от читателя, надменный, несчастный, в своем несчастье самодостаточный, завершил, закрыл, увенчал собою миновавшее столетие (не говорю о погремушечном нашем постмодернизме, серьезных плодов по бесплодию не родившем). Заставив вспомнить Блока: «Двадцатый век. Еще бездомней...»

Самойлов с его легким дыханием, с его «конструкцией» при жесткой, а то и жестокой трезвости «Струфиана» или «Последних каникул», с его выходом на просторы истории, таким несродным гордой герметичности Бродского, вот он, повторяю, поэт...

Одно мешает закончить фразу, одно заставляет осечься: а чтó, XXI век захочет ли, сможет ли воспринять эту перспективу?

## ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

**А.** «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Урал»
***(Первый квартал 2006 г.)***

СОВРЕМЕННОСТЬ В ФОКУСЕ ПРОЗЫ. Среди самых значительных вещей сезона нужно назвать ***повесть*** молодого прозаика из Петрозаводска **Ирины Мамаевой «Земля Гай»** («Дружба народов», № 1). Она начинается картинами жизни и портретами обитателей северного захолустья. Гай — поселок, где был когда-то леспромхоз. Но лес вырубили, и теперь люди доживают здесь жизнь, пьют, грустят, томятся, вспоминают... Ветхий, гаснущий мир. Мамаева без натуги переводит повествование в регистр глобального образного обобщения, соотнося происходящее в этом глухом углу земли — с вечностью. И Гай уже представительствует у нее за Россию (а также и за фантомальный СССР) — износившуюся, развратившуюся, иссякшую, исчерпавшую себя, близкую, как никогда, к апокалипсису, каковым, собственно, повесть и кончается. Или почти кончается, потому как в финале автор дает читателю и тихое утешение. Отличная проза, всего лишь двумя своими дебютными повестями (недавно также в «ДН» была напечатана «Ленкина свадьба») Мамаева уже уверенно заявила о себе как о сложившемся, зрелом писателе, интереснейшем продолжателе традиций канувшей, казалось бы, в Лету *деревенской прозы*.

***Роман*** известной молодой поэтессы **Натальи Ключаревой «Россия: общий вагон»** («Новый мир», № 1) — вполне удачный дебют в прозе. Это повествование о юном искателе правды, страннике, нашем молодом современнике. Герой, Никита, проходит через испытания любовью и социальным развалом. Образ получился обаятельный, емкий, хотя и несколько статичный. Герой-идеалист! То, что еще недавно трудно было представить в нашей актуальной словесности. Отличительный признак писательского миросозерцания Ключаревой — государствофобия. Ее герои готовы к революции, и каждый на свой манер приближает ее. Есть в прозе Ключаревой острое чувство современности, есть резкие социально-критические акценты, есть символический гротеск, есть боль и гнев, свободные, однако, от откровенной публицистичности, от голой риторики. «Страна подъезжала к станции Дно, качаясь на рессорах и томительно вытягиваясь вдоль изгибающихся путей. Страна резко затормозила и встала у фонаря. — Эй, братан, это мы где? — На дне! — весело крикнул Никита и стал пробираться к выходу». Кульминация повествования — шествие питерских пенсионеров к президенту. Возмущенные отменой льгот, старики идут пешком в Москву «за правдой». «Крестовый поход стариков», — говорит примкнувший к ним Никита. Автор сводит героя на очной ставке с режимом и венчает роман трагически. Несовпадение героя с миром, с пошлой и грубой сермягой новейшей реальности приводит его к гибели... Пожалуй, это наиболее зна-

чительная и ответственная вещь, вышедшая из-под пера прозаика самого молодого нашего писательского поколения. (К слову. Возникает в романе Ключаревой, которую я знаю не понаслышке лет восемь, профессор Ермолов — но это все-таки не совсем уж про меня.)

**«Письма к Тютчевой»** в одноименной прозе маститого **Вячеслава Пьецуха** («Октябрь», № 1) пишет недобитый интеллигент, печально взирающий на духовный распад современного общества, на гибель культурных традиций и форм. Много «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» поручил Пьецух своему герою. Герой этот — пессимист и скептик, а автор и не пробует что-то противопоставить его неутешительному настрою. Со многим в закатных мыслях этого русского Фауста тянет согласиться. Тонкая, элегантная рефлексивная проза о судьбе и путях России. Один из самых удачных текстов Пьецуха за последние годы.

В «Новом мире» (№ 2) напечатаны два новых ***рассказа*** кубанца **Александра Карасева**. Аскетическое, точное, сухое слово. Жесткая социальная аналитика. В рассказе **«Марш Преображенского полка»** изображен ветеран чеченских войн, который не может найти себя в мирной жизни. Прожигает ее насквозь, а все не то. Манера автора — простонародный сказ, вполне отвечающий пафосу и духу судьбы и даже, пожалуй, эпохи, которая на всех парах устремилась к новому варварству. «Вообще, он неплохой по-своему человек, и даже душевный. Любит душу раскрывать под пивко. И мы с ним не раз беседовали. Он не то чтобы нараспашку — нет... наедине самое сокровенное вынимает из себя... Иногда загрузит так своим самокопанием — не знаешь, куда деваться... Кому сейчас легко? у каждого проблемы — слушаешь и поддакиваешь из вежливости. В тот вечер Саня после кафе с Танюхой поссорился. Он начинал с ней встречаться, еще не спал вроде даже, и поссорился в первый раз. Татьяна красива той красотой, которую женщины называют "ничего особенного", а у мужиков слюнки текут от вожделения. Но не блядь в общем-то. Она хищница, в поиске, — а это немножко разные вещи... Саня с ней все шесть месяцев ругался, расставался и вновь сходился. У них нашла коса на камень. Коса — это Саня... или наоборот». В рассказе **«Маргинал»** история, поведанная случайным попутчиком, провоцирует повествователя в последнем абзаце на личное признание. История эта — о парне, равнодушном ко всему окрестному миру, который даже над гробом отца не страдает: «... Я потом думал, может, не родной он сын. Или отчим, или приемный. Но теперь понимаю — просто он такой человек был, безразличный ко всему, даже к смерти своих собственных родителей, такого вот нового типа человек. А сейчас таких много стало...» И вот реакция рассказчика: «Я тоже был лет на шесть моложе своего попутчика. После службы я купил квартиру и зажил почти так же, как жил парень, названный маргиналом. После войны я совершенно стал спокойно относиться к смерти, даже близких людей, и когда старался изобразить на лице гримасу утраты, сам себя за это ненавидел». А вы говорите: скорбное бесчувствие, астенический синдром!..

Отличные ***рассказы*** молодого прозаика **Ильдара Абузярова** под общей шапкой ***«Три истории с жертвой»*** опубликованы в «Октябре» (№ 2). Рассказ **«Курбан-роман»**: корова как жертвоприношение, мусульмане в Польше, жестокая дружба, верная любовь, снег и кровь. Легче перечитать, чем пере-

сказать. Рассказ **«Последняя лиственница среди лип, первая лиственница среди берез»** — о финской девушке с незадавшейся судьбой. Никто не возьмет ее замуж. Рассказ **«Предсмертная записка»** — о смертельных играх на грани искусства и жизни. Абузяров освободился от некоторой вязкости, которая была присуща его стилю, и написал изящно-поэтические истории. Удивительный сплав драматизма, нежности, юмора, житейской эксцентрики.

В ***повести*** **Натальи Смирновой «Диспетчер»** («Новый мир», № 3) герой, вполне практичный и деловой человек, пытается компенсировать пустоты своего существования тем, что публично поет при полном отсутствии данных или пытается найти слушателей для своего пенья. Счастье нисходит на душу героя только в подземных переходах, где он может, закосив под уличного певца-попрошайку, открыть рот и выдать «безобразный звук». Постепенно складывается и интрига, основанная на любовном треугольнике. Эффектная проза с примесью абсурда.

**Андрей Волос** в ***рассказе*** «Звонок» («Новый мир», № 3) изобразил делового человека новой формации, которого однажды поутру посетили неприятные воспоминания, связанные с дурными поступками, которые он совершил. Посетили — и отпустили.

**«Армейское чтиво»** 24-летнего автора из Ярославля **Романа Журавлева** («Октябрь», № 1) — отличные ***эпистолярные мемуары*** о первых месяцах службы в современной российской армии. Казалось бы, все уже мы знаем про мрак и дичь современной армейщины. Ан нет. Есть и новые детали, и новый пафос. Выигрыш автора — способность посмотреть на новый для него мир с высоты здравого смысла, культуры и благоприобретенного чувства собственного достоинства. Органический патриот смотрит на армию брезгливо. Но не без понимания и терпения.

В ***рассказе*** **Сергея Игнатова «Цепочка ноябрей»** («Знамя», № 3) героиня, легкомысленная девчонка Любаня, незаметно для себя становится путаной, проституткой, затем в один критический момент осознает это в полной мере и становится настоящей профессионалкой, а потом, спустя еще годы, переживает глубокий кризис экзистенциального уровня. Спохватилась Любаня — а жизнь уже неисправима. Другой рассказ этого автора, **«Эдуард Платонович Грызь с супругою»**, — своего рода римейк гоголевских «Старосветских помещиков». Разумное счастье опытных супругов основано на простых и надежных радостях обихода. Идиллия, однако, рушится при столкновении с дикостью современных нравов, разгулом повседневного зла. Замечателен финал рассказа — описание того, как в отсутствие отступившихся от дачного огорода хозяев пышно произрастают здесь экзотические цветы, взывая к покинувшим их людям, и как на протяжении ряда лет забивает их сорняк. Тут уж не хочешь, а найдешь некую аллегорию, актуализирующую социальные и культурные смыслы. Игнатов — отличный рассказчик, умный, чуткий, культурный. В предуведомлении «От автора» сказано, что пишет он о том, как люди распоряжаются своей любовью и счастьем. Основная тональность этой прозы — сентименталистского оттенка сочувствие к героям, заблудившимся в потемках жестоковыйной современности.

Муромец **Юрий Фанкин** в ***повести*** **«Межа»** («Москва», № 1) представил дни и труды мужика Фатея. Честный трудяга на фоне социального хаоса,

житейской растраты. Неторопкое, тщательное повествование. «...как всегда, когда он не просто думал о своих ушедших, дорогих его сердцу предках, а делал в меру своих сил, пусть и не очень умело, все то, что хорошо умели делать они, и дед Василий, и бабушка Варвара, и отбившийся от земли отец и все же спасительно прильнувший к ней на излете жизни, становились ему более близкими, понятными, и то кольцо жизни, о котором не раз размышлял Фатей, не могло губительно разомкнуться на нем. И главный смысл был, конечно, не в каких-то трех или четырех мешках картошки, которую Фатей, не утруждая себя заботами, вполне мог бы купить у других или на рынке, а в той живой, деятельной памяти, в которой Фатей всегда нуждался, словно в чистом воздухе, — потому-то они с отцом еще накануне великого исхода горожан на землю, вызванного обыкновенной нуждой и несытью, приобрели в лесной деревушке избу с участком». Выделанный, искусственный, вязкий, но красивый язык.

**Владимир Шпаков** в ***рассказе*** **«Железный Ренессанс»** («Дружба народов», № 2) возвращает своего героя на побывку в город, где прошло его детство. В позднесоветские времена город с его военным производством процветал, а теперь захирел. Шпакову свойственно метафорически одушевлять неживые вещи. Примерно так: «Родной город <...> выглядел не лучше, напоминая беспризорника, чумазого и завшивевшего. Штукатурка с фасадов отпадала, как короста, на улицах валялся мусор, и после каждого дождя тут и там расползались огромные лужи <...> гигантский транспарант, протянувшийся от здания администрации до кинотеатра "Победа". Надпись на потрескавшейся фанере гласила: "Мы — авангард оборонного комплекса!" и была недвусмысленно связана с машиной на постаменте. У транспаранта, правда, никто не застывал, и надпись, обиженная невниманием, постепенно блекла, буквы стирались, а слова утрачивали смысл. А ведь когда-то беспризорник был другим — надевал по утрам выглаженный костюмчик, сандалии и топал в школу, где аккуратно заполнял диктуемые сверху прописи. "А-ван-гард... о-бо-рон-ного... ком-плек-са!" — писал этот отличник, с утра до вечера трудившийся в поте лица на благо страны. Тогда луж не было, потому что осевший асфальт тут же меняли, сточные люки — чистили, а фасады ежегодно подновляли. Город еще не знал, что он без пяти минут бомж, который вскоре вместе со всей страной двинется в смутное будущее, теряя по пути тетрадки и ручки. "Ну, и фиг с ними! — думал он, вырвавшись на свободу. — Можно и портфель забросить в кусты; и сандалии снять, чтоб не мешали бежать к великой цели!" На бегу, подхваченным с земли углем, он размашисто начертал на заборе: "Даешь конверсию!" — и опять кинулся туда, где маячили обещанные кущи. <...> В общем, отличника пообещали вывезти в "Артек", но по пути забыли на вокзале. Школьник попрошайничал, потом начал подворовывать, к настоящему же времени заматерел и сделался нервным типом, напоминающим каждому встречному о своей прекрасной юности. "Я же подавал надежды! Я снабжался по-человечески! Я, блин, гордился собой!"» К финалу у Шпакова — переход в фантасмагорию. Группа ветеранов советского производства задумала возродить былое могущество...

***Повесть*** воронежца **Сергея Пылева «"Дворянское гнездо"»** («Москва», № 1) — история покупки квартиры в барском, номенклатурном доме. Плюс сопутствующие обстоятельства. Бойкая беллетристика.

Иркутянин **Михаил Прокопьев** в ***повести*** **«Игра отражений»** («Москва», № 3) с беллетристическим азартом рассказывает о ворах и мафии в сибирском городке. Занятно вышло.

***Роман*** **Андрея Воронцова «Тайный коридор»** («Наш современник», № 1, 2) — фантастический и конспирологический боевик с большой политической нагрузкой. Герой, писатель Звонарев, попадает, как кур в ощип, в сферу острой борьбы за будущее страны. Сначала это борьба советских патриотов с агентурой, засланной с Запада. Потом, после победы иноземцев, — арьергардные бои нового века против бывшего гэбиста-оборотня Немировского, ставшего олигархом. Средства повествования Воронцова довольно банальны и рутинны. Скупая прелесть этой прозы — в акцентах и намеках, а также в дополнительных планах. Скажем, патриот-сталинист изображен упертым невменяемым стариканом — нетрадиционный для журнала «НС» подход! Много места уделено семейным проблемам Звонарева, эта часть отличается сентименталистской дидактикой. Есть в романе также путешествие во времени, фантастические кульбиты (не без дурновкусия выполненные), есть живописные крымские байки. В последнее время журнал «НС» все чаще идет навстречу массовой, жанровой беллетристике с идеологическими акцентами. Роман Воронцова — заметный шаг на этом пути.

В ***рассказе*** молодого прозаика **Арсения Данилова «Зеленая ограда»** («Знамя», № 3) отца Сергия, мыслящего священника, сочиняющего статью о том, как ввести в ограду церкви одичавших современников, как духовно окормить молодежь, провоцируют и соблазняют девчонки-наркоманки, предъявляя ему то свои голые попы, то свои груди. Пересечение взаимно крайних двух начал...

В ***рассказе*** **Николая Евдокимова «Лиза-Елизавета, последняя жительница деревни Полянка»** («Знамя», № 3) на фоне сельского упадка и запустенья одинокая поселянка мечтает о любви и заводит ребенка от захожего мужичка. Трогательная история.

В ***рассказе*** **Кима Балкова «Федос Бесфамильный»** («Москва», № 2) выведен старикан, бывший милиционер, который по старой памяти и прочной привычке наводит порядок в райцентре. Получилось что-то среднее между анекдотом и очерком. В ***рассказе*** **«Солдат и солдатка»** представлена безотказная поселянка, наплодившая ребятишек от односельчан. «Почему ее зовут Солдаткой? Не знаю. Может, за душевную доброту? А может, за то, что она всех людей жалеет? На деревне не сразу, конечно, поняли Солдатку. Поутру иная из баб, вдруг обнаружив своего суженого в доме у Устиньи, закричит, заголосит, а то и в волосы вцепится Солдатке. Та молчит и тихонечко охает и терпеливо ждет, когда баба успокоится, а потом скажет, поправляя волосы: "Ну чего ты, в самом деле?.. Небось больно. А с его убудет, что ли, с мужика-то? Вон какой гладкий, вроде боровка". Но порою и другое скажет: "А чего ж ты сама-то не отыскала его? Когда б я не подобрала, и вовсе бы замерз, не дотащился бы до дому после гулянки. Кипяточком его напоила, отогрела... Зато и живой теперь. Зря только ругаешься". Я думаю, она была искренне убеждена, что делает для людей доброе дело, и всякий раз удивлялась: "Почему она напустилась на меня, скажите, пожалуйста. Разве я виновата? Потому и приняла, что жалко стало..."» Вот так-то. Ладная, умелая проза.

Смолянин **Владимир Новиков** — прозаик характерного сентиментально-дидактического кроя. В ***рассказе*** **«Боль сердечная»** («Наш современник», № 2) изобразил добропорядочного мужичка, который в одиночку бьется за справедливость. Украли с сельского кладбища надгробья на могилах его родных — и он ищет их по приемным пунктам, а найдя — заставляет алчных приемщиков тащить обратно на кладбище. Но сдало у ветерана сердце, умер он на этом пути.

В ***рассказах*** **Евгения Пепеляева** из Белоруссии («Новый мир», № 1) есть излом и странность. Простенькие истории о старшем лейтенанте Корнееве, о предпринимателе Троепольском просквожены ветерком абсурда. Предельного сгущения эта тенденция достигает в рассказе **«Никогда»** об ужасе смертной утраты.

Модный автор **Евгений Гришковец** в ***рассказе*** **«Погребение ангела»** («Знамя», № 2) живописал попытку похоронить собаку в городе. Форсированный драматизм при скудной подоплеке.

В ***рассказе*** **Дмитрия Крылова** из США **«Зверь»** («Новый мир», № 1) петербуржанка Лидия Ивановна поселила в одной из комнат своей квартиры на Васильевском острове барса, списанного из зоопарка. Пожалела, и теперь кормит. После ее смерти ее дочь пытается барса застрелить, но не может выдержать его взгляда и перенимает дело покойной матери. К чему Крылов рассказал такую историю? Может быть, к тому, что скучно ему в Америке, вдали от исторической родины. Сидит он там, как Лидии-Ивановнин барс, взаперти.

В ***рассказе*** псковитянина **Игоря Изборцева** **«Реки не замерзают»** («Наш современник», № 2) женщина из Ленинграда (sic!) Анна навещает своего духовного отца, сельского священника. Умилительно-ласкательная, церковно-дидактическая проза.

А вот **Михаил Дряшин** в ***заметках интуриста*** **«Иностранцев не любит никто»** («Урал», № 3), оказавшись на жительстве в Израиле, непредвзято, острым взглядом оценивает недостатки и достоинства тамошнего строя жизни. Есть мелочи, а есть и важные наблюдения без патетики. Редакцией оговорено, что автор по национальности русский.

В ***рассказах*** **Нины Горлановой** и **Вячеслава Букура** **«Соседи»** и **«Черный капитан»** («Октябрь», № 3) жизнь на сей раз кроится по логике абсурда. Новый поиск самого яркого в нашей современной словесности творческого дуэта.

***Монолог*** **Леонида Зорина** **«Он»** («Знамя», № 3) — исповедь героя, среднего провинциального литератора с богатым опытом рефлексии. Есть, впрочем, намеки на Чехова как на потенциального автора «монолога», едва ли оправданные хоть чем-то в целом.

***Повесть без вымысла*** **Юрия Лощица** **«Девочка, девушка, женщина»** («Наш современник», № 3) — дневникового стиля миниатюры о встречах автора с особями противоположного пола. Лощиц без затей любуется ими. Немало в повести и социальной дидактики.

***Повесть*** **Марии Рыбаковой** **«Слепая речь»** («Дружба народов», № 1) — история о слепой девушке Энкарнасьон и ее юном помощнике Тиме. Спиритуально-воздушный, латинско-католический мир. Гладкое, суховатое, элегантное письмо. Нет слов, мастерская вещица.

Незамысловатые на вид комические гротески представил на суд читателя прозаик из Германии **Александр Хургин** (***«Три рассказа»***: «Октябрь», № 3). Сбить женщину, застрять в лифте и оказаться ограбленным случайными спасителями, жить с пауком вместо женщины, общаться в браке только посредством классической музыки и т.п. Подспудная лейттема Хургина — одиночество как бытийный факт.

***Рассказы*** **Ивана Тертычного «Черная бабочка с белой оторочкой»** («Москва», № 2) — собрание баек об интимных связях в околохудожественной среде. Бойко, неглупо. Как бы с юмором.

***Повесть*** **Сергея Соловьева «Веретено»** («Дружба народов», № 2) — каталог поэтизированных впечатлений, из которых преимущественно и состоит жизнь номинального героя. Произвольно выхваченный пример: «Лев его звали. Но дома — Леня, с маленькой незаметной буквы. Жена его (первая, Рая, быстро сгорающей, как спирт, красоты) держала домашний салон для местной богемы. Он обычно стоял с ладонями за спиной, у камина, грея спину. Присутствие его замечали спустя год-другой. Рая говорила о нем в третьем лице. И замуж за него она вышла, в некотором роде, в третьем лице. Ее пылко утонченная душа подтолкнула себя увидеть в его отстраненно плывущем в сторону взгляде некую тайну очарованных далей или попросту, то есть по-женски щелкнуть пальцами у уха этого рано лысеющего пионера, раскачивавшегося на детских качелях, запрокидывая голову к небу, мимо цветастых танцующих юбок и их обладателей — двух цветущих сестер». Приятное чтение для эстетов.

**«Последний атеист»** молодого автора из Орска **Ивана Быкова** («Москва», № 1) — ученического уровня фантастическая ***«притча»***. «Гибель человечества произошла внезапно. Смерть пришла из недр самой Земли, из ее ядра. Кто знает, что там случилось в огненной глубине, но планета вспыхнула, как сухой порох, раскидав содержимое на тысячи километров в виде бесформенных глыб — пылающих молодых метеоритов. Мир рухнул, исчез в небытии, канул в лету. Ничто не смогло уцелеть в той катастрофе. Последней искрой жизни, единственным уцелевшим представителем земной цивилизации оставался астронавт, совершавший первый межпланетный полет к Марсу...»

***Рассказ*** **Александра Иличевского «Гладь»** («Новый мир», № 3) представляет собой запись визуальных наблюдений за какой-то приокской местностью с фиксацией разных здесь происшествий и со скупым пересказом мыслей случайно попавшихся под прицел персонажей. Примерно так:

«По стене ползет луч — спица небесного колеса.

Пятнышко света наползает на пришпиленную вырезку из журнала. Это портрет Гагарина, в шлеме. Пятнышко останавливается. Тает.

На исходе петли пылит по дороге автобус. До выезда на заброшенное шоссе еще шестнадцать километров.

Ранние сумерки.

Рабочий карьера лезет на стойку, включает четыре прожектора. Один направляет в сторону лощины, где стоят два заброшенных вагончика. Косой свет вдали выхватывает слабую тропинку».

Поток жизни, в котором все равно всему и нет никакого особенного смысла ни в чем. То ли это настоящая философия автора, то ли случайно так вышло.

ИСТОРИЯ, ИСТОРИИ. ***Фантазия*** **Владимира Фридкина «Старый Пушкин»** («Знамя», № 2) — игра воображения на тему «Пушкин выжил и дожил до глубокой старости». Ключевые эпизоды предполагаемой жизни. Фридкин предваряет этот свой постмодернистский текст уведомлением, что его соавтором по такой игре является покойный Натан Эйдельман, с которым у Фридкина однажды случился разговор на тему о случае в истории и о возможных исторических альтернативах. Впрочем, ссылка на Эйдельмана не спасает, текст получился не весьма интересным. Вероятно, это закономерно: то, что реально случилось, всегда важнее и существенней, чем всякого рода альтернативные версии.

***Очерк*** **Валентина Распутина «Транссиб»** («Наш современник», № 1) — добротная история строительства рельсовой дороги. Отдельно рассказано о Кругобайкалке — участке дороги, где она огибает озеро.

***Роман*** **Анатолия Азольского «Полковник Ростов»** («Дружба народов», № 1, 2) — военно-шпионский детектив, главным героем которого у писателя на сей раз становится не советский отщепенец, а офицер вермахта, прусский аристократ с примесью русской крови. Время действия — 1944 год. «...граф Гёц фон Ростов (мягкая светлая шляпа, чуть приспущенный галстук, коричневые ботинки на толстой подошве) полчаса нежился за двумя чашками кофе и свежей газетой, щедро заплатил, присовокупив к маркам продталон, с открытым пренебрежением принятый официанткой; высадка тех, кого мировая пресса, полковником читаемая в штабе, называла “союзниками”, сдула с бельгийцев флер почтительного невнимания к немцам, и люди оккупированной страны наглели с каждым часом»... Умный скептик на крутом историческом вираже, подготовка покушения на Гитлера, обернувшаяся неудачей. Уже соотнесли эту вещь с романом Азольского «Кровь»; есть основания.

«Наш современник» продолжает публиковать ***роман*** недавно умершего **Владимира Богомолова «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»** (№ 1 , начало в № 10 — 12 за 2005 г.). Большей частью роман состоит из документов (приказов, шифрограмм, донесений...), скорей всего, подлинных, в которых фиксируется состояние советских войск в 1945 году, после завершения войны. Немало живописно-драматических подробностей, есть и анекдотические.

В «Октябре» (№ 1, 2) опубликован ***роман*** **Василия Аксенова «Москва-Ква-Ква»** (с подзаголовком ***«Сцены 50-х годов»***). Труды и любови поэта Смельчакова. Московские стиляги. Сталин и Тито. Высотный дом на Котельнической набережной как приют и каторга. Мифологические ассоциации. Реальность, незатруднительно перерастающая в фантазм, в беспочвенную игру шаловливого воображения. Вещь явно несерьезная. Это легкое, артистическое попурри с привкусом ностальгии по тревожной, беспорочно-порочной молодости.

***Роман*** **Анатолия Наймана «О статуях и людях»** («Октябрь», № 3) задуман, кажется, как реализация метафоры: живые молодые люди (художники, ваятели) превращаются к старости в законченные гипсы. Человек создает из себя статую. Неважно даже, какую. Тем более, что к финалу в романе наступает хаос и в силу вступают фантастические мотивации футурологического, алармистского свойства, слегка похожие на абсурдные гротески

Уэльбека. Автору видится время, когда Земля начнет жить наново и материально, и поколения завладевших ею клонов будут поочередно отправляться в специальные хранилища — «чтобы служить звеньями расшифровывающей цепочки: каждое новое поколение понимало язык лишь предыдущего». Знающие читатели находят у Наймана намеки и угадывают прототипов, обвиняя автора в злоязычии. Ехидный В. Топоров пишет: «...все те же ахматовские сироты, общим числом в четыре с половиной штуки, предстают на сей раз не стихотворцами, а почему-то скульпторами. И в антураже мастерских разыгрывают все ту же пьесу — со Сталиным, с Ахматовой, со взаимными предательствами, перекрестным пересыпом и чуть ли не всеобщим доносительством. А потом, на старости, все, кроме Наймана, оказываются у разбитого корыта».

В ***рассказе*** шестидесятника **Анатолия Гладилина «Улица генералов»** («Октябрь», № 2) создается околомемуарная композиция на темы молодости, любви и армии. Занятно и грустновато, в духе лучших традиций исповедальной прозы 60-х годов.

В «Октябре» (№ 3) публикуется ***автобиографическая***, по всей видимости, ***проза*** **Николая Климонтовича «Последние назидания»**. Автор в иронической, игровой манере рассказывает о взрослении своего героя Николая, книжного мальчика. Это, по словам автора, «третья попытка» рассказать о детстве. Ранее были «Фотографирование и прочие игры», затем «Дорога в Рим». Чувствительные дамы-воспитательницы, гувернантка-логопед, нянька-прачка, сугубо пролетарский двор, на десерт — советская коммуналка. «...Из меня вылупился советский мальчик, гордящийся тем, что его приняли в пионеры». Стоит особо отметить историю о том, как автомеханик Михайлов вселялся в новую квартиру. Михайлов придушен семьей, попивает, любит одних лишь рыбок. И в критический момент наотрез отказывается переезжать из коммуналки в отдельную квартиру. «Скорее всего, он боялся, как последней беды, остаться со своей семьей наедине, его страшило будущее: ведь он никогда не жил сам по себе, но только среди людей. ...История эта закончилась трагически: автомеханик Михайлов повесился уже через месяц жизни в своей новой однокомнатной квартире».

**Чингиз Абдуллаев** в ***рассказе*** **«История одной свадьбы»** («Дружба народов», № 3) повествует о дворовом бакинском братстве 40-х годов, предлагая вспомнить о былом Баку — приморском космополисе. «Вы никогда не приезжали в Баку в середине прошлого века? Значит, вы не могли почувствовать атмосферу вечного карнавала, которая царила в этом южном городе. Самые красивые женщины были известны по именам, и каждый их проход по городу вызывал изумление и восторг у местных жителей. В любой компании, собравшейся в бакинском доме, можно было найти представителей разных народов, говоривших на особом бакинском диалекте русского языка с вкраплениями азербайджанских слов. Причем у всех был одинаковый южный акцент, азербайджанцы, грузины, армяне, русские, евреи, лезгины, татары говорили на одном языке, и зачастую их трудно было отличить друг от друга. Распахивались окна, и отовсюду доносились звонкие женские голоса. А какие «пижоны» ходили по Торговой! Самые лучшие нейлоновые рубашки и чулки, самые разноцветные водолазки, самые немыслимые сумки появля-

лись в Баку не позже, чем в других крупных городах Европы. Здесь любили жизнь и умели ею наслаждаться <...> В огромной стране, занимавшей шестую часть суши, было только два таких южных города, где солнце, море, смех, вино, музыка, очаровательные женщины, красивые мужчины перемешивались друг с другом, создавая особую и неповторимую полифоничность».

**«Опасная женщина» Исая Давыдова** в «Урале» (№ 3) — ***рассказ*** об однажды встреченной повествователем в глухом сибирском краю умной, тонкой, благородной женщине. Крутой излом советской судьбы.

В «Знамени» (№ 1) опубликован **«Боковой Гитлер»** — текст **Дмитрия А. Пригова** с подзаголовком ***«Правдивое повествование»***. Неглупая анекдотического свойства история о художественной среде позднесоветского времени, о людях, склонных к бунту — но исподтишка, к невнятному конформизму. Не без фантасмагории: в мастерскую к герою является Гитлер со своей свитой. Гости превращаются в хвостатых чудовищ и пожирают хозяина мастерской... Здесь Пригов, не останавливаясь в своей выдумке, объявляет, что случившееся — фантазия, видение. Впечатление от фантазмов не сказать, чтоб было велико.

В ***повести*** новосибирца **Василия Дворцова «Ангел Ангелина»** («Москва», № 1) вчерашний школьник Макс попадает в артель, которая ремонтирует православный храм в Молдавии, влюбляется, получает уроки жизни, становится жертвой местного колдовства, пишет икону... Время действия — закатные годы СССР. История незамысловатая, но красивая.

В ***повести*** **Игоря Одинокова «Наблюдательная палата»** («Урал», № 3) герой — лейтенант-двухгодичник Казанцев — не в силах вынести абсурдов армейской лямки, входит в конфронтацию с прочими офицерами части и попадает в психушку. Детальный, жестковатый рассказ на грани физиологического очерка. Время действия — 80-е годы.

Бывший предсовмина **Николай Рыжков** продолжает раскрывать подоплеки распада СССР в ***мемуарах*** **«Разрушители державы»** («Наш современник», № 1, 2). В «недрах партии» находит он измену. Горбачев, Лигачев и прочие былые соратники обвинены в том, что не слушались мудрых советов Рыжкова, продвигали Ельцина, которому и предъявлен самый большой счет. Не по нраву Рыжкову и Верховный Совет СССР последнего состава: присвоил себе функции исполнительной власти... Часто автор прибегает к дидактике. Ахает, охает, плачется горько. В целом воспоминания Рыжкова обличают в нем, увы, фигуру довольно мелкую в глобальной исторической ретроспективе. Боль его за державу имела бы больше значимости, если б автор глубже вник в смысл и ход истории, а не просто искал и ругал врагов.

ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ И ХУДОЖНИКОВ, ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА О ЛЮДЯХ ИСКУССТВА. ***Монороман*** поэта **Инны Лиснянской «Хвастунья»** («Знамя», № 1, 2) — интересная попытка автобиографии. События жизни («...забыв и забывая все прочитанное, я дотошно, почти до мельчайших подробностей помнила и помню разные события жизни»). Трудная, драматичная, достойная жизнь. Трезвый, юмористический взгляд на себя и мир. Занятные подробности народной жизни, писательский быт. Баку, Москва, Переделкино, психушка, Комарово. Главный роман жизни — с Семеном Липкиным. Центральное событие — история с «Метрополем».

**«Пятьдесят лет в раю» Руслана Киреева** («Знамя», № 3) — самоотчет известного прозаика в разделе «non fiction» — о своем пути в литературу с небольшими портретными этюдами, посвященными товарищам автора по ремеслу: Борису Балтеру, Николаю Рубцову, И. Грековой, Михаилу Светлову и др. Рай — это русская литература, в которой без малого полвека трудится автор.

**«Столешница столетья» Станислава Золотцева** («Наш современник», № 2) — живописный ***очерк*** о скульпторе Сергее Коненкове. Рассказывает о нем другой мастер, добрый знакомый повествователя, Лаврентьич.

В «Дружбе народов» (№ 3) опубликован фрагмент книги ***мемуаров*** **Чингиза Гусейнова «Лета к воспоминаньям клонят»**: детство в Баку, молодые годы в Москве. Середина XX века. Хорошая память, много подробностей, имен, фактов, деталей.

В «Знамени» (№ 1) напечатаны ***воспоминания*** театрального художника **Сергея Бархина «Осколки радуги»** — о детстве, о юности. От 40-х годов к нашему времени. Детали, моменты.

**Станислав Куняев** продолжает публиковать в своем журнале памятник былой дружбы — свою комментированную переписку с покойной поэтессой и критиком **Татьяной Глушковой** (**«Черные розы Гефсиманского сада»** — «Наш современник», № 1; начало в № 12 за 2005 г.). Обращает на себя внимание кухонно-панибратский стиль доверительного обмена. Глушкова дает своим близким клички и в соответствии с ними выстраивает целую шутейную мифологию. Две литературные партии у нее — вепсы и еноты (очевидно, «русские» и «евреи»), причем сама Глушкова, конечно, яростная антиенотка. Интимный собеседник Куняев — «Волк-Волчище, Серый Хвостище, Лапа Когтистая, Пасть Зубастая, Глаза Узкие, Вой — Громкий, Шерсть — Зимняя и пр.». А вот поэт Шкляревский, например, — «Мусорный», О.Михайлов — «Чучело». Это придает текстам привкус то ли блатняка, то ли детской, инфантильной игры — шифрования быта. Много в письмах Глушковой сказано о неприглядном моральном облике поэта Межирова (кличка «Лангуста»), который был, кажется, на тот момент ее то ли другом, то ли мужем... Неуживчива была Глушкова, авантюристична, даже и вздорна. Могла кого угодно пнуть, из самых святых икон квазипатриотической тусовки: и Кожинова, и Бондарева. В куняевском журнале нашла «просионизм» и «прогитлеризм». Куняев признается, что дружба с Глушковой все больше тяготила его, и он вздохнул свободно, когда случился разрыв. Дело закончилось скандальными разборками «в патриотическом мире». Слишком много все-таки в этом тексте мелко-суетного, скучно.

Там же, в № 2 «Нашего современника», поэт из Галича Виктор Лапшин благоговейно публикует ***письма*** к нему покойного поэта **Юрия Кузнецова** (**«Человеческий лик»**). Это скорей не письма, а записки делового, как правило, характера. Кузнецов старался помочь Лапшину из Москвы.

**«Премия "Мрамор"» Олега Дозморова** («Знамя», № 2) — ***воспоминания*** друга, главный герой которых — уральский поэт Борис Рыжий. Отчасти исповедь. Интересный, умный текст.

*Обзор подготовил Евгений Ермолин*

## В. «Звезда», «Нева»

Явный гвоздь питерской журнальной программы — обширный ***роман*** **Игоря Ефимова «Неверная. Ее дневник и письма»** («Нева», № 2, 3). Не забывает успешный американский прозаик, он же философ и издатель, город своей далекой юности... Роман любопытен и не слишком похож на то, что Ефимов писал прежде. Нынешний его роман простирается преимущественно не вглубь, а вширь, так сказать, по горизонтали. И героиня его — не столько даже молодая женщина, носящая явно литературную фамилию Денисьева и не мыслящая ни единого дня своей жизни без любви, сколько сама по себе Любовь. Любовь, как изображена она в этом романе, — несомненно живой, одушевленный предмет, нечто прекрасное само по себе, *сама себе моральная оценка*. Героиня романа — она ведь в общем-то, сказал бы любой, вчерне ознакомившийся с канвой ее жизни, — дама легкомысленная. Определение «неверная» — это как раз о ней. Она и до брака своего не отличалась особым благонравием, да и позже, выйдя замуж и уехав в Америку, отнюдь не стала образцом преданности. Так-то оно так, да не совсем. История ее включена в обширное, поистине безмерное пространство любви, любви трагической, счастливой, разрушительной, созидательной, бесконечной. Эта, по обывательской классификации, «неверная» женщина буквально пропитана любовью: и своей собственной — к мужу, сыну, матери, старшему другу, любовнику — и чужой, но не ушедшей из мирового пространства, которую она чувствует так же остро, как свою. Ее бурные пространные письма к умершим писателям, их женам и любовницам (в числе их — и Тютчев, и Денисьева, и Авдотья Панаева, и Тургенев, и Герцен, и Наталья Александровна, и Лиля Брик, и Маяковский), а также к людям полувымышленным, вроде Мити Блока, младенцем скончавшегося сына Любови Дмитриевны, — суть ее мир, не менее реальный, чем тот, в котором она живет наяву. Собственно, то, что она пишет, — это не письма, а увлекательные рассказы. Она, Светлана Денисьева, и по профессии литературовед, а значит, никуда, никак ей не уйти ни от писательских судеб, ни от писательских строк. Она любит саму Любовь, причем настолько, что даже тогда, когда ее добродетельный супруг влюбился в юную студентку, не думает ни ревновать, ни отчаиваться. «Неисправимая извращенка, клейменая нарушительница многих табу — я *любовалась* обоими. Их свечка горела так ярко, так искренне, так неосторожно». Роман, сюжет которого как бы ходит по острому краешку, нигде тем не менее не срывается в обывательщину, в житейскую трясину. Он, напротив, обыденность поднимает — до уровня высоких человеческих чувств, душевной щедрости и широты. Вот такой в чем-то неожиданный, увлекательный, необычный роман.

Интересную и живописную прозу под заглавием **«У мирного порога моего»** представляет поэтесса и филолог **Елена Тахо-Годи** («Звезда», № 3). Это два ***рассказа***, связанных и героями, и общей лирической темой — поэтического рождения и убывания любви, а затем нового рождения новой любви. Героиня их — девочка, потом совсем молоденькая девушка родом из старой, глубоко интеллигентной семьи, издавна жившей во Владикавказе. Великолепно передан глубоко поэтичный мир этой семьи, всего этого дома со старыми фотографиями на стенах, с рассказами о прошлых временах, еще до

гибели в 1937-м деда, Алибека Тахо-Годи, чью фотографию внучка видит в школьном музее среди портретов выпускников 1912 года. «Я любила рассматривать эти домашние старые фотографии, слушать рассказы о том, как жили раньше, до гибели деда и до революции, когда был царь и в лавочке старика-перса, находившейся на нашей же улице, но только не в ту сторону, где школа, а туда, в сторону гор, на углу следующего квартала, можно было за четверть копейки купить такую игрушку, которая на вид совсем как обычная бумажка, а бросишь ее в простую холодную воду — и она вдруг превращается или в цветок, или в лебедя, или еще во что-нибудь». Рассказ **«Слепые»** — о горячей детской привязанности к несчастным щенкам и котятам, обреченным на гибель. «И я вижу маленького щенка, белолобого, с черными мягкими вислыми ушками, с розовыми полосками слипшихся век, с такими же розовым носом и лапками, которыми он обнимает лежащего там, под ним, уже утонувшего брата, а может быть, сестру». Рассказ **«Дурак»** — о непонятной, глубокой и безответной любви 36-летнего философа, знатока Гегеля, к 18-летней девочке, которая, хоть ее убей, не может его полюбить. Ведь есть у него жена (как это он на ней *случайно* женился? Может ли такое быть?), две дочери. Эта любовь между тем стала воистину роковой — причиной и его не сложившейся жизни, и нелепой гибели. Удивительно тонкая, поэтичная проза.

«Звезда» № 2 печатает ***повесть*** **Евгения Каминского «Чужая игра».** Читая ее, никак не можешь избавиться от ощущения, что автор изо всех сил тужится сказать что-то важное поверх довольно банального сюжета, да ничего у него не выходит. Одна высокопарность и ложная многозначительность. Какая-то дальняя земля, пустынный, почти безлюдный остров на краю России. Два старых друга, бывших одноклассника, в судьбах которых просматривается нечто древнефольклорное: у бедного, но честного (по профессии геолога) любящая жена и дочь, у богатого, но малость бесчестного (бизнесмена) — ни жены, ни детей. Правда, по ходу дела выясняется, что на самом деле девочка («Девчонка», как она названа в повести) — дочь не бедного, а богатого, когда-то обольстившего приглянувшуюся ему женщину, но это ничего не меняет. Богатый настолько черств, что ни единой копейкой не помогает былому другу, когда Девчонка, его же собственная дочь, смертельно заболевает. На бедняка же горести сыплются одна за другой. Следом за дочерью умирает и жена. Какие-то возвышенные, но непонятные мотивы толкают осиротелого человека похоронить дорогих ему женщин на свалке, где обитает дурачок-блаженный. Естественно, что непросто в такой ситуации придумать что-то способное удовлетворить читательское недоумение. Эта история обильно приправлена многозначительными размышлениями о свободе, примирении с Богом, утрате человеком самого себя и т.п.

В довольно слабой ***повести*** **Ирины Волковой-Китаиной «Задумка веретенщика»** («Нева», № 3) выведен легкомысленный герой-простачок, на которого внезапно сваливаются огромные деньги. История эта — не без назидательности. Герой абсолютно ничем своего богатства не заслужил: глуп, хвастлив, нерасчетлив. Просто в какой-то момент ему повезло — добрый знакомец взял его в компаньоны по созданию гигантской энциклопедии «Триумфаторы мира». Ловкач-составитель придумал впихивать в нее, помимо знаменитостей, всех, кто выложит 800 долларов за счастье увидеть себя в компании с

Львом Толстым и Эйнштейном. Финал истории ясен с первых страниц. Простачок остается с носом, будучи обворован пройдошливой любовницей.

**Лита Дагина** свою ***повесть*** **«Люди Магриба»** с подзаголовком ***«Тунисская любовная история в стиле телесериалов»*** («Нева», № 1) строит на материале экзотическом. Действие ее происходит в Тунисе (где, кстати, живет автор), среди тамошней молодежи, тоже, как и повсюду, ищущей возможности подзаработать. Самым интересным в повести оказывается момент этнографический — жизнь и быт юных «марсиан» (то есть жителей городка Ла-Марс, пригорода Туниса), с их воскресными базарами, гашишем, шумными кафе и особой любовью к русским невестам, ибо молодые «марсиане», не различающие европейский Запад и европейский Восток, убеждены, что россиянки богаты и смогут содержать мужа вместе со всей его многочисленной родней. Сюжета как такового в повести нет, заменить его призвано довольно нудное описание затянувшейся размолвки героини с ее арабским «боем».

Два маленьких ***рассказа*** публикует некто **Бушмакина** (так обозначен псевдоним). **«Средство связи»** — экзаменационная история, приключившаяся с двумя старшеклассницами и свидетельствующая о недавнем школьном прошлом автора. **«Я такая, он такой»** — о том, как у автора стащил кошелек какой-то якобы слепой старик, которому девушка хотела помочь.

Живописная ***повесть в рассказах*** **Марка Гиршина «Ураган "Габриэл"»** («Нева», № 2) тоже рисует по преимуществу быт, — на этот раз еврейской общины в Нью-Йорке. Любопытные эпизоды эмигрантской жизни, ураган на побережье Атлантики, встречи с былыми знакомцами... Где-то, мучительно размышляет автор, он видел эти вещи, обступившие его в трифтшопе (нечто вроде нашего секонд-хенда), почему-то он уверен, что привык к ним с детства. Но детство-то протекало в Одессе в годы первой пятилетки! А-а, вот в чем дело. «Тогда в каждом кинотеатре показывали голливудские фильмы, днем десять копеек билет. Дети бегали в кино так же часто, как на пляж. Я тоже. Вот оттуда».

В «Звезде» № 1 **Фигль-Мигль** представляет два изящных, утонченных ***рассказа***, отмеченных усталой и грустной интонацией. То ли известный питерский псевдоним утомился сам от себя, то ли жизнь грустнеет с каждым днем. Рассказ **«Резкие движения»** — внутренний монолог злоязыкого путешественника, который от всего встреченного им на пути испытывает ноющую, глухую тоску. Тем не менее — острый взгляд, меткое слово, внутреннее изящество. Рассказ **«И тогда старушка закричала»** — об отношениях немощной и никому не нужной старушки с Историей, Философией, Моралью и Психологией, которые сидят в кабаке напротив ее дома, выпивают и обсуждают мировые проблемы. Мешает восприятию рассказов разве что любование автора собой, собственным умом и наблюдательностью.

По традиции, первый номер «Невы» отдан молодым. Но выделить из россыпи представленных здесь материалов хочется совсем небольшой ***рассказ*** студентки Литературного института **Иветты Шаныгиной «Царская милость»** («Нева», № 1). Обычная молоденькая девчонка, выскочившая замуж за «обеспеченного», по любви, нет ли — не поймешь. А сейчас вокруг нее — пустота. Ни любви, ни привязанности к мужу, сильно попивающему хаму, ни специальности, ни жалости от родных. «В детстве хорошо было, пожалуешься взрослым — тебя пожалеют. А теперь только говорят: "Терпи!"»

В объемистом **«Психологическом блюзе» Натальи Михайловой**, петербургской школьницы выпускного класса («Нева», № 1), представлена жизнь юных, с постоянными нервными подвижками из богатства в нищету и обратно. Наркотики как привычная составляющая быта. Самоубийства, рок-музыка, ощущение ненужности никого и никому, собственная старость, увиденная из юности, «хиппизм». «У нас не было основ, у нас не было корней, не было фундамента и не было почвы, по которой мы могли бы двигаться дальше».

**Анна Сапегина** публикует ***рассказы*** с назидательной начинкой. **«Моя старушка»** («Нева», № 1) — об уважаемой соседями пожилой даме, которая почему-то злобно наговаривает всякие гадости про свою невестку, жену тяжелобольного сына. А невестка-то на самом деле — скромница и умница. В **«Школе жизни»** выведена ситуация, напоминающая «В родном углу» Чехова. Мечущаяся романтическая девушка «на выданье», родня, озабоченная ее затянувшимся девичеством, некий мещанистый тип, которого они ей подыскали. Финал: «И его широкая, короткопалая, поросшая редкими рыжими волосами рука мягко и неотвратимо легла на узкую Любину ладонь».

Героиня ***рассказа*** американки **Ольги Гренец «Город»** («Нева», № 1) — молодая американская писательница, на которую со всех сторон обрушиваются разнообразные сюжеты. Рассказ **«Письменный стол»** — изящная зарисовка городских событий, которые могли бы произойти. Герой рассказа **«Тим»** — средних лет человек, безуспешно борющийся со своей невероятной любовью к чизбургерам. В рассказе **«Забор»** старик неустанно перекрашивает собственный забор в разные цвета, как постоянно приказывает ему его покойная жена. Героиня **«Занавеса»** — 93-летняя дама, в последние минуты жизни вспоминающая себя 13-летней, рядом с прекрасным голубоглазым мальчиком.

***Рассказ*** **Эдгара Ладиславичюса «Чертов мост»** («Нева», № 1) — шутливые истории-страшилки, связанные с постройкой «чертова моста», переброшенного через ущелье в какой-то, написано у автора, Горной Республики во времена Средневековья.

В «Звезде» № 1 печатаются два изящных ***рассказа*** **Натальи Толстой**. Почтенных лет матрона, героиня **«Невесты»**, мечтает о замужестве с богатым шведом (жених уже намечен) и учит шведский язык. Но, увы, чересчур она поторопилась со своим кавалерийским наскоком, спугнув престарелого джентльмена. Однако она не унывает и полна сил. В рассказе **«Письма из Москвы»** приводятся любопытные отрывки из писем умершей сестры автора. Как-то однажды, написано в рассказе, приехала в Москву их дальняя родственница из Парижа. И насколько же трудно оказалось втолковать ей самые обычные российские вещи. Она, например, никак не могла понять, почему старушка с корзиной грибов не может обратиться в аптеку за справкой, какие грибы из корзинки съедобные, а какие ядовитые. А вдруг старая дама, предположила француженка, съев, не дай Господи, поганку, умрет? «Так ведь все только обрадуются, Олечка! — объясняет ей россиянка. — Жилплощадь освободится». «Ольга, потрясенная моим цинизмом, умолкла, вскоре распрощалась и ушла из парка — переживать. А пусть знает, как живут старые дамы в свободной России».

В ***рассказе*** **Дмитрия Тарасова «Мельница лет»** («Нева», № 2) перед читателем оживает финал перестройки. 1991 год. Старое предприятие, где ра-

ботал инженер Кох, развалилось. На обломках его собираются устроить совместное российско-германское производство. Всеобщий страх: кого оставят на работе, кого — на улицу. Коху везет: директор будущего предприятия — его однофамилец. Но, увы, и в новых условиях порядки остаются прежними. Подвыпившего беднягу, возомнившего себя вторым Кохом, вышвыривают из компании немцев, как обыкновенного забулдыгу.

В ***рассказе*** **Ирины Чайковской «Мечта о крыжовнике»** («Звезда», № 2) разговор ведется от лица старого итальянца, врача. Обычные житейские заботы, тревога за выросших детей, у которых все не ладится. И — мечта о крыжовнике, том самом, чеховском, которого в Италии нет, но который непременно вырастет когда-нибудь в их саду.

**Анатолий Бузулукский** в «Звезде» № 1 делится шутливыми **«Посланиями к президенту»**, написанными в конце ушедшего столетия и, стало быть, обращенными к Ельцину. Теща моя, пишет автор, голосовала за Вас отнюдь не сердцем, а исключительно рассудком. Каковой подсказал ей, что только Вы, господин президент, сможете отдать ей хоть дохлую часть ее сгинувших сбережений, потому что с того, кто придет после Вас, вообще уже ничего не спросишь.

О некоем городе, как живом, но фантастическом существе повествует **Сухбат Афлатуни** в ***рассказе*** **«Барокко»** («Звезда», № 3). Этот город, не имеющий отражения в озере, требует себе дикарских жертвоприношений, как божество. Он и манит, и заманивает, и вдохновляет, и убивает.

Посмотрим теперь на ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ ПРОЗУ. Это, прежде всего, ***документальная повесть*** кинорежиссера и журналиста **Игоря Николаева «Генерал»** («Звезда», № 2). Рассказывается в ней о трагической жизни командарма, Героя Советского Союза генерал-полковника Александра Горбатова, выходца из наибеднейшего крестьянства. В его родной семье было десятеро детей. Только благодаря исключительному упорству и таланту он, кавалерист, гусар, служивший под командованием великого князя Николая Николаевича, сделал в советское время фантастическую по любым меркам карьеру. Впрочем, недолгую. В 30-е он разделил участь большинства талантливых военачальников той поры. Но он ни в чем не сознался даже под жесточайшими пытками, — да и в чем ему было сознаваться? Военная коллегия учла мужество боевого командира, дав ему 15 лет заключения и 5 — поражения в правах. С Колымы его, полуживого, вытащили после того, как выяснилось, что одной из дивизий в родной Красной Армии командует... старший лейтенант. Но сталинский урок не пошел Горбатову впрок. Даже в присутствии Тимошенко и Хрущева он не побоялся бросить в лицо генералу Москаленко: «Бесструнная балалайка — позор Красной Армии!» А в военные годы, пишет автор, красноармейцы называли командующего 3-й Армией генерал-полковника Горбатова Батей. Такое надо заслужить.

Драматический актер, поэт, прозаик **Владимир Рецептер** в ***документальной повести*** **«Булгаковиада»** («Звезда», № 1) продолжает цикл воспоминаний о знаменитом ленинградском БДТ, где служил много лет, и о театральной жизни. Часть воспоминаний посвящена М. Булгакову, в частности, истории вокруг постановки булгаковского «Мольера», предполагавшейся в 1931 году. В. Рецептер приводит отрывок из протокола заседания художественно-по-

литического совета театра, в котором записано: «"Мольер" Булгакова ни в какой мере не показывает даже Мольера как борца, бичующего в своих сатирических произведениях ханжествующий клерикализм». Герои других рассказов Рецептера — Е. Копелян, С. Юрский, М. Призван-Соколова, Н. Монахов, О. Басилашвили и др.

**Борис Носик** в «Звезде» № 1 публикует увлекательный ***рассказ*** под заглавием **«Милые сибирские подробности на бульваре Рошешуар»**. Говорится в нем о том, как современная русская женщина на излете советской власти совершенно неисповедимыми путями оказалась во Франции. Самое интересное, что помог ей это сделать... Ленин. Да как же так? А вот как. В московском музее Ленина, куда несчастную женщину привели ее измученные после беготни по магазинам ноги, в этот день показывали для иностранцев фильм о бессмертном Ильиче. Во время демонстрации его она и познакомилась со старушкой, которая сосватала ей своего овдовевшего парижского коллегу. Замечательны сведения о ленинском житье-бытье, которыми делится с автором его героиня, ставшая француженкой, сильно продвинутая в истории вождя, поскольку прежде работала экскурсоводом в Шушенском. «Надежда Константиновна пишет, — сообщила Алевтина академическим тоном, — что Ильич любил простые волжские продукты — икру, балык, семгу. И что у них обоих были "большие поедательные способности"».

В «Неве» № 2 печатаются **«Воспоминания»** художника Серебряного века **Александра Арнштама**. Это был, пишет в предисловии искусствовед Михаил Герман, художник-интеллектуал, обладавший огромной эрудицией, типичный интеллигент начала века. Поначалу революцию принявший, он, после девятимесячной отсидки в тюрьме, эмигрировал в Берлин, потом во Францию. Воспоминания Арнштама относятся ко времени его пребывания в Бутырской тюрьме вместе с другими политзаключенными.

Крайне тягостное впечатление оставляют ***записки*** Александра Запесоцкого, ректора Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, озаглавленные **«Анатолий Собчак: Жизнь по ошибке»** с подзаголовком ***«Обаятельный злодей (революция на марше)»***. Писания в высшей степени лицемерные. Автор вроде бы соблюдает ученую объективность — не придерешься: питерский профессор и мэр — человек, написано в очерке, и обаятельный, и образованный, и умный, и импозантный, к тому же великолепно владеющий словом. Но насколько же отчетливо просвечивает сквозь эти слова подлинное отношение Запесоцкого к Собчаку! Тут обвинения и в развале страны, и в невнимании к людям, и в нагнетании «антикоммунистической риторики», и в особой неприязни к ветеранам, и в разрушении отечественной науки, промышленности, системы безопасности. «Я мечтал, — пишет Запесоцкий, — в один прекрасный день увидеть на скамье подсудимых как минимум четырех человек: Горбачева, Ельцина, Попова и Собчака». Куда милее автору другие персонажи. Он рассказывает, как пригласил на встречу со студентами Г. Зюганова, А. Лукьянова и лидера петербургских коммунистов Ю. Белова — с тем, чтобы студенты могли познакомиться с крупными личностями и с большевистскими идеями из первоисточника. Гораздо осмотрительней, на мой взгляд, было дать вчерашним школьникам спички и пригласить их поиграть на пороховом складе.

*Обзор подготовила Евгения Щеглова*

Сергей ЛЕБЕДЕВ

# РЕАЛЬНОСТИ РЕАЛИЗМА

## Статья вторая[1]

Продолжая разговор о кризисе в российском изобразительном искусстве в целом и художественном образовании в частности, мы на этот раз обратимся к ***изобразительному языку реализма***, к проблеме его профессионального развития и бытования на современном этапе.

### 1. «Формализм» и «реализм»

Для истории советского изобразительного искусства, чью культурную традицию мы сегодня исторически наследуем, актуальной неизменно оставалась тема «беспощадной *борьбы с формализмом*», которая автоматически понималась как борьба *за реализм*. Однако формализм и соцреализм — вовсе не противоположны друг другу. Формализм есть не что иное как некоторое нарушение, смещение ценностного соотношения между двумя планами единого образа — формой и содержанием. В нормальной ситуации форма служит выражению содержания, ради которого она и создана. В случае же формализма форма выходит из этого своего «подчиненного» положения, заявляет о собственной самоценности и стремится захватить первый план в восприятии (а, надо заметить, такая «распоясавшаяся» форма может быть вполне жизнеподобной — вполне «реалистической»). Аналогом формализма в каком-то смысле может служить фарисейство в деле веры, о котором говорится в Новом Завете.

[1] Печатается в дискуссионном порядке. Первая статья из цикла «Реальности реализма», где речь шла о проблеме встроенности отечественного искусства в социальную систему современного российского общества, опубликована в «Континенте», № 124 (2005. № 2).

**Сергей ЛЕБЕДЕВ** — родился в 1949 г. в Загорске (ныне Сергиев Посад) Московской области. Окончил МГХПУ им. С.Г. Строганова, где в 1976–1991 гг. работал старшим преподавателем кафедры академического рисунка. С 1989 г. — организатор и директор Арт-ассоциации «Московский двор», в 1994–1995 гг. — арт-директор Аукционного дома «Альфа-Арт». Член Союза художников России, руководитель многих художественных проектов, в том числе семинаров по русскому искусству в Нидерландах, программы «Россия — Голландия, культурный обмен», «Российской художественной выставки» в Китае (2000–2002). С 2002 г. — руководитель мастерской изобразительного искусства факультета искусства МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор ряда статей в российской прессе по проблемам арт-рынка. Живет в Москве.

Стоит ли говорить, что под определение непонятных, уродливых и ничего не значащих «формалистических» явлений в искусстве на практике часто попадали формы в действительности значимые: просто их содержание было не по зубам советским теоретикам искусства. Ведь точно так же и иностранная речь может показаться чистым формализмом тому, кто никогда не обучался языкам.

Характерно, что опасность формализма в изобразительном искусстве мыслилась советскими теоретиками только как угроза со стороны. Формализм понимался в виде внешнего недоброго посягательства, этакой попытки сбить с верного пути наших художников, обессмыслить наши идеалы и те жизненные понятия, посредством которых мы каждодневно и победоносно воспринимали истинность собственного бытия, были прочно связаны с окружающей действительностью.

Подобную устойчивую «бесспорность и ясность» реалистической концепции советское искусство обрело к началу 30-х годов. Уже с 1927 года государство стало устранять с культурного советского поля всех оппонентов АХРРа[2]. Началось яростное осуждение всего того, что не соответствовало простой, ясной и — что было особенно важным — общедоступной АХРРовской концепции реализма: художник должен возможно точнее изображать окружающую действительность так, как он ее видит. И если в первое послереволюционное десятилетие можно было наблюдать развитие российского искусствознания как науки, изучающей природу изобразительного образа в едином с Европой контексте научных задач и философских поисков, то с 1927 года о таком единстве говорить невозможно. Под определение «формалистических», «вредных», т.е. «вражеских» попали все отечественные художественные направления, творческие группы и объединения, отдельные художники, не успевшие вступить в АХРР; был закрыт Музей новой западной живописи, разогнана Государственная академия художественных наук и т.п. Главенствующее положение в области советского станкового искусства заняла тематическая, жанровая картина. Все западное стало пониматься как *формалистическое*, а позже *модернистическое*. Считалось, что свои произведения заграничные художники создают для того, чтобы отвлечь пролетариат своих стран от понимания социальной несправедливости, на которой основывалась власть буржуазии, чтобы запутать сознание порабощенных народов. Поэтому-то в западном искусстве процветали плоды извращенного восприятия, буржуазные художники изображали искаженную реальность. У них, по большей части, все было криво, косо и зачастую совершенно непонятно. Так что реалистическое искусство от формализма мог отличить любой советский человек: достаточно было просто сравнить изображенное на картине с тем, что ты видишь вокруг себя. К слову сказать, точно такой же критерий реальности применялся не только к искусству, но и к науке, позволяя с легкостью выявить «врагов» и революции, и народа. В СССР ложь кибернетиков, генетиков или семиотиков без труда мог подтвердить любой здравомыслящий человек, причем не выходя из кухни.

Таков был общий климат АХРРовской культурной революции: социальный выбор между правильным и простым был сделан в пользу простого. Осуждались целые творческие направления, целые отрасли, где художники экспериментировали с изобразительной формой и где в ту пору формировались современные, созвучные революционной эпохе творческие методы. Принципы культурного отбора, ставшие государственными, лежали в прокрустовом русле вульгарного мате-

[2] АХРР — Ассоциация художников революционной России (1922 — 1932).

риализма: уничтожалось все, что было чуждо простой формуле «материя первична, а сознание вторично». Начиналась грандиозная война формы с содержанием.

Поскольку опасность формализма мыслилась грозящей только со стороны, то и сама борьба с формализмом в огромной мере превращалась в борьбу с формальной, профессиональной стороной искусства. Категории пространственности, конструкции, формы, пластики, пропорциональности, ритмики и многое другое закономерно теряли свое сущностное значение, и вместо развития и укрепления творческого метода реализма и его профессиональной основы вели к появлению различных натуралистических имитаций.

Так формировалась идейная и методологическая основа советского реалистического искусства, и по сей день не потерявшая своей тупой самоуверенности и агрессивности. Удовлетворение запросов народных масс, буквалистское воспроизведение псевдореального, «визуальная правдивость», накатанная колея натурализма в контексте одержимости вульгарной социологической концепцией «прикладного значения искусства», которая господствовала почти весь XX век, да продолжает жить и сейчас, лежали в основе стремления *реалистически* выразить страсти своего времени. Тогда-то в основу господствующей у нас и по сей день концепции изобразительного реализма прочно легло утверждение, что ***критерием реалистичности произведения служит его соответствие тому, что и как человек зрительно воспринимает вокруг себя***.

Тут, казалось бы, и спорить не с чем. Конечно же, художник изображает в силу и на основе того, что он видит, да и само изобразительное искусство — это искусство преимущественно для зрячих. Роль зрения для нашего сознания вообще трудно переоценить, ведь благодаря зрению человек получает более 90% информации об окружающем его мире. Дело тут в другом. Отмеченный «критерий реалистичности», как правило, подразумевает кое-что еще. А именно: уверенность в том, что основа зрительного восприятия — перевернутое ***проекционное изображение на сетчатке глаза***, т. е. зеркальное отображение объекта, на который человек в данный момент смотрит.

Тут важно заметить, что наличие такой проекции только кажется бесспорным, на деле же (и современная наука это убедительно доказывает) подобное проекционное изображение в глазу — лишь сложный гибрид советской научной мифологии, продукт позитивистской веры, а вовсе не доказанный факт. Оно было идеологически необходимо, а потому почиталось за действительность.

Теория формирования изображения в темной камере, подобной глазу, принадлежит Иоганну Кеплеру, т.е. восходит еще к XVII веку. Теория эта не является ошибочной и прекрасно работает — но лишь в том случае, когда мы имеем дело не с живым глазом, а с изображениями, которые проецируются на экран или на какую-нибудь иную поверхность и предназначены для того, чтобы на них смотрели. Но из этого, однако, вовсе не следует, что изображение на сетчатке тоже проецируется на что-то вроде экрана и *предназначено для рассматривания*. Но тем не менее такая аналогия была проведена, путаница произошла, превратившись в одно из наиболее стойких заблуждений в истории психологии: и по сей день мы повсеместно понимаем сетчаточное изображение как картинку на экране. Начало же этой путанице положил тот, кто впервые обнаружил, что после удаления наружной оболочки глаза у только что забитого быка на прозрачной сетчатке можно увидеть крошечное изображение сцены, на которую был направлен глаз. Дальше логика была простой: если мы видим картинку на сетчатке быка, так почему бы и быку не видеть ее? Одним из последствий этой путаницы стал знаменитый вопрос о том, как нам удается

видеть мир правильно, ведь сетчаточное изображение перевернуто. Попытки решить эту проблему экспериментально ни к чему не привели. Просто дело в том, что ***сетчаточное изображение не есть что-то такое, что можно увидеть***.

Однако большинство советских учебников рисования во вступительной главе помещали схематический рисунок глаза в разрезе, иллюстрирующий происхождение перевернутого проекционного изображения на сетчатке. Такая схема приравнивала глаз к оптическому прибору (фотоаппарату или камере-обскуре), соединенному с мозгом «нервным кабелем». Уже из такого предисловия становилось ясно, что в качестве основной цели учебного рисования подразумевается максимально точная фиксация на плоскости листа этой самой проекции — *«создание реалистического изображения»*. Но поскольку сетчаточное проекционное изображение мыслилось в жесткой оптико-геометрической зависимости от наблюдаемой сцены и было, следовательно, обусловлено конструкцией глаза и расположением предметов во внешнем мире, а глаза у всех здоровых людей устроены одинаково, то оставалось неясным, чем подобный рисунок в своем идеальном варианте отличается от фотографии. *«Если,* — говорилось в учебнике, — *у человека нет никаких патологических изменений в органах зрения, его представления о предмете будет правильным»*[3].

Правильное представление о предмете... Вот тот камень преткновения, та основа, которая давала обильный материал для обвинений в формализме, абстракционизме и прочих смертных грехах. Словно не существовало вопроса о том, что стоит за *проблемой ви́дения,* — о том, что же воспринимает человек, когда смотрит! И это кажется тем более странным, что «проблема ви́дения» в русском и советском искусстве, особенно в школе реалистического искусства, всегда считалась одной из главных. А просто все дело было в том, каким путем ее решать. Советский и западный пути в XX веке сильно разошлись и оказались совершенно разными.

И вот ведь парадокс: в отличие от советских коллег, западные исследователи пошли по правильному и плодотворному пути, указанному... Владимиром Лениным. Ведь именно он в самом начале прошлого века ясно и определенно сформулировал свою теорию отражения.

В частности, в книге «Материализм и эмпириокритицизм» он писал: «Познание реальной действительности в науке и искусстве подчиняется одним и тем же законам, различна лишь форма отражения. Искусство отражает мир в образной форме, наука — в понятиях, законах, категориях. Процесс познания природы человеком очень сложен. <...> Тут действительно, объективно ТРИ члена: 1) природа; 2) сознание человека, 3) форма отражения природы в восприятии человека. Человек не может охватить, отобразить реальность ВСЮ полностью, в ее "непосредственной цельности". Он может лишь ВЕЧНО поэтапно приближаться к этому, создавая понятия, абстракции, образы, научную картину мира».

Как ни парадоксально, но именно это — *ленинское!* — понимание процесса познания могло показаться в СССР совершено антисоветским. Ведь в своей формуле Ленин определяет процесс восприятия реальности, во-первых, как ***сложный*** и — главное — ***опосредованный***. Во-вторых, этот процесс рассматривается им ***как деятельность семиотической системы***, подобной, например, языку. В то время как официальная советская аксиома многие десятилетия категорически твердила о *непосредственном* характере чувственного восприятия. Именно противопоставление двух типов восприятия — эмоционально-чувственного

[3] *Ростовцев Н.* Учебный рисунок. М.: Просвещение, 1985. С. 21.

и рационально-логического составляло основную фабулу так называемой *советской теории отражения*. Именно на этом основании искусство и наука на всем протяжении советской истории активно противопоставлялись друг другу как две сферы, основанные на различных типах и механизмах восприятия.

Сегодня «реальность» представляется как результат взаимодействия мира и человечества, являющихся лишь разными ее аспектами. О таком взаимодействии убедительно свидетельствуют современные научные данные. Причем, помимо внешнего мира и человека как компонентов реальности, существенное место занимает третий компонент, образующийся в результате активного взаимодействия первых двух, — ***образ восприятия действительности***, т.е. форма познания, возникающая в ходе взаимодействия субъекта и объекта и опосредующая его. Образ восприятия, и об этом мы еще будем говорить, имеет свою собственную природу, отличную от природы двух других компонентов, — свои законы, связи, правила становления и развития.

Однако этот *третий компонент* долгие годы отсутствовал в теории и практике нашего искусства. Последний выбор концепций в советском искусстве 20—30-х годов произвел НКВД, и вместе с «формализмом» было выброшено само понятие «образ». Образ как один из трех членов процесса познания реальности оказался просто не нужен.

## 2. «Ви́дение» и «изображение»

Словом «изображение» обычно и называют все то, что мы можем видеть. Употребляя это слово, мы прежде всего представляем себе рисунок, живописное полотно или скульптуру. История искусств впечатляет разнообразием рукотворных изображений — на первый взгляд, совершенно разнородных и даже противоречивых: здесь и пещерные рисунки, и средневековые складные алтари, и живопись Высокого Возрождения, и произведения Брака, Пикассо, Малевича. Все это совершенно несхожие изображения, кардинально разнящиеся от эпохи к эпохе. Иной раз кажется, что самое неизменное в изобразительном искусстве — это его изменчивость. В чем же основа этой постоянной изменчивости?

Издавна предметом изображений был окружающий нас мир — те материальные объекты, которые человек мог зрительно воспринимать: люди и животные, цветы и фрукты, предметы быта и пейзажи. Заметим, что ни предметный мир, ни механизмы восприятия его человеком на протяжении известной нам антропологической истории принципиальных изменений не претерпели. И тем не менее каждое время рождало и рождает новый вид изображений — новый вид изобразительных форм, претендующих выражать новые грани содержания, найденные все в том же старом и, казалось бы, давным-давно и хорошо изученном окружающем мире.

Однако, согласно принятой у нас норме научного понимания, оптическое ***изображение***, спроецированное на поверхность сетчатки, и есть та главная зрительная реальность, которая, каким-то способом, становится доступной сознанию. И если рассуждать логически, отталкиваясь от того простого факта, что глаза у всех людей устроены одинаково, то вся история изобразительного искусства будет выглядеть как издевательство над нормой зрительного восприятия. В действительности же история эта (и XX век в особенности!) красноречиво свидетельствует совершенно о другом: понимание того, на что человек смотрит, постоянно меняется. Этот феномен определяется термином *«развитие видения»*.

Итак, мы вплотную подошли к утверждению: *природа изображения в искусстве характеризуется двумя глаголами, казалось бы близкими до неразличимости, но зачастую имеющими прямо противоположный смысл, — «смотреть» и «видеть»*.

Возможность смотреть и способность видеть — далеко не одно и то же. Смотреть могут все зрячие, именно эта способность связывается со здоровым в медицинском смысле глазом. Однако каждый человек, смотря на окружающий мир, видит различные его аспекты. В этой словесной паре «видеть» по значению ближе к «понимать». «*Понимать» — это значит «видеть вещи определенным образом»*.

Общеизвестно, что художник в своих произведениях всегда показывает мир таким, каким видит его именно он сам, художник. Множество отличных друг от друга «показов», которые обычно называют «историей изобразительного искусства», подводит к мысли, что развитие видения, как и познание, бесконечно.

Неискушенного зрителя эта проблематика оставляет равнодушным: казалось бы, что тут обсуждать — кто смотрит, тот и видит. Однако умение видеть, о котором идет речь, не является врожденной способностью, подарком, которым нас автоматически наделяет природа. Развитое умение видеть есть результат специального образовательного процесса, если угодно — мера уровня культуры. Природа же дарит нам лишь возможность личного выбора — развивать свое видение или нет. И если мы хотим развивать его, то надо помнить: такая возможность есть у каждого.

Еще свежи в памяти отечественных художников воспоминания о том, как в истории советского изобразительного искусства трактовался вопрос о том, «что такое видение». Правильное понимание этого вопроса было важным аргументом в «борьбе за реализм», но при этом поразительным образом терялись и проблема самого видения, и проблема развития его как ведущей образовательной задачи. К 50-м годам в основу обучения художников всех специальностей и на всех ступенях постижения ремесла была положена традиция школы академического рисунка XIX века, в прошлом рассчитанная на подготовку художников-станковистов для работы в области тематической картины. Этот пространственно-живописный рисунок является в своем роде высшим достижением в графическом освоении мира и вполне отвечает представлению о реалистическом изображении как правдоподобной имитации «зрительной проекции». Это во многом спутало понимание места и роли рисунка среди таких современных явлений, как фото, кино, телевидение, голография, а задача школы искусств предельно сузилась и стала пониматься лишь как виртуозное овладение ремеслом. Так в советской художественной школе середины XX века активное *выразительное* начало постепенно уступило место пассивному, *изобразительному*. В условиях советской системы образования *изобразительность* из средства постепенно *превращалась в самоцель*.

Считалось, что наше художественное образование бережно хранит «традиции реалистической школы», и мало кто вспоминал, что один из ведущих мастеров этой школы, выдающийся педагог Павел Чистяков еще в XIX веке, говоря о рисовании с натуры, предостерегал против тупого копирования: *«Форму надо изображать не только так, как она глазу кажется, но и так, как она истинно есть»*.

Но так ли просто дать ответ на вопрос: как она истинно есть? — и даже на, казалось бы, еще более легкий вопрос: что вообще такое *форма предмета?* Ведь одномоментное зрительное наблюдение никогда не охватывает весь объект целиком. Зрению доступна только видимая его часть — лишь те его стороны,

что обращены к наблюдателю. А ведь существуют и другие стороны, скрытые, не видные в данный момент наблюдения. (Поясню на простом примере: как ни крути обычный кубик, на какое расстояние от глаза ни перемещай, одномоментно можно увидеть лишь одну, две или — максимум — три из его граней. Но граней-то этих — шесть! То есть наблюдатель видит лишь половину наблюдаемого предмета — и то в лучшем случае.) И «форма предмета» как целое всегда состоит одновременно из сочетания видимых и скрытых, заслоненных частей. Предмет как целое зрительно воспринят быть не может, и понятие «изображаемый предмет» всегда включает в себя необходимый монтаж *видимых* в данный момент частей поверхности и *мыслимых* в то же время. Поэтому можно утверждать, что ***изображение предмета есть одна из первых абстракций, сформулированных в визуальном языке***. Каждая эпоха, каждая школа мирового искусства решала эту проблему по-своему, исходя из представлений господствовавших в данном обществе, в данный исторический отрезок времени.

Советское время знало два разных подхода к решению этой изобразительно-выразительной задачи: *конструктивно-пространственный* и *тонально-проекционный*. К середине 60-х в Москве они оформились в два творческих метода по названию учебных заведений — «строгановский» и «суриковский», соответственно. Это разделение внутри «реалистической» школы и стало причиной раздора, не преодоленного до сих пор. Сейчас в российском художественном образовании доминирует «суриковский» — тонально-проекционный тип, что, на наш взгляд, только усугубляет ситуацию кризиса в отечественном реалистическом искусстве.

В самом деле, вопрос о том, как сочетать видимое и мыслимое в *процессе реалистического изображения натуры,* всегда оставался одним из важнейших. Сторонники официального «реалистического метода» оказывались тут в сложной ситуации: реальным они почитали то, что воспринимается «сейчас», т.е. прежде всего то, что «сейчас» видно, а то, что мыслится и представляется, не имело статуса «реалистического» и причислялось к абстракции. Получалось, что реальность предмета разбивалась реальностью наблюдения на две половины, но при этом подразумевался целостный предмет, который в «концепции реализма» существует независимо от наблюдателя...

## 3. О зрении

Для неискушенного наблюдателя соответствие между физическими объектами и их предметными образами — вещь само собой разумеющаяся. Казалось бы, и в самом деле: если мы видим какой-то предмет — стало быть, воспринимаем его зрительный образ. Однако вспомним, что зрение является *дистанционным* органом чувств, то есть воспринимающая поверхность глаза не находится в непосредственном контакте с воспринимаемым физическим объектом. Такой контакт опосредован светом, отраженным от поверхности предмета (точнее — видимой части этой поверхности). Таким образом, ***отраженный от поверхности предмета свет, а не сам предмет*** есть та физическая реальность, с которой имеет дело человеческий глаз. Говоря еще точнее: наша зрительная система извлекает информацию об удаленных предметах из окружающего нас светового строя.

Само открытие на рубеже XIX — XX веков того факта, что наше зрение опосредовано светом, что в зрении — один через другой — нам одновременно даны *два* объекта (сам предмет и отраженный им свет), отличить которые в акте восприятия мы сразу не в силах, произвело на мастеров живописи ошеломляющее впечатление. А если вспомнить, что свет как объект имеет семь спект-

ральных составляющих, нетрудно понять, почему в живописи свет немедленно вышел на первый план и выступил в роли нового, самоценного объекта. Попытки осмысления и выражения информации, содержащейся в свете как самостоятельной ценности, и породили искусство импрессионизма[4]. Импрессионисты стремились непредвзято запечатлеть не просто реальность предметного мира, как это было прежде. В своем творчестве они в первую очередь пытались отразить другую реальность — самый *процесс восприятия* мира, становление его образного отражения в подвижности и изменчивости. Пытались передать мимолетные впечатления, из которых и строится образ. Они писали раздельными мазками «чистого цвета», не применяя смешение красок на палитре. В живописи, скульптуре, музыке, литературе, театре импрессионисты разрабатывали наиболее тонкие и точные способы передачи впечатления (impression) как основы всякого представления, переживания и мысли.

Исследователей зрения всегда занимал вопрос: каким образом, визуально наблюдая тот или иной предмет, мы узнаем о его *неоптических* качествах и свойствах? И это притом, что структура светового потока, попадающего на сетчатку глаза, содержит в себе информацию только о некоторых оптических характеристиках объекта. Повторим — *оптических*. К тому же не забудем: мы вынуждены наблюдать всегда лишь фрагмент предмета — ту его часть, которая доступна нашему зрению. Исходя из всего этого, можем ли мы утверждать — и на каком основании, — что видим *целый* предмет?

Зная, что отраженный от поверхности предметов свет и сами эти предметы — две совершенно разные физические реальности, два разных объекта, с которыми имеет дело человеческое восприятие, мы можем по-новому осмыслить, что такое *«информация для зрения»* и что же представляет собой уже упоминавшийся процесс *«развития видения»*. Феномен человеческого зрения дает серьезные основания говорить об ***образе как феноменальной форме отражения действительности***. Сегодня складывается все более и более точное представление о закономерных связях двух сфер нашего восприятия — *изобразительной* и *зрительной*. Становится ясным, что образная двуплановость, от природы свойственная нашему восприятию, находится в точном соответствии с двойственной природой живописного произведения. Пытаясь сопоставить содержания терминов «видение» и «изображение», можно утверждать, что ***изображение*** — это ***выражение мыслимого содержания через видимую форму***.

Увы, на практике ни о каких связях между изобразительным и зрительным говорить не приходится, ведь противостояние этих двух сфер в нашем искусстве не исчерпано до сих пор. Ложное понимание отношений между этими сферами и породило давний антагонизм между «реализмом» и «абстракционизмом». Понятие «реалистическое» у нас и сегодня в первую очередь и теснейшим образом связано с советскими стереотипами о реальностях зрительного восприятия. К подобным реальностям принадлежат, в частности, форма предметов и такое качество окружающего мира, как пространственность.

Но рассуждая о таких, казалось бы, узкопрофессиональных проблемах, как восприятие пространства или формы предметов и их содержательные аспекты, мы не должны забывать, что в то же самое время имеем дело с *целостным миром* человека, с *системой* его *представлений*, со сложившейся шкалой его жизнен-

[4] Импрессионизм (от *фр.* impression — впечатление) — направление в искусстве последней трети XIX — начала XX в.; наиболее четкое выражение получило во французской живописи.

ных ценностей и приоритетов. К тому же мыслимый мир полимодален, и его образ строится на интеграции всего того, что поставляют и другие каналы восприятия, помимо зрения. Так что для понимания обозначенных в этой статье проблем нам придется выйти за пределы узкой области искусствознания и обратиться к другим областям науки — таким, например, как психология восприятия, философия, языкознание.

## 4. Природа зрения

Как мы видим то, на что смотрим? Парадоксально, но об этом мы и сегодня знаем меньше, чем о жизни на Марсе. Первое знакомство с теориями восприятия производит обескураживающее впечатление. Прежде всего ошеломляет обилие этих теорий, их эклектическая пестрота, а порой и полная несовместимость. Однако в процессе знакомства с разнообразными результатами такой научной деятельности[5] постепенно становится понятно, что все без исключения авторы, занимавшиеся проблемами восприятия, в действительности писали одну и ту же книгу, внося лепту в создание *единой* теории, и что все они, даже те, кто занимает, казалось бы, полярные позиции, естественным образом дополняют друг друга.

Выделяется в этом ряду фигура выдающегося американского ученого, одного из самых ярких психологов XX столетия Джеймса Джерома Гибсона. Предложенная им концепция зрения так нова и неожиданна, влияние ее на современную науку столь велико, а революционный заряд так силен, что Гибсона порой сравнивают с Ньютоном. Впечатляет внутреннее единство научной позиции Гибсона и идей видного советского психолога А.Н. Леонтьева. На первый взгляд, эти ученые кажутся оппонентами, однако они едины в самом главном: оба понимали восприятие как процесс активного вычерпывания информации из окружающего мира. Оба были непримиримыми противниками рецепторных концепций восприятия и проявили немало изобретательности, показывая несостоятельность и вредность широко распространенного взгляда на образ зрительного восприятия как на «картинку». Оба были убеждены, что ***ни в мозгу, ни на сетчатке нет никаких картинок.***

Как ни парадоксально, но неоценимую роль в развитии научных взглядов на восприятие сыграли американские военные. Это их должна неустанно благодарить мировая психологическая наука: ведь именно Пентагон выделил колоссальные средства на исследования в области зрительного восприятия. Именно Пентагон поставил перед психологами беспрецедентную задачу — выяснить, как человек зрительно воспринимает пространство. Причем руководили военными вовсе не страсть к науке, а трезвый прагматический расчет: лучше потратить средства, равные стоимости нескольких истребителей, но зато поставить на должный уровень обучение летному делу, чем иметь дело с постоянными и куда более дорогостоящими потерями тех же истребителей. Дело в том, что ошибки пилотов при взлете или посадке истребителей на палубу авианосца часто приводили к потере дорогих машин. Таким образом, впервые в истории психологической науки о зрительном восприятии перед психологами была не только поставлена прикладная задача, но и созданы достаточные условия для ее *непредвзятого* научного решения. Проведение этих исследований и было поручено Джеймсу Гибсону.

---

[5] В качестве наиболее полного свода таких теорий можно порекомендовать следующее издание: *Allport F.H.* Theories of Perception and the Concept of Structure. N.Y.: Wiley, 1955.

Вот несколько строк из его последней книги: «Зрение — удивительный и странный феномен. <...> Чем глубже я погружался в физику, оптику, анатомию и физиологию зрения, тем сложнее и запутаннее становилась проблема. <...> При ближайшем рассмотрении выяснилось, что оптики изучают свет как излучение, но не рассматривают его как освещение. Анатомы досконально изучили глаз как орган зрения, но с трудом представляют себе, как он работает. Физиологи, занятые изучением нервных клеток сетчатки, знают, как они работают, но как работает зрительная система в целом, не знают и они. А все, что они знают, не имеет никакого отношения к делу. Сейчас специалисты в области зрения могут создавать голограммы, лечить глазные болезни, прописывать страдающим близорукостью очки — и все это, несомненно, выдающиеся достижения науки, — но никто из них не может объяснить феномен зрения»[6].

Традиционно теоретики зрительного восприятия исходили из того, что органом зрения является глаз, связанный с мозгом, и что контакт человека с объектами внешнего мира опосредствован светом. Воздействие света на глаз вызывает психические состояния, называемые ощущениями. Человеку ничего, кроме того, что имеется в ощущениях, не дано; ощущения — это единственное звено, связующее нас с внешним миром. Однако в ощущениях теряется многое из имеющегося в объекте — например, форма объекта, его третье измерение. Но тем не менее в образе восприятия все утраченное восстанавливается. Ведь это же факт, что мы видим объемные предметы! Каким же образом информация, добываемая зрением, превращается в трехмерный видимый мир, который, помимо пространственности, обладает множеством других содержаний и возможностей для человека?! Сам собой напрашивался вывод, что в мозгу ощущения подвергаются последующей обработке. Сторонники самых разных теорий исходили из того, что восприятие основано на существовании сознания, которому и посылаются сообщения: глаз отправляет, нерв передает, а разум получает. Представлялось, что сигналы передаются в закодированном виде и сознанию приходится их декодировать. (И никому не приходило в голову, что при этом подразумевается разум, существующий отдельно от тела!) Высказывалось множество мнений относительно характера этой обработки: бессознательные умозаключения, творческий синтез, перцептивная[7] организация и, наконец, просто обработка наподобие той, которой подвергается информация в ЭВМ. Но никто до Гибсона в необходимости такой обработки не усомнился.

Гибсон же доказал, что никакой необходимости обработки сенсорной информации попросту нет, поскольку ***восприятие не основано на ощущениях***, а ощущения вовсе не являются элементарными кирпичиками сознания. И что совсем не обязательно считать, что по оптическому нерву в мозг *извне* поступает нечто — будь то перевернутая картинка или набор сообщений.

Заменив понятие «свет» понятием «объемлющий световой строй», «пространство» — «компоновкой поверхностей» и т. д., Гибсон не просто отказался от одних слов в пользу других. Нет, радикально изменился самый подход к восприятию, и следствием этой перемены стало возникновение принципиально новой терминологии.

Новый подход к восприятию получил название *экологического*. Главное его отличие — в предпосылке, что в области восприятия человеку противостоит

---

[6] *Гибсон Дж.* Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1988.

[7] Перцепция (*лат.* perceptio) — восприятие, отражение объективной действительности органами чувств.

окружающий мир, существенно отличающийся от того мира, каким его описывают физики: мир не «физический», а *экологический*[8]. То есть, по мнению американского ученого, наблюдатель и его окружающий мир взаимно дополняют, «вписываются» друг в друга. В таком же отношении взаимодополнительности со своим совокупным окружающим миром находится и группа наблюдателей. То есть ***понятие «окружающий мир» является дополнительным к понятию «человек»,*** и в форме *образа восприятия* субъект и объект взаимопереплетаются и взаимодополняют друг друга: это не два разных бытия, а два элемента, два момента познания. Соответственно, неотъемлемыми атрибутами объекта в экологическом мире становятся те возможности, которые он предоставляет субъекту.

В описании экологического мира обращают на себя внимание две особенности — его *иерархическое строение* и его *значимость*. Иерархический аспект Гибсон передает с помощью понятия «встроенность»: мелкие элементы встроены в более крупные; те, в свою очередь, — в еще более крупные и т. д. Кратковременные события, происходящие в окружающем мире, встроены в длительные, те — в еще более длительные, и так до бесконечности. Значимость этой «матрешки», по Гибсону, следует из взаимодополнительности окружающего мира и человека. Экологический мир — ойкумена — по самому своему определению не может не быть значимым для человека.

Важнейшее место в гибсоновской концепции восприятия занимает понятие «информация». Но «информация» эта — нечто совершенно специфическое: она никуда не передается и ее никто не принимает. По существу, у Гибсона термин «информация» взятый сам по себе не имеет смысла и обретает его только в таких выражениях, как «извлечение информации», «информация для восприятия» и т. п.

***Извлечение информации — вот в чем состоит***, по Гибсону, ***суть восприятия***. А ***информация для восприятия*** — это именно то, что содержится в свете, или в ***объемлющем световом строе.***

Свет как носитель информации об окружающем мире рассматривает новая дисциплина — *экологическая оптика*, принципиально отличная от оптики физической. Главный ее тезис таков: любой реальности окружающего мира в объемлющем световом строе соответствует какая-то оптическая реальность. Однако не всякая «физическая» реальность находит свое отражение в объемлющем световом строе. Так, по мнению Гибсона, физическому понятию «пространство» здесь ничто не соответствует. То есть пространство, как таковое, не воспринимается. Его можно только мыслить.

Отличительная особенность экологической оптики — ее динамизм. Почему, к примеру, движущийся наблюдатель может оценить постоянство воспринимаемых предметов? Феномен этот столь же очевиден, сколь и непонятен, ведь предмет отображается на сетчатке во время движения в виде последовательного ряда изображений, каждое из которых в отдельности (как мы помним) не позволяет судить об истинной форме предмета. Но, отмечает Гибсон, *постоянство можно передать только через изменение.* И многие экологические реалии находят свое отражение в структуре объемлющего света лишь в том случае, если сама эта структура динамична и рассматривается как изменяющаяся во времени.

---

[8] Здесь, вероятно, следует напомнить читателю, что модное, но от этого ничуть не более понятное слово «экология» восходит к греческому oikos (дом, родина, семья) и обозначает науку, занимающуюся взаимоотношениями организмов между собой и окружающей средой (если это раздел биологии), а также взаимоотношениями человека и среды (если это раздел социологии).

Гибсон утверждал, что материальную ***основу зрительного процесса составляют*** ориентировочно-обследовательские ***движения*** — от миниатюрных глазных движений до перемещений в пространстве (локомоции). Он пришел к выводу, что ***органом зрения является*** вовсе не глаз, а целостная ***перцептивная система***. Что ***восприятие — это активный процесс, осуществляемый иерархически организованной перцептивной системой, существеннейшей характеристикой которой является ее подвижность как необходимый для восприятия вид деятельности.***

Мы привыкли рассматривать глаз как инструмент сознания или орган мозга. Однако истина заключается в том, что глаза находятся на голове, голова — на туловище, а туловище опирается на ноги, которые, в свою очередь, обеспечивают положение туловища, головы и глаз относительно опорной поверхности. Мы видим окружающий мир не просто глазами, а с помощью *целостной воспринимающей системы* «глаз — на — голове — на — теле — с — опорой — на — земле». Зрение не «сидит» в теле. Перцептивные способности организма не стоит искать в каких-то отдельных анатомических частях, они принадлежат иерархически организованной системе, где мозг — лишь одна из составных частей. Окружающую действительность воспринимают не отдельные органы чувств, а человек при помощи органов чувств. Глаз — тоже лишь одна из частей системы, так как сигналы, поступающие на сетчатку, вызывают подстройку глаза, что, в свою очередь, приводит к изменению сигналов, поступающих на сетчатку, и т. д. Это циклический процесс, а не передача в одном направлении. Глаз — не фотоаппарат, который формирует и посылает изображения, равно как и сетчатка — не клавиатура, по которой ударяют пальцы света.

Можно возразить, что если даже *видят* не глазами, то *смотрят*-то глазами. Однако смотреть глазами — значит сканировать взглядом объект — страницу печатного текста, картину и т. п. В этом процессе участвуют не только глаза, но и голова, а точнее, вся названная нами система.

## 5. Пространство и время

Человеческая способность зрительно воспринимать пространство долгое время казалась совершенно очевидной. Однако, как показал тот же Гибсон, сегодня достаточных оснований для такой уверенности нет, ведь собственно удаленность (третье измерение) чувственно не воспринимается; это абстракция, которая только мыслится. Воспринимаются лишь разноудаленные предметы и их поверхности. Прежде принято было считать, что мы не можем воспринять мир, если у нас до этого не было понятия пространства. Теперь выясняется, что все как раз наоборот: мы не сможем понять, что такое «пустое пространство», пока под ногами не увидим поверхность земли и расположенные на ней предметы, а над головой — небо. С точки зрения экологии восприятия, трехмерное ***пространство*** — это вымысел геометров; ***это математическая абстракция, которая просто не может быть объектом восприятия.*** Лучше уж сразу отказаться от догмы, короче всего сформулированной Кантом, о том, что «восприятия без понятий слепы», и таким образом избавиться от глубоких заблуждений.

Пространство — это невидимый глазу содержательный план образа. Содержание не видно, оно воспринимается опосредованно, за счет наличия своего носителя, т. е. формы. Мы всегда смотрим на этот вещественный носитель, а видим при этом содержание. Постоянное наличие двух планов — плана выражения и плана содержания — одна из закономерностей образа. В восприятии мы переживаем содержание, хотя нам представлена форма, т.е. физический объект.

Однако восприятие формы предмета никогда не бывает одномоментным актом. Оно всегда разворачивалось во времени. Как же представлено в образе то, что мы привыкли называть *временем*?

Можно считать, что восприятие времени начинается с разделения субъективного опыта жизни на прошлый и настоящий. Это разделение, кажущееся очевидным, подразумевает последовательность внешних или внутренних событий, которую мы воспринимаем как очередность. Однако в восприятии мы одновременно можем переживать как изменение, так и постоянство, к тому же нам хорошо известно, что между настоящим и прошлым нет четкого различия, граница между ними неуловима. И все же мы склонны отделять прошлое от настоящего, отчего постоянно оказываемся вовлеченными в *«путаницу с памятью»* (термин Гибсона). Мы думаем, что прошлое прекращает свое существование, если его не удерживать в памяти. Мы считаем, что память — это мост между прошлым и настоящим. Мы полагаем, что образы памяти где-то копятся и хранятся; что они представляют собой эдакие картинки, в которых представлено прошлое. Однако поток внутреннего опыта нельзя разбить на мгновенное настоящее и линейно простирающееся прошлое. Настоящее нельзя уподобить лезвию бритвы, которое, перемещаясь, отсекает прошедшее от будущего. Если бы настоящее длилось какое-то время, вероятно, мы смогли бы определить, где кончается восприятие и начинается воспоминание. Но это никому еще не удавалось, ибо линии раздела не существует и тут. Когда прекращается действие стимула, которым обусловлено сенсорное возбуждение, исчезает только особый вид чувственных впечатлений, а не само восприятие. Восприятие не становится памятью по истечении определенного промежутка времени. Информацию, с которой имеет дело восприятие, не нужно хранить в каких-то запасниках, она всегда в наличии. ***У процесса восприятия нет конца: оно осуществляется постоянно, без перерывов — с рождения до смерти человека.***

Трудности, тупики и неудачи, связанные с представлениями о восприятии предметов, времени и пространства, бытовавшими в нашем сознании начиная с рубежа XIX — XX веков, были обусловлены тем, что в качестве объекта восприятия выступало физико-геометрическо-математическое описание реальности. А не описание реальности в роли *окружающей* человека *среды*, как показал Гибсон и как это, по сути, и должно было быть на самом деле.

Традиционно чувственной основой нашего восприятия принято было считать то, что мы видим *сейчас,* то есть актуальный внутренний опыт, а то, что мы видели *до* этого *«сейчас» (*прошлый опыт), добавляется к этой основе. То есть, следуя этой логике, настоящее мы можем понять только в терминах прошлого. Но ведь, если как следует разобраться, окажется, что *сейчас* мы видим случайную совокупность поверхностей и их фрагментов, случайно оказавшихся в этот момент в нашем поле зрения. В действительности же наше видение не ограничивается только тем, что мы видим *сейчас* и с *данного места.* Место, в котором мы располагаемся, не может быть основой восприятия окружающего мира, оно связано, прежде всего, с восприятием «я» наблюдателя, а не с окружающим миром (ведь даже такую, казалось бы, бесспорную вещь как количество предметов в одной и той же группе мы будем воспринимать совершенно по-разному в зависимости от того, смотрим ли мы на один из предметов в упор, находимся ли на незначительном расстоянии, когда несколько предметов закрывают все остальные, или видим всю группу при взгляде сверху). Перспективный облик внешнего мира просто задается тем *местом*, в котором *наблюдатель* находится *в данное время*. Перспективное искажение размеров и отношений между пред-

метами — это пример *варианта* в восприятии. Процесс восприятия внешнего мира начинается не с этой моментальной сцены; он основывается на извлечении неизменного, т.е. *инвариантов*. Извлекать инварианты — значит воспринимать постоянство. Так, если, осматриваясь по сторонам, поворачивать голову, то вещи будут теряться из виду и появляться вновь, однако они будут сохраняться даже в том случае, когда их не видно. Все, что исчезает из поля зрения во время поворота направо, вновь появляется в поле при повороте налево. Изымаемая структура впоследствии вновь добавляется — такие превращения обратимы. То есть можно сказать, что при этих превращениях структура является инвариантной. На основе восприятия изменений постигается постоянное, неизменное, т.е. предмет восприятия. Так, двигаясь вокруг предмета, меняя точку наблюдения, отчего меняются и варианты перспективного искажения, мы постигаем то, что остается неизменным, — форму целого предмета.

Наблюдаемый нами мир в любой момент времени представляет собой сочетание видимых и невидимых, открытых и заслоненных поверхностей. Более того, спрятанность есть непрерывное продолжение неспрятанности; они *связаны* друг с другом. Раздельные места и объекты воспринимаются сосуществующими. Это означает, что раздельные *события* в этих местах воспринимаются происходящими одновременно. Следовательно, выборка разных событий, происходящих одновременно, может осуществляться *последовательно*, при этом их *одновременность* нарушаться не будет, так же как выборка различных *сосуществующих* мест может производиться последовательно без нарушения их *сосуществования*. Видимый мир простирается в том числе и за нашим затылком. Осознавать *окружающий мир позади себя* — значит осознавать постоянство, стабильность видимого мира.

Настраиваясь на извлечение определенного рода информации, воспринимающая система становится более чувствительной. Механизм, настраивающий всю воспринимающую систему на тот или иной вид деятельности, называется *вниманием*. При определенной настройке внимания различия, раньше бывшие незаметными, теперь становятся отчетливо видны. Неясные прежде детали и компоненты реальности становятся ясно различимыми. Но не следует думать, что это изменившееся состояние зависит от памяти. Переживание прошлого состояния, если оно вообще переживается, является признаком произошедших перемен.

Таким образом, ***время*** — это интенсивность изменения компонентов восприятия; ***это количество сменяющих друг друга вариантов, видимых только на фоне постоянства инвариантов***. Так, воспринимая свет, мы, по существу, воспринимаем изменения в интенсивности определенных электромагнитных колебаний. Различие цветов можно понимать как различие частоты. Таким образом, свет, содержащий в себе постоянный модуль изменений, дает нам возможность количественно измерить информацию. К примеру, нам известно, что колебания электромагнитного поля красного цвета равны *400 триллионам в секунду*. Исходя из этого факта, Анри Бергсон писал, что восприятие красного цвета предполагает сжатие времени в тысячи раз. И, поскольку сознание неспособно различать ничего, что было бы короче двух тысячных секунды, философ пришел к выводу, что восприятие красного света — не что иное, как сжатие 25 000 лет в одно мгновение: «...ощущение красного света, испытываемое нами в течение секунды, само в себе содержит последовательность явлений (изменений), которые, будучи развернуты в нашем привычном длении с величайшей экономией времени, заняли бы 250 веков нашей истории»[9].

---

[9] Цит. по: *Раппопорт А.* Девяносто девять писем о живописи. М.: Новое литературное обозрение, 2004.

## 6. Свет

Изображение, которое мы можем видеть, есть взаимодействие двух вещей — формы предмета и света, его направленности и плотности. Чаще всего предмет погружен в окружающую среду, которая наполнена отраженным светом. Предмет и его освещенность — это разные аспекты реальности, которые часто совмещаются при *изображении* предмета.

Понимание света как освещенности и цвета как окрашенности возникает в европейском искусстве в эпоху Возрождения; это знаменитое chiaroscuro — светотень. Подлинным изобретателем светотени был Леонардо. Даже у Боттичелли окрашенность и освещенность еще даны условно.

С точки зрения классической и архаической мысли, и *освещенность* и *окрашенность* — это нечто случайное, преходящее, несущественное, или, говоря языком философов, — акциденции, а не субстанциональные, сущностные свойства вещи. А к таким основным свойствам в первую очередь принадлежит форма предмета. Форма относится к самому предмету, освещенность же лишь «встраивается» в его изображение. Это разделение явлений мыслилось еще в глубокой древности. Уже у египтян считалось, что с целью очистить для зрителя знание о предмете следовало и информацию о нем очищать, отдавая предпочтение тому, что служит выражению его формы, освобождая ее от случайных помех. Поэтому изображать освещенность и окрашенность было бы неверно, ведь они только затемняют смысл. Вспомним хотя бы пренебрежительное отношение Платона к теням или что, согласно представлениям греков, слепой Гомер, лишенный телесного зрения, видел вещи неизменными, свободными от случайных свойств, то есть видел их в истинном свете.

Любопытен реальный случай, который в одной из своих книг описывает известный психолог Ричард Грегори. Это история слепца, прозревшего в расцвете лет в результате операции по удалению катаракты. Перемены освещенности — регулярный заход солнца, наступление сумерек и ночи, игра светотени — случайность распределения ее на предметах, — все это настолько удручало беднягу, что в конце концов он впал в депрессию, отказался от солнечного света, жил при постоянно включенном электричестве и вскоре умер.

## 7. О природе картины

Постараемся уяснить себе то место, которое изобразительная деятельность занимает в системе *визуального языка*, какова ее природа, какую роль в нашей жизни такая деятельность играет и как в ней взаимодействуют субъект и объект — *тот, кто изображает, и то, что изображается.*

Повторим то, что, конечно же, всегда было очевидно: художник изобразительными средствами передает то, что он видит. Но весь вопрос в том, *что́* он видит.

Как мы помним, долгое время считалось, что задача художника — максимально точно копировать изображение объекта, имеющееся на дне его глазного яблока. Глаз при этом выполнял функцию фотоаппарата при неподвижной фиксации. Сегодня под натиском научных фактов от подобных представлений приходится отказаться. Противоречит им хотя бы уже то обстоятельство, что у живого человека глаз неподвижным не бывает никогда. Более того, если его искусственно закрепить в неподвижном состоянии, он просто теряет способность воспринимать зрительную информацию извне: реакция рецепторов слабеет и, в конце концов, прекращается совсем — все превращается в наблюде-

ние светло-серого тумана. То есть восприятие как психическое явление при отсутствующей реакции воспринимающей системы или при ее неадекватности невозможно. Свет создает условие, чтобы *смотреть*, но *видим* мы лишь благодаря своему умению извлекать информацию. ***Неподвижный глаз*** вовсе не подобен фотоаппарату, он попросту ***слеп***.

Итак, видеть окружающий мир — значит, как убедительно показал Гибсон, «извлекать информацию из объемлющего светового строя». Но когда мы смотрим на произведение, созданное художником, зрение функционирует несколько иначе, чем когда мы имеем дело с объемлющим светом. В отличие от объемлющего светового строя, строй картины ограничен, остановлен во времени. По мнению Гибсона, восприятие живописи находится в таком же отношении к восприятию реального окружающего мира, в каком восприятие речи или музыки — к восприятию естественных звуков.

Что же значит «видеть нечто, изображенное на картине»? (Как известно, существует два вида картин: неподвижные и движущиеся, то есть кинокартины. Оговоримся сразу, здесь мы рассматриваем преимущественно неподвижные картины, а именно то, что собственно и называют картинами или станковыми произведениями живописи и графики.) Чаще всего, глядя на живописное полотно или рисунок, человек точно не знает, как отвечать на вопрос: «Что вы видите?» Вновь процитирую Джеймса Гибсона: «Здесь следует абстрагироваться от попыток искусствоведов — экскурсоводов, лекторов и исследователей — втолковать нам, что мы видим на той или иной картине... Науки об изображениях пока нет. То, что говорят о картинах художники, искусствоведы и философы, имеет мало общего с тем, что говорят о них фотографы, оптики и геометры. По-видимому, они говорят о разных вещах. Похоже, что пока все еще не ясно, что же такое картина»[10].

Скажем о том, что все-таки ясно. *Картина — самостоятельный физический объект, созданный художником специально для показа и представляющий собой поверхность, обработанную особым образом с целью обеспечить наличие некой информации о других предметах и событиях.* По мнению же Гибсона, информация, заключенная в произведении изобразительного искусства, — не оптическая. В стимуляции *именно* ***неоптической*** *информации* об изображаемом объекте и заключается, по его мнению, основная функция рукотворных изображений.

Художники начали экспериментировать с восприятием задолго до психологов. Придуманные ими способы изобразительной обработки поверхностей весьма изобретательны: можно изменить ее способность отражать или пропускать свет, раскрасив ее или нарисовав на ней что-нибудь; можно с помощью гравировки или какого-либо другого механического воздействия изменить рельеф поверхности, от чего на ней появятся тени; можно, наконец, на какое-то время создать картинку, проецируя на поверхность свет, т.е. временно превратив ее в экран. Так создается искусственный информационный оптический строй.

Но каким бы приемом ни воспользовался художник, ему все же приходится помещать обработанную поверхность среди других поверхностей окружающего мира, ведь картина воспринимается только в окружении других поверхностей, картинами не являющихся. *Картина — это поверхность, которая всегда задает нечто отличное от того, чем она сама является материально.* При этом важно, что сознание зрителя переживает, как правило, только содержательный план образа. Именно содержание мы собственно и воспринимаем — то есть как раз то,

[10] *Гибсон Дж.* Экологический подход к зрительному восприятию. 1988. С. 376

что в данный момент, с точки зрения физической реальности, отсутствует, — и не замечаем того, что заявляет о себе фактом физического присутствия. Таким образом, перед нами яркий пример того, что называют «знаком» — материальный предмет, информирующий не о себе самом.

Но картина — это к тому же еще и определенная разновидность письменного текста. К картине, как и к хорошей книге, человек может возвращаться снова и снова, всякий раз открывая что-то неведомое. Картины похожи на книги и в другом: они обеспечивают некое подобие общения между людьми — и в том числе теми, кто увидел их первыми, и теми, кому еще предстоит их увидеть, включая будущие поколения. Картинные галереи, как и библиотеки, — постоянно пополняющиеся хранилища знаний. Знание здесь передается как бы в адаптированном виде, пройдя через ум и сердце художника, и потому картины служат эффективным средством обучения. Картины к тому же позволяют накапливать, сохранять, удалять и заменять информационные элементы — по крайней мере, некоторые. Именно об этом говорит бытование предметов изобразительного искусства, практика их реставрации, хранения, подновления.

Но знание, которое передается с помощью картин, — знание невербальное, словами его не выразишь. Невозможно в принципе описать словами подавляющее большинство информационных элементов, которые содержатся в оптическом строе, порождаемом картиной. Художники могут «схватить», «уловить» их, но они не в состоянии пересказать уловленное. Картина дает нам возможность мыслить без слов.

Постараемся все же ответить на вопрос, записью чего именно является картина.

В советскую эпоху содержанием живописного произведения принято было считать его сюжет, литературную часть, по отношению к которой сама картина часто мыслилась иллюстративным визуальным приложением. Объяснить это просто: само искусство было призвано выполнять прежде всего иллюстративную функцию, играть роль эстетической добавки к победоносному маршу науки и промышленности. Главным оставался политикански окрашенный лозунг «социальной тематики».

Одно время думали также, что картина воспроизводит то, что увидел ее творец в то время, когда писал картину, с того места, которое он при этом занимал. Но художник — не фотограф и на своих полотнах, как правило, не стремится запечатлеть восприятие внешней сцены. Наоборот, он стремится запечатлеть *неперцептивные* разновидности своего внутреннего опыта. Художник может перенести на холст или лист бумаги плоды собственного воображения или даже галлюцинаций. Может изобразить нечто вымышленное. Может нарисовать по памяти то, чего уже больше нет. Факты говорят о том, что художник (независимо от своих сознательных установок) *больше выражает, чем изображает*, и станковая картина не является простой имитацией чего-то ранее увиденного, что она воспроизводит не столько форму, сколько содержание. В ней регистрируется, запечатлевается и сохраняется *информация*, а не чувственные данные. Ибо ***изобразительная деятельность — это удивительная возможность мыслимое выражать через видимое.***

Однако воспринимаем мы картину при помощи чувств и нашему восприятию какого-либо объекта картина соответствует больше, чем словесное описание этого объекта. Наверное, именно поэтому принято считать, что возможна полная иллюзия реальности, когда зритель уже не может отличить полотно, расписанное красками, от реальной сцены. Историям о «глупом глазе» не одна тысяча лет. Так,

известная древнегреческая легенда повествует о состязании двух живописцев-виртуозов. Первый из художников столь искусно изобразил виноград, что птицы слетелись клевать сочные ягоды. Другой принес картину, задернутую полупрозрачной тканью, — и обманул уже не глупых птиц, а коллегу-соперника: не поняв, что занавесь написана на картине, тот пытался отдернуть ее.

Многие верят в то, что в картинной галерее или в психологической лаборатории можно создать ложное восприятие реальных поверхностей. На самом деле это не так. Обман зрения возможен, но только при условии, что положение глаза строго фиксировано, поле зрения ограничено, а второй глаз закрыт — в случае «апертурного зрения», как сказали бы специалисты. Но такое зрение — не настоящее. Глаз можно обмануть, только если уподобить его неподвижному оптическому прибору. Живую бинокулярную систему обмануть не удастся: наблюдатель всегда сможет распознать, смотрит он на написанную картину или на реальную сцену.

Итак, картина всегда предполагает два уровня восприятия: во-первых, себя как предмета и, во-вторых, предметов, изображенных на ней. Наблюдатель одновременно видит и то, и другое. В этом состоит определенный парадокс, поскольку одно воспринимаемое содержание противоречит другому. Мы способны отличить поверхность самой картины от виртуальных поверхностей, изображенных на картине; способны увидеть разницу между освещенностью картины и освещенностью, изображенной на картине. Эти два вида освещенности не сопоставимы друг с другом, так же как не сопоставимы два вида поверхностей.

Два уровня восприятия идут параллельно во времени. *И эта двойственная природа станковых произведений указывает на их семиотическое сходство с разрядом языковых знаков.* Ведь точно такая же двойственность существует в письменном языке: смысл текста напрямую связан с начертанием и взаиморасположением букв, из которых состоят слова, и вместе с тем это совершенно различные вещи (так, тип, размер или цвет шрифта могут отвлекать наше внимание, но мало что меняют в содержании книги). Мы постоянно сталкиваемся с этим, но осознаем, лишь когда имеем дело с текстом, написанным на незнакомом языке.

## 8. Изображение как значимая форма

Сегодня совершенно ясно, что в основе нашего зрительного восприятия лежит ***визуальный язык***. Это благодаря ему мы имеем возможность посредством зрения получать разноплановую, разностороннюю и даже разнородную информацию о внешнем мире. Сегодня становится все более и более ясно, что визуальный язык (то есть язык зрения) — это вид древнейшей семиотической системы, данной человеку генетически. Можно сказать, что это вид *праязыка*, сформировавшего основу для других семиотических систем — в том числе и для языка человеческой речи.

*Именно в сфере зрения формируется и развивается понимание того, что люди называют реальностью*, а визуальный язык — это живой фундамент подлинного единства связей в нашем мире. Становление и развитие его осуществляется благодаря ***образу чувственного восприятия***. Образ восприятия в своем развитии является единством субъективного и объективного, а общность законов его развития — основа социальной общности.

Восприятие — сложный многоуровневый процесс добычи и преобразования информации в формальный продукт. Структура образа восприятия такова,

что по своей природе каждый уровень имеет два плана: план чувственной ткани (форма) и предметный план (содержание).

Образ — это не застывшее равновесие *формы* и *содержания*, это система динамичных и постоянных изменений, взаимопереходов формы в содержание, содержания в форму и обратно; это система постоянных метаморфоз и взаимных реверсий. Образ трудно выделить как отдельную реальность, он относится к тому виду явлений, о которых древние китайцы говорили: «сумма его частей не равна целому».

Познание дискретно, и переходы от одного этапа, от одного содержания к другому совершаются через становление новой образной формы. Новое содержание — это скачок на новый уровень; оно уже несет в себе способ своего выражения. Новый формальный план образа возникает только на основе уже имеющегося содержательного плана, в котором также уже содержится программа, благодаря которой возможно построение следующего формального плана; его лишь надо увидеть. ***Человек***, таким образом, ***обречен на постоянное производство новых форм.***

При всей сложности и разноплановости проявлений реальности, только логика познания действительности, ведущая к цельности, т. е. к познанию многообразия в единстве и единства многообразия, позволяет приблизиться к истине, частью которой являемся и мы. Не забудем: важнейшей частью окружающего мира является сам наблюдатель. Да, собственно, мы — и не наблюдатели бытия; мы — его часть, причем имеющая вполне определенные функции. И одна из этих функций — соединять мир смыслов, содержаний с материальной, вещественной формой. Художник, видение которого включено в логику образного развития, способен обнаружить новую органичную форму изобразительной деятельности, как правило, неожиданную для окружающих. ***Искусство — это прежде всего инструмент восприятия.***

Да, человек обречен на постоянное производство новых форм, но должен делать это по правилам. Уроки истории не позволяют забывать: формализм в искусстве — тягчайшее нарушение этих правил. Форма не должна быть кумиром, даже если она создана из золота.

Постижение пространственности в процессе восприятия порождается не созерцанием, а теми возможностями действовать, которые предоставляет нам сам объект. Речь идет о действиях, с помощью которых человек осуществляет практические контакты с предметной реальностью. То есть предмет (объект) сначала как бы «запускает» процесс возможной деятельности, а затем деятельность порождает свой субъективный продукт. Деятельность сначала имеет форму внешних действий и операций с внешними объектами восприятия. Далее эти внешние действия преобразуются во внутренние, мыслительные, операции. Такова динамика преобразований содержательного плана в новый план чувственной ткани. Так возникает следующая ступень изобразительного образа. Эти явления в психологии означаются понятием «*интериоризация*», а в общей филологии — термином «*именование*», создание слова. Применительно же к форме предмета здесь можно говорить о принципе *моделирования*. Таким образом, именно в сфере зрительного восприятия обретаются ***первичные имена***, а в сфере изобразительной деятельности на их основе составляются производные, — новые формы.

Наши чувственные представления как психический образ существуют неотделимо от деятельности. *Деятельность — это мышление, вынесенное наружу.* Если продолжить лингвистические аналогии, легко увидеть, что продукты дея-

тельности на разных этапах отвечают разным формальным уровням языка: алфавит, грамматика, синтаксис и т.д.

*Изобразительная деятельность* — это субъективный продукт нашего освоения пространственности окружающего мира. Благодаря ей осуществился переход от структуры образа чувственного восприятия (области внутреннего видения) к новой, вынесенной вовне структуре изобразительного образа (видения внешнего) как новой образной фазы, нового уровня, выступающего уже в роли *социальной реальности*. Художник всегда производит формы и всегда стоит перед выбором: что положить в основу вновь создаваемой формы, на чем сосредоточиться — на формальном или на содержательном плане предыдущего уровня. Те, кто следует по пути *имитации*, как правило, апеллируют к понятию традиции; но традиция не состоит в повторении, имитации прежней изобразительной формы. Показательна в этом смысле разница между понятиями «рисовать» и «срисовывать». *Срисовывать* — значит, работать с изображением предмета, имеющимся в световом строе; значит, повторять формальный план зрительного образа и *создавать изображение*. Рисовать — значит, *воссоздавать* внешнюю поверхностную кривизну предмета; значит, переносить ее на лист бумаги, то есть *заново строить предмет* в своем сознании, запечатлевая это на изобразительной плоскости.

Вернемся теперь к термину *«форма предмета»* и попытаемся определить, что же в восприятии соответствует ему. Очевидно, что понятие это передает *характер кривизны **всей** замкнутой поверхности предмета, мыслимого одновременно*. Средство, позволяющее художнику выразить «форму предмета», — *линия*. Именно линия, нанесенная на изобразительную плоскость как след мысленного движения руки по поверхности изображаемого объекта, как «запись» этого движения, повторенного в сознании, становится характерным выражением формы целостного предмета. *Линия — основа изобразительной деятельности, ее первоэлемент*.

В советском искусствознании считалось, что восприятие начинается с «ощущения цвета». «Ощущения цвета» означают *пятна цвета*, аналогичные *мазкам краски* на холсте. Сегодня совершенно ясно: изобразительное искусство началось с линии.

## 9. Природа изобразительного знака

Пространственность окружающего мира мы осваиваем посредством различного вида движений, это нам диктует сама пространственность. Выбирая *траекторию движения* тела или его частей, человек вынужден считаться с существующей компоновкой поверхностей, на уподоблении которой и основаны наши движения. Напомним: движение, по Гибсону, составляет также материальную основу зрительного восприятия.

«Записать» движение можно лишь при помощи линии. Это знаковый первоэлемент изображения, единственное надежное средство выражения, записи, хранения и последующей передачи другим поколениям выразительного движения. Движение выступает здесь одновременно в содержательном и в формальном аспекте.

Двойственна и природа самой линии, здесь сочетаются изобразительное и выразительное начала. Только при этом условии основополагающей характеристикой изображаемого объекта становится его форма, то есть его пространственное устройство. Форма предмета и выступает как один из основополагающих признаков пространственности окружающего мира. Так что на первом этапе становления изообраза понятие «предметная форма» характеризует пред-

мет как основную составляющую видимого мира. *Изображение — это то, благодаря чему каждый предмет в плане восприятия отличается от другого характером своей формы.*

Изображение как знаковая деятельность является результатом развития целостной образной структуры. Объект и субъект восприятия становятся здесь нераздельными. Объект входит в образ восприятия субъекта, реализуясь в одном из планов структуры образа восприятия. Рукотворное изображение не есть и не может быть имитацией проекционного изображения. Само проекционное изображение как реальность, понятная сознанию, возникло гораздо позднее и — что самое главное — на основе изобразительной деятельности.

## 10. От скульптурного подобия к изображению на плоскости

Изобразительное искусство возникло на пути передачи предметной формы. Применение линии как основного способа передачи другим людям переживаемого образного содержания, позволило сформулировать понятие «предмет» первоначально в области визуального языка. Таким путем «предмет» стал виден сознанию, он вошел в образную систему мировоззрения как основной ее элемент, еще не имея обозначения в языке человеческой речи.

Знать фазы становления образной структуры чрезвычайно важно для создания эффективных методик обучения в школе реалистического искусства. В своем образном преобразовании вещественные качества предметов подвергаются специфической трансформации. Так, план содержания превращается в *представление* о предмете, т. е. в обобщенный, свернутый образ, *записанный в памяти*; а представление, в свою очередь, выступает в роли чувственной ткани при порождении следующего содержательного плана.

Остались в прошлом психологические теории, понимавшие мышление как сугубо внутреннюю, дискурсивную работу. Современные языковые исследования доказали: процессы мышления протекают также и в форме внешней деятельности. Более того, внутренние мыслительные процессы являются не чем иным, как результатом интериоризации[11] и выразительного преобразования внешней практической деятельности. Сам же процесс восприятия стал пониматься как постоянные переходы одной из этих форм в другую.

Теперь мы знаем, что изобразительная деятельность — это одна из разновидностей в иерархической системе деятельностей, свойственных воспринимающей системе человека. Повторим, в своей первоначальной основе искусство изображения — это прежде всего запись действий, связанных с предметом изображения. Алгоритм, заложенный в основу этой деятельности, таков: новая форма — это выражение уже имеющегося содержательного плана.

Искусство всегда достигало своих высот, двигаясь путем образного развития: от содержания к новой форме, а не путем формального повторения подобий, т.е. переноса форм одной ступени на другую. Этот второй путь, путь формализма, всегда вызывал опасения и ощущался как тупиковый. Формализм можно представить как движение по замкнутому кругу — движение в *горизонтальной* плоскости, при котором происходит тиражирование, штампование по образцу уже найденных форм. Образное же развитие, напротив, подразумевает

[11] Интериоризация (от *лат.* interior — внутренний) — формирование внутренних структур человеческой психики благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности.

движение по *вертикали*. Движение это направлено от выражения частного знания к более общему, способному информировать о реальности другого масштаба, иной значимости. Новый образный уровень предусматривает создание нового формального плана, более универсального и потому более сложного по технологии устройства.

Потому-то на всем протяжении истории искусств, так или иначе, шла неустанная борьба с формализмом. Это и была борьба за реализм, путь которого в разные исторические периоды проходил (и будет проходить впредь) через разное формообразование. При этом ни одна из форм в искусстве не имеет полномочий заявить, что именно она выражает реальность и именно она и есть «реализм в искусстве». А если это все-таки происходит, причина этому только одна — непомерная гордыня части, почитающей себя за целое.

Наши представления, как и наши понятия, — продукт деятельности, связанной с объектом, формальный след взаимодействия субъекта и объекта. А это значит, что *никакое чувственное знание не является застывшим отпечатком*. Оно хранится в сознании человека, но не как «готовая» вещь, а лишь виртуально и всегда способно реализовать субъективный образ предмета, открывшегося человеку то в одной, то в другой системе объективных связей.

Диалектичны не только понятия, но и наши чувственные представления. Они, как и психический образ, включают в себя и существуют неотделимо от деятельности субъекта. Деятельность есть единица жизни телесного субъекта в молярном масштабе, это единица жизни, опосредованной психическим уровнем восприятия. *Деятельность — это не реакция, а элемент системы, имеющей свое строение, свои внутренние переходы и превращения, свое развитие.* Но, кроме того, деятельность человека представляет собой также систему, включенную и в систему отношений человеческой корпорации. Вне этих отношений человеческая деятельность вообще не существует.

Основной характеристикой деятельности на всех ступенях образа является ее предметность. Собственно, в самом понятии «деятельность» подспудно уже содержится понятие ее предмета. Выражение «беспредметная деятельность» лишено всякого смысла. Поскольку восприятие все больше и больше расширяет сферу своего определения, то предметный мир все более и более втягивается в его деятельность. Эта разнонаправленность функции восприятия и определяет то, что человек не только должен что-то делать, но и формулировать это в форме, доступной постижению других. То есть передавать средство, транслировать способ выполнения того или иного процесса невозможно иначе, как во внешней форме — в форме действия, форме языка (речевого, музыкального, танцевального, или — в нашем случае — визуального). В процессе материальной деятельности люди производят язык, служащий не столько средством общения, сколько — что главное — носителем зафиксированных в нем общественно выработанных значений. Изобразительный язык хороший тому пример.

## 11. Деятельность как технологический этап образного познания

Еще не так давно подход к анализу изображения заключался в том, что внешняя действительность и предмет как ее основной компонент мыслились лишь в качестве объекта «созерцания». В рассуждениях о созерцании «познание» рассматривалось только как результат опосредованного воздействия: предмет воздействует на сознание через информацию. То есть «восприятие» и «познание» отделялись от «деятельности»; жизненные, практические связи челове-

ка с окружающим его миром трактовались как *прикладной аспект* проблемы созерцающего сознания.

Согласно нашим сегодняшним представлениям о восприятии, *практическая деятельность — это важнейший генетический компонент самого процесса становления образа восприятия* на самых различных ступенях его развития и применительно к самым различным типам содержательных планов. Деятельность, одним из видов которой является движение различных частей воспринимающей системы, — это целенаправленный практический контакт с предметом восприятия, без чего бытие образа восприятия как реальности, опосредующей контакт сознания с внешним миром, было бы просто невозможным. Это форма прямой связи, в которой человек испытывает на себе сопротивление объекта и взаимодействует с ним, подчиняясь его объективным свойствам. *Именно благодаря компоненту деятельности* предмет и его образ адекватны и соответствуют друг другу.

Восприятие по самой своей природе включает в себя практический процесс активного взаимодействия с реальностью, в котором человек выступает своей физической составляющей, своим физическим масштабом и возможностями как один из объектов окружающего мира, как вещь среди других вещей.

Человеческая практика — это операционная связь с предметом. Виды деятельности, вписанные одна в другую, составляют иерархическую систему. Эта система — один из основополагающих аспектов познания. Именно закономерная возможность перехода от одного вида деятельности к другому делает доступными сознанию те стороны свойств и качеств объекта, которые невозможно было обнаружить в условиях «созерцания». Справедливо утверждение, что практика — критерий истины: адекватность наших знаний предмету проверяется все же именно практикой.

## 12. Увядающее содержание

Не забудем, *изобразительное искусство возникло, развилось и развивается как значимое явление в жизни общества — прежде всего как область особого вида деятельности, производящей первичные именования.* Становление и развитие образных ступеней, переходы от одного уровня к следующему происходят на основе единого генетически данного сценария.

Содержание дает толчок (по имеющейся в нем самом программе) данному виду деятельности. Деятельность переводит план содержания в план чувственной ткани следующей ступени образа. Так что то, что первоначально относилось к разряду *цели,* переводится в разряд *средства,* в разряд новой формы. Новая форма служит подготовкой для видения сознанием следующей цели, а именно нового содержания, появление которого возможно с этой новой формальной основой.

Отражение действительности дискретно, его этапы неоднородны. Каждая ступень преобразований завершается практическим взаимодействием с объектом восприятия. Старое содержание в процессе развития деятельности угасает, переходя своими рудиментами в формальный план. Нахождение подобных рудиментов в плане формы и есть анализ изобразительной формы. То, что на стороне субъекта проявилось в форме деятельности, теперь на стороне продукта выступает в роли покоящегося свойства-знака.

Деятельность постоянно переходит из формы активности, формы движения, в форму предметности, в форму языка. В этом процессе происходит опредмечивание именно тех представлений (содержаний), которые на каждом отдельном этапе побуждают, направляют и регулируют деятельность, ее целесообразность.

Процессы трансформации — «угасание прежнего содержания» и появление нового, актуального содержания — подчиняются одним и тем же правилам и не могут трактоваться как произвольные. Свободу изобразительного образа от образа обыденного восприятия можно представить только в фантазии. Их взаимный детерминизм заложен в единстве их структурного устройства, в единстве правил регулирования, становления и развития. Единство двух образных структур коренится в самих материальных условиях жизни, в нашей телесной организации.

Получивший внешнюю формализацию образ открыт всем окружающим, поэтому он служит организующей основой для их восприятия, что собственно соответствует социальному масштабу деятельности человека. Собственно, эта особенность образа и создает человеческое общество — то есть человеческое единство, основанное на том, что люди «видят» один и тот же мир, «живут» в одном и том же мире, «мыслят» одну и ту же реальность. Другой основы для бытия общества как целого просто нет.

При всей своей уникальной исключительности деятельность единичного человека представляет собой систему, включенную в систему отношений человеческой корпорации. В этом смысле не только изобразительное искусство, но и чувственный образ зрительного восприятия во многом относится к разряду социальных явлений, несмотря на его кажущуюся субъективную природу и зависимость от «прихоти владельца». *Образ восприятия — явление социальное*, что подтверждается прежде всего той общностью значений, которую мы находим в зрительном восприятии.

Чтобы существовать, человек должен действовать. Чтобы действовать успешно, он должен развивать восприятие, а вместе с этим свою социальную природу. Чтобы ее развивать, нужно накапливать и хранить информацию об окружающем мире таким способом, чтобы она не терялась вместе со смертью личности, ею обладавшей, т. е. чтобы она всегда была доступна в социальном плане. По существу, информация всегда исходит только от личности, но воспринимается обществом. С помощью языка, в том числе и визуального, происходит ее накопление и хранение, создаются различные описания реальности. Предмет искусства в своей физической реальности является носителем и хранителем такой сложной информации; это долговечный, надличностный носитель. Как уже говорилось, он делает информацию доступной прочтению индивида, живущего не только в другом месте, но и в другую историческую эпоху.

Рудименты выражения прежних предметных содержаний никогда полностью не исчезают, ведь они найдены в окружающем мире. При внимательном анализе такие рудименты формы обнаруживаются у всякого профессионального художника. Их можно сравнить с годовыми кольцами на спиле дерева. Если художник развивался, совершенствовался как создатель изобразительного образа, если к тому же прошел профессиональную школу, можно с уверенностью говорить о наличии в его творениях таких «годовых колец».

## Заключение

Проблема соотношения зрительного подобия и подлинного искусства не нова. Еще Леонардо да Винчи говорил: «Художник должен руководствоваться чувствами, но не должен делать это бездумно. Трудно назвать художником того, кто, подобно зеркалу, копирует натуру...» И именно этому принципу следовали академические школы Европы.

За более чем восемьдесят лет безраздельного господства натуралистической АХРРовской концепции наше «реалистическое по форме и народное по содержанию» искусство не создало сколько-нибудь убедительной теоретической основы для современного понимания природы и значения изобразительного искусства в жизни общества. Господствующая «реалистическая» элита так никуда и не развила свой метод, оставаясь, по существу, на позициях жанровой сюжетности и иллюстративности. Отсутствует убедительная философская и методологическая основа школы реалистического мастерства. Художественное образование крайне ограничено и, по сути, сводится к обучению *приемам* работы с изобразительными материалами. И педагоги, и учащиеся так толком и не знают, как и зачем учить или учиться изобразительному искусству в современных условиях, какую изучать традицию, — да и надо ли ее вообще изучать.

Велик груз наследства привычных «научных» утверждений, затверженных нами «верных» положений, за которые сегодня уже никто не отвечает. Можно утверждать, что кризис отечественной реалистической школы, как и нашей науки об искусстве, вызван прежде всего внутренними причинами, главная из которых — застой в развитии теории искусствознания, а точнее сказать, полное ее отсутствие. Следующая причина — это внутренняя замкнутость «реалистического заповедника», чувство отчужденности и высокомерной самодостаточности по отношению к остальному профессиональному окружению, да и к самой (так почитаемой на словах) реальности, отсутствие междисциплинарного обмена информацией и идеями.

Сегодня вместо «образного» развития в нашем изобразительном *«реалистическом искусстве»* (и особенно в школе искусств) прочно укрепился принцип производства «зрительного подобия». Беспомощным идеологически и методически выглядит пафос возврата к *старой форме* станкового искусства XIX века. Такой возврат — проявление чистого формализма. Классные штудии по скрупулезному переносу «сетчаточного проекционного изображения» на изобразительную плоскость сегодня можно расценивать только как эпизод в изучении былых изобразительных техник. Старую форму нельзя приспособить к новому содержанию жизни. Сказано же: «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие»...

Не удается сделать вид, что в окружающей жизни ничего не происходит. В мире самопознания человеческого восприятия совершились и совершаются кардинальные изменения. Их надо понять и оценить. Хотим мы или не хотим, но сегодня мы живем в совершенно другом мыслимом (а следовательно, и видимом) мире.

Увы, обучение в нашей художественной школе приходится классифицировать как натуралистический или визуально-проекционный тип формализма (а ведь именно практика школы доподлинно свидетельствует о том, какие представления об искусстве главенствуют в обществе). В такой школе учат *срисовывать* изображения предметов, *а не воссоздавать* их форму средствами рисунка. Копирование старых форм — занятие пустое. Традиция — не в формах искусства старины, она в *тех методах связей с реальностью, которые человек испытал и исторически отобрал,* выразив и запечатлев свой уникальный опыт в формах искусства. А ведь современный уровень искусства определяется именно умением работать с формой. Подлинный творческий процесс — это перевод имеющихся в образе содержаний в новую изобразительную форму с помощью подходящих для этого изобразительных приемов и средств. Это умение и должна давать школа искусств. Профессионализм художника и заключается в умении сознательно ориентироваться в системе образного становления,

определять для себя возможные внутренние цели и находить для них внешние формы выражения.

Реализм в искусстве — это не один из стилей; это метод, присущий самому человеческому восприятию. Это вид изначально данной восприятию творческой мотивации, на которой основано родство искусства с наукой и с другими областями производства значимой формы. Во все моменты истории развитие и зрительного образа восприятия, и существующего на его основе изобразительного образа воплощало природное стремление человека наиболее полно постичь и выразить целостную, а значит, по возможности, законченную картину мира во всем его многообразии.

Сама жизнь требует сегодня новой формулировки понимания «изобразительного языка», новой формулировки того, что мы привычно называем «реальностью», перевода искусства в другую мыслимую систему координат, в другой понятийный контекст. Первое, что предстоит на этом пути тому, кто хочет развиваться, это как минимум ясное сознательное освоение традиции, истоки которой восходят еще к античности, переход к видению той структуры бытия, того «устройства реальности», в котором «***предмет***» и «***его образ***» (а *с ним, собственно, и имеет дело сознание человека)* — ***не одно и то же***. Сегодня это не новация, это современная норма понимания человеческой деятельности и ее результатов во всех сферах, включая и изобразительное искусство.

Исторически рукотворное изображение предмета на плоскости стало первичным высказыванием в формах визуального языка, первым «именованием вещи». Оно положило начало развитию видения предметной реальности. Так *выразительное начало* в образе и на зрительном, и на изобразительном уровне заняло стратегически важное *свое* место. ***Изобразительное искусство родилось в тот момент, когда выразительное начало стало доминировать над изобразительным. Формалистический путь создания формы от формы исторически оказался закрытым.***

С глубокой древности наши представления о мире выражались в *формах изобразительного языка, и история этих форм — история искусства* — неотделима от представлений об отношении человека к миру, от миропонимания той или иной эпохи. Эволюция общей теории ***изобразительного*** языка, рассматривается в координатах взаимодействия окружающего мира и человека, бытия и мышления. В ней отражается осознание растущей автономности человека с его внутренним миром и развивающимся самосознанием от познаваемой вселенной, с одной стороны, и *последующее осознание автономности изобразительного языка по отношению к мышлению* — с другой.

Увы, по большей части АХРРовские рефлексы в нашей профессиональной художественной среде закрепились намертво. Так и проблема ви́дения, традиционно считавшаяся одной из главных в русской реалистической школе искусства, сегодня заформализована, а искать новые пути ее решения некомфортно, да и не выгодно. И это тоже реализм, но уже не в искусстве, а в жизни.

# ИЗ ПОЧТЫ «КОНТИНЕНТА»

*Наш читатель Игорь Ильяш в этом году заканчивает гимназию. Присланный им в редакцию текст представляется нам небезынтересным.*

В последнее время я довольно подробно изучал историю Советского Союза, в особенности правление Ленина и Сталина. При этом, помимо очевидного ужаса, меня охватило сильное беспокойство. Беспокойство за духовное и нравственное состояние будущих поколений, а также за то, что ужасы коммунизма могут повториться.

Да, слава Богу, многие коммунистические названия с карты России убраны, а преступления коммунизма осуждаются. Однако для беспокойства есть поводы. Во-первых, до сих пор на карте России можно встретить области и города, названные в честь Свердлова, Кирова, Куйбышева, а на Красной площади лежит знаменитый маньяк-убийца В.И. Ленин. Во-вторых, преступления коммунизма осуждены отнюдь не повсеместно, ведь до сих пор звучат призывы поставить памятник Сталину.

Наверное, многие со мной не согласятся: мол, менять названия улиц и сносить памятники при каждой смене власти — плохая привычка, ведь так теряется историческая связь поколений и историческая преемственность. Но позвольте, всякая историческая связь у нас была уничтожена еще в 1917 году, так что получается, что эти памятники не связь с многовековой русской историей, а только лишь с историей СССР.

Но главное даже не в этом. Главное в том, что преступления коммунизма, как и преступления фашизма, никогда не должны повториться.

Германия у меня не вызывает такого беспокойства: они приняли достаточно мер. Неофашистские организации я в расчет не беру, ведь отморозков везде хватает. Тут важно самосознание общества. Каждый немец знает о преступлениях Гитлера, и никому не приходит в голову (да и не позволяется) его оправдывать.

Но у нас совсем другое дело. Более того, по моему мнению, в будущем России гораздо больше угрожает возрождение коммунизма, чем неофашизм. Одно дело, когда ты видишь отморозков-скинхедов, выкрикивающих расистские лозунги, но совсем другое, когда видишь солидных, образованных людей, общественных деятелей, телеведущих, которые, возможно сами того не ведая, поддерживают коммунистическую идеологию. Которые уверены, что убийство какого-нибудь бизнесмена или олигарха — это отнюдь не плохо, а даже наоборот. Которые уверены, что у этих самых бизнесменов и олигархов нужно все отобрать и поделить.

Слишком прочно в нашем самосознании засела ненависть к правительству, чиновникам, милиции, да и просто богатым людям. Да, чего уж скрывать, зачастую претензии к ним отнюдь не безосновательны, но не надо всех грести под одну гребенку. Люди просто не понимают, что такой вывих сознания уже привел однажды к коммунистическому террору и может привести и

еще раз, и главное, что такая катастрофа является не отнюдь не фантастическим вариантом. Разве сложно будет убедить многих людей, что нужно поголовно уничтожать: чиновников за «воровство и взятки», милиционеров «за коррупцию и произвол», агентов спецслужб «как опору прогнившего режима», депутатов за то, что они «слишком далеки от народа», олигархов и бизнесменов за все то же воровство. Так ли уж это будет сложно?

По-моему, стоит задуматься. Недопустимость этого должна прочно засесть в нашем сознании.

Да, сейчас довольно много говорят и пишут о коммунистических преступлениях, но уже лет через десять интерес к этой теме иссякнет. Естественные физические процессы приведут к тому, что людей, живших при Сталине и уж тем более при Ленине, будут единицы. Уйдут в другой мир как люди, беззаветно верящие в коммунизм, так и ненавидящие коммунизм. А для нового поколения СССР будет былинным государством. Они, наверное, будут чаще смотреть и читать о временах перестройки и приватизации (через десять лет много интересных фактов, наверное, всплывет). Так что повторение «коммунистических прелестей» вполне возможно.

И вот, наконец, я вплотную приблизился к сути. Во избежание повторения коммунистических преступлений нужно:

1) осуждение коммунизма и его лидеров на государственном уровне;

2) жесткое осуждение коммунизма (как и фашизма) в школьной программе вплоть до введения обязательного спецкурса по этому поводу;

3) запрещение коммунистической партии.

Предвижу возгласы несогласных: коммунисты уже не те, а вполне даже мирные люди. Но ведь перед октябрем 17-го большевики тоже не рассказывали, что будут осуществлять геноцид собственного народа.

Коммунистические и фашистские партии должны быть исключены как партии, чья идеология уже становилась причиной катастрофы.

И снова многие со мной не согласятся: нельзя сравнивать эти партии, ведь фашизм обеспечивает привилегированные интересы меньшинства за счет большинства, а коммунизм, наоборот, означает всеобщее социальное и национальное равенство. Но позвольте, ведь это только лозунг. Где в СССР мы видели социальное равенство и, главное, за счет чего? Нет, коммунизм и фашизм не генетические враги, это просто одна и та же идеология в зеркальном отражении. Достаточно их сравнить на примере СССР и Третьего рейха. У одних — «всемирный заговор евреев против Великого рейха», у других — «всемирный заговор капиталистов против первого рабоче-крестьянского государства», у одних — дискриминация по расовому признаку, у других — по классовому (я уже не говорю о потрясающем сходстве НКВД и СС).

Многие мне возразят: в СССР все-таки была такая штука, как «хрущевская оттепель», а в Третьем рейхе нет. Но «оттепель» произошла на 36-м году существования СССР, а Третий рейх существовал только 12 лет. Вполне возможно, что после Гитлера к власти в Германии пришел бы кто-нибудь более умеренный.

По аналогии с Германией у меня родилась мысль о публичном трибунале над советскими деятелями. Да, конечно, такой процесс будет смахи-

вать на фарс — ведь на нем не будет обвиняемых, да и считанное число свидетелей. Но такой процесс (который, безусловно, нужно транслировать по телевидению) произведет колоссальный общественный эффект. Обвинителями и защитниками в данной ситуации могут выступать историки и общественные деятели. Думаю, что для защиты и той и другой точки зрения найдется немало желающих. Основные пункты обвинения должны быть следующими:

— террор 1917–1921 годов,
— террор 30-х,
— продразверстка и коллективизация,
— послевоенные репрессии,
— преступность идеологии.

Такой процесс, все его материалы и представленные документы, а главное, вердикт будут иметь огромное общественное значение. С его итогами будет сложно поспорить даже самому ярому коммунисту. А значит такой суд для народных масс будет гораздо больше любой исторической книги о коммунистических злодеяниях: одно дело — книга, а совсем другое — вердикт суда.

Именно комплекс вышеперечисленных мер позволит не повторить октябрь 1917 года и последующий ужас. Я считаю, эти меры необходимо предпринять, коммунисты должны понести наказание за совершенные преступления, а осознание всего произошедшего позволит избежать повторения этого в будущем.

*Игорь ИЛЬЯШ*

Корректоры *А. З. Лазуткина, Т. А. Горячева*

ЛР № 066469

Подписано в печать 13.06.2006. Формат 60×90/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 30,00. Тираж 3000 экз. Заказ № 3766

Электронный вывод и печать в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6




# ИНСТИТУТ ИСТОРИИ КУЛЬТУР

Год основания – 1990

**Государственная аккредитация**
**Отсрочка от армии**
**Диплом государственного образца**

## КЛАССИЧЕСКОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В программе обучения по специальности

**КУЛЬТУРОЛОГИЯ:**

мифология, литература, история искусств,
история театра, философия, риторика, религии мира,
эстетика, философия культуры, семиотика,
всеобщая история;
древние и современные европейские языки.

## ОЧНАЯ, ДИСТАНЦИОННАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

экзамены с 20 по 30 мая и с 1 по 30 августа

## РАБОТАЕТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

*Занятия проходят в МГУ им. М.В. Ломоносова*

**Телефоны**: 968-6921, 191-5212

**E-mail**: unic@dol.ru www.unic.edu.ru

*УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!*

## ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

# «КОНТИНЕНТ»

**принимается во всех отделениях связи России.**
**Наши подписные индексы**

# 71682 *(годовая подписка)* и 73218

**в красно-бело-синем каталоге «Роспечати»**

**В помещении редакции «Континента» (ул. Плющиха, 27, кв. 1) можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.**

**В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых выпусков.**

**В МОСКВЕ** журнал «Континент» продается в книжных магазинах:

"AD MARGINEM" – 1-й Новокузнецкий пер., 5/7; тел. 951.93.60

"КНИГА" – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.27.97

КНИЖНАЯ ЛАВКА ПРИ ЛИТИНСТИТУТЕ – Тверской б-р, 25; тел. 202.86.08

ЖУРНАЛЬНЫЙ КИОСК "НОВОЙ ГАЗЕТЫ" – Страстной бульвар, 8

"ПИРОГИ" – Б. Дмитровка, 12; тел. 229.34.53 и Никольская, 19/21; тел. 921.58.27

"ПРОЕКТ ОГИ" – Потаповский пер., 8/12 стр. 2; 927.56.09

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ЗНАМЯ" – Б. Садовая, 2/46; тел. 299.52.83

СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ книжный киоск – ул. Покровка, 29, офис 38; тел. 923.03.80

"ФАЛАНСТЕР" – Мал. Гнездниковский пер., д. 12/27. Тел. 504.47.95

ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА – Столешников пер., 2; тел. 229.52.62

**В РЕДАКЦИИ «КОНТИНЕНТА» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:**

### Двухтомник Ольги СЕДАКОВОЙ «Стихи. Проза»

Двухтомник издан издательством «Эн Эф Кью». Издание вышло ограниченным тиражом и состоит из тома стихов (574 стр.), в который включены также и поэтические переводы, и тома прозы (959 стр.), содержащего разделы: заметки и путешествия, эссе, исследования, очерки словесности, воспоминания, вместо заключения (в этот раздел, в частности, включена речь при вручении премии Владимира Соловьёва). Вступительная статья Сергея Аверинцева, художник А. Райхштейн.

Ольга Седакова — лауреат нескольких европейских премий, среди которых — Европейская премия поэзии 1996 г. и литературная премия им. Вл. Соловьёва, учреждённая Ватиканом (1998 г.), мало издавалась в России. И если сборники стихов всё же выходили в 1991 и 1994 гг., то проза была разбросана по периодическим изданиям, порой малотиражным, малодоступным, самиздатовским — частью же вообще не опубликована или сохранилась лишь в переводах на иностранные языки.

### Книга сестры ЭММАНУЭЛЬ «Меджугорье, девяностые годы. Торжество сердца»

Издание общины «Беатитюд». Перевод с французского, 284 стр. В книге собраны свидетельства, а также наблюдения и размышления о Меджугорских событиях. Автор — сестра Эммануэль Майар — живет в Меджугорье с 1989 г.

### Книга Нелли БИУЛЬ-ЗЕДГИНИДЗЕ «Литературная критика журнала "Новый мир" А.Т. Твардовского (1958-1970 гг.)»

Издание Культурно-просветительского центра «Первопечатник», 439 стр. Докторская диссертация автора, защищенная на факультете славистики Женевского университета. Исследуется творчество ведущих критиков «Нового мира»: В.Я. Лакшина, Ю.Г. Буртина, И.И. Виноградова, А.Д. Синявского в контексте журнальной политики.

### Книга Игоря ВИНОГРАДОВА «Духовные искания русской литературы»

Издательство «Русский путь», 2005 г., 672 стр. Автор предлагает галерею масштабных мировоззренческих портретов русских писателей и мыслителей XIX-XX веков от Лермонтова и Писарева до Солженицына и Искандера. Книга обращена к духовным проблемам нашего времени — прежде всего к проблемам того «открытого сознания», которое свойственно современным людям, в подавляющем большинстве своем живущим вне мира религиозной веры. Книга для всех духовно вменяемых наших современников, которые не утратили способности терзаться высшими загадками бытия.

**Также имеются в продаже**
**остатки тиража некоторых номеров «КОНТИНЕНТА» с 1993 года**

*Звоните и приходите!*
**Тел.** 248.62.35
**Адрес:** ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

---

Бесплатно распространяется издание **«Антология самиздата», т.1-3**
Справки **по телефону** 232-26-43. *Мария Ефимовна.*

2006
№2

«КОНТИНЕНТ» № 128, 480 стр., подписные индексы 73218 и 71682 (каталог Роспечати)